издательских программ АИРО-XX

Г. А. Бордюгов
главный редактор
А. И. Ушаков
исполнительный директор
Д. А. Аманжолова
"Исторический архив"
Д. Байрау
Тюбингенский университет
Д. Л. Бабиченко
Б. Бонвеч
Рурский университет
В. П. Булдаков
Институт российской истории РАН
Р. Бургер
Инсбрукский университет
Х. Вада
Токийский университет
А. Ю. Ватлин
Институт демократии и прав человека
Л. С. Гатагова
Институт российской истории РАН
П. Гобл
Фонд Потомак
Г. Горцка
Кассельский университет
А. Грациози
Университет Неаполя
Р. У. Дэвис
Бирмингемский университет
Е. Ю. Зубкова
Институт российской истории РАН
Ст. Коэн
Принстонский университет
Дж. Д. Морисон
Лидский университет
Н. Неймарк
Стэнфордский университет
Д. Рейли
Университет Северной Каролины
на Чапел Хилл
О. В. Хлевнюк
"Свободная мысль"
Я. Хоулетт
Кембриджский университет

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ

ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Под редакцией Г. А. Бордюгова

МОСКВА
«АИРО–XX»
1996

И 90
УДК 930

Книга издана благодаря поддержке

Stanford University, Department of History

Fondazione Feltrinelli

Maison des Sciences de l'Homme

Ruhr – Universitaet Bochum,
Fakultaet fuer Geschichtswissenschaft,
Lehrstuhl fuer osteuropaeische Geschichte

И 90 Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / Под редакцией Бордюгова Г. А. – М.: «АИРО-XX», 1996. – 464 с.
ISBN 5-88735-030-X

В книге собраны статьи нового поколения российских историков, размышляющих о состоянии различных областей исторического знания, ставшего результатом фундаментальных изменений на пороге XXI века.

Книга рассчитана на преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, занимающихся историей.

И $\frac{0503020000\text{-}028}{4621(03)\text{-}96}$ Без объявл. **ББК 63 (2 Рос)**

ISBN 5-88735-030-X

© Составление и оформление. «АИРО-XX», 1996.

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора 5

I. УСЛОВИЯ

Минюк А. И. Современная архивная политика: ожидания и запреты 11

Невежин В. А., Пруцкова О. А. Издание исторической литературы: кризис или стабилизация? 22

Шевырев А. П. История в школе: образ Отечества в новых учебниках 37

Голубев А. В. Новейшая история России в учебниках 1995 года 56

Тяжельникова В. С. В поисках технологии исторического знания 66

II. КОНЪЮНКТУРА

Полунов А. Ю. Романовы: между историей и идеологией 83

Панцов А. В., Чечевишников А. Л. Исследователь и источник. О книге Д. А. Волкогонова "Троцкий". 100

Дедков Н. И. "Как я документально установил" или "Смею утверждать". О книге Д. А. Волкогонова "Ленин" 115

Хлевнюк О. В. Л. П. Берия: пределы исторической "реабилитации" 139

Зубкова Е. Ю. О "детской" литературе и других проблемах нашей исторической памяти 155

III. ТЕМЫ И ПОДХОДЫ

Булдаков В. П. Историографические метаморфозы "красного Октября" 179

Ушаков А. И., Федюк В. П. Гражданская война. Новое прочтение старых проблем 206

Павлюченков С. А. Военный коммунизм — в плену большевистской доктрины 222

Горинов М. М. Советская история 1920–30-х годов: от мифов к реальности 239

Мельтюхов М. И. Предыстория Великой Отечественной войны в современных дискуссиях 278

Аманжолова Д. А. Историография изучения национальной политики 308

Гатагова Л. С. Империя: идентификация проблемы 332

Ватлин А. Ю. Мировая революция и современное коминтерноведение 354

Куприянов А. И. Историческая антропология. Проблемы становления ... 366

Кознова И. Е. Социальная память русского крестьянства в XX веке 386

Ульянова Г. Н. Изучение социальных аномалий, благотворительности и общественного призрения в России 405

Бордюгов Г. А. Вместо заключения. Каждое поколение пишет свою историю 427

Об издательских программах АИРО–XX 437

Рецензии на издания АИРО–XX в российской и зарубежной прессе 439

Указатель имен 443

Сведения об авторах 460

ОТ РЕДАКТОРА

"Исторические исследования в России" — своеобразный итог развития издательских программ Ассоциации исследователей российского общества XX века. Авторы уже известных монографий, документальных публикаций или готовящихся к выходу в свет новых работ решили объединиться в одной книге, чтобы высказать свои свободные взгляды на состояние различных областей исторического знания, ставшее результатом фундаментальных изменений на пороге XXI века.

В отличие от подобных или близких по замыслу работ, появившихся в последнее время, авторов не объединяет приверженность какой-то общей идее. Однако читатель не может не почувствовать, что авторы принадлежат к одному поколению. Сами о себе авторы могли бы сказать, что их объединяет желание воспринимать современный историографический процесс с позиций преемственности, а не в плоскости победы или поражения той или иной концепции, той или иной научной школы. Ничего кроме сожаления не могут вызвать призывы строго следовать подходу, к примеру, "тоталитаристскому", на том лишь основании, что он якобы "победил" на Западе так называемых "ревизионистов". Грустно вообще наблюдать судорожный поиск своего идеологического "окна" при интерпретации прошлого, особенно рекордные забеги с чисто "социалистического" старта до чисто "консервативного" финиша.

Авторы исходят из того, что научная историография необходима по-прежнему. Она помогает понять, как и почему происходят изменения в науке, что представляет собой современное историческое сознание, как новые знания обретают новые формы, как проверяются выдвинутые концепции, будет ли история востребована вновь не только как знание, но и как инструмент осмысления происходящего. Без этого, как мне кажется, невозможно действительное осознание российской цивилизации, понимание ее смысловой основы, влияния на мировую историю и гигантской роли в ней. В этом контексте призыв к покаянию, преодолению комплекса ущербности, восстановлению чувства субъектности в мировой политике воспринимается лишь как идеологическая задача, не могущая подчинить себе историка.

Фиксируя в своих статьях современный период накопления и интерпретации знаний о прошлом, авторы, безусловно, понимают, как трудно, подобно древним, "организовать хаос". Поэтому основное внимание уделяется исследованиям, посвященным новейшей истории России. Многое в представляемых текстах остается с вопросительным знаком. Возможные поля будущих исследований намечаются в дискуссионном порядке. Этому помогает и структура сборника. Первая часть – "Условия" – поможет читателям лучше представить внешние факторы существования исторической среды в последние годы. Вторая – "Конъюнктура" – новые формы влияния власти на историков и в то же время борьбу самих исследователей со своими инерционностью, предрассудками и стереотипами. Третья часть – "Темы и подходы" – представляет традиционные сюжеты исследований в оригинальном прочтении и совсем новые проблемы, имеющие историографию часто на уровне публицистических статей.

Статьи А. Полунова, О. Хлевнюка, Е. Зубковой в сокращенном варианте были опубликованы в журнале "Свободная мысль". Там же, и на это хотелось бы обратить внимание, чтобы избежать упреков этического плана печатались журнальные варианты статей А. Панцова, А. Чечевишникова (1992, №14) и Н. Дедкова (1995, №1) о книгах Д. А. Волкогонова.

Ценный вклад в разработку концепции этой книги внесли своими советами и замечаниями Роберт Дэвис, Елена Зубкова, Олег Хлевнюк и Владимир Булдаков.

Неоценимую помощь в издании книги оказали Норман Неймарк, Андреа Грациози, Франческа Гори, Бернд Бонвеч и Сергей Александров, которым авторы выражают свою искреннюю признательность.

Постоянная моральная поддержка ощущалась со стороны Стивена Коэна, Джона Морисона и Харуки Вада, Роберта Такера и Мартина Малия.

Наконец, не могут быть не отмечены организационные усилия на протяжении всей работы над книгой Александра Ушакова и Сергея Говоровского.

УСЛОВИЯ

I

СОВРЕМЕННАЯ АРХИВНАЯ ПОЛИТИКА: ОЖИДАНИЯ И ЗАПРЕТЫ

А. И. Минюк

Действительно ли открыты архивы в России? Такой, на первый взгляд, не совсем уместный вопрос после сенсационных публикаций архивных материалов, проливающих свет на самые потаенные страницы отечественной и мировой истории XX века, все чаще возникает у многих российских и зарубежных исследователей.

Сейчас, по прошествии нескольких лет после начала преобразований в отечественном архивном деле, когда отшумели презентации секретных архивов, схлынула волна ажиотажного интереса к архивным находкам, появилась возможность подвести некоторые итоги, сделать предварительные выводы.

Масштабный политический катаклизм, разрушивший СССР и вызвавший колоссальное перераспределение ролей и статусов в российской политической системе, не завершившееся до настоящего времени, несмотря на проведенную конституционную реформу, обусловил начало и задал направление переустройства российских архивных институтов.

События первоначально разворачивались с ошеломляющей для архивной службы быстротой. Август 1991 года. Благодаря сопротивлению демократически настроенного населения и усилиям российских властей подавлена попытка государственного переворота. В условиях кризиса прежних институтов центральной власти Президент России издает указы о передаче архивов органов КПСС и КГБ СССР в ведение российских архивных органов (1). Причины указов — политические, но итоги для общества и науки непереоценимы. На базе элитарного Центрального партийного архива создается Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ) (2), текущие архивы бывших архивных подразделений ЦК КПСС реорганизуются в Центр хранения современной документации (ЦХСД) (3). На местах, в республиках, входящих в состав России, краях и областях происходит передача на государственное хранение документов бывших органов КПСС, отдельные категории документов территориальных подразделений Комитета государственной безопасности СССР также начинают поступать в государственные архивы.

После окончательного упразднения центральных органов управления СССР (4) под юрисдикцию российского архивного ведомства (5) переходят бывшие союзные центральные государственные архивы. Вслед за открытием партийных архивов следует новая сенсация. Секретный Центральный государственный (особый) архив СССР, хранящий трофейные документы, перемещенные в СССР в результате Второй мировой войны из Германии и др. зарубежных государств (6), преобразуется в Центр хранения историко-документальных коллекций (ЦХИДК) (7) и становится публичным.

Архивная служба России оказывается в центре общественного внимания. Общество, находящееся в эйфории после краха тоталитарного режима, требует раскрытия его тайн, с нетерпением ожидает документальных свидетельств, способных заполнить пробелы в историческом знании, искаженном умолчаниями и фальсификациями.

Превращение архивных учреждений из преимущественно закрытых организаций, являвшихся в СССР частью идеологической надстройки существовавшего политического режима, в общедоступные институты службы социальной памяти российского общества становится научной потребностью времени.

Российские архивисты получили в наследство огромный перечень нерешенных проблем. В сжатые сроки необходимо было создать законодательную базу, регламентирующую принципы организации российского архивного дела и правоотношения в этой среде граждан, общества и государства, добиться упразднения ведомственной "собственности" на перешедшие в категорию исторических комплексы архивных документов, принять на государственное хранение материалы ликвидированных союзных, республиканских и местных органов управления и организаций, не имеющих правопреемников, провести масштабное рассекречивание хранящихся в госархивах документов и обеспечить условия для их свободного и многоцелевого использования всеми категориями граждан.

Происходящие в российской архивной службе позитивные перемены вызывают первоначально осторожный оптимизм. Разработан и внесен в Верховный Совет России прогрессивный проект закона об архивах — плод совместного труда историков и архивистов. Принимаются своевременные решения, способствующие установлению цивилизованного порядка пользования архивными документами. Возрождается издание закрытого в соответствии с постановлением Секретариата ЦК КПСС от 13 ноября 1962 г. научно-публикаторского журнала "Исторический архив" (8), начинают выходить журналы "Источник", "Архив русской истории", альманахи "Русское прошлое", "Неизвестная Россия. XX век". Укрепляются связи архивных учреждений с академической наукой, продвигается работа по снятию ограничений на использование документов.

Однако проведение необходимых преобразований значительно осложняется в результате возникшего в стране жесточайшего бюджетного кризиса. Архивные учреждения оказываются на грани финансового краха. Сворачиваются задуманные проекты, отсутствуют средства на выплату заработной платы, содержание и охрану помещений, оплату коммунальных услуг. Из-за недостатка у большинства комплектующихся архивов свободных площадей угроза уничтожения нависает над документами ведомств и организаций, упраздненных в период проведения реформ. Фонды ряда из них даже после оформления остаются в не

принадлежащих архивной службе помещениях бывших ведомственных архивов в состоянии, исключающем их полноценное использование.

Показательный пример — судьба представляющего уникальную научную ценность архива Совета Экономической Взаимопомощи, принятого Центральным государственным архивом народного хозяйства СССР (в настоящее время — Российский государственный архив экономики) в 1991 г. по месту хранения в административном комплексе бывшего СЭВ и приведенного после неоднократных внутренних перемещений инициированных новым собственником здания, в беспорядочное состояние.

Значительные нарекания у пользователей вызывает практика коммерческой деятельности архивов, которая несмотря на многолетний опыт цивилизованного использования архивными учреждениями внебюджетных механизмов финансирования (9) приобретает в России с началом рыночных реформ неупорядоченные, а отчасти и уродливые формы. В отдельных случаях имеет место навязывание пользователям под различными предлогами платных услуг, у ряда зарубежных специалистов после свидетельств исследователей, столкнувшихся со злоупотреблениями, складывается представление, что в российских архивах взимается плата даже за доступ к документам (10).

В данной ситуации во многом незаслуженно дискредитированной оказывается заложенная в механизм коммерческой деятельности архивных учреждений плодотворная идея — активизировать реализацию потенциальных возможностей развития архивов с целью более полного удовлетворения общественных потребностей в архивной информации, создав у них финансовую заинтересованность в оказании дополнительных платных услуг по розыску документов по заявкам заказчиков, научно-технической обработке комплексов дел, хранящихся в ведомственных архивах и др., наряду с проведением обязательных, выполняемых на бюджетной основе видов работ (предоставление дел или заменяющих их микрофильмов; выдача гражданам архивных справок о работе, заработной плате и др.).

Взрыв эмоций в научном сообществе вызывает скороспелое "Соглашение о сотрудничестве в области обмена архивной информацией, микрокопиями и организации микрокопирования" между Комитетом по делам архивов при Правительстве России, Гуверовским институтом войны, революции и мира и британской издательской фирмой "Чедвик-Хили", подписанное 17 апреля 1992 г. Предмет соглашения — микрофильмирование описей и документов трех главных публичных политических архивов России (РЦХИДНИ, ЦХСД и Государственного архива Российской Федерации) в объеме до 25 млн. кадров, передача российскому архивному ведомству копий микрофильмов, хранящихся в Гуверовском институте русских коллекций и коммерческое распространение через "Чедвик-Хили" части микрофильмированных копий документов (11).

Прежде всего обращают на себя внимание беспрецедентные масштабы сделки, заключенной при отсутствии у российской стороны опыта участия в подобных международных проектах и волевой стиль принятия решения со стороны руководства Роскомархива, несмотря на сомнения в целесообразности подписания предлагаемого варианта договора, возникшие даже в аппарате архивного ведомства. Бросается в глаза и явная неравноценность обмена между "высокими договаривающимися сторонами".

Более того, российские ученые задевались тем, что ценнейшая архивная информация, о доступе к которой они до последнего времени не могли и мечтать, на фоне продолжавших действовать ограничительных условий доступа к ряду фондов, в первоочередном порядке передавалась для изучения за рубеж. Но, "кто платит, тот заказывает музыку".

Прекращение действия договора происходит досрочно. После бурных внутренних дискуссий и предварительного обсуждения с зарубежными участниками соглашения новых вариантов продолжения сотрудничества на иной "более равноценной" основе российская сторона 12 января 1996 г. инициирует процедуру расторжения договора (12).

Однако, в 1992 г. до международных демаршей было еще далеко — было "время ожиданий". Вместе с тем, несмотря на понимание трудностей, переживаемых архивами, ситуация в архивном деле начинает вызывать все больше нареканий. Не прекращаются конфликты, обусловленные сохранением многих, доставшихся российским архивистам из советского прошлого, запретов. Медленно продвигается процесс передачи в ведение российской архивной службы архивов органов КГБ СССР (фактически документы поступают в госархивы только на региональном уровне, на госхранение сдаются лишь отдельные категории дел) (13). По-прежнему закрыты для широкого доступа исторические ведомственные архивы.

Реформа стала пробуксовывать. Очень сдерживало отсутствие необходимого законодательства. 7 июля 1993 г., после более чем двухлетней подготовительной работы, Верховным Советом России принимаются Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах (14). Конец "правовому вакууму".

Основы законодательства — по определению разработчиков — "сплав традиций и новаторства" (15). В качестве ключевого в Основах законодательства вводится юридическое понятие — Архивный фонд Российской Федерации, разграниченный на государственную и негосударственную части. Последняя — включает представляющие историческую научную, социальную, экономическую, политическую или культурную ценность архивные документы и фонды общественных институтов, религиозных организаций и частные архивы. Право постоянного хранения документов государственной части Архивного фонда России закрепляется только за государственными архивами, библиотеками и музеями, причем дальнейшее комплектование документами организаций, находящихся в государственной собственности, разрешается только госархивам. Создание тайных архивов, хранящих документы государственной части Архивного фонда России, запрещается.

В Основах впервые в истории российского архивного дела законодательно устанавливаются правила доступа к архивным материалам. Секретные документы (за некоторыми исключениями) в соответствии с Основами законодательства становятся открытыми для публичного использования после истечения 30-летнего срока со времени их создания. Материалы, содержащие сведения о личной жизни граждан (об их здоровье, семейных и интимных отношениях, имущественном положении) или создающие угрозу для их жизни и безопасности жилища, открываются для всех категорий пользователей по прошествии после их составления 75 лет. Предусматриваются в Основах и процедуры, допускающие возможность досрочного ознакомления с указанными категориями документов и дел. Остальные документы, входящие в государственную часть Архивного фонда России в соответствии с Основами, "предоставляются для использования всем юридическим и физическим лицам" (16).

Однако, в Основах не был закреплен единый порядок доступа к указанным документам. Порядок использования документов, хранящихся в государственных архивах, определяется согласно Основам Государственной архивной службой России, доступ же к документам, находящимся на временном хранении в архивах ведомств, организаций и предприятий, осуществляется в соответствии с правилами, определяемыми самими организациями фондообразователями, которые, правда, должны согласовываться ими с государственными архивными органами.

Данные нормы, на первый взгляд, не вызывают особого беспокойства; после передачи документов на госхранение ведомственные препоны снимаются, но вместе с тем лазейка для произвола отдельных ведомств, практикующих долговременное хранение материалов в собственных исторических архивах, фактически открыта.

Наряду с этим, Основы законодательства, не предусматривая в числе организаций, имеющих право постоянного хранения документов государственной части Архивного фонда России центральных органов федеральной исполнительной власти и др. подобных учреждений, формально лишают ряд "неприкасаемых" органов имевшихся у них привилегий, благодаря которым они, создав собственные отраслевые архивные системы, превратили их в огромные спецхраны.

Однако, статус-кво ведомств, лишенных Основами законодательства права постоянного хранения архивных документов, вскоре восстанавливается, как водится, на "обновленной" основе. 17 марта 1994 г. Указом Президента России утверждается Положение об Архивном фонде Российской Федерации (17), предусматривающее для Министерства иностранных дел России, федеральных служб внешней разведки и безопасности, Министерства внутренних дел РФ, Министерства обороны РФ, Министерства РФ по атомной энергии и др. организаций и учреждений особый порядок временного и депозитарного хранения и использования документов, принятых в их ведомственные архивы и образующихся в их деятельности, устанавливаемый в соглашениях этих органов с Государственной архивной службой России. Рычагов воздействия на значительно превосходящие ее по реальному статусу ведомства у Государственной архивной службы России нет, помещений для приема документов тоже. Круг замыкается.

Практическое воплощение содержащихся в Положении об Архивном фонде России правовых норм подтверждает предположение о том, что документы ведомств и организаций, вновь отстоявших свое право быть исключением из общих правил, не скоро поступят в государственные архивы. Большинство "избранных" ведомств в соглашениях с Государственной архивной службой России закрепляют за собой право бессрочного депозитарного хранения материалов, остальные — устраивающие их сроки долговременного хранения (18).

Весьма курьезная ситуация, демонстрирующая царящую в обществе правовую неразбериху, складывается со статусом архивов российского МИДа. С одной стороны, согласно утвержденному Президентом России в марте 1995 г. Положению о Министерстве иностранных дел Российской Федерации (19), оно приобретает право постоянного хранения международных договоров России и материалов архивов внешней политики России (что не соответствует нормам Основ законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах), а с другой, в соответствии с Положением об Архивном фонде Российской Федерации (20), заключает в августе 1995 г. соглашение о депозитарном хранении своих документов с Государственной архивной службой России.

Особое место среди других российских архивных институтов занимает Архив Президента Российской Федерации, в историческую часть которого вошли хранившиеся в так называемом "Кремлевском" VI секторе архива Общего отдела ЦК КПСС, а затем с июля 1990 г. – в архиве аппарата Президента СССР документы Политбюро и Президиума ЦК КПСС, комиссий ЦК РКП(б) – КПСС, материалы ряда съездов и пленумов ЦК ВКП(б) – КПСС, личные фонды советских государственных и партийных деятелей и др. Сосредоточив в своих фондах важнейшие документы по политической истории СССР и России XX века и осуществляя их постоянное государственное хранение (что опять же противоречит Основам законодательства РФ об Архивном фонде РФ и архивах), Архив Президента Российской Федерации доступен лишь для узкого круга привилегированных лиц и как специализированное подразделение Администрации Президента России под какие-либо формы контроля Государственной архивной службы России не подпадает (21).

Реализация принятого, "учитывая требования общественности", в сентябре 1994 г. распоряжения Президента России (22), предусматривающего поэтапную передачу из Архива Президента РФ в архивные учреждения Государственной архивной службы России документов бывшего архива Политбюро ЦК КПСС, созданных по 1963 г., продвигается трудно, ряд наиболее ценных фондов в перечне передаваемых материалов отсутствует.

Наряду с этим складывается любопытная закономерность. Документы, хранящиеся в труднодоступных для пользователей ведомственных исторических архивах и "доверительном" президентском, активно публикуются, в том числе и за рубежом, их сотрудниками и отдельными допущенными "в порядке исключения" исследователями (23). Возникает своеобразный феномен "приватизации" архивной информации обладающими привилегированным доступом к ней лицами.

Озабоченность российских исследователей неблагоприятными тенденциями, затрудняющими равный и справедливый доступ к документам российских архивов, разделяется и западными учеными. 30 декабря 1992 г. Ученым советом Американской ассоциации историков принимается резолюция (24), подчеркивающая уникальную ценность для мировой науки архивов бывшего СССР и призывающая организовать широкое международное сотрудничество для сохранения оказавшихся в трудном положении архивных учреждений постсоветских государств и обеспечения широкого и свободного доступа к ним. На страницах выходящего в США ежеквартального издания по русским, евразийским и восточноевропейским исследованиям "Slavic Review" весной 1993 г. разворачивается дискуссия американских историков (Марка фон Хагена, Элен Мицкевич и др.) (25), посвященная профессионально-этическим проблемам общения западных ученых и российских архивистов. Особое беспокойство у американских исследователей вызывает тяжелейшее положение, сложившееся в архивах России, а также зачастую выходящая в условиях "примитивных" рыночных отношений за цивилизованные рамки коммерческая деятельность российских архивов. В 1994 г. Американской ассоциацией славистов и Американской ассоциацией историков создается совместная комиссия для изучения ситуации в архивном деле России, бывших советских республик и восточноевропейских государств. Весной 1995 г. комиссией завершается заключительный доклад (26), в основном посвященный анализу развития архивного дела в России, где отмечается, что несмотря на некоторые позитивные подвижки, связанные с принятием в 1993 г. прогрессивного закона об архивах, положение все еще остается напряженным.

Процесс рассекречивания архивных документов – отдельная тема для рассмотрения. Первая попытка провести определенную либерализацию допуска исследователей к закрытым для использования архивным фондам предпринимается еще во второй половине 1950-х гг., в период хрущевской "оттепели". Однако, вскоре после быстрой смены политического климата большинство рассекреченных материалов вновь оказывается на специальном хранении (27). Указания так называемых "директивных органов" (28), ориентирующие архивные учреждения на охранение поступившей на госхранение документации от несанкционированного использования, и стремление ведомств-фондообразователей и после передачи материалов в государственные архивы осуществлять контроль за доступом исследователей к соответствующим фондам порождают практику исключения из научного оборота важнейших комплексов несекретных документов советского и, отчасти, дореволюционного периодов.

В категорию документов так называемого "ограниченного доступа", как правило, включаются организационно-распорядительные, плановые, статистические и др. наиболее ценные для исследователей материалы, отражающие механизмы принятия управленческих решений и динамику протекавших в СССР на различных уровнях социальных процессов. Изучение несекретных документов архивных фондов Совета Министров СССР, Госплана СССР, Минфина СССР, ЦСУ СССР, МВД СССР, Прокуратуры СССР и др. органов допускается только после получения исследователями санкций соответствующих ведомств, разрешающих ознакомление с материалами. Всего к 1987 г. теми или иными формами ограничений оказываются охваченными более 50% хранящихся в государственных архивах СССР документов (29).

В процессе развернувшейся в рамках горбачевской перестройки с 1987 г. работы по снятию необоснованных ограничений в использовании документов проводится отмена наиболее одиозных запретов, однако полного упразднения режима "ограниченного доступа" не происходит. Рассекречивание закрытых документов, имеющих грифы различной степени секретности, продвигается достаточно вяло, на открытое хранение переводятся как правило фонды, не обладающие высокой степенью информативности.

После августа 1991 г. деятельность архивных учреждений по рассекречиванию находящихся на закрытом хранении материалов резко активизируется.

После принятия в июне 1992 г. Роскомархивом (30) и затем Верховным Советом России (31) нормативно-распорядительных документов, предоставляющих архивным учреждениям значительные права по переводу на открытое хранение секретных материалов, происходит заметный рост динамики рассекречивания, режим "ограниченного доступа" к несекретной документации окончательно упраздняется.

В сентября 1992 г. после полного завершения рассекречивания документов прекращает существование отдел специальных фондов Российского государственного военно-исторического архива (32). В Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории переводятся в режим открытого доступа стенограммы и протоколы съездов и конференций КПСС, пленумов ЦК КПСС, документы ряда подразделений аппарата ЦК КПСС, Исполкома Коминтерна (33), высокими темпами проходит рассекречивание материалов ГА РФ, РГАЭ, ЦХИДК и др. архивных учреждений.

Многие ценнейшие документы из Архива Президента РФ, ЦХСД, РЦХИДНИ, ГА РФ, Российского государственного военного архива, Центрального архива Министерства обороны РФ, Архива Министерства безопасности РФ (в частности, материалы о Катынской трагедии, Карибском кризисе, войне в Афганистане, событиях в Новочеркасске и др.), рассекреченные для использования в процессе по "делу КПСС" в Конституционном Суде РФ Специальной комиссией по архивам при Президенте РФ, становятся доступными для исследователей (34).

После принятия в июле 1993 г. Закона Российской Федерации "О государственной тайне" (35), не закрепляющего за архивами права самостоятельно переводить на открытое хранение документы с истекшими сроками секретности (архивы по закону могут рассекречивать документы только после делегирования им этого права организациями-фондообразователями или их правопреемниками), работа по снятию ограничений в доступе к закрытым материалам значительно осложняется. Лишившись возможности самостоятельно рассекречивать документы организаций, не имеющих правопреемников (в том числе материалы КПСС), архивные учреждения вынуждены фактически приостановить эту работу.

В сентябре 1994 г. распоряжением Президента России "в целях активизации работы по снятию необоснованных ограничительных грифов с архивных документов, находящихся в государственных и ведомственных архивах, центрах хранения документов, а также по рассекречиванию хранящихся в них архивных документов, сроки засекречивания которых истекли", создается Комиссия по рассекречиванию документов, созданных КПСС, во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ С. Н. Красавченко (36). Работает комиссия не спешно, на общественных началах, эксперты, командируемые ведомствами, не торопятся, реального финансирования нет. По свидетельству бывшего руководителя Государственной архивной службы России Р. Г. Пихои за год (с октября 1994 г. по ноябрь 1995 г.) рассекречено около 9 тыс. дел (37). Всего. Вместе с тем, вновь ограничен доступ исследователей к отдельным, представляющим немалый научный интерес, комплексам документов, открытым в 1992–1993 гг. для публичного использования (38).

Плановое рассекречивание архивных фондов ведомств имеющих правопреемников, проводится в 1993–1994 гг., несмотря на все перипетии, в общем неплохо. В частности, в результате совместной деятельности соответствующих федеральных ведомств и Российского госархива экономики рассекречиваются по 1963 г. закрытые части фондов ряда оборонных ведомств (авиационной, оборонной, судостроительной промышленности и др.).

Однако, с конца 1994 г. в условиях постепенного усиления в стране режима секретности сокращаются и темпы проводимого рассекречивания архивных документов. Многие ведомства занимают выжидательную позицию и, ссылаясь на отсутствие средств для финансирования деятельности экспертов, несовершенство нормативной базы (в ряде документов содержится информация, которую можно расценивать как секреты стран СНГ) и др., замораживают работу.

Сейчас очевидно, что механизма эффективного рассекречивания архивных документов так и не создано. Снятие ограничений на доступ к документам, сроки секретности которых истекли, как и прежде полностью зависит от доброй воли организаций-фондообразователей, и при их незаинтересованности в проведении подобных работ архивные органы не имеют ни малейших рычагов давления на них. Иногда это приводит к курьезнейшим ситуациям, когда в установленном порядке рассекреченные фонды серьезнейших ведомств доступны для использования, а документы, лишь косвенно связанные с секретными работами организаций, находятся под замком.

Оценивая положение, сложившееся в настоящее время в отечественном архивном деле, следует отметить неоднозначность и противоречивость протекающих в нем процессов. Архивные учреждения, освободившись в целом от идеологической ангажированности, получили наконец возможность самостоятельного профессионального развития.

Вопреки имеющимся трудностям с финансированием, архивы и центры документации, как правило, за счет внебюджетных источников находят возможности для продолжения публикационной деятельности, совершенствования научно-справочного аппарата к документам. Крайне важным для исследователей является выход в 1992–1994 гг. справочников по фондам Российского государственного архива древних актов, РЦХИДНИ, ГА РФ, РГАЭ, Российского государственного исторического архива, Российского государственного архива литературы и искусства и др. архивов. В архивных учреждениях возникают новые, основанные на современных профессиональных подходах, начинания, представляющие значительный интерес. Так, например, создание при РГАЭ Чаяновского исследовательского центра призвано привлечь активные творческие силы историков и архивистов к собиранию, изучению и использованию в научной и практической деятельности документов выдающихся отечественных ученых-экономистов. Продолжается (к сожалению, замедлившийся) процесс рассекречивания архивных документов; ставшие доступными материалы активно вводятся в научный оборот. В архивных учреждениях постепенно складываются основы профессиональной этики.

Однако, приходится признать, что заданная президентскими указами августа 1991 г. динамика преобразований в архивном деле в значительной степени

утрачена. Несмотря на колоссальный прорыв вперед, связанный с передачей российским архивным органам архивов КПСС и превращением бывших партийных и государственных архивов в деидеологизированные публичные институты, Государственной архивной службе России так и не удалось достичь главной цели реформ — сформировать в России единое открытое архивно-информационное пространство.

Зародившиеся в СССР еще в 1920–1930-е гг. отраслевые системы постоянного и долговременного хранения материалов крупнейших ведомств, без существенных изменений пережив социальные потрясения последних десяти лет, благополучно, правда, в слегка отретушированном виде, продолжают функционировать в России и в настоящее время. Нормы действующего архивного права регламентирующие порядок доступа к архивной информации, не согласуясь с положениями, закрепленными в иных законодательных и распорядительных актах, зачастую не реализуются.

Диалог руководства Государственной архивной службы России с научным сообществом, активно проходивший на начальном этапе преобразований в архивном деле, постепенно прекращается.

Российские архивные учреждения, находясь в полной административной и финансовой зависимости от органов федеральной и региональной исполнительной власти, в условиях не сформировавшегося в России гражданского общества, постепенно превращаются в своеобразный придаток госаппарата.

Изменения политической конъюнктуры в России, к несчастью, достаточно быстро отражаются на деятельности государственных архивов. По впечатлениям многих архивистов и историков, смена политики "демократизации" ориентацией на политический консерватизм реально может привести к понижению достигнутой в российских архивах "планки гласности", которая уже постепенно опускается.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Указ Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. "Об архивах Комитета государственной безопасности СССР" // Отечественные архивы. 1992. №1. С. 3; Указ Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. "О партийных архивах" // Там же.

2. См. : Постановление Совета Министров РСФСР от 12 октября 1991 г. "О Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории и Центре хранения современной документации" // Отечественные архивы. 1992. №1. С. 4.

3. Там же.

4. См.: Постановление Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 г. "Об упразднении министерств и других центральных органов государственного управления СССР" // Ведомости Верховного Совета СССР / 1991. №50. Ст. 1421.

5. С 5 ноября 1990 г.— Комитет по делам архивов при Совете Министров РСФСР (Роскомархив). 30 сентября 1992 г. реорганизован в Государственную архивную службу России (Росархив).

6. Кроме трофейных документов в ЦХИДК (бывшем Центральном государственном (особом) архиве СССР) хранится архивный фонд Главного управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР (ГУПВИ).

7. См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 1992 г. "Об утверждении Положения о Комитете по делам архивов при Правительстве Российской Федерации и сети федеральных государственных архивов и центров хранения документации" // Отечественные архивы. 1992. №4. С. 3–4.

8. См.: Судьба журнала. "Исторический архив" в 1955–1962 гг. // Исторический архив. 1992. №1. С. 194–211.

9. Первые хозрасчетные подразделения по научно-технической обработке документов министерств, ведомств и организаций и использованию архивных документов возникли в государственных архивах СССР в начале 1960-х гг.

10. См.: Козлов В. П. Международный коллоквиум архивистов в Париже // Отечественные архивы. 1992. №6. С. 105–108.

11. См.: Теренс Эммонс "Я не совсем понимаю Вас, господа..." (О соглашении Роскомархива и Гувера) // Отечественные архивы. 1992. №6. С. 108–109.

12. В соответствии с процедурой расторжения соглашения оно будет считаться прекращенным по истечении 6 месяцев с момента официального уведомления российской стороной партнеров о своем выходе из договора. Указанное уведомление было направлено российской стороной партнерам по соглашению 12 января 1996 г.

13. На госхранение первоначально передаются архивно-следственные дела реабилитированных, амнистированных или освобожденных от отбытия наказания лиц, а также фильтрационно-проверочные дела советских граждан, бывших в плену и угнанных в Германию в период Второй мировой войны и реэмигрантов.

14. См.: Отечественные архивы. 1993. №5. С. 3–10.

15. Артизов А. Н. и др. Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде РФ и архивах: идеи, принципы, реализация // Отечественные архивы. 1993. №6. С. 3.

16. Отечественные архивы. 1993. №5. С. 8

17. Отечественные архивы. 1994. №3. С. 3-8.

18. См.: Тарасов И. Н., Викторова Т. Н. Новые аспекты сотрудничества Росархива с министерствами и ведомствами // Отечественные архивы. 1995. №2. С. 15–19.

19. Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N12. Ст. 1033.

20. См.: примечание (17).

21. Положение об Архиве Президента Российской Федерации // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1994. №13. Ст. 1019.

22. Распоряжение Президента Российской Федерации от 22 сентября 1994 г. №489-рп // Отечественные архивы. 1995. №1. С. 3.

23. См.: Максимова Э. Продавцы сенсаций из Архива президента // Известия. 1994. 13 июля.

24. Отечественные архивы. 1993. №6. С. 105.

25. См.: Ellen Mickiewicz. The Commercialization of Scholarship; Mark von Hagen. The Archival Gold Rush; J. Arch Getty. Do We Need a Code of Behavior; Carole Fink. Resolution of the AHA Council // Slavic Review. Spring 1993. 52. No. 1. P. 85–106; "Slavic Review" о проблемах российских архивов // Отечественные архивы. 1993. №6. С. 95–105.

26. Final Report of the Joint Task Force on Archives American Association for the Advancement of Slavic Studies and The American Historical Association. 1 April 1995 // Slavic Review. Summer 1995. 54. No. 2. P. 407–426.

27. См.: Елпатьевский А. В. О рассекречивании архивных фондов // Отечественные архивы. 1992. №5. С. 15–20.

28. Имеются в виду органы КПСС.

29. См.: Павлова Т. Ф. Рассекречивание документов в государственных архивах России: некоторые итоги, законодательная база, проблемы // Вестник архивиста. 1994. №1–2. С. 50–59.

30. См.: Временное положение "О порядке доступа к архивным документам и правилах их использования : Утв. Роскомархивом 15 июня 1992 г. // Вестник архивиста. 1992. №4. С. 21–31.

31. См.: Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 19 июня 1992 г. "О временном порядке доступа к архивным документам и их использования" // Отечественные архивы. 1992. №5. С. 3.

32. См.: Савин В. А. Виноградова Я. Ю. Из истории создания и функционирования спецхрана в архиве // Отечественные архивы. 1994. №1. С. 18–26.

33. См.: Амиантов Ю. Н. Из опыта работы по рассекречиванию документов РЦХИДНИ // Вестник архивиста. 1994. №3. С. 84–86.

34. Ксерокопии ряда рассекреченных Специальной комиссией документов были переданы в ЦХСД и составили фонд-коллекцию №89.

35. См.: Российская газета. 1993. 21 сентября.

36. Распоряжение Президента Российской Федерации от 22 сентября 1994 г. №489-рп // Отечественные архивы. 1995. №1. С. 3–4.

37. См.: Максимова Э. Тень отброшенная в прошлое // Известия. 1995. 2 ноября.

38. Шишкин О. Архивы как зеркало политической ситуации в России // Сегодня. 1995. 7 октября.

ИЗДАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

КРИЗИС ИЛИ СТАБИЛИЗАЦИЯ?

В. А. Невежин, О. А. Пруцкова

Издательское дело в России имеет свои закономерности и тенденции, которые еще до конца не выявлены. Без их анализа трудно понять, каким образом проходил и проходит процесс формирования общественного спроса и книгоиздательского предложения на социально значимую литературу о прошлом Отечества. Попытка подобного анализа предпринимается впервые, поэтому при его осуществлении мы ограничивались лишь массивом из книг и брошюр, посвященных проблемам прошлого России в хронологических рамках 1861–1995 гг., куда вошла научная, научно-популярная, справочная и учебная литература по истории.

В ее издании наблюдаются многочисленные метаморфозы. В советское время взаимодействие государственной власти и данной сферы деятельности происходило главным образом на идеологической основе – задача состояла в обеспечении читателей "нужной" литературой. Во многом для поддержания мифа об СССР как о самой читающей стране в мире многомиллионными тиражами выпускались десятки тысяч изданий, не всегда отвечавших запросам ее граждан (1). Централизованная, строго придерживавшаяся утвержденных "сверху" планов, обильно дотируемая из госбюджета книгоиздательская отрасль из года в год наращивала тиражи. "Монополистами" в выпуске общественно-политической литературы являлись три мощных государственных издательства: "Политиздат" (ныне – "Республика"), "Прогресс" и "Наука". Но многим памятны полки книжных магазинов и библиотек, буквально забитые томами трудов "руководителей партии и правительства", "классиков марксизма-ленинизма", материалами партийных съездов, конференций, пленумов. Существовала жесткая цензура в лице Главлита, который, в свою очередь, находился под контролем ЦК КПСС, проявлявшая особую бдительность во всем, что касалось выпуска общественно-политической, в частности – исторической литературы.

Трудно отрицать наличие в Советском Союзе единой и ярко выраженной издательской политики, которой правящая партия и государственные структуры твердо придерживались даже в экстремальных ситуациях. С 1991 г. взаимодействие между государственной властью и книгоиздательской отраслью стало

перемещаться из идеологической в экономическую плоскость. 17 апреля 1991 г. Правительство РФ приняло Постановление "О регулировании издательской деятельности в РСФСР", согласно которому на российской территории была отменена цензура. Однако отпуск цен в 1992 г., превратное понимание внезапно наступивших "экономических свобод" и полной бесцензурности сотнями коммерческих издательств, которые стали стихийно возникать после распада СССР, породили ряд ранее небывалых проблем. "Раскручивалась" главным образом ходовая литература для массового читателя. Резко уменьшился объем социально-значимой литературы, в том числе научного и справочного характера (2).

За пятилетие 1991–1995 гг. сменилось 5 (!) председателей Российского комитета по печати (первоначально он назывался Министерством печати и массовой информации). В 1992 г. наблюдалось рекордное падение выпуска книг на территории России – на 5,3 тыс. названий (300 млн. экз.). Утвержденная Федеральная целевая программа книгоиздания практически провалилась, ибо уже в 1994 г. было прекращено финансирование в ее рамках научно-технической, справочной и малотиражной литературы, отказано в выделении средств для выпуска отраслевых изданий (3).

Серьезные экономические затруднения, организационные неурядицы, приведшие к обвальному падению объема выпускаемой печатной продукции в России вызвали острую полемику о состоянии дел в данной отрасли, которая отразилась не только в специальных изданиях (журналы "Книжное дело", "Книжный бизнес", "Полиграфист и издатель", газеты "Книжное обозрение", "Витрина. Читающая Россия"), но и в текущей периодике (4).

Существует, по крайней мере, два совершенно противоположных взгляда относительно тенденций в российском книгоиздании 1991–1995 гг. Некоторые эксперты склонны драматизировать ситуацию. Свой анализ они основывают главным образом на впечатляющих цифровых показателях, свидетельствующих, во-первых, о стремительном росте цен на бумагу, полиграфические и транспортные услуги, а с другой – об обвальном падении тиражей выпускаемых книг и брошюр, в первую очередь – социально значимой литературы, имущественной дифференциации, конечным результатом которой является снижение покупательной способности большей части населения страны. Вывод – книжное дело в России находится в кризисном состоянии, выход из которого в создавшихся условиях найти практически невозможно.

Их оппоненты, оперируя теми же самыми показателями, наоборот, считают, что не следует, даже несмотря на имеющиеся трудности, драматизировать ситуацию. Эксперты, принадлежащие к данной группе, делают вывод, что благодаря складывающемуся в стране книжному рынку спад производства (по количеству названий выпускаемой литературы) преодолен и на очереди прекращение спада объемных показателей. В то же время уменьшение общего тиража изданных книг и брошюр на фоне увеличения количества названий они трактуют как основной признак стабилизации, ибо, например, заграничный опыт свидетельствует, что второй из названных показателей является определяющим при оценке общего уровня книгоиздательской деятельности.

Таким образом, нет пока возможности однозначно судить о тех тенденциях, которые проявились в российском книгоиздании в первой половине 90-х гг.

XX в. Однако, хотелось бы отметить, что поскольку оно продолжает существовать особых оснований для пессимизма, на наш взгляд, нет. Все вышеперечисленные факторы оказали к середине 90-х гг. существенное влияние и на российский книжный рынок, обеспечивающий потребность в исторической литературе. Потребительская часть этого рынка потенциально высока. Он составляет не менее полумиллиона человек: профессиональных историков, студентов гуманитарных вузов и университетов, преподавателей высшей школы, учителей.

Расхожим является мнение, что сдерживающим фактором в развитии потребительского спроса на книгу стала низкая покупательная способность малозащищенных социальных групп (к их числу относятся и названные категории потребителей исторической литературы), основной источник доходов которых — госбюджет. Но оказалось, что это не так. Согласно репрезентативным опросам, проведенным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 1994 г., среди лиц с низким среднедушевым потреблением книги покупали 58,3% опрошенных, со средним — 56,9% и с высоким — 63,4%. Такая же зависимость внутри этих трех групп опрошенных наблюдалась и по количеству покупаемых книг. Кроме того, оказалось, что количество людей, приобретавших книги, практически одинаково независимо от региона проживания. Подобного рода опросы, проводящиеся периодически, позволили экспертам сделать вывод: ситуация в книжном деле не выглядит безнадежной в такой мере, как представляют ее некоторые издатели, книготорговцы и публицисты (5). К этому можно добавить, что помимо покупки книг сохраняется возможность черпать свои исторические познания из книжного фонда доступных библиотек.

Тенденция к децентрализации книгоиздательского дела, в том числе — выпуска исторической литературы, затрудняет аналитическую работу по обобщению основных показателей его эффективности (количество названий выпущенных книг, их общий тираж и т. д. и т. п.). По различным экспертным оценкам непредоставление обязательного экземпляра книги или брошюры в Российскую книжную палату достигает 15-30%, и таким образом оказывается неучтенной почти одна треть издающейся в стране литературы! (6) Исходя из этого мы попытались самостоятельно произвести необходимые подсчеты, используя в качестве источников "Летопись книжных статей", "Книжное обозрение", фонды ИНИОН РАН, библиотеки Института российской истории РАН, Государственной публичной исторической библиотеки, а также личные библиотеки авторов.

Анализ библиографических данных производился с использованием хронологических и типологических схем. Классификация, применяемая Российской книжной палатой, оказалась не вполне приемлемой для данного исследования. Так, в раздел "История" "Книжной летописи" вошли работы по истории России до октября 1917 г. (главным образом — по древнейшему и феодальному периодам), здесь же получает отражение литература по отдельным периодам истории России и Российской Федерации. Однако, большинство изданий по истории СССР (октябрь 1917 — декабрь 1991 гг.) и Российской империи (1861 – 1917 гг.) включены в другие разделы ("Политика", "История политических партий", "Экономика", "Культура", "История военного дела", "Атеизм. Религия" и др.).

Поэтому нам пришлось создать специальную картотеку, в которой учтены книги и брошюры, изданные в первой половине 90-х гг. на русском языке

в пределах территории Российской Федерации. Эта картотека, на наш взгляд, с большой степенью полноты отражает картину выпуска отечественной исторической литературы в указанный период.

В то же время нельзя не отметить следующие обстоятельства, которые несколько снизили полноту представленной в рабочей картотеке информации. Как уже отмечалось, сведения не обо всех изданиях по исторической проблематике поступали в Российскую государственную книжную палату. Это свидетельствует, естественно, о падении издательской дисциплины и несоблюдении некоторыми издающими организациями, издательствами и типографиями "Положения об обязательных бесплатных экземплярах". Не все издательские организации обязательно занимаются выпуском литературы. Согласно обобщенным данным на начало 1995 г. в России всего их было зарегистрировано около 7000, из которых лишь 2000 выпускали книги, а 1000 действовали на книжном рынке (7).

Обязательные экземпляры, даже если они отосланы в Российскую книжную палату, зачастую поступают туда с опозданием, что относится в первую очередь к книгам и брошюрам, выпущенных на периферии. Так, в номерах "Книжной летописи" за 1994 г. можно встретить упоминания об изданиях... 1991 г. Наконец, "Книжное обозрение", достаточно оперативно информирующее о вновь выходящих печатных произведениях (на основе бесплатного обязательного экземпляра, поступающего в Роскомпечать), дает лишь минимум сведений о каждом из них, что затрудняло отбор сведений для картотеки.

С этими "поправками" наша рабочая картотека была взята за основу при написании данной статьи.

При подготовке ее непосредственно учитывалась историческая литература по истории Российской империи 1861 – 1917 гг., о событиях, происходивших на ее территории в 1917 – 1922 гг., а также — по истории СССР, РФ, вспомогательным историческим дисциплинам, общим вопросам (методологии) исторических наук. Частично отражена атеистическая и религиозная тематика, связанная главным образом с религиозными конфессиями, а также взаимоотношениями государства и церкви.

Весь поток издаваемой литературы по исторической тематике мы сочли возможным разбить на следующие типы:

I. Библиографические пособия; II. Каталоги (книжных выставок, книжных коллекций, архивных фондов); III. Справочники. Путеводители (по музеям и архивам); IV. Хроники событий; V. Сборники документов; VI. Мемуары. Воспоминания. Записки. Автобиографии. Свидетельства очевидцев; VII. Монографии; VIII. Коллективные труды. Сборники научных статей. Научно-аналитические обзоры; IX. Сериальные (продолжающиеся) издания (8); X. Материалы научных конференций, чтений, "круглых столов", семинаров; XI. Научно-популярная литература: а) биографии, исторические портреты, политические портреты, документальные повести; б) история республик, краев, областей, районов, городов, сел, деревень; XII. Учебные пособия: а) для школ, лицеев, гимназий; б) для вузов: тематические учебные пособия; хрестоматии, сборники документов; XIII. Публицистика: а) статьи, выступления, интервью; б) издания смешанного содержания (сборники документов, статей, интервью); в) историческая публицистика, политические речи, письма; XIV. Альбомы.

По материалам рабочей картотеки просчитывались 5 основных годовых показателей изданной исторической литературы (книг и брошюр): 1. Общий тираж; 2. Общее количество названий; 3. Общее количество издательств; 4. Количество названий литературы различных типов; 5. Количество названий литературы по различным периодам отечественной истории.

Хронологически изданная историческая литература условно разбита нами на следующие разделы: Общий раздел: I. 1861 – 1995 гг.; II. 1861 – 1917 гг.; III. 1917 – 1995 гг.; IV. С древнейших времен до 1995 г; V. 1985 – 1995 гг.

Отдельные периоды: 1861 – 1881 гг.; 1882 – 1904 гг.; 1905 – 1913 гг.; 1914 – 1917 гг.; 1917 – 1921 гг.; 1922 – 1927 гг.; 1928 – 1953 гг.; 1954 – 1964 гг.; 1965 – 1985 гг.; 1985 – 1991 гг.; 1991 – 1995 гг.

Тиражи выпущенной исторической литературы (в целом по годам, по типам, по хронологическим периодам и основным проблемам) подсчитывались на основании сведений, извлеченных из "Книжного обозрения" и "Книжной летописи".

Как уже указывалось, "стартовым" годом для нашего анализа явился 1991-й – последний год существования СССР и советской политической системы. Общий тираж выпущенной исторической литературы в 1991 г., если исходить из данных созданной нами картотеки, достигал почти 34 млн. экз. (около 1 тыс. названий). Около 40 названий книг и брошюр не имели указания о тираже. Основной объем изданий составляли мемуары и научно-популярная литература (соответственно, по одной трети от общего тиража). Публицистика и учебная литература по своим тиражам занимали третье (12%) и четвертое (около 7%) места.

Издания, которые можно отнести к категории сугубо научных (типы I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X), составили 11% от общего объема учтенных нами книг и брошюр исторической тематики. Их тираж превысил 3,7 млн. экз., в том числе монографии – 43%; документальные публикации – около 25%; сериальные издания – около 18%; коллективные труды и сборники статей – около 7%; материалы научных конференций, "круглых столов", чтений, семинаров, симпозиумов – около 2%; библиографические пособия, справочники, путеводители, хроники событий, информационные, аналитические, реферативные материалы – свыше 5%.

В 1991 г. издательствами союзных республик было выпущено около 10% всей учтенной в рабочей картотеке литературы исторического характера (свыше 16% названий). Выпущенная тогда же в РСФСР (без учета Москвы) печатная продукция данного профиля составила свыше 8% общесоюзного тиража, почти 33% названий. Таким образом, Москва являлась основным полиграфическим центром, на долю которого приходилось почти четыре пятых от общего объема вышедшей в свет в 1991 г. и включенной в нашу картотеку исторической литературы, почти половина названий книг и брошюр.

По основным хронологическим периодам выпущенная в 1991 г. историческая литература распределялась следующим образом. На книги и брошюры общих разделов (I, II, IV) приходилось около одной четверти названий, 92% названий (сюда не включена литература из указанных общих разделов) посвящены периоду 1917 – 1991 гг. Из общего количества названий "послеоктябрьской" тематики 22% занимает "перестройка", 20% – Великая Отечественная война, около 8% – революции 1917 г. и Гражданская война.

В мемуарной и научно-популярной литературе явно преобладала тематика, связанная с историей династии Романовых и трагической судьбой императора Николая II (соответственно 7% и 24% тиражей). В целом же эта тематика в 1991 г. составила более одной десятой от общего объема учтенных в нашей картотеке книг и брошюр (исключая те, в которых она освещалась частично). Далее следует литература о революциях 1917 г. и Гражданской войне – 8% и о Великой Отечественной войне – 5%.

В мемуарной литературе наибольшее внимание уделялось 1917 г. и Гражданской войне (20% от общего тиража мемуаров), периоду "перестройки" (8%) и Великой Отечественной войне (5%). Биографические очерки, исторические портреты, документальные повести о династии Романовых и судьбе царской семьи Николая II составили почти четверть тиража изданной в 1991 г. научно-популярной литературы. Для сравнения, по этим же показателям литература о Великой Отечественной войне составила лишь 9%.

Учебные пособия по истории Отечества в 1991 г., как уже отмечалось, занимали 7% от общего тиража изданных книг и брошюр исторической тематики. Большая часть из них (свыше 80% тиража) приходилась на издания, специально предназначенные для школы.

В последний год существования СССР литература исторической тематики издавалась сравнительно большими тиражами. Для примера можно назвать книгу Г. Л. Розанова (9) (200000 экз.) или записи бесед поэта Ф. Чуева с В. М. Молотовым (10) (300000 экз.).

Велик был интерес к изданиям, впервые выходившим в СССР, которые ранее находились под строгим запретом. Отсюда, вероятно, и большие тиражи: в 200000 экз. для книги М. Восленского (11), или в 100000 экз. для книги записок разведчика-перебежчика В. Кривицкого, куда были также включены воспоминания и другие материалы из истории советской военной разведки (12).

Таким образом, к 1992 г. российское книгоиздание занимало стабильные позиции, существовало на прочной основе, созданной в советское время. Выпуск научной, научно-популярной, справочной и учебной исторической литературы достигал в целом большого объема, тем более, что наблюдался значительный рост читательского интереса к подобной тематике. Не было существенных колебаний в ценовой политике на полиграфические услуги, практически всюду преобладали государственные издательства, регулировавшие выпуск и сбыт печатной продукции.

Ситуация, сложившаяся в 1992 г. в области российского книгоиздания, коренным образом отличалась от той, которая наблюдалась в 1991 г. Это сказалось и на выпуске исторической литературы. Во-первых, резко сократились ее тиражи (если основываться на наших данных, то более чем в четыре раза). Во-вторых, уменьшилось также в четыре раза количество названий издаваемых книг и брошюр исторической тематики. В-третьих, хотя публикации о прошлом России продолжали в 1992 г. выходить в бывших союзных республиках (например, в Казахстане, Белоруссии, на Украине и в др.), они постепенно перестали выпускаться там на русском языке. Наконец, с отпуском цен в стране в целом

начался их галопирующий рост как на бумагу, так и на полиграфические услуги, что оказалось одним из немаловажных препятствий на пути повышения объема выпускаемой печатной продукции.

Несмотря на эти изменения в издательском деле по-прежнему велика была доля мемуарной и научно-популярной литературы в общем объеме тиражей литературы о прошлом России (соответственно, около 25% и около 37%). Доля публицистики возросла почти в два раза по сравнению с 1991 г. и достигла 25% всех тиражей. Такая же тенденция проявилась в издании собственно научных книг и брошюр: их тираж возрос с 11 до 15%. Из общего тиража в 1,140 млн. экз. в рамках этой категории монографии составили 55% (против 43% в 1991 г.); документальные публикации — 21% (1991 г.— 25%); сериальные издания — около 12% (1991 г.— около 18%); библиографические пособия, справочники, путеводители, хроники событий, информационные, аналитические, реферативные материалы — около 9% (1991 — свыше 5%); коллективные труды и сборники статей — около 3% (1991 г.— около 7%); материалы научных конференций, "круглых столов", чтений, семинаров, симпозиумов — около 0,4% (1991 г.— 2%).

Приведенные сведения позволяют сделать некоторые предварительные выводы. С распадом СССР, естественно, нарушились сложившиеся издательские структуры и оказались невыполненными заложенные в планы задания выпуска печатной продукции. Известно, что были "рассыпаны" некоторые из уже набранных в издательских типографиях книг и брошюр исторической тематики. Очевидно, что создавшаяся ситуация оказала негативное воздействие в первую очередь на выпуск учебной литературы для вузов и школ. В то же время наиболее стабильными оказались позиции издателей научной, мемуарной и публицистической литературы, доля которой в общем объеме тиражей осталась по-прежнему весьма солидной. Причину снижения доли тиражей изданий трудов конференций, "круглых столов" и чтений почти в пять раз по сравнению с 1991 г., несомненно, следует искать в нарушении традиционных межрегиональных научных контактов из-за распада Союза ССР.

Доля Москвы в выпуске исторической литературы в 1992 г., судя по данным нашей рабочей картотеки, резко снизилась. На столичные издательства приходилось лишь 22% названий книг и брошюр (1991 г.— почти 50%). Доля местных издательств РСФСР (без бывших республик СССР и Москвы) за этот период осталась прежней и составила порядка 33% названий из общего количества выпущенной исторической литературы.

На общие хронологические разделы (I, III, IV), как и на издания, посвященные послеоктябрьской эпохе, приходилось в 1992 г. примерно столько же названий книг и брошюр, как и в 1991 г. Династия Романовых и трагическая судьба Николая II и его семьи по-прежнему составляла солидную часть тиражей изданной в 1992 г. мемуарной (18%) и научно-популярной (16%) исторической литературы. Стабильным оставалось положение с выпуском исторической литературы о периодах 1917 г. и Гражданской войны, а также об эпохе "перестройки", но следует упомянуть о небольшом процентном снижении названий и тиражей подобной литературы. К числу книжных "феноменов" 1992 г. можно причислить "нефантастическую повесть-документ" "Ледокол" бывшего офицера ГРУ ГШ В. Суворова (В. Б. Резуна), перебежавшего в 1978 г. в Великобританию, которая вышла небывалым даже для жанра исторической публицистики тиражом — свыше 300000 экз. (впоследствии общий тираж книги превысил 4000000 экз.).

В то же время лишь тысячным тиражом вышли тома фундаментальной серии "Документы внешней политики СССР" (13). Публикация, начавшаяся в 1957 г., спустя двадцать лет была прервана по решению советского руководства, поскольку хронологически подошла к событиям "кризисного" 1939 г. Возобновлена она была Министерством иностранных дел Российской Федерации.

Неблагоприятное положение создалось в 1992 г. с изданием учебной литературы. Возникший здесь "вакуум" постаралось "заполнить" общество "Знание", которое предложило краткий очерк "Истории Отечества" (14). В качестве пособия по истории России — СССР издательство "Прогресс-Академия" решило предоставить книгу, написанную Н. Вертом, научным сотрудником Национального центра научных исследований (Франция) для французских студентов-историков. Она стала университетским учебником во Франции в 1990 г. После перевода на русский язык книга Н. Верта (15), изданная тиражом 50000 экз., была рекомендована к использованию в учебном процессе Комитетом по высшей школе министерства науки России (16). В последующие годы практика переиздания на русском языке книг зарубежных ученых по советской истории для использования их в качестве учебных пособий была продолжена (17). Однако, уже в 1992 г. появились новые школьные учебники и пособия, принадлежащие перу российских авторов (18).

Последующие три года (1993—1995 гг.) знаменовались некоторой стабилизацией книгоиздательского дела в России. К 1995 г. общий тираж книг и брошюр составил 543,4 млн. экз., количество названий превысило 28000. Наблюдалась следующая тенденция, которая, как уже указывалось, оценивалась экспертами в качестве положительной: уменьшение тиражей на фоне количественного роста названий. Можно проиллюстрировать это на примере выпуска общественно-политической литературы. В первом полугодии 1994 г. ее средний тираж составлял 17,5 тыс. на единицу (средний показатель по всем видам литературы в целом — 20,9 тыс. экз., в государственных издательствах — 23,3 тыс.), во втором полугодии — 12,1 тыс. На фоне общего объема издаваемых книг и брошюр общественно-политическая литература составляла в первом полугодии 1994 г. 13,2%, во втором — 12,2% тиража. В то же время по количеству названий из всего массива литературы общественно-политическая в первом полугодии 1994 г. составила 23,8%, во втором — 24,2% (19).

В книгоиздательском деле в России к середине 90-х гг. проявилась и такая тенденция, как активное включение в него глубинных районов и рост числа негосударственных издательских организаций. 25 городов России имели к 1995 г. более 15 издательств в каждом, 102 города — от 1 до 14 издательств. Государственные издательства выпускали (в количественном выражении) около 36% книг и брошюр, негосударственные — 33%, министерства и ведомства — 31%. Таким образом, три названных книгоиздательских звена почти пропорционально несли основную нагрузку по выпуску книг и брошюр. Что касается тиражей, то здесь положение иное. Негосударственные издательства к 1995 г. стали выпускать почти 55% от общего тиража, государственные — 40%, министерства и ведомства — остальные 5% (20).

Согласно данным рабочей картотеки, тираж исторической литературы вырос в 1993 г. по сравнению с предыдущим 1992 г. с 7,84 млн. экз. до 9,14 млн. экз. В последующие два года этот показатель снижался и достиг практически исходного уровня: 1994 г. – 7,96 млн. экз., 1995 г. – 7,42 млн. экз.

С 1991 г. более доступными для исследователей стали архивы, где сосредоточены основные массивы подлинных документов различных эпох российской истории. Издательством "Благовест" были выпущены новые путеводители центральных архивохранилищ России и каталоги отдельных документальных комплексов, в публикации которых оказали материальное содействие зарубежные научные центры и ассоциации (21). Краткий справочник по фондам Российского государственного исторического архива вышел в свет в Санкт-Петербурге (22).

Одной из наиболее характерных тенденций, проявившихся в полной мере в выпуске исторической литературы в первой половине 90-х гг., было стремление ознакомить читателей с многочисленными свидетельствами о событиях прошлого России, отразившимися в подлинных архивных документах, мемуарах, дневниках, воспоминаниях.

Плодотворная работа в этом направлении ведется Ассоциацией исследователей российского общества XX века (АИРО–XX) и созданный в ее рамках издательский центр. В серии "АИРО – Первая публикация" в 1994–1995 гг. вышли в свет сборники документов: "СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С. И. Тюльпанов. 1945–1949 гг.", "Литературный фронт", "Неизвестный Богданов" (в трех томах), "Тюремные рукописи Николая Бухарина" (в двух томах), "СССР – Польша. Механизмы подчинения. 1945-1949". Кроме того, в серии "Документы советской истории" вышел сборник "Сталинское Политбюро в 30-е годы", а в серии "Первая публикация в России" – мемуары М. Бубер-Нейман.

Для публикации документов все чаще стали использоваться такие издания, как альманахи – непериодические сборники, включавшие в себя различные по тематике и характеру материалы. Некоторые из них появились в начале 90-х гг. впервые. В их числе – "Неизвестная Россия. XX век", у истоков которого стояло Московское городское объединение архивов (первая книга – 50000 экз.) (23). Помещенные в этом альманахе публикации основывались на документах Центра хранения современной документации (ЦСХД), Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ), Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Центрального архива министерства безопасности РФ. Альманах был включен в Федеральную программу издания литературы на 1993 г. (24).

В 1988 г. при Московском государственном историко-архивном институте был образован Народный архив, главной целью создателей которого являлось собирание материалов о неофициальном, негосударственном, народном видении прошлого России (25). Подобного рода материалы и послужили основой для издания специальной серии, которая была так и названа – "Народный архив" (26).

Еще в 1990 г. издательства "Прогресс" и "Феникс" приступили к переизданию начавшего свою жизнь в русском зарубежье, – исторического альманаха "Минувшее". После того, как была закончена эта работа, издательское объединение "Atheneum – Феникс" (Москва – Санкт-Петербург) продолжила под

редакцией В. Аллоя выпуск оригинальных томов "Минувшего" (27), а также альманахов "Лица" (28) и "Невский архив". Появились и другие альманахи, в которых публиковались документы по истории России (29). Прежде всего необходимо отметить выходящий с 1991 г. под редакцией В. Г. Бортневского альманах "Русское прошлое", в котором публикуются исключительно архивные материалы, посвященные революции 1917 г., гражданской войне и русской эмиграции.

1992–1995 гг. ознаменовались и другими начинаниями, целью которых являлось введение в оборот исторических свидетельств и документов. Так, издательство "Русская книга" (прежнее название – "Советская Россия") приступило к выпуску первых книг серии "Россия в лицах, документах, дневниках" (30). Ряд документальных изданий в первой половине 90-х гг. был осуществлен при содействии западных спонсоров. Среди них можно назвать хронику рабочего движения в России (31), в финансировании которой участвовали Фонд Г. Фельтринелли (Милан), Библиотека современной документации (Париж), Международный институт социальной истории (Амстердам).

Новые тенденции проявились в деятельности головного издательства, готовящего фундаментальные справочные издания по различным отраслям, – "Большой российской энциклопедии". Следует отметить выпуск в свет сравнительно большим тиражом (25000 экз.) уникального энциклопедического словаря, включившего более 300 персоналий политиков всероссийского масштаба, активно проявивших себя в событиях 1917 г. (32). Затем появился первый том энциклопедии по дооктябрьской истории России (33). В этом томе была сделана попытка спокойного, объективного показа многообразной истории России "в лицах". Новые пласты информации в ней – российская церковная и религиозная жизнь, а также жизнь купечества, предпринимательства, меценатства (34).

В первой половине 90-х гг. наблюдался рост интереса к региональной истории, что создавало благодатную почву для публикации книг и брошюр по данной проблематике. Согласно данным нашей рабочей картотеки, в 1995 г. из общего количества издательств, выпустивших историческую литературу по периоду 1861–1995 г., более половины находились вне Москвы. Из 718 учтенных названий такой литературы лишь 324 названия в 1995 г. выпущено в столице, остальные (без учета Санкт-Петербурга, где вышло 50 названий) – местными издательствами.

Тематика изданий краеведческого характера весьма обширна: история отдельных народов, национальных меньшинств, этнических групп, населенных пунктов, религиозных конфессий (35). По словам председателя Археографической комиссии С. О. Шмидта, "краеведческая тематика – знамение нашего времени" (36). Книги и брошюры этой тематики публикуются как за счет средств из федерального бюджета, местной администрации (37), так и при материальной поддержке спонсоров (38).

С приближением 50-летия Победы все большее внимание стало уделяться Книгам Памяти павших в Великой Отечественной войне. В основу их создания был положен региональный принцип: регионы Российской Федерации (республики, края, области) формируют и издают собственные списки погибших в войне, пользуясь существующей системой военно-учетных архивов. В издании Книги

Памяти первенствовал Алтайский край, который приступил к ее изданию в 1986–1988 гг. К 1995 г. наиболее активно их выпуск шел в Псковской обл. (12 томов), Самарской обл. (11 томов), Курганской области (8 томов). В общей сложности более 30 регионов России приступили к выпуску Книг Памяти (39). Было составлено 700 томов издания с поименными списками павших (40).

Тираж исторической литературы, которую можно отнести к разряду научной, в 1995 г., по данным нашей картотеки, составил 1,46 млн. экз. (около 20% от общего объема выпущенных книг и брошюр). Свыше 55% тиража научной литературы приходилось на документальные публикации (1992 г.– 21%), около 17% – на монографии (1992 г.– 55%) и около 9% – на сборники коллективных трудов (1992 г.– около 3%).

Таким образом, в целом выпуск научной исторической литературы за три последних года остался практически стабильным, но, как известно, и вузовская, и академическая наука испытали на себе в наибольшей степени все негативные последствия экономических потрясений первой половины 90-х гг. Финансовые возможности издания исследований и сборников документов для авторов, работающих в данной сфере, оказались крайне ограниченными. С 1995 г. в финансирование научных изданий включился Российский гуманитарный научный фонд. Например, выделенные им средства позволили выпустить в свет монографию покойного К. Н. Тарновского (41), которая по ряду субъективных и объективных причин не была опубликована при жизни этого известного историка. Также при финансовой поддержке РГНФ издательством "РОССПЭН" были выпущены книги М. И. Семиряги, С. В. Тютюкина и В. В. Шелохаева (42).

Издательский центр "АИРО-XX" в серии "Первая монография" в 1994–1995 гг. выпускал книги при поддержке Московского Центра Карнеги, Фонда им. Н. И. Бухарина, Кембриджского, Бирмингемского, Лодзинского и других западных университетов. Благодаря этому вышли в свет научные исследования Л. С. Гатаговой, Э. Вишневски, С. А. Экштута, А. И. Ушакова, Ю. В. Соколова, Д. А. Аманжоловой, А. Ю. Ватлина, С. В. Цакунова, Д. Л. Бабиченко, Е. Ю. Зубковой, А. И. Куприянова и Е. С. Левиной (43). Кроме того, в серии "АИРО-Монография" изданы книги О. В. Хлевнюка, Г. М. Адибекова, Ю. П. Шарапова, Н. Ф. Бугая, Ю. А. Полякова, сборники статей и материалов (44).

За 1995 г. в нашей рабочей картотеке учтено 718 названий книг и брошюр исторической тематики, охватывающей период 1861–1995 гг., общий тираж которых составил свыше 7,4 млн. экз. (соответствующие показатели 1992 г.– 282 названий и 7,84 млн. экз.). Таким образом, по объему издаваемой исторической литературы в 1995 г. было выпущено почти столько же, сколько в кризисный для российского книгоиздания 1992 г., а по количеству названий наблюдался рост почти в 2,5 раза.

По-прежнему велика оставалась доля в ней научно-популярной литературы – 15% от общего тиража, около 20% названий (1992 г.– соответственно: 25% и 22% названий). Значительно "сдала" свои позиции мемуарная литература. Уменьшение тиража здесь по сравнению с 1992 г.– десятикратное, процентное соотношение названий: 1992 г.– 22%, 1995 г.– около 5%. Учебные пособия и хрестоматии составили в 1995 г., согласно данным рабочей картотеки, 10% названий и почти одну треть от общего тиража изданных книг и брошюр

исторической тематики (в 1992 г. эти показатели составляли соответственно 9% и чуть более 1%). Помимо собственно учебных пособий и учебников по отечественной истории, впервые стали издаваться специальные задачники и рабочие тетради, которые должны были способствовать расширению умственного кругозора школьников (45).

Ситуация с изданием литературы исторической тематики в целом за 1991–1995 гг., согласно данным нашей картотеки, выглядит следующим образом. За рассматриваемый период произошли изменения в соотношении объема книг и брошюр, выпускаемых центром (Москва, Санкт-Петербург) и провинцией. По годам эти показатели выглядят следующим образом. По Москве в 1991 г. историческую литературу выпустили 123 издательства (477 названий), в 1992 г.– 100 (164 названия), в 1993 г.– 207 (302 названия), 1994 г.– 147 (282 названия), 1995 г.– 204 (254 названия). Соответствующие показатели по Петербургу: 1991 г.– 22 (45), 1992 г.– 27 (29), 1993 г.– 32 (40), 1994 г.– 18 (22).

По провинциальным (по 1991 г.– учитывались лишь издательства Российской Федерации) изданиям картина выглядит так: 1991 г.– 128 (282), 1992 г.– 61(92), 1993 г.– 174 (220), 1994 г.– 176 (341). Таким образом, налицо тенденция выравнивания, а по показателям 1995 г. и преобладания доли издательств, выпускающих историческую литературу вне Москвы.

Соотношение государственных и негосударственных издательств проследить гораздо труднее, но в данном случае уместно привести итоговые подсчеты по России в целом. На 1995 г. государственные издательства из общего числа 7000 организаций, обладавших правом издательской деятельности, занимали 20%. В то же время АОЗТ, АООТ и ТОО составляли 3000 (44%), индивидуальные (частные) – 740 (около 11%).

По хронологическим периодам выпущенная в 1991–1995 гг. литература, согласно данным нашей картотеки, распределяется следующим образом. В 1991 г. на период 1861–1991 гг. ("общий") приходилось из всего массива в 955 названий – 254 названия, отдельно на 1861–1884 гг.– 5 названий, 1905–1913 гг.– 7, 1914–1917 гг.– 46. По советскому периоду 1917–1991 гг. ("общий" раздел) выпущено 295 названий, по Гражданской войне – 32, по периоду 1921–1927 гг.– 9, по периоду 1928–1953 гг.– 157, по 1954–1964 гг.– 1, 1965–1985 гг.– 8, 1985–1991 гг.– 146.

В 1992 г. "общий" хронологический раздел (1861–1992 гг.) из всего количества 282 названий включил 68 названий, 1861–1918 гг.– 32, 1884–1904 гг.– 1, 1905–1913 гг.– 4, 1914–1917 гг.– 12. Советский период был отражен в исторической литературе так: 1917–1992 гг. ("общий" раздел) – 78 названий, 1917–1921 гг.– 16, 1922–1927 гг.– 3, 1928–1953 гг.– 44, 1954–1964 гг.– 2, 1965–1985 гг.– 4, 1985–1991 гг.– 19, 1992 г.– 1.

Для 1993 г. сведения о соотношении выпущенной исторической литературы выглядят следующим образом. "Общий" раздел (1861–1993 гг.) – 315 названий (из общего числа выпущенных книг и брошюр – 661), 1884–1904 гг.– 4, 1905–1913 гг.– 5, 1914–1917 гг.– 8. По советскому и постсоветскому периоду вышло в 1993 г. 126 названий книг и брошюр, отдельно по периодам 1917–1921 гг.– 13, 1922–1927 гг.– 3, 1928–1953 гг.– 72, 1954–1964 гг.– 1, 1965–1985 гг.– 7, после 1985 г.– 107.

По 1994 г. данные нашей картотеки, к сожалению, представлены недостаточно полно. Поэтому мы перейдем сразу к 1995 г. За 1995 г. в ней учтено 718 названий, в том числе — "общий" раздел (1861–1995 гг.) — 368 названий, 1905–1913 гг.– 4, 1914–1917 — 5, 1917–1921 гг.– 7, 1922–1927 гг.– 2, 1928–1953 гг.– 298, 1954–1964 гг.– 1, 1965–1985 гг.– 3, после 1985 гг.– 40.

О соотношении жанров выпускаемой исторической литературы уже упоминалось выше, но следует подчеркнуть, что к 1995 г. в ней стабильно стала преобладать по объему научно-популярная и учебная литература. Среди всех видов превалирует мемуарная литература, биографии, биографические очерки, исторические портреты, документальные повести. Например, в 1991 г. ее тираж составил свыше 22 млн. экз. из общей тиража исторической литературы в 33,75 млн. экз., в 1992 г.– 4,8 млн. (из 7,84), в 1993 г.– почти 5 млн. из (9,14), 1994 г.– 2,88 млн. (из 7,96), в 1995 г.– 2,1 млн. (из 7,42).

В целом по годам тираж выпуска исторической литературы, согласно нашей картотеке, выглядел следующим образом: 1991 г.– 33,75 млн. экз., 1992 г.– 7,84 млн. экз., 1993 г.– 9,14 млн. экз., 1994 г.– 7,96 млн. экз., 1995 г.– 7, 42 млн. экз.

По количеству названий картина была такой: 1991 г.– 955 названий, 1992 г.– 282, 1993 г.– 661, 1994 г.– 316 (данные неполные), 1995 г.– 718.

Проведенный нами анализ основных тенденций в книгоиздательской деятельности России в области выпуска исторической литературы позволил сделать некоторые предварительные выводы. Во-первых, книгоиздательское дело уже не является исключительной монополией государства, и им занимаются в равной степени как государственные издательства, так и негосударственные, в том числе — совместные и частные. Во-вторых, основным показателем стабильности выпуска исторической литературы является не общий объем ее тиража, а количество названий изданных книг и брошюр. В-третьих, увеличивается доля так называемых провинциальных изданий в выпуске исторической литературы, которые имеют тенденцию достигнуть и превзойти по основным показателям книгоиздательской деятельности столичные издательства. В-четвертых, рыночные отношения привели к изменениям в области финансирования выпуска исторической литературы. Помимо средств госбюджета, авторы и издатели используют материальную помощь разного рода спонсоров в лице фондов и отдельных меценатов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Книжное дело (далее — КД). 1995. №1. С. 25.
2. Там же.
3. Там же. С. 23.
4. Библиография публикаций по данному вопросу периодически помещается в издании: "Книга. Материалы и исследования".
5. Рейтблат А. И. Кто и что покупает: итоги всероссийского опроса // КД. 1995. №2. С. 32.; Марголин Е. Потребности и спрос на книжном рынке // Полиграфист и издатель. 1995. №1. С. 40.
6. КД. 1995. №1. С. 36; №4/5. С. 51.
7. Издательства России. Справочник. М., 1995; КД. 1995. №3. С. 4.
8. Сюда входят главным образом продолжающиеся и серийные издания.
9. Розанов Г. Л. Сталин — Гитлер. Документальный очерк советско-германских дипломатических отношений, 1939–1941 гг. М.: Международные отношения, 1992.

10. Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М.: Терра, 1991.
11. Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М.: "Советская Россия" совм. с МП "Октябрь", 1991.
12. Кривицкий В. "Я был агентом Сталина": Записки советского разведчика. М.: Терра, 1991.
13. Документы внешней политики СССР 1939. Т. XXII: В 2 кн.– Кн. 1. Январь – август. Кн. 2: Сентябрь – декабрь. М.: Международные отношения, 1992.
14. История Отечества: Краткий очерк / Рук. авт. кол. А. А. Данилов; отв. ред. и сост. С. В. Леонов.– Вып. 1 и 2. М.: О-во "Знание" РФ, 1992.
15. Верт Н. История советского государства. 1900–1991. М.: Прогресс; Прогресс-Академия, 1992.
16. Преподавание истории в школе. 1993. №3. С. 62.
17. См., напр.: Холмс Л. Социальная история России: 1917–1941. Ростов, 1993; Боффа Д. История Советского Союза. В 2 т. Изд. 2-е. М., 1994; Хоскинг Д. История Советского Союза, 1917–1991. М., 1994.
18. Федосов И. А. История Отечества. М., 1992; Жарова Л. Н., Мишина И. А. История Отечества. 1900–1940. М., 1992; Островский В. П. и др. История Отечества. 1941–1991. М., 1992.
19. Марголин А., Марголин Е. Тенденции российского книгоиздания в 1994 г. // Полиграфист и издатель. 1995. №3. С. 11–112; КД. 1995. №2. С. 3.
20. Книжная торговля. 1995. №2. С. 3–4.
21. Российский Центр Хранения и Изучения Документов Новейшей Истории. Краткий путеводитель. Вып. 1. Фонды и коллекции, собранные Центральным партийным архивом. М., 1993; Путеводитель. Т. I. Фонды Государственного архива Российской Федерации по истории России XIX — начала XX в. М., 1994; Архив новейшей истории России. Т. I. "Особая папка" И. В. Сталина. На материалах секретариата НКВД/МВД СССР 1944–1953 гг.: Каталог документов. М., 1994; То же. Т. II. "Особая папка" В. М. Молотова. М., 1994.
22. Фонды Российского государственного архива: Краткий справочник / Сост. Д. И. Раскин и др. СПб., РГИА. 1994.
23. Неизвестная Россия. XX век. Кн. 1–4. М.: 1992–1993.
24. Киселев А. С. Московские архивы: год 1993 и новые задачи // Отечественные архивы (далее — ОИ). 1993. №2. С. 5.
25. ОИ. 1994. №3. С. 117.
26. Народный архив. Из подвала. Альманах. Вып. 1. М.: Россия молодая, 1993; Народный архив. Женская судьба в России. Документы и воспоминания. М.: Россия молодая, 1994. Оба выпуска вышли под ред. Б. С. Илизарова.
27. Минувшее. Исторический альманах. Вып. 13–17. М.; СПб.: Феникс, Atheneum, 1993–1995.
28. Лица: Биогр. альманах. Вып. 1–5. М.; СПб.: Феникс: Atheneum, 1992–1995.
29. Из глубины времен: Альманах / Редкол. Б. Б. Дубенцов и др. СПб.: РИО СПб. ун-та телекоммуникаций, 1995; Российский архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М.: Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова; Рос. Архив, 1995; и др.
30. В серии вышли два документальных сборника: Фашистский меч ковался в СССР; Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы / Сост., вступит. ст. и коммент. П. Н. Кнышевского, О. Ю. Васильевой, В. В. Высоцкого, С. А. Соломатина. М.: Русская книга, 1992.
31. Рабочее движение в России. 1895 — февраль 1917 г. Хроника. Вып. II.: 1896. СПб.: БЛИЦ, 1993.
32. Политические деятели России. 1917: Биографический словарь. М., 1993.
33. Отечественная история с древнейших времен до 1917 года. М., 1994.
34. КД. 1995. №1. С. 63.
35. Подобная тематика отчасти нашла отражение в издании: Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем России / Под ред. Г. Бордюгова и П. Гобла. М.: АИРО–XX, 1995.
36. Шмидт С. О. Что помогает возрождению местных краеведческих изданий // ОИ. 1995. №1. С. 111.
37. Так, "Пензенский временник любителей старины". Вып. 1–10. Пенза, 1991–1994, финансировался вначале местным медучилищем, а затем — департаментом культуры Пензенской областной администрации. См.: ОИ. 1995. №1. С. 110; Книга И. Полянчева "Зарайская энциклопедия". М.: Academia, 1995, опубликована тиражом 10000 экз. при финансовой поддержке

Комитета Российской Федерации по печати, администрации Московской области и неправительственного благотворительного фонда "Возрожденная провинция".

38. Например, книга "Дорога к храму. История религиозных учреждений г. Уфы". Уфа: Типография СПТУ №1, 1993, вышла при материальной поддержке акционерного предприятия "Уфанефтехим", уфимской мэрии, Уфимского епархиального управления, Духовного управления мусульман Европейской части СНГ, Сибири и Балтии, немецкого центра "Айнхайт", общины римско-католического костела, Социнвестбанка. См.: ОА. 1995. №1. С. 113.

39. Кротков А. В. Книга Памяти: доброе дело продолжается // КД. 1995. №4–5. С. 46.

40. Полиграфия. 1995. №3. С. 12.

41. Тарновский К. Н. Мелкая промышленность России в конце XIX – начале XX в. М.: Наука, 1995.

42. Семиряга М. И. Как мы управляли Германией. М., 1995; Тютюкин С. В., Шелохаев В. В. Марксисты и русская революция. М., 1996.

43. Аманжолова Д. А. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. М., 1994; Бабиченко Д. Л. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. М., 1994; Ватлин А. Ю. Коминтерн: первые десять лет. М., 1993; Вишневски Э. Либеральная оппозиция в России накануне первой мировой войны. М., 1994; Гатагова Л. С. Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XIX веке. М., 1993; Зубкова Е. Ю. Общество и реформы. 1945–1964 гг. М., 1993; Куприянов А. И. Русский город в первой половине XIX века: общественный быт и культура горожан Западной Сибири. М., 1995; Левина Е. С. Вавилов, Лысенко, Тимофеев-Ресовский... М., 1995; Соколов Ю. В. Красная звезда или крест? Жизнь и судьба генерала Брусилова. М., 1994; Ушаков А. И. История гражданской войны в литературе русского зарубежья. Опыт изучения. М., 1993; Цакунов С. В. В лабиринте доктрины. Из опыта разработки экономического курса страны в 1920-е годы. М., 1994; Экштут С. А. В поиске исторической альтернативы. Александр I, его сподвижники и декабристы. М., 1994.

44. Адибеков Г. М.. Коминформ и послевоенная Европа. М., 1994; Бугай Н. Ф. Л. Берия – И. Сталину: "Согласно вашему указанию..." М., 1995; Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Незапланированная дискуссия. Сборник статей. М., 1995; Дедков И. А. Любить? Ненавидеть? Что еще?.. Заметки о литературе, истории и нашей быстротекущей абсурдной жизни. М., 1994; Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем в России. Биобиблиографический справочник. М., 1995; Межнациональные отношения в России и СНГ. Семинар Московского центра Карнеги. Выпуск I: доклады 1993–1994 гг. Выпуск II: доклады 1994–1995 гг. М., 1994–1995; Поляков Ю. А. Наше непредсказуемое прошлое. М., 1995; Российская империя, СССР, Российская Федерация: история одной страны? Прерывность и непрерывность в отечественной истории XX века. В. П. Булдаков, В. А. Мау, А. С. Ципко. Сборник статей. М., 1993; Среда и культура в условиях общественных трансформаций. Сборник статей. М., 1995; Сталинское Политбюро в 1930-е годы. Сборник документов. М., 1995; Хлевнюк О. В. Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 1930-е гг. М., 1993; Шарапов Ю. П. Лицей в Сокольниках. Очерк истории ИФЛИ – Московского института истории, философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского (1931–1945 гг.). М., 1995.

45. Смирнов С. Г. Задачник по истории России. М.: МИРОС; Международные отношения, 1993; Степанищев А. Т. История России в вопросах, задачах, графике. М.: Интерпракс, 1995; Шаг за шагом: Рабочие тетради. М.: Изд-во гимназии "Открытый мир", 1995; и др.

В статье использованы материалы, подготовленные В. Ю. Ивановым.

ИСТОРИЯ В ШКОЛЕ:
ОБРАЗ ОТЕЧЕСТВА В НОВЫХ УЧЕБНИКАХ

А. П. Шевырев

Когда мне было пять лет, в моем доме на стене висела политическая карта мира, и я хорошо помню свои чувства, которые охватывали меня уже в столь раннем возрасте при рассматривании этой карты. Я думал: "Как мне повезло, что я родился в самой большой и самой счастливой стране мира, а не в какой-нибудь Венесуэле или Дании". В то время я, разумеется, еще не читал учебников по истории, да и вообще, наверное, кроме Революции и Войны, не знал каких-либо исторических событий, но образ моей страны удивительным образом совпадал с тем образом, который формировали школьные учебники.

В советскую эпоху существовала стройная, цельная концепция отечественной истории, и эта концепция находила свое четкое отражение в учебниках по истории. В этой концепции можно выделить несколько постулатов, которые и определяли устойчивый образ Родины в сознании миллионов моих сограждан.

Во-первых, это единство исторического процесса во всех странах последовательно проходящих ступени исторического прогресса в виде общественно-экономических формаций. Россия в полном соответствии с теорией Маркса поступательно восходила от первобытности, минуя, правда, рабовладение, через феодализм и капитализм к социализму и устремлялась к высшей точки истории – коммунизму. Эта подчиненность Марксовым законам общественного развития составляла самую важную, хотя и самую скучную черту в историческом образе страны. Безликие экономические процессы набивали оскомину и порой вызывали законное чувство отвращения. Разочаровывало унылое следование в хвосте европейской экономической истории, которое, однако, с лихвой компенсировалось выходом страны в XX веке в лидеры мирового прогресса. Исторический оптимизм, вера в то, что СССР если еще не стал, то непременно станет первой в мире державой,– ради этого стоило изнывать над изучением законов исторического материализма.

Второй постулат сводился к тому, что основным содержанием жизни людей в прошлые эпохи была классовая борьба. Крестьянские восстания, рабочие забастовки, теории революционных мыслителей и деятельность революционных

организаций — все это выдвигалось в ряд важнейших событий истории. Поскольку ни одно народное движение, ни одно революционное выступление не завершилось победой вплоть до 1917 г., из учебников выводился довольно противоречивый образ их вождей: восхищала их преданность делу народного освобождения, но, с другой стороны, не могли не зарождаться подозрения в их скудоумии, поскольку анализ причин поражений восстаний выявлял одни и те же ошибки: непонимание того, что только пролетариат в состоянии свергнуть самодержавие и установить самый справедливый строй. Тем не менее это еще более усиливало веру во всемогущество партии большевиков. Сделав наконец-то ставку на рабочий класс, они последовательно решили ту задачу, которая не по силам была поколениям их предшественников.

В образе дореволюционной России этическое противостояние было тождественно классовому. На стороне зла находились господствующие классы и служившие им государство и церковь. За исключением сферы внешней политики и отчасти культуры, эти силы характеризовались своекорыстием, лживостью, вероломством и другими пороками. Подавляющее большинство мер во внутренней политике было направленно на усиление гнета трудящихся масс. Те формы, которые порождались сопротивлением угнетенного народа и играли роль уступок трудящимся, в конечном счете оборачивались обманом. Наконец, даже прогрессивные меры, направленные на укрепление государственного единства и усиление внешнеполитического могущества, в конечном счете также усугубляли и без того тяжелое положение народных масс.

Особенностью исторического восприятия прошлого в советской школе было то, что это прошлое было четко разделено на две эпохи: до 1917 г. и после. Первая эпоха играла роль предыстории Великой Октябрьской социалистической революции. Подлинная же история открывалась этой революцией. Но как это ни парадоксально, "подлинная история" менее всего походила на историю, особенно при ее приближении к современности. Она лишалась драматизма, поскольку классовая борьба уже не являлась внутренним двигателем советской истории. Силы зла по мере успехов в строительстве социализма выводились за пределы Советского Союза, и элементы драматизма сохранялись только во внешних конфликтах. Внутренняя же история становилась бесконфликтной, а потому и лишенной интереса. Отличалась "подлинная история" от предыстории еще и тем, что начисто утрачивала внутреннюю закономерность. Экономический детерминизм уступал место политической воле, которая находила свое выражение в партийных директивах. Разобраться в поворотах партийной политики, порой крутых, порой трудноуловимых, было нелегко, тем более что партийные решения излагались языком идеологических штампов, и это служило хорошим залогом веры в мудрость партии. Понять советскую историю было невозможно, полюбить тоже нелегко, но в ней нельзя было и усомниться, поэтому школьнику оставалось только верить в подлинность советской истории, в истинность исторического пути и в то, что понимание смысла современной истории требует высшего знания, недоступного простому смертному.

Образ передовой страны, вступившей в сферу неуклонного приумножения богатства и процветания, социальной справедливости и истинного гуманизма, страны, которая по законам истории непременно придет к царству всеобщего счастья, этот образ дополнялся и некоторыми чертами, которые соответствовали национальным традициям восприятия родной страны. Эти черты проявлялись в отношении к росту территории, борьбы с внешними захватчиками и связанному с этим укреплению государственного могущества, а также к достижениям в области культуры. В этих областях не было резкого противопоставления досоветской и советской эпох. На страницах учебников рисовался образ страны, постоянно ведущей борьбу против завоевателей, как с Востока, так и с Запада, в тяжелой борьбе обретшей так необходимые ей выходы к морям, освоившей огромные малонаселенные территории Севера и Сибири, присоединившей под угрозой со стороны иных завоевателей регионы Кавказа и Средней Азии и превратившейся в результате своей тысячелетней истории в могучую многонациональную державу. Внешнеполитические успехи были предметом гордости и славы Отечества. Упорством в вооруженной борьбе Россия, по крайней мере, дважды сыграла роль мирового спасителя: первый раз — приняв на себя основной удар монгольских полчищ в XIII веке, и второй — отведя от мира угрозу гитлеровского порабощения. Прославление героизма русского солдата и деяний русских полководцев на поле брани и гордость за величие державы — одна из немногочисленных нитей, связывающих образы истории в дореволюционных и советских школьных учебниках. Но если до революции образы военного прошлого служили делу воспитания преданности престолу, то в советское время они дополняли образ могучей социалистической державы, играя, безусловно, особую роль в военном воспитании.

Национальным традициям соответствовало и прославление деятелей культуры и их вклада в мировую культуру. Для советской идеологии было характерно лояльное отношение к классическому наследию в культуре, которое она противопоставляла модернистским течениям, шедшим с буржуазного Запада. Этого же требовали и имперские традиции покровительства культуре. Советскому человеку было чем гордиться в своей истории. Сопричастность боевым подвигам предков, созиданию огромной державы, мирному сожительству десятков народов, великой культуре — все это наряду с историческим оптимизмом коммунистической идеологии служило достаточной компенсацией в сознании за отсталость в сфере культуры производства и потребления, за правовую незащищенность перед той же всесильной державой. Вера в ее оборонную мощь, а также в неколебимость установленных порядков давала каждому гражданину уверенность в завтрашнем дне.

Разрушение с началом перестройки исторических стереотипов, а затем и самой господствующей идеологии, наконец, распад СССР поставили школу перед необходимостью качественного обновления образа прошлого нашей страны. Потребность в переписывании истории была осознана еще в конце 80-х годов, при этом особо актуальным стало новое представление истории XX века. Уже к 1989 г. учебники по этому периоду утратили всякое значение, и многие учителя вынуждены были компилировать собственные курсы из огоньковских, новомировских и других журнальных и газетных публикаций. Некоторую помощь оказал им Ю. С. Борисов, ставший к тому времени знаменитым благодаря своим публичным лекциям о Сталине и его системе. Он взял на себя смелость и ответственность по-новому представить период 20—30-х годов в небольшом учебном

пособии. Издательство "Просвещение" оперативно издало это пособие, а Государственный комитет по народному образованию рекомендовал его в качестве вкладыша к устаревшему учебнику для 9 класса (1).

Тем временем "Просвещение" активизировало свои поиски авторов для новых учебников, и два года спустя, когда советский режим уже рухнул, школа располагала двумя учебниками последовательно охватившими историю XX века (2). Актуальность пересмотра других периодов истории была менее острой, поэтому новый учебник по истории XIX в. появился только в 1994 г. (3), а по более ранней истории продолжает действовать уже более десяти лет учебник под редакцией Б. А. Рыбакова (4). Только в 1995 г. ему составил конкуренцию учебник издательства МИРОС (5), включенный в Федеральный комплект учебных пособий, рекомендованных Министерством образования.

С этого времени формируется новый ландшафт в мире учебников истории: в условиях конкуренции учитель получает не только право, но и возможность выбирать пособие по своему вкусу.

В данной же статье речь пойдет о той ситуации, которая еще определялась нерушимостью монополии "министерского" издательства "Просвещение", ситуацией, когда вся страна продолжала еще учиться по одним и тем же учебникам. Это было время, когда Министерство еще могло управлять формированием образов прошлого, но уже не знало, какими они должны быть. Школа располагала тогда упомянутыми уже четырьмя учебниками, последовательно охватывавшим всю историю нашей страны с древнейших времен до 1991 г., т. е. до распада СССР.

Учебник для 8 класса "История Отечества" вышел первым изданием еще в 1985 г., а в последующие годы лишь дорабатывался. Доработка в 1993 г. (она была выполнена Б. А. Рыбаковым и А. А. Преображенским) свелась к косметическому подновлению устоявшегося образа, но даже едва заметная косметика выявила некоторые противоречия и даже недоразумения в восприятии древнего прошлого.

Начать с того, что хотя учебник сменил после 1991 г. название с "Истории СССР" на "Историю Отечества" он обращен к историческому прошлому той территории, которая до 1991 г. являлась территорией СССР. Поэтому вслед за характеристикой первобытного общества история начинается с описания древних государств Закавказья и Средней Азии, а также греческих колоний в Крыму и Причерноморье. Трудно сказать, имели ли авторы в виду сохранить представление о единстве пространства бывшего Отечества, но воспринимается это скорее как недоразумение (и в советское время эти включения выглядели искусственно), нежели устойчивый образ нерушимости прежних границ.

Авторы учебника сохранили верность концепции экономического детерминизма и социологическая схема становления, утверждения и разложения феодализма по-прежнему занимает доминирующее место в книге. Главный итог знакомства с учебником сами авторы видят в том, что "отечественная история учит постигать законы общественного развития на богатейшем фактическом материале прошлого наших народов" (С. 273). При этом авторы никак не акцентируют своеобразие социальных процессов в России, признавая лишь определенное экономическое отставание от Западной Европы.

Если в социально-экономической истории авторы оставались верны прежней схеме, то отношение к классовой борьбе они пытались пересмотреть. По крайней мере, они отказались от тезиса о безусловной прогрессивности всех народных выступлений и признали, что народное "стремление к свободе и справедливости часто вело к жестоким и разрушительным действиям, которые не могут принести пользы" (С. 170). Однако уступки духу времени, сделанные авторами в отношении крестьянских восстаний лишили их возможности дать сколько-нибудь последовательную оценку этих движений. Это хорошо видно из употребления эпитетов в адрес восставших и правительственных сил. С одной стороны, по отношению к повстанцам применяются правительственные определения: "самозванец", "авантюристические наклонности", "кровавые расправы", "жестокое истребление", с другой стороны, правительственные войска названы "врагами" и повествование в целом исходит из антиправительственного лагеря. Образ классовой борьбы, таким образом, приобрел в новом учебнике и более современное звучание и более смутные очертания.

Еще одна уступка духу времени — это лояльное отношение к церкви. Так, значение понятия христианства оценивается теперь не только с точки зрения международной и культурной, но и социально-этической: "Новая религия проповедовала общечеловеческую мораль", "христианство уравнивало всех людей перед Богом, учило богатых помогать бедным. Все это примиряло противоречия в обществе и способствовало его поступательному развитию" (С. 50). Раньше, безусловно считалось, что примирение противоречий в классовом обществе тормозило его прогресс. По-другому стала оцениваться позиция церкви в период татаро-монгольского ига. Если в советское время призыв церкви к смирению и покаянию квалифицировался как предательство народных интересов, то теперь признается, что "в эти тяжелые годы церковь старалась утешить, вселить надежду в сердца людей" (С. 81), а "лучшие ее представители являли примеры высоконравственного поведения, милосердия и стойкости в жизненных испытаниях, что влекло причисление их к лику святых и создавало огромный авторитет у народа" (С. 114). Тем не менее религия и церковь не вошли еще органически в историю страны. За исключением церковного раскола в XVII веке, жизнь церкви не получила никакого освещения в учебнике.

При заметном ослаблении классового подхода в учебнике более рельефные черты стал обретать образ России как могучего государства, ведущего неустанную борьбу с иноземными врагами. Едва возникнув, Древнерусское государство — Киевская Русь, стала "самым большим государством средневековья", "охватило почти всю Восточную Европу", "кроме восточных славян в его состав входили народы и племена, говорившие на разных языках" (С. 48). Обретение новых территорий и защита завоеванных рубежей — ведущий мотив исторического повествования. Теме внешней политики и войн посвящено больше всего параграфов — 43. И это неслучайно. Сохранение независимости, а затем создание великой державы — вот главный, хотя и не декларированный исторический итог описанного в учебнике периода. Важнейший же нравственный урок, который преподносит школьнику история, это то, что служение Отечеству — высший долг гражданина. В учебнике ученику задаются несколько вопросов,

которые должны помочь ему сформулировать собственную гражданскую позицию. Приведем их полностью.

1. "Почему истинная любовь к Отечеству проявляется во время тяжелых испытаний?" (С. 150)

2. "Почему служение Отечеству является высшим долгом гражданина?" (С. 213)

3. "Почему беззаветное служение Родине — традиция российской армии и флота?" (С. 255)

4. "Можно ли рассматривать деятельность ученых как высшее служение обществу?" (С. 260)

Характерно, что только последний вопрос поставлен в альтернативной форме — занятия наукой все-таки могут вызвать некоторые сомнения с точки зрения гражданской пользы.

Тем не менее история культуры занимает в учебнике значимое место. Оно определяется воплощением в культуре национального самосознания. Важнейшая ее функция — "сплочение русского народа в единую нацию" (С. 269), этому способствовало и развитие языка, и географические экспедиции, и исторические изыскания. Этой же цели служили и военные победы: "Укреплению чувства национального достоинства, гордости за свою страну способствовали факты воинской доблести, верности долгу перед отечеством, защиты страны от внешних посягательств. Писателей и художников вдохновляли воинские подвиги русских солдат и полководцев" (С. 271).

Формирование национального самосознания — это единственная функция культуры, о которой пишет учебник. И надо сказать, что сам учебник вполне ориентирован на выполнение этой функции. Однако косметические поправки, которыми был подновлен исторический образ России, только нарушили его цельность. Если во внешней политике и культуре национальные и патриотические приоритеты сохранили свое значение, то непоследовательный отказ от классового подхода в социальной истории повел к ценностной дезориентации. Ни трудящиеся массы, ни церковь, ни государство не получили самодостаточного значения в истории, а осталась одна марксистская схема, которая к тому же не получает своего продолжения и заверения в последующих периодах истории.

Девятнадцатому веку русской истории был посвящен учебник П. Н. Зырянова "История России, XIX Век" (М., 1994). Необходимость современного переосмысления данного периода истории безусловно требовала отказа от прежних концепций с ее непременными атрибутами: развитием капитализма, отягощенным пережитками феодализма, как социально-экономической предпосылкой Великой Октябрьской социалистической революции; схемой освободительного движения тремя этапами восходящего к торжеству большевистской партии, внешней политикой, в которой справедливость и защита национальных интересов сочеталась с отдельными малопривлекательными акциями, обусловленными классовой природой самодержавия. Создание нового образа Девятнадцатого века неизбежно ставило перед автором также проблему выбора и ракурса исторического взгляда, и отношения к политическим и духовным ценностям.

Новизна подхода П. Н. Зырянова к подаче материала видна прежде всего в заметном ослаблении внимания к социально-экономической истории. При этом подавляющая часть текста относится ко второй половине века, когда происходили крупные сдвиги и в экономике, и в социальной структуре общества. Такое распределение текста дает ощущение резкого контраста между малоподвижной жизнью дореформенной России и переменами в экономике, а также усложнением социальной жизни после отмены крепостного права.

В социально-экономической истории для автора не представляют особой важности общие закономерности социального прогресса. Под пером П. Н. Зырянова пореформенная Россия предстает быстро развивающейся и процветающей под воздействием освобождения крестьян страной, в которой, однако, к концу века стали проявляться симптомы нарастающей нищеты, что было следствием главным образом не вполне разумной экономической политики правительства. Автор признает воздействие и объективных экономических факторов, но в конечном счете благосостояние страны все же зависело именно от государства, от его способности решать нарастающие социальные и экономические проблемы.

Государство в учебнике П. Н. Зырянова — одно из главных действующих лиц. В отличие от прежних учебников, где функции государства сводились к защите интересов помещиков, здесь оно пытается обеспечить благосостояние и процветание всех сословий, хотя самой надежной его опорой выступает опять-таки дворянство. Автор дает развернутые характеристики всех российских монархов, пытаясь показать, как психологические черты, уровень интеллекта, личные вкусы и пристрастия отражались на характере проводимой ими политики. Никому не отказано в добрых намерениях, но личные слабости, а в еще большей степени бюрократическое окружение препятствовало зачастую реализации добрых начинаний.

На самый первый план истории XIX века автор выводит русское общественное движение. Ему посвящена самая значительная часть текста, а самое главное, именно в сфере общественной мысли находится та точка, на которую автор ставит читателя, познающего историю XIX века. Если быть более точным хронологически и политически, эта точка находится в последнем десятилетии столетия в стане либеральных деятелей, близких к народничеству.

С этой точки зрения XIX век России предстает веком Освобождения (в книге есть главы, названные "Эпоха Освобождения", "Драма после Освобождения"). Автор не дает точного определения смысла Освобождения, но по тексту нетрудно догадаться, что подразумевается борьба за обретение прав человека, за утверждение в России правового государства. Успехи или неудачи на этом пути являются для автора главным критерием для оценки итогов тех или иных процессов. Так, историческое значение крестьянской реформы 1861 г. определяется, конечно, в первую очередь с точки зрения оценки открывшихся социально-экономических перспектив. Но здесь же подчеркивается, что "велико было нравственное значение реформы, покончившей с крепостным рабством. Его отмена проложила дорогу важным преобразованиям. Теперь, когда все россияне стали свободными, по-новому встал вопрос о конституции. Ее введение стало ближайшей целью на пути к созданию правового государства, которым управляют граждане в соответствии с законами и где каждый гражданин имеет надежную защиту" (С. 114).

Государство внесло свою лепту в Освобождение России. Высоко оценивается автором личная роль Александра II в проведении крестьянской и других реформ: "Александр II оставил по себе добрую память в народе" (С. 167). Но даже Царь Освободитель не смог удержать страну на том пути, по которому он ее повел, за что поплатился жизнью. Таким образом, именно на государство в конечном счете возлагается историческая ответственность за свершившиеся, а также и за предстоящие драмы и трагедии русской истории. Александр III в учебнике назван "Миротворцем", который не принес "настоящего мира", а в царствование его "среди обманчивого спокойствия были посеяны семена будущих бурь" (С. 172). И все же следует подчеркнуть, что российское самодержавие на страницах учебника П. Н. Зырянова приобрело гораздо более привлекательный облик, нежели в учебниках советского времени.

Подлинной освободительной силой в учебнике предстают деятели общественного движения. При этом при сопоставлении взглядов либералов, радикалов и консерваторов свои симпатии автор, не особенно маскируя, отдает первым. Тем не менее он допускает возможность и пользу иных взглядов, наглядно демонстрируя либеральную терпимость. "Крайние точки зрения, левые и правые, — пишет П. Н. Зырянов, — имеют право на существование. Они помогают найти компромисс, "золотую середину". Но сами по себе они чаще всего несостоятельны. Крайние решения почти неизбежно приводят к тяжелым последствиям" (С. 105).

Историю развития и распространения в России либеральных ценностей автор начинает с декабристов, сглаживая и приуменьшая революционную сторону их деятельности. Вооруженное выступление 14 декабря 1875 г. он трактует не как "военную революцию" и даже не как восстание, он видит в этом акт гражданского неповиновения (С. 46). Вялость и нерешительность декабристов на Сенатской площади превращаются под его пером в главное достоинство этого акта: "Имея в руках оружие, ограничиться мирным выступлением — в этом великий их нравственный подвиг и пример" (С. 47).

Самым светлым периодом в истории России представляется Эпоха Освобождения, когда власть пребывала почти в совершенной гармонии с либеральным движением и широко черпала идеи реформ у общественных деятелей. Но торжество консерватизма, исходящего из ближайшего окружения Александра II, в конце концов породило рост радикализма в общественном движении. Либерализм же остался достоянием узкого круга дворян и профессоров, так и не сумев консолидироваться в силу, способную заставить считаться с собой правительство. С большой симпатией пишет автор о деятелях либерального народничества конца века, "малыми делами" пытавшимися и побороть нищету крестьянства, и утвердить в обществе представления о правах и достоинстве человека. Но победу торжествовал однако гораздо менее приятный автору марксизм.

Отношение к радикально-демократическому движению у автора двойственное, что вполне соответствует либеральному взгляду на историю. С одной стороны, П. Н. Зырянов отдает дань революционерам за их "самые благородные черты: защиту интересов простого народа, прежде всего крестьянства, демократизм" (С. 139). С другой стороны, он негодует на радикалов за их пренебрежение вопросами защиты прав человека.

Заблуждения радикалов были бы не так опасны, если бы не близорукая политика власти: "Репрессии правительства привели к появлению и укреплению экстремистских группировок в революционно-демократическом лагере". Экстремисты же наносили делу Освобождения не меньший вред, чем реакционеры у власти: "Они несли освободительному движению угрозу самоотрицания, ибо ставили целью заменить самодержавие режимом революционного деспотизма" (С. 167). Итак, радикализм был опасен своей эволюцией в экстремизм, а катализатором этой эволюции служила репрессивная политика самодержавия. Эта мысль автора наглядно выражена им в образе В. И. Ульянова (Ленина). Не разрешив ему закончить образование в университете, чиновники поставили его в положение отверженного и тем самым толкнули его в подпольную деятельность. На его мировоззрении "мало отразилось юридическое образование, полученное наспех, экстерном. Наоборот, следуя установившейся в революционном движении традиции, он с презрением относился к «буржуазному» праву, к «буржуазным» конституциям" (С. 196).

Итак, XIX век в учебнике П. Н. Зырянова предстает в образе великой драмы идей, носителями которых выступали люди, искренне желавшие блага России. И от государства, и от общества исходило стремление к более совершенным порядкам, идеи конституции, гражданских свобод, прав человека разделялись наиболее здравомыслящими благородными трудолюбивыми деятелями. Государство страшилось этих идей, а для большей части общества они были явно недостаточны. В итоге в обществе нарастал радикализм, а государство, боясь последовательного движения вперед, делало все более крупные просчеты. Следствием этих просчетов и должен был стать тот кризис, начало которого уже выходит за рамки учебника.

В данной книге отдельная глава посвящена еще одной общественной силе — церкви. Эта глава — последняя в учебнике и стоит особняком от основного повествования. Такое размещение материала о церкви вполне соответствует той роли, которую автор отводит ей в истории страны. Дав характеристики нескольким выдающимся деятелям духовенства, автор с сожалением признал: "Православная церковь обладала большой нравственной силой. Но обстановка в ней была такова, что высокие образцы духовного служения стали нечастым явлением" (С. 244). Церковь пассивно относилась к социальным вопросам, покорно исполняла волю власти и с годами "начинала терять контроль над обществом". Безучастная роль церкви ускоряла наступление кризиса, т. к. "с падением авторитета церкви общество утрачивало стабилизирующий фактор" (С. 245).

Весьма важную роль в формировании образа России в учебнике по истории играют разделы по истории культуры. Это самая большая по объему часть учебника. Русская культура XIX века предстает в учебнике подлинным предметом национальной гордости. Архитектурные облики Петербурга и Москвы, яркие зарисовки творческих портретов художников, композиторов, актеров, характеристики эстетических вкусов, достижения ученых — все это представляет собой увлекательные очерки по истории культуры, наглядно убеждающие, что "лучшие ее достижения известны далеко за пределами России и составляют подлинную славу нашей страны" (С. 236).

Внешней политике России в учебнике П. Н. Зырянова уделено сравнительно немного места. Если учесть, что больше половины столетия Россия вела боевые действия то в Европе, то на Кавказе, то в Средней Азии, то следует признать, что Россия приобрела в учебнике довольно мирный образ. При этом нужно отметить еще и то, что внешняя политика в этом учебнике оказалась более связанной с событиями и явлениями внутренней жизни, чем это делалось в прежних учебниках. Автор иногда сам декларирует эту связь, считая, например, освобождение Болгарии от турецкого ига продолжением дела, начатого Великими реформаторами: "Русско-турецкая война 1877–1878 гг. вошла в общий контекст эпохи Освобождения и стала ее достойным завершением" (С. 154–155).

Вопрос о справедливости тех или иных войн, о соответствии действий дипломатии национальным интересам автором, как правило, не ставится. Поэтому в целом Россия выглядит в учебнике ни правой, ни виноватой. Правда, в тех случаях, когда русское правительство ведет себя не лучшим образом, обнаруживается, что другие ведут себя еще хуже. Объясняя мотивы политики Николая I на Балканах, автор разоблачает его корыстные устремления: "Николай не собирался дать подлинную свободу южным славянам,– и тут же частично обеляет его.– Но из всех европейских держав именно Россия оказывала им самую значительную и постоянную помощь в борьбе против иноземного ига" (С. 72). Объективизм автора простирается порой даже до военных действий. В описании Кавказской войны больше повествуется о событиях в стане горцев, чем о действиях русской армии. А Балаклавское сражение Крымской войны автор показывает с английской стороны, скорбя о трагических потерях в английской кавалерии.

Итак, учебник П. Н. Зырянова продемонстрировал принципиально новый подход к ценностям российского XIX века. Однако новизна эта только относительная. Методологические позиции автора тесно смыкаются с либеральной историографией конца XIX – начала XX в. Поэтому можно говорить о воскрешении тех ценностей и того образа русской истории, который уже существовал в сознании части русского общества. П. Н. Зырянову удалось сформировать довольно цельный образ России в XIX веке – образ, который дает надежду на реализацию тех ценностей, которые оставались невоплощенными с прошлого столетия. Образ ориентирует школьников на идеалы общественного служения, яркие образцы которого оставил в наследство тот же XIX век.

Учебником для 10 класса в постперестроечной массовой школе стало пособие Л. Н. Жаровой и И. А. Мишиной "История Отечества. 1900–1940" (М., 1992). Оно посвящено самому драматическому периоду в истории нашей страны и имело в силу этого особое значение для формирования в массовом сознании исторического образа Отечества.

В этом учебнике авторы демонстрируют ставший популярным в академических, а еще более в методических кругах так называемый цивилизационный подход. Он дает возможность рассматривать историю страны в контексте общемирового развития, выявлять особенности российской цивилизации, позволяет понять многие явления истории через цивилизационные сдвиги и взаимовлияния. Но при этом следует иметь в виду, что цивилизационный подход в сущности является европоцентристским, т. к. лейтмотивом истории России выступает ее поэтапное вовлечение в орбиту европейской цивилизации, а ее политические и социальные проблемы объясняются перманентной необходимостью модернизации, т. е. приспособления к достигнутым европейским стандартам в разных сферах жизни.

Авторы начинают свой учебник с повествования о распространении европейской цивилизации во второй половине XIX века по всему миру и обнаружившихся в ходе этой экспансии обществах традиционного типа. Противопоставление двух типов цивилизаций служит авторам поводом для постановки вопроса о том, "какая форма общественного развития была характерна для России?" Отвечая на этот вопрос, они обнаруживают в историческом пути России пример "наложения эпох", переплетения "двух тенденций развития – азиатской и европейской": "Российское государство, вырываясь из оков варварства, расплачивалось огромной ценой за прогресс, не уничтожая при этом традиционной основы". Соответственно и вопрос об исторических судьбах России для русской интеллигенции был "вопросом об отношении к европейской цивилизации и ее ценностям. Считалось ли ее образцом, достойным подражания, видеть ли ее конкретные проявления в России или отстаивать самобытность исторического развития страны?" (С. 7). Европейские ценности выступали, таким образом, главным критерием размежевания идейных течений внутри интеллигенции, а также тем ориентиром, по которому определяла свой исторический путь страна.

В последующих параграфах авторы учебника раскрывают основные понятия, характеризующие современную европейскую цивилизацию, а также этапы ее складывания. В социальной сфере вводится понятие гражданского общества, которое возникает в результате восхождения от общинного через корпоративный тип общественных отношений. В России "наложение эпох" порождало переплетение общинного и корпоративистского создания, а формированию гражданского общества мешало самодержавие. Оно было также несовместимым и с понятием правового государства, еще одним достижением европейской цивилизации. Наконец, выявляются четыре этапа развития капитализма: первоначальное накопление капитала; индустриализация; империализм; "постиндустриальное", "технотронное" общество. При этом отмечается, что "для стран Западной Европы и США была характерна последовательная смена одного этапа развития капитализма другим. Каждый последующий этап был подготовлен предыдущим, но при этом происходило отрицание основных признаков предшествующей стадии" (С. 30–31). Особенностью российского капитализма было все то же "наложение эпох": во-первых, "незавершенность процесса первоначального накопления капитала была причиной деформирования процессов индустриализации и монополизации" (С. 35), а во-вторых, "в результате двух одновременных процессов – индустриализации и монополизации – в России шла борьба двух тенденций развития капитализма – свободной рыночной конкуренции и ее свертывания монополиями", следствием чего было то, что "индустриализация в России усугубила старые проблемы и породила новые" (С. 44). Итак, учебник определяет те "верные" ориентиры, к которым устремлялась Россия, включаясь в "единую мировую цивилизацию", а также объясняет те факторы, которые сбивали ее с выхода на столбовую дорогу прогресса европейской цивилизации. Они в конечном счете и стали основной предпосылкой революции начала XX века: "Как

вследствие переплетения различных типов цивилизации, так и вследствие «наложения» эпох в России существовали элементы старого и нового. С одной стороны, за несколько десятилетий страна совершила стремительный рывок в своем развитии. Но одновременно накапливались последствия незавершенности процессов первоначального накопления и индустриализации. Все это сочеталось с пережитками феодальных и дофеодальных времен. Таким образом, существенно деформировалось капиталистическое развитие России, обострялись социальные конфликты" (С. 123). Детонатором же революции послужила Первая мировая война, вызвавшая кризис европейской цивилизации, и февральская революция стала "одним из поисков путей выхода из кризиса буржуазной цивилизации" (С. 145). Февральская революция поставила также перед Россией альтернативу дальнейшего пути развития: к демократии или к диктатуре. Поскольку в России "исторически преобладали элементы непосредственной демократии", при которой "скорое принятие решений в условиях непосредственного участия каждого в этом процессе рассматривается как благо по сравнению с любой «говорильней», где народные избранники неделями, месяцами не могут договориться друг с другом" (С. 162), то уже в скором времени после февральской революции назрел кризис представительной демократии, а затем и кризис буржуазной демократии в целом. Социальной основой тенденций к диктатуре стала маргинализация, под воздействием которой массы быстро левели и склонялись к поддержке социалистов. Революционная волна вынесла на гребень политической жизни большевиков, и они, придя к власти установили пролетарско-якобинскую диктатуру.

Такова предложенная авторами схема подоплеки Русской революции. Сам ход событий описан в учебнике достаточно подробно. Обилие фактов, имен, дат должно, по замыслу авторов, представить полную и объективную картину расстановки и действий общественно-политических сил. В учебнике приводятся точки зрения различных деятелей на происходящие события и перспективы их развития и школьнику предлагается самостоятельно решить, кто прав, а кто виноват. Однако подобная объективность фактически подводит читателя к мысли о фатальной обреченности России именно на такой исход событий, ибо в конечном счете он был обусловлен объективными закономерностями развития российской цивилизации.

Цивилизационный подход определяет ракурс взгляда авторов на историю. Тенденции развития лучше всего видны оттуда, где эти тенденции уже получили свое завершение. В советских учебниках история завершилась в коммунистическом будущем, ближе всего к которому находился тогдашний день советской страны. Именно к нему и устремлялась вся история, как всемирная, так и отечественная. Тенденции, о которых пишут Л. Н. Жарова и И. А. Мишина, также должны завершаться в будущем нашей страны. Однако они уже воплотились сегодня в "постиндустриальном" обществе Запада. "Верховенство закона, правовая защищенность личности, демократия, гласность — эти явления, закономерно вызревая в недрах капитализма, — вычленяют авторы достижения западного мира, — являются сегодня уже достоянием мировой цивилизации, представляют собой общечеловеческие ценности" (С. 30). Таким образом, точка зрения с позиции "общечеловеческих ценностей" является, по сути дела, точкой зрения современного Запада. Объективность и беспристрастность также более всего свойственны взгляду извне. Весьма примечательно, что задаваясь в начале учебника вопросом о форме общественного развития России, авторы тут же замечают, что "Россия всегда была загадкой для иностранцев" (С. 7). Текст учебника дает разгадку этой тайны, но разгадку, которая удовлетворит тех же иностранцев. Точно так же для иностранцев годятся зарисовки была различных сословий: крестьяне "ели, как правило, из одной миски, по очереди наполняя ложки, разговаривать и смеяться запрещалось" (С. 18), "дворянство предпочитало бывать на рождественских приемах и блестящих балах, где усыпанным бриллиантами великосветским дамам расточали комплементы галантные кавалеры в офицерских мундирах", "купцы любили традиционно русские кушанья: стерляжью уху, осетрину, белугу в рассоле, телятину, расстегаи из налимьих печенок, квас и т. д." (С. 20).

В изложении событий и явлений советской истории социологическая схема занимает столь же доминирующее положение. Эту схему упрощенно можно представить в следующем виде. В результате революции страна свернула с того пути буржуазного прогресса, по которому она шла в начале XX в. "Помимо рыночного хозяйства, — пишут авторы, — Советская Россия отвергла такие ценности, как гражданское общество, правовое государство, гражданский мир, права личности и т. д., сохраняя при этом приверженность идее прогресса через развитие в первую очередь производительных сил" (С. 235). Несмотря на это, "как и в начале века, наша страна середины 20-х годов представляла собой все тот же образец «наложения эпох»" и соответственно оставалась перед лицом все тех же проблем, порожденных цивилизационными особенностями и зависимостью от экономических темпов, задаваемых Западом: "В который раз в истории нашей страны власть столкнулась с необходимостью модернизации экономики" (С. 271). Однако Советское государство отвергнуло вариант решения этой проблемы через сближение с европейской цивилизацией, и в результате "огосударствление промышленности на десятилетия определило развитие экономики нашей страны, которая сохраняла явные признаки азиатского способа производства" (С. 280). "Черты азиатского способа производства проявлялись во всех сферах жизни советского общества 30-х годов" (С. 302): это — формирование командно-административной системы в сфере управления, строго регламентированный центром распределительный механизм в экономике, маргинализация и люмпенизация как социальная основа тоталитаризма, беззакония в правовой сфере, унификаторские тенденции в сфере национальных отношений, формирование массового репрессивного сознания и подавление проявлений свободной личности. Таким образом, ведущая тенденция в развитии Советского Союза и наиболее рельефная черта его образа в данном учебнике — это отступление в пути европейского прогресса и превращение в тоталитарное государство, основанное на азиатском способе производства.

Объективность и бесстрастность социологической схемы оттеняется драматизмом переплетения противоположных и взаимосвязанных черт советской действительности. "Героическая и трагическая, полная противоречий жизнь 30-х гг., — заключают авторы объяснение причин появления в стране диктатора и культа личности, — соединила в себе: массовый энтузиазм и отсутствие профессионализма и квалификации; революционную романтику масс и низкий уровень зна-

ний и общей культуры; веру в «светлое будущее» и преклонение перед вождем; трудовой подвиг стахановцев и политические процессы над «вредителями»; прославление героев и массовые репрессии" (С. 306). Учебник содержит в себе немало страниц, рисующих, с одной стороны, трагические эпизоды советской истории, с другой, примеры высокого духовного подъема, порожденного революцией. Стремление в любом явлении обнаружить диалектическое противоречие и дать беспристрастное объяснение этому противоречию ведет авторов к фактическому оправданию всех действующих лиц истории.

Объективный подход авторов к историческому материалу имеет, во-первых, целью способствовать развитию исторического мышления у школьников и тем самым возложить на самих учеников бремя ответственности за оценку ими тех или иных событий, деятелей, явлений. Во-вторых, все события получают свое объяснение из социологической схемы развития российской цивилизации под воздействием буржуазной цивилизации Запада. Более того, как это часто бывает в учебниках с четко выраженной исторической схемой, фактический материал больше обслуживает эту схему, нежели черпает себе из нее толкование. Отбор материала авторами делается не по иерархии его исторической значимости, а по методическому удобству. Ярче всего это выражено в разделе "Культура 20–30-х гг." Из всего спектра советской литературы этого периода выделены лишь имена Е. Замятина, Б. Пильняка, А. Платонова и А. Чаянова, при этом отмечено, "что «Венедиктов» Чаянова стал предтечей булгаковского «Мастера и Маргариты»" (С. 321), но ни слова не сказано о самом М. Булгакове и его произведениях. Обойдены молчанием и М. Горький, и М. Шолохов, и В. Маяковский, и С. Есенин. Повествуя о социальном заказе государства в области культуры, авторы подчеркивают, что "пристальное внимание Советское правительство стало уделять таким жанрам музыкального искусства, как джаз, танцевальная музыка, музыка кино и просто веселая, бодрая массовая песня" (С. 324), но не называют ни одного композитора, исполнителя, режиссера или актера. Цельность, законченность картины оказываются принесенными в жертву схеме.

Подводя итог обзору учебника Л. Н. Жаровой и И. А. Мишиной, следует признать, что смена формационной схемы цивилизационной радикально изменила ракурс видения русской истории первой половины XX в., однако, отход от классовой оценки событий повлек за собой отказ от какой бы то ни было исторической оценки вообще. В результате история России и СССР оказалась раздробленной на отдельные, порой произвольно отобранные эпизоды, и единственным началом, которое связывает эти эпизоды в единое целое стала схема развития российской цивилизации. Эта схема служит хорошей основой для размышления над российской историей, но оставляет мало места для сопереживания. История родной страны отчуждается от читателя и становится предметом логического анализа в рамках заданной схемы. Вне этой схемы образ России представлен калейдоскопом событий, имен, фактов хотя и не лишенных яркости, но не пробуждающих чувство сопереживания родной истории.

Четвертой книгой, предложенной российскому школьнику начала 90-х годов для познания родной истории стал учебник группы петербургских историков В. П. Островского, В. И. Старцева, Б. Н. Старкова и Г. М. Смирнова, освещающий события с 1939 по 1991 гг. Он посвящен самому трудному с методической точки зрения периоду истории, поскольку история здесь тесно переплетается с современностью, а историк порой выступает не только как исследователь, но и в качестве мемуариста.

Надо отдать должное авторам и признать, что им удалось воспроизвести на страницах учебника наиболее значимые факты истории, те события, которые глубоко врезались в память ныне живущим поколениям россиян. Авторы вполне доверились собственному опыту и благодаря этому воспроизвели в своей книге историю хорошо знакомую и легко узнаваемую. Можно даже сказать, что учебник служит средством прямой передачи социальной памяти одного поколения другому.

Авторы данного пособия отказались от конструирования истории согласно какой-либо выбранной схеме. Они как бы пошли за историей, повествуя о наиболее заметных событиях и явлениях в разных сферах жизни. Из этих фактов складывались законченные картины отдельных периодов в истории страны, а смена этих картин выявляла уже вполне определенную ее тенденцию. Эту тенденцию в наиболее сжатом виде можно сформулировать как освобождение страны от тоталитаризма.

Движение СССР по этому пути представляется в учебнике не как фатальный процесс. Авторы видят в истории уникальный опыт, имеющий свою логику, но отнюдь не прогнозируемый жесткими социологическими законами. Поэтому история современности в этом учебнике устремлена не к будущему, а к настоящему. Ракурс видения истории вполне современен, но не в смысле политической или идеологической актуальности, а в понимании обусловленности историей сегодняшнего дня. Вопрос о будущем остается в учебнике открытым, не скрывается вероятность дальнейшего развития истории по разным сценариям. Будущее страны детерминируется прежде всего волей самого народа, включая волю и тех, к кому этот учебник обращен: "Альтернативы исторического процесса существуют не сами по себе. В конечном счете они зависят от деятельности людей. Каждый человек совершает свой личный выбор. А выбор страны, выбор общества, выбор пути – это и наш с вами выбор" (С. 283).

Итак, какой же образ родной истории рисуют в своей книге петербургские историки во главе с В. П. Островским?

Самый большой раздел данного учебника составляют главы, посвященные Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Их текст занимает около 40% всего объема учебника. Такое внимание к войне вполне отражает реальное место этого периода в истории памяти народа. Великая Отечественная война всегда была самой трагической и в то же время самой величественной страницей советской истории. Вкладом советского народа в победу над фашистской Германией мог гордиться каждый советский человек, независимо от его отношения к советскому режиму.

Авторы учебника сохранили, а в чем-то даже усилили пафос величия и трагизма участия СССР во II мировой войне. То обстоятельство, что Советский Союз являлся тоталитарным государством, усугубляло трагизм, но не умаляло величия подвига советского народа. "Трагический парадокс истории состоял в том, – пишут авторы, – что народ, вступивший в борьбу с бесчеловечным, агрессивным, террористическим гитлеризмом, сам жил в условиях сталинского деспотического режима, приносившего страдания миллионам людей. Но выбор,

который был сделан народом в июне 1941 г., был выбором не в защиту сталинского режима. Это был выбор в защиту независимости Родины" (С. 109). Авторы не отрицают и того обстоятельства, что тоталитарная система способствовала в немалой степени мобилизации сил и ресурсов на победу над врагом. Так, перечисляя факторы обороноспособности СССР накануне войны, авторы, между прочим, рисуют довольно четкий образ своей страны: "Богатейшие запасы полезных ископаемых, созданная величайшими усилиями народа материальная база тяжелой промышленности, неприхотливое и трудолюбивое население, патриотически настроенная молодежь, упорно овладевавшая научно-техническими знаниями, жесточайшая централизация в политике и экономике, внедрение в умы миллионов людей представлений о стране как об осажденной крепости" (С. 12).

Страницы учебника о войне это страницы подлинно великой истории. Учебник с болью сообщает о потерях, которые понес советский народ, о тяготах, которые переносили бойцы на фронтах и рабочие и колхозники в тылу, о трагической судьбе военнопленных, оказавшихся пленниками ГУЛАГа после освобождения из плена. Но учебник пробуждает и чувство гордости за то величие духа, которое проявляли советские люди на войне, за победы над сильнейшим противником, за мастерство советских военачальников, за превосходство технической мысли, наконец, за тот авторитет, который обрела наша страна в мире за годы войны. Авторы учебника цитируют британскую "Историю второй мировой войны", в которой признается, что "из отлученной страны, которую можно было игнорировать и высокомерно обидеть, Советский Союз вырос в величайшую военную державу мирового значения" (С. 113). Образ СССР во Второй мировой войне — это образ великой державы и великого народа.

Больше всего места в остальных главах учебника отводится внутренней политике. Она служит в учебнике тем стержнем, который держит на себе все остальные сферы жизни: и экономику, и социальную историю, и культуру, и внешнюю политику. Она как бы отвечает за все стороны жизни народа и прежде всего за все ее негативные черты. Политическая история в учебнике — это главным образом сфера деятельности личностей, и на них возлагается в основном моральное бремя успехов и провалов в политике. Так, с именем И. В. Сталина связываются наиболее печальные страницы его правления. Там, где не прослеживается личная роль самого Сталина, ответственность возлагается на его исполнителей или на персонифицированную в его имени систему — сталинщину. Сам процесс освобождения страны от тоталитаризма чаще всего именуется в учебнике десталинизацией.

Хрущеву в учебнике отводится исключительная роль в начале борьбы с "культом личности". XX съезд КПСС назван его "звездным часом": "Особенностью ситуации стало то, что разоблачение сталинщины могло произойти лишь в результате инициативы первого лица в партии, бравшего на себя огромную личную и политическую ответственность" (С. 153). Взлеты и падения хрущевской политики объясняются как личными качествами самого Хрущева, так и политической борьбой внутри партийного руководства. Эта борьба на страницах учебника исполнена глубокого драматизма и привлекает внимание читателя неожиданными поворотами, остротой сюжета, запоминающимися деталями (достаточно упомянуть арест Берия или отставку Хрущева). Участники этой

борьбы, как правило, руководствуются в своих действиях холодным цинизмом, но не всегда в состоянии сдерживать нормальные человеческие эмоции.

Л. И. Брежнев, поддержавший Н. С. Хрущева в критический момент его борьбы за власть в 1957 г., "был на грани обморока" (С. 161), а у самого Хрущева в момент вынужденного ухода в отставку "на глазах были слезы" (С. 182).

Политическая история последующих двух десятилетий предстает более спокойной, но характер личностей, осуществляющих политический курс, придает свой колорит и этому бесконфликтному времени. Короткие, но емкие зарисовки Л. И. Брежнева, М. А. Суслова, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко удачно дополняют анализ политических мер и формируют яркие образы политических тенденций этого времени.

Наконец, заключительное семилетие советской истории (1985—1991) насыщено в учебнике политической борьбой, которую авторы также пытаются связать с характером и образом действия политических деятелей и по мере возможностей стараются отразить драматизм происходивших событий. Политической сфере в учебнике в определенной степени противостоят сферы социальная и духовная. Авторы с большой симпатией и сочувствием пишут о повседневной жизни советских людей, о тех трудностях, которые им пришлось переносить после войны, о постепенном росте их материального благосостояния и о проблемах, которые порождало стремление людей к обеспеченной жизни. Они не пытаются обусловить социальную жизнь советского народа чертами его ментальности. Вся ответственность за уровень жизни народа возлагается в учебнике на тоталитарный политический режим.

Народ в учебнике чаще всего представлен лицом страдательным, в разных сферах жизни зависимым от политической воли власти. В его образе авторы отмечают немало светлых черт: способность к самопожертвованию, веру в идеалы, патриотизм, духовность, — и с горечью признают, что эти качества цинично эксплуатировались тоталитарным режимом, который превращал порой народные подвиги в тяжелые драмы и даже трагедии. Подобная трактовка отношений власти и народа, хотя и представляется упрощенной, однако она дает читателю надежды на лучшую жизнь в иных политических условиях.

Если в области внутренней политики авторы не знают пощады в оценке действий власти, то гораздо осторожней они повествуют о внешней политике. Не скрывая просчетов, ошибок и даже преступлений советской дипломатии, они тем не менее не склонны возлагать на СССР всю ответственность за те кризисы, конфликты и войны, к которым наша страна была причастна. Эту ответственность в большинстве случаев СССР должен по праву разделить со своими противниками и союзниками на дипломатической арене. Так, подытоживая оценку сорванных переговоров с Англией и Францией и советско-германского пакта 1939 г., авторы пишут, что "нечистоплотная политическая игра, в которой каждая из сторон пыталась добыть безопасность за счет других, привела к тому, что проиграли народы всех стран" (С. 8—9). Ответственность же развязывание "холодной войны" в учебнике возлагается на США, где "уже через два месяца после окончания второй мировой войны начинают разрабатываться планы нападения на СССР с применением нового оружия массового уничтожения", и в силу этого "во второй половине 40-х гг. ситуация для Советского Союза

сложилась так, что обеспечение его безопасности зависело от быстрого создания собственного оружия как противовеса атомному шантажу США" (С. 143). Что касается роли Советского Союза в создании "социалистического лагеря", то признается, что "присутствие советских войск на территории стран Восточной Европы создавало мощный политический и психологический фон, который позволил привести к власти сторонников СССР". Но при этом подчеркивается и то, что "определенная часть населения стран Восточной Европы испытывала к СССР подлинные симпатии. Авторитет Советского Союза среди этой части населения народно-демократических стран основывался на той роли, которую сыграл СССР в разгроме фашизма, поддержке национальных интересов своих союзников на международной арене" (С. 146).

Учебник петербургских историков из всех пособий начала 90-х годов оказался, пожалуй, самым интересным по изложению материала. Он представил и самый цельный и яркий образ родной страны. Этот образ весьма богат и порождает разноречивые чувства. Авторы учебника довольно откровенны в изложении теневых сторон советской истории, но, как это ни странно, книга вызывает чувство уважения к этой сложной и драматической истории. Насыщенный фактами и героями, эмоционально взволнованный и пристрастный, учебник заставляет пережить историю. А сопереживание и сочувствие — это гораздо более сильный стимул для размышления над историей, нежели познание схемы и ее фактов. Учебник дает немало поводов и для гордости за свою страну. Это не только подвиг народа в Великой Отечественной войне. Это и великие достижения в культуре, и великие свершения в экономике, и международный авторитет, и интересные личности, и просто достойные поступки даже не во всем достойных людей.

Анализ четырех учебников по отечественной истории, принятых в качестве основных пособий в российской школе к середине 90-х годов, обнаруживает отсутствие не только единства, но и простой преемственности в освещении и осмыслении русской истории. Меньше всего в этой разобщенности курса родной истории виновато Министерство образования: у него не было иного выхода, как рекомендовать к массовому тиражированию те пособия, на написание которых отважились немногочисленные авторы. Помочь Министерству не могла и академическая наука: она сама оказалась в состоянии глубокого кризиса, утратив "верные" методологические ориентиры. Виной всему явилась общественная ситуация, идеологический вектор которой не имел ни ясно выраженной направленности, ни долговременной стабильности.

Но если академической науке затянувшийся поиск новых ориентиров доставляет определенное удовольствие, то учителя и методисты испытывают от этого преимущественно страдания. В этой ситуации Министерство образования предприняло два важных шага: во-первых, с 1993 г. был провозглашен переход на концентрическую систему преподавания истории взамен прежней линейной, во-вторых, с 1995 г. Министерство стало формировать Федеральный комплект учебников, в который могут быть включены несколько пособий по одному и тому же курсу. Это стало возможным благодаря появлению новых издательств, выпускающих учебную литературу ("Новая школа", МИРОС, "Дрофа" и др.), и падению, таким образом, монополии "Просвещения".

Министерство же в этой модели учебной политики взяло на себя функции "ночного сторожа", стремясь скорее препятствовать попаданию в школу недоброкачественной литературы, нежели способствовать формированию цельных курсов. Поскольку большинство издательств также не имеет единой концепции учебного курса, то разночтение истории еще более усугубляется. При разнообразии выбора у учителя, тем не менее, нет возможности выстроить курс из преемственных учебников.

Переход на концентрическую систему еще более осложняет задачи школы. Основная побудительная причина этой реформы — закон об обязательном 9-летнем (фактически 8-летнем) образовании. Школа поэтому вынуждена завершать линейный курс истории в 9 классе, а затем предложить ученику принципиально иной курс в двух старших классах. Вышедшие же в свет учебники для второго концентра отличаются пока от первого либо бóльшим схематизмом, либо бóльшим объемом фактического материала. В этих условиях страждущие осмысленности в своей работе учителя все более ощущают себя не обретшими свободу, а брошенными на произвол судьбы.

Новое поколение учебников по истории пока еще только формируется, точно так же как складывается новая модель образования. Ожидать же завершения этих процессов можно будет лишь тогда, когда общество придет к определенному консенсусу относительно ценностей прошлого и настоящего или когда к согласию приведет его государство.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Борисов Ю. С. История СССР. 9 класс: Материалы к учебнику для девятого класса средней школы. М.: Просвещение, 1989.

2. Жарова Л. Н., Мишина И. А. История Отечества, 1900–1940 гг.: Учебная книга для старших классов средних учебных заведений. М.: Просвещение, 1992; История Отечества: Учебник для 11 класса средней школы. М.: Просвещение, 1992.

3. Зырянов П. Н. История России, XIX век: Учебная книга для 9 класса средней школы. М.: Просвещение, 1994.

4. История Отечества: Учебник для 8 класса средней школы. М.: Просвещение, 1993.

5. Кацва Л. А., Юрганов А. Л. История России VIII–XV вв.: Экспериментальный учебник для учащихся 7 класса. М.: МИРОС, 1993; Юрганов А. Л., Кацва Л. А. История России XVI–XVIII вв.: Экспериментальный учебник для 8 класса средних учебных заведений. М.: МИРОС, 1994.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ

В УЧЕБНИКАХ 1995 ГОДА

А. В. Голубев

В российском обществе в последние годы произошла смена парадигмы мышления, связанная с кризисом еще недавно обязательной для всех идеологии. И именно это с особой остротой поставило вопрос об историческом значении и месте XX века в целом и советского периода, в частности, в истории России. Необходимо было взамен отвергнутой создать новую, столь же внутренне логичную, но более соответствующую исторической реальности, "работающую" модель отечественной истории XX века, которая могла бы послужить основой соответствующих разделов курса истории в средней школе.

Прежде всего встал вопрос о методологической основе данной модели. В последние годы разрабатывались и "примерялись" к российской истории новые, многообещающие подходы. Наиболее популярными оказались два — так называемый "цивилизационный подход" и "теория модернизации".

С точки зрения цивилизационного подхода, всемирная история как таковая делится не на этапы, стадии, формации, а на отдельные цивилизации ("культурно-исторические типы", по выражению Н. Я. Данилевского), которые различаются своими глубинными особенностями, как все живые организмы, проходят ранние, развитые, зрелые периоды и наконец переживают упадок и исчезают, а на их место приходят новые — со своей культурой, ценностями, особыми качествами и дарованиями, своим восприятием мира. История любого народа (или группы народов) неповторима и бессмысленно искать в ней общие стадии и закономерности. Относится это и к России, которую, как правило, вместе с остальным славянским (или, как вариант, православным) миром и Н. Я. Данилевский, и А. Тойнби (с оговорками), и другие выделяли в отдельный культурно-исторический тип. С этим выводом полемизирует теория модернизации. Она рассматривает историю последних столетий как постепенный и неравномерный переход отдельных стран и культур от традиционного, аграрного, ориентированного на стабильность общества к обществу современному, индустриальному (а сейчас уже — постиндустриальному), приверженному идее постоянного развития. Процесс модернизации и составляет сущность так называемого нового

времени; формирование же буржуазных отношений — лишь один из его аспектов. Это позволяет, по крайней мере для нового времени, рассматривать формационный подход как частный аспект модернизационного. Действительно, формационный подход концентрируется на развитии производительных сил и производственных отношений, теория же модернизации охватывает, помимо этого, все стороны социального и культурного развития. При этом, разумеется, каждая страна (культура) проходит этап модернизации по-своему.

При всей кажущейся противоречивости этих подходов, на самом деле они представляют собой лишь различные аспекты единого целого. В истории, несомненно, существуют разные цивилизации (культурно-исторические типы); вместе с тем они не просто повторяют или отрицают друг друга, накапливается и общецивилизационный потенциал. Так ли трудно сказать, к чему ближе современная Россия — к Киевской (или хотя бы Московской) Руси или все же к современной Европе? Как ни своеобразна наша история, как ни влияют на нее вековые традиции, особенности, модели поведения, ее последние столетия столь же успешно могут быть проанализированы в рамках теории модернизации.

Особенно актуальна теория модернизации применительно к последнему веку российской истории. Выбор ее в качестве основного методологического подхода может быть обусловлен двумя существенными причинами.

Во-первых, она позволяет оценить и систематизировать различные факты, тенденции, процессы, выступая таким образом в качестве полезного инструмента исторического исследования.

Во-вторых, она дает возможность, наряду с исследовательской, разрешить и важнейшую педагогическую проблему. Если раньше история СССР преподавалась как история успешной реализации великой идеи (с небольшими ошибками и необходимыми издержками), то в последние годы, напротив, получило распространение представление о советском периоде как, в лучшем случае, потерянном для истории страны.

Новый подход позволяет рассматривать советский период как эпоху реализации своеобразного варианта "догоняющей модернизации" и тем самым, не преуменьшая и не замалчивая трагических сторон эпохи, возвратить ей исторический смысл, которого она на какое-то время оказалась лишена. Нет необходимости доказывать важность этого аспекта. Не случайно именно подобные модели пользуются в последние годы наибольшим вниманием авторов лучших учебных пособий по отечественной истории для вузов. В той или иной степени основные положения этой теории нашли отражение и в новейших пособиях для средней школы.

Практически в любом пособии отмечена такая принципиальная особенность российской модернизации, как ее не совсем естественный, "верхушечный" характер. Это была модернизация "сверху", что характерно для всех стран "второго эшелона" модернизации (Германия, Италия, Япония), но в России степень доминирования власти над обществом была особенно высока. Осуществляя модернизацию, власть одновременно безмерно расширяла свои прерогативы и влияние за счет общества.

Как правило, не учитывается, что степень успеха модернизации нельзя измерять только цифрами экономического развития, степенью урбанизации или

количеством грамотных, хотя все это очень и очень важно. Модернизация предполагает, что культура данного общества сумеет как бы "подстроить" ее под себя, свои глубинные особенности и ценности, и одновременно — сама "подстроится" под требования модернизации. В России это произошло в недостаточной степени и привело к кризису российского варианта модернизации, кризису, который в значительной мере и предопределил 1917 год. Другими словами, российская революция, помимо прочего, оказалась реакцией общества на принятый вариант форсированной модернизации (что позволяет проводить, хотя и очень осторожную, параллель с Исламской революцией 1979 г. в Иране). И здесь мы вплотную подходим к вопросу о месте и роли "советских" десятилетий в российской истории.

В результате революции постепенно формируется политический режим, получивший название "тоталитарного", нашедший опору в массовом сознании и сумевший реализовать еще более жесткий вариант модернизации.

Существуют многочисленные определения понятия "тоталитаризм", "тоталитарный". Уже само их количество говорит об отсутствии ясности в этой проблеме. Делаются попытки, например, отыскать тоталитаризм на Древнем Востоке или в античном мире. Тем не менее, большинство исследователей сходится на том, что тоталитаризм — явление именно XX века, порожденное особенностями и противоречиями процесса модернизации. Важнейшей предпосылкой тоталитаризма являются такие аспекты модернизации, как разрушение многих социальных структур традиционного общества и появление так называемого "массового общества" с присущими ему институтами и моделями поведения.

Второй вывод, который, впрочем, является более спорным, — это представление о тоталитаризме не только как о следствии, но и как о форме модернизации в ее "догоняющем" варианте. В условиях кризиса обычного варианта модернизации (как это произошло в России) могут возникнуть условия для появления тоталитарного режима, который с большим или меньшим успехом попытается преодолеть отставание страны. Практика показывает, что этот путь недостаточно эффективен и обходится обществу несоизмеримо дорого, но, тем не менее, нет гарантии того, что он не будет испробован вновь и вновь как в странах "третьего мира", так и, возможно, в рамках СНГ (хотя в последнем случае, скорее всего, уже не в "социалистическом" или леворадикальном его варианте).

Режим, существовавший в СССР, сумел в значительной степени подчинить себе общество, и тем не менее, внутри него, иногда скрыто, а иногда и открыто, существовали и оппозиция, и сопротивление. Более того, несмотря на все усилия режима, общество постоянно восстанавливало свою структуру, что фактически оказывалось формой сопротивления режиму, ибо само наличие гражданского общества несовместимо с тоталитарным режимом, а эти независимые структуры, о которых шла речь, уже сами по себе и составляли элементы гражданского общества.

Подобными элементами, но существовавшими постоянно и постоянно находившимися в неприязненных отношениях с режимом (большей частью не по своей воле) были, в частности, различные конфессии. В отличие от других социальных структур, помимо организации, они предлагали и альтернативное,

при этом целостное и глубоко укорененное, существующее в течение столетий и вошедшее в саму ткань культуры мировоззрение. Одно это делало их потенциальным, но, тем не менее, подлинным конкурентом режима. И, с другой стороны, изменение внешних условий существования практически немедленно привело к масштабному росту их влияния и практической роли в обществе.

Вместе с тем историю России XX века ни в коем случае нельзя сводить к истории возникновения, эволюции и распада политического (тоталитарного) режима или даже формирования гражданского общества. Сохранялись такие принципиальные ее особенности, как поликультурность, полиэтничность, полицентризм. До настоящего времени и в исторических трудах, и в учебных пособиях особое внимание уделяется столицам. А провинция, где, по выражению В. О. Ключевского, и находится центр России, частенько остается вне поля зрения. То же самое можно сказать о национальных регионах — они изучались или по отдельности, или же — как объекты развития, а не равноправные партнеры. Почти не изучена роль местных, национальных, региональных элит, влияние полиэтничности на процесс российской модернизации, роль провинции в переломные эпохи, например, в годы революции или гражданской войны. А ведь именно там в начале века существовали многочисленные земские и прочие организации самоуправления, создававшие основу гражданского общества. Этот бесценный опыт в годы гражданской войны, когда ослабла власть центра, привел к возникновению множества новых независимых центров, и культурных, и политических, причем не только в так называемых "национальных регионах".

И советская власть, по крайней мере в первые годы существования, вынуждена была считаться с новой ситуацией в провинции. Постепенно централизация усиливалась, росло стремление к унификации, созданию полного единообразия. Но и тогда, вольно или невольно, ситуация поликультурности не только сохранялась, но и углублялась — в первую очередь за счет стремления развивать национальные культуры и готовить "национальные кадры".

Существующий понятийный аппарат, как в истории вообще, так и в сфере ее преподавания в частности, нуждается в существенном пересмотре, который не может быть сведен лишь к отказу от устаревших или неадекватных терминов. В настоящий момент понятия, используемые на уроках истории, по преимуществу относится к сфере социально-экономической истории. Однако, без понятий культурологического характера далеко не всегда можно адекватно объяснить все стороны произошедшего.

Это не означает призыва к сложному и даже сухому языку, которым, к сожалению, написаны практически все имеющиеся (в том числе и большинство "новаторских") учебные пособия по истории. Это относится даже к тем, что построены "в режиме диалога". Практика показывает, что важность языка пособия просто не осознается ни авторами, ни рецензентами, и считается лишь дополнительным плюсом (или минусом) для данного текста.

Приходится признать, что новые учебники, как правило, написаны более сложным, академическим языком, чем давно и справедливо раскритикованные пособия 1970—80-х годов. Это неизбежно ведет к восприятию истории с самого начала как сухого, неинтересного, во многом непонятного предмета. К тому же авторы новых учебников попытались увеличить насыщенность текста фактичес-

ким материалом, что, учитывая отсутствие у учащихся сформировавшегося навыка различать главное и второстепенное, нередко приводит к бессмысленному зазубриванию малозначительных фактов и потере ими исторической логики.

Разумеется, живая интонация не должна достигаться за счет уровня и мышления, и изложения. Качество потока информации в массовых коммуникациях сегодня свидетельствует о революционном смещении стандартов "массового человека". Еще 15 лет назад газетная публикация или телевизионный анализ разительно отличались от сегодняшних не только по идеологическим параметрам, но и по степени примитивизации реальности, по заботливому обереганию читателя от любых специальных терминов, знаний и идей, выходящих за рамки уровня начальной школы. Школьный учебник должен соответствовать стандарту полноценного социально-активного члена общества. В противном случае он также окажется скучным, и его не будут читать. В любом случае учебник не должен ориентироваться на самый нижний пласт учащихся.

1995 год оказался на редкость "урожайным" — не считая многочисленных пособий, опубликовано несколько оригинальных и достаточно объемных учебников и "учебных книг" (к сожалению, авторы не расшифровывают последнее понятие и не определяют его отличия от учебника), посвященных истории России XX века. В данном обзоре речь пойдет о некоторых из них, вышедших относительно большими тиражами.

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XX век: Учебная книга для 9 класса общеобразовательных учреждений.— М.: "Просвещение", 1995. 366 с. Тираж 500000 экз. Рекомендована Главным управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации.

Данная учебная книга хронологически охватывает 1900—1994 годы и является, в сущности, систематическим учебным пособием, в котором авторский текст сопровождается вопросами и заданиями, фрагментами документов, расшифровкой новых понятий.

Что касается основного содержания пособия, то оно явственно распадается на две части. Разделы I—III ("Эпилог великого процесса: Россия в 1900—1916", "Россия в поисках перспектив (1917—1927)", "Сталинская модернизация России — 1928—1938") представляют собой попытку хотя бы в какой-то степени переосмыслить привычные представления в рамках уже упоминавшейся теории модернизации. Пособие начинается с развернутой характеристики положения России на рубеже веков, отмечаются особенности российского варианта модернизации; к сожалению авторы ограничиваются ее социально-экономическими и (в меньшей степени) политическими аспектами.

Не в пример прочим пособиям, авторы лаконичны в описании военных действий в годы русско-японской и гражданской войн; зато достаточно ярко показано своеобразие, "многополярность" последней. Авторы справедливо отмечают социальные корни "Великого перелома" конца 1920-х годов, пытаются охарактеризовать тоталитаризм, утвердившийся в СССР, как политический режим, как форму государства, как "систему". Правда, в этой связи следует отметить упрощенное и в целом неверное представление о тоталитаризме, ярко выразившееся в следующей фразе: "Под тоталитарным государством понимают

такую форму государства, которая характеризуется полным (тотальным) контролем со стороны органов государственной власти над всеми сферами жизни общества, фактической ликвидацией конституционных прав и свобод" (С. 175). Очевидно, и это давно подмечено как в западной, так и в отечественной литературе, "полный контроль" над обществом невозможен даже теоретически, и тем более он никогда не был осуществлен на практике.

В первой части пособия содержатся существенные элементы социальной истории, отражены (хотя и недостаточно) изменения в качестве и уровне жизни, представления и настроения, господствовавшие в общественном сознании на переломных моментах истории, процессы, составившие в конечном итоге реальный советский вариант модернизации.

Однако, это не компенсирует преувеличенного внимания к социально-экономической истории, стремление максимально насытить текст цифровым материалом и, в общем-то, необязательными сведениями, а также отсутствия запоминающихся характеристик исторических деятелей.

Другие разделы пособия в сущности мало чем отличаются (если не считать фактического материала и политических оценок) от учебников советского времени. Даже та схема, в соответствии с которой строилась первая часть пособия, во второй его половине исчезает, сменяясь чисто описательными главами. Это заставляет задуматься о грани между "новейшей историей" и "современностью" — в западной науке в настоящее время она совпадает со второй мировой войной; изучение послевоенного периода, по представлению наших коллег, пока не входит в компетенцию историков.

Стремление авторов жестко соблюсти проблемное построение разделов порой нарушает причинно-следственные связи. Например, о русско-японской войне говорится уже после характеристики третьеиюньской монархии, и поэтому теряется понимание роли этой войны в первой русской революции; о негативных последствиях для экономики управленческих "реформ" рубежа 1950—60-х годов говорится уже после рассказа об отставке Хрущева.

Бросается в глаза почти полное игнорирование национальных аспектов. За исключением краткой характеристики этнического состава страны в начале века, речь о межнациональных отношениях заходит только в связи с принятием "Декларации прав народов России" 2 ноября 1917 г., то есть вне изучения остается одна из важнейших сторон революции. Бегло и поверхностно рассмотрены проблемы создания СССР, причем в этой связи допущено явно ошибочное утверждение, что после революции "ни на одной национальной территории, кроме Финляндии и Польши, не проявился зрелый "буржуазный национализм", вылившийся в образование действительно самостоятельных государств" (С. 143). Национальная политика сталинского периода сведена фактически лишь к росту русского национализма и борьбе с национальными движениями после войны. Авторы не рассматривают развитие межнациональных отношений даже в период перестройки, хотя они, несомненно, оказали существенное влияние на развитие событий. На наш взгляд, такое "замалчивание" не только конфликтов, но и достижений народов России не может, цитируя авторов учебника, "не вызвать в перспективе всплеска национализма в самих национальных регионах..." (С. 263)

Дмитренко В. П., Есаков В. Д., Шестаков В. А. История Отечества. XX век. 11 класс: Учебное пособие для общеобразовательных школ. – М.: "Дрофа", 1995. 640 с. Тираж 100000 экз. Пособие одобрено Федеральным экспертным советом и рекомендовано к изданию Министерством образования РФ.

Данный учебник ограничивается изложением российской истории с 1917 по 1993 год; начало XX века, таким образом, выпадает из поля зрения авторов. Конечно, "нельзя объять необъятное", но хотя бы краткий обзор предреволюционной истории России позволил бы лучше представить себе и кризис 1917 года.

В отличие от книги А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной, это в первую очередь политическая история страны. Язык учебника (особенно в первых его параграфах) отличается большей яркостью и живостью; меньше цифр, больше малоизвестных, но значимых деталей.

Авторы не стремятся строить абстрактные концепции (в пособии нет развернутых определений модернизации или тоталитаризма, хотя сами эти термины в тексте встречаются), отдавая предпочтение конкретно-историческому материалу. Довольно много внимания уделено национальным проблемам, в частности, рассмотрена эволюция национальной политики в различные периоды, ее значение для развития народов.

Однако в данном пособии гораздо слабее представлена социальная история. Если применительно к периоду революции и 20 – 30-м годам преобладают критические оценки, то, скажем, разделы о Великой Отечественной войне, за очень небольшим исключением, могли бы быть опубликованы и пятнадцать лет назад. Те параграфы, где авторы стремятся реализовать новый (не в идеологическом, а в научном отношении) взгляд на ключевые проблемы новейшей российской истории, например на гражданскую войну, оставляют впечатление недосказанности.

Островский В. П., Уткин А. И. История России. XX век. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: "Дрофа", 1995. 512 с. Тираж 100000 экз. Учебник рекомендован к изданию Министерством образования РФ.

С теоретической точки зрения учебник В. П. Островского и А. И. Уткина принципиально не отличается от остальных пособий. Как и в двух других учебниках особое внимание уделяется экономической и политической модернизации как предреволюционной, так и "сталинской", характеризуется сложившийся к 30-м годам тоталитарный режим, в материал, посвященный большей частью политической истории, включены элементы истории социальной. Учебник явственно распадается на две части, гранью между которыми опять-таки является начало Отечественной войны. Это, очевидно, связано с тем, что все учебники написаны либо двумя, либо тремя авторами, "поделившими" между собой основные хронологические периоды в истории страны. Отличительной чертой данного учебника является его идеологическая ориентация. По крайней мере, в довоенном разделе достаточно настойчиво проводится мысль о том, что революция 1917 года была обусловлена не столько объективными, сколько субъективными факторами, и последствия ее были катастрофическими. Победа большевиков в гражданской войне объясняется в первую очередь применением ими массового террора,

и во вторую – разнородностью противостоявшего им лагеря, а также недостаточной помощью союзников белому движению.

Ключевой фигурой российской истории, по мнению авторов учебника, является П. А. Столыпин. Его реформаторские замыслы и их реализация оцениваются исключительно высоко. С этим трудно было бы спорить, если бы не одна деталь – авторы не отделяют замыслы, оставшиеся на бумаге, от реализованных, и, соответственно, преувеличивают реальные достижения столыпинской политики. Односторонне показано и российское "экономическое чудо" начала века. Полемизируя с преувеличенными представлениями об отсталости России, авторы явственно впадают в другую крайность.

Стараясь по возможности объективно изложить различные взгляды на развитие России, существовавшие в предреволюционный период, авторы учебника явно симпатизируют "либерально-консервативному направлению" (не левее октябристов).

И дальнейшая история предстает порой в упрощенном черно-белом варианте. Характерно, что подробно и, если можно так выразиться, любовно, описаны перемены в быту, наступившие в первые полтора десятилетия XX века, а социальная история советского времени сводится в основном к показу трудностей (которые, впрочем, отнюдь не преувеличены). С началом войны акценты постепенно меняются, и авторы признают достижения режима в отдельных областях. К сожалению, это создает определенное противоречие, ибо если достижения все-таки были, то они закладывались в предшествующий период, и, следовательно, его однозначно негативная оценка нуждается в корректировке.

История современной России. 1985-1994: Экспериментальное учебное пособие. Под ред. В. В. Журавлева. М.: "Терра", 1995. 256 с. Тираж 50000 экз.

Экспериментальное учебное пособие, подготовленное Российским независимым институтом социальных и национальных проблем, предназначено для учащихся 11-х классов. Можно только приветствовать и смелость авторов, и ту основную установку, которую они излагают во введении: "Задача авторов не в том, чтобы сформулировать готовые ответы на все вопросы... дать им какое-то одно, определенное идеологическое, политическое истолкование", а в том, чтобы предоставить учащимся "возможно более объективную и надежную фактологическую, документальную, событийную основу для ваших собственных умозаключений и выводов" (С. 12).

К сожалению, этот принцип далеко не всегда выдерживается. Наоборот, в тексте учебника оценочный элемент порой преобладает над фактологией, причем, хотя это нигде не заявлено прямо, достаточно прозрачно просматриваются политические позиции, симпатии и антипатии самих авторов, и это влияет на многие нюансы изложения, создавая таким образом у учащихся определенные стереотипы. Речь идет не о том, что у авторов не должно быть своей позиции, но учебное пособие по определению должно носить гораздо более объективистский, отстраненный характер. Так, например, известная фраза Руцкого о "мальчиках в розовых штанишках" вынесена в заголовок параграфа, что создает у учащихся определенный стереотип (С. 132). Происхождение этой фразы затем разъясняется в тексте параграфа, но сама формулировка заголовка такова

("Либерализация цен и «мальчики в розовых штанишках»"), что не оставляет особых сомнений в солидарности с этой фразой авторов пособия.

На обложке учебника указаны хронологические рамки — 1985–1994. Кроме общего небольшого введения, им предпослана вводная глава, характеризующая состояние России накануне "перестройки" (С. 16). Написана она довольно удачно, хотя, может быть, чуть-чуть "в розовых тонах" (например, не упомянуто о скрытой инфляции, хотя и не сравнимой с современной, но растущей год от года, о коррупции и т. д.). Односторонне, на наш взгляд, изложен раздел "духовная жизнь" — там речь идет о росте "бездуховности" и одновременно о сохранении интереса к высокой культуре. Между тем в общественном сознании происходили скрытые процессы, во многом предопределившие перестройку и ее итог. Наконец, ни слова не сказано о политическом развитии страны (позднее в одном случае будет упомянута политика Ю. В. Андропова, но вскользь и без расшифровки; от современных учащихся трудно ждать, что они вспомнят о чем и о ком идет речь).

Казалось бы, основное внимание авторов должен привлечь период с 1985 по 1991, период "перестройки", исторически довольно четко очерченный и уже завершившийся. Однако раздел, посвященный 1985–1989 годам занимает всего 18 стр., раздел по 1990–1991 годам — уже 62, а раздел по 1992–1993 годам — 103 стр. При этом в книге по политической истории России отсутствует история формирования широкого спектра т. н. "неформальных" движений и организаций, сыгравших столь важную роль в переломный момент российской истории. Полностью выпал такой важнейший элемент "перестройки" как окончание "холодной войны" и вообще внешняя политика.

Слишком подробно изложена история деятельности Верховного Совета РСФСР, и недостаточно — история жизни самого общества. Как ни странно, учебник практически лишен персоналий. Развернутая характеристика дана лишь М. С. Горбачеву, но она, как кажется, поверхностна и необъективна (С. 38–39). Что касается Б. Н. Ельцина, то тут есть лишь ничего не говорящая биографическая справка. Остальные деятели современной российской истории (даже А. Н. Сахаров) упомянуты лишь вскользь. Не случайно отсутствует в пособии и указатель имен.

Среди новых учебников нельзя не упомянуть пособие нового типа, которое его авторы рассматривают как полноценную замену традиционных учебников. Речь идет о комплекте рабочих тетрадей по истории, разработанных авторским коллективом во главе с Ю. Л. Троицким. Отечественной истории XX века посвящены следующие тетради: "Россия на переломе. 1900–1917" (А. В. Мартин), "История Отечества. 1917–1939" (Е. Н. Захарова), "Советский Союз: годы испытаний. Великая Отечественная война" (Ю. Л. Троицкий, К. Б. Умбрашко) и "От СССР к России" (В. В. Кириллов).

Сам по себе принцип активного участия учащихся в освоении материала, декларируемый авторами комплекта, особых сомнений не вызывает. Опора на документы и факты, на сталкивание различных точек зрения — все это успело уже стать общим взглядом в современных представлениях о методике преподавания истории, но удачных пособий, написанных в соответствии с этими принципами, мало. И поэтому появление рабочих тетрадей, составленных по технологии, разработанной Ю. Л. Троицким, можно только приветствовать. Сами авторы комплекта считают, что подобные рабочие тетради должны полностью заменить учебник. Это мотивируется достаточно подробно (и со многим в этой мотивировке можно согласиться), но выводы все же вызывают сомнение. Да, любой учебник в той или иной степени "навязывает" учащимся определенную концепцию, но рабочие тетради, подобные предложенным Ю. Л. Троицким, способны "навязать" авторскую (составительскую) точку зрения еще более эффективно, хотя и не так заметно. Нет необходимости доказывать, что подбор документов и комментирующих их текстов (даже если не учитывать "наводящие" вопросы составителей), создавая иллюзию самостоятельности, тем не менее довольно прозрачно подводит учащихся к определенным выводам. Более того, вышеупомянутая иллюзия заставляет воспринимать эти выводы с большей убежденностью. Конечно, учебник рассчитан на согласие, но с ним возможна и полемика, ибо авторская позиция заявлена открыто. Справедливо подчеркивается, что некоторая фрагментарность в изучении истории вполне возможна. Но тогда почему избирается хронологический принцип построения тетрадей? Неясно, откуда должны учащиеся брать материал и для отбора значимых (на их взгляд) событий, и для оценки приводимых в тетради документов, и даже для критического анализа текста учебника 1983 года. Не стоит рассчитывать на их общую эрудицию — уже сейчас представления современных школьников о советском периоде истории весьма приблизительны и расплывчаты — "довлеет дневи злоба его..." Предполагается предварительный рассказ (лекция) учителя? Но тогда, чем это лучше текста учебника?

Авторы убеждены, что задача исторического образования состоит в демифологизации истории. Представляется, что эта задача невыполнима. Человеческое сознание мифологизировано по определению, и представления о мире строятся в соответствии с механизмами мифологического сознания, давно и подробно описанными. Можно лишь сменить одни мифы другими (более соответствующими, может быть, исторической правде, но идентичными по механизму формирования и функционирования). Кстати говоря, "борьба" с мифами советского времени в сознании современных старшеклассников иногда напоминает "бой с тенью" — они *этих* мифов просто не успели приобрести, они обзавелись *другими*.

В ПОИСКАХ ТЕХНОЛОГИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В. С. Тяжельникова

К 1991 г. отечественная историография подошла с более чем тридцатилетним опытом применения ЭВМ, значительной традицией направления, которое называлось "применение количественных методов в исторических исследованиях". Его отличительными чертами можно считать: открытость к междисциплинарному подходу, главным образом, к восприятию достижений экономической науки, элементов социологического исследования, традиций статистической школы и использование некоторых элементов прикладной математики.

Существовавшие до середины 80-х годов жесткие идеологические рамки делали возможным использование междисциплинарного инструментария в исследовании экономической истории России (1) и отчасти советского времени (2), в историко-филологических работах, связанных с атрибуцией древнерусских памятников (3), и разработке отдельных сюжетов социальной истории, которые вписывались в концептуальную схему официальной историографии (4). Развитие обозначенной проблематики нашло выражение в целой серии квантитативных конкретно-исторических исследований, оказавших серьезное влияние на отечественную историографию в целом.

Формальным координатором этого направления была Комиссия по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории АН СССР. Однако, функции комиссии были сведены, главным образом, к проставлению ее названия на сборники научных трудов. Кардинальные изменения в научном сообществе бывшего СССР, использовавшем междисциплинарные подходы в исследовательском процессе, наступили с появлением персональных компьютеров в основных учебных и научных центрах. С начала 80-х годов происходит интеграция усилий в области разработки и использования новых информационных технологий работы с историческим материалом, создаются первые базы и банки машиночитаемых данных, ведется работа по переводу накопленной ранее информации с перфокарт и магнитных лент на новые носители. Одной из важнейших проблем становится описание и хранение созданного и создаваемого информационного богатства. С этой целью отделение истории АН СССР в конце 1990 – начале 1991 г. приняло решение о создании Консорциума по базам данных в исторических исследованиях. Инициативная группа разработала стандарт описания баз и банков машиночитаемых данных (5) и начала публиковать первые такие описания (6). Инициатива специалистов не нашла финансовой поддержки, шел 1991 г. и материальная ситуация, в которой оказалась Академия наук, не позволила реализовать идею Концорциума в полной мере. Однако, деятельность по описанию баз данных была впоследствии продолжена И. М. Гарсковой, опыт проанализирован в ее монографии "Банки и базы данных в исторических исследованиях" (7), а лаборатория исторической информатики исторического факультета МГУ стала ведущим научным центром – собирателем машиночитаемых источников. Теоретические и методические проблемы, возникающие при создании баз данных мы рассмотрим более подробно ниже. В хронологическом плане можно сказать – вся вторая половина 80-х гг.– период активного создания исследовательских баз данных и увеличение числа работ, в которых банки и базы данных рассматриваются в качестве завершающей стадии источниковедческого исследования с применением количественных методов.

На рубеже 80–90-х гг. у большей части специалистов возникает неудовлетворенность в применяемых программных средствах, в их недостаточной гибкости, в необходимости переносить в компьютер либо отдельные фрагменты материала, либо его измененные части. Постепенно на первый план выходит проблема программного обеспечения, его специальных модификаций для обработки исторических источников и их отдельных видов, необходимости написания собственных систем обработки данных. Эта ситуация обусловила создание в 1992 г. Ассоциации "История и компьютер" – научного сообщества стран СНГ, ведущего активную профессиональную деятельность, проводящего конференции, выпускающего свое периодическое издание (8), сборники научных статей (9), тесно интегрированного в деятельность европейской ассоциации "History & Computing".

Определение предмета исторической информатики, задач этого направления, его специфики, а также проблемы соотношения с другими областями исторической науки последние несколько лет являются предметом оживленной дискуссии в обозначенном научном сообществе. Четкое определение этого направления еще не устоялось и поэтому необходимо познакомить с основными точками зрения и подходами. Ряд исследователей, особенно в начале развития этой области подчеркивали, что "историческая информатика является своего рода "компьютерным источниковедением" (10), другие считают, что специфика исторической информатики "заключается в характере источников и способе их обработки" (11), третьи придерживаются мнения, что "это новая ветвь компьютерных технологий" (12), а четвертые считают, что историческая информатика может включать источниковедение, историографию и методы исторического исследования (13). Наиболее полным на сегодняшний день можно считать определение Л. И. Бородкина, который считает, что "историческая информатика – это научная дисциплина, изучающая закономерности процесса информатизации исторической науки и образования; в основе исторической информатики лежит совокупность теоретических и прикладных знаний, необходимых для создания и использования

в исследовательской практике машиночитаемых версий исторических источников всех видов.

Теоретической основой исторической информатики является концепция информации (включая социальную информацию), а прикладной — информационные/компьютерные технологии.

Область интересов исторической информатики включает разработку общих подходов к применению информационных технологий в исторических исследованиях (в том числе — специализированного программного обеспечения) создание исторических баз и банков данных/знаний; применение информационных технологий анализа структурированных, текстовых и изобразительных и др. источников; компьютерное моделирование исторических процессов; использование информационных сетей/электронных коммуникаций; развитие других новых направлений информатизации исторической науки; а также применение информационных технологий в историческом образовании" (14).

Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день практическая задача исторической информатики — способствовать обеспечению потребностей практического исторического исследования, а именно: когда у историка-практика возникает потребность в источниковедческом исследовании историческая информатика должна (если может) продуцировать средства и методы такого исследования, аналогично — в ситуации с историографическим, историко-экономическим, социологическим исследованием, изучением истории вещей и т. п.

Следует особо обратить внимание на следующее: черпая проблемный материал из конкретно-исторических дисциплин и обогащая их общей информационной культурой, в рамках исторической информатики возникают конкретные средства и методы решения целого ряда проблем исторической науки. Не зависимо от того или иного подхода к определению предмета исторической информатики, ее задач и основных направлений главная методическая особенность информационного подхода к источнику связана с корректным решением проблемы перевода его сведений в машиночитаемый вид, принципами формирования баз и банков машиночитаемых данных, правилами научного описания машиночитаемых источников и обращения с ним в процессе исследовательской практики. Безусловно, главной является проблема полноты и корректности перевода источников в машиночитаемый вид, зависимость ее решения от существующего арсенала программных и технических средств, от концептуальной установки исследователя на стыке источник-компьютер. Поэтому идеология подхода к обработке данных является предметом второй, а по значению — центральной, дискуссии в рассматриваемом научном сообществе.

В исторической информатике 90-х годов сложилось отчетливое представление о различных подходах к обработке исторических источников. Анализ ситуации, возникающей при переводе источника в машиночитаемый вид, позволяет обозначить две выраженные тенденции: проблемно- и источнико-ориентированную. Существует также так называемый "объектно-ориентированный" подход, который может сочетать элементы как проблемно-ориентированного, так и источнико-ориентированного или целиком опираться на один из них.

Основным направлением в компьютерной обработке исторических источников в целом и в создании баз данных в частности в отечественной историографии до сих пор остается проблемно-ориентированый подход, который называется также модельно-ориентированным, традиционным, направленным на результат (15). Такой подход закономерно доминировал на этапе применения математических или количественных методов в исторических и других гуманитарных исследованиях. Это было вполне оправданно, поскольку интерес исследователей был сосредоточен на арсенале методов математической статистики. При изучении социально-экономической истории хорошие результаты можно было получить при достаточно элементарных навыках перевода источникового материала в компьютер, поскольку использовались, главным образом, количественные показатели, центр тяжести лежал в области математико-статистического моделирования (16). Поэтому было достаточно простейшей системы управления базой данных, а главным требованием к программному обеспечения было наличие развитого аппарата математико-статистической обработки.

Методо-ориентированный подход определен уже своим названием. Он представляет собой способ организации и обработки данных в условиях более или менее жесткого программного продукта. При таком подходе исследователь должен предварительно проанализировать и даже переработать источник для создания структуры базы данных. Уже на первом этапе — при отборе сведений источника — нужно четко сформулировать содержательную задачу, определить этапы и возможные методы исследования (17). Кроме того, заранее определяется смысловое содержание математической обработки — происходит предварительная возможная интерпретация. Несомненный минус используемого при таком подходе программного обеспечения — вынужденный отказ от перевода данных источника в машиночитаемый вид в их оригинальном виде, потеря структурного и семантического контекста.

Таким образом, основными этапами обработки исторических данных при ориентации на определенный метод являются:

1. постановка исследовательской задачи,
2. отбор тех признаков, которые, по мнению исследователя, наиболее полно отражают сущность исследуемого объекта,
3. определение типа таблиц, необходимых для хранения данных источника и их обработки.

Только после этого можно начинать вводить первичные данные.

Очевидно, что основными предпосылками правомерности методо-ориентированной обработки данных является историографическая проработанность темы исследования и наличие статистических или сильно структурированных источников. Если одна из названных предпосылок отсутствует, то четко сформулировать тему исследования крайне сложно и, тем более, заранее определить метод анализа. Отсутствие же статистических данных лишь усугубляет ситуацию: исследователь вынужден "производить" их сам путем подсчета частот встречаемости тех или иных категорий, кодирования текстовых данных и т. п. Очевидно, что в этом случае происходит интерпретация источника, изменяется структурный и семантический контекст сведений, происходит "выхолащивание" первичного информационного слоя источника. Но главное состоит в том, что все последующие математико-статистические построения происходят не на первичном материале, а на его интерпретации в виде базы данных. Поэтому, несмотря на оправдан-

ность методо-ориентированного подхода при изучении экономической истории, в большинстве случаев его применение в области социальной, культурной и ментальной истории не выдерживает критики.

Вторым направлением компьютерной обработки исторических данных считается источнико-ориентированный подход (18). Целью источнико-ориентированной обработки данных является подготовка условий для того, чтобы источник мог быть воспроизведен на компьютере во всей полноте имеющегося в нем информационного содержания и максимальном приближении к оригиналу. Ориентация на источник как таковой и усилия по его максимально адекватному воспроизведению на компьютере вытекает изначально из стремления: 1) не ограничивать последующий анализ источника преждевременным вынужденным кодированием, нормализацией и стандартизацией сведений в процессе ввода данных; 2) иметь в распоряжении многофункциональный набор средств анализа как таковой.

Безусловно, что такая цель требует больших усилий по реконструкции внутреннего рисунка информационных компонентов источника, практически полного перевода первичного материала в компьютер как качественного, так и количественного. Однако, как показывает отечественный опыт применения источнико-ориентированных систем, цель вполне оправдывает средства. Исследователь не связан жестко поставленной проблемой, диапазон конкретно-исторических задач при работе с такой базой данных практически не ограничен (19).

Являются ли эти подходы альтернативными и какова перспектива развития проблемно- и источнико-ориентированной обработки данных в целом, каков характер аргументов последователей первой и второй тенденции в исторической информатике? Основная сфера аргументации — исследователь, его привычки и удобства. Главный упрек в адрес источнико-ориентированного подхода — значительно более высокая трудоемкость (20) и недружественный к пользователю интерфейс (21). Однако, возникает закономерный вопрос: почему обработка исторических данных должна быть простой и быстрой процедурой? Очевидно, что познание такой сложной материи как исторический источник предполагает высокий уровень подготовки исследователя и кропотливый многолетний труд. Заметим, что других аргументов против источнико-ориентированного подхода — ни методического, ни методологического характера в современной историографии не содержится.

С другой стороны, среди сторонников проблемно-ориентированного подхода уже сложилось четкое осознание того, что так называемые стандартные или коммерческие программные продукты, которые успешно применяются для статистического анализа, не могут адекватно отразить источник во всей его полноте и с учетом всей его специфики. Понимание этого приводит к модернизации и приспособлению стандартных программных средств к осознанной специфике. По всей видимости, можно сказать, что пользователи, работающие со стандартными средствами не хотят (а в ряде случаев не могут) игнорировать особенности исторического материала.

Таким образом, сегодня необходимость учитывать специфику исторического источника как можно более полно является общепринятым положением при создании баз данных вне зависимости от того какого из названных подходов придерживается тот или иной исследователь. Можно предположить, что сфера дискуссии постепенно переходит к различному выбору конечной цели исследования и определению его задач. В целом, вопрос сводится к следующему: может ли анализ источника, отработка компьютерных средств работы с ним быть конечной целью исследователя или же результатом может считаться только продвижение в какой-либо из конкретно-исторических областей? Для любого историка, вне зависимости от характера инструментария, конечной целью исследования должно быть продвижение в изучении какой-либо из исторических проблем. Все вопросы, связанные с источником, стратегически должны носить подчиненный характер. С другой стороны, для отечественной историографии, которая выделила источниковедение в самостоятельную научную и учебную дисциплину, традиционно правомерным является чистый источниковедческий результат, рассматриваемый как первый этап продвижения в познании исторической действительности. Поэтому при неизбежной перспективе сближения проблемно- и источнико-ориентированной тенденции в обработке данных еще довольно продолжительное время сюжеты, связанные со спецификой исторических источников и разработкой адекватного этой специфике программного обеспечения, будут иметь особое значение, а результаты, полученные в этой связи, самостоятельный характер.

Центральной технологической проблемой в исторической информатике является проблема создания баз данных. Она включает целый комплекс вопросов организации сведений источника в идеологии того или иного программного обеспечения, но также затрагивает важные моменты, связанные с описанием и многоаспектным использованием создаваемого информационного богатства. Понятие "база данных" вошло в историческую науку не сразу. В первых работах, где применялись количественные методы анализа исторических источников доминировали термины "машиночитаемые документы" или "машиночитаемые данные", обозначавшие массив отобранного из исторических источников материала для обработки на ЭВМ (22). Наряду с постановкой проблем хранения, каталогизации информации, обобщения зарубежного опыта, к середине 80-х годов на первый план выходит информационное обеспечение исследования как особая источниковедческая задача (23). Характерно, что многие работы этого рода связаны с социально-политической историей, однако в них еще преобладает термин "архив машиночитаемых данных", а понятие "база данных" скорее эквивалентно понятию источниковой базы исследования. На рубеже 80—90-х годов появляются работы, в которых рассматриваются "базы данных" в том смысле как они понимаются в информатике (24). Все это позволяет говорить о банках и базах данных исторической информации как о завершающем этапе источниковедческого анализа в исследованиях с применением информационных технологий, а также рассматривать их как самостоятельный практический результат такой работы. Наиболее удачным представляется определение банка данных как системы "информационных, математических, программных, языковых, организационных и технических средств, предназначенных для централизованного накопления и коллективного многоаспектного использования (25). Таким образом, банк данных — информационная система в определенной предметной области, включающая в свой состав весь комплекс специальных методов и средств для создания и поддержания динамической информационной модели этой предметной области с целью обеспечения информационных запросов пользователей (26).

Основой банка является база данных. База — это интегрированная совокупность данных, предназначенная для многофункционального использования и модификации многими пользователями с обязательными процедурами ввода, просмотра и редактирования, выполнения запросов и выдачи отчетов, которые реализуются с помощью программного обеспечения (27). Формирование базы данных зависит от: 1) исследовательских целей и задач; 2) особенностей комплекса массовых источников; 3) возможностей выбранного программного обеспечения; 4) квалификации персонала; 5) финансовых возможностей.

Обобщение отечественного опыта создания исторических банков и баз данных в контексте проблемы информационного обеспечения исторических исследований, технология этого процесса и его современные тенденции представлены в монографии И. М. Гарсковой, подводящей итог накопленному за последние 10 лет опыту в этой области (28). Книга дает "представление об общих и практических вопросах создания баз данных" (29), написана специально для историков, в тесном контакте со специалистами, профессионально работающими над созданием баз данных и не мыслящих историческое исследование вне этого процесса.

В монографии рассматривается технологическое обеспечение исторических исследований в тесной интеграции с общими закономерностями информатики как новой науки и исторической информатики как ее составляющей. Автор дает определение информатики как отрасли науки, которая "изучает структуру и общие свойства научной информации, а также закономерности ее создания, преобразования, хранения, передачи, поиска и использования" (30). Приведенное определение является ядром авторского подхода к проблеме исторической информации. Не случайно поэтому от определения И. М. Гарскова переходит к проблеме машиночитаемых источников и архивов машиночитаемых данных в историко-социальных науках. Рассматривая ситуацию в сфере банков и баз машиночитаемых данных она затрагивает проблему хранения информационного наследия и называет функции, которые должны выполнять архивы машиночитаемых данных, среди которых: 1) разработка принципов хранения информации; 2) организация защиты информации; 3) активизация вторичного использования информации; 4) стандартизация критериев описания данных; 5) оценка стоимости и архивирования машиночитаемых файлов; 6) регулирование отношений между архивом и разработчиками машиночитаемых данных (31).

Оперируя в категориях информатики, И. М. Гарскова рассматривает технологию баз данных и обозначает основные этапы их обработки. Книга подводит итог этапу создания исследовательских проблемно-ориентированных баз данных, который хронологически охватывает все 80-е годы, когда реляционный подход к компьютерной обработке источников был безусловно единственным и оставался доминирующим, а его господство совпало со временем, когда произошло становление компьютерной истории на профессиональной основе. В этом смысле обобщение автором опыта, накопленного в эти годы, играет первостепенную роль как в плане осмысления этапа становления новой предметной области (и дисциплины), так и в смысле обучения историков и архивистов, которые будут пользоваться базами данных, созданными в этот период. Логика изложения подводит к выводу о том, что в отечественной компьютерной истории начинается новый этап, основной чертой которого будет переход историков от обработки

исторических данных к обработке исторических источников. В этой связи при создании базы данных — направленной модели предметной области, по определению автора, в качестве такой предметной области будет, наконец, выступать сам исторический источник как сложнейшая совокупность элементов отраженной реальности. Изменятся также средства создания исторических баз данных — произойдет окончательный переход историков от работы со стандартными системами управления баз данных к специальному программному обеспечению для историков (к системам типа KLEIO, CensSys и им подобным). Специальные системы, ориентированные на историков (их потребности и способности) и на источник (прежде всего его специфику) позволяют уже сегодня моделировать в машиночитаемом виде сложную композицию первичного материала, органически присущий источнику рисунок связей между субъектами исторической реальности и причинно-следственными этапами исторической действительности.

Главной методологической посылкой, определяющей идеологию развития информационных технологий, является поиск средств организации исторического источника на компьютере в наиболее адекватном оригиналу виде. С точки зрения информатики исторический материал — наиболее трудный объект воспроизведения программными средствами. Это связано с системными свойствами исторических реалий как таковых: неравномерностью отложившихся сведений (их "пробельностью", наличием информационных пустот или лакун), слабо формализованным характером подавляющего большинства источникового материала, наличием нелинейных связей между субъектами и объектами отраженной исторической действительности, свободным текстовым характером подавляющего большинства источникового материала и необходимостью интеграции на компьютере источников разных видов. Преодоление названных "естественных преград" и составляет суть генерального направления применения компьютерных технологий в исторических исследованиях.

Поскольку российская историческая информатика тесно интегрирована в европейское направление "History & Computing", то и в ее развитии естественным образом проявляются сильные и слабые стороны этого сообщества. Одним из центральных элементов развития исторической информатики в целом в первой половине 90-х годов стало широкое внедрение в исследовательскую практику появившихся несколько ранее специальных компьютерных систем, ориентированных на специфику исторического материала. В ряду таких систем важную роль играет KLEIO, получившая широкое распространение в европейских научных центрах, так или иначе связанных с обработкой дынных. Автор KLEIO Манфред Таллер стал организатором международного объединения проектов "Рабочее место историка", суть которого заключается в создании на компьютере всех необходимых в исследовательской практике программных средств. Ядром этого проекта является KLEIO, принадлежащая к классу гибких систем, моделирующих искусственный интеллект. Она позволяет обрабатывать источник на компьютере в его естественном виде, связывать несколько баз данных и обрабатывать их как единое целое, формировать и включать в обработку внеисточниковую информацию (так называемые "базы знаний"), предлагает максимально гибкий арсенал методов обработки разных типов данных вплоть до географических карт и изображений. Эта система с 1993 г. развивается и успешно приме-

няется и в России в рамках совместного исследовательского проекта между Московским городским объединением архивов и Институтом истории Общества Макса Планка (Геттинген, Германия). Главный результат трехлетней работы — русская версия системы, издание руководства по работе с ней (32), и описания языка системы на русском языке (33). В рамках этого проекта KLEIO прошла апробацию на исключительно сложном для компьютерной обработки материале — личных делах лиц, ходатайствовавших о восстановлении в избирательных правах в 20—30-е гг. по г. Москве (34). На основе этого комплекса документов была создана база данных "Лишенцы" (35) и написан ряд статей по его источниковедческому анализу на основе использования компьютерных технологий. Главными направлениями такого анализа стали: разработка методик оценки информационного потенциала комплекса личных дел, определения выборки для решения той или иной конкретно-исторической задачи (36), компьютерного анализа противоречий нарративных источников (37) и способов гибкого структурно-семантического кодирования данных как основы последующей статистической обработки (38). Полученные результаты позволяют говорить о решенности подавляющего числа вопросов организации нарративного материала в среде базы данных KLEIO и наличии готовой инфраструктуры по целому ряду направлений для обработки больших массивов данных по советской истории межвоенного периода.

При полном переводе источника в машиночитаемый вид проблема подготовки данных для статистической обработки, хотя и получает максимально гибкие возможные решения, но не исключается вовсе. Более того, этот "участок пути" — от данных "описанных элементами естественного языка, как правило слабо структурированными семантически и синтаксически, с одной стороны, и формализованным набором данных, который уже может быть рассмотрен как объект применения строгой статистики, с другой" (39) — является сферой применения интересного программного продукта, разработанного Е. Б. Беловой. Основная задача автора — создать верифицируемую количественную основу на этапе формирования и отбора неколичественных признаков для статистического анализа. На каждом этапе "рафинирования" данных можно проводить их качественную оценку и корректировку отобранного материала. Работа является оригинальной и по замыслу и по воплощению, она демонстрирует глубинное понимание автором сущностных аспектов осмысления исторического материала, которое позволит существенно продвинуть технологическую компоненту исследований в целом.

Источнико-ориентированные технологии целый ряд авторов рассматривает несколько шире, чем информационные системы для обработки исторических данных. Это новая идеология отношения к информации вообще, ставящая в центр внимания сохранение инфраструктуры данных (структурной, семантической), а также позволяющая воспроизвести историографическую и культурную среду исследовательского процесса (40).

Объектом применения компьютерных технологий являются не только письменные источники. Такого рода разработки применяются в археологии (41), ономастике (42) и в других вспомогательных исторических дисциплинах. Так, важной представляется разработка А. Н. Петрова (43), которая позволяет адекватно воспроизводить на печати материалы в русской дореволюционной орфографии. Эта проблема встала перед автором при анализе полнотекстовой базы данных по материалам стенографических отчетов государственной Думы I созыва (1906 г.). Хотя А. Н. Петров и работает с источниками начала XX в., концептуальные построения его разработки совпадают с подходами, применяемыми при анализе древних славянских манускриптов (44): разработка авторской компьютерной азбуки, "обучение" ей компьютера, собственно анализ памятника.

Таким образом, можно сказать, что российские специалисты не только применяют апробированные в мире компьютерные средства работы с источником, но и создают свои собственные оригинальные технологии обработки исторического материала.

Если технология работы с источником — сравнительно новое направление для российской историографии, то анализ исторических данных, особенно применение сложного математико-статистического моделирования — направление, которое, как уже было показано выше, имеет свою устойчивую традицию.

В компьютерном анализе исторических данных на сегодняшний день представляется возможным выделить две основные тенденции — текстологию и квантитативную историю, основанную, главным образом, на статистическом анализе.

Хотя текстология тесно связана с источнико-ориентированной обработкой источников, прежде всего, полнотекстовых, ее специфика как самостоятельной ветви информационных исследований заключается в разработке специальных аналитических процедур применительно к нарративному материалу. Основным методом обработки текста является контент-анализ и различные варианты его творческого развития. Наиболее сложным в концептуальном отношении признанно считается этап формирования на основе текстового материала категорий контент-анализа, поскольку именно в критериях отбора категорий собственно и реализуется аналитический этап работы с текстом. В работе А. Г. Голикова (45) анализу подверглись несколько сотен статей российских газет периода I мировой войны, в ней подробно описана предварительная фаза — отбор категорий и их критерии. Тем же методом анализирует нормативные акты 20-х годов С. Ф. Гребениченко (46), справедливо дополняя исследовательский процесс статистической обработкой категориального материала методом факторного анализа.

Классическим жанром современной текстологии можно считать компьютерный анализ уникальных памятников. Ярким примером такой работы является попытка создания компьютерной модели текста и анализ различных аспектов корректности этого процесса, выполненный А. М. Перловым на примере работы "Некоторые аспекты восприятия власти в IX веке по материалам «Vita Anskarii» авторства Римберта" (47). Отправной точкой авторского подхода является осмысление памятника как совокупности смысловых категорий. Кажется справедливой мысль автора о том, что если анализ источника невозможен без формализации в принципе, то лучше, если эта формализация будет верифицируема.

Иного подхода к текстовым источникам придерживаются исследователи, изучающие отражение в них различных аспектов политического, социального, делового поведения. Это можно проследить на примере работы по анализу стенограмм государственного совещания 1917 г. (48) и делопроизводственной документации фирмы "Зингер" (49). Представляется интересным подход М. А. Поли-

карпова, который делает попытку проанализировать "реакцию зала, парадигму "трибуна-аудитория", соотношение монолитности и диверсификации аудитории, динамику эмоционального восприятия залом ораторов" (50).

Анализ современной компьютерной текстологии показывает, что на сегодняшний день нет единой и цельной методики, тем более реализованной в виде какого-либо программного продукта. Однако, методологические подходы к обработке нарративного материала можно считать вполне устоявшимися.

Квантитативная история, как уже неоднократно подчеркивалось, имеет собственную историографическую традицию в России. В этой связи попытаемся проанализировать то новое, что появилось в этой области за последние пять лет и обозначить основные направления квантитативных исследований.

Безусловно, новой тенденцией можно считать разработку так называемых "продвинутых" средств статистического анализа, которые построены на специфике исторической статистики. Следует назвать три особенно сильных разработки — это программное обеспечение FUZZYCLASS, статистический пакет "CLAMS" и статистический пакет АНАРХИСТ (АНализ АРХивных ИСТочников), позволяющие серьезно повысть гибкость статистической обработки (51), которые успешно применяются в исторических и социологических исследованиях. Главная отличительная черта таких работ — подход к обработке исторических данных через информационную систему, через реализацию новых, более совершенных возможностей таких систем и создание оригинального программного обеспечения под конкретные задачи обработки. Работы авторов, создающих программное обеспечение самостоятельно, представляют несомненный интерес в силу особой природы исследовательской задачи, которую они пытаются решить. Так, проблема компьютерного экономического барометра современной России в центре внимания признанного специалиста по экономической истории Ю. П. Бокарева (52). Опираясь на концепцию единых экономических индикаторов и разработав собственную программу обработки экономических переменных, получаемых по корреспондентским данным, автор, начиная с ноября 1991 г. не менее чем за месяц предсказал все существенные изменения в российской экономике (длительную депрессию фондового рынка, ухудшение общей экономической обстановки, триллионную задолженность предприятий).

В квантитативной истории крайне редки случаи развития математического аппарата "по запросу" историка, каждый такой прецедент является существенным вкладом в эту область знания, что в последние годы происходит крайне редко. Примером такой работы является исследование Е. В. Лобановой (53), построенное на модификации Джини-индекса. Автор предлагает не только развернутое изложение математического аппарата, но и делает конкретно-исторические выводы о распределении рабочей силы и производства в России начала века с учетом региональной и отраслевой специфики.

Таким образом, можно сказать, что квантитативная история, сохраняя в ряде случаев традиционную проблематику, как и историческая информатика в целом, развивается в направлении создания средств математико-статистического анализа, позволяющих обрабатывать исторические данные не нивелируя, а, напротив, учитывая более полно их органическую природу и специфику отраженной в них исторической действительности.

Историческая информатика в России выросла из квантитативной истории. Причины появления нового направления можно свести к микрокомпьютерной революции, с одной стороны, и разработке специальных аспектов компьютерных технологий, связанных с особенностями исторических источников, с другой. Безусловно, возникает воспрос — не отдаляет ли это технологическое направление деятельности историков от решения конкретно-исторических задач, не является ли такая деятельность напрасным распылением интеллектуальных ресурсов? Ответ на этот вопрос зависит от конечной цели изучения прошлого с помощью компьютера вообще. Сегодня получать конкретно-исторический результат технически проще, чем в эпоху больших ЭВМ, когда историк должен был работать в тесном контакте с программистом, разбираться в незнакомых для него сюжетах математической статистики. После широкого распространения микрокомпьютеров все основные статистические процедуры интегрированы в пакеты прикладных программ и работать с ними может каждый желающий. Но техническая доступность средств обработки имеет и обратную сторону — большинство специалистов поняли, что новый уровень развития позволяет решать более сложные задачи — сканировать документы и обрабатывать изображения, изучать нестатистические источники, оперировать с географическим пространством и т. п. Произошел интересный процесс — технический прогресс в области компьютерной техники поставил историка-гуманитария в тупик перед вопросами, на которые должен ответить именно он. Такие вопросы касаются сущностных аспектов исторического исследования — внутренней и внешней критики источников, соотношения свободы и строгости интерпретации в процессе исторического познания, содержательной и количественной репрезентативности источниковой базы исследования, корректности формализации данных при ее объективной неизбежности, изучение фактов в их строгом структурном и семантическом контексте. Попытаться ответить на эти вопросы позволяют компьютерные технологии, более того, в этом диалоге между традиционной историей и информатикой возникают новые проблемные зоны, появляется неожиданный ракурс решения традиционных задач.

Историческая информатика активно прогрессирует, все больше и больше углубляясь в исторический источник и эта главная причина того, что усилия специалистов в этой области будут способствовать прогрессу исторической науки в целом. Сегодня уже отработан целый ряд программных средств, позволяющих адекватно переводить нестатистический материал в компьютерную среду, корректно преодолевать путь от первичных данных до признаков, пригодных для статистического анализа. Таким образом, происходит этап накопления знаний о тонкой и сложной материи исторических реалий, который в недалеком будущем позволит получить конкретно-исторические результаты и сделает компьютер незаменимым инструментом работы историка, после чего необходимость в исторической информатике исчезнет сама собой.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ковальченко И. Д., Милов Л. В. Всероссийский аграрный рынок XVIII — начала XX в. (Опыт количественного анализа). М., 1974; Ковальченко И. Д., Бородкин Л. И. Аграрная типология губерний европейской России на рубеже XIX – XX вв. (Опыт многомерного количественного анализа) // История СССР, 1979, №1; Ковальченко И. Д., Бородкин Л. И. Структура и уровень аграрного

развития районов европейской России на рубеже XIX—XX вв. (Опыт многомерного анализа) // История СССР, 1981, №1; Моисеенко Т. Л. Методы изучения крестьянской аренды в России по данным земской статистики конца XIX — начала XX в.// История СССР, 1979, №4.

2. Бокарев Ю. П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический источник. М., 1981; Козлов В. А., Обожда В. А., Пушков В. П. Опыт изучения особенностей культурного развития советского доколхозного крестьянства. (По данным бюджетных обследований крестьянских хозяйств 20-х годов) // История СССР, 1978, №5; Мошков Ю. А. Опыт применения корреляционного анализа в изучении отчетов о распределении колхозных доходов в начале массовой коллективизации (по материалам Северокавказского края). Источниковедение отечественной истории. М., 1973.

3. Бородкин Л. И., Милов Л. В. О некоторых аспектах автоматизации текстологического исследования (Закон Судний Людем). В кн.: Математические методы и ЭВМ в историко-экономических и историко-культурных исследованиях; Бородкин Л. И., Милов Л. В., Морозова Л. Е. К вопросу о формальном анализе авторских особенностей стиля в произведениях Древней Руси. В кн.: Математические методы в историко-экономических и историко-культурных исследованиях; Бородкин Л. И., Милов Л. В. Некоторые аспекты применения количественных методов в ЭВМ в изучении нарративных источников // Количественные методы в советской и американской историографии. Материалы советско-американских симпозиумов в г. Балтиморе, 1979 г. и в г. Таллине, 1981 г.

4. Дробижев В. З., Соколов А. К., Устинов В. А. Рабочий класс советской России в первый год диктатуры пролетариата. (Опыт структурного анализа). М., 1975; Бородкин Л. И., Соколов А. К. Историк и изучение социальных процессов // История СССР. 1983. №1.

5. Информационный бюллетень комиссии по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории АН СССР. №2. С. 9—12.

6. Там же. С. 12—13.

7. Гарскова И. М. Банки и базы данных в исторических исследованиях. Goettingen, 1994. Описания некоторых баз данных по материалам исторических источников приводятся в приложении к монографии. См.: там же. С. 132—185.

8. Периодическим изданием Ассоциации является Информационный бюллетень, издающийся с 1991 г. и называвшийся сначала Информационным бюллетенем комиссии по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях, а после создания Ассоциации "История и компьютер" — Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер". К настоящему моменту вышло в свет 15 номеров. Везде далее — Информационный бюллетень.

9. Только за последние два года увидели свет следующие сборники научных трудов: Компьютер и историческое знание. Международный сборник научных трудов. Барнаул, 1994; Круг идей: новое в исторической информатике. Труды I конференции Ассоциации "История и компьютер". М., 1994; Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции Ассоциации "История и компьютер"; История. Статистика. Информатика. Материалы научного семинара "Статистическое программное обеспечение для историков". Барнаул, 29—31 мая 1994 г. Барнаул, 1995. Названные сборники включают статьи по всем направлениям исторической информатики, опубликовать работы в них получили возможность все специалисты, работающие в этой области.

10. Моисеенко Т., Свищев М. Изучение аграрной истории России последних десятилетий: перспективы "компьютерного источниковедения" // История и компьютер: новые информационные технологии в исторических исследованиях и образовании / Под. ред. Л. Бородкина и В. Леверманна. Scripta Mercaturae Verlag. St. Katharinen, 1993. С. 152.

11. "Круглый стол": проблемы становления исторической информатики // Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер", №10, апрель 1994. С. 88.

12. Там же. С. 89.

13. Там же.

14. Бородкин Л. И. Методологические проблемы исторической информатики. Информационный бюллетень Ассоциации "История и компьютер", №15, апрель 1995. С. 10.

15. Denley Peter. Models, Sources and Users: Historical Database Design in the 1990s. History and Computing. 1994. Vol. 6. No. 1. P. 33.

16. Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987. С. 349—435; Весьма показательной для такого подхода к историческому материалу является монография Ю. П. Бокарева, которому удалось получить серьезные конкретно-исторические результаты, не просто применяя методы математико-статистической обработки данных, но и творчески развив их. См.: Бокарев Ю. П.

Социалистическая промышленность и мелкое крестьянское хозяйство в СССР в 20-е годы. Источники, методы исследования, этапы взаимоотношений. М., 1989.

17. Ковальченко И. Д. Указ соч. С. 315—317.

18. См.: М. Таллер. Что такое "источнико-ориентированная обработка данных", что такое "историческая информатика"? // История и компьютер: Новые информационные технологии в исторических исследованиях и образовании. Под. ред. Л. Бородкина и В. Леверманна. Scripta Mercaturae Verlag. St. Katharinen, 1993. С.5—18.

19. Характерный пример существенного расширения спектра исследовательских задач в результате источнико-ориентированной обработки личных дел лиц, ходатайствовавших о восстановлении в избирательных в правах в 20—30-е годы рассматривается в статье: В. И. Тихонов, В. С. Тяжельникова, И. Ф. Юшин. Методика оценки информационного потенциала комплекса массовых источников / Круг идей: новое в исторической информатике. Труды I конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1994. С. 24—38.

20. Бородкин Л. И., Лазарев В. В. История и компьютер: к новому modus vivendi // Компьютер и историческое знание. Международный сборник научных трудов. Барнаул, 1994. С. 14.

21. Denley Peter. Models, Sources and Users: Historical Database Design in the 1990s. History and Computing. 1994. Vol. 6. No. 1. P. 38—40.

22. См.: Гельман-Виноградов К. Б. Машиночитаемые документы в СССР. М., 1982. Вып. 2; Он же. О некоторых особенностях исследования машиночитаемых источников по истории советского общества // Математические методы и ЭВМ в исторических исследованиях. М., 1985.; Палли Х. Э. ЭВМ и новые возможности хранения исторической информации // Источниковедение отечественной истории. 1976. М., 1977.

23. См.: Бородкин Л. И., Соколов А. К. Опыт создания базы данных на основе анкетных сведений о делегатах съездов Советов // История СССР. 1984. №4; Ковальченко И. Д., Бородкин Л. И. Современные методы изучения исторических источников с использованием ЭВМ. М., 1987; Моисеенко Т. Л. Об использовании банков машиночитаемых данных по истории в новой зарубежной историографии // История СССР. 1985. №5; Она же. Применение количественных методов и ЭВМ в зарубежной медиевистике (Опыт создания машинных банков информации) // Математические методы и ЭВМ в исторических исследованиях. М., 1985; Соколов А. К. О применении новых методов в исследованиях историков США. // Математические методы в социально-экономических и археологических исследованиях. М., 1981.

24. Гарскова И. М., Тяжельникова В. С. О методике перевода статистического источника в базу данных. (На материалах Всесоюзной партийной переписи 1927 г.) // Вестник МГУ. Серия 8. История. 1992, №3. С. 65—78.

25. Четвериков В. Н., Ревунков Г. И., Самохвалов Э. Н. Базы и банки данных. М., 1987. С. 18.

26. Там же. С. 12.

27. Крамм Р. Системы управления базами данных dBASEII и dBASEIII для персональных компьютеров. М., 1989.

28. Гарскова И. М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. Goettingen, 1994.

29. Там же. С. 9.

30. Там же. С. 13.

31. Там же. С. 31.

32. В. Тяжельникова, В. Леверманн. Источнико-ориентированная обработка данных. KLEIO. Руководство для пользователя. М., 1995.

33. М. Таллер. KLEIO 4. Система управления банком данных. М., 1995.

34. Тихонов В. И., Тяжельникова В. С., Юшин И. Ф. Об адекватном представлении структуры источника в базе данных: Построение компьютерной модели личного дела в системе обработки исторических данных КЛИО // Компьютер и историческое знание... С. 126—137.

35. Московское городское объединение архивов. База данных "Лишенцы". Разработчики: В. И. Тихонов, В. С. Тяжельникова, И. Ф. Юшин.

36. В. И. Тихонов, В. С. Тяжельникова, И. Ф. Юшин. Методика оценки информационного потенциала комплекса массовых источников / Круг идей: новое в исторической информатики. Труды I конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1994. С. 24—38.

37. В. И. Тихонов. Источнико-ориентированная база данных и анализ противоречий источника / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 294—316.

38. Юшин И. Ф. Кодирование занятий и принципы интегральной социальной классификации общества / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 257–293.

39. Белова Е. Б. От источника к методу, обработка неколичественной информации в программе QualiDatE / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 116.

40. Д. А. Гутнов, В. А. Перевертень. Российские историки XVIII – начала XX вв.: проект и информационная система / Круг идей: новое в исторической информатики. Труды I конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1994. С. 39–50.

41. Программа FUZZYCLASS: новые возможности археологического исследования. (Типология поселений Алтая раннего железного века) / Круг идей: новое в исторической информатики. Труды I конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1994. С. 121–128; Ю. А. Лихтер. Структура базы данных для описания вещей / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 357–369.

42. А. В. Быстров, С. В. Пахомычев. Субэтнография русских в свете компьютерной ономастики. Классификация первой сотни фамилий / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 350–356.

43. А. Н. Петров. ПРОЗА ЛЕКСИКОНА от "А" до "ЯТЬ" (вопросы методики программирования драйверов и создания экранных шрифтов) / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 206–217.

44. Аналогичных концептуальных построений придерживаются филологи, создающие компьютерные азбуки для анализа древнеславянских рукописей. По этому вопросу см.: Computer Processing of Medieval Slavic Manuscripts. First International Conference, Blagoevgrad, 1995.

45. А. Г. Голиков. Тенденции монополизации российской промышленности 1914–1917 гг. (опыт контент-анализа публикаций отечественных газет) / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 167–181.

46. С. Ф. Гребениченко. Власть, циркуляр, село. (Концептуальное обращение к законам и нормативным актам 1920-х гг. на принципах базы данных) / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 182–197.

47. А. М. Перлов. Попытка привлечения компьютера при исследовании плохо структурированного источника / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 198–205.

48. М. А. Поликарпов. Комплексный анализ стенограмм Государственного Совещания 1917 г. как метод изучения политического плюрализма / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 218–234.

49. С. А. Ломова. Делопроизводство: для фирмы и для историка (на материалах архива "Компании Зингер" 1914–1917 гг.) / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 235–243.

50. М. А. Поликарпов. Указ. соч. С. 218.

51. Описание этих программных средств см.: Осокина Е., Сатаров Г. Прикладные возможности статистического пакета "CLAMS". Анализ распределительной политики советского правительства в период карточной системы 1928/29–1935 гг. / История и компьютер: Новые информационные технологии в исторических исследованиях и образовании... С. 77–87; Бородкин Л., Гарскова И. Программное обеспечение FUZZYCLASS / Там же. С. 89-104; Лакутин О., Юшин И. Применение статистического пакета АНАРХИСТ (АНализ АРХивных ИСТочников) в исторических исследованиях / Компьютер и историческое знание... С. 190–210.

52. Бокарев Ю. П. Экономический барометр / Круг идей: новое в исторической информатике. Труды I конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1994. С. 88–92.

53. Лобанова Е. В. Модификация индекса Джини: к вопросу о неравномерности распределения рабочей силы и производства в передовых регионах России в начале XX века / Круг идей: развитие исторической информатики. Труды II конференции ассоциации "История и компьютер". М., 1995. С. 370–395.

КОНЪЮНКТУРА

II

РОМАНОВЫ:
МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И ИДЕОЛОГИЕЙ

А. Ю. Полунов

Нынешний "романовский бум" по размаху, разноплановости и накалу страстей давно грозит превзойти все повальные идейные увлечения, которыми так богата история российской интеллигенции. Венценосцам посвящаются книги, статьи, фильмы, телепередачи, выставки, специальные выпуски журналов, конференции, фотоальбомы. О монархическом прошлом спешат высказаться литераторы, публицисты, кинематографисты, политики (историки скромно отираются где-то в хвосте этого ряда). Вехами духовной жизни страны становятся произведения об эпохе царей — "Цареубийца" К. Шахназарова и "Россия, которую мы потеряли" С. Говорухина, бестселлер драматурга Э. Радзинского о Николае II "Господи!.. Спаси и усмири Россию".

Императорская династия осознается как некий фокус, центр, к которому сходились самые разные линии отечественной истории. Современные авторы ставят вопрос о роли Романовых в творческой судьбе Достоевского (1), об их воздействии на развитие русской культуры (2). При всех издержках и перехлестах этого процесса — он неизбежен и глубоко закономерен. Историческое сознание общества, долго сжатое давлением общеобязательных схем, "распрямляется", обращаясь к проблемам государственности, игравшим в истории России исключительно большую роль.

Пути и способы знакомства общества с "романовской темой" отражают медленный, но заметный рост исторической культуры в России. Миновала "дикая" полоса репринтов и переизданий, когда без научной подготовки воспроизводились мемуары разной степени достоверности и поверхностные антимонархические сочинения начала XX в. (3) Превзойден и период господства переводных трудов (4). К истории монархии все чаще обращаются отечественные ученые, владеющие архивным материалом, пониманием специфики национальной истории и фундаментальными знаниями об эпохе царей.

Первые плоды этого обращения были обобщены в выпуске журнала "Родина" (1993. №1), посвященном царской династии, коллективном труде "Российские самодержцы. 1801—1917" (М., 1993) и в ходе конференции

"Династия Романовых в истории России" (июль 1993 г., Екатеринбург). На конференции рассматривались проблемы конституционализма и монархизма, регионализма во внутренней политике самодержавия, взаимоотношений царской власти и народа, история Романовых за границей и их роль в сохранении преемственности русской культуры. Для дальнейшего изучения были намечены такие вопросы, как вклад династии в модернизацию государства, общества, культуры России, отражение царской власти в русской культуре и менталитете, деятельность Романовых в эмиграции. Одним из итогов конференции стало создание в Екатеринбурге Международного центра по изучению темы "Династия Романовых в истории России" (5).

Какие вопросы больше всего привлекали публику, обращавшуюся к истории монархии? Раньше и громче всего, пожалуй, прозвучала тема гибели царской семьи и других Романовых на Урале, "открытая" статьями Э. Радзинского и Г. Рябова в 1989 г. (6). С началом радикальных преобразований в России неизбежно стало нарастать критическое отношение к недавнему прошлому и обострился интерес к "предпрошедшему" времени. Появилась потребность выяснить: кем, как, почему и при каких обстоятельствах была оборвана линия старой государственности, олицетворением которой была царская семья.

Убийства Романовых всегда были ахиллесовой пятой советского мифа о строительстве светлого общества социализма; по справедливому замечанию А. Н. Боханова, их не удалось не только оправдать, но сколько-нибудь внятно объяснить. Даже ультра-революционные советские сочинения 1920-х гг. на эту тему очень скоро были упрятаны в спецхраны (7). Неудивительно, что освещение всех обстоятельств уральской бойни обернулось для общества настоящим шоком. Этот шок стал важной вехой на пути "перестроечного" раскрепощения сознания, отказа от принципов классовой целесообразности и классовой борьбы. "Теперь мы понимаем, — подытожил в 1992 г. свою книгу о Романовых Г. Иоффе, — насилие, в каком бы «теоретическом» облачении оно не выступало, может родить только насилие — ни к чему иному оно привести не может" (8). Истребление Романовых было осмыслено как символ всех кровопролитий революции и гражданской войны, давших начало социально-политическим катастрофам XX века и в конечном итоге заведших страну в тупик.

У истории гибели Романовых есть и другой аспект: каждое звено этой трагедии связано со "сквозными" тенденциями развития России, имеющими явные выходы в современность. Здесь и вера "просвещенных верхов" в свою способность направлять ход истории, сыгравшая роковую роль при отречении Николая II; и максимализм масс, вызвавший немедленное падение монархии после отречения царя, переход реальной власти к леворадикальному Совету, арест Романовых и в конечном итоге их гибель. Бессилие монархических заговоров выявило слабость и несамостоятельность охранительных сил России (их слишком долго подменяло всесильное государство). Отказ монархов Англии и Германии помочь русским родственникам стал симптомом крепнущего политического цинизма XX века (английский "кузен Джорджи" побоялся ссориться с парламентом, немецкий "кузен Вилли" был куплен Брестским миром). Сам кровавый финал арестованных Романовых показал, насколько сильно в годы гражданских смут умами владели миражи и иллюзии: большевики, державшие Романовых

в заключении, боялись народных монархических движений, а их противники опасались поднять монархическое знамя, считая, что это оттолкнет народ.

Удивительная связь существовала между участью Романовых и судьбами погубившей их революции. Два человека, сыгравшие в жизни династии роковую роль (комиссар СНК по доставке царской семьи из Тобольска в Екатеринбург В. Яковлев и председатель Мотовилихинского совета Г. Мясников, организовавший убийство великого князя Михаила Александровича) прошли путь, типичный для многих "пламенных революционеров": бывшие боевики, они фанатично служили революции, разочаровались после ее победы в большевизме и были уничтожены режимом, не прощавшим измен. История гибели Романовых наглядно выявила "социологию революции": одни из убийц (пермские милиционеры, "ликвидировавшие" великого князя Михаила) были обыкновенными озлобленными плебеями, вымещавшими на свергнутых правителях долго копившееся унижение, другие (вожди Уралсовета Ф. Голощекин, А. Белобородов и др.) — теоретиками, стремившимися построить на насилии "дивный новый мир". Примечательно, что все "теоретики" погибли в 1937 г., тогда как рядовые исполнители умерли своей смертью (9).

Последние месяцы жизни Романовых и их гибель стали своего рода "моментом истины" для уходящей и крепнущей власти, выявили нравственное ядро традиционной и леворадикальной государственности и предвосхитили многие ключевые моменты советской истории. Уничтожая Романовых в Алапаевске, Перми и Екатеринбурге, большевики практиковали одни и те же методы: провокацию (с целью убить узников "при попытке к бегству"), снятие с центра ответственности за убийство, длительную дезинформацию (10). Характерна и грызня между большевиками Екатеринбурга, Москвы и Омска за право владеть Романовыми, озлобленное недоверие "единомышленников" друг к другу, полное господство силы над правом; и долгие споры между "ликвидаторами" за приоритет в истреблении Романовых. Разительным контрастом смотрится на этом фоне поведение царской семьи — отказ покинуть Россию, стремление вместе с ней переживать ее беды, молитвы за врагов. "Попав в гибельную паутину, которой он не смог разорвать, — писал автор известной работы о Романовых американский журналист и историк Р. Мэсси, — Николай оплатил свои ошибки, погибнув как мученик вместе с женой и пятерыми детьми. Но судьба отбирает не все. Прежние моральные ценности, которыми они жили, как и их христианская вера, за которую их порицали, придали им мужества и достоинства, которые с годами искупили все остальное в их жизни" (11).

С историей гибели Романовых связан целый ряд загадок, круг которых очерчен в недавнем исследовании В. В. Алексеева (12). Предпринимались ли попытки спасти царскую семью на пути из Тобольска в Екатеринбург? Какую роль сыграла кайзеровская Германия в судьбе Романовых? Кто дал распоряжение о расстреле? Вся ли царская семья погибла? Какова судьба романовских драгоценностей? Залогом успешной работы над этими вопросами является создание в Екатеринбурге Архива по проблеме гибели членов семьи Романовых. Но вряд ли можно согласиться с В. В. Алексеевым в том, что гибель Романовых в России, подобно казням королей в Англии и Франции, станет предметом спокойного исторического анализа "без всполохов ненависти": слишком различен

путь, пройденный каждой из стран после "своей" революции. Впрочем, и на Западе тема цареубийства переосмысливается: когда во Франции в год 200-летия революции по телевидению транслировалась инсценировка суда Конвента над Людовиком XVI, большинство зрителей высказалось за оправдание и никто не потребовал казни (13).

Осмысление всех аспектов трагедии царской семьи стало одним из "рычагов", повернувших профессиональную историографию к углубленному изучению истории монархии. Особое внимание обратилось к истории XIX и начала XX вв., когда сложился комплекс задач, называемых ныне "модернизацией" (индустриализация, решение аграрного вопроса, распространение просвещения, переустройство системы власти, налаживание отношений с интеллигенцией). Именно эти проблемы (а точнее, неспособность власти их решить) в конечном счете и погубили монархию. Масштабный поворот научных исследований выявил, а отчасти и стимулировал сдвиги в методологических основах исторического знания.

Парадоксально, но такой крупный и "бросавшийся в глаза" сюжет, как история монархии, оказался во многом новой темой для отечественной историографии. Особенно не повезло таким вопросам, как роль и место монарха в системе государственного управления, особенности формирования личности монарха, моральные устои и повседневная жизнь царской семьи, быт и нравы придворной среды, уровень осознания монархом государственных проблем, механизм принятия решений. История монархии как бы провалилась в "разлом времени": до 1917 г. критический анализ сдерживался необходимостью поддерживать престиж династии, а после революции подробности монархического прошлого стали казаться неактуальными.

"Вероятно, ни один одержавший победу марксистский режим, — заметил по этому поводу американский историк Э. Глисон, — изначально не расположен уделять много внимания политической истории побежденного классового врага... Советским историкам государственные институты самодержавия представлялись давно похороненным, чуждым и далеким прошлым. Цари, их аппарат управления, мир эксплуатации — со всем этим было навсегда покончено в результате победного марша Истории. Феномен, получивший название «пролетарской революции», обусловил полный разрыв между прошлым и настоящим, чему в истории Запада не было никаких аналогов" (14). По замечанию Глисона, амнистированы были лишь такие стороны монархического прошлого, как история войн, завоеваний и дипломатии.

Общая концепция роли монархии в советское время опиралась на марксистские тезисы, уподоблявшие Россию Европе и провозглашавшие демиургом исторического процесса социально-экономическое развитие. Монархия XIX в. объявлялась органом классового господства дворян-крепостников, преградой на пути исторического прогресса. На реформы цари шли вынужденно, лишь под угрозой социально-экономического кризиса и народных волнений и при первом удобном случае стремились забрать "уступки" назад. Сами реформы объявлялись половинчатыми и трактовались как "маскировочные декорации для деспотического режима, либеральный иллюзион, пока в данный момент нельзя было действовать круто" (Н. А. Троицкий).

Интеллектуальный и нравственный уровень монархов, защищавших заведомо безнадежное дело, оценивался при этом крайне низко (15). Пределом личностной деградации считался Николай II, который трактовался как человек с узким кругозором, отличавшийся "эмоциональной тупостью", равнодушный ко всем делам, кроме семейных и отказывавшийся пойти на остро необходимые реформы из-за корыстного пристрастия к самовластью (16).

Очевидно, что в контексте переосмысления марксистских схем должна была начаться и переоценка места монархии и династии в истории России. Переоценка эта двинулась по двум направлениям, отражающим двойственную, научно-публицистическую природу нынешнего обращения к истории. Более академическое по характеру направление занялось общими закономерностями развития монархии в эпоху "модернизации", обратившись к предыстории социально-политических конфликтов рубежа XIX – XX вв. Другое направление с явным публицистическим акцентом сосредоточилось на истории двух последних царствований, выясняя непосредственные обстоятельства гибели российской монархии.

Последняя тема тесно связана с современной "злобой дня". Способна ли была монархия эффективно решать стоявшие перед страной исторические задачи? Была ли альтернатива тому, что случилось со страной в XX в.? От решения этих проблем зависит не только переоценка российского прошлого, но и взгляд в будущее: новейшая история России неумолимо доказывает, что реформатор может выбирать лишь из тех общественно-политических форм, которые знала страна в прошлом. В истории России таких форм фактически было лишь две: традиционно-монархическая и советская. С крушением второй из них вся тяжесть общественного внимания неизбежно "падает" на первую. Конечно, вряд ли возможно говорить ныне о "прямой" реставрации монархии (17), но очевидно, что элементы и традиции старой государственности будут активно использоваться (и уже используются!) в государственном строительстве суверенной России.

В этом смысле "романовский бум" стал третьим фазисом обращения общества к отечественному прошлому: после поисков "бухаринской" и подобных ей альтернатив Сталину внимание сместилось к российским реформаторам XIX — начала XX вв. (Витте, Столыпин), а от них — к государственности, в рамках которой это реформаторство развивалось (18). Подобный сдвиг явно "рифмуется" с интересом к политическому консерватизму, отразившемуся в периодике 1992 – 1993 гг. (19).

Как же оценивает современная историография роль монархии в эпоху модернизации"? Еще в 1989 г. Н. Я. Эйдельман выступил с достаточно смелым по тем временам выводом: "В России «сверху виднее»; при неразвитости общественно-политической жизни, при обычной многовековой практике всеобъемлющего «государственного творчества» там, на самом верху, среди министров и царей естественно появление людей, которым виднее интересы их класса, сословия, государства в целом, которые умеют считать «на два хода вперед»" (20). Ныне большинство историков сходятся в том, что в деятельности монархов превалировала не классовая, а общегосударственная составляющая. Даже "дворянская политика" Екатерины II, как показал А. Б. Каменский, была не примитивным потаканием корысти крепостников, а целенаправленным конструированием устойчивых сословий как фундамента гражданского

общества (21). С начала же XIX в. реформаторские начинания монархов вызывали острейшее сопротивление дворянства и тесно связанных с ним высших сановников (22).

Монархия, как показано в работах Л. Г. Захаровой, могла пойти и на насилие по отношению к дворянству: после Крымской войны она фактически вынудила "благородное сословие" выступить с "инициативой" освобождения крепостных, затем навязала ему собственную программу крестьянской реформы и заставила в ходе ее реализации отдать крестьянам землю за выкуп (23). При этом монархи шли на реформы отнюдь не в годину хозяйственной разрухи и народных волнений, что говорит о немалой исторической прозорливости (24). "«Верхи» России, — подчеркнул Л. М. Ляшенко в книге об Александре II, — не только трепетали от страха перед массовым и революционно-демократическим движением, но и старались прогнозировать события и влиять на них, что было далеко не всегда легко и безопасно" (25).

Осмысление всей полноты исторических фактов вырывает монархию из марксистского прокрустова ложа "защитницы дворянских интересов", показывает ее во многом надклассовый характер. Самый яркий модернизаторский акт самодержавия — крестьянская реформа 1861 г. — как раз и был спроектирован с таким расчетом, чтобы возвысить роль монарха как арбитра между сословиями (влияние дворянства уравновешивалось освобождением крестьян с землей). Был у "надклассовости", конечно, и отрицательный аспект: монархия смотрела на общество во многом как на строительный материал для укрепления Империи, государство крепло за счет разорения основных сословий (26).

Большинство современных историков считает, что реформы отнюдь не были для монархов "игрой". И если В. А. Федоров говорит о "демагогии" Александра I, нехотя уступавшего "духу времени", его погоне за модой и "заигрывании с либерализмом", то А. Н. Сахаров обращает внимание на глубину и постоянство либеральных убеждений императора. Недовольство в "верхах", подчеркивает исследователь, вызывало не отсутствие реформ, а как раз начало таковых. Александр почти до конца своего царствования разными путями "подбирался" к преобразованиям (ограничение деспотизма и отмена крепостничества), отступился от них лишь после ряда неудач и тяжко переживал поражение (27). Так же относился к своим реформам Николай I (28). Касаясь же хрестоматийного "безволия" его преемника, уместно привести вывод Л. Г. Захаровой: "Непреклонная решимость Александра II отменить крепостное право... являлась в течение всего периода подготовки крестьянской реформы главным гарантом ее осуществления" (29).

При таком подходе поражения монархов предстают не как неизбежный провал классово-корыстных попыток "обмануть время", а как неудачи реальных политических программ. В работах С. В. Мироненко и очерке Е. В. Анисимова действия Николая I трактуются как проявление политического консерватизма: император стремился проводить реально достижимые, по его мнению, меры, не "обращаться к сочинению новых законов", а "сперва основать старые на новых началах" и двигаться вперед, сохраняя ряд незыблемых устоев (таковыми для Николая были самодержавие, военное могущество России и помещичье землевладение) (30).

Меняется и само понимание "успешности" и "последовательности" самодержавных реформ: становится ясно, что монархи могли совершить лишь реально достижимое в тех исторических условиях. Как ни мелки порой бывали эти меры, они все же играли определенную роль, "исподволь вплетали новые нити в ткань русской жизни, медленно меняя ее узор" (А. Б. Каменский). Общественное сознание мало-помалу сдвигается от "революционизма" к "эволюционизму" в восприятии действительности: если раньше "фиктивными" считались любые перемены, не ломавшие в корне исторического уклада, то теперь медленный прогресс признается предпочтительным и наиболее естественным путем исторического развития. Мысль эта находит все более широкое признание. В новом варианте учебника по истории России для 9 класса средней школы П. Н. Зырянов разъясняет, что радикальные проекты П. И. Пестеля (полная ликвидация сословий) вызвали бы хаос в стране, где еще не сложились классы буржуазного общества, а лозунги другого оппонента монархии Н. Г. Чернышевского о передаче крестьянам максимума земли при минимальном выкупе вызвали бы при реализации разорение массы помещиков, поставлявшими основную массу товарного хлеба (31).

Каково значение переоценки истории монархии в современной историографии? Во-первых, она имеет известный практический аспект: вывод о том, что рычагом и гарантом значительной части преобразований в России была авторитарная власть, отчетливо ложится в русло современных дискуссий о будущем страны. Во-первых, эта переоценка говорит о творческом приобщении современной науки к классическим традициям отечественной историографии — идеям позитивизма и "государственной школы". Не случайно А. П. Корелин во введении к сборнику "Российские самодержцы" ссылается на мысль В. О. Ключевского об особой роли правительства в "опоздавших" странах, где "нужда в реформах назревает раньше, чем народ созревает для реформ" (32). Все это свидетельствует о том, что в послевоенной историографии всегда сохранялось чувство общности со старой традицией, не позволяет абсолютизировать отмеченный Э. Глисоном "разрыв времен" (33).

Переоценка роли монархии сместила русло научных поисков от непропорционально преувеличенных проблем революционного движения к более важным для понимания русской истории вопросам — таким, как связь бюрократии и монархии. В трудах Л. Г. Захаровой всесторонне освещена роль либеральной бюрократии при проведении крестьянской реформы 1861 г. — разработка ею концепции сильной "всесословной" монархии и безреволюционного развития России, механизм внедрения (часто насильственного) этой программы в жизнь при опоре на волю монарха и административный аппарат (34).

Свою версию взаимоотношений монархии и бюрократии предложил Л. М. Ляшенко. Сталкиваясь с сопротивлением дворянства при проведении реформ, монархи (Александр I и Николай I) все больше усиливали роль и значение административного аппарата. Опора на аппарат во многом и позволила Александру II провести отмену крепостного права. Однако процесс этот имел "обоюдоострый" характер: бюрократия в силу своей самодостаточности была способна решать общенациональные задачи, но могла и замкнуться на узкоэгоистических корпоративных интересах.

Реальным постепенно становился именно второй путь. Сталкиваясь с дворянским недовольством, Александр II принялся жертвовать реформаторами, надеясь сохранить реформы. В результате на посты, приобретавшие все больший политический вес, стали назначаться узкие ревнители чиновничьей рутины. После того, как наиболее идейные и широко мыслящие монархисты стали получать "в награду" отставку, включился необратимый механизм "отрицательной селекции" царского чиновничества. Власть отчуждалась от общества, а бюрократия из рычага реформ все сильнее превращалась в их тормоз. Именно поэтому, считает Л. М. Ляшенко, общество безучастно восприняло схватку правительства с террористами "Народной воли" (35).

Чувствуя, что становится заложником бюрократии, Александр II в силу ряда объективных и субъективных причин не решился создать ей противовес, расширив политические права общества. С этого времени попытки императоров высвободиться из-под бюрократической опеки приобретают все более разрушительный для государственности характер. Это стало заметно уже при Александре III, когда усилилось влияние стоящих вне правительства лиц (М. Н. Катков), значение закулисных ходов стало превалировать над официальными путями выработки политики, принципиальные решения стали приниматься императором в обход официальных органов при опоре на узкую группу доверенных советников (36). Явным, хотя и парадоксальным индикатором разрушения царского строя стала интенсивная работа в это время монархической мысли (К. Н. Леонтьев, Л. А. Тихомиров, В. С. Соловьев): ослабление монархии "на практике" обострило потребность в ее теоретическом обосновании (37).

Все эти тенденции особенно обострились в царствование последнего императора. К моменту его воцарения углубился разрыв между либерализмом "просвещенного общества" и верой монарха в незыблемое самодержавие — односторонними, равно ошибочными и закрытыми для диалога идейными системами. Роковую роль сыграли и особенности отношения Николая II с бюрократией: недоверие к официальному правительству, усиление влияния стоявших вне правительства советников, попытки царя выйти на прямой контакт с народом (распутинщина), попытка найти опору в семье (привлечение к управлению императрицы). Многие из названных явлений охарактеризованы в статьях Л. Г. Захаровой, Б. В. Ананьича, Р. Ш. Ганелина (38).

Следует отметить, что одной из первых попыток целостно рассмотреть кризис монархии стала книга А. Я. Авреха "Царизм накануне свержения". Акцентируя в русле историографии "нового направления" огромную роль российской государственности, автор призывал к анализу "на микроуровне", к взгляду на монархию "не как на однообразный по составу и окраске монолит, а как на сложно взаимодействующую систему его составляющих". А. Я. Аврех проанализировал изоляцию императора накануне 1917 г. от основных звеньев монархической государственности — императорской фамилии, официального правительства, дворянских элит, генералитета.

Автор говорил об "огромной относительной самостоятельности" самодержавия, его способности приспосабливаться к самым разным историческим условиям, об особой роли бюрократии и личного фактора в русской истории (39). Однако жесткая классово-марксистская подоснова "нового направления" продиктовала исследователю однозначно отрицательные оценки монархии Николая II и мысль о ее обреченности. Впрочем, даже в такой упаковке мысли А. Я. Авреха в свое время были не ко двору: его книга увидела свет лишь через год после смерти автора, в разгар "перестройки".

Осмысление "верхушечного" источника российских реформ позволяет полнее понять такой феномен русской истории, как зигзагообразность преобразований: переустройства навязывались не вполне готовому к ним обществу, которое не успевало "переварить" или отторгало их. Монарха-реформатора сменял реакционер или охранитель, а затем на вершинах престола вновь осознавалась необходимость нововведений. Так складывался контраст между политикой и идеологией разных императоров, проанализированный современными исследованиями. С. В. Мироненко показывает, что основой государственной доктрины при Николае I было противопоставление России Европе как страны, где господствует социальный мир. Л. Г. Захарова прослеживает постепенное вытеснение этих постулатов тезисами о сходстве исторических задач, стоящих перед Россией и Западом, необходимости уступок "духу времени". В свою очередь, Александр III возродил ряд принципов государственной политики своего деда (40).

Выявление роли "верхов" в реформаторстве обострило интерес к личностному фактору: характеру, склонностям, мировоззрению императоров. Нельзя не отметить в связи с этим начавшуюся публикацию архивных материалов и научное переиздание малоизвестных мемуаров. Особенно выделяется здесь переписка Александра II с великим князем Константином Николаевичем и дневник последнего за 1857 – 1861 гг., а также сборник дневников и воспоминаний, посвященных Николаю II (41). Эта линия в изучении истории монархии перекликается с возросшим в последние годы интересом к исторической антропологии, анализу ментальностей, быта, частной жизни, изучению истории в демографическо-поколенческом ключе. На стыке двух направлений можно ожидать появления интересных результатов.

Спецификой сознания императоров были обусловлены многие особенности российского реформаторства. Поскольку намеченные "верхами" преобразования не были всесторонне осмыслены и осознаны обществом как необходимость, венценосные инициаторы реформ часто вступали в новую эпоху со старыми понятиями и мироощущением. Александр I и в начале XIX в. пребывал в пасторалях "просвещенного абсолютизма": он искренне верил, что его умеренный либерализм изменит общество к лучшему и буквально "сломался", столкнувшись с эксцессами освобождения.

Что касается Александра II, то он в эпоху обновления остался человеком николаевской складки, "военным в душе": в реформах он видел прагматическую сторону (укрепление финансов и армии) и приостановил преобразования, добившись первых успехов. Возможности появления гражданского общества как самостоятельной силы император не предвидел и пытался действовать в николаевском духе, приказами (42). Как тут не вспомнить времена "перестройки", когда руководство начало радикальные переустройства, полагая, что они не выйдут за рамки социализма! Изучение истории монархии, таким образом, не только продемонстрировало роль и место авторитарного реформаторства

в истории России, но и обозначило его ограниченность, наметило "подводные камни" на его пути.

"Верхушечный" и нередко насильственный характер монархических "метаморфозисов" России обусловил и такое явление русской истории, как раскол между официальным и народным сознанием. В противовес послепетровским установкам на самовластие монарха народ ограничивал царскую власть требованиями "справедливости" и "благочестия" (43). Этот раскол, в частности, послужил почвой для рождения известной легенды об обращении Александра I в старца Федора Кузьмича, искупавшего и замаливавшего грехи неудачливого монарха-реформатора перед народом (44).

На стыке политической и "личностной" истории находится такая важная проблема, как формирование "имиджа" монархов, внешнего оформления их политики. Наиболее ярко этот аспект (по сравнению с чисто политическими мерами) был выражен в деятельности трех монархов — Екатерины II, Николая I и Николая II. Екатерине удалось удачно сформировать образ патриотичной, обходительной и внимательной к людям государыни, что помогло ей без всяких законных прав продержаться тридцать четыре года на престоле. Николай I целенаправленно работал над образом строгого, но справедливого и прямого монарха, спартанца в частной жизни, отдающего всего себя на службу государству (45). Что касается Николая II, то его "образ самодержавия" оказался на редкость неудачным: культ допетровской патриархальности и непосредственного единения царя с народом не отвечал ни условиям XX в., ни реальной политике императора. "Его представления о правлении,— пишет о Николае II Р. Уортман,— противопоставляли его основным устоям самодержавной власти — государству, церкви и европеизированным элитам дворянства". Император "взялся за исполнение ролей, разрушительных для существующих институтов не меньше, чем программы оппозиционных партий" (46).

Утверждающийся в современной историографии подход к монархии позволяет оценивать ее как реальный исторический институт, имевший свои светлые и темные стороны. Гибель монархии была обусловлена сложным сплетением исторических факторов, в том числе ошибками царей и внутренними закономерностями развития монархии. Иначе расставляются акценты в историко-публицистических трактовках, посвященных царствованиям последних императоров и истории крушения старого порядка.

Видимо, "горячий" для каждого мыслящего россиянина вопрос — кто виновен в гибели "России, которую мы потеряли" — пока не допускает сбалансированных, спокойных ответов. В высказываниях об эпохе конца XIX — начала XX вв. превалируют эмоции: стремление во что бы то ни стало полностью переиначить все утверждения советских учебников. Одним из самых ярких выступлений на эту тему стала работа А. Н. Боханова "Сумерки монархии". По мнению автора, во всех своих поступках последний царь руководствовался только благими намерениями; даже если его политика и не соответствовала историческим реалиям и давала отрицательный эффект, она вдохновлялась высокими мотивами. Так, частая пассивность царя, его отстраненность от политической жизни диктовались глубокой религиозной верой и христианским смирением.

Автор полагает, что к Николаю II едва ли правомерно предъявлять какие-нибудь претензии: ведь история не оставляла возможностей для эволюционного развития страны, падение монархии было запрограммировано. Главное же — последнему царю пришлось иметь дело исключительно со злонамеренными, безнравственными и ограниченными оппонентами из либерального лагеря: "Оппозиция обладала удивительной самонадеянностью и постоянно декларировала о том, что ей ведома истина в последней инстанции... Для них это была война, которую разжигало их неуемное честолюбие; азартная игра, где ставками были судьбы народа, страны" (47).

Нельзя не заметить здесь явного противоречия: почему, признавая наличие "своей правды" во взглядах царя, требуется с ходу отказывать в этом оппозиции? Политическая реальность начала XX в. была неимоверно сложна, каждая из противоборствующих сил внесла в нее свою долю заблуждений и ошибок. Общественность "лезла" в семейные дела царя, но ведь он сам во время войны сделал семью фактором "большой политики". Судили об этих делах по слухам, однако другой информации у общества просто не было — таково неизбежное следствие авторитарной самозамкнутости власти. Говоря о неприязни оппозиции к царю, стоит вспомнить о недоверчиво-презрительной позиции царя по отношению к обществу, занятой с первых дней царствования.

Сам А. Н. Боханов пишет о болезнях государственного организма накануне революции (у министров "компетентность и интересы дела подменила угодливость", императрица доверила Распутину "роль, которую он ни при каких обстоятельствах не имел права играть"), но отказывается искать в поведении оппозиции более серьезные и глубокие мотивы, чем корысть и ограниченность. На деле же думцы-инсинуаторы были немногим хуже царицы, приказывавшей двигать войска согласно видениям "Друга". Думается, именно такой подход отвечает декларации автора: "В той или иной степени все были виновниками и в итоге оказались жертвами".

Пассивность царя в переломные моменты истории никак нельзя объяснить религиозной верой: христианство ни одному человеку (а уж тем более государственному мужу) не предписывает отказа от собственной воли. Говоря в одном месте об обреченности монархии, А. Н. Боханов в другом месте утверждает, что шанс на спасение давали реформы Столыпина. Автор говорит о поддержке аграрных реформ Николаем, но не добавляет: сделал это царь лишь после 1905 г. и стал явно тяготиться сильным премьером, когда опасность миновала. "Погибнуть с этим человеком можно, а спастись нельзя"; "никогда ему не верьте, это самый фальшивый человек, какой есть на свете",— эти слова о последнем царе, сказанные его искренними сторонниками (Н. А. Маклаковым, И. Л. Горемыкиным), никогда не прозвучат при подобном подходе к истории.

Несмотря на ритуальные декларации о терпимости ("весь трагический опыт минувших десятилетий отрицает «баррикадное мышление» и двухцветное видение мира") историческая реальность неумолимо распадается, как разрезанное яблоко, на две половинки: светлое начало, всеми силами выводимое из-под критики, и "силы зла". Вступает в силу двойной стандарт: пассивность царя именуется "религиозной отстраненностью от повседневной политической возни и суеты", пассивность Временного правительства — "политической импотен-

цией". Неудачи царя списываются на объективные обстоятельства ("попробуем представить, каким «политическим богам» он должен был молиться, чтобы все были довольны"), неудачи либералов жестко ставятся им в вину ("не поняли времени, не могли и не сумели стать национальными лидерами").

Оппозиции даются упрощающе-памфлетные характеристики, спрямляющие и примитивизирующие реальную историю. "Вырвать власть — это самое главное, а что будет потом, об этом и думать надо потом... Главное, чтобы в России стало «как в Англии»..." После революции либералы "обезумев от страха, побегут, теряя ближних, имущество, комфорт, личное достоинство, куда глаза глядят". Думается, что ни одна из этих характеристик не приложима, скажем, к А. И. Гучкову, которому А. Н. Боханов до начала "романовского бума" посвящал обстоятельные очерки. Подход А. Н. Боханова заставил его ограничивать гражданское общество второй половины XIX в. "салонами либеральствующих аристократов", "группками и кружками радикалов" (48), а ведь были еще земства и городские думы, оставившие немалый след в истории России!

Удивительно, но под флагом решительного разрыва с советскими догмами при оценке последнего монарха возрождается старый, идеологизированный подход: если советские историки объясняли "реакционность" Николая его богатствами и привилегиями, то А. Н. Боханов прозревает за действиями либералов стремление "оказаться со своими имениями, особняками, гонорарами и социальным положением в Англии". Стоит ли при этом обличать марксистскую историографию, в которой, по словам автора, "все явления и процессы в общественном развитии однозначно объяснялись классово-корыстными интересами" (49)?

Особенно отчетливо подобные тенденции проявились при обращении к фигуре Александра III. Его царствование в современных историко-публицистических выступлениях предстает как беспрецедентный пример социального мира, многосторонней и неизменно успешной политики. Были достигнуты "впечатляющие успехи в ключевых секторах экономики"; укрепление национально-самобытной сословной структуры успешно сочеталось с европеизированной социальной политикой (50); происходило "внушительное соединение высших структур государства с видными представителями научного сообщества" (51), покровительству императора были обязаны своим расцветом культура и искусство (52). При Александре III, поощрявшем церковноприходские школы, был сделан "первый шаг на пути всеобщего начального обучения": царь считал, что "государственная власть должна поощрять не учебные заведения для единиц, а развитие образования для многих". Сохранение незыблемого самодержавия позволило Александру III уничтожить революционное подполье (53).

Большинство этих тезисов представляет явный образец своего рода "контрфактической" истории: конструируется искусственная, внутренне непротиворечивая система, не совпадающая с реальным прошлым и призванная его заменить. В разговоре об экономических успехах монархии не упоминается растущий дисбаланс между промышленным и аграрным сектором, голод 1891—1892 гг. Социальные меры при Александре III проводились лишь в первый половине 1880-х гг. под влиянием либеральных импульсов прошлого царствования и заглохли именно тогда, когда вступила в силу сословная политика. Из ученых успешно работал "по специальности" в правительстве только министр финансов Н. Х. Бунге, да и тот был выжит охранителями за "кабинетное доктринерство" и "либеральное теоретизирование". Культура России во времена Александра III знавала не только монаршее покровительство, но и репрессии (сжигались тиражи книг Н. С. Лескова, запрещались сочинения В. С. Соловьева и Л. Н. Толстого, снимались с выставок картины Н. Н. Ге и И. Е. Репина).

Революционное движение угасло прежде всего из-за внутреннего саморазложения: при Александре III в этой сфере попросту не было предпринято никаких принципиально новых мер по сравнению с предыдущим царствованием. Первым шагом ко всеобщему образованию были не церковные, а земские школы, а о демократизме Александра III в плане просвещения народа хорошо говорит "циркуляр о кухаркиных детях". Новейшие ревнители монархии, видимо, даже не замечают, как много в их методике заимствовано из прошлого. Подобно тому, как в советское время отметались все положительные факты, связанные с историей монархии — теперь отметаются все факты отрицательные со сходной целью: "спрямить", упростить историю.

Характерно, что посвященные истории монархии научные конференции постепенно превращаются в ритуализированные действа. Так, в отчете о екатеринбургской конференции особо подчеркивалось, что она проходила в присутствии членов царской династии и представителей духовенства "под Высочайшим Покровительством Главы Российского Императорского Дома Великой Княгини Марии Павловны". Конференция, посвященная Александру III, была начата с панихиды по монарху, а в названии этого научного мероприятия Александр III был объявлен "Государем-Миротворцем", т. е. вывод исследований был сформулирован заранее. Неудивительно, что на конференции Александр III был назван "одним из величайших государственных деятелей России", "великим человеком", "спасителем России". В современных трактовках предпоследний монарх с его сказочно разносторонней и неизменно успешной политикой начинает напоминать героя древних мифов, знакомящего беспомощное человечество с начатками культуры или — если брать менее древний пример — вождя, который одновременно был "лучшим другом пионеров", "лучшим другом физкультурников" и т. д.

Явным "приветом из прошлого" является и принцип выборочного цитирования при освещении истории монархии. Апологеты Александра III любят ссылаться на публичную речь В. О. Ключевского в его честь, но никогда не упоминают о дневниках историка, в которых тот писал, что император попросту не понимал положения страны, а правительство издевалось над обществом и толкало страну к революции. А. Н. Боханов часто называет вслед за С. Л. Франком монархию единственным фундаментом всей культуры в России, но проходит мимо следующего вывода философа: старый порядок погубил себя, связав "задачу охраны священных заветов русской национальной культуры с нигилистическим деспотизмом и насильничеством" (54). Едва ли когда-нибудь в сочинениях ревнителей монархии будет процитирован и вывод о царствовании Александра III, принадлежащий правому консерватору Б. Н. Чичерину: "Ныне Россия управляется отребьем русского народа, теми, которых раболепство все превозмогло и в которых окончательно заглохло даже то, что в них было порядочного смолоду" (55).

Подобно тому, как в советское время не рекомендовалось акцентировать контраст между отдельными этапами политики КПСС — так и теперь различия между различными царствованиями всячески сглаживаются, чтобы не портить картины монархического благополучия. Утверждается, что при Александре III проводилась лишь "корректировка государственного курса", шел "мирный эволюционный процесс созидания, творчества нового без резкой ломки старого". Понятие "контрреформы", которым принято обозначать политику предпоследнего монарха, объявляется фикцией, порождением ущербного либерально-западнического сознания. "Это типичное проявление того концептуального милитаризма, который прочно и абсолютно неосознанно засел в головах исследователей, — полагает Т. А. Филиппова. — Это злокачественное слово плавно перетекает в злокачественную тему" (56).

Между тем при Александре III ряд нововведений 1860-х был уничтожен (мировой суд, университетская автономия), другие (земское и городское самоуправление, новые суды) — серьезно ограничены. Планировалась ликвидация суда присяжных и фактическое упразднение земств (с лишением их исполнительных органов). Главное же — было пересмотрено положение крестьянства на началах, прямо противоположных реформе 1861 г. (консервация общины, сословной обособленности и неполноправности крестьян). Именно эти принципы тщетно пытался ликвидировать Столыпин, чьи реформы А. Н. Боханов назвал последним шансом монархии. "Ломаный" характер политики самодержавия стал одной из главных причин его падения. Попытка сгладить различия между царствованиями рано или поздно заставит искать причины катастрофы начала XX в. в "заговорах" и "кознях", извне разрушивших внутренне благополучную царскую Россию.

Неудивительно стремление современных апологетов монархии с ходу "забить" своего оппонента, обвинив его в невежестве, злонамеренности и прочих грехах. "Все... разговоры о «реакционности» уместны будут лишь тогда, когда хулители увидят мир в его многообразии и перестанут бесконечно бубнить о «темном царстве двуглавого орла»", — утверждает А. Н. Боханов. "Сколько вопили о пресловутой тюрьме народов! Сколько помоев вылили на государя-миротворца!" — восклицает С. Семанов, имея в виду освещение национально-религиозных гонений при Александре III (озабоченность Ротшильда судьбой своих единоверцев в Российской империи С. Семанов именует неслыханной наглостью; озабоченность русских царей судьбой своих единоверцев в Османской империи, естественно, трактуется как священная миссия) (57).

Почему же отечественная историография, едва хлебнув свежего воздуха научной свободы, стремится вернуться к идеологизированному пониманию истории? Часть авторов сознательно строит идейно-политическую доктрину, в которой идеализированная история самодержавия должна послужить обоснованием разрыва с Западом, ужесточения имперской политики, свертывания демократических начал и свободы совести. Вряд ли этому "воскресшему Лазарю" суждена долгая жизнь: современный авторитаризм практикует куда более жесткие формы властвования, и он найдет для себя более подходящие обоснования, чем старомодный монархизм, предполагавший необходимость для власти религиозной санкции, уважение к закону и собственности.

Большинство же авторов, думается, просто реагирует на изменения в современной идейной атмосфере. Общество не выдерживает "испытания историей" — его тянет в уютный, хотя и искусственный мир идеологии. Неужели действительно все исторические начала следует подвергать критике, неужели в каждом историческом явлении наличествовала темная сторона? От этой "страшной" мысли хочется уйти в знакомую, обжитую схему: светлое, "правильное" начало и нападавшие на него злые враги. Такая схема делает историю простой, понятной, избавляет от тяжкой необходимости самостоятельно вырабатывать подходы к прошлому и выносить особую оценку каждому конкретному историческому деятелю. Светлое же начало вычисляется методом простейшего переключения: то, что вчера подвергалось анафеме, сегодня непременно и во что бы то ни стало следует славить. Принято видеть в этом феномене национальную размашистость и максимализм ("коль любить, так не на шутку"); думается, здесь сказывается скорее непривычка к медленному и кропотливому труду, стремление все решить одним махом. Трудно сказать, что случится, если данное явление возобладает в общественно-политической сфере. Что касается научного познания прошлого — то "Атлантида" монархии, на миг открывшаяся для объективного изучения, вновь погрузится в волны идеологии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Волгин И. Метаморфозы власти. Покушения на царский трон в XVIII—XIX вв. М., 1994. С. 192—255.

2. Показательна в этом отношении конференция "Династия Романовых, Россия, русская культура" (Институт мировой литературы им. А. М. Горького, май 1993 г.), где рассматривались взаимоотношения представителей династии с А. А. Фетом, семьей Тютчевых, Н. В. Гоголем, М. Ю. Лермонтовым.

3. Любош С. Последние Романовы. М., 1990. Российские государи. Их происхождение, интимная жизнь и политика. М., 1993. Более глубокий характер носит книга Г. Чулкова "Императоры. Психологические портреты" (М., 1991).

4. Мэсси Р. Николай и Александра. М., 1990; Ферро М. Николай II. М., 1991; Скотт С. Романовы. Царская династия. Кто они были? Что с ними стало? Екатеринбург, 1993.

5. Уральский исторический вестник. 1994. №1. С. 165—166.

6. Радзинский Э. Расстрел в Екатеринбурге // Огонек. 1989. №21. 1990. №2; Рябов Г. Принуждены вас расстрелять... // Родина. 1989. №4—5.

7. Лишь в начале 1970-х гг. как ответ на волну западных публикаций появилось известное сочинение М. К. Касвинова "Двадцать три ступени вниз".

8. Иоффе Г. Революция и судьба Романовых. М., 1992. С. 350.

9. Радзинский Э. "Господи!.. Спаси и усмири Россию". Николай II: Жизнь и смерть. М., 1993. С. 489—490.

10. Буранов Ю., Хрусталев В. Гибель императорского дома. М., 1992, С. 5.

11. Мэсси Р. Николай и Александра. М., 1990. С. 10.

12. Алексеев В. В. Гибель царской семьи: мифы и реальность. Екатеринбург, 1993.

13. Буранов В., Хрусталев В. Ук. соч. С. 335—336.

14. Глисон Э. Великие реформы в послевоенной историографии. В кн.: Великие реформы в России. 1856—1874. М., 1992. С. 11.

15. В современной историографии эта точка зрения представлена работой Н. А. Троицкого "Лекции по русской истории XIX века" (Саратов, 1994).

16. Примером такой трактовки личности Николая II являются работы К. Ф. Шацилло (См.: Шацилло К. Ф. Николай II: реформы или революция. В кн.: История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России IX — начала XX вв. М., 1991; Его же. Предисловие. В кн.: Дневники императора Николая II. М., 1991).

17. Ближайший европейский аналог — Испания — не может, по мнению С. Скотта, служить примером для России: диктатура Франко была значительно короче господства большевиков, страна никогда не была закрыта для Европы, да и сам каудильо демонстративно готовил реставрацию монархии (См.: Скотт С. Ук. соч. С. 329–330).

18. Показательна в этом отношении смена приоритетов в рубрике "Исторические портреты" журнала "Вопросы истории", сознательно ориентирующегося на актуальность и злободневность. В 1988 г. здесь были опубликованы очерки о Сокольникове, Чаянове, Томском, Рыкове. Работ о монархах не было. В 1989 г. из 12 "портретов" два были посвящены императорам (наряду со статьями о Цюрупе, Тухачевском и Савве Морозове). 1990: из 12 статей одна о монархе и две о реформаторах (Витте и Столыпине). 1991: одна статья о монархе из восьми (наряду с работами о Колчаке, Махно и Аракчееве). 1992: императорам посвящено четыре "портрета" из семи (кроме них затронута лишь одна персоналия из отечественной истории — Сергий Радонежский). 1993: пять "портретов" из одиннадцати (наряду со статьями о Струве, Луначарском и Гучкове). 1994: четыре статьи из двенадцати (наряду с работами о Чаадаеве, Бакунине и А. С. Антонове). В настоящее время на страницах журнала рассмотрены все царствовавшие Романовы, включая такие микроскопические персоналии, как Петр II и Иван VI.

19. См.: Филиппова Т. А. Предчувствие ностальгии // Свободная мысль. 1993. №9; Ее же. Мудрость без рефлексии (консерватизм в политической жизни России) // Кентавр. 1993. Ноябрь — декабрь.

20. Эйдельман Н. "Революция сверху" в России. М., 1989. С. 88.

21. Каменский А. Б. Политика как искусство возможного // Родина. 1993. №1. С. 154–155.

22. Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. С. 230–232; Его же. Бессилие власти // Родина. 1993. №1. С. 158–159.

23. Захарова Л. Г. Самодержавие и реформы в России. 1861–1874. В кн.: Великие реформы в России. С. 25, 29, 33, 36.

24. С. В. Мироненко отмечает, что ни в начале, ни в середине XIX в. кризиса крепостничества не наблюдалось, и "если бы не особая политическая ситуация 1850-х гг., то крепостное право могло бы просуществовать еще несколько десятилетий" (Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. С. 232.). Л. Г. Захарова констатирует, что в середине 1850-х гг. имел место не столько экономический, сколько финансовый кризис из-за неудачной войны, а на политику правительства больше влияли не реальные восстания крестьян, сколько страх перед их потенциальной опасностью (Захарова Л. Г. Самодержавие и реформы в России. С. 27, 30–31). О соотношении социально-экономических и политических факторов при подготовке крестьянской реформы см. также: И. К. Пантин, Е. Г. Плимак, В. Г. Хорос. Революционная традиция в России. М., 1986. С. 160–167.

25. Ляшенко Л. М. Царь-Освободитель. Жизнь и деяния Александра II. М., 1994. С. 223.

26. Захарова Л. Г. Самодержавие и реформы в России. С. 35–37.

27. Федоров В. А. Александр I // Вопросы истории. 1990. №1. С. 52, 57, 58; Сахаров А. Н. Александр I (к истории жизни и смерти). В кн.: Российские самодержцы. С. 24–25, 34–37, 51, 58–59, 66–73.

28. Мироненко С. В. Бессилие власти. С. 157–159.

29. Захарова Л. Г. О "личном факторе" в истории: роль Императора Александра II в проведении Великих реформ 60–70-х гг. XIX века в России // Уральский исторический вестник. 1994. №1. С. 56.

30. Мироненко С. В. Бессилие власти. С. 157. Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII — первой половине XIX века. М., 1994. С. 320.

31. Зырянов П. Н. История России. XIX век. Учебная книга для 9 класса средней школы. М., 1994. С. 43, 105.

32. Российские самодержцы. С. 7.

33. Ярким примером такой преемственности стали труды профессора П. А. Зайончковского и его школы. В своих работах Зайончковский систематически подчеркивал роль государства в жизни России XIX в., а его метод заключался в "прямом эмпирическом изложении фактов, основанном на изучении архивов" (Т. Эммонс). С точки зрения академической генеалогии Зайончковский (ученик Ю. В. Готье, занимавшегося у Ключевского) был связан с традициями как позитивизма (Ключевский), так и государственной школы (С. М. Соловьев).

34. Захарова Л. Г. Самодержавие и реформы в России. С. 31–40.

35. Ляшенко Л. М. Царь-Освободитель. С. 102, 132, 163–164, 182–184, 215, 223–224.

36. Эти процессы детально проанализированы в труде П. А. Зайончковского "Российское самодержавие в конце XIX столетия" (М., 1970) и отмечены в недавнем очерке В. А. Твардовской (См.: Российские самодержцы. С. 233–234, 238–239, 276).

37. См.: Исаев И. Превращения монархической идеи // Родина. 1993. №1.

38. Захарова Л. Г. Кризис самодержавия накануне революции 1905 г. // Вопросы истории. 1972. №8. С. 122–129; Б. В. Ананьич и Р. Ш. Ганелин. Николай II // Вопросы истории. 1993. №2. С. 62–63, 65–68.

39. Аврех А. Я. Царизм накануне свержения. М., 1989. С. 3, 5, 6, 10, 15, 241–242.

40. Российские самодержцы. С. 133–134, 137–138, 178, 190, 236.

41. 1857–1861. Переписка императора Александра II с великим князем Константином Николаевичем. Составители Л. Г. Захарова и Л. И. Тютюнник. М., 1994. Николай Второй. Воспоминания. Дневники. СПб., 1994.

42. Сахаров А. Н. Александр I. С. 78. Захарова Л. Г. О "личном факторе" в истории. С. 57–61.

43. См.: Усенко О. Всех пугают перемены // Родина. 1993. №1. С. 120–125.

44. Сахаров А. Н. Александр I. С. 14–23.

45. Каменский А. Политика как искусство возможного. С. 152; Мироненко С. В. Бессилие власти. С. 156.

46. Уортман Р. Николай II и образ самодержавия. В кн.: Реформы или революция? Россия 1861–1917. СПб., 1992. С. 28, 29.

47. Боханов А. Н. Сумерки монархии. М., 1993. С. 10, 235, 239.

48. Правил — как завещал отец? ("круглый стол" об эпохе Александра III) // Родина. 1994. №11. С. 43.

49. Боханов А. Н. Ук. соч. С. 221, 15.

50. Правил — как завещал отец? С. 42, 45 (выступления А. Н. Боханова и Т. А. Филипповой).

51. Мочалов И. Предпоследний император. Александр III и русские ученые // Независимая газета. 1994, 28 октября.

52. Особенно интенсивно этот аспект обсуждался в ходе конференции "Император Александр III и его эпоха" (Государственная публичная историческая библиотека, ноябрь 1994 г.)

53. Правил — как завещал отец? С. 43, 45 (выступление А. Н. Боханова).

54. Франк С. Л. Из размышлений о русской революции // Новый мир. 1990. №4. С. 222.

55. Чичерин Б. Н. Воспоминания. Земство и Московская дума. М., 1934. С. 260.

56. Правил — как завещал отец? С. 42-43; Мочалов И. Ук. соч.

57. Правил — как завещал отец? С. 46; Семанов С. Истинный миротворец // Литературная Россия. 1994, 21 октября.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ и ИСТОЧНИК

О КНИГЕ Д. А. ВОЛКОГОНОВА "ТРОЦКИЙ"

А. В. Панцов, А. Л. Чечевишников

"Самый вредный тип демократов, это — из бывших марксистов. Главные их черты: непрерывная, точащая и ноющая, как зубная боль, ненависть к социал-демократам. Нашей партии они мстят за свое прошлое или, может быть, за... настоящее... Марксизм их «повредил» — некоторых на всю жизнь. Нравственная связь с пролетариатом и его партией, если и была когда, то порвалась совершенно... Господам квалифицированным демократам придется признать политическую мораль: обмануть можно себя, но не историю".

(Троцкий Л. Д. Нечто о квалифицированных демократах. Цит. по.: Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. Т. I. С. 74)

В 1932 г. в изгнании Л. Д. Троцкий издал одну из своих лучших книг — "Сталинская школа фальсификаций. Поправки и дополнения к литературе эпигонов". За несколько лет до выхода в свет краткого курса "Истории ВКП(б)" он выявил и подверг убедительной критике на документальной основе, по существу, все те важнейшие положения концепции истории коммунистического движения в России, которые вскоре стали в нашей стране непререкаемой догмой. Работа Троцкого, разумеется, была поставлена в СССР вне закона. Советский читатель получил возможность познакомиться с ней относительно недавно (1).

Сталинская школа фальсификаций господствовала в нашей литературе многие десятилетия, определяя подходы историков и публицистов не только к анализу политической деятельности самого Троцкого, но и к исследованию всех сторон российского рабочего движения. И лишь на рубеже 80—90-х годов старые схемы начали размываться. Появилась возможность и серьезного осмысления политической биографии Троцкого. Именно тогда увидели свет публикации В. И. Биллика, В. П. Данилова, В. А. Козлова и Е. Г. Плимака, Ю. И. Кораблева,

М. А. Молодцыгина, А. М. Подщеколдина, В. Э. Роговина, Л. М. Спирина, В. И. Старцева, В. Н. Шапошникова, в которых достаточно объективно характеризовалось политическое поведение Троцкого в различные периоды его жизни (2).

И все создание научной биографии Троцкого оказалось делом необычайно сложным. Миф о "злом гении", любившем себя в революции больше, чем саму революцию, прочно укоренился в общественном сознании. Впрочем, лишь немногие авторы продолжали "разоблачение" Троцкого и "троцкизма", недвусмысленно исходя из традиций "Краткого курса" (3). Большинство же историков и публицистов, будучи, по-видимому, не в состоянии в силу тех или иных причин полностью отойти от оценок прошлого, тем не менее вынуждены были учитывать "дух времени". В их работах обосновывалась своеобразная концепция, лишь внешне — объективная, а внутренне — противоречивая и эклектичная, в рамках которой допускалось частичное признание заслуг Троцкого как одного из практиков революции при сохранении генетической преемственности с узловыми положениями сталинской схемы (в первую очередь, с тезисом о диаметральной противоположности теоретических взглядов Троцкого и Ленина). Не случайно даже то немногое положительное, что отмечалось указанными авторами в политической деятельности Троцкого, проговаривалось, как правило, вскользь и на общем негативном фоне могло лишь укрепить читателя в мысли об исключительной беспринципности этого человека. В наиболее полном виде данное историографическое направление в 1988—1990 гг. нашло отражение в многочисленных публикациях Д. А. Волкогонова (4). Впоследствии, в вышедшей в 1992 г. книге "Троцкий", данная концепция была существенно пересмотрена, но никак не в сторону более последовательного проведения принципов историзма и объективности.

В историографии периода перестройки статьи и книги Д. А. Волкогонова занимают особое место. В силу определенных обстоятельств автор раньше многих других историков получил доступ к секретным архивным фондам и воспользовался этим преимуществом в полной мере: быстро, не теряя времени, подготовил исследования, насыщенные неизвестными, порой сенсационными фактами и документами. Все это привлекло большой интерес, вызвало многочисленные отклики и споры. Работы Д. А. Волкогонова стали вместе с тем своеобразным отражением "переходности" в развитии историографии советского общества, несут на себе печать свойственной этому этапу концептуальной сумятицы, приблизительности конкретно-исторических представлений, не имеющих под собой прочной основы длительных разработок и первоначального накопления информации, соответствующей культуры исследования источников.

Созданные в жанре "исторического примитива" произведения Д. А. Волкогонова, поразительно точно отражают и ментальность нашей образованной публики перестроечных лет (особенно печатавшейся в массовых изданиях). Эти "властелины дум", по своей квалификации остававшиеся, как правило, на уровне младшего научного сотрудника, несли в себе твердую убежденность в том, что не может быть проблем, находящихся вне пределов их понимания.

Именно поэтому анализ трудов Д. А. Волкогонова полезен для уяснения особенностей общественного сознания в СССР и России в перестроечные и пер-

вые постперестроечные годы. С другой стороны, весьма важным представляются целенаправленные усилия историков-профессионалов по инкорпорированию всего комплекса "историко-партийных" проблем в академическую историографическую традицию. Преодоление идеологической зашоренности в изучении новейшей истории России не должно вести к профанированию самого предмета исследования.

В чем же конкретно состоит упомянутая выше концепция? На чем строится система аргументации?

Существо данной позиции заключается в следующем: Л. Д. Троцкий с 1903 г. (т. е. со II съезда РСДРП) и вплоть до лета 1917 г. вел активную борьбу против В. И. Ленина то с леводогматических, то с правооппортунистических позиций по всем вопросам стратегии и тактики революционного движения (за исключением, пожалуй, эпизодического вопроса о месте Бунда в РСДРП); эта борьба была Троцким прекращена лишь в обстановке бурного революционного подъема и полевения масс за четыре месяца до Великого Октября, однако коренное различие между "троцкизмом", ядром которого является глубоко ошибочная теория перманентной революции, и ленинизмом сохранилось. Прекрасно понимая это, В. И. Ленин тем не менее стремился использовать организаторские и пропагандистские способности Троцкого, "долго пытался «довернуть» его в нужную сторону" (5); при Ленине Троцкий даже внес определенный вклад в победу Октябрьской революции и в строительство Красной Армии, однако "отсутствие прочных марксистских убеждений сделало его «героем момента»" (6). "Троцкизм" с новой силой дал о себе знать во время болезни Ленина и особенно после его смерти. "Сильный и своеобразный интеллект со слабыми, однако, мировоззренческими «кристаллами» (?! — *А. П., А. Ч.*) при исключительно высокой амбициозности натуры постепенно привел Троцкого в стан непримиримых врагов сталинского социализма" (7), а в конечном счете — Советской власти.

Рассмотрим важнейшие положения представленной концепции. Да, действительно, между Троцким и Лениным на протяжении ряда лет велась острая полемика по целому ряду проблем революции и партийного строительства, но дело все же обстояло сложнее, чем полагает Волкогонов. Так, на II съезде РСДРП Л. Д. Троцкий выступал против В. И. Ленина только по двум пунктам повестки дня: параграфу 1-му Устава партии и по выборам центральных партийных органов. Это явствует как из протоколов съезда, так и из "Дневника заседаний II съезда РСДРП", который вел Ленин (8). Ни одно из положений партийной программы, формулировавшееся Лениным, не оспаривалось. Напротив, Троцкий защищал Ленина в этом вопросе.

Почему же он поддержал Мартова по параграфу 1-му Устава? Понять это можно, лишь осознав, что центром разногласий между Мартовым и Лениным стал вопрос о соотношении внутрипартийной демократии и централизма. Полемика, таким образом, шла вокруг самого понятия "партия", принципов ее организационного строительства. И если Мартов и его сторонники, одним из которых был Троцкий, ратовали за широкую, эластичную организацию, за свободный союз единомышленников, не связанный жесткой партийной дисциплиной, то Ленин, наоборот, выступал решительным защитником централизации, специально подчеркивая необходимость оберегать твердость, выдержанность и чистоту партии. Стремление Ленина объяснимо: оно вызывалось желанием преодолеть кружковщину и избежать провала организации в условиях подполья. Вместе с тем можно понять и позиции мартовцев. Ведь в сознании участников революционного демократического движения были живы образы Робеспьера, Ткачева, Нечаева, достаточно скомпрометировавших понятия "организационного централизма" и "революционной дисциплины". Мартов и Троцкий не могли принять точку зрения Ленина, который в брошюре "Что делать?" подчеркивал: "Единственным серьезным организационным принципом для деятелей нашего движения должна быть: строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, подготовка профессиональных революционеров. Раз есть налицо эти качества, — обеспечено и нечто большее, чем «демократизм», именно: полное товарищеское доверие между революционерами... Для избавления от негодного члена организация настоящих революционеров не остановится ни перед какими средствами" (9). Именно поэтому и на съезде, и особенно после него Троцкий настойчиво повторял мысль о том, что организационное подчинение индивидуума партии приведет к перерождению последней в узкую радикально-заговорщическую организацию (10).

Он поддержал Ленина в вопросе о партийном строительстве лишь тогда (это действительно произошло только летом 1917 г.), когда понял, что организационная политика В. И. Ленина "вовсе не представляет одной прямой линии. Ему не раз пришлось давать отпор излишнему централизму партии и апеллировать к низам против верхов. В конце концов... партия сохраняла необходимое равновесие элементов демократии и централизма" (11). Таким образом, в 1903—1917 гг. Троцкий выступал против Ленина в вопросе о строительстве партии с сугубо прагматических и антицентралистских позиций.

Теперь о разногласиях между Троцким и Лениным по теоретическим проблемам революции. С 1905 по март 1917 г. их существо действительно состояло в противопоставлении двух концепций: перманентной революции, за которую ратовал Троцкий, и революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, разработкой которой занимался Ленин. В сжатом виде теория Троцкого может быть представлена следующим образом: российская буржуазия не способна возглавить революционное движение, поэтому полная победа демократической революции в России мыслима не иначе, как в форме диктатуры пролетариата, опирающегося на крестьянство. Только рабочее правительство, поддержанное крестьянством, в силах разрешить весь комплекс проблем, стоящих на повестке дня российского революционного движения. Ни буржуазная диктатура, ни даже революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства не в состоянии это сделать. Пролетарская диктатура, которая неминуемо осуществит не только социалистические, но и — попутно — демократические задачи, даст в то же время могучий толчок международной социалистической революции. Победа пролетариата на Западе оградит Россию от буржуазной реставрации и обеспечит ей возможность довести социалистическое строительство до конца (12).

Таким образом, концепция Троцкого представляла собой программу осуществления социалистической революции в России (13). Думается, что, уже работая над первой частью свой трилогии, Д. А. Волкогонов понимал это. Более того, именно этим, скорее всего, и объясняется его настойчивое стремление к ее

дезавуированию. В противном случае пришлось бы признать, что именно Троцкий еще в 1905–1906 гг., задолго до Ленина, теоретически обосновал саму идею не только возможности, но и неизбежности социалистической революции в одной стране, причем не просто в какой-то "отдельно взятой" и не в той, которая дошла до степени развития передового капитализма, а в стране, являвшейся наиболее слабым звеном мировой капиталистической системы. Следовало бы тогда констатировать и то, что Троцкий ни коим образом не отрицал революционную роль крестьянства как союзника пролетариата в надвигавшихся революционных событиях, ведь, согласно его концепции, выходило, что крестьянство в России готово поддержать диктатуру пролетариата в той мере, в коей она удовлетворит его интересы. "Здравая политика заставит пролетариат приобщить к власти влиятельных вождей мещанства, интеллигенции или крестьянства", – отмечал он еще в 1906 г. (14).

Признание концепции Троцкого как программы социалистической революции в России влекло за собой необходимость отказаться и от наиболее важного тезиса – о коренном, жестком, абсолютном, так и не преодоленном различии между "троцкизмом" и ленинизмом. Разумеется, в 1989 г. Д. А. Волкогонов еще не созрел для подобных еретических измышлений.

Но, в самом деле, непредвзятое сопоставление двух концепций Ленина и Троцкого показывает, что уже в дофевральский период в них было немало общего. Это и неверие в революционные потенции российской буржуазии, приведшее к их утверждению о том, что революция в России с самого начала перерастет рамки классической буржуазной демократии (до какой степени – это уже другой вопрос), и общая для обоих установка на поддержку революционного процесса в России серией социалистических революций международного пролетариата. "Русская революция имеет достаточно своих собственных сил, чтобы победить, – писал Ленин. – Но у нее недостаточно сил, чтобы удержать плоды победы... Русской революции нужен нерусский резерв, нужна помощь со стороны. Есть ли такой резерв на свете? Есть: социалистический пролетариат на Западе" (15).

Разумеется, в те годы в обеих концепциях было и много различий. Вплоть до Февральской революции Ленин был весьма осторожен в оценках перспективы установления в России диктатуры пролетариата. Он считал, что возможности перевода революции на социалистический этап откроет лишь революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства, которая очистит страну от средневековья для широкого, европейского, а не азиатского развития капитализма и укрепит пролетариат в городе и деревне (16). И только в обстановке бурного революционного подъема в России, в марте – апреле 1917 г., Ленин отказался от ряда существенных положений своей теории (а отнюдь не Троцкий – от своей), выдвинув курс на социалистическую революцию, в ходе которой, как он позже подчеркивал, большевики "решали вопросы буржуазно-демократической революции походя, мимоходом, как «побочный продукт»... главной и настоящей, пролетарски-революционной, социалистической работы" (17). Позиции Ленина, таким образом, практически по всем основным вопросам совпали с установками Троцкого. Чтобы окончательно убедиться в этом, можно хотя бы сопоставить ленинские "Письма из далека" и "Апрельские тезисы" с серией статей Троцкого, опубликованных в конце марта – начале апреля 1917 г. в нью-йоркских журналах "Новый мир" и "Ди Цукунфт". Тождество выводов двух революционеров очевидно.

Так что Троцкому не было необходимости признавать свою неправоту в споре с Лениным в прошлом, как бы его за это не осуждал Д. А. Волкогонов (18). Наоборот, есть основания полагать, что именно Ленин, придя к идее непосредственного социалистического переворота в России, существенным образом пересмотрел и характер своих прежних теоретических дискуссий с Троцким. По крайней мере, об этом свидетельствует предсмертное письмо А. А. Иоффе Троцкому от 16 ноября 1927 г. В нем, в частности, говорится: "Вы политически всегда были правы, начиная с 1905 года, и я неоднократно Вам заявлял, что собственными ушами слышал, как Ленин признавал, что и в 1905 году не он, а Вы были правы. Перед смертью не лгут, и я еще раз повторяю Вам это теперь..." (19). Речь, разумеется, шла о теории перманентной революции. Конечно, воспоминание Иоффе не может служить неопровержимым доказательством, однако его нельзя сбрасывать со счетов. Иоффе был одним из честнейших людей в большевистской партии и вряд ли стал бы кривить душой накануне гибели.

В любом случае приходится констатировать: Февральская революция и последовавшее за ней развитие революционных событий элиминировали основные теоретические разногласия между Троцким и Лениным, так что утверждение о сохранившихся различиях между "троцкизмом" и ленинизмом несостоятельно.

Стремясь противопоставить Ленина и Троцкого, Д. А. Волкогонов утверждает, что последний в период гражданской войны был сторонником гораздо более жестких мер, "репрессий и смертной казни на фронте". Автор неоднократно приводит "цитату" из мемуаров самого Троцкого: "Нельзя армию строить без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. Надо ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади" (20). Первое, что бросается в глаза, – это небрежность в цитировании. Приведенные три предложения в оригинале звучат следующим образом: "Нельзя строить армию без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны, именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной позади" (21). Но это даже не самое главное. Дело заключается в том, что у Троцкого далее следует продолжение. "Но, – заявляет он, – армии все же не создаются страхом. Царская армия распалась не из-за недостатка репрессий. Пытаясь спасти ее восстановлением смертной казни, Керенский только добил ее. На пепелище великой войны большевики создали новую армию... Сильнейшим цементом новой армии были идеи Октябрьской революции" (22). Произведенные Волкогоновым усечение и искажение цитаты полностью искажают мысль Троцкого, стремившегося в первую очередь показать отличия в принципах построения Красной Армии от армий прошлого. Характерно, что эти замечания уже высказывались одним из авторов данной статьи (23). В книге "Троцкий" Д. А. Волкогонов устранил небрежность в цитировании, продолжение же мысли Троцкого вновь отсутствует, зато ее

венчает убийственный вывод: "Этим кредо Троцкий, не задумываясь, руководствовался всю войну" (24).

Еще пример. В книге "Триумф и трагедия" Волкогонов много пишет о том, что Ленин и после вступления Троцкого в партию большевиков видел его "политическую ограниченность". К сожалению, фактов, подтверждающих это, практически не приводится. Исключение составляет лишь ссылка на воспоминания А. М. Горького об одной из бесед с Лениным, в которой последний якобы дал весьма нелицеприятную оценку Троцкому: "Честолюбив. И есть в нем что-то... нехорошее, от Лассаля" (25). Такая ремарка действительно воспроизводится в очерке Горького "В. И. Ленин", однако, появилась она в нем впервые лишь в 1931 г. В первоначальном же горьковском тексте Ленин отзывался о Троцком совсем иначе: "Да, да — я знаю! Там что-то врут о моих отношениях к нему. Врут много и, кажется, много обо мне и о Троцком... А вот указали бы другого человека, который способен почти в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов. У нас такой человек есть. У нас все есть! И — чудеса будут" (26).

Таким образом, единственный аргумент Волкогонова, доказывающий антитроцкистские настроения Ленина, оказывается уязвимым.

Необоснованными остаются и попытки доказать, что Троцкий сохранил приверженность идеям "военного коммунизма" и после того, как Россия под руководством Ленина стала на рельсы нэпа. Использование в этой связи письма Троцкого членам ЦК и ЦКК РКП(б) от 8 октября 1923 г. совершенно некорректно. Никаких призывов к "ужесточению политики в отношении крестьянства", к "милитаризации труда" и т. п. (о чем пишет Волкогонов) в этом письме нет (27).

Заблуждается Волкогонов и тогда, когда ставит знак равенства между экономическими идеями Троцкого и Преображенского (28). Тщательный анализ показывает их принципиальную разницу. Троцкий был не согласен с главной идеей Преображенского — с "основным законом первоначального социалистического накопления", фактически обосновывавшим необходимость ускоренного увеличения государственного капитала в промышленности за счет ограбления крестьянства. Со своей стороны, Троцкий подчеркивал: надо рассматривать взаимодействие закона стоимости, регулирующего частный сектор, и закона социалистического накопления "в контексте мирового хозяйства". При этом он проворливо указывал на опасность того, что в противном случае методологический подход Преображенского "будет превращен в законченную экономическую перспективу" модели замкнутого экономического и политического развития, разрабатывавшейся Сталиным с конца 1924 г. (29). К этой же модели, как известно, он относился крайне негативно, откровенно указывая, что политика Сталина является политикой "зажмуренных глаз", реализуя которую можно "заранее назвать социализмом все, что происходит и будет происходить внутри Союза, независимо от того, что будет происходить за его пределами" (30). Характерно, что к рассмотрению данной проблемы (в биографии Л. Д. Троцкого) Д. А. Волкогонов уже не возвращается.

В книге "Триумф и трагедия" Д. А. Волкогонов крайне негативно оценивает все, что писал Троцкий в 20-е и 30-е годы о бюрократическом произволе в партии и стране, называя его антисоветчиком. Не менее бездоказательны и рассуждения относительно истинных целей и методов той борьбы, которую Троцкий вел тогда против сталинской бюрократии. Для Волкогонова эта борьба — лишь интриганство несостоявшегося диктатора, взявшего на вооружение идеи социалистической демократии с чисто тактическими намерениями — дискредитировать ЦК партии; на деле же, с его точки зрения, Троцкий стремился лишь к одному — стать лидером РКП(б) (31). В этом контексте любое выступление Троцкого тех лет, в котором он говорит о действительном перерождении партийно-правительственного аппарата, рассматривается всего лишь как демагогия, как попытка отвлечь партию от решения насущных задач социалистического строительства. Закономерно поэтому, что маневры Сталина, направленные против Троцкого, оцениваются весьма положительно (32), а общее направление деятельности самого Троцкого, особенно в вынужденной эмиграции, — как антипартийное и антисоветское (33).

Все это можно было бы принять на веру, если бы не два обстоятельства. В 1923 г., когда Троцкий впервые заговорил о необходимости расширения внутрипартийной демократии, никто из других членов Политбюро не мог конкурировать с ним ни по степени популярности, ни по уровню теоретической подготовки. Трибун революции, организатор Красной Армии, он заслуженно считался вторым после Ленина человеком в руководстве РКП(б) и имел реальные шансы стать преемником Ленина.

Существенно иные оценки борьбы между Троцким и Сталиным содержатся в книге Д. А. Волкогонова "Троцкий. Политический портрет", вышедшей в 1992 г. Радикальные общественно-политические сдвиги рубежа 80—90-х гг. настолько сильно повлияли на мировоззрение автора, что при всей заданности на разоблачение ужасов большевизма он с трудом скрывает симпатию к вчерашнему "злейшему врагу ленинизма".

По авторскому замыслу, это уже не политическая биография, а политический портрет. Отличие между ними в том, что "строго следуя историческим фактам, «портретист» вправе по своему усмотрению давать такую интерпретацию реальным событиям и процессам, какую может видеть не просто ученый, но и художник" (34). В отечественной историографии есть блестящие образцы политического портрета. Достаточно назвать книгу А. З. Манфреда, который не только создал подлинно художественное полотно, но и профессионально владел мастерством исторической "фотографии" (35). Не ставя своей задачей разбор художественных достоинств книги Д. А. Волкогонова, проанализируем ее как историческое исследование.

Взгляды самого Д. А. Волкогонова от первых публикаций перестроечной поры до рецензируемой книги претерпели существенную эволюцию. Исчезли пиетет перед Лениным, противопоставление троцкизма и ленинизма. Налицо стремление сблизить основные фигуры русской революции, поставить между ними знак равенства. Повествуя о разгроме "большой оппозиции", Д. А. Волкогонов замечает, что "Троцкий был далеко не всегда прав, и история это подтверждает. Но что он не был врагом социализма, а был врагом Сталина, это ясно сегодня всем. Хотя «социализм» Троцкого мало отличался от социализма Сталина. Оба они были ленинцами" (36). Доктор философских и исторических

наук исходит из того, что "онтология марксизма в России имеет три основные ветви: ленинизм, троцкизм и сталинизм. Но все они произросли из общего корня" (37). При этом Д. А. Волкогонов не оговаривает изменения своих оценок, не объясняет, что заставило его отказаться от прежних подходов, которые, вероятно, тоже имели определенные основания.

Развенчание большевизма Д. А. Волкогоновым лишено подчас не только научной, но и этической корректности. С уверенностью умудренного опытом человека автор констатирует, как тлетворно может влиять на людей близость к власть предержащим, как вожди нередко "покупают" преданных себе помощников. Он относит Троцкого к тем, кто положил начало формированию целой категории советских людей — так называемой "обслуги" (38). Но действительная преданность не покупается привилегиями (а они, разумеется, распространялись и на ближайшее окружение Троцкого). За низвержением патрона не всегда следует предательство. Доказательством этого служат судьбы Бутова, Сермукса, Познанского, других секретарей и единомышленников Председателя РВСР. И ниже автор отмечает их стойкость (39). Но в данном случае реальная история мешает провести нужную политическую аналогию и поэтому может быть проигнорирована.

Попытаемся проследить мировоззренческую основу столь узнаваемых методов исследования. Сняв китель генерала от идеологии и надев заграничный пиджак борца с Единственно Верным Учением, Д. А. Волкогонов продолжает мыслить в марксистской парадигме. То и дело он как бы проговаривается, используя привычные категории и обороты. Так, характеризуя молодого Льва Бронштейна, автор ставит его в ряд "многих начинающих мелкобуржуазных революционеров", способных "на быструю смену ориентиров" (40). Анализируя же политическую и литературную деятельность своего героя в середине 30-х годов, его концепцию советского термидора, Д. А. Волкогонов подчеркивает, что Троцкий "явно стоит на позициях, которые ближе к взглядам Сталина, чем трезвых марксистов" (41). Остается гадать, что имеется ввиду под "трезвым марксизмом".

Для автора характерны традиционно завышенные, марксистские оценки деятелей революционного движения. "Выдающимися людьми своей эпохи" одновременно названы Каутский, Плеханов, Адлер, Парвус, Мартов, Дан, Аксельрод, Ленин, Фрунзе, Бухарин, Каменев (42). Непосредственно перед изложением событий, связанных с высылкой за рубеж русской гуманитарной элиты, он находит нужным подчеркнуть, что "в окружении Ленина было много весьма интеллигентных людей" (43). Все это странным образом сопровождается обильным цитированием Бердяева.

Впрочем, там, где марксистский инструментарий не приближает к пониманию характера героя, Д. А. Волкогонов апеллирует к "Провидению", "Року", "божьему промыслу", "демонам".... (44)

Знакомство с колоссальной традицией троцковедения во многих случаях помогло бы избежать подобной аргументации. Но несмотря на грандиозность и запутанность поднимаемых проблем, автор не считает нужным искать опоры в опыте предшественников. Не обойден вниманием и обильно цитируется лишь Исаак Дейчер. В предисловии приводится ряд имен зарубежных и советских историков, но перечень этот носит, мягко говоря, случайный характер (45). В нем упоминаются не имеющие ни одной специальной работы о Троцком Р. Такер, Ю. А. Поляков и П. В. Волобуев, а Пьер Бруэ, самый крупный из ныне здравствующих троцковедов, отсутствует (46). Как уже упоминалось выше, Д. А. Волкогонов игнорирует даже отечественные публикации, содержащие анализ его работ, а также обращения коллег в его адрес (см. приложение I).

Характерная черта книги — использование различных художественно-психологических приемов. Это, несомненно, делает ее более привлекательной для восприятия, но во многих случаях размывает достоверность изложения. Так, произвольно моделируются размышления Троцкого в Койоакане: "Троцкому вспомнилось почему-то о расстрелянной семье русского царя, на что члены Политбюро дали санкцию..." (47) В другом месте так же описываются ощущения Троцкого при чтении им манифеста великого князя Кирилла 1924 г. (48). И все это, чтобы убедить читателя в том, что "ни тогда, в 1918-м, ни позже у Троцкого не возникало никаких сомнений относительно «законности» чудовищного убийства. Революции все дозволено..." (49). Стремясь подчеркнуть политический аморализм большевистских лидеров, Д. А. Волкогонов заставляет Троцкого "вспомнить", как однажды Ленин показал ему письмо П. А. Кропоткина, в котором тот назвал решение расстреливать эсеров-заложников в случае покушения на вождей советского режима возвратом к худшим временам средневековья и религиозных войн. "Троцкий посмотрел на резолюцию Ленина: «В архив... 21 дек. 1920 г.» Соратник Ленина был с ним согласен и в этом вопросе" (50). Но на письме Кропоткина нет никаких следов того, что Троцкий знакомился с ним (51). Подводя читателя к выводу, что Троцкий и Сталин, будучи личными антиподами, "остались типичными большевиками, помешанными на насилии, диктатуре и принуждении" (52), автор находит корни сталинской формулы об обострении классовой борьбы в ходе социалистического строительства в сделанном Троцким в апреле 1918 г. заявлении о том, что "чем дальше и больше будет развиваться революционное движение и у нас, и за рубежом, тем теснее будет сплачиваться буржуазия всех стран" (53).

Введя в оборот большое количество новых фактов и документов (глубокое уважение вызывает количество ссылок на архивные фонды — их более шестисот), Д. А. Волкогонов допустил множество неточностей и даже ошибок. Характеризуя позицию Троцкого в Бресте, он без серьезного анализа внутренней и международной обстановки зимы 1917—1918 г. делает вывод, что по сравнению с ленинской она была "явно ущербной" (54). Логика же Троцкого просто игнорируется. Хотя в исторической науке за последнее время уже стал хрестоматийным тезис, согласно которому Троцкий, заявив, что Советская Россия мира не подписывает, войну вести отказывается, а армию распускает, тем самым лишил всяких оснований возможные обвинения в измене принципам всеобщего демократического мира и в то же время устранял формальный повод для интервенции держав Антанты.

Освещая события осени 1923 г., Д. А. Волкогонов приписывает авторство "заявления 46-ти" Троцкому (55). Жаль, что отсутствуют аргументы, подтверждающие это открытие.

Г. Е. Зиновьеву ошибочно отдается приоритет в формулировании тезиса о диктатуре партии в нашей стране (56). В действительности же автор бро-

люры "Ленинизм" (1925) лишь констатировал очевидное. Более того, уже 1923 году на XII съезде партии Зиновьев резко критиковал "тех товарищей, оторые не считали возможным об этом говорить вслух", и изложил свое понимание диктатуры партии как диктатуры Центрального Комитета (57). А в 1921 г. диктатуре партии упоминалось в содокладе Троцкого по вопросу о профсоюзах а X съезде РКП(б) (58). Впрочем, и сам Д. А. Волкогонов в заключение приодит слова Ленина: "Когда нас упрекают в диктатуре одной партии... мы говорим: а, диктатура одной партии! Мы на ней стоим и с этой почвы сойти не можем" (59). При этом почему-то дается ссылка на 24-й – дооктябрьский (?!) – ом Полного собрания сочинений, хотя эти слова произнесены Лениным уже осле упрочения большевистской власти – 31 июля 1919 г. на съезде работников просвещения (60). А в 1920 г. в книге "Детская болезнь «левизны» в коммунизме" он отзывался о попытке разграничить диктатуру класса и диктатуру артии как о "самой невероятной и безысходной путанице мысли" (61). Так что 1925 г. Зиновьев излагал именно ленинизм.

Очень кратко останавливаясь на спорах о китайской революции, Д. А. Вологонов делает вывод о том, что позиция Троцкого была более левой, чем талинская (62). Но можно ли обвинять Троцкого в излишней левизне за то, что н стремился предотвратить физическое уничтожение коммунистов в Гоминьдане вполне резонно предлагал укреплять свои собственные организационные струкуры и военные формирования? При чем здесь левая или правая политика – епонятно. О незначительной проработке китайской темы свидетельствует и акой относительно частный факт: опубликованный в изгнании сборник статей Проблемы китайской революции" Д. А. Волкогонов рассматривает как самотоятельную книгу Троцкого, перечисляя ее в одном ряду с работами, в нем омещенными (63).

Бурные эмоции у читателей-специалистов вызывает подпись под одной фотографий Троцкого во втором томе. Она гласит: "Декабрь 1925 г. Во время ыступления на XIV съезде ВКП(б)". В стенографическом отчете съезда нет одного выступления Троцкого.

Недоумение порождают многочисленные искажения фамилий. Один из руководителей компартии Германии, Август Тальгеймер, во всех случаях именуется ольгеймером (64), видный кадет М. М. Винавер – Виновером (65), извест-ый меньшевик Д. Ю. Далин – Долиным (66), фамилия народного социалиста В. Пешехонова в ленинской рукописи не разобрана и приведена как Погле-инов (67), один из лидеров лейбористской партии, Ф. Сноуден, превратился Скоудена (68), деятель французского рабочего движения Пьер Монатт фигурирует то как Монотт (69), то как Донат (70). Наиболее же показательно смешение двух Валентиновых. Из текста и именного указателя следует, что автор ождествляет Н. Валентинова (Н. В. Вольского) со сторонником Троцкого, вшим в течение ряда лет редактором газеты "Труд" Г. Б. Валентиновым (71).

В книге немало ссылок на 2-ю, "секретную", опись фонда №2 "Владимир льич Ленин" бывшего Центрального партийного архива. К моменту выхода ографии в свет данная опись содержала только неопубликованные документы, о, казалось бы, должно налагать особую ответственность на исследователя. и материалы Д. А. Волкогонов использует, повествуя о Троцком как биографе Ленина: "Однажды Ленин показал Председателю Реввоенсовета книгу Р. Леви «Троцкий», изданную в Париже. Вечером Лев Давидович пролистал ее, задержавшись на 160-й странице с ленинской пометкой. Там было написано: «...нескончаемые заседания 20 и 21 февраля, на которых противопоставлена тактика и сторонники Троцкого и Ленина. Первый проповедует священную войну; второй только хочет сохранить власть, которую он захватил...» Ленинская рука зло и ревниво подчеркнула слово «только» и написала на полях: «вот болван!!!» Типично в ленинском духе абсолютной нетерпимости. Но Троцкий об этом не пишет..." (72). Не будем комментировать это резюме.

В том, что Д. А. Волкогонов видел этот документ, мы не сомневаемся, так как десятки фотокопий неопубликованных дел из описей 1 и 2 по устному распоряжению автора были выданы его помощнику и вынесены из стен РЦХИДНИ (такого рода документы никогда не выносились за пределы архива; ни один секретарь ЦК не позволял себе ничего подобного). Откроем и мы дело №493, на которое дается ссылка. В нем фотокопии двух страниц названной книги. На титульном листе обозначены автор и выходные данные – Роже Леви, Париж, 1920. Ни здесь, ни на странице 77-й (а не 160-й, как у Волкогонова) нет никаких свидетельств того, что с ней знакомился Троцкий. Более того, как следует из указателя имен ко II тому, Леви Р. А. в нем упомянут дважды. В втором случае – на цитированной выше странице 258, а в первом – на странице 134, где речь идет о Регине Абрамовне Леви, жене будущего главного источника ОГПУ-НКВД в окружении Троцкого М. Г. Зборовского. Здесь же сообщается, что этот последний родился в 1908 году...

Ну стоило ли, право, государственному человеку ради такого злоупотреблять своим служебным положением?

Исполняя свою историческую миссию публикатора неизвестных ранее документов, Д. А. Волкогонов нередко опускает некоторые "мелочи". Например, их даты. Подобная участь постигла, например, одну телеграмму Ленина и шесть телеграмм Троцкого, извлеченные из Центрального государственного архива Советской Армии (73). Немало интереснейших сведений приводится без ссылки на источник: голосование на пленуме ЦК предложения о назначении Сталина наркомвоеном, оценка численности троцкистско-зиновьевской оппозиции, маргиналии Троцкого на стенограмме XIV съезда, цитата из предсмертного письма А. А. Иоффе (74).

Ознакомиться со всеми документами, использованными в книге, нет возможности не только из-за их многочисленности, но и потому, что значительная их часть почерпнута в архивах Иностранного отдела ОГПУ, Международного института социальной истории в Амстердаме, Хогтонской библиотеки Гарвардского университета. Так, Служба внешней разведки России в 1992 г. заявила о намерении издать свой архив Троцкого. Теперь, разумеется, в Ясенево уже не до Троцкого. Надежды на появление в Москве копий многих документов из Амстердама и Гарварда тоже в основном не сбылись.

Так что рассчитывать на то, что в скором времени историк, имеющий средства и досуг, сможет познакомиться со всеми документами Троцкого, не приходится. Д. А. Волкогонов пишет, что ему довелось поработать во всех архивах, где хранятся бумаги Троцкого (75). Но во второй части его трилогии о вождях

русской революции еще нет ни одной ссылки на так называемый "кремлевский архив" (76). Судьба этого уникального хранилища достаточно печальна. Его традиционный статус, разумеется, не предполагает научно-исследовательского использования. Впрочем, руководство Роскомархива в конце 1991 года было твердо настроено добиться передачи исторической части Архива Президента РФ в РЦХИДНИ. Но жизнь показала иллюзорность этих надежд. И хотя подлинные протоколы заседаний Политбюро все же поступили в РЦХИДНИ, но самое ценное — подготовительные материалы к заседаниям остались в Архиве Президента.

Получивший туда свободный доступ Д. А. Волкогонов недавно выпустил новую книгу, на сей раз — о Ленине. Ведь "честных книг о Ленине в нашей стране не написано..." (77).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Троцкий Л. Сталинская школа фальсификаций. Поправки и дополнения к литературе эпигонов. М.: Наука, 1990. См. также: Вопросы истории. 1989. №7–10, 12; 1990. №1.

2. См.: Биллих В. И. Троцкий. На пути к правде о нем // Собеседник. 1989. №33; Данилов В. П. Мы начинаем познавать Троцкого // ЭКО. 1990. №1; Козлов В., Плимак Е. Концепция советского термидора // Знамя. 1990. №7; Кораблев Ю. Почему Троцкий? // Политическое образование. 1989. №2; Молодцыгин М. А. 120 дней наркомвоена. Из истории перехода к строительству массовой регулярной Красной Армии // Военно-исторический журнал. 1989. №8, 10; Подщеколдин А. М. "Новый курс": пролог трагедии // Молодой коммунист. 1989. №8; Роговин В. Неизвестный Троцкий // Аргументы и факты. 1990. №38; Спирин Л. М. Из истории РКП(б) в годы гражданской войны и интервенции // Вопросы истории КПСС. 1989. №3; Старцев В. И. Л. Д. Троцкий: страницы политической биографии. М., 1990; Шапошников В. Н. Троцкий — сотрудник "Восточного обозрения" // Известия СО АН СССР. Серия истории, филологии и философии. 1989. Вып. 3.

3. См.: Иванов В. Перекрашивают Иудушку // Советская Россия. 1987. 27 сентября; Минаев Л. М. Борьба за лидерство и деформация облика ленинизма // Вопросы истории КПСС. 1989. №12; Пономарев А. Я. Нельзя строить армию без репрессий // Военно-исторический журнал. 1989. №8, 10.

4. См.: разделы о Троцком в книге Д. А. Волкогонова "Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина" (М., 1989), а также его статьи в "Литературной газете" (1990, 30 мая; 13 июня), "Правде" (1988, 19 сентября), журналах "Родина" (1989, №7) и "Коммунист Вооруженных сил" (1989, №19).

5. Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Кн. I. Ч. I. М., 1989. С. 167.

6. Там же. С. 165.

7. Там же. С. 259. Видимо, у тех, кто не встал на путь борьбы со сталинским социализмом, интеллект был слабый и несвоеобразный, зато — с сильными мировоззренческими кристаллами!

8. См.: Второй съезд РСДРП. Июль — август 1903 года. Протоколы. М., 1959; Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 403–421.

9. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 141.

10. Наиболее полно его взгляды по этому вопросу изложены в брошюре: Наши политические задачи (Тактические и организационные вопросы). Женева, 1904.

11. Троцкий Л. Сталин. Т. II. Бэнсон, 1985. С. 140.

12. В систематическом виде эта теория была впервые изложена Троцким в работе "Итоги и перспективы. Движущие силы революции" (1906 г.).

13. Здесь мы преднамеренно оставляем в стороне вопрос о том, правы или нет были Троцкий и Ленин в своих теоретических установках и практических действиях, направленных на осуществление социалистической революции в России. Свою же задачу мы видим в восстановлении истинной позиции Троцкого в тот или иной момент его политической деятельности.

14. Троцкий Л. Д. Итоги и перспективы. Движущие силы революции. М., 1919. С. 39.

15. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 17.

16. См. напр.: Там же. Т. 11. С. 1–131.

17. Там же. Т. 44, С. 147.

18. См. напр.: Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. С. 155, 193–194.

19. Цитируется по ранее неизвестному подлиннику: РЦХИДНИ. Ф. 589. Оп. 3. Д. 1992.

20. Цит. по: Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. С. 166; Правда. 1988. 9 сентября.

21. Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Т. 2. Берлин, 1930. С. 141.

22. Там же.

23. См.: Панцов А. В. "Демон революции" или пролетарский революционер // Политические исследования. 1991. №1. С. 190–191. Данная статья под авторским названием "Новая школа фальсификаций" была также опубликована в "Кайе Леон Троцки" (1990, №44) и в токийском журнале "Мадо" (1991, №1).

24. Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. В 2-х тт. М.: Новости, 1992. Т. I. С. 285–286.

25. Там же. С. 166.

26. Русский современник. Пг. 1923. С. 243.

27. См.: Известия ЦК КПСС. 1990. №5. С. 165–173.

28. Цит. по: Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. С. 194–195.

29. Коммунистическая оппозиция в СССР. 1923–1927. Из архива Льва Троцкого в четырех томах. Бэнсон, 1988. Т. I. С. 225.

30. Там же. Т. 2. С. 145.

31. Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. С. 81, 155, 163, 165.

32. Там же. С. 162, 202.

33. Там же. С. 28, 30, 252.

34. Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. Т. I, С. 19.

35. Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой французской революции. М., 1978.

36. Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. Т. II. С. 58.

37. Там же. Т. I. С. 19; Т. II. С. 353.

38. Там же. Т. I. С. 281–281.

39. Там же. Т. II. С. 91.

40. Там же. Т. I. С. 34.

41. Там же. Т. II. С. 183.

42. Там же. Т. I. С. 14–15.

43. Там же. С. 362.

44. Там же. С. 14.

45. Там же. Т. I. С. 18.

46. Подготовленный в 1991 году в издательстве "Новости" и затем отодвинутый в сторону перевод монографии П. Бруэ "Троцкий", разумеется, уже не выйдет в свет.

47. Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. Т. II. С. 240.

48. Характерно, что манифест цитируется со ссылкой на архив Иностранного отдела ОГПУ, и нет никаких оснований утверждать, что Троцкий вообще его читал.

49. Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. Т. II. С. 131–132.

50. Там же. С. 262–263.

51. РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 2. Д. 478.

52. Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. Т. II. С. 217.

53. Там же. Т. I. С. 203.

54. Там же. С. 192.

55. Там же. Т. II. С. 17.

56. Там же. С. 55.

57. Двенадцатый съезд РКП(б). 17–25 апреля 1925 года. Стенографический отчет. М., 1968. С. 47, 227–228.

58. Десятый съезд РКП(б). Март 1921 года. Стенографический отчет. М., 1963. С. 350.

59. Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. Т. II. С. 371.

60. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 134.
61. Там же. Т. 41. С. 24.
62. Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. Т. II. С. 69.
63. Там же.
64. Там же. Т. I. С. 70, 71, 411.
65. Там же. С. 167, 404.
66. Там же. Т. II. С. 136, 359, 403.
67. Там же. С. 261, 408.
68. Там же. С. 160, 409.
69. Там же. С. 137, 361, 407.
70. Там же. Т. I. С. 114, 405.
71. Там же. Т. II. С. 68, 402.
72. Там же. С. 258.
73. Там же. Т. I. С. 235, 236, 238, 266, 286, 294.
74. Там же. Т. II. С. 45, 53, 57, 58.
75. Там же. С. 156.
76. Условно именовавшийся ранее архивом Политбюро, до 1990 года он составлял VI сектор Общего отдела ЦК КПСС. После окончательного перехода заведующего этим отделом В. И. Болдина в канцелярию Президента СССР он забрал с собой и архив Политбюро, который и стал основой Архива Президента СССР, а затем — Президента Российской Федерации. В этом архиве до последнего времени хранились подлинные протоколы и стенограммы заседаний Политбюро с 1919 по 1990 годы (с материалами к ним). Протоколы недавно были переданы в РЦХИДНИ. Возможно, он располагает и материалами пленумов ЦК, так как не все стенограммы пленумов были переданы в ЦПА. В Архиве Президента хранятся и личные архивы генеральных секретарей, а также некоторых членов Политбюро. Судя по материалам, публиковавшимся в "Известиях ЦК КПСС", там есть даже дореволюционные документы.
77. Волкогонов Д. А. Троцкий. Политический портрет. Т. I. С. 172.

"КАК Я ДОКУМЕНТАЛЬНО УСТАНОВИЛ" или "СМЕЮ УТВЕРЖДАТЬ"

О КНИГЕ Д. А. ВОЛКОГОНОВА "ЛЕНИН"

Н. И. Дедков

Ничто так не мешает видеть,
как точка зрения.

Дон-Аминадо

В наши дни, чтобы числиться в рядах демократических, современных, прогрессивных, мыслящих, — достаточно немного: надо лишь утверждать обратное тому, что говорилось лет десять назад. Способ этот безошибочен и общеупотребителен. Отказ от собственных взглядов, предание их поношению, замена их на прямо противоположные возведены в принцип и выставляются напоказ едва ли не как высшая гражданская доблесть. Верность себе и последовательность обречены быть предметом насмешек. Стоит только приглядеться внимательно — и окажется, что почти ничего нового, творческого не принесла с собой новая эпоха. Все строится на отрицании дня вчерашнего, все заимствуется во вчера, только вот знаки "плюс" и "минус" поменялись местами. Для творческой мысли, для обретения нового знания в этом процессе поразительно легкой замены одной крайности на другую места просто не остается. Процесс "творчества" в сфере идеологической облегчился до предела: очередной догмат идеологии коммунистической обращается в свою противоположность — и результат налицо.

Удивительнее всего, что этот метод, при всей его общеупотребительности, доходящей до пошлости, все еще не исчерпал себя. Новые творения, новые "идеи", созданные по вышеуказанному рецепту, продолжают появляться и привлекать внимание. Историческая литература (хотя в основном это касается исторической публицистики) не стала исключением. Николай II из "Николая Кровавого" обратился в святого мученика; Белое Дело стало делом безусловно правым, и т. д., и т. п. А некто, заявивший, что вторую мировую войну начал Советский Союз, смог затмить всех, ибо вознамерился опровергнуть факт, который ни один здравомыслящий человек опровергать не стал бы. И вот — очередное

явление в том же ряду. В книге Д. А. Волкогонова Ленин из "самого человечного человека" превратился в "великого грешника", в жестокого властолюбца, в злого гения России. Вероятно, дальше в деле разоблачения и отрицания коммунистической идеологии идти уже некуда. А потому стоит остановиться и задуматься: какими путями ведется сейчас переписывание истории, из каких источников черпают некоторые историки бескомпромиссную жестокость своих суждений.

"Научная гипотеза"

В исторической науке есть свои традиции, свои приличия, если угодно. Не вчера они родились, не во времена обязательного для всех исторического материализма, а гораздо раньше. Уважая своего читателя, давая ему возможность следить за ходом мысли, контролировать объективность, беспристрастность исследования, русские историки привычно начинали свои работы с постановки задачи, с анализа источниковой базы, с объяснения особенностей своей методологии, а завершали — выводами, всесторонне обоснованными в аналитической части исследования. Спору нет, любые условности в какой-то мере стеснительны, но культурный человек, и не выходя за рамки приличий, может оставаться естественным, а мастерство С. М. Соловьева и В. О. Ключевского, П. Н. Милюкова и А. А. Корнилова и при соблюдении всех научных канонов позволяло им оставаться превосходными писателями.

Д. А. Волкогонов с первых же страниц своей книги все эти каноны отметает как устаревший хлам, не объяснив, чем вызвано его новаторство. Уже в первой главе "Вместо введения. На экране истории" автор предлагает читателю ряд наиболее значительных своих выводов, сопровождая недвусмысленным заявлением о научном характере своей работы: "Все, что я сейчас написал о некоторых личных качествах, гранях личности Ленина (в данном случае Д. А. Волкогонов скромен, на первых двадцати страницах книги, помимо всего прочего дается оценка роли Ленина в отечественной и мировой истории — *Н. Д.*), выглядит, возможно, не более как научная гипотеза, которую *я*, однако, постараюсь доказать на страницах книги". (1/21, здесь и далее ссылки на книгу Д. А. Волкогонова "Ленин. Политический портрет. В двух книгах". Кн. 1–2, М., 1994, даются в тексте в скобках. Первая цифра — номер тома, после дроби — номера страниц.)

Даже в физике гипотезы, как правило, *проверяются:* слово "доказательство" более уместно в отношении теорем. У гуманитарной же области научного знания — своя специфика. В исторической науке стремление доказывать некие априорные утверждения, и особенно, если речь идет об очередной интерпретации новейшей политической истории, свидетельствует скорее о пристрастности исследователя, нежели о его объективности. Для того, чтобы доказывать, не надо трудиться над отбором из безбрежного моря известных свидетельств достоверных источников, не надо изучать *всю* совокупность установленных и проверенных исторических фактов, пытаясь понять, что же происходило на самом деле; достаточно отбирать и пересказывать то, что работает на "гипотезу", утверждая нелепое для "ученого", хотя, может быть, и приемлемое для вольного художника "право больше оттенять те или иные грани" в соответствии с собственным видением "натуры" (1/17). Д. А. Волкогонов желает творить по законам искусства, в то же время требуя к себе доверия как к представителю науки, забыв, что там, где художник или романист волен преображать реальность в соответствии с личным видением, ученый остается рабом действительности, его удел — поиск истины.

Вероятно, автору бывает очень трудно подавлять в себе влечение к свободному творчеству. Щедрой рукой занес он в разряд "научной гипотезы" "все, что сейчас написал", предоставив читателю самому отделять зерна от плевел. Введение построено как импровизированная устная речь: одна мысль цепляется за другую по чистой случайности; кажется, что сам автор не знает, о чем будет писать в следующий момент; речевой поток подхватил его и понес. От размышлений о сути ленинизма — к внешней политике Советской России; к рассуждениям о роли партии в советском обществе; и назад — к историческому краху ленинизма. Формулировать "гипотезу" Волкогонова приходится тому, кто намерен ее анализировать. И если вычленить из главы "На экране истории" все достаточно значимые высказывания о Ленине и ленинизме, по возможности систематизируя их, то окажется, что в качестве гипотезы предложено приблизительно следующее (стиль и лексика автора сохранены):

Характеристика личности Ленина: "российский якобинец, начавший рыть глубокий могильный ров для эфемерного сияющего храма будущего (1/11), крупнейший революционер XX в. с сильным прагматическим умом, мощным интеллектом, огромной целеустремленностью и волей (1/17,30). Главный предмет его устремлений — власть над Россией, хотя к России и русским он относился непристойно (1/30–31). Определяющей чертой Ленина была фанатичная вера в коммунистическую Утопию, ради достижения которой он не останавливался ни перед чем (1/17–18)".

Характеристика ленинизма: "Ленин верно вскрывал все пороки человеческого бытия (1/13), хотел земного счастья для пролетариата, но считал возможным творить его на крови, насилии, несвободе (1/34). Центральная его идея — создание мощной революционной организации (1/14), он хотел, чтобы партия стала главным элементом нового государства (1/16). Ленин считал, что власть — это прежде всего диктатура (1/18), а диктатура пролетариата составляет основное содержание социалистической революции (1/12)".

Характеристика деятельности Ленина: "Ленин смог создать партию с жесткой организацией, а затем, повернув в 1917 г. штурвал судьбы в сторону силового разрешения проблем мира, земли, свободы, быстро вмонтировал ее в государственную систему (1/14). Сам Ленин не был диктатором в общепринятом смысле, предпочитал оставаться в тени, имея в своих руках диктатуру партии (1/18–19). В итоге было создано государство, характерными чертами которого была государственная эксплуатация, сословно-бюрократическое неравенство и тотальная идеологическая несвобода (1/13). Во внешней политике Ленин пытался инициировать революционные процессы в странах Востока и Запада (1/14) и заложил традицию тайных дел с Германией, продолженную Сталиным (1/20)".

Историческое значение ленинизма: "Дело Ленина потерпело историческое поражение (1/10). Ни один из глобальных прогнозов Ленина не оправдался (1/20). Материализация ленинских идей в России привела к огромному историческому отставанию (1/13), Россия осталась в хвосте исторического обоза цивилизации (1/28). Оказалась, что ленинская партия неспособна выжить в гражданском обществе, несовместима с демократией (1/15)".

К сожалению, многословное воспроизведение "гипотезы" — дело неизбежное. В тексте книги рассуждения Волкогонова теряются среди многочисленных цитат и примеров, систематизация их демонстрирует главное качество "научной гипотезы" — отсутствие действительно новых интересных идей. Достаточно присмотреться повнимательнее.

Фраза о российском якобинце, копающем могильный ров для храма будущего, вообще не поддается истолкованию; если о чем она и говорит, то только о правоте слов П. Я. Чаадаева: "Люди, всегда красно говорящие, никогда не бывают красноречивы" (3). Да и слова о крупнейшем революционере, его уме, интеллекте и воле, вероятно, также могут быть причислены к гипотезе только по недоразумению: настолько расхожим и общепринятым является это утверждение. Личный вклад Волкогонова в характеристику Ленина можно сформулировать так: "Ленин — фанатик коммунистической идеи, не останавливающийся ни перед чем на своем пути, стремившийся к власти над Россией, но не любивший ни Россию, ни русский народ". И ключевые, наиболее важные для Волкогонова слова этой фразы ("фанатик", "не любивший", "не останавливающийся ни перед чем") дают наглядное представление о степени "научности" авторской концепции.

Где взять научный критерий, чтобы отделить фанатика от человека, увлеченного идеей? Как документально установить, что не останавливался действительно "ни перед чем"? Историку не дано ставить эксперименты, он не может на опыте проверять: "остановится — не остановится". Даже предполагать, "что было бы если" он, ежели только хочет оставаться в рамках строгой науки, не имеет права. История не знает сослагательного наклонения — эта фраза давно навязла в зубах, но что делать, приходится напоминать. "Фанатик", "ни перед чем" — не больше, чем громкие слова, подходящие для публициста, но не для историка, и выражающие *личное отношение* автора к своему герою. Прикрывают же они собой трюизм: Ленин был увлечен коммунистической идеей, действовал во имя ее осуществления.

Строить концепцию на определениях типа "любил — не любил" (Россию, русский народ и т. д.) — занятие весьма неблагодарное. Особенно при такой аргументации, как у автора (раз уж Волкогонов считает возможным приводить решающие аргументы в процессе изложения гипотезы, то и нам не грех несколько отвлечься). Оказывается, в одном своем письме Ленин назвал русских "дураками и идиотами". Из контекста следует, что слова эти относились к вполне конкретным исполнителям конкретной работы, а само слово "русские" было использовано Лениным потому, что для данной работы он предполагал пригласить иностранцев. Автору же все ясно давно, он пишет: "подобное отношение Ленина к *русскости* (курсив мой — *Н. Д.*) встречается у вождя многократно" (1/31), — и полагает, что вопрос закрыт — Ленин русский народ не любил.

Не касаясь в данном случае злоупотребления читательским доверием (дескать, есть у меня верные сведения, но откуда и какие я вам не скажу), заметим, что трудно придумать логику примитивнее той, на которой строится аргументация автора: раз хвалит — значит, любит, раз ругает — значит, не любит. Стоит только вступить на этот путь, и переписать всю историю русской общественной мысли не составит труда. Даже в архив идти не придется, настолько все известно, настолько все на слуху: "черт догадал меня родиться в России с душой и с талантом!" (А. С. Пушкин) (4), "я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать" (П. Я. Чаадаев) (5). Да и подозрительно "странную" любовь к Отчизне Лермонтова отчего бы не припомнить? Ведь логика неумолимо требует: любишь — хвали, хвали, хвали — и не смей ничего иного. А если эта логика порочна, если верна старинная русская пословица "кого люблю, того и бью", то где найти критерий для проверки любви-нелюбви, если порою самому человеку его любовь может казаться странной? Очередное умозаключение Волкогонова оказывается его личным мнением, никак не попадающим в научные рамки.

Многие положения "гипотезы" не только не могут быть доказаны — они еще и противоречат друг другу. С одной стороны — Ленин был фанатиком коммунистической идеи, с другой — для него не было ничего важнее власти. Возможно, для писателя это очень даже удобно: наделить героя двумя "главными" идеями и толковать его поведение то так, то эдак, в зависимости от ситуации. Жить только с такой разнонаправленной головой неудобно.

Примечательно, что в дальнейшем, при характеристике ленинизма, Волкогонов о коммунистической идее едва ли не забывает, оставляя от нее только обличение пороков человеческого бытия, да желание земного счастья для пролетариата. "Главным" же, по мнению автора, для Ленина было создание мощной революционной организации, захват власти, установление диктатуры и превращение партии в "главный" элемент нового государства. Если забыть про социальную программу Ленина (что, кстати, вполне успешно делает автор, благо, что фраза о желании земного счастья для пролетариата звучит в соответствующем контексте как абстрактное пожелание "счастья, здоровья и всего самого наилучшего"), то за рассуждениями Волкогонова можно признать определенную логичность, не заходящую, впрочем, слишком далеко. Фактически, автор превращает Ленина в простого властолюбца, и, в конце концов, можно было допустить, что всю свою жизнь Ленин стремился именно к власти, ибо такое желание относится к разряду вполне человеческих слабостей. Но желание добыть власть для еще не созданной партии, а затем утвердить эту власть на десятилетия — это что-то фантастичное и трудновообразимое. Особенно, если учесть, что, как пишет автор, Ленин не стал диктатором, а пожелал остаться в тени, имея в руках диктатуру партии (1/18—19). Весьма изощренный способ для утоления жажды власти, мучившей человека с младых ногтей — при том, что были и куда более простые способы.

"Гипотетические" оценки исторической деятельности Ленина далеко не новы, хотя ряд моментов и обращает на себя внимание. Так, достойны восхищения слова Волкогонова о том, что в 1917 г. Ленин "смог повернуть штурвал судьбы", т. е. в одиночку решить участь страны и народа. До гениальности простое реше-

ние вечного вопроса о роли личности в истории! Авторское представление о русском народе, позволяющем одному человеку манипулировать собой, стоит всех ленинских ругательств в адрес России. И столь же просто поступает Волкогонов, когда возлагает на Ленина вину за "государственную эксплуатацию, сословно-бюрократическое неравенство и тотальную идеологическую несвободу", ставшие характерными чертами советского государства. Между тем очевидно: чтобы возложить на Ленина ответственность за все, происходившее после его смерти, необходимо изучить всю историю Советского государства, никоим образом не замыкаясь на обсуждении наследия и деяний самого Ленина.

Раз уж автор любит цитировать в подтверждение своих рассуждений книгу Н. А. Бердяева "Истоки и смысл русского коммунизма", то не следовало бы умалчивать о том, что в некоторых вопросах первостепенной важности его личные взгляды и мнение философа расходятся коренным образом. "Большевизм же оказался,— писал Бердяев,— наименее утопическим и наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей ситуации, как она сложилась в России в 1917 году, и наиболее верным некоторым исконным русским традициям, и русским исканиям универсальной социальной правды, понятой максималистически, и *русским методам управления и властвования насилием* (курсив мой — *Н. Д.*). ...Коммунизм оказался неотвратимой судьбой России, внутренним моментом в судьбе русского народа" (6). Более широкая постановка вопроса позволяет Н. А. Бердяеву делать выводы прямо противоположные умозаключениям автора книги, старающегося *не замечать* саму возможность иного подхода.

Подкупает простота, с которой автор стремится возложить на Ленина ответственность за заключение печально знаменитого пакта о ненападении 1939 г. со всеми его дополнительными протоколами: ведь именно данное событие подразумевается под словами "эту (ленинскую — *Н. Д.*) традицию тайных дел с Германией унаследовал и Сталин" (1/20). Автору вообще нравятся простота и ясность: у Ленина были тайные дела с Германией, и у Сталина тоже были — вот уже и традиция. И дела нет до того, что Германия бывает *разная*. Ленин имел дело с кайзеровской Германией Вильгельма II и с Веймарской республикой, Сталин же — с нацистским Третьим рейхом. Если же Волкогонов понимает под словом "Германия" некую национально-территориальную целостность, вне зависимости от образа правления, то точно также следует относиться и к понятию "Россия". А вот тогда окажется, что эту самую традицию "тайных дел с Германией" заложил никто иной как император Николай II, подписавший в тайне даже от собственных министров (!) Бьеркский договор с Вильгельмом II в июле 1905 года (7).

О попытках оценить ленинизм с точки зрения мировой истории, вероятно, не стоило бы и говорить, если рассуждения на эту тему не звучали в книге столь навязчиво (см. например: 1/13, 37, 76, 125, 130 и т. д., и т. д.). Через 77 лет после революции говорить об историческом поражении дела Ленина, судить его с точки зрения всемирной истории просто-напросто некорректно. Возможно, Волкогонов полагает, что мировая история приблизилась к своему концу, но практика показывает, что прогнозы конца света, как правило, не сбываются. И уж коль скоро конец еще не грозит, то несомненно — 70, 80 и даже 100 лет — слишком краткие сроки, чтобы с их высоты выносить исторический приговор.

Вспомним хотя бы о судьбе Великой Французской революции. Через 77 лет после ее начала во Франции правил Наполеон III — Вторая империя. И вполне возможно, что какой-нибудь тогдашний историк в порыве любви ко своему императору столь уверенно мог говорить об "историческом крахе" республиканской идеи во Франции, не подозревая, как смешно будут спустя сто лет звучать его слова для граждан Французской республики. Опасно ставить на карту свою незапятнанную репутацию в таких делах как долгосрочные исторические прогнозы.

Что же касается места России в "хвосте исторического обоза цивилизации" — то это опять-таки не более чем личное мнение автора (которое он, правда, пытается выдать за общеизвестную истину), свидетельствующее о его приверженности к вполне марксистскому представлению о линейном однонаправленном развитии мировой цивилизации, слишком упрощающему мировой исторический процесс.

Иллюстрирование как метод исторического исследования

"Я пишу не биографию (сколько их уже создано, почти одинаковых!), а портрет этого человека..." (1/39) — объявляет Д. А. Волкогонов задачу своего труда, отвергая тем самым все возможные претензии относительно невнимания к тем или иным сторонам жизни и деятельности Ленина. Вот только ссылка на обилие "почти одинаковых" биографий звучит несколько странно — как бессильное признание собственной неспособности создать нечто принципиально новое при соблюдении законов биографического жанра. А по сути план автора понятен: он хочет строить свою работу по собственным законам.

Для читателя эти авторские "законы" построения книги так и останутся за семью печатями. В первом томе все еще более или менее ясно: начав с "гипотезы", Волкогонов строит повествование преимущественно по хронологическому принципу: от генеалогии семьи Ульяновых до красного террора гражданской войны. И только своего рода "вставные портреты" Плеханова и Мартова выбиваются из общего строя изложения (не делая его более логичным), да обобщающая главка "Феномен большевизма" (вместившая на 12 страницах не очень убористого текста и авторское понимание большевизма, и аргументацию — что само по себе ярко характеризует отношение Волкогонова к сложнейшим проблемам) режет глаз своей чистой газетно-журнальной стилистикой. Нельзя не заметить, конечно, и тот факт, что хронология первого тома, говоря словами Козьмы Пруткова, "подобна флюсу": 46 лет дореволюционной жизни Ленина поместилось приблизительно на 100 страницах, следующие четыре заняли более 200. И это при том условии, что послеоктябрьскому периоду посвящен весь второй том.

Высказавшись по поводу красного террора, и не пожелав писать о нэпе, автор обрывает последовательное изложение, как бы дойдя до конечного интересующего его пункта. Во втором томе повествование принципиально ахронологично. Открывается том новой серией "вставных портретов" — Троцкого, Сталина, Бухарина, Каменева, Зиновьева, в которых основное внимание уделя-

ется событиям 20–30-х гг., после чего следует очерк истории Политбюро — от Ленина до Горбачева. Далее разрабатывается четыре схожих по замыслу сюжета: Ленин и пролетариат, Ленин и крестьянство, Ленин и интеллигенция, Ленин и церковь (заметим, что увязать проблему отношения Ленина к церкви с проблемой его отношений с остальными социальными слоями населения можно только искусственно. С равным успехом в этом ряду можно было бы изучить, скажем, тему "Ленин и высшая школа"). В следующих главах связующая нить пропадает окончательно, и нам остается только перечислить в авторской последовательности те вопросы, к которым обращается Волкогонов: характеристика ленинского интеллекта, характеристика ленинской нравственности, Ленин и Коминтерн, отношения Ленина и Инессы Арманд, болезнь Ленина, создание мавзолея и меры по увековечению памяти Ленина, характеристика вождей Советского государства от Хрущева до Горбачева, новая характеристика Ленина и ленинизма.

В целом виде композиция книги оставляет весьма странное впечатление: отсутствие внутренней логики, беспорядочность, неуравновешенность,— вот ее основные черты. Складывается впечатление, что отпустив путеводную нить хронологического принципа и обретя желанную свободу, автор утратил всяческую опору и не знает, что со своей свободой делать. Подобное построение книги только затрудняет понимание личности Ленина, потерявшейся в море разрозненных фактов, зачастую к самому Ленину и отношения не имеющих.

Даже там, где Волкогонов следует за хронологией, далеко не все гладко. Сразу бросается в глаза тот факт, что автор не излагает последовательно события, а исследует некоторые сюжеты, выстраивая их в хронологическом порядке, но выбирая — произвольно, в соответствии со своими внутренними задачами.

Начинает автор с истоков: с генеалогического древа семьи Ульяновых. И, странно, но, по-видимому, сам Волкогонов не считает эту тему очень уж важной для создания портрета: "я пишу об этих вещах без всякого «тайного умысла», а лишь потому, что этническая характеристика Ленина всегда тщательно затушевывалась в стремлении придать ему если не пролетарское, то хотя бы «батрацкое» происхождение" (1/44). И итог его исследования: "Предками Ленина были русский, калмычка, еврей, немка" (1/49) был бы сенсационен... если бы все это не было давно известно. Достаточно ознакомиться с книгой М. Шагинян "Семья Ульяновых" (на которую, кстати, сам Волкогонов ссылается), чтобы узнать о том же. Между тем работа Шагинян выходила в свет в городе Москве в 1982 году...

Очевидно, не историческая правда интересует автора. Ему интересно порассуждать о том, что у Ленина были "некие этнические потенции, которые реализовывались в действительности под решающим влиянием социально-политических условий" (1/52–53). С одной стороны, "как нам удалось установить (блестящий аргумент — *Н. Д.*), вождь русской революции никогда не чувствовал себя ни немцем, ни шведом, ни евреем, ни калмыком" (1/52). Итак, Ленин не чувствовал себя калмыком! — таков плод долгих и напряженных размышлений. Но мысль автора развивается: "его (Ленина — *Н. Д.*) мироощущение было интернационально-космополитическим" (1/52). Не поспев заявить, что Ленин не чувствовал себя русским, автор пришел к убеждению, что, не чувствуя себя шведом или калмыком, вождь большевиков не мог не быть космополитом.

С другой стороны, Волкогонов легкими штрихами набросал логическую цепочку: у Ленина были предки евреи — Ленин говорил об исключительных способностях еврейского народа — Ленин делал "почти антирусские заявления" (1/50–51). Сюжет этот до конца не проговорен — автор прекрасно понимает, *как* будут звучать его выводы — однако, сама последовательная постановка этих авторских "наблюдений" в пределах одной страницы вне иной логической связи в сочетании с высказываниями об "этнической характеристике", "этнических потенциях" достаточно красноречива. Договорим за автора: этнические корни в значительной мере определяют "мироощущение" человека; наличие нерусской, в особенности еврейской, крови ведет к нелюбви к России и русскому народу. Никто не может отнять у автора права придерживаться таких взглядов, но надо иметь и смелость высказывать их до конца и называть вещи своими именами.

Тот, кто прочтет книгу Волкогонова, не сможет не заметить, что аналогичный *разоблачительный* характер носят все сюжеты, разработанные автором, даже такие, на первый взгляд, безобидные: об идейных предтечах Ленина, о знакомстве Владимира Ульянова с марксизмом. В размышлениях об идейных предтечах Волкогонов предельно схематичен и далеко не нов (как и в главке о генеалогии). Ленин живет и действует в каком-то предельно суженном мире: семья, учеба, знакомые, книги,— вот, собственно, и все, что его окружает. России вроде бы и нет, осталось одно название, голое пространство, на котором не происходит ничего достойного внимания. Автор даже не задается вопросом, какие исторические события (за исключением казни старшего брата) повлияли на формирование личности и взглядов Ленина, ему это не интересно, да и гораздо удобнее представлять, что все эти идеи заимствованы Лениным из прочитанных книг. Об этом Волкогонов и пишет: "Ульянов подвергался интенсивному заполнению широким спектром самых различных идей, концепций, взглядов" (1/69). И не ясно, то ли перед нами человек с "мощным интеллектом" (как то заявлено в "гипотезе"), то ли примитивный сосуд для заполнения чужими мыслями.

Метод отбора Лениным идей для "самозаполнения" сформулирован с той же ничего не объясняющей простотой: "Свой «силовой марксизм» Ульянов укреплял всем, что делало учение бескомпромиссным, жестким, радикальным" (1/71). Не беда, что не ясно, откуда взялся сам "силовой марксизм", если взгляды Ленина в момент, о котором говорит автор, все еще в стадии формирования.

В главке о знакомстве Ленина с марксизмом ответа на этот вопрос не будет, главное внимание автор уделяет характеристике *уже сложившегося* ленинского марксизма, и создается впечатление, что Володя Ульянов родился с предрасположенностью к идеям классовой борьбы и диктатуре пролетариата. Иного ждать не приходиться: характеристика даже самых ранних взглядов Ленина как "силового марксизма", а проще говоря — *разоблачение* ленинского марксизма — является, в данном случае, главной задачей автора. Все остальное здесь вторично, и особенно проигрывает Волкогонов, когда пытается встать рядом с Н. Валентиновым, рассматривая влияние Н. Г. Чернышевского на Ленина (8).

Там, где Валентинов ищет преемственность философских и политических идей, добросовестно сопоставляет, исследует, автор находит достаточным заявить: "Ульянов хочет видеть в лице Н. Г. Чернышевского явного союзника в борьбе с либеральной буржуазией" (1/70), и, проиллюстрировав свою мысль цитатой из Ленина, поспешить дальше: *разоблачать* совпадение идей Ленина и С. Г. Нечаева. Конечно, Нечаев — фигура одиозная, выявить идейную связь именно с ним для автора куда важнее, чем заниматься сложными изысканиями идейных параллелей у Ленина и Чернышевского, чье имя давно привычно русскому читателю и особых негативных эмоций не вызывает.

Ярко характеризуется авторский принцип отбора сюжетов и та часть первого тома, которая посвящена деятельности большевиков после октября 1917 года. Здесь наряду с такими масштабными темами, как первые годы деятельности СНК, судьба Учредительного собрания, заключение Брестского мира и его последствия, красный террор эпохи гражданской войны, фигурируют две примечательные главки (далеко не самые малые по объему) "Грех цареубийства" и "Выстрелы Фанни Каплан?" Очевидно, что такое выделение истории гибели царской семьи и покушения на Ленина в тексте книги, в ее общей структуре, свидетельствует об особом отношении автора к этим эпизодам. И это *особое* отношение красноречиво говорит о зависимости автора от общего направления современной газетно-журнальной публицистики. Ни доказательство причастности Ленина к расстрелу царской семьи, ни тем более доказательство непричастности Каплан к покушению на Ленина ничего существенно нового к портрету героя книги прибавить не могут.

Стоит отметить, что и сам автор в этих примечательных главках фактически отказывается от дорисовывания портрета. Так, в трагедии царской семьи Волкогонова привлекла тема "великого греха" Ленина. Естественно, что переходя к терминам религиозным, автор отказывается от какой бы то ни было научности, но и христианское учение он понимает своеобразно. Мышление автора насквозь иерархично, для него ценность человеческой жизни соразмерна социальному положению человека, что прямо противоположно христианским принципам. Конечно, гибель царской семьи — трагедия, но не большая трагедия, чем гибель любой другой семьи в огне гражданской войны. И не следует забывать, что невинной крови простых людей было пролито куда больше. Что же до определения меры грехов, то непосильную ношу берет на себя Волкогонов: не святой он, не мессия, и не следует забывать, что сказано: "Не судите, да не судимы будите..."

Более, чем истина, влекут автора возможности разоблачений, безудержная патетика: "Большевики сделали Николая Романова вечным мучеником и святым. Цареубийство — традиция варваров, продолженная большевиками" (1/388). Ни к чему помнить, что и англичане к XVII веку, и французы — к XVIII-му давно вышли из состояния варварства, что не помешало им, однако, казнить своих королей во время буржуазных революций при прокладывании буржуазной "столбовой дороги цивилизации". Одна надежда, что "красота" слога все спишет.

Логика построения книги, выбора сюжетов для обсуждения находится в полной гармонии с логикой построения отдельных главок. Возьмем для примера одну их них, "Теоретик революции" (отметив попутно, что 14 страниц

для обобщения всего теоретического наследия Ленина — это весьма и весьма немного). О чем здесь идет речь, помимо ленинских теорий? О поведении большевиков в январе 1905 г. в Женеве (1/121–122), об отношении Ленина к Гапону (122–123), о терроре 1918 г. (125), об идеях и взглядах Ленина в 1917 г. (127), о политике большевиков в 1921 г. (128), о денежных делах Коминтерна (128–129), о ленинской записке 1918 г. (129–130), о выступлении Ленина в 1918 г. (130–131), о ленинской инструкции по проведению вооруженного восстания в 1905 г. (131), об отношении Ленина к Учредительному собранию (132–133), о первых документах Советской власти (135), о последствиях ленинизма (135–136). Произвольная коллекция фактов, событий, времен. И, поразительно, что поговорив обо всем, автор уверенно делает выводы именно относительно ленинского теоретического наследия.

Новое понимание историзма

Анализ "научной гипотезы" Д. А. Волкогонова, построения его работы, методики показывает, что автор многое (если не все) в исторической науке понимает по-своему. Новое определение дает он и принципу историзма. С его точки зрения это "принцип п о н и м а н и я, постижения давно ушедшего времени", базирующийся на "умении, способности мысленно "погружаться" в толщу десятилетий", что "позволяет не просто почувствовать неповторимый колорит и духовный климат ушедших эпох, реставрировать в сознании безвозвратно ушедшее, но и сохранить наши сегодняшние взгляды на эволюцию общества, способы движения мысли к тревожно манящим горизонтам грядущего" (1/28). Если дать себе труд задуматься над этим "определением", то окажется что витиеватость и расплывчатость авторской мысли скрывают за собой ни что иное, как принцип предельного *субъективизма*. Во-первых, автор отказывается от любых формальных критериев объективности исследования, предлагая читателю безоговорочно доверять его "умениям" и "способностям". Во-вторых, "погружаясь в толщу десятилетий", он ставит перед собой задачу сохранения "наших сегодняшних взглядов" и "способов движения мысли" (что именно скрывается за этими словами, сказать трудно), даже не предусматривая возможности того, что изучение конкретной исторической действительности может повлиять на взгляды историка. Соблюдая подобные "принципы", можно лепить из исторического материала все, что душе угодно, а потому за работой историка-субъективиста весьма интересно наблюдать, так же, как за работой скульптора: есть сырой материал, есть замысел — и из хаоса возникает творение. А сходства с презренной натурой может и не быть.

Вот, к примеру, Волкогонов изучает взгляды молодого Владимира Ульянова: "Ульянов ни разу не подверг сомнению социально-политическую концепцию марксизма, основанную в конечном счете на насилии, ставке на силовое разрешение любых противоречий в интересах одного класса. ...Молодой социал-демократ не засомневался в исторической порочности и ограниченности силовой методологии созидания нового общества" (1/76). Это — тезис (хотя и не свободный от некоторых дефектов "красноговорения" — "не засомневался в исторической порочности" — значит, считал порочной? Так ведь, по-русски?).

А вот и аргументы: "нет почти ни одного совещания" Политбюро, "где бы не рассматривались меры по ужесточению диктатуры пролетариата"; и следуют примеры из деятельности Политбюро в 1921 — январе 1922 (1/77–78). Все смешалось — теоретические взгляды 20-летнего еще недоучившегося студента Владимира Ульянова иллюстрируются примерами из практической деятельности 50-летнего В. И. Ленина, главы государства, находящегося в состоянии гражданской войны.

Вот другой тезис: "...ленинская идея «федерация сверху» в конце концов в условиях тоталитарного государства приведет к возможности наказания целых народов, их депортациям, лишению общечеловеческих прав. Ленинская ставка на разрушение губернского деления и искусственное образование национальных единиц в условиях отсутствия демократии лишь аккумулировала национальное недовольство народов, рано или поздно разрушивших Союз, созданный большевиками" (1/249). Не трудно догадаться, что в качестве иллюстрации (подменившей аргументы) приведена ссылка татар в 1944 г. (1/249) В который раз приходится сталкиваться с такой логикой: раз Ленин внес что-то новое в национальную политику, то все последующие события — результат его деятельности. Но, если уж, авторский "историзм" не требует изучать каждое явление в единстве его возникновения, развития и изменения, то все же некоторые вопросы не мешало бы себе задавать. Например: неужели в условиях предельно централизованного унитарного государства, коим являлась Российская империя до 1917 года, труднее было бы, при наличии прочих необходимых условий, осуществить депортацию народа, чем в условиях "федерации сверху"? И если нет, то какое тогда отношение ленинская идея имеет к сталинским преступлениям?

Далее в тексте книги сопоставление, а точнее, отождествление Ленина со Сталиным будет встречаться все назойливее, даже там, где его, казалось бы, и вставить некуда. Например, автор повествует о I Всероссийском съезде крестьянских депутатов — май 1917 года (да простит нас читатель за длинную цитату — логику автора, его "историзм" надо схватывать целиком): "Выступая на съезде крестьян, Ленин рисовал идиллические картины: «Это будет такая Россия, в которой будет вольный труд на вольной земле». Забегая вперед, в послеленинские дни, мы знаем, что ни «вольного труда», ни «вольной земли» не будет. Реализуя кооперативный план вождя через десятилетие с небольшим после «социалистической» революции, ленинское Политбюро будет принимать самые жесткие постановления, с помощью которых превратит крестьян в крепостных XX века. Так что о «вольном труде» по достижении главной цели — захвата власти — вспоминать большевики больше не будут" (1/252). И любопытно — пытаясь дезавуировать ленинские обещания весны 1917 года, автор забегает сразу в "послеленинские", а точнее — в сталинские, дни.

Конечно же, не с руки вспоминать Декрет о земле, осуществление социализации земли, когда крестьяне действительно получили землю, возможно, впервые в российской истории, "вольный труд" времен нэпа. К чему все эти исторические частности, раз они нарушают "наши сегодняшние взгляды на эволюцию общества", противоречат мифам господствующей идеологии? К тому же обратим внимание, с какой ловкостью автору удалось приторочить к политике коллективизации (которая и сама-то неизвестно откуда выплыла в тексте в данном месте) два замечательных тезиса: "коллективизация есть реализация ленинского кооперативного плана" и "главной целью большевиков был захват власти". Тезисы первостепенной важности, но никак не аргументированные — не время и не место для их аргументации — повторяются таким образом не раз и не два, внедряются в сознание читателя, и в конце оказывается, что аргументации они не требуют вовсе. Возможно, такой способ доказательства следовало бы назвать доказательством через навязчивое многократное повторение, но изобретением автора его назвать нельзя — давным-давно он был взят на вооружение массовой пропагандой и по сей день используется повсеместно.

В главке о Сталине Волкогонов цитирует многочисленные ленинские записки, связанные с террором гражданской войны, сопоставляя их со сталинскими резолюциями 30-х годов (2/42–44). Рождается один из основополагающих выводов: "Социальная методология Ленина и его последователя основана на неограниченном насилии. В политическом почерке Сталина видно много ленинского: уверенность в себе, убежденность в безгрешности, абсолютная вера в универсальность диктатуры пролетариата, пренебрежение к людям, готовность оперировать «массами», осторожность и коварство, беспощадность. Духовным отцом Сталина был Ленин..." (2/44). В который раз приходится отмечать любовь автора к следующей логике: один писал "расстрелять", другой писал "расстрелять" — и, значит, оба думали одинаково.

В который раз не задаются элементарнейшие с точки зрения профессионального историка, да и любого непредвзятого, здравомыслящего человека, вопросы: кого и за что — расстрелять? (ведь есть же, в конце концов, разница между расстрелом виновного и невинного, между казнью ради предотвращения дальнейшего кровопролития и казнью ради укрепления личной власти); в какое время писались эти записки, накладывались резолюции? Делать столь громкие выводы о сходстве двух людей на основании внешнего сходства их действий, с корнем выдрав их поступки из той исторической ситуации, в которой они совершались, даже не попытавшись разобраться в их причинах, вряд ли уместно.

Для завершения темы — последний пример нового "историзма", пронизывающего всю книгу. Главка "Обманутый гегемон" должна, по замыслу автора, раскрыть тему "Ленин и пролетариат". Построена она просто: вот высказывания Ленина о пролетариате и его роли в будущем обществе, а вот их реализация. И все было бы правильно и хорошо, если бы не одна маленькая деталь: все конкретные факты, характеризующие положение рабочего класса в России, приведенные Волкогоновым, все до единого, относятся к 30–40-м годам! Автор "доказал", что Сталин был духовным наследником Ленина (мы видели, *как* это делается), и теперь просто приравнивает сталинские деяния к ленинским: дескать, Ленин не успел, Сталин — доделал.

Когда происходит отказ от анализа каждого явления в единстве всех его сторон, от принципа историзма, это не может быть случайной ошибкой, недосмотром. Д. А. Волкогонов прекрасно сознавал, какие претензии к его труду могут быть предъявлены, и постарался заранее на них ответить: "Конечно, можно сказать, впрочем, и говорят, что "время было такое", что надо "смотреть на вещи в контексте исторической обстановки" и т. д. Нет, все это далеко не так.

Есть универсальные и вечные категории Добра, Справедливости, Свободы, которые были "в цене" всегда" (1/84–85).

Приятно созерцать исследователя, обретающего новую веру. Вырвавшись за пределы ранее любезных сердцу производительных сил и производственных отношений, он с легкостью оперирует новыми понятиями — "добро", "справедливость"... И не иначе как "чудаком" назовет он Платона, писавшего длиннейшие диалоги, на страницах которых Сократ и Пифагор (тоже, казалось бы, умные люди были, а оплошали!) бьются-бьются, не могут выяснить, что же такое "справедливость". А мы на радостях забыли, что "универсальными" и "вечными" категории "добра", "справедливости", "свободы" могут быть только для того, кто истории человеческой не знает, кто в наивности святой полагает, что испанские католики времен Торквемады и индейцы доколумбовой Америки понимали под "справедливостью" одно и то же. И даже если отставить в сторону всяческие исторические и этнографические параллели, то окажется, что в жизни человека любое добро, любая справедливость и несправедливость всегда конкретны. В абсолюте этими категориями может оперировать либо оторванный от жизни философ, либо — Господь Бог.

Различение добра и зла в реальном земном мире — труднейшая философская проблема, которая может казаться простой только тому, кто не пожелал задуматься над ней, только тому, кому *выгодно* ее простое и одностороннее решение. Можно напомнить, что у русского философа И. А. Ильина (который к марксизму отношения не имеет и в любви к большевикам заподозрен быть не может) есть специальная работа "О сопротивлении злу силою", в которой он пытается подойти к ответам на те вопросы, которые, к сожалению, для многих просто не существуют: "Так слагается один из трагических парадоксов человеческой земной жизни: именно *лучшие люди* призваны к тому, чтобы вести борьбу со злодеями — вступать с ними в неизбежное взаимодействие, понуждать их злую волю, пресекать их злую деятельность и притом вести эту борьбу *нелучшими средствами*, среди которых меч всегда будет еще наиболее прямым и благородным. Вести государственную борьбу со злодеями есть дело необходимое и духовно верное; но пути и средства этой борьбы могут быть и бывают вынужденно неправедные" (9).

И что же, как не изучение "конкретной исторической обстановки", может отделить "лучших людей" от "злодеев"? Каким еще путем на земле можно отделить добро от зла? Только Тот, кто находится вне земной жизни, может судить людей с позиций вечных ценностей, с позиций Добра и Зла, быть Высшей Судией. Иные попытки занять этот Престол нелепы, если не сказать больше...

Иллюзия доказательности

Нам уже приходилось мельком обращать внимание читателя на утверждение "как я установил". Порою автору даже хочется верить, и факт, что Ленин не чувствовал себя калмыком и шведом, "установленный автором", мало кто в наши дни возьмется не только оспаривать, но и просто обсуждать. Однако, аргументы такого типа для Волкогонова не исключение, а правило.

"Думаю, что именно экспроприации на каком-то этапе дореволюционного развития были одним из основных источников пополнения партийной кассы..." (1/104). Не будем спорить с автором, тем более, что формулировка выглядит весьма расплывчатой: "на каком-то этапе", "одним из основных"... Но заметим, что слово "думаю" подменяет собой аргументацию. Ни слова не будет сказано о том, *почему* автор думает именно так, а не иначе, не будет произведена даже приблизительная прикидка тех средств, что пополнили большевистскую кассу в результате экспроприаций, и уж тем более — доли этих средств в бюджете РСДРП(б). Остается одно только слово "думаю", намекающее — у автора были некие основания для такого умозаключения.

И удобное это словечко превращается в палочку-выручалочку Волкогонова, когда фактов явно не хватает: "Думаю, чувство страха Ленин испытал и при переходе после июльского выступления на осадное положение" (1/266). Ссылка на записку, в которой Ленин обращается к Каменеву с просьбой в случае его гибели опубликовать написанные главы из книги "Государство и революция", звучит неубедительно (можно допустить, что для автора осознание опасности равносильно страху, но вообще это не правило), "думаю" же спасает. А страницей ниже автор уже рассуждает о ленинском страхе, как о чем-то всем известном, и приходит к характерному выводу: для Ленина "личная безопасность — превыше всего" (1/267). Ничем не подтвержденное мнение исподволь становится незаменимым кирпичиком при построении выводов, преподносимых как плод научного исследования.

Нам уже случалось говорить о том, как Волкогонов подбирает факты для подтверждения своих суждений. В тексте есть длинная цитата из Троцкого, в которой приводятся такие слова Ленина: "Надо отсрочить выборы (в Учредительное собрание — *Н. Д.*)... Надо дать возможность обновить избирательные списки. Наши собственные списки никуда не годятся: множество случайной интеллигенции, а нам нужны рабочие и крестьяне. Корниловцев, кадетов надо объявить вне закона" (1/315). Следует авторское резюме: "Взвешивая все «за» и «против», Ленин однозначно стоял за «разгон» Учредительного собрания" (1/316). Позиция Ленина, по Троцкому, разительнейшим образом отличается от той, которую приписывает Ленину Волкогонов, опирающийся на того же Троцкого! Объяснение может быть только одно: авторские выводы предшествовали написанию книги, они иллюстрировались цитатами из источников, и по невнимательности, в спешке в текст могла попасть цитата, автору противоречащая, хотя и поданная как неоспоримое доказательство его правоты.

Автор рассуждает о красном терроре: "Главным аргументом оправданий террора большевиков было постоянное утверждение Ленина: это в интересах пролетариата. Как будто есть разница: отобрать жизнь у человека во имя какого-то класса или против него?.. Нетрудно видеть, что эта аргументация абсолютно несостоятельна ни в правовом, ни в нравственном отношениях; так можно оправдать любое преступление, если представить его осуществленным в «интересах пролетариата»! (А почему и не в интересах какой-то группы?)" (1/330–331). В середине этого пассажа стоит цитата из Ленина: "...Советская власть применяет решительные меры против помещиков, мародеров и их прислужников — *в интересах рабочих, солдат и крестьян*" (1/330). Почему же у Волко-

гонова речь идет только об интересах пролетариата, тогда как у Ленина — об интересах большинства населения страны? Да потому, что это необходимо для уничтожающего решающего вывода: "Демонстративное же подчеркивание первенства, верховенства, приоритетности рабочего класса над другими социальными слоями населения, особенно над интеллигенцией, выглядит как откровенный социальный расизм" (2/139). (Заметим: "социальный расизм" — звучит сильно, но на деле не означает ровным счетом ничего. Этими словами можно с успехом характеризовать ситуацию в любом классовом обществе). Автор как будто не желает вдумываться смысл приводимых им ленинских слов, и это для него — норма. Конкретная историческая действительность, даже разодранная на иллюстрации по произволу Волкогонова, все равно прорывает жесткие рамки авторской концепции.

Порой для этой исторической действительности и места в книге не остается. Автор закрывает бреши в своих построениях, отлучая читателей от непосредственного знакомства с документальными свидетельствами, подавая один лишь переработанный материал. В этом смысле характерна главка, посвященная убийству царской семьи. Волкогонов рассказывает "наиболее вероятную версию" событий 16—17 июля 1918 года, неоднократно подчеркивая, что вождь большевиков уже знал о принятом решении ликвидировать царскую семью в ночь с 16-го на 17-е, знал о том, что придумана версия о подготовке белогвардейцами нападения на ипатьевский дом, знал, что из Москвы в Екатеринбург передано указание "закрыть вопрос" — и все это без единой ссылки на источники (1/368—369)! И основана "версия" на фактах, скрытых от читателей, и степень ее "вероятности" проверена где-то за кулисами: автору хочется, чтобы ему верили на слово: "...К судьбе царя высшие органы советской власти возвращались не раз. Все сходились, что необходим публичный суд. Но *большое количество убедительных данных* (курсив мой — *Н. Д.*) говорит о том, что большевистские руководители понимали, что с помощью суда (и «законной расправы») они могут «решить вопрос» только в отношении четы Романовых. А сын, дочери? Мучительно искался вариант ликвидации всех прямых носителей династии без открытого вмешательства центральных властей" (1/377). "Убедительных данных" в расположении автора оказалось слишком много, и не хватило места, чтобы их привести — так, кажется, надо понимать Волкогонова? Вера автора в весомость собственного слова поражает: достаточно ему сказать, что есть у него данные — и любая конкретизация становится излишней. А далее следует характерная для Волкогонова формулировка выводов: "Все сказанное позволяет утверждать..." (1/377) И "наиболее вероятная версия, и рассуждения, основанные на "большом количестве убедительных данных" плавно переходят из разряда домыслов и предположений в разряд доказательств, сомнению не подлежащих.

Авторская эксплуатация читательского доверия не знает меры. Кажется — мелочь: "Факт вызова Зиновьева и Каменева в Кремль в начале следствия мною установлен" (2/67). (Вероятно, даже не стоит уже замечать, что никаких ссылок на источники или литературу автор в таких случаях не делает.) Можно даже поверить, что факт действительно "установлен" — но сама фраза звучит по меньшей мере некорректно, тем более когда знаешь, что не все, очевидное для автора,

очевидно на деле. "Готовя книгу «Ленин», *я документально установил* (курсив мой — *Н. Д.*), что пример лидера большевиков для Сталина оказался заразительным..." и после неудач летней кампании 1941 года он пытался ценой значительных территориальных уступок заключить мир с Гитлером (2/109—110). Всякое возможно, но слова "документально установил" аргументом быть не могут. Волкогонов цитирует несколько строк из документа непонятного происхождения, не называя ни сам документ, ни его дату; о критическом анализе его подлинности и значения приходится только мечтать. Но этого мало, автор "документально установил", что пример Ленина оказался для Сталина *"заразительным"*.

Желание автора, чтобы ему верили на слово прослеживается постоянно: "...более внимательное знакомство с творчеством Бухарина и уже более спокойное отношение к «открытиям» трагического прошлого позволяют с огорчением сказать: идеи Бухарина мало чем отличались от официальной линии" (2/79). И уже не удивляет, что "более внимательное знакомство" в данной книге никак не отразилось, автор ссылается только на три книги Н. И. Бухарина, провозгласив, правда, одну из них "квинтэссенцией взглядов Бухарина-теоретика" (2/72) ("шестьдесят страниц бухаринской работы достаточно полно дают ответ о содержании его теоретических взглядов" (2/70)). Конечно, удобный способ — судить о взглядах теоретика на основании одной его малоизвестной популярной брошюры и при этом рассуждать о более глубоком знакомстве с его творчеством. Только при монополии на изучение какой-то темы возможен этот вариант, но монополии — вот беда — не существует.

Американский историк С. Коэн включил в избранную библиографию своей книги о том же Н. И. Бухарине 64 книги и статьи своего героя, что как раз и позволяет говорить о достаточно глубоком знакомстве с творчеством. Правда, выводы Коэна противоположны утверждению Волкогонова, взгляды Бухарина он рассматривает как реальную альтернативу сталинизму (10), всесторонне обосновывая свою оценку. Само собой, Волкогонов об этом не вспоминает, его не интересуют не согласующиеся с его концепцией мнения других историков. Что же касается научной добросовестности, то отметим попутно небольшой штрих — в избранной библиографии в книге Коэна — 466 работ, у Волкогонова, по нашим подсчетам, использовано не более 200, и это при том, что в монографии о Ленине разрабатывается ряд крупнейших вставных сюжетов, охватывающих едва ли не всю послереволюционную историю России.

"Как я документально установил", "как я смею утверждать", "я думаю", "я глубоко убежден", "как автор книги выскажу сомнение", "по имеющимся данным", "по моим данным", "я думаю и даже убежден", "повторяюсь, но скажу" — все эти слова и выражения каждый раз, когда автор начинает испытывать затруднения с "доказательствами", приходят ему на помощь и заменяют научные аргументы. Отсутствие ссылок на архивные или иные источники в таких случаях кажется уже чем-то само собой разумеющимся. Бесконечные указания на некие, скрытые от читателя, знания сочетаются с постоянным подчеркиванием собственного места в исторической науке. Трудно даже припомнить книгу, в которой так бесконечно и так навязчиво звучало бы слово "я". Завершается же все "философским" пассажем: "Мною замечено, что че...

на этом свете всегда не хватает одного, последнего темпа: частной удачи, еще одного земного шага, правильного решения, предвидения конкретного события" (2/451). Это очень смело — ставить под таким "жизненным наблюдением" свою подпись — "мною замечено". Какому студенту не известно, что перед экзаменом всегда не хватает одной ночи?

Цитата как материал для творчества

Волкогонов максимально насытил свою книгу фактическим материалом, цитатами, ссылками, не без основания полагая, что тысячекратно подчеркнутая "документальность" его книги загипнотизирует читателя, искупит в его глазах научную некорректность. Неискушенный читатель привык доверять печатному слову, ему и в голову не может закрасться сама мысль, что некоторые цитаты не мешало бы проверить; однако, нам без этого не обойтись.

Недоверие начинается с малого. Волкогонов рассуждает о "сдержанном и благородном" поведении А. Ф. Керенского по отношению к Ленину, подтверждая свои слова цитатой из воспоминаний В. Д. Набокова (1/236). Что-то заставляет взять в руки том "Архива русской революции" — и оказывается, что на указанных автором страницах речь идет о "безобразной и нелепой выходке" Керенского по отношению к П. Н. Милюкову, что все слова, Волкогоновым *заключенные в кавычки*, представляют собой весьма вольный пересказ Набокова, вольный до такой степени, что Терещенко превратился во Львова (11).

Естественно, сверить все цитаты, приводимые автором, невозможно, да вряд ли это и нужно. Способы авторского цитирования можно разобрать на одном примере — на обращении с текстом работы Бердяева "Истоки и смысл русского коммунизма".

С непонятной легкостью автор заменяет словечко-другое в тексте Бердяева. Он цитирует: "И Россия действительно была с к о л о ч е н а (разрядка моя — *Н. Д.*) по образцу организации большевистской партии (1/121). У Бердяева звучит проще: "организована" (12). Другой пример: автор борется с утверждением, что Ленин — крупнейший философ XX века (хотя бороться тут не с кем, давно никто об этом не говорит). И опять в помощниках у него Бердяев, вновь подправленный. У Бердяева: "... Ленин прочел целую философскую литературу" (13); у Волкогонова "целую" заменилось на "разную" (2/246). А уж на замену "миросозерцания" на "мировоззрение" и внимания обращать не стоит (там же).

Но дальше — больше. Автор решил подкрепить словами Бердяева свою мысль: "Ленин создал партийно-государственную систему, которая стала быстро создавать новый тип человека" (1/145). И, в самом деле, Бердяев пишет о "перевороте в душе народа", но как о перевороте, к которому "партийно-государственная система" не имела ни малейшего отношения. Вне внимания Волкогонова остались слова: "Уже война выработала новый душевный тип, тип, склонный переносить военные методы на устроение жизни, готовый практиковать методическое насилие, властолюбивый и поклоняющийся силе. Это мировое явление, одинаково обнаружившееся в коммунизме и фашизме" (14).

Потому и цитату, приводимую в тексте, автору пришлось укоротить — вот как ее концовка должна выглядеть в полном виде (слова, опущенные Волкогоновым, выделены): "Народ в прошлом чувствовал неправду социального строя, основанного на угнетении и эксплуатации трудящихся, но он кротко и смиренно нес свою страдальческую долю. Но наступил час, когда он не пожелал больше терпеть, *и весь строй души народной перевернулся. Это типический процесс.* Кротость и смиренность может перейти в свирепость и разъяренность" (15). "Типический процесс" Бердяева в умелых руках Волкогонова обратился в личное творение Ленина.

Небрежность в обращении с бердяевским текстом странным образом сочетается с глубоким почтением на словах. Волкогонов пишет о "глубокой духовной характеристике Ленина", сделанной Бердяевым с "тонкой наблюдательностью" (2/232). Более того, он эту характеристику приводит..., забыв упомянуть, что сократил ее на три четверти. И поэтому совсем не странно, что выброшенными оказались именно те мысли философа, которые противоречат авторской концепции: "В нем (Ленине — *Н. Д.*) черты русского интеллигента-сектанта сочетались с чертами русских людей, собиравших и строивших русское государство"; "Ленин проповедовал жестокую политику, но лично он не был жестоким человеком"; "он не верил в человека, но хотел так организовать жизнь, чтобы людям было легче жить, чтобы не было угнетения человека человеком" (16). Видимо, "тонкая наблюдательность" временами изменяла Бердяеву, и только излишняя скромность не позволила автору прямо сказать об этом.

Автор не только не стесняется сокращать Бердяева, упрощая его мысли в соответствии с собственными "гипотезами", но и просто вырывает из контекста отдельные фразы. "Классовая апологетика доведена Лениным до социального расизма. Свои собственные взгляды Ленин с поразительной настойчивостью внедрял в своей партии, а с ее помощью распространял и в Советской России. «Это и есть,— писал Бердяев,— диктатура миросозерцания, которую готовил Ленин»" (2/248). И не важно, что там, откуда автор столь успешно выдрал цитату, ни о какой "классовой апологетике", и тем более, ни о каком "социальном расизме" речи нет. Бердяева в данном конкретном случае интересовала не суть ленинского мировоззрения, а принципы организации партии и ее власти, так же, как и глубокие корни этих принципов: "Ленин отрицал свободу внутри партии, и это отрицание свободы было перенесено на всю Россию. Это и есть диктатура миросозерцания, которую готовил Ленин. Ленин мог это сделать только потому, что он соединял в себе две традиции — традицию русской революционной интеллигенции в ее наиболее максималистических течениях и традицию русской исторической власти в ее наиболее деспотических проявлениях" (17). Как мы уже отмечали, бердяевский подход к изучению истоков и источников ленинизма прямо противоположен подходу Волкогонова.

"...Необузданная, непримиримая враждебность Ленина к своим оппонентам выплескивается из каждого письма. Читая эти послания, невольно вспоминаешь суждение Бердяева о стиле большевистского вождя: «Ленин был почти гением грубости...»" (2/461). И следуют многочисленные примеры ленинских ругательств из статей и писем. Все хорошо и складно. Только вот одно маленькое "но": Бердяев действительно писал о грубости Ленина, но вовсе не о той быто-

вой грубости, которую смакует Волкогонов. "Ленин очень огрубил идею Маркса о религии, как ленинцы огрубили идеи самого Ленина. Ленин был почти гением грубости — таков его стиль" (18). И ни о чем другом, помимо отношения Ленина к религии (а этот вопрос, конечно, интересовал Бердяева гораздо сильнее, чем всякие полемические излишества), здесь речи нет.

Жизненный путь автора, содержание его предшествующих работ — слишком удобная мишень для критики, и говорить о них было бы как-то неудобно — если бы не постоянные напоминания самого Волкогонова. Своеобразно трактованная тема "покаяния" пронизывает книгу. "На опыте собственной судьбы человека, прошедшего мучительную эволюцию взглядов от сталиниста, через долгую марксистскую ортодоксию к полному отрицанию большевистской тоталитарности, скажу, что бастионы ленинизма в моем сознании пали последними" (1/11). Но личное раскаяние для автора — не главное, он торопится раскаяться за всех. "Все мы до недавнего времени верили..." — это утверждение в разных вариациях повторяется с удивительной настойчивостью (19). И не на покаяние это похоже, а на стремление уйти от ответственности, переложить ее на других, поделить на всех. "...Ленин с помощью правоверных ленинцев (надо понимать, что Волкогонов к их числу не относился — *Н. Д.*) формировал у нас катехизисное, цитатное мышление" (1/12). "Катастрофу стали (автор опять не причем — *Н. Д.*) выдавать за великое свершение. Поражение собственной страны — как огромное революционное достижение. В результате этой «перевернутости» возникло одномерное общество с одномерной личностью" (2/134). Поразительная легкость в отделении себя от своего времени! Вчера — катехизисное, цитатное мышление, одномерная личность, а сегодня — так надо понимать? — все изжито, исполин духа? "Мы засомневались в безгрешности вождя прежде всего потому, что «дело», которое он начал... потерпело крупное историческое поражение" (1/10). Как мало надо, чтобы из одномерной личности превратиться в многомерную — достаточно положить руку на пульс истории и колебания вместе с линией партии вовремя сменить на колебания вместе с линией нового руководства...

Будем справедливы, "катехизисного мышления" в книге Волкогонова нет. Нет и самого "катехизиса". А есть всего лишь "авторская концепция", такая созвучная времени, и доказывается она всеми доступными средствами: иллюстративным подбором фактов, навязчивым повторением никак не аргументированных утверждений, искажением буквы и смысла цитат.

Какой это бесценный дар — умение подгонять великое к своей, малой мерке! Всем памятно стихотворение "Скифы" с его резким противопоставлением России и Европы — "мы" и "вы":

Мы любим все — и жар холодных чисел,
И дар божественных видений,
Нам внятно все — и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений...

Не один литературовед остановится в изумлении перед такой интерпретацией этих строк: "Как писал А. Блок, человеку в этом бренном мире доступны

«и жар холодных чисел, и дар божественных видений», свойственны способность глубокого интеллектуального проникновения в суть загадочного бытия и прекрасные эмоциональные взлеты" (2/234). Превратить поэзию Блока в пошлость — это доступно далеко не каждому. Невольно вспоминается ленинская "грубость", а также некое человеческое свойство перенимать в первую очередь все дурное — и превосходить своих учителей.

О "картежной терминологии" и не только о ней

Оказывается, чтобы вспыхнул гнев, достаточно самых невинных ленинских слов: "Все будущее русской революции поставлено на карту..."

Автор, с рвением следователя, вчитывающегося в документы подозреваемого, как истинный борец за благородство и красоту русского языка снести эти слова не может: "Картежная терминология в который раз убеждает: Россия для большевистских вождей огромный игорный стол, из-за которого они намерены вытолкнуть лидеров других политических сил и монопольно-единолично решать судьбы русского народа" (1/275).

Что ж, Волкогонов имеет полное право считать, что употребление "картежной терминологии" характеризует внутренний мир человека — выражения типа "блестяще разыграть карту" (1/139) и "использовать последний козырь" (1/337) не чужды ему самому. Но нас заставляет упоминать о карточной игре то прискорбное обстоятельство, что волкогоновский метод исторического исследования имеет вполне определенное имя — "подтасовка фактов". А кроме того, некоторые особенности авторской методологии заставляют нас говорить и о "передергивании".

"Неаккуратность" Д. А. Волкогонова при цитировании несравненно возрастает, когда он обращается к архивным источникам. Например, речь идет об отношении Ленина и партии большевиков к интеллигенции. Автор пишет, что любовь Ленина к театру не помешала ему "поддержать идею закрытия Большого театра. Политбюро ЦК не раз рассматривало этот вопрос и высказывалось в том же духе" (2/176). Следует ссылка на архив. В указанном деле, в протоколе совместного заседания Политбюро ЦК и Центральной проверочной комиссии от 17 января 1922 года действительно присутствует вопрос о Большом театре: Слушали: "О закрытии Большого театра". Постановили: "Просить ВЦИК рассмотреть заявление т. Луначарского по существу" (20). И ни единого слова более. Только богатая художественная фантазия автора могла дорисовать происходившее на заседании и истолковать скупые канцелярские выражения как поддержку идеи закрытия театра.

Мягко говоря, "вольное" обращение Волкогонова с фактами — дело для него самое заурядное. Вот один из самых эффектных моментов в книге — рассказ о голоде 1921/1922 годов. Для автора — это повод в очередной раз порассуждать о нелюбви Ленина к России и поужасаться, как "жутки" большевики. Оказывается, правительство Советской России только мешало благотворительным организациям оказывать помощь голодающим. "Когда Ленин ознакомился с одной из резолюций комитета (Всероссийского комитета помощи голодающим — *Н. Д.*),

требовавшего направления его уполномоченных в губернии, то на документе просто начертал: В архив. «Кукиш», его резолюция" (2/206). Ссылка на архив точна, и документ такой есть, и резолюция ленинская есть, только вот содержание документа несколько иное: Помгол возражал против требования большевистского правительства немедленно направить уполномоченных на места для непосредственной борьбы с голодом, настаивая на том, чтобы предварительно за границу была выпущена делегация комитета (21).

В другом месте Волкогонов решил подтвердить свои слова о "советских рогатках" и "коммунистических препонах" на пути зарубежной благотворительности: "Сохранилось *много* (курсив мой – *Н. Д.*) документов за подписями Сталина, Троцкого, Каменева, согласно которым благотворительным американским организациям чинились всяческие препятствия: ограничения в объеме на передачу продовольствия частным лицам и организациям, взимание денег за их провоз по российским дорогам, за использование складов и т. п." (2/161). В деле, на которое при этом ссылается автор, действительно есть *один* (!) документ, касающийся взаимоотношений большевиков с американской благотворительной организацией АРА: записка Каменева членам Политбюро о заключении соглашения с этой организацией. В записке, в частности, говорится: "Мы имеем право ЗАДЕРЖАТЬ (без апелляции) любую выдачу, если она превышает 50 долларов для частного лица или 500 для организации (больница, муниципалитет). Мы предоставляем им БЕСПЛАТНЫЙ ПРОВОЗ ОТ ГРАНИЦЫ ДО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СКЛАДОВ". (Сразу же отметим, что Волкогонов слишком вольно толкует ограничение размеров выдачи в одни руки как препону для работы организации – гораздо вероятнее, что за этим условием стояло вполне понятное стремление большевистского правительства гарантировать равномерное распределение помощи среди голодающих). А еще на этом документе сохранились три весьма любопытные резолюции. "Согласен. Троцкий". "...Предлагаю: 1) от пошлин и налогов освободить ввозимые продукты, *за провоз брать плату* на общих основаниях; 2) помещения для складов предоставлять за плату. И. Сталин. 18.X". Последним расписался Ленин: "Согласен. 19/X Ленин (...мы должны сделать этот опыт, ибо нам дают чистую прибыль голодающим и право контроля, и право отказа за 3 месяца. Поэтому брать плату за провоз и за склады *не* следует)" (22). Мало того, что автор выдал один документ за "много", он еще и извратил его смысл, выдал частное мнение Сталина, с которым не были согласны ни Ленин, ни Троцкий, ни Каменев, за коллективное решение большевиков. Между тем, этот документ прямо противоречит авторской "концепции". Цель Волкогонова – постоянно представлять Сталина верным ленинцем (все сталинские резолюции, безапелляционно утверждает Волкогонов, "ленинские по духу" (2/42)). В данном же случае видно, что подходы Ленина и Сталина к решению политических проблем расходились как раз там, где автор желает видеть их сходство.

"Разоренная деревня,– пишет Волкогонов,– не в состоянии была прокормить страну. Во многих губерниях начинается голод. Мизерное количество хлеба получают рабочие городов. Тем не менее государство продолжает продавать хлеб за границу. В конце 1920 года НКИД предлагает, например, «послать в Италию вторую партию хлеба». ЦК решает: «признать политически необходимым дать Италии еще некоторое количество хлеба. Точное определение количества хлеба и условий его отправки поручить установить Компроду и НКВТоргу». Голодают тридцать шесть миллионов человек; ежедневно умирают от недоедания многие тысячи людей. А Политбюро под председательством Ленина 7 декабря 1922 года принимает поистине преступное решение: «Признать государственно необходимым вывоз хлеба в размере до 50 миллионов пудов»" (2/159). Одну незначительную деталь забыл упомянуть автор – время голода. Напомним: голод в России разразился в результате страшной засухи 1921 года, первые признаки грядущего неурожая появились не ранее весны; осенью 1922 года, после того, как был собран новый урожай, намного более богатый, чем во все предыдущие послереволюционные годы, о голоде не могло идти и речи (23). Таким образом, если посылку хлеба в Италию в конце 1920 года еще можно с грехом пополам объявить государственной недальновидностью, то продажа хлеба за границу в декабре 1922 года *отношения к голоду не имеет*, ибо невозможно накормить сегодняшним хлебом людей, голодавших год назад.

Метода г-на Тенардье

Монфермейльский трактирщик г-н Тенардье, лицо известное в литературном мире, однажды в порыве откровенности поведал о своем золотом профессиональном правиле: "ставить в счет окно открытое, окно закрытое, угол около очага, кресло, стул, табурет, скамейку, перину, матрац, охапку соломы; знать, насколько повреждают зеркало отражения гостей, и брать за это деньги, и, черт подери, любым способом заставить путника платить за все, даже за мух, которых проглотила его собака!" Как человек далекий от немеркантильных интересов, г-н Тенардье никогда не смог бы себе представить, что когда-нибудь его метода будет с успехом применена историком, поставившим перед собой задачу обвинять и выносить приговор от лица истории и Высшего Судии.

Книга Волкогонова, по сути дела, представляет собой длинный мелочный счет, выписанный Ленину. Все включено – и "картежная терминология", и "заразительный пример", и преступления Сталина, и застой времен Брежнева. Все негативное, отталкивающее в истории Советского государства, что только можно было найти, собрано, подсчитано и вменено в вину Ленину. И не беда, что для доказательства причастности Ленина ко всем бедам России не хватает фактов – аргументы подменила пламенная речь уверенного в собственной правоте "патриота-демократа". И стиль был выбран соответствующий: вычурный, с претензией на красивость и, одновременно, на философскую глубину. (Фраза "германские войска, как жирное масляное пятно по грязной, изорванной российской скатерти, расплывались все шире..." (1/338) достойна пера незабвенного В. Пикуля, с его бессмертным: "Корабль вертелся, как плевок на раскаленной сковороде".) Гармония формы и содержания достигнута. Избери автор традиционный научный стиль – и вся его беспомощность как историка тотчас вышла бы наружу. Г-н Тенардье, имей он хоть малейшее представление об исторической науке, не смог бы скрыть зависть при виде столь блестящего применения его методы.

Конечно, официальные биографы Ленина советского периода были не более объективны, чем Волкогонов, однако, не следует забывать, что принудительная сила господствующей идеологии не позволяла им писать иначе.

Мы вправе задать себе недоуменный вопрос: почему создаются подобные книги, почему получают они столь широкую рекламу в прессе и на телевидении? Ответ будет прост и созвучен времени: потому что это *выгодно*. Выгодно, ибо волкогоновская книга за счет эксплуатации еще не до конца угасшего доверия читателя к печатному слову, к самому имени ученого-историка (не автора конкретно, а ученого вообще) призвана внедрить в массы некоторые идеи, весьма важные для правящей "демократической" верхушки. Выгодно, ибо данная книга просто обречена стать популярной. Она обязательно найдет (и уже нашла) своих сторонников среди читателей интеллигентных — среди тех, кто не способен воспринимать ее критически, поскольку заранее согласились с "авторской концепцией" и радостно принимают *любые* доводы в ее защиту. Но не для этих людей — их не надо ни в чем убеждать — писал Волкогонов. Он творил для потребителей массового исторического чтива, для неприхотливых любителей исторических сенсаций, для почитателей бульварной прессы. Он уже не историк, он почти романист. Как заметил Дон-Аминадо, "от лжесвидетельства к беллетристике — один шаг".

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Волкогонов Д. А. "Ленин. Политический портрет. В двух книгах" Кн. 1, М., 1994.
2. Волкогонов Д. А. "Ленин. Политический портрет. В двух книгах" Кн. 2, М., 1994.
3. Чаадаев П. Я. Сочинения. М.: Изд-во "Правда", 1989. С. 174.
4. Пушкин А. С. Собрание сочинений. Т. 10, М., 1978. С. 272.
5. Чаадаев П. Я. Сочинения... С. 172.
6. Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. Репринтное воспроизведение издания YMCA-PRESS, 1955. М., 1990. С. 93.
7. См. например: Извольский А. П. Воспоминания. М., 1989. С. 38–43.
8. См. статью Н. Валентинова "Чернышевский и Ленин" в кн.: Валентинов Н. Недорисованный портрет... М., 1993. С. 495–535.
9. Ильин И. А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. С. 124–125.
10. Коэн С. Бухарин. Политическая биография. 1888–1938. М.: Прогресс, 1988. С. 455.
11. Архив русской революции. В 22-х тт. Т. 1/2. М., 1991, Т. 1. С. 22–23.
12. Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 99.
13. Там же. С. 97.
14. Там же. С. 101.
15. Там же. С. 102.
16. Там же. С. 95–96.
17. Там же. С. 99.
18. Там же. С. 131.
19. См., например: 1/11, 12; 2/131–133, 337, 372, 454 и т. д.
20. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Ед. хр. 253. Л. 2.
21. РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 20449. Л. 2.
22. РЦХИДНИ. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 21444. Л. 1.
23. См. об этом, например: Карр Э. История Советской России; Большевистская революция 1917–1923. Т. 2. М., 1989. С. 225–226, 232. (Если уж не доверять советским историкам...)

Л. П. БЕРИЯ:

ПРЕДЕЛЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ "РЕАБИЛИТАЦИИ"

О. В. Хлевнюк

Этот человек вполне мог стать очередным вождем Советского государства, но в момент, казалось, неудержимого движения к этой цели был арестован, расстрелян и провозглашен, еще недавно почитаемый, главным врагом страны и народа. Политические противники Берия одержали полную победу. В исторической памяти общества он вот уже четыре десятилетия остается воплощением абсолютного зла и главным преступником сталинских времен. Не Сталин, не другие сталинские соратники, а именно Берия.

Берия не был нужен никому. Как олицетворение самого одиозного в сталинизме — органов НКВД — МВД, он был ненавистен народу. Недавние соратники по Политбюро, принеся его в жертву, надеялись (и не без оснований) обелить себя и систему. Сталинисты спасали своего любимого великого вождя — "жертву интриг Берия". Диссиденты ненавидели и того, и другого. Самый влиятельный (в духовном отношении) слой общества, интеллигенты-шестидесятники, поверили своему полукумиру — Хрущеву, который, чувствуя шаткость собственной репутации десталинизатора, неоднократно подчеркивал свою особую заслугу — арест Берия. Написанные в этом ключе мемуары Хрущева, книги дочери Сталина Светланы Аллилуевой, пытавшейся оправдать отца за счет того же Берия, работы диссидентских историков долгое время были основой самых распространенных оценок Берия.

Положение не изменилось и в годы "перестройки" — в период активного пересмотра исторических концепций и переоценки исторических деятелей. Берия остался вне этого процесса. Неизвестные архивные данные, прежде всего материалы следствия по делу Берия, появившиеся в печати, использовались для разоблачения "сталинского монстра". Новизна состояла лишь в том, что о Берия стали писать открыто и сравнительно много. Все наиболее значительные новые статьи о Берия, наряду со старыми работами и воспоминаниями, были собраны в книге "Берия: конец карьеры" (1), имевшей, как и многие другие исторические работы периода "перестройки", большой успех.

В некотором смысле сенсацией стала публикация в начале 1991 года в журнале "Известия ЦК КПСС" (№1, 2) стенограммы июльского пленума ЦК

КПСС 1953 года, на котором Хрущев (задним числом) получил формальное одобрение ареста Берия. Из многочисленных однообразно-традиционных выступлений участников пленума выяснилось, что Берия обвиняли не только (и не столько) в репрессиях и сотрудничестве с мусаватистской разведкой. Главным предметом резкого осуждения была недавняя, послесталинская деятельность Берия: "не теми методами" прекратил "дело врачей", "двурушнически" призывал "восстановить законность", пытался умалить авторитет Сталина и ограничить функции партии пропагандистской и кадровой работой, намеревался восстановить отношения с Югославией (что, конечно, свидетельствовало о шпионаже в пользу иных государств), требовал отказаться от курса на строительство социализма в Восточной Германии и т. д. Поднимавшиеся один за другим на трибуну пленума ораторы клеймили Берия и одновременно создавали портрет реформатора, пытавшегося в те немногие месяцы, что отпустила ему судьба, радикально демонтировать сталинский социализм. Сами же противники Берия, включая Хрущева, выглядели на пленуме ярыми сталинистами, отстаивающими каждую крупицу наследия своего великого учителя.

Подозрения по поводу реформаторских наклонностей Берия, возникавшие при чтении стенограммы июльского пленума, были подкреплены свидетельствами В. М. Молотова (в изложении Ф. Чуева), опубликованными в том же 1991 году (2). Молотов подробно рассказал (подтвердив и дополнив воспоминания Хрущева) о заседании Президиума ЦК, на котором Берия требовал отказаться от курса на строительства социализма в Германии. Явно на пользу Берия пошли такие, например, оценки Молотова: "Я считаю, что Хрущев был правый, а Берия еще правее. Еще хуже"; "Идейного в нем мало. Может быть, ничего не было. Но способный человек" (3).

Все эти данные и факты поставили перед историками новые вопросы: насколько соответствовали истине обвинения против Берия, есть ли подтверждения его реформаторских усилий в других документах, как далеко готов был зайти Берия? В свете определенной переоценки итогов карьеры Берия менялся общий подход к исследованию его предыдущей деятельности. Предстояло выяснить, как и когда даже у такого одиозного соратника Сталина появились намерения разрыва с собственным прошлым, в чем источники будущей десталинизации, проводимой сверху, а значит во многом зависящей от личных качеств новых вождей.

Повышенное внимание к этим проблемам было, можно сказать, синхронным и в России, и на Западе. На Западе это проявилось, например, в активной дискуссии вокруг книги о Берия, подготовленной американской исследовательницей Эми Найт (4). У нас — в появлении многочисленных публицистических статей, телевизионных передач, в успехе, выпавшем на долю неоднократных выступлений сына Берия Серго.

Однако пока новая тема — Берия как потенциальный реформатор — осваивается скорее экстенсивно, путем многократного повторения одних и тех же немногочисленных фактов и оценок. Причем количество собственно исследовательских работ по проблеме крайне невелико.

Между тем, даже беглое сопоставление архивных документов с традиционными трактовками деятельности Берия показывает, что в этом, как и во многих других случаях, предстоит трудоемкое преодоление упрощенных стереотипов и поверхностных исследовательских приемов. Как и любая другая, политическая биография Берия не может ограничиваться простым набором хронологически выстроенных примеров, призванных подтвердить уже известное — был палачом и преступником. Крайне необходимая (и по научным, и по нравственно-политическим соображениям) объективная "инвентаризация" преступлений Берия не отрицает, однако, задачу отделения реальных событий от многочисленных мифов, исследование восхождения и падения Берия в контексте советской истории.

Преобладающая ныне схема политического "жизнеописания" Берия состоит из нескольких традиционных блоков, берущих начало в материалах следствия по делу Берия в 1953 г. и оценках из доклада Хрущева на XX съезде. Первый из этих блоков — противопоставление коварного Берия честным жертвам его интриг. "Теперь установлено,— заявил Хрущев на XX съезде,— что этот мерзавец шел вверх по государственной лестнице через множество трупов на каждой ступеньке" (5). Важным доказательством этого положения Хрущев, а за ним и большинство историков, пишущих о Берия, считали обстоятельства выдвижения Берия в партийное руководство Закавказской Федерации. Делегатам XX съезда КПСС Хрущев зачитал такие свидетельства одного из бывших закавказских руководителей А. В. Снегова: "30.X.1931 г. на заседании Оргбюро ЦК ВКП состоялся доклад секретаря Заккрайкома Картвелишвили. Присутствовали все члены бюро крайкома, из которых я один — живой. На этом заседании И. В. Сталин в конце своего выступления внес предложение сформировать секретариат Заккрайкома в составе: 1-м секретарем Картвелишвили, 2-м — Берия (это впервые в истории партии фамилия Берия была названа, как кандидат на партийный пост), тут же Картвелишвили репликой завил, что знает хорошо Берия и поэтому категорически отказывается с ним работать. Тогда И. В. Сталин предложил вопрос оставить открытым и решить его в рабочем порядке. Через два дня было решено о выдвижении Берия на партийную работу и об уходе Картвелишвили из Закавказья" (6). В конце 60-х годов известный историк Р. А. Медведев записал, а затем поместил в своей книге такой рассказ Снегова: "На заседании Политбюро председательствовал Каганович. Конечно, присутствовал и Сталин, причем он был явно не в духе. Первым докладывал Лаврентий Картвелишвили. Затем от ЦК Грузии сделал доклад Г. Давдариани, от ЦК Азербайджана — Вл. Полонский, от ЦК Армении — А. Ханджян... После докладчиков из Закавказья выступил Сталин. Он произнес пространную речь, в которой говорил о национальной политике в Закавказье, о производстве здесь хлопка, нефти. Переходя к организационным делам, Сталин неожиданно предложил выдвинуть Берия вторым секретарем Заккрайкома, то есть ближайшим заместителем Картвелишвили. Многие были ошеломлены этим предложением, а Картвелишвили громко сказал: "я с этим шарлатаном работать не буду". Не все, правда, поддержали Картвелишвили, и в частности Вл. Полонский, который из-за каких-то групповых интересов заигрывал тогда с Берией. Однако большинство членов Заккрайкома стали возражать против предложения Сталина... Сталин был очень рассержен... Он покраснел и гневно сказал: "Ну что ж, мы решим этот вопрос в рабочем порядке" (7).

Если обращение Медведева к свидетельствам Снегова вполне объяснимо, то Хрущев, располагавший всеми архивами партии, казалось, мог бы и не ссы-

латься на рассказы очевидцев. Однако сделал это Хрущев не от хорошей жизни: документальные источники существенно расходились с версией Снегова и представляли более сложную и менее политически выгодную для Хрущева картину. Как следует из протоколов, заседание Оргбюро, на котором рассматривались доклады Заккрайкома, ЦК компартий Азербайджана и Грузии действительно проводилось, только не 30, а 19 октября. На заседании действительно присутствовал Снегов, председательствовал Каганович и выступали с докладами перечисленные Снеговым руководители закавказских парторганизаций и Сталин. Однако ход обсуждения Снегов изложил слишком по-своему.

Начать можно с того, что Снегов умолчал о кардинальных обстоятельствах предшествовавших заседанию Оргбюро. В Закавказье к этому времени уже сменилось несколько составов руководства. С начала 20-х годов за власть в регионе постоянно боролись различные группировки местных начальников. В 1931 году обострилось противостояние первого секретаря Закавказской краевой парторгани зации и руководителей республик, входивших в федерацию — Грузии, Азербайджана, Армении. Бурные склоки и столкновения происходили на фоне кризисной ситуации в регионе, крайнего социально-политического напряжения, вызванного коллективизацией. Одно за другим следовали массовые выступления крестьян против властей, которые подавлялись силой.

В конце концов в Москве решили вмешаться в конфликт между закавказскими руководителями. Этому фактически и было посвящено упомянутое заседание Оргбюро. О его ходе свидетельствует стенограмма (Ниже приводятся лишь выдержки из стенограммы, характеризующие позиции сторон при обсуждении кадровых вопросов):

КАРТВЕЛИШВИЛИ (первый секретарь Заккрайкома): Все бюро крайкома с одной стороны, секретарь — с другой стороны. Полонский и другие товарищи не хотят меня иметь секретарем. Я сейчас в таком положении секретарем не могу быть. Работа большая и то, что сейчас работа вот уже в течение полутора-двух месяцев затормозилась — это чрезвычайно плохо влияет на все дело. Поэтому нужно будет ЦК разрубить этот узел и дать новых людей туда. Надо, чтобы штаб был способен вести армию в бой.

СТАЛИН: Рубить нужно?

КАРТВЕЛИШВИЛИ: Да, рубить.

КАГАНОВИЧ: Слово имеет т. Полонский.

ПОЛОНСКИЙ (первый секретарь ЦК компартии Азербайджана): ...В отношении Закавказской федерации я бы сказал, что мы имеем совершенно неурегулированные, ненормальные взаимоотношения с руководством...

Должен сказать прямо, что поддержка товарища Картвелишвили со стороны Азербайджанской организации и, в частности, Бакинской организации была полная до тех пор, пока он не проявил инициативу выискивания своих людей для того, чтобы, опираясь на них, проводить свою линию. (ГОЛОС: Что вы называете своей линией?) Ну, свои мероприятия в практической работе, которые он проводил, опираясь на своих людей, а не на ЦК.

ДОГАДОВ (председатель контрольной комиссии закавказского крайкома партии): Я начну с конца, насчет состояния партийной организации. Состояние партийной организации Грузии хуже, чем думает т. Сталин. Насчет того, чтобы мы могли в том составе, в каком находится Заккрайком дальше руководить, я должен сказать ничего из этого не выйдет. Все бюро крайкома разделилось на две неравные части и по всем мелким вопросам голосует бюро против...

У нас в течение двух месяцев крайком лихорадит, но эта борьба до сих пор она ограничивалась верхушкой, а сейчас я убедился, что эта борьба переносится уже в низы... По малейшим мелочам бюро Заккрайкома голосовало против секретаря... Поэтому немедленно надо создать боевой штаб Закавказского крайкома.

СТАЛИН: Назови какой.

ДОГАДОВ: Я не знаю.

СТАЛИН: Сам хочет сесть. (Смех.)

ДОГАДОВ: Я там 6—7 месяцев работаю, но вы здесь очень правильную характеристику дали и после этого вряд ли кто захочет стать там секретарем. Мне кажется, что то стабильное состояние, которое вы предлагаете — это не выход.

СТАЛИН: Если так сделать — он (указывает на Картвелишвили) остается первым секретарем, Полонский — вторым и еще Берия, он партиец с 1912 года, может быть он создаст среди них мир.

КАРТВЕЛИШВИЛИ: Не выйдет. У меня не выйдет ни с Полонским, ни с Берия...

ОРАХЕЛАШВИЛИ (председатель Совнаркома Закавказской Федерации): Вопрос идет в основном о двух: Полонском и Картвелишвили... Я нахожу, если Картвелишвили не изменит своей непримиримой позиции, то мы не сможем работать...

А, конечно, тов. Сталин, я считаю, что такое положение продолжать нельзя. Сейчас последнее слово тов. Картвелишвили. Сможет он измениться, сможет создать твердую опору для коллегиальной работы в Заккрайкоме, тогда можно надеяться, что будут созданы нормальные условия для работы.

ТЕР-ГАБРИЕЛЯН (председатель Совнаркома Армении): Надо заранее решить: если остается тов. Картвелишвили и тов. Полонский, я не знаю, как они сработаются между собой... Но если постановление ЦК будет обязывающее их остаться, тогда придется внести следующее решение, что ряд лиц из членов бюро придется снять, потому что коллегиальную работу вместе с Картвелишвили я не признаю возможным. Почему? Потому, что выступать против мнения Картвелишвили на заседании бюро Заккрайкома — это значит стать врагом т. Картвелишвили...

КАГАНОВИЧ: Прения прекращены.

КАРТВЕЛИШВИЛИ: Я прошу дать мне слово.

СТАЛИН: Надо дать.

КАРТВЕЛИШВИЛИ: Здесь несколько слов о выступлении т. Тер-Габриеляна...

Тер очень остро выступал, но никогда я его врагом своим не считал, и никогда не ставил вопрос об его снятии и не докажет ни один член бюро о том, что я ставил вопрос о его снятии...

Относительно того, что я груб. Я груб потому, что требую от всех, от большого и маленького работника выполнения тех обязанностей, которые на них лежат...

ТЕР-ГАБРИЕЛЯН: Ты Певцова на заседании бюро назвал идиотом. Как это называется?

КАРТВЕЛИШВИЛИ: ...Основное — атаманщина есть в организации. Есть, но не так легко провести борьбу с это атаманщиной. Это не Украина. На Украине главных губернаторов разогнали, в чем очень помог Лазарь Моиссевич (Каганович — *О. Х.*), но у нас есть республики и их не ликвидируешь — это не так просто... Чтобы крайком сумел повести драку с этой атаманщиной, нужно там иметь лучшее руководство, которое имело бы лучший авторитет, которое могло бы это дело проделать, а я не являюсь тем, кто мог бы такое руководство осуществить, благодаря "помощи" всех этих товарищей. Я не сумею сейчас так руководить, чтобы бороться против атаманщины Тер-Габриеляна в Армении и Полонского в Азербайджане...

Прав т. Сталин, что вовремя нужно забрать работника.

СТАЛИН: Я не о вас говорил.

КАРТВЕЛИШВИЛИ: Неужели я должен превратиться в собутыльника, чтобы удержаться в Закавказье...

СТАЛИН: Мы вам предлагаем что ли стать собутыльником?

КАРТВЕЛИШВИЛИ: Нет. А там у нас есть такая практика. Освободите меня от работы, там товарищи сработались во главе с Полонским и другими, дайте им работать (8).

Поскольку на самом заседании компромисса достичь не удалось, для подготовки решения была создана комиссия под председательством Кагановича. Прошло еще полтора месяца, и только 31 октября постановление по закавказской парторганизации, подготовленное и одобренное накануне Оргбюро, было утверждено Политбюро. В резолюции, в частности, говорилось о том, что "среди руководящих кадров как Закавказья, так и республик, имеет место беспринципная борьба отдельных лиц за влияние (элементы «атаманщины»), на почве чего подбор руководящих кадров и расстановка работников производится в ряде случаев не по партийным, деловым признакам, а по признаку примыкания к той или иной группировке" (9). В тот же день, 31 октября, Политбюро одобрило соответствующие кадровые решения. Л. И. Картвелишвили был освобожден от обязанностей секретаря Заккрайкома и назначен вторым секретарем Западно-Сибирского крайкома. Первым секретарем Заккрайкома был назначен председатель СНК Закавказья М. Д. Орахелашвили, вторым секретарем (вовсе не так, как предлагал первоначально Сталин) — председатель ГПУ Закавказья Л. П. Берия, третьим секретарем — первый секретарь ЦК КП(б) Азербайджана В. И. Полонский. Берия по совместительству был назначен также первым секретарем ЦК КП(б) Грузии (10).

Таким образом, обстоятельства кадровых перестановок в руководящих эшелонах Закавказской Федерации еще не дают оснований считать Берия сосредоточием интриг в борьбе за власть. Он был лишь одним из участников отчаянной драки между закавказскими руководителями. Бурные конфликты потрясали в конце 20-х — начале 30-х годов руководство многих регионов. Эти склоки отражали кризисное состояние, в котором находилась старая партийная гвардия, и везде способствовали ее замене более энергичными и деловыми (с точки зрения Сталина) молодыми кадрами. На этот счет у Сталина даже существовала особая теория, изложенная им в 1923 г. в докладе по оргработе на XII съезде партии: "Говорят о склоках и трениях в губкомах. Я должен сказать, что склоки и трения, кроме отрицательных сторон, имеют и хорошие стороны. Основным источником склок и дрязг является стремление губкомов создать внутри себя спаянное ядро, сплоченное ядро, могущее руководить без перебоев. Эта цель и это стремление являются вполне здоровыми и законными... Не нужно доказывать, что если бы таких руководящих групп в губкомах не было, если бы все было сколочено так, чтобы "хорошие" и "плохие" уравновешивали друг друга, — никакого руководства в губернии не было бы..." (11) В общем, в свете всех этих обстоятельств историк вряд ли может позволить себе роскошь простых рассуждений об интригах Берия. За склоками и борьбой группировок во всех регионах страны скрывались более глубокие и значительные процессы.

Кстати, интриги закавказских руководителей, в которые был втянут Берия, кадровыми перемещениями 1931 г. не закончились. Заслуженные закавказские большевики, вхожие в дома кремлевских вождей, распространяли о Берия не самые благоприятные сведения и, в частности, постоянно напоминали о его связях с мусаватистской разведкой. Об этом свидетельствуют письма Берия Орджоникидзе за 30-е годы, отложившиеся в фонде Орджоникидзе в РЦХИДНИ. Берия, как видно из этих писем, приходилось демонстрировать крайнее уважение к Орджоникидзе и опровергать наветы недругов. "В Сухуме отдыхает Левон Гогоберидзе. По рассказам т. Лакоба и ряда других товарищей т. Гогоберидзе распространяет обо мне и вообще о новом закавказском руководстве гнуснейшие вещи. В частности, о моей прошлой работе в муссаватской контрразведке, утверждает, что партия об этом якобы не знала и не знает. Между тем, Вам хорошо известно, что в муссаватскую разведку я был послан партией и что вопрос этот разбирался в ЦК АКП(б) в 1920 году, в присутствии Вас, т. Стасовой, Каминского, Мирза Дауд Гусейнова, Нариманова, Саркиса, Рухулла, Ахундова, Буниат-Заде и других. (В 1925 г. я передал Вам официальную выписку о решении ЦК АКП(б) по этому вопросу, которым я был совершенно реабилитирован)", — писал, например, Берия Орджоникидзе 2 марта 1933 г. (12) Эта история о связях с вражеской разведкой (специально, кстати, так и не изучавшаяся) будет висеть над Берия всю жизнь, всплывет на следствии в 1953 г., где составит один из основных пунктов обвинения.

Определенная недоговоренность наблюдается также при освещении в литературе роли Берия в кровавых событиях конца 30-х годов. Справедливо разоблачая его преступления в Грузии, многие авторы характеризуют Берия как одного из главных организаторов террора в масштабах страны. Во многом это утверждение верно, прежде всего потому, что с середины 1938 г. Берия занимал должности первого заместителя, а затем наркома внутренних дел. Однако нельзя пройти и мимо того факта, что именно Берия волей судьбы выпало проводить в жизнь новую кампанию — частичной реабилитации жертв массовых репрессий. Отметить это важно не для того, чтобы "оправдать" Берия (в конце концов реабилитации 1939—1940 гг. были ничтожными, причем сопровождались продолжением террора, пусть и не в прежних масштабах). Деятельность Берия в предвоенные годы может рассматриваться как первый опыт его "реформаторства" и в этом смысле представляет определенный интерес.

Назначение Берия наркомом внутренних дел не было случайностью — Сталин ценил его деловые качества исполнителя и, несомненно, помнил о значительном стаже деятельности Берия в ГПУ Грузии. Берия успешно организовал кампанию "борьбы с ежовщиной" — чистку аппарата НКВД, демонстративные акции против некоторых сотрудников органов, обвиненных в "нарушениях социалистической законности" и выборочный пересмотр дел некоторых категорий осужденных. При проведении этих операций Берия в полной мере показал, что является плотью от плоти НКВД. Громя людей Ежова и издавая приказы о "соблюдении социалистической законности", он более всего был озабочен защитой "чести" чекистского мундира, сохранением костяка кадрового состава органов и укреплением позиций своего ведомства.

Опираясь на безусловную поддержку Сталина, Берия твердой рукой отвергал любые попытки вмешательства в бесконтрольную деятельность НКВД. Всякая инициатива в расследовании преступлений чекистов, не инициированная руководством НКВД, жестко пресекалась. Например, в тех случаях, когда местные прокуроры пытались самостоятельно проверять следственные дела и выявляли при этом злоупотребления органов, Берия решительно брал своих подчиненных под защиту. Уже в декабре 1938 г., в самый разгар кампании "восстановления социалистической законности", один из ближайших сотрудников Берия заместитель наркома внутренних дел Украины Кобулов обратился в Москву с жалобой на действия прокуроров. "Вся работа органов НКВД по следствию берется под сомнение, культивируется мнение, что большинство арестованных дали показания вымышленные под влиянием физических методов воздействия... При передопросе арестованных в первую очередь стараются добиться, что показания этот арестованный дал в результате того, что его били и эти показания немедленно со всеми подробностями записываются в протокол",— писал Кобулов (13). Берия немедленно переслал письмо Кобулова Вышинскому с поручением: "Прошу ознакомится и дать соответствующие указания Прокуратуре Украинской ССР. Копию Ваших указаний прошу выслать мне" (14). Вышинский сделал своим подчиненным внушение, о чем и сообщил Берия (15). Этот случай не был единичным. Аналогичным образом, например, Берия и Вышинский реагировали на жалобу начальника управления НКВД по Ленинградской области Гоглидзе (16).

В пользу НКВД в целом разрешился нараставший конфликт между чекистами и руководителями местных партийных организаций. Воспользовавшись новым поворотом политики, секретари обкомов, стремясь обезопасить себя от повторения ситуации 1937—1938 гг., усилили нажим на чекистов. В частности, в Москву от местных партийных руководителей пошли жалобы по поводу пыток в НКВД, просьбы проверить то или иное областное управление наркомата. Однако, 10 января 1939 г. секретарям обкомов, крайкомов, нацкомпартий, начальникам управлений НКВД и наркомам республиканских наркоматов внутренних дел была направлена шифрованная телеграмма за подписью Сталина, в которой говорилось: "ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б)... ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и неразоружающихся врагов народа как совершенно правильный и целесообразный метод" (17). Обстоятельства появления этого документы пока неизвестны. Но с большой долей вероятности можно утверждать, что Берия играл не последнюю роль в его подготовке.

Косвенно об этом свидетельствуют многие другие факты, относящиеся к деятельности Берия в НКВД в конце 30-х годов. Придя к власти в наркомате на волне "либеральных реформ", Берия на самом деле с первых шагов проявил себя как жестокий и энергичный хозяин, заинтересованный прежде всего в упрочении своего ведомства и распространении его влияния.

Одной из первых акций Берия было создание Особого технического бюро при наркоме внутренних дел (представленный Берия проект положения об этом бюро был утвержден руководством партии 8 января 1939 г.). Бюро, как говорилось в положении, организовывалось "в целях использования заключенных, имеющих специальные технические знания и опыт". Перед бюро была поставлена задача "конструирования и внедрения в производство новых средств вооружения армии и флота".

9 апреля 1939 г. Берия направил председателю Совнаркома СССР Молотову докладную записку, в которой изложил основные принципы "реформирования" экономики НКВД. "На рабочую силу исправительно-трудовых лагерей Наркомвнудела в 3-ю пятилетку,— говорилось в докладной,— возлагается проведение важнейших строительных работ общей стоимостью до 12 миллиардов рублей. Это ставит перед Наркомвнуделом серьезнейшую задачу обеспечить максимальное использование лагерной рабочей силы. Между тем общее состояние исправительно-трудовых лагерей НКВД, как аппаратов совмещающих исправительно-трудовую практику и политику с использованием своих контингентов на хозяйственно-производственных и строительных работах таково, что без достаточно решительных и серьезных мероприятий эту задачу выполнить будет исключительно трудно" (18). Берия просил правительство утвердить ряд мер для того, чтобы "физические возможности лагерной рабочей силы можно было использовать максимально на любом производстве" (19). Берия выступил против практики условно-досрочного освобождения заключенных, так как она якобы создает "исключительно большую текучесть лагерного контингента и отрицательно действует на организацию производственных циклов и производственную работу лагерей вообще" (20). Основным стимулом для повышения производительности труда, по мнению Берия, вместо перспективы досрочного освобождения могли быть улучшение питания и снабжения (Берия просил утвердить более высокие нормы снабжения лагерей продовольствием), денежное премирование и облегчение лагерного режима передовиков. Однако не слишком полагаясь на материальные стимулы, новый нарком предлагал также ужесточить репрессивные меры: "По отношению к прогульщикам, отказчикам от работы и дезорганизаторам производства применять суровые меры принуждения — усиленный лагерный режим, карцер, худшие материально-бытовые условия и другие меры дисциплинарного воздействия. К наиболее злостным дезорганизаторам лагерной жизни и производства применять более суровые, судебные меры наказания, в отдельных случаях до высшей меры наказания включительно. Обо всех случаях применения этих мер воздействия широко оповещать лагерников" (21).

Эти предложения Берия столь очевидно не вписывались в провозглашаемые принципы "восстановления социалистической законности", что против них позволили себе выступить прокурор СССР Вышинский и нарком юстиции СССР Рычков. В записках, отправленных в Совнарком, они, в частности, доказывали, что расстрел в отношении "злостных дезорганизаторов лагерной жизни и производства" не может применятся, если подсудимый не совершил преступления, за которое уголовный кодекс предусматривает расстрел (22).

Однако Берия победил в этих спорах. В июне 1939 г. его предложения были полностью приняты сначала Политбюро, а затем оформлены в виде Указа Президиума Верховного Совета СССР "О лагерях НКВД" (23). Произведенные в 1939 г. преобразования стали одной из основ быстрого расширения экономики НКВД в предвоенные годы. Именно Берия более своих предшественников способствовал тому, что Наркомат внутренних дел превратился в крупнейшее хозяйственное ведомство (24).

За последние годы в научный оборот введено большое количество документов, проливающих свет на деятельность Берия в качестве организатора широкомасштабных репрессивных акций 40-х годов. Не вызывает сомнений его ведущая роль в Катынском деле (25), в осуществлении депортаций народов СССР (26). Эти факты, как ни оценивать последующие действия Берия, остаются ключевыми в его биографии. Свой опыт, политические связи и соратников Берия приобретал в самом зловещем и преступном ведомстве советской государственной системы. Отвлечься от этого обстоятельства, рассуждая о последующих "реформаторских" склонностях Берия, просто невозможно.

Но, конечно, ключевой пункт политической биографии Берия — его недолгая, трехмесячная деятельность в качестве самостоятельного политика после смерти Сталина. В оценке этого сюжета историки в основном разделились на две группы — сторонников версии реформаторства Берия и скептиков, рассматривающих действия Берия как тактические маневры в борьбе за власть.

В наиболее полном виде в России аргументы приверженцев первой точки зрения изложил Б. Старков. Указав на неортодоксальные предложения Берия по внешнеполитическим вопросам и более радикальную, чем у других советских вождей, критику Сталина, попытки Берия ограничить власть партийного аппарата в пользу государственного, сделать более гибкими взаимоотношения Москвы с республиками СССР и национальной интеллигенцией, провести демонтаж ГУЛАГА, Старков сделал вывод о далеко идущих реформаторских намерениях Берия. "Все радикальные предложения Министерства внутренних дел относительно амнистии репрессированным в 30–40-е годы были отклонены. Берии же указали на то, что он проводит эти мероприятия «с излишней торопливостью»", — пишет Старков (правда, не указывая, какие конкретно "радикальные предложения" имеет в виду). По мнению Старкова, "объективно Берия был буфером между советской государственностью в лице Г. М. Маленкова и партийным аппаратом в лице Н. С. Хрущева. С самого начала своей реформаторской деятельности он был обречен — все его предложения и начинания истолковывались не иначе как стремление к захвату власти. В архивах сохранился еще один интересный документ, подготовленный секретариатом Берия. Это список решений ЦК партии и Совнаркома или Совета Министров, под-

лежащих отмене или пересмотру, как устаревшие или ошибочные. Так что можно предполагать, что реформаторские намерения "лубянского маршала" были, и весьма серьезные. Но реализовали их другие. И поэтому Берия был обречен (27).

Сходной точки зрения придерживается Э. Найт. Предупредив, что не пытается "реабилитировать Берия", она полагает, что изменения, которые он предлагал, "были столь смелыми и далеко идущими, что встреченные с сочувствием обществом, встревожили его коллег. По иронии судьбы, именно Хрущев, провозглашенный позже мужественным десталинизатором, более всего способствовал остановке реформ Берия, возглавив против него заговор... Программа Берия стремилась к подрыву сталинской системы и могла привести к отказу от нее. Политика Хрущева, будучи реформистской, фактически увековечивала сталинизм" (28). В общем, Э. Найт видит в Берия прагматика, "полицейского, обратившегося в либерала" на манер Ю. Андропова (29).

На первый взгляд, для таких предположений существуют определенные основания. Помимо перечисленных сведений о некоторых действиях Берия в марте — июне 1953 г., в пользу "реформаторства" Берия косвенно свидетельствуют обстоятельства его ареста. Ведь в заговоре против Берия Хрущев объединил вовсе не правдолюбцев и реформаторов. Неизвестно, что больше пугало таких сторонников Хрущева, как Молотов, — перспектива усиления Берия или его слишком энергичные попытки отречься от Сталина. Большой интерес в связи с этим представляет версия Э. Найт, что заговор во многом стал результатом кризиса в ГДР. Действительно, восстание в Берлине, подавленное советскими войсками, с одной стороны, было поражением Берия, его политики "умиротворения" Германии (а как известно, "промахнувшийся" вожак уже не вселяет былой страх в стаю), с другой — подтолкнула к Хрущеву тех членов Политбюро, которые были недовольны поспешной либерализацией. Через девять дней после подавления Германии Берия был арестован.

Каким бы не было отношение к версии "Берия — реформатор", необходимо признать: некоторая переоценка Берия неизбежна. Думаю, это всегда понимали серьезные специалисты: уж слишком карикатурно выглядел наскоро слепленный в 1953 году образ "английского шпиона — сексуального маньяка", виновного в преступлениях сталинизма более, чем сам Сталин. Вопрос заключается в ином: насколько далеко может зайти подобная переоценка, каковы пределы "исторической реабилитации" Берия. Пока создается впечатление, что именно реабилитационный крен в последнее время набирает силу. Однако ряд серьезных аргументов предъявляют в своих работах сторонники скептического отношения к бериевским "реформам".

Прежде всего, известные факты позволяют утверждать, что необходимость серьезных изменений в "генеральной линии" понимали все "осиротевшие" 5 марта советские вожди. Как показала Е. Ю. Зубкова, круг основных вопросов, которые пришлось бы решать новому руководству, кто бы ни оказался во главе его, а также направления возможных перемен "в известном смысле были как бы заранее заданы". Сложнейшая ситуация в западных районах страны, внешнеполитические проблемы, бедственное положение деревни, невыносимость террора — все эти "болевые точки" в той или иной мере проявились и осознава-

лись еще при Сталине. Предложения Берия поэтому во многом поддерживались и дополнялись другими членами руководства (30).

Несомненно, все наследники Сталина, включая Берия, понимали также, что отречение от прошлого — операция достаточно опасная, способная уничтожить основы системы и их самих, а поэтому проявляли осторожность. Но Берия, возможно, раньше других понял не только эту опасность, но и силу десталинизации как оружия в борьбе за власть в период междуцарствия. Поэтому во всех "реформаторских" акциях Берия прослеживается второй план.

Так, поспешное вступление в должность министра объединенного МВД и МГБ, назначение туда сторонников Берия никак не объяснить просто стремлением обуздать репрессии. Как считает В. П. Наумов, Берия взялся за пересмотр следственных материалов тех дел, которые возникли в период, когда он не имел никакого отношения к следственной работе. Причем под удар попали прежде всего работники органов, которые по указанию Сталина собирали компрометирующие материалы на самого Берия (31). Гласное и даже демонстративное прекращение "дела врачей" (по инициативе, как подчеркивалось в газетных сообщениях, МВД) не только позволяло рассчитывать на сочувствие интеллигенции, но было хорошим поводом для кадровой чистки МВД от "чужих людей". Автоматически под удар попадал Хрущев, сторонники которого занимали многие ключевые посты в МГБ в период фабрикации "дела врачей". (Не случайно, Хрущев сделал все возможное для оправдания прежнего министра госбезопасности С. Д. Игнатьева.)

Объявляя амнистию, Берия вторично (первый раз это было в конце 1938 года, когда он "преодолевал последствия «ежовщины»") рассчитывал приобрести репутацию борца с произволом. В последнее время в литературе утвердилась, можно сказать, отрицательная оценка амнистии 1953 года. Однако среди миллиона амнистированных лишь меньшинство (как и в целом в сталинском ГУЛАГе) действительно были преступниками и, выйдя на волю, совершали новые преступления. В стране, где сажали за все (за опоздание на работу, за случайную аварию, за аборт), где под судом и следствием перебывала значительная часть населения, всякого рода амнистии имели особую популярность. И Берия это понимал. Однако стремясь придать себе и органам новый образ, списав на отобранных сотрудников бывшего МГБ ответственность за все преступления прошлого, Берия, как считает В. П. Наумов, "отнюдь не стремился нанести ущерб системе государственного политического сыска, карательным учреждениям режима". Истинную позицию Берия в этом вопросе, по мнению Наумова, выявляют его предложения о сохранении особого совещания при МВД — внесудебного органа, бывшего одним из наиболее одиозных институтов сталинской карательной системы (32). В общем, известные факты дают повод подозревать, что уроки, освоенные Берия в период "борьбы с ежовщиной", когда реабилитация осталась лишь фасадом, за которым укреплялась карательная система, вполне могли быть применены в новых условиях в 1953 г.

Тесная связь с самого начала политической карьеры с органами ГПУ — НКВД — МВД и неоднократно демонстрируемая склонность к защите "ведомственного мундира", конечно, не означали, что Берия не мог в достаточной мере объективно оценить истинное положение дел в карательном ведомстве. Более того, он, несомненно, знал реальную ситуацию в МВД лучше других советских вождей. Как показывают документы, к Берия поступала информация о состоянии лагерей и хозяйственных объектов МВД. Осенью 1950 г., например, Берия сам дал указание министру внутренних дел Круглову представить справку о стоимости строительства МВД по сравнению с другими министерствами и получил не слишком обнадеживающий ответ — средняя стоимость содержания рабочих-заключенных на строительстве выше среднего заработка вольнонаемных рабочих, а поэтому самоокупаемости лагерей можно достичь только за счет удлиненного рабочего дня и завышенных норм выработки (33). Берия, несомненно, знал о кризисном состоянии лагерей — разрушении системы агентурного контроля, распространении подпольных организаций и волнениях заключенных, массовых отказах от работы и невыполнении норм выработки. Информация об этом постоянно поступала в ЦК ВКП(б) и Совет Министров по разным каналам, в том числе даже от самих заключенных и охранников, обращавшихся с многочисленными жалобами (34). Во всем этом, вероятно, нужно прежде всего искать истоки предложений Берия о передаче лагерей из МВД в Министерство юстиции, о прекращении ряда крупнейших "строек коммунизма", осуществлявшихся руками заключенных. ГУЛАГ и экономика принудительного труда превратились для страны в столь неподъемный груз, что необходимость их реорганизации в советском руководстве осознавали многие. Однако у Берия, как считает Н. Ф. Некрасов, были свои, дополнительные причины добиваться спешной реорганизации ГУЛАГа — он хотел избавить новый МВД "от суетной и грязной работы" (35), т. е. укрепить ведомство, на которое опирался. Эту точку зрения, оценивая суть "реформ" Берия, также нельзя сбрасывать со счетов.

Подобное "втрое дно" прослеживается и в других акциях Берия в 1953 г. Его явное желание ослабить парторганы и противопоставить им государственный аппарат (в чем усматривается теперь чуть ли не главная заслуга Берия) не выглядит столь "реформистским", если вспомнить, что наиболее сильные позиции у Берия были именно в государственных, но не в партийных структурах. Удобным поводом для перестановки местных руководителей и усиления роли начальников управлений МВД были также предложения о "ликвидации извращений национальной политики". Подобный перечень можно продолжить.

Все эти вполне обоснованные подозрения в отношении поступков Берия исходят, в конечном счете, из основного, неоспоримого факта: какие бы новые сведения и соображения ни приводились в защиту Берия, ничто не сможет перевесить его преступлений. "Реабилитировать" Берия можно только в одном смысле: его деятельность должна быть предметом такого же непредвзятого исторического анализа, как и деятельность любого другого советского лидера. В том же, что интерес к Берия, и особенно к последним месяцам его карьеры, сохранится, можно не сомневаться. Слишком большое значение в истории нашей страны имели периоды смены власти, слишком многое определялось личными качествами очередного вождя. И сколь не предположительны разного рода рассуждения о вариантах — Хрущев, Маленков, Берия — без них не обойдется ни один историк послевоенного периода. Однако и игнорировать эту предположительность невозможно. Даже если заявления Берия были не лживым маневром, а правилами долгосрочной игры, вопрос о том, в какой мере эти правила

воплощались бы в жизнь, смог ли бы Берия пойти дальше Хрущева, остается открытым.

В книге Э. Найт есть интересное наблюдение. Смещение Берия руками военных, считает она, оказало роковое влияние на судьбу преобразований Хрущева. "Он не имел сил противостоять требованиям военных, их влиянию на "большую политику" — явлению, неизвестному в сталинское время. Давление военных помешало усилиям Хрущева ограничить расходы на оборону и сделать более существенные инвестиции в сельское хозяйство и в производство предметов потребления. Оно же подорвало его попытки улучшить отношения с Западом" (36).

Известно, что Хрущеву приходилось оглядываться не только на военных. Поддержанный в борьбе с Берия Молотовым и Кагановичем, он в течение нескольких лет вынужден был считаться с их отношением к сталинскому наследию. Опираясь в 1957 г. в борьбе против Молотова, Кагановича, Маленкова и Булганина на партийный аппарат, Хрущев объективно усилил позиции партийных чиновников. Впоследствии безуспешно пытаясь избавиться от власти этого аппарата при помощи беспорядочных и малоэффективных реорганизаций, Хрущев в конце концов потерпел полное поражение, запутался в собственных преобразованиях. Осуждая прошлое, Хрущев всегда помнил о своей причастности к самым мрачным сталинским акциям, боялся подрыва основ системы, а поэтому проявлял непоследовательность. Не имея профессионального опыта руководства массовыми террористическими операциями и, видимо, будучи по натуре человеком не жестоким, не останавливался перед массовым кровопролитием.

И все же Берия по всем этим статьям отличался от Хрущева в худшую сторону. Он был жесток, привычен к насилию, более, чем Хрущев, запятнан кровью, а значит, имел еще меньше оснований доискиваться правды. Большую часть жизни Берия посвятил службе в карательных органах. Именно в МГБ — МВД он мог иметь самые прочные позиции. Это ведомство вновь взял под свое руководство сразу же после смерти Сталина. Пожалуй, главная заслуга Хрущева состояла в том, что он сумел ослабить власть и значение карательных органов в советской партийно-государственной системе. Опиравшийся на МВД, Берия мог только усилить позиции этого ведомства. Более чем сомнительно, что мягко говоря, специфический аппарат МВД мог стать опорой прогрессивных реформ. Внимания заслуживает, например, предположение Р. Г. Пихоя, что МВД было недовольно пересмотром "дела врачей", изменениями в карательной политике, и фактически отказало Берия в поддержке, что стало одной из причин легкости его устранения (37). Многое в этом смысле может прояснить и разработка проблемы формирования окружения Берия. То, что мы знаем о его соратниках и помощниках сегодня, только подтверждает скептическое отношение к возможным перспективам "реформ", организованных на Лубянке.

В общем, оснований приписывать Берия возможность более последовательного продвижения по пути, пройденному Хрущевым, нет. Трудно представить себе также, что он мог реализовать более радикальную программу, вроде той, например, которой известен другой генерал, силой проложивший путь капиталистической либерализации. Пока можно утверждать лишь одно: Берия действительно раньше других наследников Сталина провозгласил необходимость

тех преобразований, которые затем в значительной мере провел Хрущев. Однако верно и то, что многие действия Берия дают основания усомниться в его "искренности".

Очевидно, что все предположения, касающиеся Берия, необходимо проверять и доказывать при помощи документов. Пока существенного приращения источников, по сравнению с теми, что были введены в оборот несколько лет назад, не произошло. Дополнительно опубликованы, пожалуй, только письма Берия и его жены из тюрьмы на имя советских руководителей (38), которые характеризуют нравы первых послесталинских месяцев, но мало дают для понимания принципиальных проблем, связанных с Берия.

К сожалению, доступность архивов сегодня такова, что исследователя ожидает много трудностей на пути изучения необходимых документов. Похоже, самые интересные открытия могут быть сделаны при изучении архивов МВД, как в центре, так и на местах. Только разобравшись, что же действительно происходило в этом ведомстве, какие директивы получали и как действовали многочисленные представители МВД, можно будет показать реальные замыслы Берия и его сторонников. Однако архивы службы безопасности — одни из самых недоступных. Аналогичная ситуация с известным архивом Президента Российской Федерации, где сосредоточены основные комплексы материалов высших партийно-государственных инстанций. Скрыты от исследователей (вероятно, в текущем правительственном архиве) документы Совета Министров СССР за 1953 г. В общем, пока, как это обычно бывает со сложными и ранее запретными проблемами, вопросов и гипотез по поводу деятельности Берия остается значительно больше, чем сколько-нибудь обоснованных ответов на них.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Берия: конец карьеры. Составитель Некрасов В. Ф. М., "Политиздат", 1991.
2. Чуев Ф. Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М., ТЕРРА. 1991.
3. Там же. С. 332–336, 339.
4. Knight Amy. Beria. Stalin's First Lieutenant. Princeton University Press. 1993.
5. Реабилитация. Политические процессы 30–50-х годов. М., 1991. С. 54.
6. Там же. С. 54–55.
7. Медведев Р. А. О Сталине и сталинизме. М., 1990. С. 412.
8. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 114. Д. 265. Л. 92, 109, 121, 123, 125, 130–132, 136, 137.
9. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 857. Л. 9, 12–19.
10. Там же. Л. 9.
11. Сталин И. В. Сочинения. Т. 5. М. 1951. С. 216–217.
12. Там же. Ф. 85. Оп 29. Д. 414. Л. 4. (Эти письма впервые использовала в своей книге Э. Найт. См.: Knight Amy. Beria. P. 50–51.)
13. ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 139. Л. 83–87.
14. Там же. Л. 82.
15. Там же. Л. 80–81.
16. Там же. Д. 118. Л. 63–67.
17. Известия ЦК КПСС. 1989. №3. С. 145.
18. ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 30. Д. 121. Л. 9.
19. Там же. Л. 6.
20. Там же. Л. 7.
21. Там же. Л. 6–7.
22. Там же. Л. 2–5.

23. См.: Емелин А., Ивашов Л. ГУЛАГ в годы Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 1991. №1. С. 15.

24. Подробнее см.: Хлевнюк О. В. Принудительный труд в экономике СССР. 1929–1941 годы // Свободная мысль. 1992. №13.

25. Лебедева Н. С. Катынь: преступление против человечества. М. "Прогресс-Культура". 1994.

26. Бугай Н. Ф. Л. Берия – И. Сталину: "Согласно Вашему указанию..." М. "АИРО-XX". 1995; Пасат В. И. Трудные страницы истории Молдовы, 1940–1950-е гг. М. ТЕРРА. 1994; и др.

27. Старков Б. 100 дней лубянского маршала // Источник. 1993. №4. С. 85, 90.

28. Knight Amy. Beria. P. 9.

29. Ibid. P. 226.

30. Зубкова Е. Ю. Маленков и Хрущев: личный фактор в политике послесталинского руководства // Отечественная история. 1995. №4. С. 104–108.

31. Наумов В. П. Реформатор из "сталинской шинели" // Свободная мысль. 1994. №10. С. 29.

32. Там же.

33. ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп 59с. Д. 6645. Л. 19–23.

34. См. подробнее: Кравери М., Хлевнюк О. Кризис экономики МВД (конец 1940-х – 1950-е годы) // Cahiers du Monde russe, XXXVI (1–2), 1995. P. 179–190; Иванова Г. М. Гулаг в экономической и политической жизни страны. В кн.: СССР и холодная война. М. 1995. С. 203–248.

35. Некрасов В. Ф. Тринадцать "железных" наркомов. М. "Версты". 1995. С. 239.

36. Knight Amy. Beria. P. 227.

37. Пихоя Р. Г. О внутрипартийной борьбе в советском руководстве. 1945–1958 гг. // Новая и новейшая история. 1995. №6. С. 9.

38. Источник. 1994. №2. С. 74–76; №4. С. 3–14.

О "ДЕТСКОЙ" ЛИТЕРАТУРЕ

И ДРУГИХ ПРОБЛЕМАХ НАШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Е. Ю. Зубкова

ИСТОРИЯ ОБЫДЕННАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

"Преодоление прошлого" – понятие, появившееся в 60-е годы в Германии – вполне может быть отнесено к современному процессу осмысления российским обществом своей недавней истории. Процесс этот начался еще в середине 80-х и был одним из первых признаков пробуждения общественного мнения и стремления общества к самопознанию. Информационный голод предшествующих десятилетий после снятия ограничений и табу породил своего рода исторический "бум", который в свою очередь быстро выстроил шкалу общественного интереса по отношению к тем или иным проблемам нашего прошлого. Этот рейтинг определялся главным образом степенью запретности тем, поэтому в категорию приоритетных с точки зрения публичного интереса попали вопросы, относящиеся к истории советского периода (например, жизнь вождей, массовые репрессии, поиски альтернатив исторического развития страны и т. д.).

Социальный заказ на новое историческое знание сделал занятие историей чрезвычайно популярным, а значит, – и общедоступным. Это обстоятельство не могло не сказаться на профессиональном уровне исторических публикаций: отсутствие четких критериев отбора и анализа источников у иных авторов порождало иллюзию податливости исторического материала, который можно организовать в соответствии со своими вкусами и пристрастиями. Голоса профессионалов, уже тогда предупреждавших об опасности спюлзания в "публицистический рай", оставались в меньшинстве (1). Популярностью пользовалась литература иного рода.

Образ Потерянной России, распятой на Огненном Кресте, впечатлял и эмоционально завораживал, выделяясь на фоне преобладавших в недавнем прошлом скучных конструкций, слепленных из различных сочетаний "объективных условий" и "субъективного фактора". Между тем за яркостью внешнего образа и сюжетной увлекательностью часто скрывалось узнаваемое – концептуальная пустота, очевидная для каждого, кого уже не могли увлечь поиски новых "козлов отпущения". Тем не менее подобные теории популярны до сих

пор и будут существовать и находить немало сторонников впредь. Если не сказать — всегда.

Происходит это во многом потому, что история как совокупность знаний и представлений о прошлом существует как бы на двух уровнях: профессиональном и обыденном. Изучением профессиональной истории, или собственно исторической науки занимается историография. История обыденная, напротив, до сих пор находится вне интересов историографов. Между тем обыденная история существует и весьма активно влияет на состояние профессионального исторического знания.

Развитие исторической науки в советский период обладало рядом особенностей, которые условно можно отнести к воздействию факторов влияния. Одним из таких факторов являлась непосредственная связь истории с идеологией, политикой. Однако, проблема "наука и власть" представляет собой важный, возможно, ключевой, но не единственный аспект взаимодействия исторической науки с общественными структурами. Профессиональная история всегда испытывала на себе давление двойного прессинга, находилась как бы в двойном подчинении: с одной стороны, господствующая политическая доктрина, предписывающая условия и формы исследовательской работы, с другой — массовые стереотипы исторического мышления, которые также организуют и корректируют историческое знание.

В последнем случае мы имеем дело *с обыденной историей, т. е. совокупностью исторических представлений, распространенных на уровне массового сознания*. Обыденная история выступает, таким образом, как массовое историческое сознание и обладает в силу этого всеми особенностями последнего: наличием устойчивых стереотипов, преобладанием эмоционального элемента над аналитическим, тяготением к упрощенным причинно-следственным связям в трактовке тех или иных событий и явлений, их персонификации. Массовые исторические представления формируются из двух источников: собственного исторического опыта людей (опыта пережитого) и готового знания.

Для каждого человека история имеет один ярко выраженный хронологический рубеж, совпадающий с началом его собственной жизни. С этого момента человек становится современником, непосредственно (в качестве участника или наблюдателя) соприкасающимся с историческими событиями или существующим с ними в одном хронологическом пространстве. Последнее тоже важно, ибо, как бы ни были люди далеки от сфер, где делается Большая История, сам факт принадлежности к современникам лишает их возможности смотреть на события, синхронные собственной жизни, с точки зрения постороннего наблюдателя, даже независимо от того, осознается самим человеком эта зависимость или нет. Механизм взаимодействия "большой" и "малой" истории сложен и требует специального изучения. Подобные исследования давно и успешно осуществляются, например, историками США и ФРГ. Возникло специальное направление — история повседневности (Alltagsgeschichte), которое в русле традиций Oral History занимается изучением жизни так называемых простых людей, т. е. современников, далеких от большой политики.

В начале 80-х годов в ФРГ под руководством профессора Л. Нитхаммера был осуществлен уникальный проект по изучению повседневной жизни немцев

Рурской области в 30—60-е годы (2), а несколько лет спустя аналогичное исследование было проведено в Восточной Германии (3). Результаты этих исследований позволили выявить ряд интересных моментов, достаточно характерно отражающих особенности массового восприятия основных исторических событий 30—60-х годов. Оказалось, что рубежи "большой" и "малой" истории далеко не всегда совпадают, как не совпадают с официально принятыми личные оценки отдельных исторических событий и целых периодов. Так, например, большинство простых немцев, если судить по их собственным словам, вообще "не заметили" приход к власти нацистской партии, хотя для Большой Истории 1933 год, безусловно, является ведущей хронологической вехой. Годы укрепления фашистской диктатуры, вплоть до начала Второй мировой войны, большинством ныне живущих современников оцениваются как "хорошее время", поскольку тогда были гарантированная работа и стабильный заработок. Время начала войны тоже имеет личную отправную точку: обычно это дата призыва на фронт, а для неучаствовавших в военных действиях — первое непосредственное соприкосновение с войной (начало бомбардировок, потеря близких и т. д.).

Среди старшего поколения наших соотечественников нередко также можно встретить позитивные мнения относительно периода 30-х — начала 50-х годов, где в качестве одного из главных аргументов выступают воспоминания о "сталинском порядке", в сознании этих людей противостоящему современному хаосу российской действительности. В данном случае мы имеем дело с характерной особенностью личных воспоминаний вообще и "устной истории", в частности: складыванием ретроспективных оценок под влиянием не только прошлого опыта, но и дня сегодняшнего.

Личный опыт корректирует знание о прошлом, определяет состояние и содержание исторической памяти общества. И профессиональная история не может не учитывать этих особенностей формирования массовых исторических представлений. Здесь необходимо уточнить, что "история повседневности", т. е. история повседневной жизни людей, не тождественна нашему понятию "обыденная история". В первом случае речь идет о конкретном историческом опыте, во втором — об осмыслении этого опыта, его экстраполяции на более общие общественные процессы.

К сожалению, в нашей стране традиция изучения "истории повседневности" находится в самом начале развития, поэтому изучение особенностей формирования массовых исторических представлений на российском материале сопряжено с известными трудностями источниковедческого порядка. И все-таки некоторые общие подходы можно было бы наметить уже сейчас, руководствуясь, например, данными демографической статистики. Эти данные позволяют выявить круг людей — современников интересующих нас исторических событий, а значит, определить потенциальных носителей информации об этих событиях. В конечном счете это даст возможность определить степень эмоционального давления обыденной истории на историю профессиональную относительно отдельных периодов отечественной истории.

За точку отсчета удобнее взять не современный момент, а 1989 год, поскольку данные о возрастном составе населения России за 1989 г. лучше коррелируются с такими периодами советской истории, как 1917—1920 гг., 1921—

1929, 1940–1945, 1945–1953, 1953–1964 гг. (кроме того, последние опубликованные данные о населении страны в соответствующих возрастных категориях незначительно отличаются от данных за 1989 г.).

Для того, чтобы определить потенциальных носителей социальной памяти для каждого периода советской истории, необходимо установить известные возрастные границы для разных поколений современников. Человек, как известно, способен фиксировать в своей памяти более или менее устойчиво жизненные события примерно с 5-летнего возраста, но, как правило, осознанно-аналитическое восприятие происходящего начинается не ранее чем в 15–16 лет. Поэтому в качестве полноценных носителей социальной памяти могут, вероятно, выступать лишь взрослые современники тех или иных событий, т. е. люди, достигшие в тот момент 15-летнего возраста и старше. В конце 80-х годов из 147 миллионов населения Российской Федерации взрослых современников событий октября 1917 года и гражданской войны оставалось в живых немногим более одного миллиона человек (4). События 20-х годов могут помнить около 6 миллионов человек, 30-х – примерно 14 миллионов. 22 миллиона ныне живущих россиян были взрослыми современниками Великой Отечественной войны. Первые послевоенные годы помнят уже 40 миллионов человек, десятилетие Хрущева – более 56 млн., а события с 1965 г. до конца 70-х годов – 93,5 млн. человек (во всех случаях речь идет о взрослых современниках).

Вспомним, что наиболее острую полемику среди как историков, так и непрофессионалов вызывали публикации, посвященные 20–60-м годам (истории революции и гражданской войны, коллективизации, массовым репрессиям, личности Сталина, реформам Хрущева и т. д.). Около 38% ныне живущих россиян были взрослыми современниками различных этапов этого "спорного" периода нашей истории, но подавляющее большинство из них родились в 30-е годы и позднее. Поэтому предвоенный период, в отличие от послевоенного, эмоционально менее "защищен". Что же касается периода 40–60-х годов, то он для многих наших соотечественников остается еще слишком живой историей и воспринимается как личная история.

Исследования по социальной психологии показывают, что большинство людей склонны оценивать свою жизнь, особенно период молодости, с относительно положительным результатом. Даже массовый опыт войны – народного бедствия – в ретроспективных оценках ее участников представляет собой довольно многосложную структуру собирательной памяти, исключающей однозначно негативные интерпретации. Положительное восприятие этого опыта может быть обусловлено уже тем, что это прошлый опыт, что это трагедия, которая ушла за порог пережитого. Знаменитая приговорка "только бы не было войны" для значительной части наших соотечественников формирует реальную шкалу ценностей, с помощью которой "измеряется" не только прошлая, но и современная история.

Личная история всегда эмоционально окрашена, поскольку это обязательно история чувств, переживаний, впечатлений. Эмоциональный момент в структуре общественной памяти о событиях российской истории 20–50-х годов усиливается за счет преобладания среди потенциальных носителей этой памяти женщин, доля которых увеличивается от младших поколений к старшим. Если, например, среди современников первого послесталинского десятилетия доля женщин составляет 58%, то среди переживших 20-е годы – 75%. Таким образом, преобладание эмоционального элемента над аналитическим в восприятии пережитого, вообще характерное для массового сознания, в старших возрастных группах дополнительно усиливается за счет демографических особенностей состава населения ("женский фактор"). Поэтому степень эмоциональной защиты в оценках соответствующих исторических событий внутри конкретного поколения увеличивается от младших поколений к старшим.

Что же касается распространенности тех или иных взглядов и суждений, свойственных одному поколению, в обществе в целом, то в данном случае можно предположить, что степень распространенности прямо связана с количественной численностью конкретного поколения и, следовательно, ослабевает от младших поколений к старшим. Это значит, что оценки исторических событий, расходящиеся с личным опытом людей, могут однозначно отторгаться внутри поколения современников этих событий, но вопрос в том, "приживутся" ли они в массовом сознании вообще, станут ли элементом исторической памяти народа, зависит от степени восприимчивости к подобным оценкам представителей других поколений.

Последующие поколения, не являющиеся современниками событий, будут судить о них уже не по собственному опыту, а доверяя (или не доверяя) опыту предшественников, но и в том, и в другом случае в основе восприятия будут лежать уже относительно сложившиеся образы и схемы прошлого. Особенность переработки информации на уровне массового сознания заключается в том, что усваивается она, как правило, не в результате аналитической работы, а готовыми информационными блоками. Эти блоки обладают относительной устойчивостью, и информация, заложенная в них, впоследствии с трудом поддается переоценке. В процессе коррекции исторической памяти происходит обычно замена одних блоков на другие. Причем, такая переоценка становится возможной только при том же условии: если новое знание не противоречит опыту лично пережитого. Так создается своеобразная "кристаллическая решетка" памяти, перерабатывающая новые факты и знания в соответствии с заранее заданной программой. С этими особенностями строения массового сознания связаны трудности взаимоотношений профессиональной истории и истории обыденной.

Вместе с тем эти естественные в общем трудности усугубляются за счет характера и содержания готовой информации, циркулирующей на уровне массового сознания. В данном случае мы имеем дело с результатом долголетней работы советской машины по идеологической обработке умов. Мы имеем дело с поколениями людей, большинство из которых, воспитанные на верности (демонстративной или действительной) генеральной линии, просто не умеет альтернативно мыслить, сопоставлять и анализировать факты и концепции. Такая особенность мышления – не порок и тем более не интеллектуальный недостаток, это именно особенность мышления, сформированная у людей, учившихся по одному учебнику, живших в общем и целом по одной схеме и познавших страх за нарушение общепринятых норм унификации. Из порочного круга смогли вырваться лишь единицы, но те уже самим фактом непослушания перешагнули за порог обыденности. Историческая наука в ее понимании как

профессиональной истории тоже делалась единицами. В массе же своей историки (т. е. люди с дипломами об историческом образовании) выступали не только носителями, но и трансляторами массовых исторических стереотипов, обыденных представлений.

На рубеже 80—90-х годов обыденная история захлестнула историю профессиональную. Тогда многим, в том числе и историкам-профессионалам, казалось, что стоит открыть архивы, получить недоступную ранее информацию — и потребность в обновлении исторического знания будет немедленно реализована. Однако вскоре обнаружилось, что одних новых фактов мало — нужен новый инструментарий исторического исследования. В ситуации методологического вакуума включилась система переработки информации, заложенная в массовом сознании и была тут же перенесена в сферу профессионального знания. Потребность обновления исторической науки под воздействием программы обыденного восприятия исторического процесса была упрощена до такого понятия, как "переоценка", а та в свою очередь свелась к замене положительных моментов на отрицательные и наоборот. В среде профессионалов-историков начался поход за "негативом". В результате все вновь свелось к старой схеме: поиску "виноватых", определению "вины" и констатации "стратегической ошибки", после которой развитие России пошло по неверному пути.

Продолжая эту тему, можно было бы отметить, что в настоящее время все отчетливее проявляется иная тенденция. По аналогии с предшествующей назовем ее походом за "позитивом". Политическая ситуация в стране изменилась: на смену оживления общественной жизни конца 80-х годов пришло ощущение усталости, а вместе с ней стремление к стабильности и тоска по "положительному примеру".

Массовое историческое сознание (а значит, и обыденная история) в силу особенностей своей организации не способно принять идею многомерности и многозначности исторического процесса, без разделения истории на "черные" и "белые" времена. Вместе с тем приходится признать, что та же неспособность во многом отразилась и на развитии профессионального исторического знания. Историческая наука до сих пор находится под сильным влиянием обыденных представлений — особенно это касается трактовок причинно-следственных связей в историческом процессе, сводящихся по-прежнему к извечному "кто виноват?" Такую картину можно наблюдать не только в исследовательской работе, но и в практике преподавания истории: исторические суды, например, стали одной из самых популярных форм школьного обучения. А школа — это тот уровень, на котором формируется массовая историческая культура, где непосредственно соприкасаются профессиональная и обыденная история.

Воздействие массовых исторических стереотипов, безусловно, создает трудности для развития профессиональной историографии, однако было бы неверным сводить это влияние только к отрицательному эффекту. Психологи обращают внимание на двоякую роль стереотипов в организации человеческой памяти. Это наблюдение в полной мере относится и к стереотипам историческим. Влияние исторических стереотипов не всегда только сдерживает развитие исторической мысли, нередко они служат опорными точками в процессе коррекции исторической памяти. Наличие подобных опорных точек особенно важно в процессе переосмысления относительно недавней истории, которая напрямую соприкасается с личным опытом ныне живущих поколений. Опорные символы в данном случае играют роль ограничителей, страхующих общество от падения в негативизм и вместе с тем от болезненных общественных реакций.

Первый опыт переосмысления истории России XX века может быть отнесен к послевоенному времени, когда преимущественно в среде критически настроенной молодежи зародился вирус сомнения относительно Сталина и его режима. Тогда возникла идея о сталинском режиме как "режиме-оборотне", а опорной точкой познания стал тогда символ Преданной Революции. С содержательной стороны такой подход был, конечно, во многом уязвим, но он создавал стимул для дальнейшего позитивного развития мысли, спасая ищущих от соблазна однозначного приговора.

Мысль о неподсудности революции (и истории вообще) частично питала и поиски "шестидесятников". Это в их среде родилась идея "похоронить белые и красные кости вместе", это они не приняли Сталина в качестве единственного носителя комплекса "вины" или, во всяком случае, сочли такое объяснение недостаточным. Там, где Хрущев поставил точку, представители либеральной общественной мысли увидели знак вопроса. С этого вопроса началось тогда, в конце 50-х, развитие нового исторического знания, для которого принцип неподсудности истории был не идеологическим табу, а своего рода нравственным императивом. Потому что революция, коллективизация, война к тому времени не стали еще окончательно исторической памятью, они были живой памятью народа, живой историей. Этот массовый живой опыт, а не только влияние идеологии, как иногда кажется, помогли в 60-е годы исторической науке в общем избежать соблазна списать все беды России на чей-либо персональный счет, хотя в силу изменения общей политической ситуации в стране позитивные процессы в развитии отечественной историографии были вскоре заблокированы.

В дальнейшем сохранилась в основном лишь монокультура исторической мысли, тяготеющая к обыденному восприятию исторического процесса, с одной стороны, но не обремененная нравственными ограничителями массовой исторической памяти — с другой. Если вспомнить многие публикации на исторические темы первых "перестроечных" лет, то они достаточно наглядно представили историческую науку в роли флюгера, легко угадывающего "ветры перемен", что, безусловно не прибавляло историкам авторитета. Этот процесс не стал характерным для всей историографии, но он являлся достаточно массовым.

Несмотря на возросший в течение 1987—1989 гг. общественный интерес к истории, порог пресыщения наступил неожиданно быстро. Проведенный в 1989 г. ВЦИОМ социологический опрос (один из самых представительных в то время) зафиксировал следующую тенденцию: интерес общества к самой популярной в конце 80-х годов теме — Сталин и преступления эпохи сталинизма — стал падать (5). Организаторы опроса даже с некоторым удивлением отметили тот факт, что для преобладающего числа респондентов тема разоблачений сталинских преступлений уже малопривлекательна (6). Самый большой интерес к Сталину и его времени проявили люди в возрасте 50—59 лет и меньше всего Сталин интересовал молодое поколение: из опрошенных до 20 лет 32,9% считали, что о преступлениях сталинизма пишут слишком много (7).

Стабильный интерес к этой эпохе был зафиксирован только в возрастной группе современников, т. е. очевидцев и участников событий 30–50-х годов.

Снижение общего интереса к советской истории, отмеченное на рубеже 80–90-х годов, совпало с другим важным событием, создавшим принципиально новую ситуацию для работы профессионалов-историков. После августа 1991 г. началось массовое рассекречивание архивных фондов советского периода и впервые был открыт для использования бывший текущий архив ЦК КПСС (ныне Центр хранения современной документации). В результате период с начала 1992 до начала 1995 г. (когда многие из вновь открытых фондов были опять засекречены) можно считать уникальным с точки зрения доступа к архивным материалам, прежде всего материалам, относящимся к послевоенному периоду. За это время историки послевоенного периода впервые получили в свое распоряжение достаточно полноценную источниковую базу.

Появились первые монографические исследования, написанные на новом комплексе источников. Среди них можно выделить книги Г. М. Адибекова (8), Д. Л. Бабиченко (9), Г. В. Костырченко (10), Н. В. Романовского (11). Историки постепенно начинают заполнять тот информационный вакуум, который до открытия архивных фондов компенсировала в основном литература мемуарного жанра.

До недавнего времени мемуарная литература, посвященная послевоенному периоду советской истории, была чрезвычайно бедна, если сравнивать ее по уровню и объему с зарубежной мемуаристикой, относящейся к этому же времени. Положение стало меняться примерно с 1988 года, когда в печати один за другим начали высказываться люди, главным образом, отставные политики, и лица, близкие к политическим сферам (12). Одновременно с ними увидели свет воспоминания современников 40–60-х годов, далеких от официальной политики (13). В 1990 г. журнал "Вопросы истории" предпринял первую отечественную и наиболее полную публикацию мемуаров Н. С. Хрущева, которая продолжалась в течение пяти лет.

Вряд ли найдется серьезный историк, который станет оспаривать роль мемуаристики как исторического источника. Несмотря на все особенности и даже известные издержки жанра, мемуары содержат уникальную информацию, которую часто не фиксируют другие памятники эпохи. Рассматривая конкретное событие, историк не может пройти мимо взгляда на это событие его очевидца. Но это еще не значит, что взгляд очевидца должен стать позицией историка.

Может ли современник описываемых событий быть одновременно их добросовестным историографом? Добросовестным не в плане человеческой порядочности, а в смысле способности преодолеть в себе сопряженность со временем, отсутствие исторической дистанции между личной историей и Историей. Одно дело вжиться в эпоху, другое дело — жить в ней. Речь не идет об объективности суждений современника: объективной истории, точнее объективной историографии, в конце концов, вообще не существует. Но современнику в отличие от историка легче поддаться соблазну подменить толкование оправданием, анализ — убеждением. И главное, не заметить подмены.

Позицию современника по отношению к тому или иному событию, конкретной личности, наконец, к самому себе определяет не только принадлежность к определенному времени, эпохе, но и степень соучастия в описываемом событии.

Среди современников встречаются "организаторы" и "исполнители", простые "наблюдатели" и активные "участники", те, кто олицетворял собой "власть" и те, кто составлял "народ", этой властью управляемый. Закономерность очевидна: чем больше человек вовлечен в событие, т. е. чем выше степень его соучастия в нем, тем больше он знает об этом событии. Однако, вместе с ростом информированности растет и уровень субъективизма, поскольку для личного интереса в данном случае уже не существует границы между собственной историей и общей историей поколения. Когда же речь заходит не о событии, а о конкретном человеке, его восприятие современником зависит от степени приближенности очевидца к данному историческому персонажу, а также от характера личных отношений между ними — дружественных или враждебных, деловых или приватных и т. д.

В 1994 году отмечался 100-летний юбилей со дня рождения Н. С. Хрущева. Событие, заметное само по себе, в контексте проблемы "историки и очевидцы" имеющее уникальное значение — не просто как иллюстрация к разговору, а прежде всего как повод для размышлений.

ЮБИЛЕЙ Н. С. ХРУЩЕВА: ОПЫТ КОЛЛЕКТИВНОЙ НОСТАЛЬГИИ

Ностальгия по прошлому — обычное человеческое чувство, и в этом смысле оно не лучше и не хуже прочих. Однако когда ностальгические эмоции из области чувств переносятся в сферу профессионального исторического знания, это не может не настораживать. Диагноз прежний: происходит смешение историографии с мемуаристикой, позиции историка со взглядом очевидца. Юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию Н. С. Хрущева, продемонстрировали этот диагноз как очевидность. Юбилей — вещь вообще весьма лукавая и не располагающая к какому-либо конструктивному анализу. Существует традиция о юбилярах, тем более ушедших, говорить преимущественно хорошо, вспоминать их добрые дела, — и это правильно. Однако лишь в том случае, если юбилейные чествования не называть научно-теоретической конференцией.

Из трех наиболее заметных конференций, посвященных 100-летию Хрущева, две из которых состоялись в апреле 1994 г. в Москве (в Колонном зале и в Горбачев-Фонде) и одна в декабре того же года в США (в городе Провиденсе, на базе Брауновского университета), только конференцию в Провиденсе можно рассматривать как соответствующую статусу научной. Там были дискуссии, звучала разноголосица мнений, сталкивались противоположные суждения. Впрочем, не обошлось и без торжественных речей, в общем неизбежных на такого рода мероприятиях. Иногда, правда, нота ностальгии брала вверх; не случайно, комментируя выступления некоторых участников конференции в Провиденсе, американский журналист А. Грант так суммировал свои первые впечатления: "Мне подумалось: уж не присутствую ли я не на научной конференции, а при соборной попытке заполнить пустоту в апостольном ряду алтаря новейшей истории России — страны, вмиг оставшейся без святых, без героев и без прошлого?" (14) Как бы в развитие этой мысли А. Грант в беседе

с В. Коротичем высказал предположение, что выступавшие в ностальгическом духе российские участники у себя дома вели бы себя по-другому: "Уж очень монументальным, очень величественным выковывается ими здесь (в США — *Е. З.*) образ Никиты Сергеевича. В Москве их наверняка бы ошикали и тысячу раз перебили" (15).

Действительно, все познается в сравнении. Если бы А. Грант, давно покинувший Россию, присутствовал на юбилейных конференциях в Москве, он скорее всего взял бы свои слова назад. Гораздо точнее в своих оценках хрущевских торжеств, причем еще до их начала, был, например, Л. Баткин. "Кто там собирается на юбилейное сборище? — писал он в канун торжественного собрания в Колонном зале.— ...Люди, чьи партийные и комсомольские карьеры так славно начинались при Хрущеве. Затем шло у них негладко из-за вольномыслия (внутрипартийного, разумеется). Случались даже понижения в должности... И вот они вздумали предаться коллективной ностальгии по ушедшей молодости?" (16).

Ничего другого от собрания в Колонном зале ждать не приходилось: там обязывала сама атмосфера. Сказывалось и то обстоятельство, что имя Хрущева в течение нескольких десятилетий оставалось в забвении, и юбилейные торжества как бы возвращали его из небытия. В этой связи вспоминается конференция, посвященная 100-летию Н. И. Бухарина, организованная еще в 1988 г. существующим тогда Институтом марксизма-ленинизма. То было время общего увлечения так называемой "бухаринской альтернативой", критический взгляд на роль Бухарина как политика и теоретика большевизма появился несколько позднее.

Что касается Хрущева, то новая историография, анализирующая его деятельность с позиции вновь открытых архивных документов, появилась еще до юбилейных торжеств (17). Однако, подбор участников на московские конференции был организован таким образом, что тон обсуждению на них задавали все-таки не историки, а современники Хрущева. Более того, выступавшие в Москве историки тоже были, за редким исключением, современниками "оттепели".

Основные задачи конференции в Горбачев-Фонде сформулировал президент фонда: "Во-первых, необходимо отдать дань уважения этому мужественному политическому деятелю, нанесшему первый удар по идеологии сталинизма и тоталитарной системе. Во-вторых, данный юбилей дает возможность, хотя с опозданием, для серьезного анализа политической деятельности Н. С. Хрущева и откровенного разговора об уроках, которые вытекают из нее для дня сегодняшнего" (18). Если же говорить о практической реализации этого замысла, то получилось только "во-первых". Чтобы передать атмосферу той конференции, достаточно привести несколько характерных высказываний:

"Сегодня мы воздаем дань почтения и признательности человеку, который более четырех десятилетий тому назад оторвал нашу страну от ледяных торосов сталинщины и начал двигать ее вперед (академик А. А. Никонов) (19). "То, что сделал Никита Сергеевич Хрущев,— это подвиг. Обязательно надо поставить ему памятник в Москве на видном месте (писатель, драматург В. С. Розанов) (20). "Так давайте же сегодня помнить о главном в хрущевском подвиге: о глотке свободы, которым он напоил страну и нас всех" (драматург М. Ф. Шатров) (21). "...Мы достаточно ясно видим, что ни один крупный политический деятель, который находился в окружении Сталина, не смог бы сделать после его смерти того, что сумел сделать Хрущев" (историк Р. А. Медведев) (22).

"Слава Хрущеву, слава!" — слова, произнесенные В. Розовым, вполне могли бы стать девизом всей конференции, формирующим ее общий настрой. Откровенный разговор об уроках деятельности Хрущева, к которому призывал вначале М. С. Горбачев, при подобном настрое собравшихся был просто невозможен, неуместен. Обсуждение так и не вышло за рамки тривиальных пассажей о противоречивой натуре Хрущева, который, конечно, допускал ошибки, но чьи поступки питались в основном добрыми помыслами. "Черно-белая" тема в описании личности и деятельности Хрущева явно лидировала, и хотя некоторые участники конференции признавали подобный подход банальным и неконструктивным, попытки выйти за пределы этого порочного круга были единичны (к числу последних можно отнести выступления Н. А. Барсукова, Д. А. Гвишиани, У. Таубмана). Вспоминали о памятнике Хрущеву, сделанном Э. Неизвестным, и создавалось впечатление: черная-белая символика памятника вобрала в себя не только память о Хрущеве, но и стала своеобразным символом коллективной памяти современников "оттепели". Те, кого условно называют шестидесятниками, в своем восприятии Хрущева как бы исчерпали себя памятником Э. Неизвестного.

На конференциях много говорилось о заслугах Хрущева и более всего о разоблачении Сталина и реабилитации. При этом неизбежно возникал вопрос о причастности самого Хрущева к репрессиям 30—40-х годов в Москве и на Украине. Совместить, казалось бы, несовместимое помогал следующий ряд аргументов: когда Хрущев проводил репрессии, он действовал "как все", как человек своего времени (вариант: у него не было другого выхода), когда же он решился на массовую реабилитацию, то здесь инициатива исходила уже непосредственно от Хрущева (вариант: никто другой не смог бы этого сделать). Подобная аргументация — один из примеров обыденных исторических представлений, и уже в силу этого она не нуждается в каком-либо комментарии. Как уже не нужно доказывать информированному читателю, что знаменитый закрытый доклад о Сталине на XX съезде партии не был единоличным шагом Хрущева и решение о нем было принято еще накануне съезда большинством президиума, а затем и пленумом ЦК. Этот факт нисколько не умаляет значения личной инициативы Хрущева в данном вопросе, но делает разговор о нем исторически корректным.

Если тема реабилитации на всех конференциях, посвященных 100-летию Хрущева, была в числе приоритетных, то тема репрессий звучала более приглушенно. О деятельности Хрущева на Украине в конце 30-х годов рассказывал Ю. И. Шаповал. "Прежде всего документы подтверждают его причастность к репрессиям",— говорил украинский историк, но признавал, что в архивах Украины можно найти и материалы иного рода, свидетельствующие о том, что некоторым людям Хрущев в то время помог избежать репрессий (23). Правда, эти факты относились уже к 1938 году и более позднему времени, т. е. к тому периоду, когда и в политике центральных властей наметился известный поворот от практики массовых репрессий.

О московском периоде деятельности Хрущева 1934 – 1937 гг. на юбилейных торжествах вспоминали редко. Только в выступлении А. Н. Яковлева в Колонном зале прозвучала цифра — 55 тысяч репрессированных московских коммунистов. "Подписи на их арест давала "тройка", в состав которой входил и первый секретарь МК и МГК ВКП(б), – пишет например, историк А. Н. Пономарев. – Некоторые товарищи, предчувствуя недоброе, до или уже после ареста, обращались за помощью к Хрущеву, который лично знал их по совместной работе. И почти не было случая, чтобы руководитель московских большевиков вступился за своих товарищей по партии, попытался поручится за них или хотя бы попросил перепроверить обвинение. Факт этот единодушно подтверждали безвинно репрессированные москвичи, реабилитированные после XX съезда КПСС" (24).

Сам Хрущев, как известно, не отрицал свою причастность к организации репрессий, но ни он, ни другие соратники Сталина не принесли публичного покаяния. В то же время очевидно, что у людей, освобожденных из тюрем и лагерей в 50-е годы, к Хрущеву совершенно особое отношение.

Интеллигенты, вспоминающие дух "оттепели", бывшие узники ГУЛАГа, получившие свободу при Хрущеве, люди, работавшие вместе с Хрущевым, члены семьи и потомки, – именно их голоса были слышнее других на московских конференциях. На конференции в Провиденсе тоже было много современников Хрущева: бывший помощник Хрущева по международным вопросам О. Трояновский, бывший первый секретарь московского комитета партии при Хрущеве Н. Егорычев, литератор В. Коротич, скульптор Э. Неизвестный, спичрайтер Хрущева М. Стуруа и др. Но были среди них и современники, представляющие как бы другую сторону, в основном иностранные корреспонденты, работавшие в то время в Москве: М. Татю (газета "Монд"), М. Френкель (газета "Нью-Йорк Таймс"), М. Калб (телекомпания Си-би-эс) и др. Поэтому в Провиденсе в общем получилось то, что не удалось в Москве — диалог между разными современниками Хрущева, а также между современниками и историками. Характерной особенностью конференции в Провиденсе стало участие в ней своего рода "независимых" историков, т. е. историков нового поколения, для которых времена Хрущева — в лучшем случае воспоминания детства.

На конференции спонтанно возникла дискуссия: чей взгляд — историка или современника — более адекватно отражает событие? Н. Егорычев, например, обмолвился, что, по его мнению, к воспоминаниям современников "наши академики относятся несколько пренебрежительно" (25). "Конечно, воспоминания современников нельзя брать на веру до конца, – продолжал он свою мысль, – но, как мне кажется, наши воспоминания помогают ученым правильно понять тот исторический материал, с которым они работают" (26). И с этой позицией, конечно, трудно не согласиться.

Об этом же говорил на московской конференции в Горбачев-Фонде один из ее участников Д. М. Гвишиани: "Личные впечатления и суждения индивидов, мемуарная литература, очевидно, обогащают представления о прошлом. Но объективный анализ исторических процессов предполагает гораздо более серьезное исследование отдельных фактов и событий, чем их личная интерпретация" (27). Д. М. Гвишиани выступил тогда в защиту исторического подхода в оценках роли и личности Хрущева, который исключает примитивное истолкование политики реформ, приписывающее все и вся одной, пусть и действительно неординарной, личности (28). В то же время выступавшая на конференции в Горбачев-Фонде З. Л. Серебрякова назвала саму постановку вопроса о возможных альтернативах Хрущеву "цинично безнравственной" (29).

Тема альтернативного лидера звучала и на конференции в Провиденсе. Присутствовавшему на ней сыну Хрущева С. Н. Хрущеву был задан вопрос: что было бы, если к власти в стране после смерти Сталина пришел не Хрущев, а Берия? "В тот момент не было никаких оснований реформировать социализм, – отвечал С. Хрущев, – мы еще не созрели для мысли, что централизованная система менее эффективна, чем децентрализованная. Реформы Берии в основном преследовали удержание личной власти. Нет сомнения, что он в том или ином виде вернулся бы к репрессиям" (30). Такова позиция Хрущева-сына, открывающая еще один аспект темы "историки и очевидцы", когда дети начинают говорить об отцах.

ОТЦЫ И ДЕТИ, ИЛИ "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА" ГЛАЗАМИ ИСТОРИКА

На фоне появившейся за последние пять лет мемуаристики выделяется группа, которая вряд ли может быть названа в полном смысле мемуарной литературой — воспоминания детей об отцах. "Детскую литературу" этого плана представляют книги С. Н. Хрущева, А. Г. Маленкова, С. Л. Берия и др. (31). С появлением серии "книг об отцах" можно говорить о складывании определенной традиции в отечественной мемуаристике, повествующей о жизни вождей. Первой попыткой такого рода была книга дочери И. В. Сталина С. Аллилуевой "Двадцать писем к другу", написанная еще в 60-е годы, но впервые изданная на родине только в 1989 году. "Детская литература" предоставила в распоряжение историка по-своему уникальный источник, позволяющий проникнуть в мир, который всегда был закрыт для постороннего взгляда, и увидеть вождей с неофициальной, "домашней" стороны. Впрочем, содержание "книг об отцах" вовсе не исчерпывается картинками семейного быта. Перед нами скорее мемуары-монографии — если не по реализации, то по замыслу, не всегда, впрочем, очевидному даже их авторам.

Н. Хрущев, Г. Маленков и Л. Берия являлись ключевыми фигурами в сталинском окружении 40-х — начала 50-х годов и в руководстве страны послесталинского периода. Из них только Хрущев, уже после отставки, решился на публичную откровенность. Берия и Маленков мемуаров не оставили: Берия ушел из жизни, не достигнув традиционного возраста мемуаристов, Маленков же отказался от мемуаров, по-видимому, сознательно (его личные впечатления и воспоминания об отдельных моментах жизни, записанные сыном, эпизодичны и отрывочны). Поэтому исходные позиции "детей" не вполне равны. В отличие от С. Хрущева А. Маленков и С. Берия больше должны были полагаться на собственную память, не имея в своем распоряжении мемуаров отцов.

Проблема достоверности изложенных фактов — первая, с которой сталкивается историк при работе с мемуарной литературой. В случае с "детской

литературой" достоверность самого источника определяется прежде всего характером отношений между отцами и детьми, степенью их доверительности. Если судить по оценкам "детей", отношения между ними и отцами всегда были вполне доверительными, однако — и это особенно важно — всегда существовал круг запретных тем, касаться которых в семейных разговорах не было принято. В семье Г. Маленкова и Н. Хрущева к такого рода запретным темам относились государственные дела, отношения между главой семьи и его ближайшими соратниками. С. Хрущев вспоминает только один эпизод, когда его отец нарушил это негласное правило и поделился с ним сомнениями относительно своего преемника (разговор относился к 1963 году) (32). Нормой же была ситуация, когда дети могли наблюдать отцов, общаться с ними (причем весьма нечасто, поскольку отцы большую часть времени проводили вне дома, занятые служебными делами), однако до тех пор, пока отцы продолжали занимать высокие государственные посты, никто из детей не был допущен к тайнам "кремлевской кухни".

Исключение составляет позиция С. Берия, который в своей книге пересказывает собственные диалоги с отцом или цитирует (по памяти?!) разговоры между Л. Берия, Н. Хрущевом и Г. Маленковым, свидетелем которых, если верить автору, он был. Разговоры эти, как правило, касались самых конфиденциальных тем, поэтому у читателя немедленно возникает недоумение: как могли Н. Хрущев и Г. Маленков, не допускающие обсуждения этих проблем с собственными детьми, смириться с присутствием при подобных беседах С. Берия?

Что касается С. Хрущева и А. Маленкова, то период их откровенных разговоров с отцами на государственные темы относится к тому времени, когда сами отцы уже отошли от государственных дел. Человеку, как известно, в течение жизни свойственно производить переоценку собственных поступков и мыслей более раннего периода, поэтому ретроспективные суждения часто отличаются от тех, что сделаны по "горячим" впечатлениям. В этом смысле воспоминания детей являются как бы мемуарами "в квадрате", хотя важно уже то, что они донесли до нас информацию, о которой умолчал сам первоисточник.

У книг "детей" есть одна характерная особенность (особенность жанра?!): они содержат в себе как бы два пласта информации. Первый пласт связан с личными воспоминаниями и впечатлениями — о доме, детстве, семейном укладе, собственной профессиональной деятельности и т. д. А. Маленков предложил вниманию читателя интересную семейную хронику, неизвестные факты о пребывании родителей в Экибастузе (после отставки Г. Маленкова с поста премьера), рассказ о последнем периоде жизни отца. Воспоминания С. Хрущева наиболее информативны в той части, где он пишет о своей работе в конструкторском бюро В. Н. Челомея и вообще об истории советской ракетной техники (книга "Никита Хрущев: кризисы и ракеты"). В книге С. Берия семейная и профессиональная тема звучит совсем приглушенно, она скорее врывается отдельными эпизодами в главное повествование, нежели имеет самостоятельное значение. Здесь все подчинено одной и даже единственной задаче — сломать стереотип, сложившийся вокруг образа отца.

По-своему оценить поступки отца, найти наиболее спорным из них разумное объяснение — это стремление свойственно не только С. Берия, оно неизбежно

присутствует во всех книгах данного жанра. С реализацией этого стремления связан второй план воспоминаний детей об отцах, который у С. Берия и А. Маленкова явно лидирует, а у С. Хрущева более органично вписан в контекст личных воспоминаний. В самом желании детей представить своих отцов в "лучшем свете" нет ничего удивительного, удивительной была бы как раз обратная ситуация. "Выносить приговоры не сыновье занятие, — говорил С. Хрущев на юбилейной конференции в Провиденсе. — Да и не поверит никто ни хорошему, ни плохому. Собственно, мое перо и не способно написать плохое об отце, писать плохо о родителях противно человеческому естеству" (33). Книги об отцах часто пишутся прежде всего под влиянием чувства долга перед памятью. Другое дело, что иногда это чувство мешает авторам воспоминаний адекватно оценить факты, причем и такие, что не вписываются в заранее выстроенную концепцию. Неудобные факты просто игнорируются, как бы не замечаются, но человек, знакомый с ними, остается в недоумении. Как можно, например, говорить о сопротивлении Л. Берия политике депортации, если в документах о высылке стоит его личная подпись? Как можно утверждать, что Г. Маленков не имеет прямого отношения к "Ленинградскому делу", если руководители-ленинградцы были арестованы в его кабинете, в его присутствии? Наконец, является ли исторически корректной позиция, когда обсуждаются заслуги Н. Хрущева по реабилитации жертв репрессий, но его собственная деятельность по организации этих репрессий остается в тени?

В воспоминаниях "детей" можно выделить три темы, которые, безусловно, лидируют среди прочих, выходящих за предел семейного круга: борьба за власть в высших кругах руководства, ответственность за политические репрессии, послесталинские реформы. Тема борьбы за власть для "детей" непосредственно связана с оценкой личных качеств и потенциальных возможностей альтернативных лидеров, т. е. соратников отца. Наиболее категоричен в своих суждениях С. Берия. Он, например, убежден, что прогрессивные перемены в стране были обречены, потому что "Хрущев и Маленков... рвались к безраздельной власти" (34). Для сыновей Н. Хрущева и Г. Маленкова, напротив, совершенно очевидно, что лишь арест Л. Берия позволил партийному руководству начать реальные реформы.

Правда, констатацией этой общей позиции единство взглядов С. Хрущева и А. Маленкова практически и исчерпывается. Для Маленкова-сына Н. Хрущев, инициировавший отставку его отца, не более, чем узурпатор, по вине которого были задушены реформы (одна из глав книги так и называется "Задушенные реформы"). Позиция Хрущева-сына в данном вопросе кажется более взвешенной: Маленков, — считает он, — "никогда не слыл ортодоксом, кое в чем он мог пойти даже дальше отца. Но только без него" (35). В тандеме Хрущев — Маленков, сложившемся после устранения Берия, инициативной стороной всегда был Хрущев, Маленков исполнял роль ведомого, и в этом смысле, полагает С. Хрущев, отставка Маленкова была вполне закономерна (36). Если предположить, что позиция "детей" по отношению к соратникам-соперникам их отцов хоть в какой-то степени отражает реальные отношения между отцами, то вопрос о том, почему не состоялся "триумвират" — Берия, Маленков, Хрущев — становится вполне объяснимым.

Не борьба за реформы, как это иногда кажется, а личное соперничество определяли возвышения-падения периода 1953–1954 гг. в верхнем эшелоне руководства. Из бывших "триумвиров" менее других о личной власти заботился Маленков – и то скорее в силу отсутствия амбиций и лидерских качеств. Реальными лидерами были тогда Берия и Хрущев, хотя личное соперничество между ними никогда не было противостоянием "консерватора", с одной стороны, и "реформатора" – с другой.

Кто же из трех лидеров был действительно реформатором? Так исторически сложилось, что реформы 50–60-х годов в общественном сознании прочно связаны с именем Н. Хрущева, их иногда так и называют хрущевскими реформами. Однако, Берия-сын считает, что начало прогрессивным реформам в стране положил его отец, а А. Маленков рассказывает о реформах, инициированных Г. Маленковым. Так чьими же все-таки были эти послесталинские реформы – хрущевскими, бериевскими или маленковскими? Чтобы ответить на этот вопрос, надо сначала оценить ситуацию в стране, сложившуюся к моменту смерти Сталина.

Именно смерть Сталина стала отправной точкой, своего рода "шлагбаумом", открывшим дорогу реформам, необходимость которых ощущалась обществом и частью руководителей сразу после окончания войны, но которые были вряд ли возможны при жизни вождя. Экономическая и политическая ситуация внутри страны и обстановка "холодной войны" на международном уровне формировали ряд узловых проблем (своего рода "болевых точек"), решать которые или реагировать на существование которых пришлось бы так или иначе любому руководству, вставшему у государственного руля в 1953 году.

Первый комплекс проблем был связан с развитием репрессивной политики конца 40-х – начала 50-х годов, превратившей органы МВД/МГБ в особую систему тотального контроля, охватившую практически все сферы общественной жизни и все слои общества – от низов до высшего эшелона руководства. Закон самосохранения требовал от правящего слоя внести в эту систему известные коррективы, чтобы отвести от себя угрозу очередных кадровых чисток. Следующий вопрос, решение которого тоже требовало реформирования органов МВД/МГБ, был вопрос о системе ГУЛАГа, сохранение которой в неизменном виде не только не отвечало задачам экономической целесообразности, но и создавало угрозу политической стабильности. Смерть Сталина привела ГУЛАГ в движение: докладные записки МВД информировали о "массовом неповиновении", "бунтах" и "восстаниях" в лагерях и колониях (37). Пересмотр репрессивной практики не мог ограничиться просто изменением режима в лагерях и колониях или частичными кадровыми перестановками в органах внутренних дел: сама логика этого процесса выводила на вопрос о возможностях либерализации политического режима в целом.

Не менее важный комплекс проблем, требующих неотложного решения, сложился в сфере аграрной политики. Два раза за послевоенный период, в 1948 и 1952 годах, повышался сельскохозяйственный налог, форсированными темпами шел процесс укрупнения колхозов, создавший немало проблем для жителей деревни, не обошла колхозников стороной и послевоенная волна репрессий. В результате к началу 50-х годов бегство из деревни, несмотря на наличие паспортного режима в городах, стало массовым явлением: только за четыре

года – с 1949 по 1953 год – количество трудоспособных колхозников в колхозах (без учета западных областей) уменьшилось на 3,3 млн. человек (38).

Серьезные проблемы для московского руководства создавало положение дел в западных областях Украины и Белоруссии, а также в Латвии, Литве и Эстонии. Политика советизации по-прежнему встречала здесь сопротивление, хотя и не такое активное, как в первые годы после окончания войны. В течение 1952 г. в ЦК КПСС несколько раз обсуждались вопросы, связанные с ситуацией именно в этих регионах.

Наконец, большой круг вопросов, которые пришлось бы решать новому руководству, кто бы ни оказался во главе его, касался области внешней политики: диктат Москвы в отношении стран Восточной Европы и откровенная конфронтация с Западом не прибавляли авторитета советскому режиму.

Таким образом, направления возможных перемен в известном смысле были как бы заранее заданы. В данном случае интерес правящего слоя совпал с широким общественным интересом. Однако – и это особенно важно – задан был только вектор движения, направление поисков. Главный вопрос – в каких формах и насколько последовательно будет проводиться новый политический курс, как и вопрос, состоится ли политика реформ вообще – в своем решении зависел от расстановки сил в руководстве страны и от выбора лидера.

Берия, Маленков и Хрущев не были консерваторами и принадлежали, условно, к реформаторскому крылу руководства страны. Поскольку после смерти Сталина власть сосредоточилась в руках именно этой "тройки", вопрос решался уже не столько о возможности реформ в принципе, сколько о пределах продвижения в направлении позитивных перемен. В результате у каждого из трех лидеров в активе оказались "свои" реформы: у Берия – национальная политика, перестройка системы МВД/МГБ, внешнеполитические инициативы; у Маленкова – новый аграрный курс, поворот к социальным программам, идея разрядки в международных делах; у Хрущева – целина, совнархозы, новая военная доктрина и др. В данном случае уместнее было бы говорить о персональных инициативах, нежели о реформах в полном смысле слова – ни один из лидеров не смог предложить (а тем более осуществить) концепцию реформ.

В отличие от Берия и Маленкова, находившихся на вершине власти непродолжительный срок, Хрущев был фактическим лидером государства в течение десяти лет. Поэтому в общественном сознании образ реформатора периода "оттепели" связан только с личностью Хрущева. Публикации последних лет о Маленкове и Берия, в том числе и книги "детей", практически не внесли существенных изменений в этот стереотип. И дело здесь даже не в качестве аргументов авторов, пишущих о Берия или Маленкове (во всяком случае, не только в этом), а в свойственном нашей политической ментальности восприятия реформатора как такового. В этот устойчивый образ в силу личных и иных качеств не вписываются Маленков и Берия. Маленков – больше внешне (почти все соратники – от Хрущева до Молотова – отмечали слишком мягкий характер Маленкова, осторожность в словах и поступках, что не соответствует критериям сильной личности, каковой, согласно тому же стереотипу, должен быть истинный реформатор).

Попытки же говорить о реформаторских начинаниях Берия пока не могут преодолеть существующее в общественном сознании восприятие его как без-

условно "плохого человека" ("врага народа"); понятие" реформатор" в обыденном восприятии заключает в себе помимо содержательного дополнительный нравственный смысл как феномен положительного в политике.

Поэтому, чтобы признать за Берия право называться реформатором — по законам обыденного сознания (или, скажем точнее, обыденного исторического мышления) — его необходимо реабилитировать. Что, собственно, и пытается сделать в своей книге С. Берия. Главный смысл этих усилий — отсечь от Берия тень палача, которая стала неотделима от его образа. И тогда на место одного из главных действующих лиц сталинской системы встает простой исполнитель, а на место главы карательного ведомства — главный контрразведчик. "После 1942 года,— пишет С. Берия,— он уже не имел никакого отношения к органам государственной безопасности", а следовательно, и отношения к преступлениям Системы" (39).

С подобной аргументацией трудно согласиться. Во-первых, карательные функции осуществлял не только Наркомат государственной безопасности, но и Наркомат внутренних дел (не случайно за свою историю оба ведомства неоднократно объединялись). Главой НКВД Берия продолжал оставаться до декабря 1945 г., но и позднее он как член Политбюро продолжал курировать органы НКВД/НКГБ. Приведем лишь несколько фактов, взятых из протоколов заседаний Политбюро. В мае 1946 г. создается комиссия, контролирующая передачу дел по Министерству государственной безопасности от В. Н. Меркулова В. С. Абакумову (председатель комиссии — Л. Берия) (40). Несколько раз Берия поручается наблюдение за гражданскими объектами и отраслями, на которых заняты, однако, главным образом заключенные (например, лесная промышленность, строительство высотных зданий в Москве и т. д.) (41). Только в сентябре 1947 г. специальным постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР наблюдение за работой Министерства госбезопасности поручается секретарю ЦК А. А. Кузнецову (42). Аналогичное решение по Министерству внутренних дел в протоколах заседаний Политбюро отсутствует. Вместе с тем, по некоторым данным можно заключить, что под контролем Берия и после 1947 г. находились вопросы, относящиеся к ведению не только МВД, но и МГБ. В феврале 1948 г., например, ему было поручено руководить работой комиссии, которая рассматривала вопросы о высылке "вредных элементов", а также об "организации специальных тюрем и лагерей для особо опасных преступников, в том числе шпионов" (43).

Главные усилия Берия-сына сводятся к тому, чтобы отвести от отца обвинения в организации репрессий. "...Мой отец не подписывал расстрельные списки, как это делал Ворошилов, не проводил массовые репрессии, как Каганович или Маленков, Хрущев или Жданов,— пишет С. Берия,— но коль он был одним из членов политического руководства, ответственность, безусловно лежит и на нем, на каждом из них" (44). Однако, по мысли С. Берия, это еще не главная ответственность: "Главный преступник — Система, они всего лишь исполнители преступных приказов" (45). Система в концепции С. Берия отнюдь не безлика, ее олицетворением выступает "партийная верхушка", а конкретнее — Орготдел ЦК ВКП(б): "...высокопоставленный партийный чиновник Маленков весьма активно и настойчиво проводил репрессии... Хрущев... не только не восставал против творимого партией беззакония, но и был таким же, как Маленков, проводником ее идей..." (46).

В этом вопросе у С. Берия есть равноправный оппонент — А. Маленков. Он, например, убежден, что единственным человеком в партийном руководстве, который выступал против массовых репрессий, был не кто иной, как его отец — Г. Маленков (отсылаем читателя к главам книги А. Маленкова с характерными заголовками — "Схватка с Ежовым", "Борьба с бериевщиной"). "...Если не это противоборство,— пишет А. Маленков,— которое исподволь, а то и открыто велось отцом против сталинских сатрапов, то не сохранить бы ему душу живую, не выйти после смерти деспота с теми выстраданными втайне еще при нем, поистине демократическими реформами..." (47). Жаль, что к этой импровизированной дискуссии не удастся подключить С. Хрущева: в своих книгах об отце он, как правило, обходит стороной тему репрессий и если упоминает о ней, то в плане проведения мероприятий по реабилитации, в организации которой Н. Хрущеву действительно принадлежит заметная роль.

И снова читатель в недоумении. Берия, Хрущев и Маленков были, как выясняется, самыми принципиальными противниками политических репрессий, которые, хотя и имели место, но творились от имени Системы. Хорошо еще, что у Системы был персональный носитель — Сталин, иначе все приобрело бы почти мистический смысл. Но, может быть, и сам Сталин ни при чем? Обратимся к С. Аллилуевой. Рассказывая об арестах в кругу близких людей, она пишет: "Как это мог отец? Я знаю лишь одно: он не мог бы додуматься до этого сам... Но если ему это хитро и тонко подсказали, если ему лукавый и льстивый человек (каков был Берия) нашептал, что "эти люди — против"... то отец мог поверить" (48).

Итак, круг замкнулся. Перекладывание вины на чей-либо персональный счет или на счет все той же Системы — в этом "дети" в общем не так далеки от отцов. Все это уже было: в июне 1953-го, когда разбирали дело Берия, в январе 1955-го — когда снимали Маленкова, в феврале 1956-го — когда настала очередь Сталина и, наконец, в октябре 1964-го — когда пришла отставка Хрущева.

Что же делать в этой ситуации историку и просто читателю? Позицию "детей" понять можно и должно. Но понять еще не значит — принять. Для любого непредвзятого взгляда очевидно: люди, находившиеся у государственного руля, пусть на разных уровнях, в течение 30-х — начала 50-х годов не могли стоять в стороне от политики "чисток". Иначе это противоречило бы тем самым законам Системы, на которые ссылается, например, С. Берия. И дело здесь не в наличии подписи под расстрельным списком, а в отсутствии самой возможности неучастия в терроре (в той или иной форме) для людей, состоявших на службе у Системы. То, что впоследствии эти же самые люди встали во главе процесса, в конечном счете положившему конец полосе террора,— вовсе не логический парадокс. Это всего лишь логика Истории.

У любого литературного жанра есть свои законы. Трагедия исключает "хэппи энд" точно так же, как не умирают герои комедий. "Детская литература" — тоже особый жанр, в этом смысле у нее нет недостатков, понимаемых как отклонение от достоверности. Книги детей об отцах по-своему достоверны и

честны. Но это еще не историческая достоверность. Взгляд из семейного круга, безусловно, интересен, но неизбежно узок. Далеко от вождей, но в одном временном пространстве с ними жила огромная страна, жили люди, у которых, в отличие от детей вождей, есть свой взгляд на то время. Они тоже очевидцы, тоже современники. Самый большой соблазн для историка, выслушав всех, принять чью-либо точку зрения за единственно достоверную. Соблазнов же, как известно, лучше всего избегать.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бордюгов Г. А.,Козлов В. А. История и конъюнктура. Субъективные заметки об истории советского общества 1920–30-х годов. М., 1992. С. 242–266.
2. "Die Jahre weiss man nicht, wo man die heute hinsetzen soll". Faschismuserfahrungen im Ruhrgebiet. L. Niethammer (Hrsg.). Bd. 1. Berlin-Bonn, 1983. "Hinterher merkt man, dass es richtig war, daB es schiefgegangen ist". Nachkriegserfahrungen im Ruhrgebiet. L. Niethammer (Hrsg.). Bd. 2. Berlin – Bonn, 1983.
3. Niethammer L., Plato A. V., Wierling D. Die volkseigene Erfahrung. Eine Archaologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR. Berlin, 1990; Plato A. v., Meinicke W. Alte Heimat – neue Zeit. Vertriebene, Umgesiedelte, Fluchtlinge in der SBZ/DDR. Berlin, 1991.
4. Здесь и далее рассчитано по: Демократический ежегодник СССР. М., 1990. С. 30–32; Российская Федерация в 1992 году. М., 1993. С. 99.
5. Есть мнение. Итоги социологического опроса. М., 1990. С. 164–166.
6. Там же. С. 165.
7. Там же. С. 166.
8. Адибеков Г. М. Коминформ и послевоенная Европа. 1947–56 гг. М., 1994.
9. Бабиченко Д. Л. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. М., 1994.
10. Костырченко Г. В. В плену у красного фараона. Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие. М., 1994.
11. Романовский Н. В. Лики сталинизма. М., 1995.
12. Воронов Г. И. От "оттепели" до застоя // Известия. 1988. 17 ноября; Направлен послом... // Огонек. 1989. №6; Сто сорок бесед с Молотовым: Из дневника Ф. Чуева. М., 1991; Бурлацкий Ф. М. Вожди и советники. М., 1990; Арбатов Г. А. Затянувшееся выздоровление. 1953–1985. М., 1991; Шелест П. Е. ...Да не судимы будете. Дневниковые записи, воспоминания члена Политбюро ЦК КПСС. Edition q., 1995; и др.
13. Лакшин В. Я. Новый мир во времена Хрущева: Дневник и попутное. 1953–1964. М., 1991; Симонов К. М. Глазами человека моего поколения. М., 1989; Сахаров А. Д. Вопоминания. М., 1990; и др.
14. Грант А. Так кто же первым раскачал лодку? // Новое русское слово. 1994. 28 декабря. С. 7.
15. Там же. 1995. 6 января.
16. Баткин Л. Нам еще долго жить при Хрущеве // Новое время. 1994. №15. С. 10.
17. См., например: Пономарев А. Н. Н. С. Хрущев: путь к лидерству. М., 1990; XX сьезд КПСС и его исторические реальности. М., 1991; Рождение и крах "оттепели". В кн.: Наше отечество. Опыт политической истории. Т. 2. М., 1991; Лейбович О. Реформа и модернизация в 1953–1964 гг. Пермь, 1993 и др.
18. Н. С. Хрущев. 1874–1971. Материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н. С. Хрущева. 18 апреля 1994 г. Горбачев-Фонд. М., 1994. С. 3.
19. Там же. С. 7.
20. Там же. С. 24.
21. Там же. С. 41.
22. Там же. С. 31.
23. Там же. С. 158–159.
24. Пономарев А. Н. Указ. соч. С. 47.
25. Цит. по: Новое русское слово. 1995. 17 января. С. 8.
26. Там же.
27. Хрущев Н. С. 1894–1971. Материалы научной конференции... С. 64.
28. Там же. С. 66–68.
29. Там же. С. 58.
30. Цит. по: Новое русское слово. 1994. 30 декабря. С. 10.
31. Хрущев С. Н. Пенсионер союзного значения. М., 1991; Он же. Никита Хрущев: Кризис и ракеты. Кн. 1–2. М., 1994; Маленков А. Г. О моем отце – Георгии Маленкове. М., 1992; Берия С. Л. Мой отец – Лаврентий Берия. М., 1994.
32. Хрущев С. Н. Пенсионер союзного значения. С. 27.
33. Цит. по: Новое русское слово. 1994. 30 декабря. С. 10.
34. Берия С. Л. Указ. соч. С. 118.
35. Хрущев С. Н. Никита Хрущев: кризисы и ракеты. Т. I. С. 300.
36. Там же. С. 57–59.
37. Отечественные архивы. 1994. №4. С. 33.
38. ЦХСД. Ф. 5. Оп. 30. Д. 20. Л. 9.
39. Берия С. Л. Указ. соч. С. 16.
40. РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1059. Л. 2.
41. Там же. Д. 1063. Л. 36. Д. 1064. Л. 20.
42. Там же. Д. 1066. Л. 47.
43. Там же. Д. 1069. Л. 11.
44. Берия С. Л. Указ. соч. С. 33.
45. Там же. С. 84.
46. Там же. С. 85.
47. Маленков А. Г. Указ. соч. С5.
48. Аллилуева С. Двадцать писем к другу. М., 1989. С. 74.

ТЕМЫ И ПОДХОДЫ

III

ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ "КРАСНОГО ОКТЯБРЯ"

В. П. Булдаков

С крахом советского коммунизма возникла непривычная историографическая ситуация: отпала необходимость доказывать "предопределенность" или "случайность" пришествия "социализма" в Россию, выборочно притягивать реалии прошлого к политическим мифам настоящего. Появилась возможность навсегда отказаться от идеологизации и политизации грандиознейшей российской смуты. "Красный Октябрь" мог бы стать "нормальным" объектом хладнокровного приложения самых разнообразных методологий и методик. Увы, ничего подобного не произошло; историки оказались не готовы к разрыву с былым мифотворчеством.

Сегодня идеологизация и политизация вроде бы навсегда "ушедшей" революции получили новые импульсы. В российской историографии задавать тон пытаются антикоммунисты (как правило, из числа былых догматиков марксизма или людей наиболее чутких к идейной моде), реанимирующие наиболее понятный им тезис о чисто насильственном насаждении большевиками "тоталитаризма". В западной историографии положение сходное: здесь спешат взять реванш консервативные авторы, из числа тех, кто никогда не задумывается над тем, что историческая истина не открывается ни слева, ни справа, ибо лежит совсем в ином измерении (1).

В данном случае речь пойдет не только о многократно провозглашенном в этой связи "кризисе исторической науки". Нелепо сетовать на естественное несовершенство исторического знания и полагать, что избавиться от него можно в одночасье. Исторические представления всегда выступают частью самой продолжающейся истории: осознание их обусловленности прошлым приближает к пониманию степени укорененности последнего — а это есть косвенный показатель масштабности и специфики былых событий.

Несомненно, анализ современного состояния прежде чудовищно мифологизированной историографии Октября имеет ключевое значение для понимания перспектив обновления всего отечественного обществоведения. Совершенно не случаен интерес к работам "перестроечных" авторов "со стороны" (2). Вместе

с тем, и работы самих постсоветских историографов, как обстоятельные (3), так и поверхностные (4), способны существенно помочь при непосредственном анализе разнородных составных такого многозначительного события, как Октябрьская революция.

Общий механизм поворота к антикоммунистической схеме истории Октября хорошо известен. После 1991 г. масса "историков КПСС" повернула от "истории одной партии" к "истории многопартийности". В результате появились многочисленные курсы "истории России XX в" и "истории Отечества", издаваемые как в столице, так и в провинции под видом научных пособий. Применительно к периоду 1900—1920 гг. фактически они оказались наспех и неуклюже перелицованными прежними очерками борьбы КПСС со своими противниками (5). Иные авторы при этом ограничивались механической компиляцией работ, созданных еще в "застойные" годы (6), ничуть не замечая того, что создатели последних давно повернули к фундаментальным публикациям документов по истории отдельных партий (7) и изучению истории общественных организаций, ибо осознали, что понять природу победы большевизма можно только на уровне истории революционных масс (8). Как бы то ни было, деятельность лейб-историков номенклатуры привела к бездумной апологетике противников большевизма, затронувшей и новое поколение исследователей.

Параллельно, в среде методологически более продвинутых "историков КПСС" появилась потребность в освобождении от истматовских догм. Это было осуществлено в манере перескакивания от "формационного" к "цивилизационному" подходу (9), что также не принесло особых достижений в области переосмысления истории Октября (10). В любом случае поспешная смена идеологических и методологических ориентиров лишь усилила поверхностный антикоммунизм, что, разумеется, никак не могло породить нового исторического качества, а затруднило условия его появления. Сегодня многим исследователям становится ясно, что любая чисто политическая история России — историографический анархизм, связанный с реликтами культового отношения к власти, характерного для догражданских обществ.

Современный исследователь имеет два крайних критерия "объективного" подхода к заметным явлениям прошлого — пространственно-временной ("большое историческое время") и глубинный ("человеческие качества"). Тот и другой утвердились в XX в., но по характерному недоразумению считаются трудносовместимыми применительно к анализу революции в России — стране дружно почитаемой неумеренно большой и столь же "загадочной". Ситуация объяснима: Октябрьская революция проявила себя как демонстративный разрыв временной преемственности, сопряженной с забвением "буржуазных" людских качеств, а потому моментально обросла своей собственной воинственно-морализирующей и, вместе с тем, наукообразной "историософией". Единственный способ преодоления ее — признание характерной для XX века противоречивой взаимосвязи глобальных технологических подвижек и традиционной народной культуры, которая и породила столь труднопостижимый феномен "Красного Октября".

1. Проблема "предпосылок" революции

Вопрос о предпосылках революции в нынешних условиях выглядит кое для кого предельно запутанным. Так, если прежняя российская историография привыкла исходить из идеи революционной смены капитализма социализмом, то сегодня, уверовав, что последний — мертворожденный выкидыш истории, готова искать причины случившегося в инфернальной сфере. Не удивителен в этой связи интерес к "масонам" или "немецкому золоту" — он удачно сопрягается с архаичным суеверием в вездесущность нечистой силы. В еще более двусмысленной ситуации оказываются те любители "объективных" предпосылок прогресса, которые ранее выводили готовность России к "великим свершениям" социализма (11), исходя из необычайной "развитости" отечественного финансового капитала (12). Им, похоже, сегодня не остается ничего иного, как убеждать публику в достоинствах "капиталистического" прошлого России.

К настоящему времени наиболее распространенный взгляд на предпосылки Октябрьской революции связывает их с трудностями отечественной модернизации. Действительно исторический императив модернизации как будто объясняет и реформы 60—80-х годов XIX в., и действия Витте и Столыпина, и даже "военно-коммунистические" устремления Ленина. Но нельзя забывать, что субъективное осознание отсталости в условиях известных геополитических притязаний в России было ничуть не более острым, чем в Японии. "Революция Мэйдзи" не приняла, однако, разрушительного характера. Уместно поставить вопрос: почему социальные издержки индустриальной модернизации при сохранении традиционных укладов в сельском хозяйстве в России были восприняты массами куда более нетерпимо и болезненно, чем в Японии? Не следует ли из этого, что соотношение революции и реформы в двух странах на психосоциальном уровне оказалось совершенно различным? К сожалению, дальше общей дискуссии на эту тему дело пока не пошло (13). Исследователи еще не решились четко обозначить проблематику конфликта модернизаторских устремлений с традиционной народной культурой и ментальностью как важнейшей причины революции.

Между тем, "модернизаторский" взгляд на причины революции в скрытом виде присутствовал в советской историографии еще в 60-е годы, когда ряд авторов безуспешно пытался противопоставить эмпирически неопровержимую идею о "многоукладности" народного хозяйства России (14) доктринально-мифическим уверениям о зрелости "самого передового" отечественного "государственно-монополистического капитализма" для социалистического самосовершенствования под руководством большевиков. Разгром "нового направления" в советской историографии был предопределен известными идеологическими и политическим установками тогдашней номенклатуры, которой лейб-историки вовремя указали на опасность "ереси". Как бы то ни было, "новое направление" смогло бы выжить в борьбе против догматиков, лишь соединив усилия с "социальными историками" Запада (15), что в тогдашних условиях было, разумеется, исключено. Впрочем, и в годы "перестройки" реализовать эту возможность не удалось,

а тем временем былые противники "нового направления" ухитрились представить дело так, как будто именно они всегда двигали вперед историческую науку (16). Нет нужды останавливаться на нравственной стороне подобных историографических вывертов: важно подчеркнуть, что отдельные служители коммунистической Клио были виртуозами своего дела, а потому историографическое преимущество, по-прежнему, имеют перекрасившиеся доктринеры из их числа (17), а не усидчивые аналитики. Все это — шлейф догматического иезуитства в историографии, сложившегося в связи с номенклатурным закреплением победы "Великого Октября". Своеобразной производственной отрыжкой этой традиции является связанная с горбачевизмом попытка вписать Октябрь в "большой революционный цикл", в ходе которого власть непосредственно занималась "самотермидоризацией" (18).

Часто и небезосновательно важнейшей и единственной причиной Октябрьской революции называют Первую мировую войну. Действительно, по своим социалистическим лозунгам 1917 год заметно отличается от 1905-го. Но дело не в экономике, хотя в реалиях 1915–1917 годов мы найдем немало явлений, которые можно интерпретировать как интенсивный рост элементов "военного социализма". Дело также не в одной политике, ибо Россия оказалась единственной из воюющих империй, развалившейся до окончания войны. Российское бунтарство "низов" никогда не возникало по причинам только социально-экономического характера; оно всегда было связано с падением нравственного авторитета власти. Сегодня нельзя не признать, что сконструированные марксистами сталинско-брежневского призыва "предпосылки социализма" ровным счетом ничего не проясняют в характере вызревания и самом ходе "Великого Октября" (19).

Представляется, что проблема предпосылок революции может быть правильно поставлена при условии, если мы будем рассматривать и революции 1917 года, и гражданскую войну 1917–1920 гг. как часть ускоренного внешним вызовом системного кризиса империи, по своим параметрам и масштабам скорее сравнимого с российской "смутой" начала XVII в., нежели с любой из европейских революций "политического" типа (20). Из сказанного вовсе не следует, что всякие компаративистские подходы к Октябрю лишаются смысла; напротив, они более чем уместны, но в четко очерченных пределах и рамках. Так, кризис "верхов", политические перипетии 1917 г., действия маргиналов вполне сравнимы с событиями Великой французской революции; движение крестьянских масс имеет кое-что общего с французской, мексиканской и китайской революциями; поведение рабочих и их лидеров сопоставимы с действиями парижских коммунаров и т.п. Есть, однако, в событиях 1917 г. нечто принципиально новое. Японский историк Х. Вада вполне точно обозначил их как комплекс социальных революций в эпоху мировых войн (21).

Как бы то ни было, осознание своеобразия российской революции, особенностей ее развертывания и долговременных последствий связано с переосмыслением феномена российской империи — уникальной сложноорганизованной этносоциальной системы, более чем своеобразно "размазанной" историей по поверхности одной шестой земной суши. Одни масштабы империи препятствовали ее "рационализации" — совершенно необходимой для модернизации "сверху".

2. Этапы назревания и нарастания кризиса

В лице России мы имеем не просто империю (традиционную или новейшую капиталистическую), а империю реликтового типа (22). Последняя вовсе не "пережиток"; она построена, однако, на "архаичных" основаниях (государство — это "большая семья"), чем принципиально отличается от "рационализировавшихся" империй прошлого и квазиимперий настоящего (23). Основу формирования Российской державы составила не логика примитивной экспансии (развивающая обычно способность подданных к сдерживанию ее формальным законом), а особая форма этатизации, вызванная культурологическими, геополитическими, этногеографическими и, прежде всего, социопатерналистскими факторами. Российская имперская иерархия закрепилась не на базе формального права, а утвердилась на вере "низов" в "свою" власть, использующую в "общих" интересах "служилые" сословия — положение, которое в критические моменты истории может обернуться своей бунтарской противоположностью.

Российская империя "естественно" формировалась, а затем стала идентифицировать себя как образцовая самодостаточная система — пример для остального "несовершенного" мира. Кризис империи не мог не назревать весьма долго, незаметно, а проявиться чрезвычайно резко, "стихийно". В принципе можно обозначить несколько "уровней" (стадий, этапов, компонентов) кризиса: этический, идеологический, политический, организационный, социальный, охлократический, доктринально-рекриационный. Этическая стадия кризиса связана с десакрализацией власти, начавшейся в связи с подменой самодержавия бюрократическим абсолютизмом в эпоху Петра I. Идеологический компонент кризиса обусловило формирование европейски-рационалистической элиты. Политическая стадия кризиса обязана своим происхождением с незаметным разделением элиты на бюрократию и оппозицию. Управленческая неэффективность власти связана с тем, что оппозиция, нравственно и интеллектуально подавив бюрократию, приступила к выработке альтернативных структур — от партий до общественных организаций, в результате чего функции державного управления стали блокироваться даже слабыми ростками спущенного "сверху" самоуправления. Социальная стадия кризиса империи была порождена не просто ухудшением положения масс, а их растущей убежденностью в том, что единственным виновником этого является "чужое" правительство. Охлократический этап вызван не столько маргинализацией социума, как способностью маргиналов объединяться в толпы, зарождающиеся утопиями и психологией вседозволенности. Наконец, доктринально-рекреационный этап кризиса связан с "остыванием" социума, соглашающегося на любую "понятную" ему власть (24), особенно ту, которая ухитряется одновременно взывать к прогрессу и традиционализму (25).

Как ни парадоксально, все эти компоненты кризиса империи легко прослеживаются даже по "ортодоксальной" марксистской историографии, не говоря уже о практически неиспользовавшейся массе источников личного происхождения. Беда "традиционной" (включая и западную) историографии заключается

в том, что революцию пытались интерпретировать в рамках совершенно чуждых ей понятий и категорий, не замечая ее собственной внутренней логики. Впрочем, возможно такова первоначальная историографическая судьба всех революций.

Как бы не соотносились между собой компоненты или этапы системного кризиса империи, роль событий 1917 г. в истории России определяли не политические конфликты в "верхах", а социальная борьба низов за выживание и растущее охлократическое буйство маргиналов, связанное с усилением общей "депрограммированности" населения, столкнувшегося с непривычной для него неэффективностью высшей власти. Поэтому центр тяжести в анализе событий революции стоило бы давно перенести на ментальность и, особенно, психологию масс — именно они позволяли "упасть" или "удержаться" у власти той или иной политической верхушке (26). К сожалению, такого рода поворот в историографии Октября наметился совсем недавно (27), хотя психологи достаточно давно и настойчиво указывали на его необходимость (28).

В целом "перестроечная" и, особенно, "постперестроечная" историография двинулись в совершенно ином направлении: последовала волна литературы, посвященной политическим "альтернативам" Октября (29), причем эти альтернативы подбирались сообразно пристрастиям авторов. Спору нет, работы такого рода нужны, но дискуссии на этот счет останутся бесплодными до тех пор, пока они не будут поставлены в общепризнанные логические рамки, скажем, развертывания кризиса империи.

Важнейшей особенностью событий 1917 года было то, что все политические партии так или иначе расходились с массами. Их действия уместно интерпретировать не только как механическое следование собственным идеологемам, но и как безнадежное стремление "заморозить" ситуацию, то есть игнорировать логику энтропийного процесса. Поведение умеренных политических лидеров выглядит особенно беспомощным: это жалкие попытки навязать массам "рациональный" образ действия в условиях, когда на первый план выступила стихия традиционалистского подсознания народа (30). Напротив, действия большевиков пронизаны стремлением "слиться с массой" (выражение Ленина) путем поощрения наиболее экстремистских форм ее движения; их марксистское доктринерство трансформировалось в убеждение, что всякий акт социального протеста есть проявление "заданного историей" модернизаторского импульса, то есть ступень вверх, а никак не движение по кругу очередной российской смуты. Увы, политические интерпретаторы событий 1917 года до сих пор даже не поставили этот вопрос.

3. К психосоциальной интерпретации революции

Событийно-этатистский взгляд на прошлое, все еще преобладающий в историографии, с одной стороны, уходит своими корнями в добуржуазное представление о власти как независимой от народа величине, с другой — подпитывается фетишизацией парламентарной политической культуры. В любом случае он связан с иллюзорностью массового сознания — в России этот фактор продолжает

действовать с неслабеющей силой. Применительно к истории Октябрьской революции все это способно завести в тупик эмоциональных словопрений "за" и "против" захвата власти большевиками. Совершенно не случайными являются призывы некоторых современных российских политиков объявить Октябрьскую революцию "переворотом" и законодательно "отменить" его. Это уже нынешний политический психоз, парадоксально подпитываемый законсервированной коммунистами культовой формой отношения к верховной власти. В современной России такой "детский" взгляд на революцию не должен удивлять. Он доказывает, что нынешние исторические взгляды все еще в немалой степени определяются магическими представлениями об Октябре, укорененными "Кратким курсом".

Советская историография Октябрьской революции (которая на деле была частью номенклатурного самооправдания) в значительной степени поддерживала свой научный имидж тем, что — в соответствии с марксистской доктриной — делала вид, что опирается на фундамент экономической и социальной истории. На деле, как отмечалось, серьезные исследования в этой области неумолимо разрушали марксистские догматы, а искусственное конструирование "материальных" предпосылок "социализма" не имело ничего общего с наукой, в чем некоторые авторы косвенно признались, повернув к апологетике российского предпринимательства. Последнее могло бы стать естественным объектом исследования, но даже в серьезных новейших отечественных работах заметно характерное метание от одной крайности к другой (31). С российской "социальной" историографией Октября также произошли поразительные метаморфозы. Так, иные авторы, в "застойные" годы доказывавшие (отнюдь не голословно) ведущую роль пролетариата в 1917 г. (32) и даже в "перестроечное" время выступавшие с вполне ортодоксальных марксистских позиций (33), вдруг сделались апологетами белого движения (34) и специалистами по большевистскому "тоталитаризму" (35). Другие авторы, прежде на все лады приукрашивавшие "военный коммунизм" (36) и творческие потенции российского рабочего класса, якобы преуспевшего и в управлении экономикой, и в руководстве государством (37), теперь вовсю осуждают недальновидность Ленина, противившегося углублению нэпа и вообще повинного во всех грехах советской системы (38). Что это беспринципность или отсутствие профессионализма у историков, лихорадочно пытающихся компенсировать его очередной идеологической подпоркой?

Нет смысла заниматься морализаторством по данному поводу, тем более, что в приведенных случаях мы имеем дело не с самыми слабыми работами и не с наиболее разительными примерами перескока с коммунизма на антикоммунизм. Налицо последствия застарелой болезни отечественной историографии, еще в 30-е годы пустившейся в самозабвенный пляс под дудку идеократической власти, рожденной "Красным Октябрем". Такие термины как пролетариат, социализм, революция и т. п. (которые даже на породившей их западной почве существовали скорее как умозрительные конструкции), составили в большевистской России опорные символы той сакрализированной псевдореальности, сквозь которую исследователи вот уже многие десятилетия не могут разглядеть историческую действительность. И когда магия этих символов рассеялась, иные историки обнаружили склонность поступать по отношению к ним на манер дикарей, обидевшихся на не оправдавших их надежд идолов.

Преобладающая масса историков, процветавших во времена "застоя", оказалась именно в таком нелепом положении. Поскольку в их лице мы имеем дело со сложившимся типом ментальности, то ожидать от них серьезного, научно взвешенного переосмысления истории революции не приходится. Строго говоря, для решения последней задачи требуется иная генерация исследователей — свободных от мощнейшей идеократической ауры "Красного Октября". В качестве первого шага на пути ее формирования можно попытаться взглянуть на революцию с совершенно непривычной стороны.

В отличие от политической и "классовой" интерпретации, психосоциальный анализ событий 1917 г. открывает совершенно новые познавательные возможности. Прежде всего, он позволяет выйти из той абсурдной историографической ситуации, когда "научное" осмысление революции осуществлялось в терминах-лозунгах, свойственных ей самой — с таким же успехом можно использовать кувалду вместо микроскопа. Разумеется, нет смысла в том, чтобы создавать новый терминологический ряд: достаточно попытаться наполнить привычные термины и событийные вехи реальным содержанием. Если следовать психосоциальной историографии, то, к примеру "критической точкой" динамики событий 1917 года станет не "большевистский" Октябрь, а "демократический" Февраль. Для российских масс, не изживших патерналистских представлений о верховной власти, наибольшее значение имел самый факт ее падения, а вовсе не "захвата" ее былых остатков кем бы то ни было. Процесс обвала власти начался с падения самодержавия, Октябрь, напротив, означал начало ее "собирания", хотя внешне он выглядит как успех маргиналов, то есть утверждение психологии социальной вседозволенности — последняя в российском социокультурном пространстве должна была обернуться своей противоположностью. С точки зрения психосоциальной динамики в имперских отношениях власти — подчинения переломным моментом на последующем этапе будет не октябрь 1917 г., а период до лета 1918 г. в течение которого основная масса населения, реализовав требования земли, затем натолкнулась на окрепшую власть, которая принудила ее (пока неуверенно) платить по счетам.

По логике психосоциальной истории получается, что объективно большевики вовсе не разрушали империю ради интернациональной утопии, а, напротив, перестраивали ее на архаичнейших основаниях, используя не "сознание" (к которому они постоянно апеллировали), а подсознание масс (которого вообще не признавали). Бакунинские идеи "разрушения как созидания", не говоря уже о лозунгах типа "анархия — мать порядка", неожиданно получали подтверждение в действиях этих революционеров тоталитаристского склада, мечтавших об европейском социализме.

Что же такое "стихия" революции, от которой шарахались историки "марксистского" пошиба, пытавшиеся иной раз выдать за "мелкобуржуазность" антипод большевистской сознательности? (39) Что лежит в ее основе: пьяный погром или планомерная классовая борьба? Противостоят ли они друг другу? Представляется, что нет. Психология революции — это естественная форма реализации ее "конструктивного" начала.

Период с февраля 1917 г. до лета 1918 г. можно в целом обозначить как наиболее активный этап синергетического процесса "смерти-возрождения" империи, в ходе которого народная демократия и маргинальная охлократия — взаимосвязанные, но чуждые друг другу силы — взаимно подпитывали и истощали друг друга, играя тем самым на руку возрождению патерналистских начал российского имперства (отнюдь не изжитого в сознании и, особенно, подсознании основной массы населения). Неосознанный политической историографией парадокс "Красного Октября" состоит в том, что империю разрушали не труженики, занятые борьбой за выживание на основах самоорганизации общинного типа, а партийные доктринеры, вольно или невольно стимулирующие российскую "вольницу".

4. Конструктивное противодействие эскалации кризиса

Ныне принято считать, что в 1917 г. действовали параллельно несколько социальных революций — солдатская, рабочая, крестьянская, национальные. Если исходить из посылки, что российский системный кризис имел своей целью возрождение "реликтовой" связи народа и власти, что могло быть достигнуто лишь путем корпоративной (псевдособорной) самоорганизации "снизу", то те действия масс, которые в 1917 г. и позже воспринимались политиками как "разрушительные", напротив, обнаружат в себе созидательное начало (40). С позицией привычного взгляда на революцию такое утверждение может показаться фантастичным. Если же попытаться непредвзято проанализировать источники, то можно найти ему полное подтверждение. Все социальные революции низов в 1917 году носили главным образом защитный характер; "эксцессы" были связаны с противодействием им со стороны "благонамеренных" политических элит.

В какой степени этот момент отражает современная историография — имея в виду работы последних пяти лет? Если обратиться к работам общего характера, то здесь поворот к такому переосмыслению революции уже наметился (41). Сложнее обстоит дело с конкретными исследованиями (особенно регионального характера). Здесь выявить элементы нового подхода достаточно трудно — главным образом по причине малой репрезентативности публикаций.

Движение солдатских масс в годы "застоя" было наиболее основательно фальсифицировано: всякое хулиганское действие, не говоря уже об обычных для армии всех воюющих стран разрозненных бунтах, выдавалось за проявление "большевистской сознательности". Эта традиция преодолевалась с большим трудом (42), а потому возникла опасность впадения в другую крайность. Поведение солдат — этих, наиболее массовых и воинственных маргиналов — может показаться чисто разрушительным в своей откровенно антивоенной и даже "шкурнической" направленности. Но, во-первых, следует принципиально разделять начальный и конечный этапы их движения. Во-вторых, необходимо отделять солдат тыловых гарнизонов от фронтовиков (ставших в определенной степени уже профессионалами), по родам войск (первыми разложились балтийские матросы и пехота, затем артиллеристы и лишь в последнюю очередь казаки). Наконец, следует учитывать, что противоположные (конструктивные

и анархические) тенденции наличествуют в сознании и движении масс всегда и вместе; разрушительная (революционная) проявляет себя лишь после того, как возможность конструктивного (эволюционного) движения представляется "снизу" исчерпанной.

Новейшие исследования (43) при всей их разнохарактерности позволяют заключить, что в действиях солдат-фронтовиков после первоначального ожесточения и борьбы (часто кровавой) с офицерами возобладало здравомыслие и даже частично чувство революционного патриотизма. По общему признанию самих военачальников солдатские комитеты длительное время позволяли удерживать фронт.

Солдаты тыловых гарнизонов (выздоравливающие фронтовики и новобранцы), напротив, куда в большей степени руководствовались шкурными интересами (44). Но они со временем обнаружили сильное стремление к полному самоустранению из политической борьбы в городах и возвращению домой для закрепления социальных успехов крестьянской революции. Можно определенно сказать, что без этой части солдат другие социальные движения 1917 года не приобрели бы столь разрушительного характера.

Социальная борьба рабочих была изучена довольно полно еще в 60–80-е годы как в СССР, так и на Западе (45), хотя региональных исследований до сих пор явно не достаточно (46). Обнаруживается, что "пролетарии" на деле больше всех были заинтересованы в сохранении современного производства и укреплении регулирующей роли власти. Для них характерна высокая степень профессиональной (а не политической) самоорганизации; продвинутость рабочего контроля (который можно рассматривать и как попытку возрождения "своей" власти "снизу", и как опыт налаживания горизонтальных хозяйственных связей); относительная устойчивость демократических установок (особенно у "кадровых" квалифицированных рабочих). Рабочие, при всем своем радикализме, никогда не отказывались от компромисса с предпринимателями и властью. Отсюда предпочтение, отдаваемое ими секвестированию предприятий при Временном правительстве, согласие на подчинение фабзавкомов профсоюзам после прихода к власти большевиков (47).

Несомненно, ключевое значение для понимания роли рабочих в революции, то есть ее "пролетарского" характера, имеет стачечная борьба. Известно, что к октябрю 1917 г. она значительно усилилась. Но какие слои рабочих проявили себя на сей раз, какие лозунги они выдвигали, как менялось их отношение к партиям и их лидерам, как, наконец, понимали они лозунг "Власть Советам!"? Не произошел ли в это время возрастной раскол в рабочей среде? К сожалению, отечественные историки обычно все еще в целом придерживаются старой логики: если против Временного правительства, "соглашателей", "буржуазии", то значит за социалистическую революцию. Между тем, даже наиболее политизированная масса рабочих отнюдь не мыслила в то время такими категориями, даже широко используя расхожую революционную лексику. Фактически рабочие готовы были отдать предпочтение любой (не скомпрометировавшей себя) власти, способной обеспечить их физическое выживание. Представляется, что политическая бескомпромиссность красногвардейцев осенью 1917 г. в значительной степени была связана с экстремистской безудержностью солдат.

Можно предположить, что рабочие надеялись и согласились (не безоговорочно) на большевистскую власть, довольно скоро разочаровались в ней (48), а затем были приведены ею к повиновению. Во всяком случае, их стачечная активность до и после Октября свидетельствует скорее об этом а не о приверженности рабочих марксистскому социализму.

Крестьянское движение, несмотря на обилие исследований (49), выглядит наименее изученным. Как бы то ни было, "конструктивное" ее содержание можно свести к "общинной" революции (термин введен В. Бухараевым и Д. Люкшиным (50)) – попытке самим устранить "нетрудовой" элемент из сельскохозяйственного производства (51) и установить "справедливые" отношения с понимающий их нужды и привычной по форме властью (52) – желательно внепартийной или всепартийной (53).

Самоорганизационные потенции крестьянства были связаны не с крестьянскими, земельными, продовольственными комитетами и, тем более с Советами и комбедами (54), а с подчинением их традиционному крестьянскому сходу (55). Новой правовой системы крестьяне не понимали и не принимали (56). Ныне вряд ли стоит реанимировать доктринальную легенду о так называемой второй социальной войне в деревне – борьба с хуторянами и отрубниками на деле была начальной и необходимой стадией все той же "общинной" революции, в полной мере проявившей себя еще во времена Столыпина. По-видимому к 1917 г. крестьяне мечтали только об одном – полном устранении старых и новых препятствий на пути к "черному переделу". Представляется, что естественный продуктообмен полностью свел бы на нет и последующую отчаянную борьбу крестьян с "городом". Крестьяне попросту хотели, чтобы их навсегда оставили в покое, дали возможность жить по-своему (57).

Изучение движения казачества приобрело наиболее масштабный, планомерный и научно взвешенный характер, практически охватывающий все аспекты социального поведения, политической активности и специфического стремления к этноидентификации. Особой идеализации казачьего уклада и быта (что можно было бы ожидать, учитывая современную политическую атмосферу) не наблюдается, перекосов в сторону апологетики антибольшевистской активности казачества также не заметно. В поле зрения исследователей находятся все территории казачьих войск, но особенно активно, как и следовало ожидать, изучается казачество Юга России, где постоянно проводятся общероссийские конференции историков, уделяющих большое внимание проблематике революции и гражданской войны (58).

Действия средних городских слоев выглядят наиболее политизированными (59). На деле это касается преимущественно "новой" их части, то есть служащих и лиц свободных профессий. В любом случае они поддерживали умеренные по меркам 1917 г. партии, стремясь с их помощью стабилизировать обстановку в городе. Постепенно нарастало стремление к деполитизации (60). Возможности их корпоративной самоорганизации оказались достаточно велики, несмотря на индивидуализм городской жизни. Даже движение служащих и Советов депутатов трудовой интеллигенции за "союз пролетариев пера и молотка" показывает, что средние городские слои жаждали "революционного порядка", а не дестабилизации. Послеоктябрьские городские бунты носили, как

правило, ситуационный характер, они были связаны преимущественно с деклассированными низами (61).

"Революции национальностей", которым, по-видимому, никогда не избавиться от обвинений в сепаратизме, на деле были попыткой перестройки империи на этнотерриториальной и культурно-автономистской основах, которые ничуть не противоречили традиционным российским формам унии самодержца с территориями и народами (не случайно этот момент позднее активно использовали большевики). Удельный вес сецессионистских движений в 1917 г. был поразительно мал. Более того, можно говорить о феномене этноаваркии, особенно характерном для малых народов, интеллигенция которых как бы вообще не замечала общероссийской власти, концентрируясь на проблемах образования и культуры. Внутри национальных движений социальные факторы преобладали над "чистым" стремлением к национально-государственному строительству (исключение составляли малые и дисперсные этносы, чьи элиты сосредоточились на реализации культурно-автономистских программ (62)). Полагать, что национальные революции разрушили империю, значит сваливать с больной головы на здоровую: нации и этносы "побежали" от разрушающегося, по их представлениям, имперского центра, а вовсе не "предали" его. Совершенно не случайно с укреплением имперского ядра центробежные силы вновь проявили себя (63).

Действия имущих классов на этом фоне выглядят как слепая форма противодействия объективно идущему процессу самоорганизации социального хаоса "снизу". Формально, предприниматели и землевладельцы небезуспешно пытались консолидироваться для борьбы с "анархией и разрухой". Практически же, для преодоления того и другого на местах они сами ничего сделать не могли и не умели, а потому во все большей степени рассчитывали на помощь государства (64). В целом, они надеялись выжить в прежнем качестве, хотя объективно это было невозможно (лишь позднее помещики готовы были сами с санкции власти организованно передать землю крестьянам); проектов радикального преобразования хозяйственной жизни страны в соответствии с нуждами масс они не смогли предложить. Объективно, одним своим существованием в качестве "буржуев" имущие классы все больше и больше провоцировали экстремизм и эгалитарные устремления маргиналов и люмпенов (65). В любом случае все социальные силы "модернизации" обнаружили в 1917 г. не просто политическую беспомощность, но и непонимание существа происходящего.

Изучение роли женщин в революции получает развитие лишь в последние годы (66). В принципе гендерные исследования (присоединяя к ним и анализ возрастных характеристик масс, и реакцию детей на происходящее) способны привести к завершению создания целостной картины революционного процесса и, что более важно, осмысления его долговременных социокультурных последствий. Хотя Февральская революция и началась с женских хлебных бунтов, очевидно, что в целом развитое женское движение смогло бы в дальнейшем "облагородить" и ввести в конструктивные рамки движение социального протеста.

Оценивая революционные подвижки во всех слоях народа, становится очевидным, что при их меньшей эмоциональности и большем уважении россиян к закону революция никогда не обернулась бы гражданской войной. Институционный анализ хода революции убеждает в этом.

5. Институционная логика кризиса отношений власти и народа

В прошлом процесс "углубления" революции принято было связывать с деятельностью политических партий, наиболее радикальные из которых, как считалось, довели до логического конца изначальное противостояние Временного правительства и Советов. Стоит, однако, предположить, что в период российской "смуты" базовое значение для ее исхода приобретают не партийно-политические распри, а институционные подвижки в системе власти-подчинения. В пользу такого подхода, в частности, говорит и то, что программные разногласия между меньшевиками и эсерами были полностью перекрыты их единомыслием на почве "оборончества", "соглашательства" и практической деятельности в Советах. Нельзя забывать также, что на низовом уровне все социалисты порой выступали от лица "советского блока", противопоставляя себя и "цензовым элементам", и профессиональным, и "обывательским" организациям.

Прежде всего, представляется, что мнение о "двоевластии", как основном факторе гражданского раскола, документально не подтверждено ничем, кроме эмоциональных свидетельств людей, пуще всего на свете боящихся такого состояния. Двоевластие, во-первых, если на деле и существовало, то кратковременно — в первые послефевральские дни. Во-вторых, до осени 1917 г. его вполне можно рассматривать в рамках схемы правительство-оппозиция, что более соответствовало реальности, или как отголосок традиционной парадигмы российского имперства: народу — мнение, царю — власть. В-третьих, любое из этих состояний характеризовало лишь столичный уровень политической жизни, ибо в провинции ничего подобного не было. Наконец, почему не допустить, что событиями управляли скорее страхи двоевластия — столь понятные в российских условиях?

Если обратиться к региональному (то есть "среднероссийскому", а не петроградскому) уровню движения революции, то обнаружится, что реальная власть на местах перешла не к новоназначенным комиссарам Временного правительства, не к "опирающимся на силу" Советам, а к комитетам общественной безопасности (КОБам) или общественным исполнительным комитетам (была масса и других названий) (67). КОБы представляли собой корпоративный орган псевдособорного типа, куда входили на равных представители партий, различного рода профессиональных, национальных объединений и Советов, причем голос партий тонул в хоре "общественных" организаций. КОБами фактически смещались "чужие" и назначались "свои" комиссары Временного правительства. При всем российском стремлении к управлению "сверху" Временное правительство с КОБами вынуждено было считаться, без них оно управлять не могло. Сила КОБов (при всем управленческом бессилии властей в это время) была в том, что они реанимировали старые (полудискредитированные) органы местного самоуправления, "облагородив" их представителями либеральной и революционной общественности, что придало им видимость демократического представительства "соборного" типа. В принципе только органы такого типа могли конструктивно соединить политическую традицию и социальный радикализм масс.

КОБы, как никакой другой институт революции, могли стабилизировать ситуацию. Но возможности институционной самонастройки имперской системы на их основе вскоре были нарушены. КОБы погубили вовсе не Советы, а правительство доктринеров, решивших заменить эти "странные" и архаичные по своей природе органы на "правильно" (то есть на основе всеобщего избирательного права) созданные муниципалитеты. Между тем, для революционного времени прямая демократия столь же естественна и рациональна, как для спокойного времени — представительная. В России, к тому же "явочная" демократия перекликалась с "соборной" традицией.

В ходе до предела политизированной муниципальной кампании (иначе в то время и быть не могло) стабилизирующая система корпоративного представительства оказалась не просто разрушена — она была расколота на "демократический" и "псевдособорный" осколки, которые рядом существовать не могли. В муниципалитетах засели демагогичные, как правило, лишенные элементарных деловых качеств партийные лидеры. Хуже того, у наиболее крикливых из них появилась возможность "проявлять" себя и в Советах — органах леворадикальной "соборности". Последние не только в силу левизны представленных там политиков, не только по причине "классового" характера, но и по самой институционной логике кризисной эпохи могли оставаться общественно влиятельными органами только как эпицентр радикально-оппозиционных настроений.

Советы, опиравшиеся на "классовые", профессиональные и производственно-локальные (заводские) центры, имели, казалось бы, необходимую точку опоры за пределами малопривычной для народа парламентской системы (68). Но Советы, несмотря на свой видимый разрыв с прошлым, унаследовали страшный российский порок: тенденцию к соединению демагогии и популизма с бюрократизмом. Этому способствовала также неструктурированность законодательной инициативы и исполнительных функций внутри Советов.

В условиях растущего хаоса даже такие Советы не могли оставаться крайним институционализованным выражением радикализма масс. После корниловской авантюры властное начало фактически стало концентрироваться в фабзавкомах и казармах — там, где имелись вооруженные отряды, способные создать видимость общественного противостояния якобы растущей и все более организующейся контрреволюции. Призрак контрреволюции, как это обычно бывает в пору революционной неразберихи, открывал дорогу городской псевдореволюционной охлократии.

В деревне ситуацию в принципе мог спасти лишь фактор укорененности всесословного земства. Но земства существовали далеко не везде, отсутствовала сбалансированность различных их уровней (от губернских до волостных). В этих условиях после Февраля реальной низовой властью повсеместно становились крестьянские комитеты, сконцентрировавшиеся на решении земельного вопроса. Они подмяли под себя и остатки низовых земств, а также земельные, продовольственные комитеты и Советы. Фактически же за крестьянскими комитетами стоял сельский сход — революционный по отношению к любой другой власти, консервативный по своей упорной замкнутости на конкретных делах и "приходской" по духу. А поскольку авторитет сельских батюшек к этому времени был расшатан, жажда "черного передела" возросла, то крестьяне оказались податливы

на посулы крайних демагогов. Естественно, что низовые крестьянские комитеты стали во все большей степени выходить из подчинения вышестоящим, где засели бюрократизирующиеся (эсеровские, по преимуществу) политики.

В общеимперском масштабе положение мог стабилизировать своевременный созыв Учредительного собрания или переход власти к "соглашательским" Советам — не позже июля 1917 г. Это был последний шанс удержать институционный баланс в стране. Но в том и другом случае как кадетские правоведы, так и умеренные социалистические доктринеры своей приверженностью к формальной — совершенно чуждой большинству народа — демократии отсекли эту возможность. Искусственные псевдособорные органы, созванные вслед за этим умеренными силами — как Государственное, так и Демократическое совещание — теперь уже не могли противостоять экстремизму масс.

Так или иначе демократическую революцию погубили партийные доктринеры, так и не сумевшие понять институционной логики кризиса империи. Не удивительно, что к власти пришли большевики, генерировавшие массовую стихию до ее истощения. Они приспособили к своим целям Советы, насильственно "большевизировав" их (69) — зачастую с помощью беспартийных, темных и экстремистски настроенных солдат (70).

6. Логика нарастания социального психоза

То, что 1917 г. был отмечен растущей психопатологией массового сознания, отмечали все наблюдатели. Свое веское мнение на этот счет оставили В. Вернадский и П. Сорокин. Последний даже заявил, что в революционную эпоху в человеке просыпается не только зверь, но и дурак.

Если отвлечься от притягательности этого образа, то встанет задача выявления социальных источников девиантного поведения части народа. Простая констатация увеличения массы маргиналов или отождествление их с определенными социальными слоями (солдатами, деклассированными элементами и т. п.) вряд ли полностью прояснят существо дела. В России "отщепенцы" — сектанты, "босяки", "странники" и т. п. — в изобилии существовали всегда, но они скорее поддерживали общий баланс идейного и нравственного здоровья народа. В новых условиях мораль "новых маргиналов" трансформировалась в этику социальной вседозволенности и уравниловки — вплоть до лозунга "грабь награбленное".

Принято считать, что в любом обществе количество психически ненормальных людей составляет приблизительно один и тот же процент. Сомнительно, что даже в условиях переворота всей системы ценностей, всеобщей "депрограммированности" эти люди могли сами повести за собой массы. Очевидно, дело не в "революционных психах", а в достаточно неопределенной прослойке "полунормальных" или психопатических лиц, либо резко возрастающей количественно, либо через преодоление порога своей ущербности приобретающей возможности заражать своей манихейской непримиримостью достаточно обширный слой социально неприкаянных. К числу потенциальных социопатов с большей или меньшей степенью определенности можно отнести солдат, беженцев, депортированных, безработных,

люмпенов, пауперов, военнопленных и т. п. — общая численность которых в России в 1917 г. могла доходить до 20 млн. человек. Разумеется, среди них было предостаточно и "революционных идеалистов", и "загнанных в угол" обстоятельствами людей, и так называемых "оборотней революции" — тех, кто цинично и изворотливо использовал социальный хаос в корыстных интересах. В любом случае психология маргиналов нуждается в особом изучении, как и все психозы кризисного имперства. Русская революция — дело рук не "вождей", а "маленького" человека, доведенного до отчаяния непонятными для него "объективными" обстоятельствами. Это погромная реакция тех, кому нечего терять, на "чужую" власть.

Для осмысления "человеческих" истоков революции достаточно много сделано психоаналитиками. В сущности, всю русскую литературу революционной и постреволюционной поры можно анализировать под таким углом зрения. Наряду с этим, воспоминания (главным образом "неполитиков") дают нам картину нарастания озверения масс — обычно под сверхценностными лозунгами. К сожалению, исследователи до сих пор предпочитают мемуары крупных политиков, не отдавая себе отчета в том, что их самооправдания столь же далеки от "плоти" революции, как и былые неудачные действия.

Переломным моментом впадения в социальное буйство, вероятно, следует считать Февральскую революцию. С этого времени буквально все, связанное со старым, для значительной части общества стало объектом поношения и глумления; копившиеся десятилетиями отрицательные эмоции оказались сакрализованы. С победой Февраля Россия, да и весь мир стал представляться в черно-белом свете. Через взаимное заражение произошло изменение отношения к насилию: то, что раньше в обыденном сознании граничило с уголовщиной, становилось порой объектом восхищения. Террору стала приписываться функция очистительного социально-исторического жертвоприношения, бомбометатели предстали праведниками. Феномен "мартовских эсеров" не случаен; теперь и место министра юстиции полагалось занять близкому к ним человеку.

Для любой победившей революции на первый план — главным образом по причинам психологическим — выдвигается задача борьбы с "недобитой" контрреволюцией. Сила последней преувеличивается тем более, что революционные лидеры плохо представляют технологию строительства нового общества. В сочетании с самомнением это скоро заставляет их зацикливаться на поиске "вредителей". Всякий революционер — та функциональная величина кризиса, которая исчерпывает себя на его разрушительной стадии. В дальнейшем революционеры нуждаются в "поводырях". Российская история таковых выдвинуть не могла; хуже того, она в изобилии поставляла "пассионариев" разбойного типа. Трагедия революции была связана с тем, что рядом с наивным утопистом оказывался прыткий пройдоха и хам, давно дожидавшийся своего часа. Часто наличие чрезмерного количества фигур такого ряда создает впечатление, что революцию двигает не столько всеобщее помрачение умов, как холодный личностный интерес (71). Безусловно смута дает наилучший шанс тем, кто внутренне готов выдвинуться любой ценой. Сомнительно однако, чтобы циничная схватка честолюбий могла быть терпима в России в "нормальное" время.

В русской революции поражает не столько количество "вождей", как обилие "вожаков". Фигуры первых известны — это чаще бессребреники, сконцентрированные на видениях "светлого будущего" до утраты способности замечать людские страдания за окном. "Вожак", напротив, это манипулятор толпой, расчетливо разжигающий ее примитивные страсти и черпающий силы в людском неведении. Своеобразный симбиоз "вождей" и "вожаков", пуристов и палачей, как правило, и организует психоз в "революционный террор".

Механизм раскручивания революционного психоза, который десятилетиями игнорировался историками (как отечественными марксистами, так и западными бихевиористами), на деле не составлял никакой тайны для современников событий 1917 г. В прессе того времени можно найти массу соответствующих оценок. Так, 13 сентября 1917 г. кадетская "Речь" заявляла: "В основе своей нарастающий большевистский бунт есть бабий бунт, восстание против власти, не дающей молока, движение озлобленной обывательщины рабочих кварталов". Если отбросить момент барского неприятия "черни", то в этом много верного. 16 ноября 1917 г. правосоциалистический "День" прямо писал о массовых психозах, инициированных "диктаторами местного масштаба".

Лозунги революции обычно образуют знаковый ряд трансформации "старого" в "новое" и, вместе с тем, отражают эмоциональную напряженность этого процесса. Абсолютизировать лозунги нельзя — они действенны ровно настолько, несколько резонируют с социальным нетерпением и традиционными (или "перевернутыми") стереотипами поведения. Российская эмоциональность приводила к "неровному" течению кризиса. Исследователи давно подметили, что избыточное великодушие и всепрощенчество первых дней революции (следующее за вспышкой удовлетворенного гнева) скоро сменяется растущей жаждой мести — первоначально неориентированной, а потому особо сложной. Эта последняя с обретением "нового врага" приобретает характер жертвенной ритуалистики. В эпоху гражданской войны общество уже плохо различает грань между террором и смертью. Позже известная "замещенная суицидность" революционеров приобретает социально определяющий характер.

Несомненно, что исследование девиантного поведения людей революционной эпохи, занятие не для слабонервных. В прошлом исследователи под влиянием своеобразного "обаяния" логики "торжества справедливости" переставали замечать кровавые последствия их деяний. Так, немало было написано о женщинах-революционерках. Но исследователи упорно сторонятся достаточно распространенной фигуры женщины-палача. Как бы то ни было, не замечать темных сторон революции, значит, в конечном счете, отказаться от ее познания вообще.

7. Можно ли понять большевизм?

В современных условиях (очевидно, в противовес прошлому засилию "историко-партийного" подхода к Октябрю) научная история большевизма стала в России почти запретной темой. Принято считать, что с этим "все ясно": большевистская партия — главный "виновник" Октября. Подобный взгляд — лишь негативистское воспроизведение былой апологетики большевизма.

Апофеозом "перевернутого" мышления застойных времен можно считать попытки объявить большевизм "преступным", а октябрьский переворот — "нелегитимным". До тех пор, пока устремления такого рода носили частный характер, их можно было отнести к классическим случаям персональных посткоммунистических психозов, когда виновником всех личных неудач автоматически объявлялся старый режим. Но когда с подобными предложениями выступают парламентарии с учеными степенями, то становится очевидным: современное российское общество все еще готово предаться магии революционного манихейства, восходящему к "Красному Октябрю".

Вовсе не случайно, что обывательский интерес с большевизму сегодня вполне удовлетворяется антикоммунистическими работами биографического жанра. Закономерно, что фигура Ленина — эта наиболее рельефная функциональная величина революции — из объекта умиления стала объектом отталкивания. Наиболее показательный случай — книга Д. Волкогонова, автор которой даже не заметил, что ломился в открытую дверь, доказывая "антидемократизм" Ленина. То, что ленинизм несовместим с парламентарной политической культурой, ясно давно, тем более, что сам он этого не скрывал. Проблема в другом: почему Ленин, как сторонник европеизации России и проповедник доктрины европейского социализма, оказался изоморфен ходу и логике российской "смуты"? Почему этот на долгие годы оторванный от России политик стал харизматической фигурой? Этой загадки большевизма почему-то почти никто не видит.

И Ленин, и Троцкий с самого начала полагали, что революцию нельзя делать в белых перчатках — и у того, и у другого это не апология аморализма, а готовность взять на себя "грех" революционной эпохи. Историки упорно не замечают этого, предпочитая судить их по меркам "застойного" времени. Мало кто отваживается соблюсти по отношению к ним беспристрастность, понять, что мы имеем дело не просто с палачами, а скорее с героизированными жертвами излома большого исторического времени.

В период своего становления большевизм не случайно проявил себя через беспощадную критику экономических противоречий старого строя. Эта критика не могла не быть однобокой, в чем сами большевистские идеологи позднее не раз признавались. Но в главном они оказались правы: хозяйственное состояние общественного организма вошло в противоречие с социальными надеждами народа. В качестве "победителей" бывшие въедливые и проницательные критики гибнущего хозяйственного строя, напротив, обнаружили себя изрядными утопистами. В деятельности Ленина легко обнаружить черты догматика и политического фантазера, бесстрастного "врачевателя" больного общества и эмоционального проповедника. В современных условиях это "соединение несоединимого" увидеть и понять трудно (72). Обычно ленинские надежды на "ум, честь и совесть эпохи" подлежат осмеянию, но при этом забывается, что эта формулировка скрывала за собой отчаяние радикального западника перед неспособностью тогдашней европейской демократии избавить человечество от ужасов войны и склонностью парламентских партий к карьеристскому перерождению. Еще большим насмешкам подвергается пресловутая ленинская "кухарка", которой предстояло научиться "управлять государством" — а между тем без развитой способности к самоуправлению и контролю над "верхами" современное общество становится плутократическим источником всеобщей опасности.

В свое время отечественные авторы всерьез спорили: шли большевики на "социалистическую революцию" (октябрьский переворот), рассчитывая на поддержку всего крестьянства или только беднейшего? Догматики упорно приписывали ленинскому декрету о земле "социалистический характер", возражавшие считали его актом "общедемократического" содержания. Между тем, несомненно, что в российском социокультурном пространстве он (как и декрет о мире) приобрел совершенно иной смысл (тем более, что юридического механизма его реализации тогда не существовало). Декреты о мире и земле были вообще не политическими актами, а представляли своего рода сакральную самопрезентацию новой власти, претендующей на "праведность" в глазах масс.

Странная судьба и у ленинского лозунга "учиться коммунизму". Если признать, что история — это обучающий процесс, а не поле политиканствующего морализаторства, то придется согласиться, что указание Ленина необходимость овладения всем культурным богатством прошлого — это вовсе не специфически коммунистический, а естественный общечеловеческий лозунг, подсказанный скорее не Марксом, а системой классического образования.

Большевизм — это вовсе не грандиозный исторический обман, а достаточно обычный для XX в. самообман, который стал источником не преодоленного до сих пор иллюзорного исторического сознания. Лидеры большевизма, путая временную конъюнктуру с ведущей тенденцией, полагали, что идут столбовой дорогой человечества, а тем временем загоняли Россию в тупик имперской автаркии и государственного индустриализма архаичнейшего типа. Они же, думая, что ведут борьбу за мировую революцию, выступили генераторами обычного для России "смутного времени". Надеясь на самый "передовой" и высокоморальный класс, большевики на деле идейно вооружили маргиналов и социальных аутсайдеров. Наконец, полагая, что пробуждают "разум" наиболее сознательной, но малочисленной части общества, большевики на деле высвободили подсознание традиционалистской и численно преобладающей массы населения.

Придя к власти, большевики, казалось, лишились весьма скоро какой-либо видимой, не говоря об устойчивой, социальной опоры. Сам Ленин не раз называл чудом то, что они смогли удержаться у власти. Резонно предположить, что феномен большевизма куда более загадочен, чем принято считать, во всяком случае его осмысление в плоскости привычного позитивизма и социологизма бесперспективно. Что же тогда сделало большевизм изоморфным русской смуте, какие исследовательские методики способны это прояснить?

В свое время один из проницательнейших русских мыслителей Л. П. Карсавин отмечал, что "коммунистической идеологией большевизм не исчерпывается", более того, "коммунистическая идеология лежит лишь в "самом поверхностном слое русского исторического процесса" (73). Пока что масса исследователей далека от осознания этих достаточно простых вещей. Однако "стихийный" ход развития современной историографии "Красного Октября" убеждает, что наследие иллюзорного видения прошлого может быть преодолено.

* * *

Подводя итоги настоящего, безусловно, неполного и небесстрастного обзора, зададимся несколькими вопросами, касающимися отечественной историографии применительно к проблемам революции в России.

Грозит ли российской Клио разделение на сочувствующих и не принимающих революционаризм, как это произошло на Западе? Думается, что нет. Нынешние отечественные "красные" и "белые" в целом вышли из одной школы; несмотря на продолжающуюся полемику взаимодействуют между собой, все чаще объединяясь под одной крышей для обсуждения общетеоретических вопросов (71). Во всяком случае, силы взаимного притяжения преобладают.

Возможен ли в России разрыв между социальной и политической историей революции, как это произошло и даже увеличивается на Западе? Российское направление социальной истории имеет свои собственные традиции, связанные с политикой известного сорта, ее обновление в значительной степени направлено на разумную трансформацию политической истории (75). "Главный грех" социальной истории Запада, как его блестяще сформулировал М. Малиа в рецензии на слишком спорную книгу Р. Пайпса "Русская революция", состоящий в том, что она рискует выродится в "историю без политики" (76), российской историографии Октября пока не грозит. Какова же тогда возможная судьба книги Р. Пайпса (77) в России? Представляется, что она будет не очень удачной. Книга Пайпса, при всех ее определенных литературных достоинствах, содержит массу передержек и фактических ошибок, на которые уже довольно ехидно обращают внимание отечественные авторы (78).

Есть ли в таком случае перспектива у российской историографии традиционно политического (этатистского) типа. Думается, что на ближайшее будущее таких перспектив нет. Научная общественность попросту устала от любой — слишком вызывающей, но малорезультативной — политики. К тому же, наиболее активные политические историки событий 1917 г., очевидно сознавая надоедливость своих аргументов в пользу антибольшевистских "альтернатив", начинают вести себя как плохие массовики-затейники из захудалого дома отдыха: пытаясь увлечь, они сбиваются на дешевые фокусы карточного уровня (79), стремясь заинтересовать, они впадают в банальную дидактику (80).

Каково, наконец, возможное соотношение между исторической публицистикой и академическими исследованиями? Сегодня можно определенно сказать, что попытка приватизации публицистами отдельных достижений академической историографии провалилась. Публицисты попросту изолировали себя от науки, натужно выдавая свою растерянность за глубокомыслие, рефлексию — за историософский дискурс. Чаша весов явно склоняется в пользу академизма, хотя последний чаще занимает лишь охранительные позиции (81). Собственно научная мысль, несмотря на все ее слабости, обнаруживает силы и способности подлинно независимому существованию.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Автор ограничивает свою задачу анализом определившихся тенденций развития отечественной историографии, оставляя в стороне многочисленные конъюнктурные политизированные поделки. Работы западных авторов привлекаются постольку, поскольку они оказали или способны оказать конструктивное воздействие на российских историков. Общий замысел работы не позволяет уделить должного внимания острой полемике, развернувшейся в последнее время, по проблемам Октября среди западных авторов. Об общей ее направленности дает представление блестящая статья М. Малиа "В поисках истинного Октября" (см.: Отечественная история, 1992, №4).

2. См.: Soviet Historians and Perestroika. The First Phase. Ed. by D. Raleigh. NY, 1989; Facing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika. Ed. by T. Ito. Sapporo, 1989.

3. Shishkin V. A. The October Revolution and Perestroika: A Critical Analysis of Recent Soviet Historiography.— European History Quarterly. Vol. 22, №4, October 1992, p. 517—540; Кочетков Г. Н. Россия в 1917 году: выбор пути исторического развития (историография проблемы) — Европейская историография XX века. Ярославль, 1992 ; Красный Октябрь: двуликая история. Казань, 1992; Заболотный Е. Б. Революция 1917 года на Урале (историография). Тюмень, 1995; Антропов А. А. Отечественная историография Февральской революции. 1985—1992 года. В кн.: История Советской России: новые идеи, суждения. Тюмень, 1993; Курас Л. В. Октябрьская революция в Сибири. 1917 — середина 1918 г. в отечественной исторической литературе и источниках. Улан-Удэ, 1995; Миллер В.И. Революция в России, 1917—1918 гг.: Проблемы изучения. АДД. М., 1995.

4. Васьковский О. А., Тертышный А. Т. Феномен диктатуры пролетариата (1917 год в России в оценке историков). Екатеринбург, 1995.

5. См., например: Варнавский И. А. Политические партии России в трех революциях. Ижевск, 1992.

6. Непролетарские партии России. Урок истории. М., 1984.

7. См.: Меньшевики в 1917 году. Т. 1. От января до июльских событий. М., 1994.

8. К настоящему времени важнейшим итогом этой деятельности является книга "Политические деятели России. 1917. Биографический словарь" (М., 1993). Издание энциклопедии политических партий задерживается по финансовым причинам.

9. См.: Семенникова Л. И. В поисках новой научной парадигмы. В кн.: Отечественная и всеобщая история. Методология, источниковедение, историография. Брянск, 1993. С. 26—27.

10. См.: Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994.

11. Бовыкин В. И. Россия накануне великих свершений. К изучению социально-экономических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1988.

12. См.: Бовыкин В. И. Зарождение финансового капитала в России. М., 1967; Его же. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX — 1908 г. М., 1984.

13. См.: Россия, 1917 год: выбор исторического пути. ("Круглый стол" историков Октября, 22—23 октября 1988 г.) М., 1989; Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа? М., 1991; Революция и реформа: их влияние на историю общества // Новая и новейшая история. 1991, №2; Октябрьская революция. Народ: ее творец или заложник? М., 1992; Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб., 1994.

14. Вопросы истории капиталистической России. Проблема многоукладности. Свердловск, 1972.

15. Для знакомства с современным состоянием западных "социальных" исследований революции см.: Revolution in Russia: Reassessments of 1917. Ed. by E. R. Frankel, J. Frankel, B. Knei — Paz. Cambridge, 1992; Society and Politics in the Russian Revolution. Ed. by R. Service. Basingstoke, L., 1992; Bonwetch B. Die Russishe Revolution 1917. Darmstadt, 1991. К сожалению, лучшие из западных исследований были переведены на русский язык с непростительным запозданием. См.: Рабинович А. Кровавые дни: июльское восстание 1917 г. в Петрограде. М., 1992; Рейли Д. Политические судьбы российской губернии: 1917 в Саратове. Саратов, 1995.

16. Подробно об этом см.: Поликарпов В. В. "Новое направление" — в старом прочтении // Вопросы истории. 1989, №3.

17. Поразительный образчик умения выдавать черное за белое представил Бовыкин. См.: Бовыкин В. И. Проблемы перестройки исторической науки и вопрос о "новом направлении" в изучении социально-экономических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции // История СССР. 1988, №5.

18. См.: Кожевников В. П. О характере Октябрьской революции. В кн.: Октябрь 1917 года: вопросы истории. Н. Новгород. 1993. С. 4–6.

19. Не случайно последние "обобщающие" работы "застойных" лет, по иронии судьбы изданные на втором году "перестройки" (см.: Коренной поворот в истории человечества. Великая Октябрьская социалистическая революция. М., 1987; Великий Октябрь и защита его завоеваний. Т. I–II, М., 1987), представляли собой рассыпавшую храмину отдельных очерков, никак не связанных с экономической предысторией революции.

20. Попытки вписать Октябрьскую революцию в кризисный ритм российской истории достаточно хорошо известны (в частности по работам А. Янова). Наметились попытки связать их с особенностями русской ментальности. См.: Шепелева В. Б. К вопросу о духовных предпосылках исторического выбора России в 1917 году. В кн.: История Советской России: новые идеи, суждения. Ч. 1. Тюмень, 1993.

21. Вада Х. Российские революции 1917 г. как комплекс революций в эпоху мировых войн. В кн.: Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994. Характерно, что отдельные отечественные исследователи фактически подходят к такой же интерпретации революции, хотя исходят из старой идеи выделения "пролетарски-большевистской" и "народно-демократической" (крестьянской) революции. См.: Ильин Ю. А. Советская власть и крестьянство: к вопросу о механизме разрешения аграрных противоречий периода 1917–1920 годов. В кн.: История Советской России: новые идеи, суждения. Ч. 1. Тюмень, 1993.

22. См.: Модернизация в России и конфликт ценностей. М., 1994. С. 37–39.

23. Перов А. А. Традиции российской государственности и революционные события 1917 года. В кн.: Октябрь 1917 года: вопросы истории. Н. Новгород, 1993. С. 9.

24. См.: Buldakov V. Revolution or Crisis of Empire? — Bulletin of the Aberdeen Center for Soviet and East European Studies. 1993, №4. June, p. 9–10; Idem. Die Oktoberrevolution in der russischen und osteuropaischen Geschichte. — Berliner Jahrbuecher fuer Osteuropaischen Geschichte. 1994, Bd. 1. S. 53–58; Булдаков В. П. XX век в истории России: имперский алгоритм? — Национальные отношения в России и СНГ. М., 1994. С. 122–131.

25. См.: Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. Т. II. М., 1991. С. 23–32.

26. См.: Булдаков В. П. На повороте. 1917 год: революции, партии, власть. В кн.: История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991; Его же. 1917 год: почему не состоялся парламентаризм? // Народный депутат, 1992, №15; Его же. 1917 год: взрыв на стыке цивилизаций // Историческая наука в меняющемся мире. Вып. 2, Казань, 1994; Его же. Октябрьская революция как социокультурный феномен. В кн.: Россия в XX в. Историки мира спорят. М., 1994.

27. В 1994–1995 г. Научный совет РАН "История революций в России" провел первую из серии запланированных конференций, посвященных психосоциальной истории Октября (см.: Отечественная история. 1995, №4). На Западе проблематика "Революция и человек" возможно получит дальнейшее развитие в рамках так называемого либертарианского переосмысления революции (см.: Acton E. Rethinking the Russian Revolution. L., 1990).

28. См.: Соколова Е. Е., Аккуратов Е. П. Зависть, конституирующаяся как власть. (Размышления о психологических механизмах грубоуравнительного коммунизма) // Вестник Московского университета. Сер. 14. Психология, 1991, №3; Соколова Е. Е. Конфликт между идеалом и реальностью: к психологии восприятия социалистических идей в России // Вестник Московского Университета. Сер. 14. Психология. 1993, №4.

29. Реформы или революция? Россия, 1861–1917. Материалы международного коллоквиума историков. СПб., 1992; Шистер Е. А. Была ли альтернатива вооруженному восстанию? (Ленин о лозунге "Вся власть Советам!" и возможность мирного развития революции после разгрома корниловщины) // История СССР, 1990, №4; Старцев В. И. Альтернатива: фантазия и реальность // Коммунист. 1990, №15; Харусь О. А. К вопросу о возможности реализации буржуазно-демократической альтернативы общественного развития. В кн.: История Советской России: новые идеи, суждения. Тюмень, 1991; Бурганов А. Х. Была ли возможность создания демократического правительства после Октябрьской революции? // Отечественная история, 1993, №5; Протасов Л. Г., Миллер В. И. Всероссийское Учредительное собрание и демократическая альтернатива. Два взгляда на проблему // Отечественная история. 1993, №5; Рашитов Ф. А. Революция 1917 года: Альтернатива политической власти // Проблемы политологии и политической истории. Вып. 1. Саратов, 1993; Волобуев П. В. Октябрьская революция: путь к демократии или диктатуре? (Исторические итоги). В кн.: Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994.

30. См.: Булдаков В. П. Политические деятели 1917 года: взгляд из толпы. В кн.: Власть и общество в России в первой трети XX в. М.. 1994.

31. См.: Боханов А. Н. Крупная буржуазия России (конец XIX — 1914 г.). М., 1992. В этой содержательной работе заметно стремление "подтянуть" российскую буржуазию (которая оставалась "сословием-классом") до уровня вполне сформировавшегося класса европейского уровня.

32. См.: Трукан Г. А. Октябрь в Центральной России. М., 1967; Его же. Рабочий класс в борьбе за победу и упрочение Советской власти. М., 1975.

33. См.: Трукан Г. А. Революция, которая потрясла мир // История СССР, 1990, №1.

34. См.: Трукан Г. А. Была ли альтернатива большевистской власти? // Кентавр, 1993, №5, 6.

35. См.: Трукан Г. А. Путь к тоталитаризму. 1917–1929 гг. М., 1994. Данная работа состоит из набора старых, перестроечных и антикоммунистических штампов, выдаваемых за некую новизну взгляда.

36. См.: Гимпельсон Е. Г. "Военный коммунизм": политика, практика, идеология. М., 1973. Для того, чтобы оценить научную значимость данной книги, достаточно сопоставить ее с одним из новейших исследований (см.: Присяжный Н. С. Экономическая чума: военный коммунизм в России (Историко-экономический анализ. 1918–1921 гг.). Ростов-н/Д., 1994).

37. См.: Гимпельсон Е. Г. Советский рабочий класс. 1918–1920 гг.: Социально-политические изменения. М., 1974; Его же. Великий Октябрь и становление советской системы управления народным хозяйством. Ноябрь 1917 — 1920. М., 1977.

38. См.: Гимпельсон Е. Г. Политическая система и нэп: неадекватность реформ // Отечественная история. 1993, №2. С. 30, 34, 36.

39. См. Канищев В. В. Русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Погромное движение в городах России в 1917–1918 гг. Тамбов, 1995.

40. Показательно, что в свое время некоторые исследователи отмечали, что "низовое движение" времен первой "смуты" также нельзя оценивать как антигосударственное. См.: Локоть Т. В. Смутное время и революция (Политические параллели 1613 — 1917 гг.). Берлин, 1923. С. 39–41.

41. См.: Анатомия революции. 1917 год в России: массы, партии, власть. СПб, 1994; Косых Е. Н. Периодическая печать Сибири (март 1917 — май 1918 гг.). Томск, 1994. С. 95–96; Зверев В. В. Революции и реформы: исторический контекст и современное понимание. В кн.: Россия в новое время: выбор пути исторического развития. М., 1994.

42. Здесь наибольшая заслуга принадлежит Г. Л. Соболеву. См.: Соболев. Письма из 1917 г. // Коммунист, 1989. №15. В других работах 90-х годов эта тенденция проводится недостаточно уверенно. Смольянинов М. М. Революционное сознание солдат Западного фронта в 1917 году. Минск, 1991.

43. Важнейшие значение среди них имеет двухтомная работа А. Уайлдмена. Краткое изложение см.: Уайлдмен А. Армия и вопрос о легитимности власти в 1917 г. В кн.: Анатомия революции. 1917 год в России: классы, партии, власть. СПб., 1994. С. 238–251; Его же. Армия и вопрос о законности в России // Отечественная история. 1994, №2. Также см.: Миллер В. И. Солдатские организации 1917 г.: к содержанию понятия. В кн.: Общественные организации в политической системе России, 1917–1918 гг. М., 1991; Его же. Армии в Февральской революции: исторические параллели. В кн.: 1917 год в исторических судьбах России. Ч. I. М., 1992.

44. Люкшин Д. И. Солдаты тыловых гарнизонов: от колебания к бунту. В кн.: 1917 год в исторических судьбах России. М., 1993; Аннин А. Г. Антивоенное выступление солдат Нижегородского гарнизона в июле 1917 г. В кн.: Российская провинция и ее роль в истории государства, общества и развитии культуры народа. Ч. II. Кострома, 1994.

45. Некоторые итоги изучения рабочего движения см.: Flenly P. Rethinking the Russian Revolution,— European History Quarterly. 1989, Vol. 13, №1, p. 105–113; Kotkin S. "One Hand Clapping": Russian Workers and 1917,— Labor History. 1991, Fall, Vol. 32, №4, p. 604–609; Moon D. Agriculture and Peasants, Industry and Workers, Political Parties and Revolution: Recent Books on Russian History.— European History Quarterly. 1992, Vol. 22, №4, p. 597–604; Рабочие и российское общество. Вторая половина XIX — начало XX века. СПб., 1994.

46. Наличие крупного историографического задела обусловило то положение, что исследование положения рабочих на региональном уровне пошло как бы по накатанной колее (см.: Белова Т. В. Отчеты больничных касс и потребительских обществ как источник по положению рабочих Костромы в годы первой мировой войны. В кн.: Октябрь 1917 года: вопросы истории. Н. Новгород, 1993), сомкнувшись с западными исследованиями социальной активности россий-

ского пролетариата (см.: Кёнкер Д., Розенберг В. Стачки и революция в России в 1917 г. // Вопросы истории. 1991, №11).

47. См.: Киселев А. Ф. Профсоюзы и советское государство. М., 1991; Его же. Российские профсоюзы: от независимости к огосударствлению. В кн.: Власть и общественные организации в России в первой трети XX столетия. М., 1993; Shkliarevsky G. Labor in the Russian Revolution. Factory Committees and Trade Unions, 1917–1918. N.-Y., 1993.

48. См.: Кишилов В. Е. Отношение рабочих к большевистскому правительству в 1917–1918 гг. (На примере политических настроений железнодорожников). В кн.: Происхождение и начальный этап гражданской войны. 1918 год. Ч. I. М., 1994. С. 77–78; Чураков Д. О. Фабзавкомы в борьбе с бюрократизмом: некоторые аспекты социального реформирования в период российской революции 1917 года. В кн.: Научная программа: русский язык, культура, история. Ч. II. М., 1995.

49. Channon J. From Muzhik to Kolhoznik: Some Recent Western and Soviet Studies of Peasants.– The Slavonic and East European Review. Vol 70, №1, January 1992; Freeze G. New Scholarship on the Russian Peasantry.– European History Quarterly. 1992, Vol. 22, №4, p. 605–616. Данилов В. П. Наконец-то хрестоматия крестьяноведения издается в России. В кн.: Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. М., 1992; Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.). М., 1996; Формы сельскохозяйственного производства и государственное регулирование. М., 1995; Кабытов П. С. Русское крестьянство в начале XX века. Куйбышев, 1990; Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России. М., 1993; Савельев П. И. Пути аграрного капитализма в России XIX в. (по материалам Поволжья). Самара, 1994; Люкшин Д. И. Культурные традиции крестьянской общины в аграрном движении начала XX века. В кн.: Духовная культура: идеи, история, реальность. Казань, 1994; Стапанова О. В. Место и роль общины в истории крестьянства российского Центрального Черноземья. В кн.: История Советской России: новые идеи, суждения. Ч. I. Тюмень, 1993; Прошечкин С. Е. Аграрный вопрос в России в начале XX в. и его отражение в программах некоторых политических партий. В кн.: История России: проблемы экономического и социально-политического развития. Волгоград, 1995; Курочкин С. Л. Социально-экономические выступления крестьян – предтеча революций XX века. В кн.: Октябрь 1917 года: вопросы истории. Н. Новгород, 1993; Лурье С. В. Как погибла русская община. В кн.: Крестьянство и индустриальная цивилизация. М., 1993.

50. Бухараев В. М., Люкшин Д. И. Российская смута начала XX в. как общинная революция // Историческая наука в изменяющемся мире. Вып. 2. Казань, 1994; Люкшин Д. И. Крестьяне-общинники Казанской губернии и власть накануне гражданской войны. В кн.: Происхождение и начальный этап гражданской войны. Ч. 1. С. 79–81. Характерно, что в практически аналогичных выражениях характеризовал крестьянское движение Орландо Файджес. См.: Figes O. Peasant Russia Civil War. The Volga Countryside in Revolution. Oxford, 1989. Создается впечатление, что отечественные историки, ранее вынужденные живописать "классовую борьбу" крестьянства, также осуществляет пересмотр своих взглядов, но делают это достаточно осторожно (см.: Седов А. В. Проблемные вопросы крестьянского движения в 1917 году. В кн.: Октябрь 1917 года: вопросы истории. Н. Новгород, 1993).

51. Лапшина М. А. Земельная реформа 1917–1918 гг. и судьбы костромских усадеб – Российская провинция и ее роль в истории государства, общества и развития культуры народа. Ч. III. Костромская провинция в составе Российского государства. Кострома, 1994. С. 73–74; Еферина Т.В. Крестьянская община в годы революционных потрясений (по архивным материалам Мордовии). В кн.: Россия в новое время. Образованное меньшинство и крестьянский мир: поиск диалога. М., 1995.

52. Осипова Т. В. Обманутый класс // Родина, 1990, №10; Ланской Г. Н. Крестьянство и власть в России пореформенного периода. В кн.: Россия в новое время. Образованное меньшинство и крестьянский мир... С. 36; Фомичев А. В. Политическая жизнь российской деревни накануне Октября. В кн.: Октябрь 1917 года: вопросы истории. Н. Новгород, 1993; Протасов Л. Г. К истории движения в защиту Всероссийского Учредительного собрания в конце 1917 – начале 1918 гг. В кн.: Происхождение и начальный этап гражданской войны. 1918 год. М., 1994. Ч. I. С. 64.

53. Седов А. В. Крестьянские комитеты в 1917 году: идея, организация, статус. Саратов, 1990; Его же. Своеобразие крестьянских комитетов в 1917 г. на Северо-Западе России. В кн.: Северо-Запад в аграрной истории России. Калининград, 1994.

54. Яров С. В. Комитеты деревенской бедноты в оценках крестьян (1918 г.). В кн.: Русская история, историография, источниковедение. Томск, 1993; Тарасов Ю. А. Крестьянские съезды Советов 1917–1918 гг. в Центральном Черноземье (По материалам Курской губернии). В кн.: Центральночерноземная деревня: история и современность. М., 1992.; Телицин В. Л. "Помещичья собственность на землю отменяется без всякого выкупа" (Декрет о земле и крестьянское хозяйство Урала). В кн.: Крестьянское хозяйство: история и современность. Ч. II. Вологда, 1992; Нимзанов И. Б. Изменение социальной психологии крестьянства Среднего Поволжья в годы первой мировой войны. В кн.: Россия в новое время. Образованное меньшинство и крестьянский мир... С. 46; Якимова Т. В. Земельный вопрос на крестьянских съездах Западной Сибири в 1917 году. В кн.: История Советской России: новые идеи, суждения. Ч. I. Тюмень, 1993; Абрамов В. К. Крестьянское движение в Мордовии в 1917 году (опыт количественного анализа). В кн.: Крестьянское хозяйство и культура деревни Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 1990.

55. Третьяк Л. В. О "коммунитарности" российского крестьянства. В кн.: Россия в новое время: выбор путей исторического развития. М., 1994. С. 81; Тварковский С. Крестьянство и Советская власть в годы гражданской войны. В кн.: Вопросы истории гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке России. Владивосток, 1994.

56. Садков В. Н. "Формальная законность" и правосознание крестьян в условиях революционного кризиса. В кн.: Россия в новое время. Образованное меньшинство и крестьянский мир... С. 46–47; Зыкова В. Г. Вопрос об Учредительном собрании на съездах рабочих и крестьянских представителей Восточной Сибири в 1917–1918 годах. В кн.: История Советской России: новые идеи, суждения. Ч. I. Тюмень, 1993.

57. Никольский С. Власть и земля. Хроника утверждения бюрократии в деревне после Октября. М., 1990; Балашов Е. М. Отчеты агитаторов Ленинградского губкома ВКП(б) – источник изучения настроений крестьянства Северо-Запада в 1918–1925 гг. В кн.: Актуальные проблемы археографии, источниковедения и историографии. Вологда, 1995. С. 304; Мещеряков Ю. В. Крестьянское восстание в с. Рудовка Тамбовской губернии в октябре 1918 г. В кн.: Центрально-Черноземная деревня: история и современность. М., 1992; Осколков Е. Н. Ментальность крестьянства и аграрные реформы в России. В кн.: Историко-культурное наследие и современность. Краснодар, 1995; Московин В. В. Крестьяне Зауралья в начальный период гражданской войны (1918 г.). В кн.: История Советской России: новые идеи, суждения. Ч. I. Тюмень, 1993; Стариков С. В. Политико-просветительная деятельность демобилизованных революционных солдат в деревне Среднего Поволжья (ноябрь 1917 – май 1918 г.). В кн.: Крестьянское хозяйство и культура деревни Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 1990.

58. См.: Козлов А. И. Актуальность проблем истории казачества. В кн.: Проблемы истории казачества XVI–XX вв. Ростов-н/Д., 1995; Сергеев В. Н. Советы рабочих депутатов и казачество весной 1917 г.– Там же; Глушков А. Ф. Военно-политическая обстановка в Терском казачьем войске после Февральской буржуазно-демократической революции.– Там же; Кириенко Ю. К. Временное правительство и казачество (период мирного развития революции).– Там же; Матвеев В. А. К вопросу о политическом устройстве Северо-Кавказской казачьей охраны России накануне 1917 г.– Там же; Гиоев М. И. Казаки и горцы Северного Кавказа в 1917 г.– Там же; Дедев И. И. Казачество в балансе сил социалистической революции.– Там же; Зайцев А. А. Кубанская казачья рада: в поисках третьего пути.– Там же; Тикиджьян Р. Г. Калмыки-казаки в период Октябрьской революции и в начале гражданской войны (октябрь 1917 – февраль 1918 г.). Там же; Шулдяков В. А. К вопросу о характере и социальной базе политического течения "Трудовое казачество" в Сибирском войске (1917 – первая половина 1918 г.) – Там же; Трут В. П. Попытки консолидации сил казачьей контрреволюции Дона и Северного Кавказа на начальном этапе гражданской войны.– Там же; Гакаев Ж. Ж. Социалистическая революция и терское казачество.– Там же; Трусова Е. М. Агитационная борьба большевиков среди трудового казачества Дона (февраль 1917 – май 1918 г.).– Там же.

59. Канищев В. В. Советы и средние городские слои Центральной России в 1917 г. В кн.: Общественные организации в политической системе России 1917–1918 гг. М., 1991; Канищев В. В., Мещеряков Ю. В. Анатомия одного мятежа. Тамбовское восстание 17–19 июня 1918 г. Тамбов, 1995; Щербинин П. П. Городские средние слои Черноземного центра в буржуазно-демократических революциях в России. АКД. М., 1993.

60. См.: Смирнов Н. Н. На переломе: российское учительство накануне и в дни революции 1917 г. СПб., 1994; Ватник Н. С. Провинциальная учащаяся молодежь в 1917 году. В кн.: Российская провинция и ее роль в истории государства, общества и развитии культуры народа. Ч. II. Социально-экономическая и общественно-политическая жизнь российской провинции. Кострома, 1994. С. 113–114; Евстратова А. И. Учащаяся молодежь и освободительное движение (на мате-

риалах Костромской губернии). В кн.: Российская провинция и ее роль в истории государства, общества, народа. Ч. III. Костромская провинция в составе Российского государства. Кострома, 1994.

61. Есиков С. А., Каницев В. В. Бунтарские выступления в городах в конце 1917 – первой половине 1918 г. как симптом гражданской войны. В кн.: Происхождение и начальный этап гражданской войны. Ч. 1. С. 53–54.

62. Мирсаит Султан-Галиев и идеология национально-освободительного движения. Научно-аналитический обзор. М., 1990; Мяллер В. И. Этнонациональные факторы революционного процесса // Кентавр. 1992, №3–4; Булдаков В. П. Революционный процесс и национальный фактор. – Октябрьская революция в Средней Азии и Казахстане: теория, проблемы, перспективы изучения. Ташкент, 1991; Крайнов Г. Н. Национально-освободительное движение марийского народа: история и современность. В кн.: Национальные движения и национально-патриотические партии: опыт, уроки формирования, перспективы. Чебоксары, 1994; Изоркин А. Национально-освободительное движение чувашского народа: история съезда вирьяльцев.– Там же. С. 36–39; Люкшин Д. И. Этнонациональные отношения в "общинной революции" начала XX века. В кн.: Феномен народофобии. XX век. Казань, 1994; Нам И. В. Съезды национальных меньшинств Сибири (1917 – начало 1918 г.). В кн.: Октябрь и гражданская война в Сибири. С. 102; Ее же. Культурно-национальная автономия в России: опыт Дальневосточной республики. В кн.: Российская государственность: опыт и перспективы изучения. М., 1995.

63. Ахмед Заки Валиди Туган. 1890–1990. Материалы к изучению жизни и творчества. Уфа, 1990; Кульшарипов М. М. З. Валидов и образование Башкирской Автономной Советской республики (1917–1920 гг.). Уфа, 1992; Войнов В. М. Неизвестные страницы политической биографии Валидова // Башкирский край. Вып.I. Уфа, 1991; Бугай Н. Ф., Мекулов Д. Х. Народы и власть: "социалистический эксперимент". Майкоп, 1994.

64. Кочетков Г. Н. Российские землевладельцы в 1917 г. Ярославль, 1994; Матвеев М. Н. Земства Самарской губернии и выборы в Учредительное собрание // Вопросы истории. 1995, №8; Харусь О. А. К вопросу о политической организованности сибирской буржуазии накануне социалистической революции. В кн.: Октябрь и гражданская война в Сибири. С. 23–35; Розенберг У. Г. Создание нового государства в 1917 г.: представления и действительность. В кн.: Анатомия революции. С. 80, 88, 95.

65. Колоницкий Б. И. Антибуржуазная пропаганда и "антибуржуйское" сознание. В кн.: Анатомия революции. С. 188–202. Его же. Правоэкстремистские силы в марте – октябре 1917 г. (на материалах Петроградской печати). В кн.: Национальная правая прежде и теперь. Историко-социологические очерки. Ч. I. СПб., 1992.

66. См.: Добротвор М. Н. Октябрьская революция и равноправие женщин. В кн.: Октябрь 1917 года: вопросы истории. Н. Новгород, 1993.

67. Герасименко Г. А. Первый акт народовластия в России: общественные исполнительные комитеты (1917 г.). М., 1992; Его же. Народ и власть. 1917. М., 1995; Коцюбинский Д. А. Политическая эволюция коалиционных органов власти с марта по октябрь 1917 года. На примере Владимирского губернского временного исполнительного комитета. В кн.: Общественные организации в политической системе России 1917–1918 годов. М., 1991; Румянцев Е. Д. К истории формирования комитетов общественной безопасности Казанской губернии в 1917 году. В кн.: Проблемы культуры и искусства: традиции и современность. Казань, 1994. С. 44–46; Саечников В. С. Некоторые проблемы формирования низовых органов власти в конце 1917–1918 г. В кн.: Дискуссионные проблемы отечественной истории. Арзамас, 1994. С. 107–111; Его же. Местные органы Временного правительства в Поволжье: принципы формирования, состав, функции и практическая деятельность в 1917 году. В кн.: История Советской России: новые идеи, суждения. Ч. I. Тюмень, 1993; Трут В. П. Оформление и деятельность высших органов казачьего самоуправления в Донском, Кубанском и Терском войсках в период между Февральской и Октябрьской революциями. В кн.: Историко-культурное наследие и современность. Краснодар, 1995; Саечников В. С. Некоторые проблемы формирования низовых органов власти в конце 1917–1918 г. В кн.: Дискуссионные проблемы отечественной истории. Арзамас, 1994. С. 107–111; Миллер В. И. Учреждения и организации революционных эпох: к вопросу о закономерностях развития. В кн.: Власть и общество в России в первой трети XX в. М., 1994; Солдатов А. Ф. Деятельность Владимирского временного исполнительного комитета в 1917 году. В кн.: Российская провинция и ее роль в истории государства, общества и развитии культуры народа. Ч. II. Социально-экономическая и общественно-политическая жизнь российской провинции. Кострома, 1994; Ильин Ю. А. Демократические институты власти г. Иваново-Вознесенска в марте 1917 г.– Там же.

68. Трусова Е.М. Массовые организации трудящихся Дона и Северного Кавказа в феврале – октябре 1917 г. Ростов-н/Д., 1992; Российская государственность: исторический аспект. М., 1995. С. 37–41; Дубровская Е. Ю. Гельсингфорсский Совет депутатов армии, флота и рабочих в 1917 г. (март–октябрь). Петрозаводск, 1992; Дудник И. А. Возрождение Советов рабочих и солдатских депутатов в 1917 г. и их сущность. АКД. М., 1992; Голдин В. И. Политическая эволюция Мурманского Совета в 1917–1918 гг. В кн.: Общественные организации в политической системе России. 1917–1918 гг. М., 1991.

69. См.: Обухов Л. А. Советы Урала в 1917 году. Пермь, 1992; Филимонов В. Я. К изучению истории государственного строительства в первый год Советской власти. В кн.: Дискуссионные проблемы отечественной истории. Арзамас, 1994. С. 99–107; Возвращение к правде. (Из истории политических репрессий в Тверском крае в 20–40-е и начале 50-х годов.) Документы и материалы. Тверь, 1995. С. 13–16; Тимкин Ю. Н. Вятская губернская организация ВКП(б) в 1918 г. В кн.: Происхождение и начальный этап гражданской войны. Ч. I. С. 109–110; Румянцев Е. Д. Советы и органы Временного правительства: соотношение власти на местах (март – октябрь 1917 года). В кн.: История Советской России: новые идеи, суждения. Тюмень, 1991; Клоков В. А. Тактика меньшевиков по отношению к Советам. Октябрь 1917 – июнь 1918 г. В кн.: 1917 год в исторических судьбах России. М., 1993; Соколов Е. Н. Некоторые проблемы становления местного финансового аппарата Советской власти в 1917–1920 годах. В кн.: Российская государственность: опыт и перспективы изучения. М., 1995; Коржихина Т. П., Фигатнер Ю. Ю. Советская номенклатура: становление, механизм действия // Вопросы истории. 1993, №7.

70. См.: Сикорский Е. А. К вопросу о создании местных организаций большевиков в первый год власти Советов (по материалам Смоленской губернии). В кн.: Происхождение и начальный этап гражданской войны. Т. I. С. 109–113. Морозов Е. Г. Красная гвардия в уральской деревне в 1917–1918 годах. В кн.: История Советской России: новые идеи, суждения. Ч. I. Тюмень, 1993; Толстова Н. Н. Большевизация местных Советов в годы гражданской войны. – Там же, С. 49–51; Федорова И. М. Новая бюрократия в Калужской деревне 20-х годов. В кн.: Деревня Центральной России: история и современность. М., 1993. С. 99–101.

71. Журавлев В. В. Революция сквозь призму интереса: в дополнение к сказанному // Отечественная история. 1995, №4.

72. Имеются, правда, отрадные исключения. См.: Коган А. И. Большевистские вожди: к вопросу об интеллигентности и прагматизме. В кн.: Октябрь 1917 года: вопросы истории. Н. Новгород, 1993; Ильясов Ф. Н. Большевизм: норма или отклонение? // Вестник Российской академии наук. Т. 66. №1, 1996.

73. Карсавин Л. П. Философия истории. СПб., 1993. С. 310.

74. См.: Гражданская война и культура. М., 1996.

75. В этом отношении тон задают аграрники. См.: Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.). М., 1996; Формы сельскохозяйственного производства и государственное регулирование. М., 1995.

76. Малиа М. В поисках истинного Октября // Отечественная история. 1992, №4. С. 198.

77. Пайпс Р. Русская революция. Ч. I–II. М., 1994.

78. См.: Овруцкий Л. М. Ричард Пайпс о левых эсерах: работа над ошибками // Отечественная история. 1996, №1. С. 190–194.

79. См., Кулешов С. "Писать о феврале навзрыд" // Родина. 1996, №2.

80. См.: Кулешов С., Секиринский С. Отец и сын. Российские престолонаследники // Независимая газета, 1996, 13 марта.

81. Поляков Ю. А. Наше непредсказуемое прошлое. Полемические заметки. М., 1995.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ

А. И. Ушаков, В. П. Федюк

История гражданской войны никогда не принадлежала к числу тем, обойденных вниманием советских исследователей. Это нетрудно понять, ведь исход гражданской войны трактовался как своего рода легитимация системы: если Советская власть выстояла в борьбе с многочисленными и могущественными противниками, значит народ действительно поддержал ее, а все сомнения — "от лукавого". Такая ситуация имела свои плюсы, во всяком случае литературы о гражданской войне издавалось немало, и с точки зрения накопления фактов дело на месте не стояло. Но это же загоняло исследователей в жесткие рамки изначально заданных конструкций, пресекало любые нетрадиционные подходы и оригинальные выводы. Господство ортодоксальных взглядов нашло отражение и в массовом сознании, не случайно герои гражданской войны, утеряв прежний ореол, трансформировались в персонажей анекдотов.

Это положение стало изменяться в конце 80-х — начале 90-х годов. Причиной тому была не столь декларированная "гласность", которая поначалу дозировалась довольно строго, сколько ощущение повторения того, что, казалось бы, давным-давно ушло в прошлое. Социологи отмечали в то время, что у населения проявляется "почти болезненный интерес к гражданской войне, участившиеся попытки «примерять» к себе ее события..." (1). Сказать, что "предчувствие гражданской войны" раскрыло глаза историкам может быть было бы слишком громко, но то, что это оставило свой отпечаток — несомненно.

Вероятно, нельзя считать случайным то обстоятельство, что наибольшее число проблемных публикаций по истории гражданской войны пришлось на 1992–1993 годы. Распад Советского Союза и угроза того, что по этому же пути последует и Россия, противостояние президента и парламента, закончившееся орудийной канонадой в центре столицы,— все это, помимо желания авторов, чувствуется на втором плане, идет ли речь о крушении Российской империи или судьбе Учредительного собрания.

Накал страстей явственно ощущается, когда читаешь отчет о заседании "круглого стола", проходившего в марте — апреле 1992 года в Институте российской истории. Хотя большинство его участников сошлись во мнении, что поиски виновников развязывания гражданской войны — дело бесперспективное, но фактически вопрос "кто виноват?" так или иначе поднимался в каждом выступлении. Именно он доминировал при обсуждении хронологических рамок гражданской войны.

Известно, что за последние десятилетия среди советских историков утвердилась точка зрения, согласно которой отсчет гражданской войны начинался с весны 1918 года (обычно в качестве ориентира бралось выступление чехословацкого корпуса или высадка англичан на Мурмане). Такая датировка прочно утвердилась в учебниках и обобщающих трудах. Тем удивительнее, что большинство участников "круглого стола" высказалось против нее. Уже Ю. А. Поляков, чье выступление на заседании ученого совета Института российской истории стало толчком к дискуссии, предложил считать началом гражданской войны захват власти большевиками. "Взятие власти в столице было, безусловно, актом гражданской войны... Ну а таким ожесточенным схваткам как семидневное сражение в Москве, бои в Ташкенте, Иркутске, под Ростовом, в Коканде, на Южном Урале и т. д. можно ли подобрать другое определение, нежели гражданская война? Если это не гражданская война, то что такое тогда называть гражданской войной?" (2). Если заменить приведенные названия на Карабах, Приднестровье, Абхазию, то становится понятной столь несвойственная "академическому стилю" эмоциональная окраска этих слов.

По мнению А. И. Зевелева, начало гражданской войны следует относить к Февральской революции, когда вооруженным путем был ликвидирован царский режим. Л. М. Спирин предложил считать события, происходившие с лета по октябрь 1917 года "первой гражданской войной", возложив ответственность за ее развязывание на большевиков. С его точки зрения, захват власти большевиками стал началом "второй гражданской войны", продолжавшейся до 1922 года (3). К сожалению, журнальный отчет не объясняет критериев столь необычного явления, и потому его приходится фиксировать без пояснений.

Гражданская война продемонстрировала торжество методов насилия при разрешении политических и социальных проблем, и потому в отнесении ее начала не только к октябрю, но уже к февралю 1917 года была своя логика. Однако, как обратил внимание Ю. И. Игрицкий, "цепочка предлагаемых дат приобрела импульс тянуться все глубже и глубже в историческую ретроспекцию: осень 1918 г.— лето 1918 г.— весна 1918 г.— разгон Учредительного собрания — мятеж Каледина — октябрь 1917 г.— август 1917 г.— Февральская революция — революционная ситуация начала XX в. и первая российская революция... Наверное, уже рождаются и более ранние варианты" (4). Действительно, дело может быть доведено до абсурда, если не различать предпосылки гражданской войны и саму войну, потенциальную, нереализованную возможность, и возможность, ставшую реальностью.

С компромиссных позиций на заседании "круглого стола" выступил В. И. Миллер, чуть позже опубликовавший специальную статью, где развивалась все та же мысль. Он предложил разделять взгляд на гражданскую войну как на процесс (в этом смысле она действительно началась в феврале 1917 года) и период в русской истории (ограничив его традиционными рам-

ками) (5). Но, как это бывает всегда с компромиссными вариантами, (понять, почему хронологические границы "процесса" и "периода" не совпадают было достаточно мудрено) предложение В. И. Миллера особого отклика не встретило.

В 1994 году в брошюре "Гражданская война: взгляд сквозь годы" Ю. А. Поляков предложил один из вариантов схемы периодизации гражданской войны. "Гражданская война в России, длившаяся с 1917 г. по 1922 г., была сложным, многоэтапным, многофазовым явлением. — пишет Ю. А. Поляков. — Развязывание, течение войны включает следующие фазы: насильственное свержение самодержавия... (февраль-март 1917 г.). Усиление социально-политического противостояния в обществе, неудача российской демократии в ее попытке установить гражданский мир, эскалация насилия (март — октябрь 1917 г.). Насильственное свержение Временного правительства, установление советской власти в России, новый раскол общества, распространение вооруженной борьбы (октябрь 1917 г.— март 1918 г.). Дальнейшая эскалация насилия, террор с обеих сторон, локальные военные действия, формирование белых и красных вооруженных сил (март — июнь 1918 г.). Время ожесточенных сражений между массовыми регулярными войсками... милитаризация экономики — время войны полном смысле этого слова (лето 1918 г.— конец 1920 г.). Постепенное, после завершения крупномасштабных военных операций, затухание гражданской войны, ее локализация и полное окончание (1921—1922 гг.)" (6).

Из всех участников "круглого стола" только В. П. Наумов и В. И. Петров высказались в пользу традиционной периодизации. В.И. Петров предложил начинать освещение событий гражданской войны с похода Керенского—Краснова на Петроград (7). Казалось бы, разница в считанные дни, а то и часы, разделяющая захват власти большевиками и выступление Керенского, не играет существенной роли. Но тут встает вопрос об ответственности за первый шаг, ставший толчком к дальнейшей эскалации насилия. В одном случае ее несут большевики, в другом — их противники.

Это и объясняет столь бурное обсуждение проблемы, носящей на первый взгляд сугубо схоластический характер. Из споров о временных рамках гражданской войны встает все тот же гонимый и отвергаемый как ненаучный вопрос "кто виноват?". Конечно, избежать его трудно. События, о которых идет речь, столь разительно схожи с сегодняшней действительностью, что невольно порождают у любого исследователя "иллюзию присутствия". Человека же, на себе ощутившего последствия социальных катаклизмов, бесполезно утешать тем, что все происшедшее с ним объективно обусловлено глубокими предпосылками и историческими закономерностями. В итоге российская историография гражданской войны все отчетливее стала развиваться под знаком поисков виноватых.

Отсюда следовал неизбежный логический вывод. Если были конкретные виновники, если все было отнюдь не столь жестко запрограммировано, как это представлялось нам ранее, значит при ином стечении случайных факторов история могла бы пойти совсем другим путем. Это объясняет короткое, но бурное увлечение "историческими альтернативами", которое пережила отечественная наука. Профессионалы, дотоле снисходительно заявлявшие, что игры с сослагательным наклонением есть удел писателей-фантастов, неожиданно начали выяснять, а "что было бы, если?". Что было бы, если бы октябрьское выступление большевиков было подавлено с самого начала? Что было бы, если бы осенью 1917 года было создано "однородное социалистическое правительство"? Что было бы, если бы Учредительное собрание не было распущено после первого же дня своей работы?

Учредительному собранию повезло особенно. Литература, посвященная ему, очень многочисленна, и на примере ее наглядно видно, как изменение настроений общества влияло на взгляды историков. В начале 1992 года в журнале "Вопросы истории" была опубликована статья В. В. Журавлева и Н. С. Симонова, рассматривавшая последствия неудачи эксперимента с "российской конституантой" (8). В трактовке авторов статьи роспуск Учредительного собрания — прежде всего, упущенный шанс трансформации большевистского режима в демократически-правовое государство на основе национального согласия и широкого политического блока левых партий. Однако, большевики "частично не успели (?), частично не захотели" идти на соглашение с оппозицией, утвердив в итоге свою монополию на власть.

Новая возможность создания левой коалиции, возникшая в конце 1918 г., когда руководство эсеров объявило об отказе от антисоветской деятельности, тоже оказалась нереализованной из-за взаимной неуступчивости и недоверия. В последний раз основа для сближения большевиков, с одной стороны, эсеров и меньшевиков, с другой, сложилась к началу 20-х годов. По мнению авторов статьи, концепция НЭПа была близка к программе умеренных социалистов, но вновь между потенциальными союзниками не было достигнуто согласия. В итоге, "реформа политического строя застопорилась, усугубив худшие стороны и проявления системы, возникшей в пору «военного коммунизма». Их консервация послужила затем питательной средой формирования сталинского тоталитаризма" (9).

Прошло не так уж много времени, но сейчас эти мысли производят впечатление давно ушедшей эпохи, периода надежд на "социализм с человеческим лицом". Упреки в адрес большевиков и их оппонентов-социалистов за то, что они не смогли достичь пресловутого " консенсуса", звучат теперь, по меньшей мере, наивно.

Совсем иные оценки содержатся в опубликованной два года спустя статье Л. Г. Протасова. В его понимании роспуск Учредительного собрания был точкой отсчета всего последующего периода истории. "В истории Октябрьской революции роспуск Учредительного собрания пребывает, так сказать, в тени главного события — восстания 25 октября в Петрограде. Но в истории российского тоталитаризма иерархия этих событий иная" (10). Если для В. В. Журавлева и Н. С. Симонова Учредительное собрание было шансом легитимации Советской власти и закрепления в ее деятельности демократических начал, то Л. Г. Протасов полагает такую возможность весьма сомнительной. "Для этого Советская власть должна была превратиться в традиционную систему самоуправления, то есть перестать быть самой собой" (11). Эти слова почему-то заставляют вспомнить не только (а, может быть, и не столько) 1918, но и 1993-й, конфликт между президентом и Верховным советом, воспринимавшийся определенной частью общества как борьба с последним наследием коммунистического прошлого.

В оценке большевиков Л. Г. Протасов категоричен. По его мнению, их неудача на выборах в Учредительное собрание фактически означала "вотум

недоверия новой власти". В свою очередь, успех эсеров "значителен прежде всего тем, что это была массовая поддержка центристской, примирительной линии, а вовсе не триумф партийной доктрины" (12). Упрекать автора в излишней категоричности суждений как-то и неудобно, поскольку Л. Г. Протасов известен как один из крупнейших знатоков истории Учредительного собрания. Однако, трудно удержаться от того, чтобы не высказать сомнения: неужели полутора месяцев оказалось достаточно для того, чтобы Советская власть дискредитировала себя, причем даже там, где о ней и слышали-то только понаслышке? Как можно говорить о массовой поддержке центристской, примирительной линии, если выборы в крупных городах продемонстрировали крайнюю степень поляризации общества, и эсеры вышли лишь на третье место, уступив не только большевикам, но и кадетам? Похоже, что оценки автора есть результат аберрации, порожденной наложением прошлого на настоящее.

За десять "перестроечных" и "постперестроечных" лет общественные настроения эволюционировали от недоверчивости к надеждам и от надежд к разочарованию. Все происходившее в стране крепило в массовом сознании убеждение в том, что политики не считаются с мнением народа. Характерное преломление это получило в историографии. На упоминавшемся заседании "круглого стола" в Институте российской истории диссонансом по отношению к сказанному другими участниками прозвучало выступление Г. З. Иоффе: "Вопреки распространенному мнению о том, что вектор борьбы шел снизу, было, скорее, наоборот... Гражданская война была результатом борьбы за власть, развязанной политическими структурами" (13). Эта мысль последовательно проводится и в других статьях того же автора.

В февральские дни 1917 года, как полагает Г. З. Иоффе, "вопрос о монархии практически решили несколько оппозиционных политических лидеров" (14). Близорукость и политиканство погубили Временное правительство и отдали страну в руки большевиков. Но и сами большевики не собирались считаться с народом, продемонстрировав это разгоном народных представителей. "Волеизъявление большинства было без колебаний попрано радикальным меньшинством, силой прорвавшимся к власти" (15). Ничуть не лучше были и противники большевиков, также погрязшие в партийном эгоизме и корыстных интересах.

Напрашивается тривиальное резюме: "Политика — грязное дело". Но если история вершится политиками (а грязными или чистоплотными — уже не суть важно), значит буквально каждый ее эпизод содержит возможность множества альтернатив. И действительно, Г. З. Иоффе, кажется, предложил максимальное число таковых. По его мнению, несостоявшиеся возможности были заложены не только в Учредительном собрании. Общенациональная (антибольшевистская) коалиция могла сложиться в сентябре 1918 года на Уфимском государственном совещании (16). Автор называет это "последним шансом".

Однако, оказывается, что и этот шанс был все-таки не последним, ибо "гражданская война могла бы закончиться зимой 1919 г., если бы расчеты политиков не стали выше интересов истекавшего кровью народа". Речь идет о планах проведения мирной конференции на Принцевых островах. Как полагает Г. З. Иоффе, конференция не состоялась только потому, что "никто из тогдашних «действующих лиц» не хотел поступиться своими политическими интересами и амбициями" (17). Странно читать такие сентенции за подписью Г. З. Иоффе — признанного и авторитетного специалиста в области истории гражданской войны. Если страна (применяя образ, использованный самим же автором) "встала на дыбы", трудно поверить, что все могло бы кончиться исключительно чьим-то волевым решением.

Этот же автор в 1995 году выпустил книгу под названием "Семнадцатый год: Ленин, Керенский, Корнилов". В аннотации к изданию указывается, что в книге "впервые предпринята попытка дать историю российских революций... через характеристику личностей и деятельности трех главных политических лидеров эпохи..." По сути же эта монография является "расширенным и дополненным" изданием выпущенной в 1989 году книги "«Белое дело». Генерал Корнилов". Но, прошло шесть лет, акценты поменялись. Поменялся также и порядок глав в новой книге. И не только порядок, но и названия некоторых из них. Так например, глава "Ставка против правительства" обрела новомодное наименование "Августовский путч", а "Утерянные шансы" стали "Последним шансом демократии". К тому же автор повторяет и ряд фактических неточностей и преднамеренных искажений присутствовавших в книге о Корнилове (18).

Что до бесчисленных альтернатив, возникающих, если трактовать гражданскую войну исключительно как порождение борьбы за власть соперничающих политических клик, то смущает уже само их обилие. Пожалуй, следует согласиться с Ю. А. Поляковым: "Альтернативы существуют всегда. Их множество. Любая революция (коль скоро речь идет о революциях) может остановиться на половине пути, на трети или четырех пятых его (кстати, как определить, где конец пути?), может свернуть влево или вправо. Дело не в количестве вариантов и возможных альтернатив и их теоретическом обосновании, а в их реальности" (19). Характерно, что в последние годы былое увлечение "историческими альтернативами" заметно угасло. На смену умозрительным конструкциям приходит изучение действительно существовавших вариантов, заложенных уже в самом многообразии противостоявших друг другу в гражданской войне сил.

Отсюда вытекает растущий интерес исследователей к истории противников большевизма. В значительной мере он стал реакцией на замалчивание этой темы в предыдущие годы, но, к несчастью с самого начала обрел некий оттенок политической моды. На книжный рынок хлынул поток часто дублировавших друг друга переизданий белых мемуаров, как правило воспроизводящих не оригинал, а советские публикации 20-х годов (20). Так, например, известная книга Романа Гуля "Ледяной поход" была опубликована в "перестроечные" и "постперестроечные" годы не менее пяти раз и общий тираж этих изданий составил свыше 550 тысяч (!) экземпляров. И все эти издания воспроизводили текст опубликованный в Советской России в начале 20-х годов, несмотря на то, что более полный текст был опубликован самим автором в 80-е годы в "Новом журнале".

В 1991 году издательством "Наука" были выпущены в свет первые два тома "Очерков русской смуты" А. И. Деникина. Остается только сожалеть, что на этом дело завершилось, и последующие тома света так и не увидели. Правда, полный текст "Очерков" вот уже несколько лет (с 1990 г.) печатается на страницах журнала "Вопросы истории", но это, так сказать, "голая" публикация, без каких-либо пояснений и комментариев. Равно как не содержит коммента-

риев и самое объемное из изданий белых мемуаров — предпринятый издательством "Терра" репринт 22-х томов берлинского "Архива русской революции".

Разумеется, дело не во всех случаях обстояло так. В 1991 г. В. Г. Бортневским была издана с большой статьей-послесловием одна из лучших книг о Белом движении — книга генерала А. В. Туркула "Дроздовцы в огне" (21). Им же по материалам Пражского архива была издана книга "Записки белого офицера" Э. Н. Гиацинтова с подробными комментариями и вводной статьей (22).

Самостоятельное научное значение (прежде всего для восстановления персоналий) имеют комментарии В. И. Голдина в двухтомном сборнике воспоминаний о Белом движении на Севере (23). Очень информативны комментарии С. В. Карпенко к книгам серии "Белое дело" (24).

Особо нужно выделить вводные статьи и комментарии к материалам о революции и гражданской войне, помещенным в пяти томах альманаха "Русское прошлое" (25). Следует отметить также, что в отличие от других подобных изданий "Русское прошлое" отбирает только те документы и воспоминания, которые никогда не публиковались ранее. Уже в первом томе альманаха были опубликованы записки петроградского градоначальника А. П. Балка, сенсационные воспоминания белогвардейского агента в Кремле — А. А. Бормана. За этим последовали уникальные публикации о белогвардейской контрразведке, об осведомительной организации "АЗБУКА", письма известных политических деятелей эпохи революции и гражданской войны. Отдельный том полностью состоит из материалов предоставленных парижским Обществом ревнителей русской истории.

Несомненный интерес для исследователей представляют и вышедшие три номера военно-исторического журнала "Новый Часовой" (26). Наряду с исследованиями и публикацией документов по военной истории России и СССР в журнале публикуются статьи и материалы по истории гражданской войны.

В 1995 году вышел в свет сборник "Октябрь 1920-го. Последние бои Русской армии генерала Врангеля за Крым". Книга представляет собой своего рода хрестоматию "Крымского периода" гражданской войны, в которой собраны отрывки из более чем двух десятков воспоминаний (от генерала Врангеля до малоизвестного подпоручика Власова). Предисловие С. Волкова к этому изданию является примером политизированности истории в наше время. Идеализируя Русскую армию Врангеля, автор пишет, автор пишет, что она "строилась на строго регулярной основе, целиком и полностью в традициях Императорской армии" (?!). Далее С. Волков убежденно заявляет: "Были изжиты конфликты с руководством казачьих областей, разрешен в интересах абсолютного большинства населения страны земельный вопрос, сформировано эффективное гражданское управление" (27). Столь вольное жонглирование фактами может ввести неискушенного читателя не просто в заблуждение, а дезориентировать по ключевым вопросам не только "Крымского периода", но и всей гражданской войны. К тому же, автор пользуется явно ненаучной терминологией — "сатанинский замысел", "дьявольская идеология" и т. д. Составитель сборника А. Дерябин указывает, что в него "вошли лишь воспоминания и работы Белых военачальников, генералов и офицеров, что продиктовано *взглядами составителя*" (курсив наш. — *А. У., В. Ф.*). Далее составитель справедливо замечает: "Безусловно, что для изучения и восстановления объективной картины событий октября 1970 г.

в Крыму этого недостаточно — необходимо использовать различного рода официальные документы, переписку, мемуары и т. д. не только Белой армии, но и исходящие от красных" (28).

В последние годы появились и специальные исследования, где написанные в эмиграции воспоминания, мемуары, исследовательские работы деятелей антибольшевистского движения рассматриваются с позиций источниковедческого анализа (29).

По сравнению с обилием мемуарных публикаций число работ, посвященных собственно истории противников большевизма, поначалу было невелико. Среди них преобладали газетные и журнальные статьи о лидерах антибольшевистской борьбы (особенно повезло романтической фигуре адмирала А. В. Колчака) (30). В большинстве из них настолько явно прослеживаются каноны агиографического жанра, что так и хочется объединить их в рубрику "Пламенные контрреволюционеры". Этой опасности не всегда могли избежать даже авторитетные специалисты. В статье, посвященной генералу В. О. Каппелю, В. Г. Бортневский писал: "Должен признаться: изучая историческую литературу, мемуары, советские и зарубежные архивные документы, я, сталкиваясь постоянно с лавиной позитивной информации об этом человеке, пытался найти какие-либо свидетельствующие против него лично сведения — дабы избежать расхожего обвинения в идеализации. Но тщетно! таких сведений, по всей очевидности, просто нет" (31).

При всем уважении к автору этих строк, возражение здесь напрашивается само собой: дело не в дозировании позитивной и негативной информации, "агиографический" подход убивает образ реального человека, в результате чего мы рискуем с новым набором лубочных героев оказаться столь же далеки от глубокого осмысления прошлого, как и ранее.

Из биографических произведений особого внимания заслуживает работа Л. А. Юзефовича о бароне Р. Ф. Унгерне (32), и не только потому, что это не статья, а довольно объемная книга. Человек в эпоху социальных катаклизмов — тема для российских историков новая и почти не разработанная. Связанные с ней вопросы обсуждались в 1994—1995 гг. на двух конференциях, проведенных Научным советом РАН "История революций в России", но исследовательских публикаций по этой проблеме немного. Собственно, книга Л. А. Юзефовича и не исследование в академическом понимании. Обстоятельства биографии реального человека и демоническая легенда о "кровавом бароне" настолько тесно переплетаются на ее страницах, что подчас она больше напоминает роман, несмотря на постоянные отсылки к свидетельствам современников и документам. Относить это к числу недостатков работы вряд ли стоит, ибо автор и не пытается придать ей облик классической монографии. Во всяком случае, эта работа принадлежит к числу немногих, затрагивающих ту область, где большинство историков пока еще чувствует себя крайне неуверенно.

В последние два-три года исследования о белом движении публикуются все чаще (33). Подробный рассказ о них занял бы слишком много места и потому остановимся на наиболее, с нашей точки зрения, показательных.

Статья В. М. Войнова является одной из первых работ по истории белого офицерства. Известно, что особенностью белого движения была его военная природа, активная роль армии в решении важнейших вопросов политической

и государственной жизни. В статье на примере Сибири рассматривается состав белого офицерства, эволюция его политических симпатий, своеобразные проявления "белой" психологии.

Этой же проблематике, но заявленной более "глобально", посвящена вышедшая в Нижнем Новгороде брошюра "Белое движение и отечественный офицерский корпус в годы гражданской войны в России (1917–1922 гг.)" (34). Авторы предпринимают попытку показать сущность белого движения, причины его возникновения и социальную базу, политическую программу и идеологию, а также причины поражения. Но, как часто бывает, декларировать гораздо легче, чем исполнить, поэтому на двух печатных листах текста даже маститым историкам не всегда удается всесторонне осветить такие широкие проблемы. В виде приложений авторы брошюры публикуют биографические очерки "идеологов, организаторов и руководителей белого движения". Несомненно, это очень важно и интересно, но удивительным остается, почему же очерки посвященные военным руководителям российской контрреволюции частично (биографии А. М. Каледина, Л. Г. Корнилова, А. В. Колчака, А. Я. Слащева и др.) или же полностью (биографии П. Н. Врангеля, Н. Н. Юденича) переписаны с комментариев ко второму изданию двухтомника Н. Е. Какурина "Как сражалась революция", вышедшему в 1990 году, без указания автора этих комментариев.

Необычна по постановке вопроса статья В. Г. Бортневского о белой разведке и контрразведке. Статьи В. М. Войнова и В. Г. Бортневского вводят в научный оборот богатую информацию, но, к сожалению, пока еще иллюстративны и не складываются в целостную картину. Вероятно, это следует объяснить и ограниченными возможностями архивных источников, но, так или иначе, темы, поднятые в названных статьях, отнюдь не закрыты для дальнейшей разработки.

То же самое относится и к статье Н. И. Дмитриева, посвященной экономической политике адмирала Колчака. На основе большого количества архивных материалов автор подробно рассматривает состояние финансов "Белой Сибири", характеризует положение в промышленности и на транспорте. Исследования такого рода особенно важны, ибо победа в гражданской войне зависела не только от боеспособности армий и стратегических талантов их вождей.

Еще раз повторим — история антибольшевистского движения сравнительно недавно вошла в круг тем, активно изучаемых российскими исследователями. Отсюда и неразработанность методологических вопросов, путаница на уровне терминов и дефиниций. Восполнить этот пробел стремятся немногие, ведь концептуальные построения более уязвимы для критики, чем любые исследования по конкретным вопросам. К слову сказать, в отечественной исторической науке в последние годы наблюдается своего рода фобия в отношении любых методологических конструкций. Обязательный раздел автореферата любой современной диссертации, содержащий сведения о методологических основах исследования, как правило сводится к стандартному набору ничего не значащих фраз о "принципах историзма", "научной объективности" и т. д. Здесь, видимо, имеет место элементарное незнание современных теорий исторического развития, рожденное долголетним безраздельным господством "единственно верного" учения. Тем больше оснований приветствовать "безумство храбрых", тех, кто все-таки решился перейти от конкретики на уровень обобщений.

Специалистам давно известны работы В. Д. Зиминой по истории антибольшевистских сил Юга и Северо-Запада России. Новое ее исследование представляет собой попытку характеристики Белого движения как единого целого, определения его места и роли в истории гражданской войны (35). О таком подходе свидетельствуют уже названия глав: "Белое движение: структура и этапы развития", "Белое движение: политические режимы и их типология" и т. д. Следует отдать должное научной эрудиции автора. В работе использовано огромное количество литературы, в первую очередь эмигрантских изданий, причем в немалой части — не использовавшихся ранее отечественными исследователями. Правда, подчас создается впечатление того, что эта информация подавляет автора. Приводя в первой главе многочисленные оценки Белого движения, исходящие из уст самих белых, автор резюмирует: "Разобраться в случившемся не могли ни его участники, ни его очевидцы, не сумевшие даже договориться до единого понимания того, что такое Белое движение" (36). Констатация любопытная, но обескураживает то, что и сама В. Д. Зимина не пытается дать ответа на этот вопрос.

Но это, скорее, исключение, в большинстве случаев автор не боится самостоятельных выводов. Пытаясь дать типологию белых режимов, Зимина пишет, что для большинства из них было характерно "переплетение авторитарных и демократических принципов с ориентацией на сохранение и поддержание исторически традиционных, сформировавшихся форм общественной и государственной жизни России". В другом месте автор указывает, что Белое движение "сформировалось на основе отрицания всего того, что делали коммунисты" и как результат "недооценивало взаимосвязь военной и социальной сторон гражданской войны и шло в своих практических действиях по пути реанимации дореволюционной России", совершенно искренне при этом отрицая упреки в реставраторстве (37). Замеченные здесь двойственность и противоречивость характеризовала и иные стороны Белого движения, подтверждений чему можно найти немало.

Выводы В. Д. Зиминой можно оспаривать или принимать, но, несомненно, ее работа относится к самым интересным из числа вышедших за последнее время. Было бы досадно, если бы из-за того, что появилась она в провинции и минимальным тиражом, работа не получила должного резонанса.

К разряду исследований, привлекающих неординарностью постановки вопросов, нужно отнести и книгу Г. А. Трукана, на страницах которой предпринята попытка проследить истоки российского тоталитаризма (38). Говоря о ней, уместно продолжить тему Белого движения тем более, что в книге этому посвящена довольно объемная глава. Полагая, что в принципе был возможен и иной исход гражданской войны, автор пытается выделить причины, обусловившие поражение белых. В том порядке, в каком они изложены, выглядят эти причины следующим образом. Во-первых, стратегический просчет белых вождей, сделавших ставку на западную помощь. "Союзники, их своекорыстная политика, недостаточная и несвоевременная помощь погубили антибольшевистское движение и тем самым погубили Россию" (39). Не хотелось бы ссылаться на предыдущие работы Г. А. Трукана (каждый имеет право пересмотреть свои взгляды), но, пожалуй, приравнивание гибели антибольшевистского движения

к гибели России выглядит немного странно. Не очень понятны и мотивы, заставившие автора поставить эту причину на первое место. Впрочем, об этом можно догадаться, если вспомнить, что надежды на западную помощь и последовавшее за ними разочарование мы не столь давно пережили вновь.

Реалии дня сегодняшнего ощущаются в книге и дальше. Второй причиной неудачи антибольшевистского движения Трукан считает сепаратизм окраин. "Парад суверенитетов разрушил великую державу, помог укрепить диктатуру большевиков" (40). Трудно судить, что для автора хуже — крушение великой державы или установление диктатуры большевиков (которые, к слову сказать, державу успешно восстановили).

Зато следующее обстоятельство, отмеченное Г. А. Труканом, может считаться удачной находкой. По его мнению в пользу большевиков сыграли настроения масс, охваченных стремлением к переделу собственности. "Эти массы охотно уселись за стол, накрытый большевиками социалистической скатертью. Лидеры антибольшевизма потерпели поражение, пытаясь оторвать массы от этого стола". Пожалуй, это точнее, нежели обычные ссылки на то, что белые не сумели или не захотели осуществить земельный передел. Большевики с самого начала объявили о передаче земли крестьянам, но это не спасло их от восстания деревни. Реквизиции же и конфискации в годы войны применяла и та и другая сторона.

Еще одной причиной победы большевиков автор книги считает разногласия внутри антибольшевистского лагеря. "Троцкий и Сталин не любили друг друга больше, чем Деникин и Краснов, Колчак и Гайда. Однако большевики имели идеологию, которая объединяла их вместе, и руководителя Ленина, чей авторитет и власть признавались всеми без исключения" (41). Этот тезис сомнений не вызывает. Об отсутствии объединяющей идеи и личности всеми признанного вождя не раз писали и эмигранты-мемуаристы.

Конечно, названные в книге факторы не охватывают всего перечня причин поражения антибольшевистских сил, да и перечень этот, наверное, можно продолжать до бесконечности. Но повторим — внушает уважение уже само стремление автора высказаться по тем вопросам, о которых другие пока предпочитают молчать.

Особое место в истории гражданской войны занимает упомянутый выше вопрос об иностранном вмешательстве. Было время, когда затяжной и кровопролитный характер войны ставился в вину исключительно интервентам, а в основу ее периодизации были положены пресловутые "три похода Антанты". Удивительно, но сейчас эта некогда популярная тема оказалась почти забытой.

Из опубликованных за последнее время исследований специально она рассматривается лишь в работах В. И. Голдина (42). О позиции этого автора говорит уже вопрос, вынесенный в заголовок одной из его статей — "Интервенты или союзники?" В. И. Голдин полагает, что дать однозначную оценку интервенции Антанты невозможно, ибо менялись не только ее масштабы, но и характер. На первом этапе она диктовалась не столько стремлением поддержать антибольшевистские силы, сколько желанием воссоздать на востоке антигерманский фронт. Как фактор гражданской войны интервенция превращается лишь со времени высадки англичан в Архангельске и позднейшего союзнического десанта на юге.

Попытки разграничить "иностранную военную помощь" и прямое вторжение выглядят необычно, но вызывают настороженное отношение. К тому же, такое деление в лучшем случае подходит к ситуации, имевшей место на Севере, но выглядит совершенно искусственно применительно к японскому десанту на Дальнем Востоке. С формальной точки зрения и немецко-австрийская оккупация Украины тоже не носила антибольшевистского характера, ибо предпринята была согласно букве брестских соглашений, но именно семимесячное пребывание немцев на юге позволило окрепнуть антибольшевистским силам и тем самым не в последнюю очередь породило последующие два года гражданской войны.

Противостояние красных и белых во многом определяло характер войны, но отнюдь не исчерпывало цветов ее палитры. Если ранее это часто забывалось, то последние годы, напротив, характеризуются повышенным вниманием исследователей к различным аспектам, условно говоря, "зеленого" движения. Появился целый ряд публикаций о Н.И. Махно и махновщине (43). Самой заметной из них стала монография В. Н. Волковинского, вышедшая, что называется, "на грани эпох", когда новые трактовки только-только начали пробиваться сквозь догматические схемы прошлых лет (44). На страницах книги это очень заметно. Для автора его герой — отнюдь не просто бандит, Махно "был органически связан с трудящимся крестьянством, хорошо знал чаяния и стремления сельского населения". При этом автор не идеализирует махновское движение: "Противоречия, раздиравшие повстанческую армию Махно, были во многом противоречиями самого крестьянства, в сознании которого удерживались не только коммунистически уравнительные представления о справедливости, но и дикая ненависть к господствующим классам, недоверие к интеллигенции, стремление побольше урвать у «буржуйского» города" (45). Однако с этими смелыми даже для "перестроечных" лет оценками на страницах книги соседствует традиционное утверждение том, что конец махновского движения был предопределен провозглашенным большевиками курсом на союз со средним крестьянством.

Еще более популярным среди исследователей сюжетом стала история крестьянских выступлений в Тамбовской губернии, знаменитой "антоновщины" (46). Тема эта в предыдущие десятилетия фактически замалчивалась и посему понятен налет сенсационности в некоторых посвященных ей публикациях, определенная идеализация повстанческого движения и его вождя.

Впечатление наиболее взвешенных оценок производит статья С. А. Есикова и Л. Г. Протасова, намечающая новые подходы к изучению "антоновщины" (47). Авторы справедливо указывают на то, что ее истоки нужно искать в событиях осени 1917 года, когда крестьяне громили усадьбы и захватывали помещичьи имения. Да, большевики дали крестьянам землю, но доверие к новой власти очень скоро было подорвано введением продовольственной диктатуры, продотрядами и комбедами, насильственной мобилизацией в армию. Очаги крестьянского сопротивления существовали на протяжении всех лет гражданской войны, и собственно "антоновщина" стала лишь последним звеном этой цепи.

В работе показано, что традиционная версия об организации тамбовского восстания руководством партии эсеров не имеет под собой оснований, хотя влияние эсеровской идеологии явственно прослеживается в поведении его руководителей.

Этот вопрос специально рассматривается в статье С. А. Есикова и В. В. Канищева, посвященной деятельности "Союза трудового крестьянства", ставшего организационным ядром тамбовского выступления (48). Авторы статьи приходят к любопытному выводу: "Многие решения и мероприятия комитетов "Союза трудового крестьянства" имели весьма очевидные аналогии с политикой советской власти: от политического "комиссарского" контроля за принятыми в партизанские армии офицерами и чиновниками, широкого учета и контроля за "народным имуществом", до суровых наказаний за любые проступки "по законам революционного времени". Видимо, логика времени вынуждала социалистов любых оттенков, пытавшихся взять власть, действовать одинаково" (49). Это выводит на вопрос о "степени родства" противостоявших друг другу в гражданскую войну политических сил, вопрос, который в последнее время поднимается все чаще.

Уже заголовки статей об "антоновщине" дают широчайший разброс: "мятеж", "восстание" и даже "последняя крестьянская война". Этимологически "мятеж" и "восстание" различить трудно, но мы привыкли придавать терминам оценочное содержание. Застарелая привычка искать в истории "наших" и "ненаших" нередко срабатывает до сих пор. Иллюстрацией этого могут быть споры о красном и белом терроре.

Сюжет этот мог бы стать темой специального историографического очерка, настолько регулярно он возникает на протяжении последних лет (50). В его трактовке советская историография прошла путь от замалчивания красного террора в 60–70-е до попыток оправдать его необходимостью защиты завоеваний революции — на заре эпохи "гласности". В постсоветское время среди историков утвердилось мнение о равной вине обеих сторон, и красных и белых, в развязывании массового террора.

В таком духе написано наиболее крупное исследование по этой проблеме — монография А. Л. Литвина (51). Но еще раньше, в 1993 году, в шестом номере журнала "Отечественная история" им же была опубликована статья "Красный и белый террор в России 1917–1922". Бесспорно, статья интересна, тем более, что была написана на основе не только разнообразной литературы, но и с использованием архивных источников. К сожалению, как отметил в своем письме в редакцию В. Бортневский, "общий вывод автора носит... вовсе не академический, а публицистическо-декларативный характер: «И как бы ни описывали события тех лет участники, очевидцы, историки, суть одна — красный и белый террор были наиболее варварским методом борьбы за власть... Любой террор — преступление перед человечеством, чем бы он ни мотивировался»" (52). Далее автор реплики пишет, что "появись эта статья года три-четыре назад — ее можно было бы только приветствовать... но сейчас же выводы автора наводят на грустные размышления, поскольку априорно признаваемый принцип «равной ответственности» за жертвы войны не может... способствовать ее объективному научному исследованию". В конце своего письма он отмечает и то, что белый террор показан А. Л. Литвиным "донельзя поверхностно, иллюстративно, он как бы искусственно «привязан» к террору красному..." (53)

Заметим, к слову, что единственная глава о белом терроре в монографии А. Л. Литвина явно уступает по содержательности другим.

Но при общем подходе понимание его разнится. Для одних это повод задуматься над причинами, вызвавшими многолетнюю кровавую вакханалию: "Разумеется, нет смысла ни оправдывать зверства, ни впадать в дешевое морализаторство, ни заниматься поиском того, кто начал террор первым. Важнее понять нравственно-психологическое состояние общества после многих лет войны" (54). Для других принцип равной вины не мешает искать, кто же виновен более. В этой связи регулярно вспоминается пресловутый "приказ Корнилова, обязывавший не брать пленных" (55). Кстати, похоже, что его нужно отнести к разряду мифов, ибо такого документа попросту нет (при этом нужно признать, что такое распоряжение было в общем-то в духе Корнилова).

В последнее время принцип равной вины стал трактоваться применительно не только к ответственности за развязывание террора, но и к общей оценке политики красных и белых. Наиболее прямолинейно это сформулировано в упоминавшейся книге Г. А. Трукана: "При всех различиях между большевистской и военной диктатурами было много сходства. И тот и другой режимы ставили во главу угла несбыточные утопические идеи. Одни — коммунистические, другие — имперские, предусматривающие сохранение единой, неделимой России. А это толкало неизбежно к реставрации старых порядков, безвозвратно ушедших после двух революций. И те, и другие, внедряли свои утопические идеи с помощью насилия, ставшего главным и определяющим в деятельности большевиков и военных диктаторов. И здесь еще один парадокс нашей истории: ожесточенное противоборство двух типов диктатур, независимо от исхода, усиливало и закрепляло тенденцию тоталитарного развития нашего общества в качестве наиболее вероятной альтернативы" (56).

Здесь явно подменяют друг друга понятия "тоталитаризм" и "авторитаризм", но это, в конце концов, не главное. Призыв "чумы на оба ваших дома" понятен, памятуя крайнюю степень политизации обсуждаемых вопросов, но абсолютно не годится в качестве методологической основы. Мало того, что фатальная предопределенность рождает слишком пессимистические оценки настоящего и будущего. По сути такая постановка делает бессмысленным дальнейшие исследования. Если исход запрограммирован изначально, то зачем вообще спорить? Однако отказаться от "равной вины" значит опять искать более виноватого. Выход из этого круга один — отказаться от идентификации себя с "красными" или "белыми", вспомнить, что это уже история, пусть недавняя, пусть до боли похожая на сегодняшний день, но все же история.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Васильцов С. Мы снова в бой пойдем? // Родина. 1990. №10. С. 31.
2. Поляков Ю. А. Гражданская война в России: возникновение и эскалация // Отечественная история. 1992. №6. С. 37.
3. Гражданская война в России: "круглый стол" // Отечественная история. 1993. №3. С. 105, 110.
4. Там же. С. 109.
5. Миллер В. Гражданская война: исторические параллели // Свободная мысль. 1993. №15. С. 111.
6. Поляков Ю. А. Гражданская война: взгляд сквозь годы. Уфа, 1994. С. 25.
7. Гражданская война в России: "круглый стол". С. 103.

8. Журавлев В. В., Симонов Н. С. Причины и последствия разгона Учредительного собрания // Вопросы истории. 1992. №1.

9. Там же. С. 16.

10. Протасов Л. Г., Миллер В. И. Всероссийское Учредительное собрание и демократическая альтернатива: два взгляда на проблему // Отечественная история. 1993. №5. С. 17.

11. Там же. С. 11.

12. Там же. С. 13.

13. Гражданская война в России: "круглый стол". С. 111.

14. Иоффе Г. З. Россия, вставшая на дыбы... // Наука и жизнь. 1993. №1. С. 4.

15. Иоффе Г. З. Между двумя большевизмами // Московские новости. 1994. №1. С. 5.

16. Иоффе Г. З. Уфа 1918 года: последний шанс // Московские новости. 1993. №41. С. 7.

17. Игнатьев А., Иоффе Г. Упущенный шанс: Гражданская война могла закончиться зимой 1919 г., если бы расчеты политиков не стали выше интересов истекавшего кровью народа // Московские новости. 1994. №6. С. 7.

18. Г. З. Иоффе ошибочно указывает, что Л. Г. Корнилов окончил Академию Генерального Штаба с золотой медалью. Корнилов окончил Академию не с золотой, а с малой серебряной. Также неверно указывается, что после Русско-японской войны Корнилов служил "в разных округах: в Туркестане, на Кавказе, в Прибалтике; "Русский общевоинский союз" называется "Российским" и т. д. Описывая в книге "«Белое дело». Генерал Корнилов" пребывание Корнилова и других генералов в заключении в Бердичеве и Быхове, автор, ссылаясь на дневник генерала Маркова, пишет, что "наиболее популярными темами были мистика, масонство. Бывало с выпивали..." Но в дневнике генерала Маркова ни разу не упоминается о "выпивании", а слово "масоны" встречается не более двух раз и то в конце "екатерининской эпохи". (См.: ГАРФ. Ф. 5827. Оп. 1. Д. 24.; Ушаков А. И. Рай за решеткой. Из тюремного дневника мятежного генерала Маркова // Родина. 1990. №10.)

19. Поляков Ю. А. Гражданская война в России: возникновение и эскалация. С. 36.

20. См.: Деникин А. И. Поход на Москву. М.,1989; Деникин А. И. Поход и смерть генерала Корнилова. Ростов-н/Д., 1989; Белое движение: начало и конец: Р. Гуль Ледяной поход (с Корниловым); Ген. А. Деникин. Поход на Москву (Очерки русской смуты); Р. Гуль. Жизнь на фукса. М., 1990; Гуль Р. Ледяной поход. Деникин А. И. Поход и смерть генерала Корнилова. Будберг А. Дневник. М., 1990; Белые армии, черные генералы: Мемуары белогвардейцев. А. И. Деникин. Очерки русской смуты. Р. Б. Гуль. Ледяной поход. П. Н. Краснов. Всевеликое войско Донское. Г. Я. Виллиам. Побежденные. Ярославль, 1991; и др.

21. Туркул А. В. Дроздовцы в огне. Л., 1991.

22. Гиацинтов Э. Записки белого офицера. СПб., 1992.

23. Белый Север. 1918–1920 гг.: Мемуары и документы. Вып. 1–2. Архангельск, 1993.

24. Кубань и Добровольческая армия. М., 1992; Дон и Добровольческая армия. М., 1992; Генерал Корнилов. М., 1993; Ледяной поход. М., 1993.

25. Русское прошлое. Историко-документальный альманах. Вып. 1–5. СПб., 1991–1994.

26. Новый Часовой. Русский военно-исторический журнал. №1–3. СПб., 1994–1995.

27. Октябрь 1920-го. Последние бои Русской армии генерала Врангеля за Крым / Состав. Дерябин А. И.– М., 1995. С. 3.

28. Там же. С. 6.

29. Штыка А. П. Гражданская война в Сибири в освещении белогвардейских мемуаристов. Томск, 1991; Ушаков А. И. История гражданской войны в литературе русского зарубежья. Опыт изучения. М., 1993.

30. См., например: Кара-Мурза В., Полонский А. Белое движение в лицах // Преподавание истории в школе. 1990. №6; Ушаков А. И. Убит под Екатеринодаром (очерк о ген. Корнилове) // Крестьянская Россия 1991. №7; Бортневский В. Белое дело: Люди и события. СПб., 1993; Богданов К. А. Адмирал Колчак. Биографическая повесть-хроника. СПб., 1993; Черкашин Н. Звезда Колчака. М., 1993.

31. Бортневский В. Белое дело. С. 56.

32. Юзефович Л. Самодержец пустыни. Феномен судьбы барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга. М., 1993.

33. См.: Бортневский В. Г. Белая разведка и контрразведка на Юге России во время гражданской войны // Отечественная история. 1995. №5; Его же. Антибольшевистские политические организации в период гражданской войны 1918–1920 гг. В кн.: Общественно-политические движения России XVIII–XX вв. Межвузовский сборник научных трудов. Самара, 1993; Войнов В. М. Офицерский корпус белых армий на востоке страны (1918–1920 гг.) // Отечественная история. 1994. №6; Дмитриев Н. И. Экономическая политика правительства адмирала А. В. Колчака и ее реализация // Сибирь в период гражданской войны. Кемерово, 1995; Карпенко С. В. Врангель в Крыму: "левая политика правыми руками" // Свободная мысль. 1993. №15; Федюк В. П. Украина в 1918 году. Гетман П. П. Скоропадский. Ярославль, 1993; и др.

34. Самусь В. Н., Устинкин С. В., Мацур П. С. Белое движение и отечественный офицерский корпус в годы гражданской войны в России (1917–1922 гг.). Н. Новгород, 1995.

35. Зимина В. Д. Белое движение в годы гражданской войны. Волгоград, 1995.

36. Там же. С. 16.

37. Там же. С. 45, 52.

38. Трукан Г. А. Путь к тоталитаризму: 1917–1929 гг. М., 1994.

39. Там же. С. 106.

40. Там же.

41. Там же. С. 107.

42. Голдин В. И. Интервенция и антибольшевистское движение на Русском Севере. 1918–1920. М., 1993; Его же. Интервенты или союзники? Мурманский узел в марте – июне 1918 года // Отечественная история. 1994. №1.

43. Штрихи к портрету Нестора Махно // Дружба народов. 1991. №6; Ермаков В. Д. Махновщина: некоторые социально-бытовые аспекты повстанческого движения на Украине // Социологические исследования. 1991. №3; Анисимов Н. Л., Оппоков В. Г. Слуга анархии и порядка // Военно-исторический журнал. 1991. №11.

44. Волковинский В. Н. Махно и его крах. М., 1991.

45. Там же. С. 226.

46. Самошкин В. Антонов огонь // Подъем (Воронеж). 1990. №9, 11; Его же. Мятеж // Литературная Россия. 1990. 8 июля; Его же. Александр Степанович Антонов // Вопросы истории. 1994. №2; и др.

47. Есиков С. А., Протасов Л. Г. "Антоновщина": новые подходы // Вопросы истории. 1992. №6–7.

48. Есиков С. А., Канищев В. В. "Антоновский НЭП": Организация и деятельность "Союза трудового крестьянства" Тамбовской губернии. 1920–1921 гг. // Отечественная история. 1993. №4.

49. Там же. С. 70.

50. См.: Бортневский В. Г. Красный и белый террор гражданской войны. В кн. Сквозь бури гражданской войны. Архангельск, 1990; Его же. Красный и белый террор // Учительская газета. 1990. №22; Голуб П. А. С кого они портреты пишут? // Военно-исторический журнал. 1992. №11; Литвин А. Л. Красный и белый террор в России. 1917–1822 // Отечественная история. 1993. №6.

51. Литвин А. Л. Красный и белый террор в России. Казань, 1995.

52. Отечественная история. 1994. №4–5. С. 284.

53. Там же.

54. Есиков С. А., Протасов Л. Г. "Антоновщина". С. 54.

55. Миллер В. Гражданская война: исторические параллели. С. 112.

56. Трукан Г. А. Путь к тоталитаризму. С. 107–108.

ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ — В ПЛЕНУ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ДОКТРИНЫ

С. А. Павлюченков

Растворение откровенного и грубого давления на историков оказалось для них не столь сладостным, как когда-то мечталось. Последнее пятилетие ясно продемонстрировало, в чем широкая общественность видит для себя пользу и назначение истории. Оказался прав Ленин, который в 1919 г. на VIII съезде партии говорил, что в историю следует углубиться лишь настолько, насколько это необходимо для решения насущных проблем. На рубеже 80—90-х годов историки сыграли свою роль, способствуя разрушению авторитарной идеологии и ныне забыты "до востребования". В условиях, когда общество выясняет свои приоритеты не с помощью аргументированной полемики, а методами грубой силы и безыскусного вранья, ученые оказались не у дел. Массмедиа отработали ряд бесхитростных стереотипов для управления общественным сознанием: революция, большевизм, Ленин — плохо; предпринимательство, демократия, религия — хорошо. И сколько бы теперь историки не взывали горе, это бесполезно до тех пор, пока власть вновь не станет настолько монолитной и авторитарной, что в ее трещины могло бы проникать только лезвие тонкой, научно аргументированной критики. А пока историк как тот мужик-крестьянин весной 1918 г.— отсутствие попечительства власти и полная свобода творчества. Только мужик тогда строил новые хоромы и богател на спекуляции продовольствием, а историку сейчас даже за самую виртуозную научную спекуляцию не поднесут. Но в этом есть и нечто хорошее, появилась возможность как во время Великого поста стряхнуть с себя наслоения, нагроможденные эпохой идеологических битв и притеснений.

В последние годы резко сократилось число работ по проблематике военного коммунизма, в том числе и потому, что толстые исторические журналы в видах увеличения подписчиков, под лозунгом, что ранее из истории была изъята личность, как диогены в поисках человека устремились в персонификацию исторического процесса, отодвинув на второй план принципиальные теоретические вопросы. Это уже что-то знакомое по летописцам: сбросили с раската двух граждан Степку да Ивашку, потом шарахнулись к реке и утопили еще двух граждан Порфишку да другого Ивашку.

А в историографии военного коммунизма продолжает подавлять количество спорных вопросов, начиная с, казалось бы, элементарных — определения его хронологических рамок. Советским историкам было проще, они хранили в себе директиву считать политику военного коммунизма вынужденной, начавшейся в 1918 г. иностранной интервенцией и развязанной капиталом гражданской войны. Отсюда уже совершенно гладко, без насилия вытекало соответствующее толкование малопривлекательной продовольственной диктатуры, карточной системы, преследования торговли, милитаризации промышленного труда и прочее. Отказ от политики военного коммунизма увязывался единственно с окончанием гражданской войны и переходом к мирному строительству. В этих дозволенных рамках и можно было маневрировать. Но с тех пор, когда естественным течением вещей было отменено значение октябрьских событий семнадцатого года как нового пришествия, как главного рубежа в прошлой и грядущей истории человечества на пути к обществу свободы и справедливости, когда это явление более отчетливо локализовалось во времени и пространстве и стал понятен его ограниченный характер, рассыпался и тот краеугольный камень, на котором стояла отечественная историография. Теперь она повисла, цепляясь за идеалы, навеянные сегодняшним днем и сознавая их нестабильность лихорадочно ищет почву под ногами.

Померк ореол Октября как революционного перехода общества от низшей формации к высшей, как грани безвозвратно отделившей политику и строй советской республики от самодержавной России. В политике царизма явственно проступили общие черты с военным коммунизмом большевиков: 1915 год — первые мероприятия по ограничению рынка сельхозпродуктов; 1916 год — объявление продразверстки; 1917 — хлебная монополия, начало национализации промышленных предприятий и банков; 1918 — введение продовольственной диктатуры, национализация крупной и средней промышленности, торговли; 1919 — утверждение продразверстки, огосударствление кооперации; 1920 — милитаризация промышленного труда, попытки государственного принуждения в сельхозпроизводстве, сужение сферы денежных расчетов. Разноголосица среди исследователей по начальной дате военного коммунизма усилилась и конца ей не видно.

В книге В. Мау "Реформы и догмы. 1914—1929" подробно освещены как практические мероприятия досоветского периода, так и сопутствовавшие им острые дискуссии по поводу планов всеобъемлющего государственного регулирования экономики. Материалы, использованные в исследовании, вынуждают автора, несмотря на его очевидное стремление завязать разговор о негативных последствиях внедрения госрегулирования, сделать вывод, что военный коммунизм был подготовлен всем предшествующим развитием российского хозяйства (1).

Известный исследователь периода В. П. Дмитренко предлагает считать началом военного коммунизма "видимо летние месяцы 1918 г.", когда "разрозненные меры начинают «выстраиваться» в ряд, соподчиняться, находя друг в друге и обоснование, и логическое развитие. Первый крупный раскол между силами революции, усугубленный интервенцией и вооруженными выступлениями контрреволюции, определил этот исторический рубеж. Дальше процесс пошел лавинообразно, захватывая постепенно все отрасли хозяйства и регионы страны" (2). У другого автора, И. Б. Берхина, все еще основательней и непонятней:

"Исходя из времени законодательного утверждения и проведения ее основополагающих элементов, мы примерно можем датировать начальный рубеж этой политики концом 1918 — началом 1919 г., конечный — мартом 1921 г. Таким образом, к политике «военного коммунизма» относится экономическая политика не всего периода гражданской войны",— заключает он (3). Подобная трактовка оставляет за рамками политики военного коммунизма такие очевидные ее мероприятия как введение продовольственной диктатуры (13.V.1918), национализация индустриальной промышленности (28.VI.1918), обобществление торговли (21.XI.1918). Если это не военный коммунизм, то что же?

Единичность, изолированность подобных точек зрения избавляет от необходимости их детального разбора. По-прежнему наиболее популярным среди отечественных историков остается майско-июньский период 1918 г. с его законодательством по продовольственной диктатуре и на первый взгляд это кажется наиболее обоснованным. Но вопрос о начальной дате политики военного коммунизма в значительной степени носит теоретический характер, а если мы обращаемся к теории, то должны понимать вещи и явления в принципе, в самой основе, относя "лавинообразность" признаков уже на второй план. В этом случае плохо помогают видимые ориентиры национализации и проддиктатуры, которые стоят в ряду количественных показателей. Требуется качественный индикатор, который бы ясно указал грань между истинно вынужденными войной действиями царского и Временного правительств и собственно политикой военного коммунизма. Мероприятия по ограничению частной собственности и рынка приобрели статус военного коммунизма тогда, когда из политики, вынужденной внешними условиями, превратились в принцип общественного строительства. А это произошло автоматически сразу после захвата власти большевиками в 1917 г.

Главные факты, свидетельствующие о начале реализации большевистским руководством своих военно-коммунистических установок, общеизвестны: положение о рабочем контроле (14.XI.1917), развязавшее стихийную национализацию промышленности; национализация банков (14.XII.1917); первый опыт введения продовольственной диктатуры в феврале 1918 г. Все это типичные символы политики военного коммунизма. Другое дело, что в смольнинский период большевики еще не приобрели опыта и возможностей для воплощения своих замыслов в полной мере и каждый раз вынуждены были откатываться назад, как в случае с ленинским проектом огосударствления кооперации, стыдливо опубликованном за подписью Шлихтера 1 февраля 1918 г.

Главным и единственным аргументом, выдвигаемым против соображений об изначальном военно-коммунистическом направлении политики большевиков, остается ноумен "Очередных задач Советской власти", написанных Лениным в марте — апреле 1918 г. Помимо прочего, в глазах исследователей, несколько страниц этой брошюры, установки которых ни минуты не проводились в жизнь, перевешивают все остальные обстоятельства. В памятные годы заката идеологии КПСС, когда происходил напряженный поиск заслуг Ленина перед эволюцией, наряду с культом нэпа развилась нездоровая абсолютизация значения компромиссных аспектов "Очередных задач" весны восемнадцатого года. Так, Дмитренко предположил "величайшую заслугу Ленина" в том, что он уже на начальном этапе революции, весной 1918 г., осознал необходимость опоры на созданные капитализмом формы хозяйства, необходимость взять все ценное, что создало человечество (4). Появление такого странного гибрида из ленинских прозрений первой советской весны и фразеологии 1920 года можно объяснить только тем, что выход статьи имел место в тот период, когда еще не закончилось всеобщее увлечение поисками и обретением "общечеловеческих" ценностей.

В. П. Булдаков и В. В. Кабанов тоже обнаружили, что весной 1918 г. "определились черты политики, близкой к нэповской" (5), правда без указания в чем конкретно, кроме понятного расхода типографской краски. Более убедительно в их статье выглядит ссылка на ленинский проект программы партии, написанный в начале марта, и закономерный вопрос: "Что же это, если не идеальный вариант «распределительного социализма», который легко трансформировался в «военный коммунизм»... Налицо план тотальной регламентации всей общественной жизни" (6). Вот именно. То же самое справедливо и в отношении всего весеннего периода 1918 г. и не стоит утруждать себя отыскиванием конституционализма там, где в сущности существует лишь принцип свободного сечения, как писал Салтыков-Щедрин.

Недоразумения по поводу весенней политики большевистского руководства, связанные с ноуменальным существованием "Очередных задач Советской власти" способны к бесконечному воспроизведению в том случае, если их положения будут и впредь произвольно вырываться из контекста общего плана революционных преобразований, разработанного Лениным после переезда советского правительства в Москву. Пресловутая брошюра, помимо затверженных всеми соображений о необходимости временного компромисса с буржуазией, содержала уничижительную характеристику преобладавшего в России мелкокрестьянского экономического уклада и нацеливала на его дискриминацию под лозунгом борьбы с мелкобуржуазной стихией.

"Очередные задачи" были опубликованы в центральных газетах 28 апреля, а на следующий день Ленин более развернуто изложил свои установки в программной речи на заседании ВЦИК, которая уже откровенно была обращена против крестьянства: "Да, мелкие хозяйчики, мелкие собственники готовы нам, пролетариям, помочь скинуть помещиков и капиталистов. Но дальше пути у нас с ними разные. Они не любят организации, дисциплины, они — враги ее. И тут нам с этими собственниками, с этими хозяйчиками придется вести самую решительную, беспощадную борьбу" (7).

Приостановка атаки на крупный капитал, попытки ослабления социальной напряженности в городе и организация вооруженного похода в деревню — это органически неразрывные части ленинского плана весны восемнадцатого года и нет нужды далее детально объяснять почему провалилось и то и другое. Для чего в свое время советской историографии требовалось это культивирование "Очередных задач" в особую статью начального периода большевистской власти? В том числе и для обоснования принципиального тезиса о том, что неприглядный военный коммунизм был вызван к жизни гражданской войной, а не наоборот, и в конечном счете переложить всю ответственность за войну на контрреволюцию. Между тем, как представляется, дело обстояло иначе. Вначале политика так называемой красногвардейской атаки на капитал, развалившая городскую экономику и подорвавшая региональные связи, затем затея вооруженного похода

в деревню создали массовую социальную и обширную территориальную базу для развития контрреволюции и спровоцировали, вывели вяло текущую гражданскую смуту на качественно новый виток широкомасштабной фронтовой войны.

Отзвуки советской концепции весьма сильны и в современной историографии. Ю. А. Поляков неодобрительно пишет, что в ряде статей, опубликованных в 1988 – 1989 гг., настойчиво проводится мысль о скоропалительной, преднамеренной ломке существовавших ранее отношений, о том, что сразу после Октября была осуществлена всеобъемлющая национализация экономики, введен военный коммунизм, власть государства распространена на все отрасли народного хозяйства, что привело к его разрушению. "Иными словами, экономика России была принесена в жертву экспериментам... Эти утверждения тенденциозны и противоречат фактам" (8).

Нет, осмелимся утверждать мы, не противоречат. Истине противоречит лишь та терминология, которой изложена эта точка зрения. Речь должна идти конечно же не об "экспериментах", а о классовых и политических целях большевиков и методах их достижения. Н. Е. Дементьев, анализируя на конкретных фактах земельную и продовольственную политику советской власти в 1917 – 1918 гг., приходит к выводу, что "продовольственная политика Советской власти и методы ее осуществления уже в первые месяцы после Октября 1917 г. имели самое непосредственное отношение к гражданской войне" (9). Напротив, давно знакомым нежеланием признавать факты противоречащие их концепции продолжают выделяться сторонники большевистской традиции в историографии. В статье П. Шевоцукова "Гражданская война. Взгляд через десятилетия" утверждается, что "отнюдь не следование доктрине, а безжалостный прагматизм лежал в основе тогдашней политики большевиков". Хлеб можно было взять у кулаков и зажиточных крестьян, "причем только силой и опираясь на массовую поддержку крестьянской бедноты". "Дело в том, – поясняет автор, – что деньги обесценились, а товарных запасов не существовало" (10).

Как очевидно, взгляд с этой точки зрения и через десятилетия абсолютно не изменился по сравнению с официальной версией большевистской пропаганды, звучавшей с публичных трибун в 1918 году. Самому советскому правительству было прекрасно известно о наличии товарного фонда. Как явствует из обширной записки Наркомпрода в Совнарком в марте 1918 г., после развала армии освободились "огромные запасы всяких товаров, во многих случаях уже гниющих без всякой пользы, в таможнях и портах накопилось много сельскохозяйственных орудий". По оценке продовольственников даже части этих запасов было достаточно, чтобы до лета выкачать из деревни большую часть прошлогоднего урожая (11). Тогда же по указке СНК была предпринята попытка организации широкомасштабного товарообмена с деревней, которая благополучно провалилась, поскольку, как впоследствии признавал ее непосредственный руководитель М. И. Фрумкин: "Вся постановка товарообмена исключала возможность проведения государством товарообменных операций" (12). Большевиков в первую очередь интересовало не развитие экономических отношений, а развитие социальной революции в деревне.

Заметным явлением в историографии на рубеже 80 – 90-х годов стал авторский дуэт Г. А. Бордюгова и В. А. Козлова, который энергично воздействовал на ход дискуссий по истории первых лет советской власти и если не увлекал за собой весь исторический цех, то уж точно, что втягивал его в дискуссионный и исследовательский водоворот. Живость языка, полемическая форма изложения, а также принадлежность к так называемому "альтернативному" направлению способствовали должному отражению в их работах динамичных общественных процессов периода военного коммунизма, метаморфоз большевистской политики и социальных колебаний эпохи революции и гражданской войны: попытки большевистского правительства отойти от тотального огосударствления хозяйственной жизни в конце 1918 – начале 1919 г.; "новые возможности" в начале 1920 г. и инерция бюрократической машины; заслуживает внимания нечастая в то время среди профессиональных историков трактовка бюрократии как особой социальной силы, препятствовавшей своевременному переходу общества к новой экономической политике (13).

Однако, эти авторы творили в "социалистической клетке", несмотря на то, что ее стенки они постарались раздвинуть максимально широко. Сейчас уже утрачен смысл занимавших их поисков "деформаций" социализма или социалистических "альтернатив" реальному историческому опыту. Вопрос стоит ребром: насколько в настоящее время для науки пригодна старая формационная теория с ее понятиями социализма и капитализма и что должно придти взамен? И хотя у всей мировой общественной науки пока нет сил, чтобы опрокинуть этот вопрос с ребра, ясно, что продолжать говорить о "деформациях" "военного коммунизма" (14) с точки зрения какой-то идеальной социалистической теории – бесцельно, и искать альтернативу уже прошедшим событиям – бесполезно.

В непосредственной связи с альтернативистскими увлечениями авторов находится их толкование некоторых спорных вопросов истории военного коммунизма. Бордюгов и Козлов не миновали "ловушки" "Очередных задач" и даже категоричнее, чем все остальные утверждали, что "весной 1918 г. (вплоть до начала чехословацкого мятежа и создания комбедов) большевики стояли накануне нэпа, а вовсе не «военного коммунизма»" (15). Якобы "мирная передышка весны 1918 г., заключение Брестского мира позволили сделать первый черновой набросок долговременной экономической и политической программы, соединяющей устремленность к социалистическим целям с грубой прозой реальной действительности" (16).

На наш взгляд, авторы чересчур поспешно расправились с противоречащими этой точке зрения аргументами: "Тенденция распространения уравнительных «военно-коммунистических» мер из сферы потребления в сферу производства, по сути блокируется установкой Ленина на восстановление сдельных форм оплаты труда". Идея поголовного объединения населения в потребительские коммуны "блокируется достигнутым весной 1918 г. компромиссом с руководителями кооперации" (17). Ленинский проект партийной программы, в котором предполагалось "тотальное огосударствление всех сторон общественной жизни" перечеркивается вопросом: "Надо ли преувеличивать значение такого рода программ?" (18). Справедливо сказано, но тогда возникает другой вопрос: А надо ли преувеличивать значение программ другого рода? Линию, выработанную в отношении буржуазии, Ленин неразрывно сочетал с экстремизмом в отношении крестьянства, который железно "заблокировал" все компромиссные предполо-

жения. Товарообмен весны 1918 г. Бордюгов и Козлов оценивают как "меру весьма далекую от будущей продовольственной разверстки" (19), но упомянутый Фрумкин сам квалифицировал свое детище как "попытку государства использовать снабжение товарами крестьянства в целом для усиления заготовок в принудительном порядке" (20). То есть тем, чем в более рельефном варианте и характеризовалась продразверстка.

Бордюгов и Козлов слишком великодушно выдают индульгенцию Ленину: "Совсем не большевики виноваты в сохранении "военно-коммунистических" тенденций в недрах советского общества весны 1918 г. В этом была виновата война и надвигавшийся на страну голод" (21). "Ведь еще 29 апреля 1918 г.,— пишут они,— когда Ленин выступал во ВЦИК с докладом об очередных задачах Советской власти, ни о какой продовольственной диктатуре речи не было" (22). По версии авторов, она срочно встала в повестку дня после взятия немцами и гайдамаками Ростова и перекрытия каналов продовольствия с Северного Кавказа.

Это не так. Речь была и держал ее главный разработчик продовольственных декретов, непременный участник заседаний Совнаркома А. И. Свидерский. Уже 27 апреля в выступлении на сессии московских продовольственников он сообщил о серии готовящихся проектов по организации крестьянской бедноты и продовольственных отрядов (23).

В чем безусловно правы Бордюгов и Козлов, так это в том, что остановить гражданскую войну было нельзя (24). Порожденная социальными противоречиями царизма и войной разруха рано или поздно толкнула бы город на деревню. Объективно революция была призвана вывести страну из кризисного тупика, но история совершает свои необходимые движения усеивая путь миллионами человеческих жертв. Человеку, будь он даже историк, трудно это принять, это вызывает протест и желание поспорить с историей, найти альтернативу. Мы солидарны с авторами в том, что как бы ни было трудно, но историку следует отмежевываться от политика, идеолога, моралиста. Необходимо уходить от позиций, которые благодетельны, но бесперспективны с научной точки зрения. Вместе с тем, долгом исторической науки была и остается объективная оценка роли личности в истории, особенно тех, кто как первые христианские пастыри призывали людей идти на смерть с улыбкой на лице, обещая вечное блаженство в будущей жизни.

В качестве характерной черты новейшей историографии военного коммунизма должно отметить, что 99,9% исследователей периода соглашаются, что в основе большевистской политики имелась не только вынужденная разрухой и войной необходимость, но присутствовали и доктринальные корни (25). "Ригоризм организаторов Советской продовольственной политики (они не останавливались и перед угрозой перенесения гражданской войны в деревню), думается объяснялся их идеологической ориентацией",— пишет А. Ю. Давыдов. "Не отрицая отчасти вынужденного характера "военного коммунизма",— полагает С. В. Леонов — следует признать, что во многом эта политика была обусловлена приобретенной большевиками верой в могущество государственного принуждения, в то, что именно велениями пролетарского государства можно непосредственно перейти к социализму и коммунистическому распределению" (27).

Особенно обращают на себя внимание современные высказывания такого автора как Е. Г. Гимпельсон. В одной из статей 1986 г. он строго спрашивал: где, в каких документах партии, выступлениях Ленина периода гражданской войны говорится о планах ускоренного перехода к коммунистическому производству и распределению? (28) Тогда многие простодушно стали искать и указывать страницы в синих и красных книжках, но теперь оказалось, что то была шутка. Вопрос носил риторический характер и ответ на него дал сам автор (почти десять лет спустя). В недавно вышедшей книге "Формирование советской политической системы", которая представляет собой свод работ по проблеме, опубликованных им за последние годы, Гимпельсон заявляет, что лидеры большевизма "оказавшись во главе государства... возомнили, что в состоянии «ускорить постепенность» и путем скачка «спрямить» путь в будущее, сразу вводя элементы «антибуржуазного» характера". Это нашло отражение в написанном Лениным в декабре 1917 г. проекте декрета о потребительских коммунах и практически претворялось в так называемой красногвардейской атаке на капитал (29).

Однако, незачем останавливаться на достигнутом. Кому как не историкам известно, что застой губителен. К примеру, в уже упоминавшейся работе Булдакова и Кабанова можно прочесть: "Несомненно, что «военный коммунизм» вознесся на волне утопий, этих непременных спутников революционных потрясений" (30). Конечно, отрадно видеть, что существуют еще идеалисты, во всяком случае, люди способные полагать идеи самостоятельным основанием для общественного движения. Между тем, признания идей и разоблачения утопий на сей день уже недостаточно. Уже несколько лет назад, еще перестроечная публика требовала теплой, живой крови, вместо борьбы с призраками. А историки все продолжают носить на выставку веру, утопию, фантазию, идею и т. п. Давно пора под большевистское и вообще бюрократическое "экспериментаторство" и утопии подвести прочное материальное основание.

В основании государственной политики военного коммунизма одной из причин ее бурного развития были еще неосознанные до конца, но вполне материальные интересы нового государственного аппарата, новой касты государственных управленцев (31). Ленин когда-то сказал по адресу царизма, что каким бы прогнившим ни был режим, каким бы шатким он ни казался со всех сторон, все равно он держится на чьем-то классовом интересе. Смотри, кому это выгодно, учил Ленин. Кажется, нет ничего сложного в мысли, что советский строй являлся системой, скрепленной, прежде всего, классовым интересом стратифицированного слоя государственного чиновничества и развившейся в режим государственного абсолютизма. Этого никто не отрицает в отношении застойных времен, но, вероятно, революционный кумач имеет свойство закрывать глаза и уши исследователям на очевидные вещи.

Новый класс создавал свое абсолютное господство в обществе через установление всеобъемлющей централизованной системы и на определенном этапе этот процесс сопрягался с объективной потребностью страны в ликвидации революционной анархии и восстановления государственности. Вопросам становления системы государственного абсолютизма посвящена работа С. В. Леонова, в которой автор делает вывод: "Октябрьская революция, представлявшаяся большевиками как путь к подлинной демократии, как антибюрократический

переворот, оказалась на деле дорогой к диктатуре, к установлению бюрократической системы еще более мощной, чем в царской России" (32). Вывод, конечно, не нов, но на общем фоне разливавшегося в недавние времена осуждения тоталитарной системы, статья Леонова выгодно отличается тем, что детально показывает эволюцию Ленина и большевиков во взглядах на государство и формы его устройства после социальной революции в связи с условиями и реальной практикой государственного строительства — от иллюзий в отношении фабзавкомов и самоуправления к воплощению установки на передачу функций власти партийному аппарату.

Но погружение в объективные условия возымело и обратный эффект. Причины установления бюрократической системы автор усматривает во внешних условиях: хозяйственном кризисе, обострении социальных противоречий, низком культурном уровне масс и т. п. Под подобным выводом с радостью подписался бы любой прошлый и ныне здравствующий бюрократ. Применительно к истории революции было бы существенней проанализировать то, как характер и идеология ленинской партии органически наложилась на историческую специфику российского общества, издавна культивировавшего авторитарные формы правления. В иных случаях автор не рискует быть в определениях смелее своих персонажей и утверждает, что к 1919 г. в стране сложилась платформа политического устройства, которая получила название "диктатура партии". Да с этим поспорил бы не только какой-нибудь "децист", сам Ленин характеризовал сложившуюся форму власти как "олигархию". О том, что партия как таковая не имела отношения к власти говорит хотя бы пресловутый вопрос о "верхах и низах" в партии на упоминаемой в статье IX конференции РКП(б).

Формирование советской политической системы оставалось главным предметом исследования Е. Г. Гимпельсона. И это понятно, ведь ранее, поясняет он, "в исторических работах господствовала тенденция изображать реальные процессы таким образом, будто бы они полностью были тождественны принятому закону" (33). А ныне времена другие, сейчас можно сказать, что "идея «диктатуры пролетариата» предполагала, что субъектом власти является рабочий класс. На деле таковым он не являлся. Он даже не влиял на избрание партийных органов, особенно центральных, и не мог контролировать их деятельность" (34).

Насколько быстро времена меняются можно убедиться по тому, что автор на сей день уже успел пересмотреть свои самые недавние утверждения. Так, в статье Гимпельсона за 1989 г. еще читаем, что советское государство создавалось на основе фундаментальных ленинских принципов: полновластие советов, всемерное участие трудящихся в управлении, союз рабочего класса и крестьянства, конституция 1918 г. зафиксировала политическое равноправие граждан и т. п. (35). Однако в его недавно вышедшей книге от указанной гармонии не осталось и следа.

Далее, в статье 1989 г. говорится, что процесс становления однопартийной системы развивался естественным путем. Партия большевиков с самого начала предлагала мелкобуржуазным партиям сотрудничество на советской платформе, однако, те предпочли вместе с открытой контрреволюцией вести войну против советской власти. Факты говорят о том, поясняет Гимпельсон, что не любые формы выступления "антисоциалистической оппозиции", а вооруженные определили ее судьбу, да к тому же в момент исключения правых эсеров и меньшевиков из советов в июне 1918 г. их там и оставалось то немного. "Разуверившись в этих партиях трудящиеся редко отдавали им предпочтение" (36).

В книге же факты у Гимпельсона начинают говорить по другому: в крупных городах, промышленных центрах эти партии продолжали иметь значительное количество голосов в советах (следуют цифры), но "опираясь на государственный аппарат, большевики систематически подавляли своих социалистических оппонентов" (37). Кроме этого, своей книгой автор совершенно запутывает читателя относительно характера меньшевиков и эсеров — кто они, эти хамелеоны, "антисоциалистическая оппозиция" или "социалистические оппоненты"? Но оставим досадные неловкости, в конце концов, все подлежит развитию, в том числе и научные взгляды. Имея ввиду многочисленные труды Гимпельсона можно сказать, что не отличаясь склонностями к пионерству в исследованиях он выработал солидные навыки по отбору и упорядочению уже известного материала в хорошо переплетенные формы.

Обращаясь к экономическим проблемам по истории военного коммунизма, приходится признать, что здесь самая примечательная работа за последнее время принадлежит американскому исследователю Л. Ли — "Хлеб и власть в России, 1914–1921" (38). Избранная точка зрения позволяет автору проникнуть в суть социально-экономических противоречий периода. Анализируется двойственный характер продовольственной политики большевиков, выделяются формы продовольственной диктатуры. Используемое в книге понятие "retreat to rasverstka" (отступление к разверстке) свидетельствует о том, что и для западных исследователей продразверстка вышла из образа некоего ужасного коммунистического жупела и они начинают тонко понимать нюансы продовольственной политики военного коммунизма.

Отечественных же исследователей наша либерально-революционная современность будоражила заявками по части изучения состояния рынка в условиях жесткого государственного регулирования экономики при военном коммунизме. Вопросы кооперации, кооперативного рынка затрагиваются в упомянутой монографии Гимпельсона и статье С. В. Веселова, в которых прорисовывается картина поэтапного огосударствления кооперации и превращения ее в механизм государственной распределительной системы. Эпизоды кооперативной политики большевиков, нашедшие отражение в статье Веселова, лишний раз подчеркивают правильность той точки зрения, что военно-коммунистические мероприятия, не всегда успешные, соввласть стала предпринимать в первые же недели своего существования (39).

В статье Л. И. Суворовой о рыночной экономике в период военного коммунизма (40) сделана попытка разграничить сферы частного (легального) и черного (нелегального) рынка. Однако, эта попытка ровным счетом ни к чему не привела. Кстати, такой же бесплодной она была и для своего времени, поскольку, как признает и сам автор, частный рынок фактически трансформировался в черный и "разграничить сферы деятельности частного и «черного» рынков достаточно сложно" (41). Да, прибавим, и не нужно, как не нужно это было советским чиновникам в ту пору. В их терминологии отсутствовало подобное тонкое разделение легального и нелегального рынков, он попросту носил назва-

ние "вольного рынка". Публикация Суворовой пестрит пробелами в фактической информации. К примеру, утверждается, что декретивное ограничение государством сферы рынка привело к тому, что исчезли рынок капитала, рынок средств производства и т. п. "Товарный рынок приобрел чисто потребительский характер", то есть охватывал только продовольствие и ширпотреб (42).

По этому поводу невозможно использовать все многочисленные аргументы в доказательство того, насколько глубоко заблуждается автор статьи. Приведем лишь слова наркома юстиции Крыленко, возглавлявшего в 1920 г. специальную комиссию ВЦИК по борьбе со спекуляцией. Выступая на одном из пленумов ВЦИК, он говорил, что Сухаревка — это не примитивная форма торговли, как считают некоторые товарищи. "Это есть не что иное, как возродившаяся вновь частно-капиталистическая торговля со всеми ее основными признаками, т.е. с крупным массовым предложением, с крупным оптовым спросом и с большой, великолепно развитой агентурой, как по сбыту, так и по заготовке... Товары, предлагаемые на Сухаревке — мануфактура, машины, станки, электрические принадлежности, бумага, ткань... Если мы посмотрим, что нелегальная агентура или легальная агентура существует в бесконечном количестве кооперативных организаций и упродкомов, то мы поймем, что здесь все формы, на которых раньше существовал капиталистический товарооборот" (43). Чекистские источники могли бы представить богатую информацию относительно того, что во время гражданской войны на советской территории жил полнокровной жизнью рынок земельных угодий, строений, предприятий, ценных бумаг и прочего. К примеру, в июне 1919 г., в период военных успехов контрреволюции, ВЧК отмечала, что уже около месяца в Москве и Петрограде идет усиленная покупка всего национализированного. Владельцы национализированных домов продают их под расписку и получают за это наличными крупные суммы. "То же самое наблюдается со всеми имениями, фабриками и т. п." (44).

Неточны сведения Суворовой относительно того, что Ленин считал эмиссию мерой вынужденной и временной, что "правительство пыталось остановить инфляцию путем прекращения денежной эмиссии" (45). Пытаться-то оно пыталось, но конечная цель финансовой политики Совнаркому представлялась иной, нежели укрепление денежной системы. "Наша цель как-нибудь удержать нашу денежную систему от абсолютного обесценивания не только в Центре, но и на окраинах, пока не наступит момент, когда можно будет без них обойтись", — говорил наркомфин Крестинский в июне 1920 г. "После ряда разговоров с Владимиром Ильичем я пришел к убеждению, что не нужно делать экспериментов, а есть выход один: в аннулировании денежной системы вообще" (46).

В более узком, специфическом плане проблемы рынка в период военного коммунизма рассматривает А. Ю. Давыдов (47). В его статье традиционно подчеркивается огромная роль мешочничества в снабжении продовольствием населения городов и потребляющих регионов Советской России. В отношении самой военно-коммунистической политики автор категоричен. Он считает, что попытки замены торговли планомерным, организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов вели к тому, что с мешочничеством сражались с ожесточением и упорством. "Даже тогда, когда бессмысленность этой борьбы становилась очевидной" (48).

В череде публикаций по тематике военного коммунизма особняком стоит объемистая монография ростовского историка Н. С. Присяжного "Экономическая чума: Военный коммунизм в России (Историко-экономический анализ. 1918—1921 гг.)". По представлению самого автора: "В основу исследования положен историко-экономический анализ военного коммунизма на примере деятельности системы ЧУСО" (Чрезвычайного уполномоченного СТО по снабжению Красной армии и флота — Чусоснабарм) (49). Впечатляет значительный объем впервые возделанного архивного материала, положенного в основу книги, где по существу фундаментально разработана оригинальная тема — история становления и функционирования органов чрезвычайного снабжения, которая до сего времени попадала в поле зрения историков периода лишь эпизодически и незначительно. Работы, подобные книге Присяжного, способны надолго сохранять свое научное значение, хотя бы в силу редкого по объему использованного фактического материала.

Однако, трудно согласиться с сознательным отказом автора от поиска принципиальных обобщений по вопросам истории военного коммунизма (50). Это ослабляет его позиции. Он, конечно, увлечен новым материалом, открывшимся в процессе исследования, но нельзя сводить всю проблематику военного коммунизма и его экономики только к чрезвычайным органам снабжения, которые являлись лишь частью системы. Военный коммунизм был "военным" не потому, что осуществлялся в армии и смежных структурах, а потому, что возник и прогрессировал в условиях войны по всему спектру социально-экономических отношений в обществе.

Социальные аспекты истории российского военного коммунизма, к сожалению, продолжают пока почти целиком находиться в компетенции зарубежных исследователей. Заметно, что они перемещаются из узкой сферы высокой государственной политики и становятся "ближе к человеку". Запад как всегда практически выполняет выпестованные у нас человеколюбивые лозунги, в то время как Россия неизменно берется за реализацию инородного экстремизма. В последнее время за рубежом появились интересные работы, посвященные как комплексному изучению социальной динамики революционного периода, так и конкретным общественным слоям и группам (51). Особое, конечно, внимание западных исследователей привлекает русское крестьянство в связи с его самобытностью, численностью и сыгранной им роли в революции. О. Файджес в книге "Крестьянская Россия, гражданская война: Поволжье в революции, 1917—1921" анализирует развитие ситуации в поволжской деревне, которая, как известно, в течение войны послужила базой для противоборствующих сил и режимов, а все в итоге завершилось для нее беспрецедентным по масштабам голодом (52). Оригинальным представляется подход Б. Патенауда, который продолжает тему идеальных корней специфики российской истории в статье, название которой можно перевести как "Крестьянин в русской душе: утопическая сущность военного коммунизма" (53).

Но, как видно, самих русских загадки собственной души пока занимают гораздо меньше, по сравнению с более осязаемыми основаниями отечественной истории. В понимании сути политики и системы военного коммунизма не меньшее значение, чем вопросы, касающиеся ее происхождения, имеет проблема отказа

от политики военного коммунизма и переход к нэпу. Вокруг нее в свое время кипели нешуточные страсти, ломались копья и рубились головы осмеливавшимся увязывать переход к новой экономической политике с чем-либо иным, кроме дальновидного решения Ленина и партии, принятого непосредственно после окончания гражданской войны с буржуазно-помещичьей контрреволюцией. В 1989 г. В. З. Дробижев осторожно обращал внимание на то, что "подавляющее большинство исследователей не дают ответа на вопрос о природе и особенностях «механизма» перехода от политики «военного коммунизма» к нэпу. Как правило, источник перестройки экономической политики историки находят в факторах внешнего по отношению к самой экономической политике порядка, а не в уровне соответствия или несоответствия механизма хозяйствования задачам и условиям экономического строительства" (54).

Историки и не давали ответа, поскольку в тогдашнем руководстве КПСС одним из наиболее расхожих аргументов в идеологическом обосновании перестройки фигурировал тезис о добровольной и предусмотрительной инициативе ленинского ЦК по введению в стране нэпа. В конце 80-х годов многим историкам была памятна статья Е. Бугаева "Странная позиция", опубликованная в 1984 г. в "Коммунисте" по поводу публикации Е. А. Амбарцумова "Анализ В. И. Лениным причин кризиса 1921 г. и путей выхода из него" в журнале "Вопросы истории" (55). Амбарцумов предпринял попытку указать источник кризиса в политике большевистского руководства — "в непригодности старых методов, прежней концепции развития, в неумении быстро перестроиться применительно к новой обстановке" (56). "Коммунист" выразил негодование: главное в кризисе 1921 года — заговор контрреволюции, "при чем здесь политические кризисы при социализме"! (57)

Надо ли говорить какое значение в то время имела критика в главном теоретическом издании ЦК КПСС, когда было твердо указано, что вопрос о причинах и обстоятельствах перехода к нэпу "давно и всесторонне рассмотрен и решен теорией и общественной практикой" (58). Однако, как сейчас видно, и насчет теории и особенно общественной практики сказано было явно преждевременно. После некоторого застоя в разработке темы стали вновь пробиваться новые тенденции. Вопросам предпосылок и условий перехода к нэпу с точки зрения борьбы партийных "низов" против аппаратно-бюрократической прослойки в РКП(б), окостеневшей за время военного коммунизма, была посвящена коллективная статья Г. А. Бордюгова, Е. А. Котеленец, А. М. Подщеколдина и Н. С. Симонова "От какого «единства» мы отказываемся?" (59). В числе прочих появилась и наша статья "С чего начинался нэп", которая преследовала цель подчеркнуть, что переход к новой экономической политике стал возможен только в результате широкого общественно-политического давления на большевистское руководство, причем не только со стороны крестьянства и рабочих, но и определенной части партии и госаппарата. Были затронуты проходившие в течение 1920 года в партийно-государственной среде дискуссии о необходимости изменения крестьянской политики партии и выделена позиция Ленина, которая свидетельствовала о том, что именно он на протяжении долгого времени являлся главным противником нэпа и только в начале 1921 года резко изменил свою позицию. Эта точка зрения получила развитие в других публикациях автора (60).

В начале 90-х годов, в связи с переломом в общественно-политической жизни страны, ученые приобрели возможность без оговорок и реверансов писать о том, что весной 1921 г. потребовался глубокий социально-политический и экономический кризис, угроза потери власти, чтобы большевистское руководство осознало неизбежность поворота в политике (61). С другой стороны, печально, что этот, далеко не оригинальный вывод остается как бы в ряду последних достижений отечественной исторической мысли по периоду военного коммунизма в России. Для западных исследователей это давно пройденный этап и внимание к нему в настоящее время пробуждается лишь в связи с потребностью детализации некоторых аспектов перехода к нэпу.

В частности, Р. Гиммер задался целью уточнить взгляды Сталина на переход от военного коммунизма к новой экономической политике (62), но избрал чересчур прямолинейный подход к его личности — ему кажутся недобросовестными публичные заявления Сталина, содержавшие безусловное одобрение перемен в политике партии в начале 1921 г. Автор слишком упрощенно приближает сталинскую революцию сверху 30-х годов к его позиции в период военного коммунизма и полагает, что в годы войны Сталин являлся ревностным проводником принципов военного коммунизма, а нэп всегда был ему не по душе.

На самом же деле в течение всей гражданской войны Сталин находился в лагере непримиримых противников продовольственной диктатуры. Он отнюдь не был дилетантом в области отношений с крестьянством после партийных поручений по хлебозаготовкам в Поволжье в 1918 г. и на Украине в 1919 г., но как обычно оставался немногословен и лишь иногда разражался настоящей грубой бранью в адрес наркома Цюрупы, его аппарата и всей продовольственной диктатуры Наркомпрода в целом. Это в свое время отчетливо зафиксировалось — начиная с детского восприятия Сталина сыном Цюрупы (63) и заканчивая протоколом пленума ЦК в апреле 1919 г. (64).

Отечественным историкам в свою очередь свойственен своеобразный "синдром", который получил отчетливое выражение в книге Присяжного. Он заключается в принципиальном нежелании прикасаться к вопросам теории. Наблюдается откровенный или бессознательный уход историков от общетеоретических и идеологических вопросов, что объясняется понятным нежеланием вставать под хоругви или косвенно играть на руку современным политическим течениям. Происходит переключение внимания в сторону углубления и детализации известных аспектов истории периода, расширение их фактологической базы, и это своеобразное "схимничество" приносит плоды. Например, появились интересные публикации по знаменательным событиям заключительного этапа военного коммунизма и кризиса начала 1921 г. — так называемой антоновщине и Кронштадтскому мятежу. Публикации вовлекают в научный оборот архивный материал, который либо существенно подкрепляет сделанные ранее выводы и предположения, либо открывает неизвестные грани истории этих явлений.

Выделилась группа исследователей активно разрабатывающих вообще "тамбовскую" тематику (С. А. Есиков, В. В. Канищев, Л. Г. Протасов). В ее распоряжении — богатые местные архивы. На их основе изданы работы существенно расширяющие новый взгляд на историю антоновского восстания, а также развивающие тему в плане изучения последствий и отзвуков антонов-

щины в период нэпа (65). Весьма интересна публикация, посвященная организации и деятельности Союза трудового крестьянства в Тамбовской губернии в 1920–21 годах, которая впервые предметно исследовала его происхождение и роль. Исследования тамбовских и московских историков фундаментально закреплены в сборнике документов "Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг." (66).

Заметной работой в этом ряду стала серия документов, опубликованная в журнале "Вопросы истории" под заголовком "Кронштадтская трагедия 1921 года" (67). Она включает в себя материалы из президентского архива и архива госбезопасности, которые раскрывают затушевываемые ранее детали подготовки к штурму крепости, настроения в штурмовавших частях Красной армии, а также репрессий в отношении побежденных мятежников.

Обособленно от господствующего направления в исследованиях Кронштадтского мятежа стоит любопытная публикация Ю. А. Щетинова "За кулисами Кронштадтского восстания 1921 г." (68), в центре внимания которой – порядком забытая тема о роли антибольшевистских политических сил в подготовке и развитии мятежа. Приводя эмигрантские источники автор доказывает, что еще рано "списывать" эту роль в архив лишь как пропагандистское оружие коммунистического режима. Высказывается также предположение о том, что версия о поголовном участии в восстании населения острова – это дело чекистских рук, которым было необходимо обосновать проводимые репрессии и устранить их свидетелей (69).

Статья Щетинова – больше, чем статья о мятеже, здесь чувствуется знамение какого-то нового этапа в историографии, наступающего "на пятки" уходящему этапу "белых пятен", "разоблачительства" и исторических альтернатив. Автор указывает на слабость мятежников, на противоречия в их среде и наперекор всем любителям фантазировать, о том что бы было если бы мятежники победили, доказывает, что они не имели будущего и их поражение закономерно.

Описав за последние годы какой-то романтически-легкомысленный круг, исследователи вновь возвращаются к постижению закономерностей общественного развития. В целом же следует признать, что либеральные потрясения последних лет оказались не столь страшны для историографии, сложившейся в советское время. Думается, что коммунизм "военный" получит свое окончательное толкование в зависимости от того какую нишу в истории, истории России в частности, займет коммунизм "как таковой", который еще не сказал своего последнего слова. Историческая мысль замерла в ожидании, ожидании как новых фундаментальных открытий в обществоведении, так и нового этапа в своем общественном развитии.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мау В. А. Реформы и догмы. 1914–1929. М., 1993. С. 57.
2. Дмитренко В. П. "Военный коммунизм", нэп... // История СССР. 1990. №3. С. 6.
3. Берхин И. Б. Так что же такое "военный коммунизм"? // История СССР. 1990. №3. С. 139.
4. Дмитренко В. П. Указ. соч. С. 4.
5. Булдаков В. П., Кабанов В. В. "Военный коммунизм": идеология и общественное развитие // Вопросы истории. 1990. №3. С. 45.
6. Там же. С. 42. См. другие публикации Булдакова и Кабанова по вопросам воен
коммунизма: "Военный коммунизм": агрессия идеи // Вестник высшей школы. 1990. №11;
ли "военный коммунизм"? // Военный коммунизм: как это было. М., 1991; Истоки и с
"военного коммунизма" // Татьянин день. 1992. №3; Диктатура доктрины // Родина. 1992.
7. Ленин В. И. Полн. собр. соч. С. 36. С. 265.
8. Поляков Ю. А. Гражданская война в России (Поиски нового видения) // Ист
СССР. 1990. №2. С. 107.
9. Дементьев Н. Е. К оценке земельной и продовольственной политики Советской в
в 191 –1918 годах // Вопросы истории. 1991. №4–5. С. 204.
10. Шевоцуков П. Гражданская война. Взгляд через десятилетия // Свободная м
1992. №10. С. 76.
11. ГАРФ. Ф. 130. Оп. 2. Д. 265. Л. 17.
12. Цит. по "Наше Отечество. Опыт политической истории". Т. 2. М., 1991. С. 42.
13. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государ
М., 1991. С. 115.
14. Бордюгов Г. А., Козлов В. А. История и конъюнктура. М., 1992. С. 196.
15. История Отечества: люди, идеи, решения. С. 49.
16. Там же. С. 52.
17. Там же. С. 56–57.
18. Там же. С. 55.
19. Там же. С. 56.
20. Цит. по "Наше Отечество: Опыт политической истории" С. 42.
21. История Отечества: люди, идеи, решения. С. 61.
22. Там же.
23. ЦГАМО. Ф. 2052. Оп. 1. Д. 68. Л. 13 об.
24. Бордюгов Г. А., Козлов В.А. История и конъюнктура. С. 300.
25. См.: Берхин И. Б. Так что же такое "военный коммунизм"? // История СССР.
№3. С. 131–132; Давыдов А. Ю. Мешочничество и советская продовольственная дикта
1918–1922 годы // Вопросы истории. 1994. №3. С. 46; Поляков Ю. А. Указ. соч. С.
Нежинский Л. Н. Внешняя политика Советского государства в 1917–1921 годах: курс на "мир
революцию" или на мирное сосуществование? // История СССР. 1991. №6. С. 5; Булдаков
Кабанов В. В. "Военный коммунизм": идеология и общественное развитие. С. 43, 56; Дмитренко
Указ. соч. С. 8; Леонов С. В. Советская государственность: замыслы и действительность (1
1920) // Вопросы истории. 1990. №12. С. 41; Трукан Г. А. Путь к тоталитаризму. 1917–19
М., 1994. С. 54; и др.
26. Давыдов А. Ю. Указ. соч. С. 46.
27. Леонов С. В. Указ. соч. С. 41.
28. Гимпельсон Е. Г. К вопросу о "военном коммунизме" // Вопросы истории К
1986. №6. С. 73.
29. Его же. Формирование советской политической системы. М., 1995. С. 96.
30. Булдаков В. П., Кабанов В. В. "Военный коммунизм"; идеология и обществ
развитие. С. 56.
31. Наше Отечество. Опыт политической истории. С. 76.
32. Леонов С. В. Указ. соч. С. 45.
33. Гимпельсон Е. Г. Влияние гражданской войны на формирование советской полит
кой системы. 1918–1920 гг. // История СССР. №5. С. 3.
34. Его же. Формирование советской политической системы. С. 112.
35. Его же. Влияние гражданской войны... С. 4.
36. Там же. С. 8.
37. Его же. Формирование советской политической системы. С. 47.
38. Lih L. Bread and Authority in Russia, 1914–1921. Berkeley, 1990.
39. Веселов С. В. Кооперация и Советская власть: период "военного коммунизма
Вопросы истории. 1991. №9–10. С. 26.
40. Суворова Л. И. За "фасадом" "военного коммунизма": политическая власть и р
ная экономика // Отечественная история. 1993. №4.
41. Там же. С. 55.
42. Там же. С. 51.

43. РЦХИДНИ. Ф. 94. Оп. 2. Д. 30. Л. 114.
44. Там же. Ф. 17. Оп. 66. Д. 65. Л. 54.
45. Суворова Л. И. Указ. соч. С. 50.
46. РЦХИДНИ. Ф. 94. Оп. 2. Д. 30. Л. 92.
47. Давыдов А. Ю. Указ. соч.
48. Там же. С. 47.
49. Присяжный Н. С. Экономическая чума: Военный коммунизм в России (Историко-экономический анализ. 1918–1921 гг.). Ростов н/Д., 1994, С. 6.
50. Там же. С. 3.
51. Siegelbaum L. Soviet State and Society Between Revolutions, 1918–1929. N.-Y., 1992; Defining and Ignoring Labor Discipline in the Early Soviet Period: The Comrades – Disciplinary Courts, 1918–1922 // Slavic Review, 1992, Winter.
52. Figes O. Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution, 1917–1921. N.-Y., 1989.
53. Patenaude B. Peasants in to Russians: The Utopian Essence of War Communism // The Russian Review. 1995. October.
54. Розенберг У., Дробижев В. З. Социально-экономическое положение и политика Советского государства при переходе к нэпу // История СССР. 1989. №4. С. 118.
55. Амбарцумов Е. А. Анализ В. И. Лениным причин кризиса 1921 г. и путей выхода из него // Вопросы истории. 1984. №4.
56. Там же. С. 19.
57. Бугаев Е. Странная позиция // Коммунист. 1984. №14. С. 122.
58. Там же. С. 126.
59. Бордюгов Г., Котеленец Е., Подщеколдин А., Симонов Н. От какого "единства" мы отказываемся // Учительская газета. 1990. 5 июня. №23.
60. Павлюченков С. А. С чего начинался нэп // Неделя. 1989. №15; Его же. Почему вспыхнула "антоновщина"? Дополнительные штрихи к истории восстания // Неделя. 1989. №44; Его же. Начало борьбы за нэп // Аргументы и факты. 1990. №5; Его же. С чего начинался нэп // Трудные вопросы истории. М., 1991; Его же. Военный коммунизм: свобода или необходимость // Наше Отечество. Опыт политической истории. С. 2. М., 1991; Его же. Десятилетие борьбы. Внутрипартийная оппозиция в РКП(б) в период военного коммунизма и нэпа // Власть и оппозиция. М., 1995.
61. Дмитренко В. П. Указ. соч. С. 12; Горинов М. М., Цакунов С. В. Ленинская концепция нэпа: становление и развитие // Вопросы истории. 1990. №4. С. 23; Леонов С. В. Указ. соч. С. 42; Гимпельсон Е. Г. Политическая система и нэп: неадекватность реформ // Отечественная история. 1993. №2. С. 29.
62. Himmer R. The Transition from War Communism to the New Economic Policy: An Analysis of Stalin's Views // The Russian Review. 1994. October.
63 Цюрупа В. А. Колокола памяти. М., 1986. С. 88.
64. Пленум ЦК РКП(б) 13 апреля 1919 г. (РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 26. Л. 18 об.)
65. Есиков С. А., Протасов Л. Г. "Антоновщина": новые подходы // Вопросы истории. 1992. №6–7; Есиков С. А., Канищев В. В. "Антоновский нэп" (Организация и деятельность "Союза трудового крестьянства" Тамбовской губернии. 1920–1921 гг.) // Отечественная история. 1993. №4.
66. Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг. ("Антоновщина"): Документы и материалы. Тамбов, 1994.
67. Кронштадтская трагедия 1921 года // Вопросы истории. 1994. №4–7.
68. Щетинов Ю. А. За кулисами Кронштадтского восстания 1921 г. // Вестник Московского университета. История. 1995. №2, 3.
69. Там же. №2. С. 5.

СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ 1920–30-Х ГОДОВ:

ОТ МИФОВ К РЕАЛЬНОСТИ

М. М. Горинов

Всеобщая эйфория в рядах профессиональных историков в незабываемую строечную" историографическую весну на какое-то время заставляла зак глаза на очевидное: официально не декларировавшуюся, однако на деле осуществлявшуюся идеологическую заданность вектора дискуссий. Пере ный плюрализм был поставлен в жесткие рамки: требовалось противопо "хороший" нэп (историю 20-х гг.) "плохому" сталинизму (истории 30 Соответственно отечественная историография 20–30-х гг. в целом прош знаком поиска альтернативы сталинскому "великому перелому" 1929 шире – модели государственного социализма, реализованной в СССР и с бывшего социалистического содружества. Нэповская экономика, с характе для нее плюрализмом форм собственности, хозрасчетной госпромышлен сосуществованием планового регулирования и рынка, представлялась м публицистами и, в меньшей степени, исследователями-профессионалами ной моделью "социалистической рыночной экономики"; а нэп в целом относительным идеологическим плюрализмом в рамках коммунистическ трины – прообразом искомого "рыночного социализма", якобы волюнта отброшенным Сталиным, стремившимся к установлению режима личной а потому не нуждавшимся в "плюралистичном" нэпе.

Однако в рамках этой "оптимистической" парадигмы постепенно руется иное – "пессимистическое" – направление. Его представители акцент на выявлении и анализе противоречий нэпа; обратили внимание ниченность сферы действия рыночных механизмов в экономической 20-х гг.; проанализировали наблюдавшиеся кризисы нэпа; сформулирова о преимущественной обусловленности высоких темпов экономического в 20-е гг. "восстановительным эффектом" (происходившей загрузкой прос ших в годы социальных катаклизмов производственных мощностей, что снимало на какое-то время проблему инвестиций). Эти наблюдения данную группу исследователей к выводу о глубоких объективных корнях ского поворота 1929 г.; признанию значительных достижений советско

ства 30-х гг. Соответственно, поиск "альтернативы сталинизму" с конца десятилетия ("бухаринизм") был перенесен ими к началу — середине 1920-х гг. (1) Глубокий анализ перестроечной историографии 20—30-х гг., осуществленный Г. А. Бордюговым и В. А. Козловым, а также британским профессором Р. У. Дэвисом избавляет нас от необходимости углубляться в эти сюжеты (2).

В постперестроечной историографии произошло то, что обычно случается в науке: маргинальное направление стало преобладающим, причем, выводы первых маргиналов зачастую казались их последователям недостаточно радикальными.

Историографическому экстремизму способствовала общественно-политическая ситуация начала 90-х гг. В результате серьезного воздействия вненаучного фактора широта идейного поля в осмыслении истории 20—30-х гг. оказалась суженной. Поиск альтернативных вариантов развития многим стал казаться несерьезным, поскольку де "все одним миром мазаны". Вместо характерного для перестроечной литературы выявления и анализа мнений, их оттенков внутри партии (включая ближайшее окружение И. В. Сталина), в столкновении которых вырабатывалась "генеральная линия" ВКП(б), зачастую бралась на вооружение тоталитарная концепция советского общества, признающая изначальную запрограммированность антидемократического перерождения советского режима существом марксистской доктрины, характером большевистской партии. Вместо серьезного изучения реальных механизмов функционирования советского общества в 20—30-е гг., его противоречий, достижений и недостатков вся советская история объявлялась "трагической ошибкой".

Однако профессиональное изучение отечественной истории 20—30-х гг., переместившись из центра общественного внимания на его периферию, не прекратилось. Вышел ряд серьезных работ, правда, большинство из них было реально подготовлено "на излете" предшествующего периода (3).

Проблемы экономической истории: план и (или) рынок

В последних исследованиях нэповской экономики получили конкретно-историческое обоснование преимущественно аналитические выводы "пессимистов". Применительно к госсектору подчеркивается его слабая затронутость рыночными отношениями. С. Н. Лапина, Н. Д. Лелюхина, Е. С. Федоровская отмечают, что "принимаемые меры по соединению государственного хозяйства с рынком были непоследовательными, половинчатыми, незаконченными. Новые формы хозяйствования оказались весьма несовершенными и не дали первоначально предполагаемого эффекта" (4). Крайне незначительными оказались масштабы концессионной деятельности государства: в 1926/27 г. концессии охватывали 0,5% действующих предприятий и 0,7% всех рабочих страны. Причем, среди "концессионных предприятий не оказалось образцовых, технически совершенных, хотя нередко они были оснащены лучше отечественных" (5). Также не получила широкого распространения аренда госпредприятий (6).

Что же касается промышленности, оставшейся в руках государства, то рыночные отношения проникли в нее крайне неравномерно и неглубоко. По существу вне рамок рынка была поставлена оборонная индустрия: она финансировалась из госбюджета, снабжалась ресурсами по заниженным ценам. В топливной промышленности (включавшей торфяную, нефтяную и каменноугольную отрасли) основная часть продукции направлялась плановым потребителям по твердым ценам" (7). "Хозрасчет трестов, даже так называемый полный, в действительности был половинчатым, непоследовательным... Обособления от государственного аппарата и превращения в самостоятельного товаропроизводителя не произошло" (8). Предприятия же были практически лишены хозяйственной самостоятельности. Причем, с середины 20-х гг. в деятельности трестов усиливаются планово-административные начала. Весьма неоднозначным был баланс деятельности трестов в 20-е гг.: "...Сыграв важную роль в восстановлении промышленности, тресты не сумели стать образцом эффективного социалистического хозяйствования. Себестоимость промышленной продукции возросла в 2—2,5 раза по сравнению с уровнем 1913 г. Соответственно и цены на промышленные товары в 1926 г. в 2 раза превышали цены 1913 г. и в 2,4—2,5 раза были выше, чем в ведущих капиталистических странах" (9). Общий вывод, к которому пришли исследователи, следующий: "Рынок, сложившийся в стране в 20-е годы, был и неразвитым, и деформированным. В его структуре наибольшую роль играл потребительский рынок, хотя и он был крайне узок; отечественные товары, прежде всего промышленные, уступали по качеству даже дореволюционным стандартам, не говоря уже о мировых... Рынок в стране складывался как автаркический, оторванный от мирового хозяйства, со своеобразной системой цен: плановых, твердых, предельных, свободных (договорных) и т. п. (10)

Сходную характеристику госпромышленности 20-х гг. дает Л. А. Неретина, по наблюдениям которой при "переходе к нэпу продолжился процесс концентрации производства... Высокий уровень концентрации производства стал общим фоном развития монополизации производства, которая противоречила рыночным отношениям" (11). Автор отмечает нарастание административного вмешательства в экономику с середины 20-х гг. "В целом, — по ее мнению, — перестройка управления промышленностью в годы нэпа свелась к борьбе двух основных тенденций — децентрализации и централизации, а не радикальной реорганизации всей системы управления" (12). По мнению И. А. Исаева, тенденции "к централизации, намеченные уже вначале нэпа, полностью раскрываются к концу периода его существования в 1927—1928 гг. Определяющим фактором такой трансформации... стала сфера государственной промышленности, в структуре которой были заложены центристские принципы, несовместимые с представлениями о свободном рынке" (13).

Аналогичные тенденции масштабного государственного вмешательства исследователи выявили и в области финансовой политики. Ю. П. Бокарев отмечает, что по сути сразу же после успешного проведения финансово-экономической реформы 1922—24 гг. (14), давшей стране твердую валюту, финансовая политика Советской власти вела к подрыву рыночного равновесия (15). Типичным образчиком абсурдных с точки зрения императивов рыночной экономики действий государственной власти Ю. П. Бокарев считает постановление СТО "О снижении розничных цен на недостаточные товары государственной промышленности" от 2 июля 1926 г.: "Если в условиях рыночной экономики цены

на недостающие товары повышаются, что, с одной стороны, ограничивает размеры их потребления, а с другой стороны, делает прибыльным рост их производства, то складывавшаяся в СССР хозяйственная система поступала наоборот... Ясно, что в таких условиях рынок уже не существовал. В 1926 г. стало невозможно ориентироваться на прибыль для координации экономической деятельности... Это привело в июле 1927 г. к решению, имеющему характер экономической реформы. По представлению Госплана в СТО была сконструирована новая плановая величина — средний процент прибыли, определяемый для всей промышленности, ее отраслей и предприятий. Средняя норма прибыли была включена в калькуляцию отпускных цен, а вся прибыль сверх этой нормы должна (была) передаваться государству для перераспределения среди убыточных предприятий. Таким образом, известная нам по «застойному» времени система уравнительности и дотаций существовала уже в 1927 г. Конечно, не все компоненты командно-административной системы 30–80-х годов сложились в 1926–1927 гг., но важно то, что многие из них существовали в это время" (16).

Аналогичная картина реального функционирования нэпа рисуется исследователями применительно к аграрному сектору. По мнению Н. Л. Рогалиной, "нэп в деревне вводился с запозданием, фрагментарно, без твердых правовых гарантий, а это значит, что уже на старте на него была накинута удавка. Само поле, выделенное нэпу, было ограничено, а доктринальная заданность определила его принципиальную половинчатость... Стихийное стремление к индивидуальному землепользованию и мобилизации земли зажиточными слоями блокировалось и замораживалось национализацией земли, монополией внешней торговли. Хозяйственно целесообразная хуторизация также была свернута довольно быстро. Уже в 1922 г. Наркомзем дал указание сократить хуторские разверстания, что вскоре ударило по товарности... Все это сильно задерживало и без того замедленный в послереволюционной деревне процесс капиталонакопления и рост средних слоев как материальных выразителей и носителей товарного производства". Ставка же на середняка была "малопродуктивна в плане разрешения хлебной проблемы. Типичный середняк отчуждал 10–15 ц хлеба, зажиточный — 20–40 ц, а кулак — 70–80 ц" (17–18).

К тем же выводам пришел В. В. Кабанов: "Крестьянство в 20-е годы так и не получило ни свободы хозяйственной деятельности, ни правовой гарантии для хозяйственной инициативы. Классовая политика государства порождала неуверенность крестьянина, не стимулировала его к обогащению, а в бедноте сохраняла иждивенческие настроения. Условий для сознательного выбора путей развития у крестьянина становилось все меньше. Выход на хутора властями перекрывался. Затухало переселенческое движение. Плановые предложения по переселению к 1925 г. удалось выполнить только на 22%" (19).

Конкретную динамику нарастания администрирования в области государственного регулирования хлебного рынка в период нэпа исследовал В. И. Ильиных, следующим образом обобщив результаты своих наблюдений: "Период с весны по осень 1921 г. характеризуется попыткой государства сохранить свою хлебную монополию на несколько иных, чем в годы "военного коммунизма" основах. С осени 1921 по лето 1922 г. была проведена достаточно быстрая и радикальная демонополизация хлебного рынка. В 1922/23 и 1923/24 гг. хлебозаготовки велись преимущественно на рыночной основе, однако параллельно с этим проходил процесс постепенного усиления государственного и кооперативного заготаппарата и увеличение его доли в снятии с рынка товарного хлеба. В 1924–1925 гг. роль и централизация государственно-кооперативного заготаппарата еще более усилилась, началось административное наступление на частный хлеботорговый капитал и был проведен ряд в целом безуспешных попыток заменить рыночный механизм ценообразования на директивный. В 1926–1927 гг. хлебный рынок страны был окончательно ремонополизирован, а рыночный механизм ценообразования заменен на директивный. Получив таким образом в свою собственность практически весь реализуемый крестьянством хлеб, государство с января 1928 г. стало стремиться к собственности на весь произведенный хлеб, а затем и к монополии на его производство" (20).

Пожалуй, большая часть исследователей перспективы нэпа оценивает пессимистически. В. П. Дмитренко полагает, что нэп представлял собой лишь одну из тенденций, один из элементов, причем, периферийных, политики и экономики 20-х гг. (21) В обществе того времени изначально определилось "противостояние двух основных «связок». Первая (ведущая, системообразующая) — государственная собственность, неразрывно связанная с административно-командной системой управления, идеологией пролетарской диктатуры. Вторая (периферийная) — несоциалистические (необобществленные) уклады, требующие для своего функционирования соответствующих (экономических) методов, эффективного механизма самозащиты. Каждая из этих «связок» имела свою логику развития, что неизбежно разводило их в разные стороны, рождая конфликты и вопрос о дальнейшем сотрудничестве" (22). Изначальная "периферийность" нэпа и предопределила его судьбу.

Применительно к этому интересному анализу хотелось бы отметить, что привязка нэпа к рыночной тенденции, строго говоря, конкретно-исторически представляется неверной. На наш взгляд, нэп в экономике — это дуалистичная административно-рыночная система: так она осмысливалась партийными лидерами, так обстояли дела на практике (23). Но это скорее вопрос термина. Суть же явления — изначальная "скованность" рыночной тенденции, ее реализации преимущественно в периферийных секторах экономики — схвачена верно.

По мнению Рогалиной, нэп был изначально обречен: "...Изначальная ущербность рынка позволяла принимать экономические решения политическим путем во все возрастающей степени. В конце концов система нэпа омертвела в результате попыток планирования многоукладной экономики и полунатурального крестьянского хозяйства, приспособления того и другого к нуждам форсированной индустриализации" (24). "Вероятно, когда делается выбор, тогда и определяется конечный результат общественного развития" (25). Более осторожна в выводах Н. П. Носова: "Анализ конкретной практики хозяйствования и управления сельским хозяйством в условиях новой экономической политики показывает, что складывание хозяйственного механизма нэпа проходило в борьбе двух тенденций хозяйственного строительства, на основе социально-экономической действительности нэпа или на основе возврата к старой экономической политике. Абсолютизация государственных форм и методов регулирования экономических отношений привела к концу 20-х годов к созданию чисто админис-

тративной системы регулирования сельского хозяйства страны" (26). В свою очередь, посвятивший много лет изучению крестьянской кооперации В. В. Кабанов пришел к весьма пессимистическому заключению о ее возможных перспективах в рамках нэповской модели: "Кооперативное движение, возрождавшееся с переходом к нэпу, вроде бы должно было вселить надежду на прогресс кооперативных форм в сельском хозяйстве". Однако кооперация "никоим образом не становилась "столбовой дорогой" к социализму" (27). К аналогичным выводам, скорректировав свои более ранние оценки, пришел и Л. Е Файн (28).

Когда началось свертывание нэпа? Большинство исследователей полагают, что где-то с рубежа 1925/26 гг. Однако В. А. Мау видит истоки этого процесса в событиях осени 1923 — начала 1924 г.: в осеннем кризисе сбыта и выбранном пути его преодоления (29). Именно тогда, по его мнению, правительство встало перед альтернативой: преодолевать возникшие "трудности в логике той системы, которая их порождает, или, наоборот, ломая эту логику, логику рыночного равновесия и экономического стимулирования". Государство выбрало внерыночный путь: не демонополизации экономики, а административного снижения цен, причем стало рассматривать эту акцию не как единовременную, а как фундаментальную черту новой экономики. Чуть позже был сделан вывод о том, что "советская власть должна противопоставить монополизму своих (государственных) трестов политику административного снижения цен. Утверждалось, что таким путем удастся подталкивать производителей к снижению издержек, то есть получать те же результаты, к которым при капитализме приводит конкуренция... С этого времени происходит постепенное угасание нэпа и начинает возрастать роль Госплана именно как органа, восходящего к практике военного коммунизма..." (30)

Таким образом, согласно представлениям первой группы исследователей, к концу 20-х гг. и в промышленности, и в области финансов, и в сельском хозяйстве нэп по сути был "свернут". И, хотя сами перечисленные исследователи и не делают такого вывода, из всего хода их анализа вытекает, что "поворот 1929 г." был закономерным шагом на пути постепенной трансформации дуалистичной административно-рыночной нэповской модели в преимущественно административную экономическую модель 30-х гг.

Другая группа исследователей с большим оптимизмом оценивает перспективы нэпа. М. А. Свищев, использовав метод имитационного моделирования, сопоставил реальные экономические результаты развития аграрного сектора на протяжении 30-х годов, с теми, которые, по его мнению, могли бы быть достигнуты в случае продолжения политики нэпа. Итог его анализа следующий: "Продолжение политики нэпа в деревне не привело бы к взрывному росту экономики, как об этом с такой горячностью недавно писали публицисты. Хозяйственные результаты, которые могли бы быть достигнуты в 30-е годы на базе мелкого производства, не столь уж существенно превышали бы реальные. Но очевидна и несостоятельность ссылок на то, что индивидуальные крестьянские хозяйства были бы не в состоянии прокормить страну. По крайней мере, удовлетворить минимальные потребности населения в продовольствии они были в состоянии" (31).

Следует, однако, отметить, что в конце 20-х гг. реальная проблема заключалась не в потенциальной способности (или неспособности) мелкого крестьянского хозяйства к дальнейшему росту производства (разумеется, такими возможностями оно обладало), а в том, как стимулировать рост товарной продукции аграрного сектора в рамках выбранной модели индустриализации. Продолжение нэпа в деревне, как об этом убедительно свидетельствовал опыт кризисов 1923, 1925, 1927/28 гг. (их глубинной причиной были попытки ускорения темпов индустриального роста), по сути, блокировало возможность форсированной индустриализации (32). Коллективизация же, хотя и не привела к прогнозировавшимся партийным руководством темпам роста аграрного производства (а в годы первой пятилетки, наоборот, привела к его катастрофическому падению), позволила принудительно увеличить товарность отечественного сельского хозяйства, осуществить перекачку ресурсов (материальных, людских, финансовых) из аграрного сектора в стремительно растущий индустриальный.

Собственно говоря, это признает и Свищев, моделируя "нэповскую альтернативу" сталинской модели индустриализации: "Это был (бы) вариант медленного экстенсивного роста сельского хозяйства, которое поглощало бы практически все трудовые ресурсы страны. Незначительным оказался бы отток населения из деревни, замедлился бы процесс урбанизации. В городе развивались бы главным образом те производства, которые не требуют больших капиталовложений, сложной техники, быстро дают отдачу. В такой ситуации «прыжок» к индустриальному обществу был бы, вероятно, невозможен" (33). По существу, реализовался бы "шанинский вариант" развития (34).

К сходным выводам пришел Р. Дэвис: "Советская экономика середины 20-х не зашла в тупик: с одной стороны, к 1927 г. она достигла уровня, позволяющего умеренный рост как промышленности, так и сельского хозяйства. С другой стороны... та нестабильная рыночная связь между государством и крестьянином, которая характерна для нэпа, была способна поддерживать более высокие уровни индустриализации, чем те, которые были достигнуты накануне первой мировой войны. При том темпе индустриализации, который советское руководство навязало экономике, система нэпа была обречена на провал" (35). Причем, английский ученый, анализируя проблему нэповской экономической альтернативы "сталинизму", справедливо отметил недостаточную изученность ряда ключевых параметров нэповской экономики (например, степени восстановления различных отраслей экономки; сравнительного уровня капитальных вложений в различные секторы экономики в 20-е гг.), без чего дискуссия об альтернативах оказывается во многом схоластической (36). С этими "умеренно оптимистичными" выводами (абстрагируясь от социально-политического и внешнеполитического аспектов) нельзя не согласиться.

Сложнее принять слишком оптимистическую, на наш взгляд, позицию другой группы исследователей. В. С. Лельчук, например, утверждает, что "в нашей литературе преобладает мнение, будто дальнейший подъем промышленности на рельсах нэпа не имел перспективы. Довод прост: начиналось новое строительство в таких масштабах, которые требовали иных способов изыскания средств и принципиально других методов управления... Мол, возможности нэпа были исчерпаны самим ходом восстановления народного хозяйства. Порой приводятся цифры, характеризующие износ оборудования, сравнительно невысокую эффективность производства, дороговизну нового строительства, нехватку ква-

лифицированных специалистов и т. п... Непременно используется довод о военной угрозе, якобы ставшей реальностью в 1927 г. Выходит так, будто сама отсталость экономики и капиталистическое окружение делали неизбежной постановку вопроса о скачке, о сверхнапряжении сил народа, об использовании приемов и методов "военного коммунизма" во имя быстрейшего преодоления разрыва со странами развитого капитализма. На словах получается как бы объяснение причин, породивших административно-командную систему, а на деле (независимо от желания авторов) — ее оправдание..." (37)

Как же опровергает исследователь аргументы "оправдателей"? "Приходится снова повторить, — пишет Лельчук, — многие историки, экономисты, философы, публицисты словно не видят прямой связи между внутрипартийной борьбой и выбором пути хозяйственного и социально-политического развития страны. Схватка за единовластие... причинила невосполнимый урон практике начинавшегося движения на рельсах нэпа, делу индустриального преобразования страны. Свертывание внутрипартийной демократии быстро реанимировало привычки и методы десятилетней давности, стимулировало командное руководство, изживало сам дух состязательности, предприимчивости, плюрализма, поиска альтернатив" (38). То есть, экономическим аргументам оппонентов (об износе основного капитала, дороговизне нового строительства, низкой эффективности производства и т. д.) исследователь противопоставляет... свертывание внутрипартийной демократии. Скажем, расширение внутрипартийной демократии, падение коммунистического режима в бывшем СССР привели не к "дальнейшему подъему промышленности", а к катастрофическому спаду индустриального и аграрного производства, к развалу государства. Свертывание же умеренной либерализации (известные события на площади Тяньаньмень), сохранение жесткой однопартийной системы в Китае не препятствовали, а скорее способствовали бурному экономическому, в том числе, промышленному росту на основе расширения рыночных элементов хозяйствования.

Справедливости ради следует отметить, что в других разделах главы Лельчук приводит и иные аргументы: "Ретроспективная оценка минувших лет в целом свидетельствовала, что именно на путях нэпа... народное хозяйство было успешно восстановлено. С помощью внутренних источников накопления оно переходило на расширенное воспроизводство и в деревне, и в городе" (39). Казалось бы, обязывающий вывод о переходе к расширенному воспроизводству и в городе, и в деревне следовало бы подкрепить соответствующими данными. Какие же показатели приводит автор? "Современников не надо было убеждать в том, о чем историки пишут мимоходом даже в учебниках, а то и вовсе обходят стороной, — о быстром преодолении голода. Статистика свидетельствовала: в 1927 г. по уровню потребления пищевых продуктов высшие рубежи дореволюционной России остались позади. Горожане, например, потребляли в среднем свыше 41 килограмма мяса (жители деревни — около 23). Население было обеспечено хлебом (приблизительно 180 килограммов зерна на одного человека в городе и 220 килограммов в деревне), крупой, молоком, растительным маслом..." (40) Прервем цитату, и отметим, что для наглядности автор обязан был привести соответствующие показатели по дореволюционной России. Но поверим ему на слово и согласимся, что в 20-е гг. народ стал лучше питаться. Однако может ли один этот факт

свидетельствовать об успешном переходе на расширенное воспроизводство в деревне? Известно, что в силу ряда причин (товарного голода, лимитировавшего рост крестьянского производства, осереднячивания деревни, ликвидации крупнотоварных помещичьих хозяйств и др.) в нэповской России резко упали товарность сельского хозяйства и экспорт аграрной продукции. По сравнению с 1909—1913 гг., в 1925 г. экспорт сельскохозяйственных продуктов составил 21,7%; в 1926 г. — 27,1% (41).

По подсчетам М. Левина, до революции крестьяне производили 50% всего зерна (без кулаков и помещиков), а потребляли 60%; теперь (без кулаков) они производили 85%, но потребляли 80%. В 1927—1928 гг. государственные закупки составили 630 млн. пуд. против довоенных 1300,6 млн. Причем, если количество зерна в распоряжении государства было теперь меньше вдвое, то экспорт его приходилось сократить в 20 (!) раз. Все это оборачивалось настоящим бедствием для экономики страны, поскольку падение хлебного экспорта подрывало возможности импорта промышленного оборудования, блокируя тем самым возможности осуществления масштабных индустриальных программ. "Съедая большую часть своего урожая хлеба... крестьяне, сами того не понимая, затягивали петлю на шее режима, и затягивали все туже, т. к. ситуация развивалась от плохой к еще худшей" (42).

Возвратимся к прерванной цитате и посмотрим, какие факты успешного перехода к расширенному воспроизводству в промышленности приводит Лельчук? "Важнейшим показателем происходившего подъема был общий рост фабрично-заводской промышленности; ее продукция и в 1927 г. превысила плановые наметки, причем подъем неуклонно нарастал. Шло снижение себестоимости продукции, увеличивались прибыли... Внутренние ресурсы государственной промышленности покрывали капитальные затраты. Чистая прибыль отраслей, планируемых ВСНХ СССР, росла. С 631 млн. рублей в 1925/26 она поднялась до 825 млн. рублей в 1927/28 гг. Суммируя данные о чистой прибыли и амортизации за трехлетие, предшествовавшее первой пятилетке, мы получим величину в 3275 млн. руб... В то время советская индустрия заметно превышала уровень дореволюционной России по выработке электроэнергии, добыче нефти, угля, выпуску металлорежущих станков и т. д. Начиналось производство отечественных автомобилей, тракторов, радиоприемников... (Таким европейским странам, как Германия, Франция, Англия, завершить восстановление хозяйства тогда еще не удалось)... быстрое возвращение к довоенным рубежам уже само по себе свидетельствовало о возможностях нэпа" (43). И общий вывод: "Казалось бы сама жизнь предуказывает выбор дальнейшего пути. Поездка (Сталина) в Сибирь в январе 1928 г. полностью перечеркивала подобные предположения" (44).

Однако, и в нашей, и в зарубежной литературе неоднократно отмечалось, что высокие показатели роста экономики в первые годы нэпа "были связаны с вовлечением ресурсов, омертвленных упадком производства в годы гражданской войны" (45). К концу же 20-х годов резервные мощности были уже загружены, и во весь рост вставала проблема инвестиций в новое промышленное строительство, без которых не только "неуклонного нарастания промышленного подъема" ждать не приходилось, но и подержание прежних темпов индустриального роста оказывалось невозможным. Так что "быстрое возвращение к до-

военным рубежам" "само по себе" отнюдь не "свидетельствовало о возможностях нэпа". Это обстоятельство в другом месте главы признает и Лельчук, по существу дезавуируя тем самым свой оптимизм в отношении перспектив индустриального роста на базе нэповской модели: "Если в первой половине двадцатых годов подъем народного хозяйства связывали главным образом с возрождением промышленности, улучшением работы действовавших предприятий, то во второй половине на первый план все более властно выходила задача массового строительства новых заводов, шахт, нефтепромыслов и т. д. Соответственно иное звучание приобретал вопрос о размерах накоплений, о роли госбюджета, о соотношении плана и рынка" (46). Что же касается снижения себестоимости, то не следует преувеличивать достигнутых успехов. Себестоимость промышленной продукции возросла в 2–2,5 раза по сравнению с уровнем 1913 г. Соответственно и цены на промышленные товары в 1926 г. в 2 раза превышали цены 1913 г. и в 2,4–2,5 раза были выше, чем в ведущих капиталистических странах (47). Так что некоторое снижение себестоимости промышленной продукции в 1927–1928 гг. объяснялось ее крайним завышением в предшествующий период, причем, по качественным показателям нэповская промышленность так и не достигла уровня 1913 г.. По подсчетам Г. И. Ханина, в конце 20-х гг. фондоотдача в народном хозяйстве упала на 25%; по отношению к основным фондам в 1913 г. рентабельность промышленности составляла 19,7%, в 1928 г. – 10,9%, на железнодорожном транспорте (к основным и оборотным) – соответственно 8,2% и 2,5% (48).

Не следует преувеличивать и рост прибыли госпромышленности. Во-первых, он объяснялся, в первую очередь, ее монопольным положением на рынке, что позволяло поддерживать широкий раствор ножниц (в пользу промышленности) между ценами на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Во-вторых, по данным Г. И. Ханина, в промышленности в 1928 г. создавалось прибыли на 20% меньше, чем до войны, на железнодорожном транспорте в 4 раза меньше, в обеих отраслях вместе – в 2 раза меньше (49).

Кроме того, не свидетельствовало о выдающихся успехах и достижение по абсолютным показателям промышленного и аграрного производства уровня 1913 г. По признанию М. Левина, "Россия вроде и восстановила после войны экономику, вроде и размахнулась, но... до уровня 1913 г. А к 1928 г. пришла с устарелым оборудованием. Россия бежала от отсталости, но отсталость неумолимо гналась за ней" (50). В этой связи вызывает сомнения положение В. С. Лельчука об опережающем восстановлении экономики СССР сравнительно с западными странами. По данным Р. У. Дэвиса, в последний год полного нэпа, 1926/27, разница в выпуске продукции на душу населения в Советском Союзе и развитых индустриальных странах была такой же большой, как и в 1913 г. Подобно советской промышленности, французская и немецкая промышленность восстановили довоенный уровень к 1926/27 г., а продукция Соединенных Штатов Америки намного превысила этот уровень (51). Неоднократно также приводились в литературе данные об увеличении в 1928 году, по сравнению с 1913 годом, степени отсталости советской промышленности (52).

Может быть, на точке зрения В. С. Лельчука и не стоило останавливаться столь подробно, однако его выкладки, опубликованные в изданной массовым тиражом книге "Наше Отечество", получили широкий резонанс. В частности, правда без ссылки, они были почти дословно воспроизведены в учебном пособии "Рынок и реформы в России: Исторические и теоретические предпосылки" (53). По сути те же аргументы приведены и Г. А. Труканом (54). Добавлен лишь один новый: в конце 20-х гг. расширение "индустрии уже почти на 40% происходило за счет ресурсов предприятий" (55). Иными словами, в это время (когда еще не были задействованы последние резервы восстановительного периода и к масштабной промышленной реконструкции по сути еще не приступили) индустриальный рост почти на 2/3 осуществлялся за счет госбюджета. И этот факт преподносится как доказательство потенциальных возможностей нэпа в деле промышленной реконструкции! На наш взгляд, перспективы экономического роста на базе продолжения нэпа были. Но, думается, этот рост был бы крайне недостаточным для уменьшения степени отставания советской экономики от передовых западных стран, что в условиях нарастания на протяжении 30-х гг. угрозы новой мировой войны делало крайне проблематичным сохранение Советского Союза в качестве субъекта мировой политики.

В этой связи остановимся еще на одной проблеме экономической истории 20-х годов, поставленной в работах последнего времени,– проблеме причин нарастания администрирования. Сразу же после введения нэпа, чуть отпустив вожжи, государство начинает вновь активно вмешиваться в экономику: в область ценообразования, промышленных инвестиций, кооперативное движение и т. д. Как справедливо отмечается в литературе, это вмешательство периодически приводило к нарушению рыночного равновесия (56). Крайности этатизма неоднократно подвергались аргументированной критике в серьезной экономической литературе того времени (57). Тем не менее, правительство вновь и вновь форсировало инвестиции, усиливало прямое вмешательство государство в экономику. В чем причина этой настойчивости? Большая часть исследователей объясняет нарастание административного вмешательства и сверхиндустриализм некомпетентностью и волюнтаризмом большевистского руководства, в первую очередь, Сталина (58). Эти рассуждения не лишены смысла. Но, думается, они представляют собой поверхностное объяснение, первый пласт правды. Разумеется, программной целью большевиков было огосударствление экономики. Однако, как справедливо замечено в литературе, "никакая концепция, например «бестоварного социализма», сама по себе не могла стать исходным толчком для свертывания нэпа (напомним, что Ленин, оставаясь на позициях того же «бестоварного» социализма, сумел решительно повернуть к нэпу)" (59). Представляется, что реальная политика большевиков определялась не только (и очевидно – не столько) их программными установками, сколько чем-то иным. Чем? Очевидно, объективными процессами, протекавшими в обществе.

Определяющим, на наш взгляд, был объективно назревший переход России (Советского Союза) к индустриальной стадии развития производительных сил, при которой сосредоточение значительной части выпуска продукции на ограниченных по численности, но весьма крупных по размерам предприятиях (при ограниченности и малой подвижности выпускаемой номенклатуры) давало неоспоримые преимущества крупным объединениям, что, в свою очередь, "приводило к централизации управления не только в масштабах отдельных фирм,

но и на макроуровне" (60). В данном случае перед нами универсальный императив индустриализации, действенный в любых конкретно-исторических условиях.

Но был еще и другой — цивилизационный: императив русской истории. "Государство всегда играло весьма существенную роль в экономической жизни России, — отмечает В. А. Мау; — как в форме административно-правового вмешательства в хозяйственные процессы, так и через собственное непосредственное участие в производстве" (61). В начале XX в. эта сущностная черта российского исторического процесса была подкреплена потребностями индустриализации (62). Государственная власть должна была обеспечивать мобилизацию денежного капитала через налоговую систему и перераспределять формируемые таким способом средства в пользу крупной промышленности, покровительствовать отечественной индустрии при помощи соответствующей внешнеэкономической политики, изыскивать валютные ресурсы для импорта машин и оборудования, создавать благоприятные условия для притока иностранного капитала. При этом вся тяжесть подобной политики ложилась на крестьянство — оно было основным налогоплательщиком империи (80% всего населения) и давало основные экспортные ресурсы (63). Причем, царизму удалось удачно решить проблему привлечения иностранного капитала, который направлялся преимущественно в новые индустриальные районы и отрасли. Накануне первой мировой войны в руках иностранного капитала находилось около 70% выплавки чугуна и готовых изделий на юге России, около 60% всей добычи российской нефти, около 90% капиталов электрических и электротехнических предприятий и т. д.; иностранные капиталовложения составляли свыше трети всех капиталовложений в ценные бумаги (64).

К концу 20-х гг. народное хозяйство СССР как бы вернулось к уровню развития, на котором оно находилось в предреволюционный период (точнее — к уровню середины 1916 г. — "пику" развития дореволюционной российской экономики; со второй половины 1916 г. кривая экономического роста вплоть до начала 20-х гг. пошла резко вниз) (65). Перед страной встала задача, решение которой оказалось "отсроченным" полутора десятилетиями войн, революций, восстановления: задача завершения индустриализации, создания индустриальной структуры экономики.

Однако революция отнюдь не ликвидировала основных проблем дореволюционной экономической модели: относительной слабости частного предпринимательства, отсутствия значительных капитальных ресурсов, а также действенной системы аккумулирования и межотраслевого перелива капитала. Скорее она их усугубила. В результате социальных потрясений частный капитал стал еще слабее. И, думается, при самой покровительственной в его отношении правительственной политике вряд ли он был способен (при любом политическом режиме) стать основным мотором масштабной индустриализации.

Обстановка нараставшего на протяжении всех 20-х гг. тотального дефицита, а вовсе не доктринальная девственность (нужно быть очень наивным человеком, чтобы заподозрить в ней такого реального политика, каким был, например, Сталин), думается, и лежат в основе нарастания на протяжении всех 20-х гг. государственного вмешательства в хозяйственные процессы.

Механизм выработки реальной политики, в частности, наглядно продемонстрировал применительно к аграрной сфере конца 20-х гг. М. Левин. В 1927/28 г. госзакупки зерна составили 630 млн. пуд. против довоенных 1300,6 млн. Причем, государство вынуждено было в 20 раз (сравнительно с дореволюционным временем) сократить экспорт. Намеченные планы индустриализации оказывались под угрозой срыва. Столкнувшись в декабре 1927 г. с трудностями хлебозаготовок, партийное руководство прибегло к политике чрезвычайных мер (в тот период за их применение выступали и Бухарин с Рыковым). Летом 1928 г., оглядываясь на прожитый сельскохозяйственный год и его небывалые трудности экономического, социального и политического порядка, эксперты единодушно констатировали, что причины их продолжают действовать, и какую бы адекватную политику ни проводить наступающий год даст новый кризис заготовок. Для Политбюро и в особенности для Сталина этот факт был предельно ясен. Отправным пунктом умонастроений Сталина было желание "разобраться" с крестьянством. Понимая, что от "проклятой" проблемы хлебозаготовок не уйти, он отторгал любые теоретические усложнения в отношениях с деревней. В его окружении в ходу была фраза: "Мы не можем зависеть от кулака" (читай: "от мужика"). В марте — мае после нескольких лет топтания на месте был зафиксирован незначительный всплеск колхозного движения. Он вызвал энтузиазм в руководстве. Колхозники получили налоговые льготы и иные формы поддержки. Приток бедноты в колхозы усилился. Правительство на ходу создает руководящие структуры колхозного движения. Однако помощь бедноте не сулила быстрой отдачи хлебом. Соответственно усиливается нажим на кулака. Покровительство бедноте и ущемление кулака вызывает беспокойство середняка. Повторное применение чрезвычайных мер зимой 1928/29 г. вызвало рост крестьянского сопротивления. Анализ подсказывал, что ситуация на рынке ухудшается, и если в 1930 г. не добиться заметных сдвигов в аграрном производстве, то к 1931 г. индустриальное развитие будет остановлено. Сталин и Политбюро ведут отчаянный поиск решения, как защитить индустриализацию от опасности, которую таит слабость аграрного сектора. В этот период, с июня по октябрь 1929 г., начинают поступать сведения о значительных успехах на поприще коллективизации. Решения ноябрьского Пленума ЦК зафиксировали, что надежды руководства устремились в этом направлении.

Трудностями заготовительных кампаний правительство было сыто по горло, и летом 1929 г. оно проводило большую оргработу с целью ослабить свою зависимость от крестьянства и усилить свой контроль над ним. 27 июня состоялось решение ЦК о реорганизации кооперативных структур и усилении административных органов руководства колхозами. Создавались административные структуры для контроля за производством продукции в индивидуальном секторе. Контрактация фактически превращалась в средство принуждения крестьян сдавать государству все товарное зерно, что вело к нарастанию государственного принуждения. Набирает силу политика "твердых заданий" для кулака и огромных штрафов за их невыполнение ("пятикратка"). Эта политика затрагивает и середняка. В начале декабря план заготовок был выполнен. "Этот успех укрепил уверенность Политбюро в правильности своей политики и тем самым предопределил дальнейший ход событий. Заготовки были сделаны в минимальные сроки, и при почти завершенной к началу декабря кампании в распоряжении сельских властей оставалась мощная машина, созданная для этой кампании,

которую можно было использовать и для других целей. Опыт заготовок и полученные в ходе них тактические уроки подталкивали режим к решению, что эта мощь должна быть брошена на коллективизацию. Заготовки фактически подготовили для нее почву" (66).

Вопреки господствующему в литературе последних лет представлению, объясняющему сверхиндустриализм конца 20-х — начала 30-х гг. преимущественно сталинским волюнтаризмом, очевидно, имел место более сложный процесс. По мнению американского исследователя Х. Куромии, на процесс ускорения темпов промышленного развития, помимо общей политической атмосферы "социалистического наступления", оказал влияние ряд других факторов: возрастание в 1929—1930 г. регионального "индустриального самосознания" (местные партийные и промышленные руководители требовали все больше средств, процветал сепаратизм); усиление коллективизации с лета 1929 г. требовало резкого увеличения производства тракторов, что вызвало цепную реакцию в экономике в целом; втягивание "промышленных плановиков" в неконтролируемое соревнование за увеличение плановых заданий (67).

В свою очередь, В. А. Мау обратил внимание еще на один важный фактор сверхиндустриализма. Восстановительный "процесс описывался многими экономистами в виде "затухающей кривой", означавшей замедление темпа роста по мере приближения народного хозяйства к довоенному состоянию. Это положение было общепризнанным... Действительность же опровергла все расчеты... В 1927 г. объемы довоенного производства в основном были достигнуты, а темп роста не снизился и даже несколько возрос, оставаясь высоким и в 1928, и в 1929 гг... В сохранении высоких темпов роста объемных показателей увидели практическое подтверждение идеи о необходимости основывать плановые расчеты на особых возможностях самого советского строя. Между тем данный феномен получил уже тогда вполне четкое экономическое объяснение. Достижение 100%-го объема производства по сравнению с 1913 г. оказалось нетождественным полной загрузке довоенных производственных мощностей. Вовлечение последних в производственный процесс позволило еще некоторое время сохранить высокие темпы роста. О справедливости этого вывода свидетельствовали и данные о динамике качественных показателей, которые уже начали снижаться. Ведь на последнем этапе восстановления используются обычно наименее эффективные средства производства, которые по этой причине не были использованы ранее. В результате в течение некоторого времени возможно сохранение «восстановительных» темпов роста объемных показателей при снижении показателей себестоимости и производительности труда. Соответствующий количественный анализ, проведенный тогда В. А. Базаровым, очень скоро полностью подтвердился. Он предполагал, что в дореволюционной России загрузка производственных мощностей составляла примерно 70% их полного объема. Освоение 30%-го разрыва могло занять еще примерно двухлетний период, что означало неизбежное падание темпов примерно в 1930 г. Так оно и произошло на самом деле" (68).

Вероятно, сверхиндустриализм имел и еще одну причину: "Уравнительная по своей направленности тарифная реформа 1928 г., введение нормированного снабжения в городах закрывали или, во всяком случае, ограничивали возможности материального стимулирования. Компенсировать очевидную слабость материальных стимулов можно было только прямой апелляцией к классовому чувству рабочих. Ставить в этой ситуации скромные цели означало существенно сузить саму основу массового энтузиазма — довольно неустойчивого социально-психологического феномена, всегда ориентированного на значительные цели. Массовый энтузиазм, оторванный в годы первой пятилетки от материальных стимулов, неизбежно должен был опереться на «градиент цели» — нарастание активности по мере приближения к желаемому результату — либо сойти на нет. «Немедленный социализм» мог быть такой целью, нормализация экономической жизни на старой, нэповской основе — едва ли. Это... не оправдывает постановку экономически недостижимых целей, но в определенной мере объясняет их социально-психологический эффект" (69).

Крайне сложной представляется объективная оценка воздействия гонки плановых показателей на конечные результаты первой пятилетки: сорвал ли "сверхиндустриализм" успешно начавшуюся пятилетку, как полагает большинство исследователей, или, наоборот, он явился следствием ее срыва и был призван, по мысли его инициаторов, в том числе Сталина, в какой-то мере самортизировать этот срыв?

Попробуем разобраться в этой непростой проблеме. Во-первых, насколько научно обоснованным был первый пятилетний план? В "перестроечный" период целый ряд авторов (В. П. Данилов, О. Р. Лацис, В. С. Лельчук и др.) высоко оценивал резолюцию XV съезда ВКП(б) о первом пятилетнем плане с ее акцентом на сбалансированном росте; утверждалось, что она открывала дорогу бескризисному развитию на основе сохранения нэпа, представляла собой жизнеспособную (третью — не бухаринскую) альтернативу сталинскому курсу (70). Авторы последних работ не разделяют столь высокой оценки. В частности, профессор Р. У. Дэвис утверждает: "Когда историки на Западе принимают точку зрения о бухаринской альтернативе как о жизнеспособной политике для советского развития, очень немногие из них распространяют эти позитивные оценки на планы экономического развития конца 20-х годов. Резолюция XV съезда ВКП(б) была одобрена в обстановке серьезных дебатов по поводу соперничавших проектов первого пятилетнего плана. Но к негодованию «левой» оппозиции и многих из тех, кто находился на стороне партийного большинства, план заключал в себе далеко не все, волновавшие политиков и экономистов экономические проблемы, и, кроме того, был представлен без всяких цифр. План был силен своими превосходными принципами, но был далек от трудностей практической реализации. И «оптимальный вариант» первой пятилетки, принятый весной 1929 г., и даже более осторожный «отправной вариант», оба были основаны на нереалистических предположениях роста продуктивности труда и капитала при одновременном сокращении издержек промышленного производства. В плане также предполагалось, что в экономике будет поддерживаться финансовое равновесие, которое к тому времени было нарушено (зимой и весной 1928/29 г. Финансы и рынок расстроились уже до такой степени, что все стоимостные показатели плана оказались нереалистичными)" (71).

Если кратко сформулировать оценку госплановского проекта (и принятой на его основе резолюции XV съезда), то он был умозрителен, не соответствовал

реальной ситуации в экономике, не был сбалансирован. Утопичность и внутренняя противоречивость плана была подтверждена при его реализации. Срыв хлебозаготовок (о нем заблаговременно, как мы помним, предупреждали критики проекта), вызвал уже через несколько дней после завершения XV съезда применение чрезвычайных мер в деревне. В следующем году ситуация повторилась. Завершилось все это сплошной коллективизацией и беспрецедентным падением аграрного производства. В результате экономически необоснованная аграрная часть плана была полностью провалена. Задания в области социальной сферы, разумеется (из-за резкого падения производства продовольствия), тоже были невыполнены. В промышленности наблюдалась более благоприятная картина. Можно говорить о серьезном недовыполнении отправного пятилетнего плана по черной металлургии; по ряду же важных показателей (добыче нефти, торфа, товарным вагонам) отправной вариант был перевыполнен.

Итак, в чем же причины срыва? Часть исследователей полагает, что они — в отступлении от отправного варианта первого пятилетнего плана. Если бы не происходило эскалации плановых заданий, то реальные показатели выполнения плана (по основным отраслям промышленности) были теми же или даже большими (72). По нашему мнению, план был изначально обречен на срыв из-за своего несоответствия реальной хозяйственной ситуации. Как мы видели, его аграрная часть "полетела" еще до того, как стали повышаться плановые показатели. Этот сбой окончательно дезорганизовал рыночные механизмы хозяйствования; ограничил до предела возможности материального стимулирования труда. Тем самым план, ориентированный на ситуацию динамичного рыночного равновесия, был отброшен реальной хозяйственной практикой по сути еще до того, как он стал выполняться. Думается, с 1928 г. ни о каком реальном перспективном планировании речи уже не шло. Конкретная практика всех звеньев хозяйственного руководства была чисто ситуативной, эмпирической. Повышая плановые задания, сталинское руководство вряд ли рассчитывало выполнить их на 100% (хотя "головокружение от успехов" первых двух лет пятилетки, возможно, захватило и его). Как отмечал В. С. Лельчук, документы "свидетельствуют, что Сталин точно знал... о невозможности достигнуть 32% роста промышленности во втором году пятилетки" (73). Скорее, речь шла о другом: раскручивая гонку плановых заданий, стимулируя рост социалистического соревнования, Сталин стремился накалить общественную атмосферу, вызвать энтузиазм авангарда "индустриальной революции", призванного увлечь широкие массы народа на ее осуществление; и — на волне трудового героизма — проскочить "критическую фазу" индустриального скачка (74). Так же эмпирически, волнообразно определялись масштабы "сплошной коллективизации" (75).

Конкретный — сложный, сопряженный со значительными издержками и жертвами — процесс постепенного нащупывания сталинским руководством пределов директивного планирования, поиска оптимального соотношения между императивами форсированного развития и потребностью хозяйственной системы в равновесии, административным вмешательством в экономику и рыночными ее регуляторами исследован в последнее пятилетие в работах Р. Дэвиса и О. Хлевнюка (в основном, применительно к промышленности) и И. Е. Зелениным (применительно к сельскому хозяйству) (76).

Изучение разработки и осуществления политики индустриализации в годы второй пятилетки позволило Дэвису и Хлевнюку сделать важный вывод о механизме принятия экономических решений в этот период. Вопреки традиционному мнению советской историографии и западных исследователей тоталитарной школы о том, что единственным субъектом принятия решений были высшие партийные инстанции (советские историки рассматривали данное обстоятельство со знаком "+", "тоталитаристы" же со знаком "–"), реальная картина оказалась более сложной. Конечно, "высшей инстанцией, в конечном счете определявшей принципы экономической политики, было Политбюро, которое, в свою очередь, руководствовалось мнением Сталина. Однако это не раз доказанное положение... лишь отчасти характеризует механизм принятия экономических решений".

Исследователи отмечают нарастание на протяжении 30-х гг. относительного "разномыслия" в различных структурах партийно-государственного аппарата. "Все откровеннее проявляли себя прагматичные ведомственные интересы, ранее абсолютно подавленные «единой волей». Корректировка же «генеральной линии», придание ей большей гибкости происходили в результате сложного взаимоучета интересов и позиций различных государственных инстанций: хозяйственных наркоматов, Госплана, Наркомфина, руководства правительства. Политбюро и Сталин чаще всего выступали в роли арбитра, который хоть и обладал решающим голосом, но должен был считаться с претензиями нередко конфликтующих сторон. В советской партийно-государственной системе весомость этих претензий напрямую зависела как от степени приоритетности задач, которые решало то или иное ведомство, так и от влияния его руководителя... В СССР, как и в других государствах, основанных на жесткой централизации, сохранялась тем не менее некоторая независимость отдельных структур. Теперь можно утверждать, например, что руководство Госплана на протяжении второй пятилетки последовательно отстаивало сравнительно сбалансированную экономическую политику, выступало за ограничение капиталовложений. Причем происходило это даже в тех случаях, когда высшее политическое руководство страны очевидно придерживалось курса на ускорение экономического развития и наращивание инвестиций" (77).

В аналогичном направлении, как показывают исследования И. Зеленина, — от убежденности во всесилии директивного планирования к осознанию необходимости учета (в рамках стратегии форсированного развития) объективных возможностей и реальных экономических интересов хозяйствующих субъектов, — развивалась государственная экономическая политика в 30-е гг. и в аграрном секторе.

Конкретно-исторические исследования позволили сформулировать и более общий вывод о характере советской экономической системы 30-х (и последующих) годов. По мнению Р. У. Дэвиса, в ней "наблюдаются две взаимоуравновешивающие тенденции. Преобладало усиление административной системы, которая утверждалась очень жестокими мерами. К концу 1933 г. как в сельском хозяйстве, так и в промышленности все главные черты и учреждения административной системы были налицо. Но имелась и противоположная тенденция, хотя и более слабая, которая состояла в стремлении оздоровить систему на основе экономического стимулирования. Эта тенденция продолжала развиваться, хотя и с перерывами, на протяжении всего сталинского периода. Постоянной чертой системы

стали такие экономические рычаги, как колхозный рынок; «квазирынок» рабочей силы, где при ее распределении определенную роль играла заработная плата; национализированный розничный рынок, на котором товары продавались по ценам, установленным государством, но государство при этом стремилось (с ограниченным успехом) производить товары в количествах, не нарушающих баланс между спросом и предложением... И для 1931–1933 гг., когда экономическая система находилась в процессе формирования, и для последующих лет использование термина «административная» или «командно-административная» при описании экономической системы, на мой взгляд, представляется упрощенчеством, потому что этот термин не отражает тот факт, что определенные рынки и «квазирынки» продолжали существовать в рамках этой системы. Важно также делать аналитическое различие между репрессивной сталинской политической системой и «административной системой» в смысле государственного планирования посредством прямого физического контроля. Непосредственное планирование в физических единицах играет существенную роль в любой современной капиталистической экономике как в государственном секторе (например, изделия оборонного значения), так и в крупных частных фирмах" (78).

О. В. Хлевнюк же следующим образом подытожил результаты своих (и совместных с Р. У. Дэвисом) исследований: "...Жизнеспособность (советской) системы в некоторой мере поддерживалась объективно «антисистемными» элементами: вынужденным допущением экономических регуляторов и стимулов, действием стихийных (незаконных с точки зрения властей) социально-экономических процессов, сглаживавших противоречия сверхцентрализации и государственного насилия" (79).

Как представляется, методом проб и ошибок в 30-е гг. был наконец найден определенный баланс между административным вмешательством государства в экономику и рыночными ее регуляторами — "сталинский" неонэп. Об этом, в частности, свидетельствуют впечатляющие темпы развития советской индустрии в этот период. По подсчетам японского историка, профессора Фукусимского университета С. Ито, показатели промышленного производства выглядели в 1938 г. следующим образом (данные за 1929 г. приняты за 100%): Германия — 126,2%, США — 72,3%, Франция — 76,1%, Япония — 173%, Англия — 115%, СССР — 470% (80–81).

Проблемы политической истории: от изучения лидеров к исследованию структур

Если в "перестроечной" литературе преимущественное внимание в области политической истории уделялось поиску альтернативы "сталинизму", т. е., главным образом, внутрипартийной борьбе, то в последние годы исследовательский интерес все больше перемещался в область анализа политического режима 20–30-х гг., в том числе его внешнеполитического контекста.

Часто прослеживается следующая цепочка рассуждений: сталинский режим, обосновывая необходимость экономического форсажа в конце 20-х гг., всячески раздувал мифическую в этот период для страны "военную опасность"; поскольку же реальной внешней угрозы для СССР тогда не было (в штабах потенциальных противников отсутствовали разработанные планы нападения на Советский Союз), постольку курс на форсированное развитие был авантюристическим, ничем (кроме властолюбивых амбиций Сталина) не обоснованным насилием над историей и народом (82).

Согласимся с тем, что серьезной военной угрозы для СССР в конце 20-х гг. (по крайней мере, в Европе) не существовало. Но, возможно, именно поэтому сталинское руководство и взяло курс на "индустриально-колхозный" скачок, в процессе которого оно временами вынуждено было воевать с частью собственного народа? Самое страшное для политика — вести войну на два (или несколько) фронта. Вся политическая биография Сталина свидетельствует о нем, как о реальном политике, мастере политической интриги, искусно стравливавшим друг с другом своих политических противников и уничтожавшим их поодиночке. Зная эту его особенность, вполне можно предположить, что Сталин провел "внутреннюю" войну, лишь убедившись в нереальности близкой войны "внешней"; призрак же непосредственной "военной угрозы" служил своеобразным сильнодействующим идеологическим допингом, дисциплинировавшим и сплачивавшим народы СССР в процессе осуществления "форсажа".

Но, как представляется, из доказательства отсутствия военной угрозы Советскому Союзу в конце 20-х гг. никак не следует, что военной опасности для СССР не существовало и форсаж был авантюрой. Реальный политик должен рассчитывать свои "ходы" не на год-два вперед, а на длительную перспективу. Думается, в конце 20-х гг. при выработке экономической стратегии для советского руководства был ключевым не анализ состояния международных отношений в 1927–29 гг., а осознание прогрессировавшей экономической отсталости СССР, делавшей его потенциально уязвимым при любом возможном обострении международной ситуации.

Уже в дни подписания Версальского договора, подведшего итоги Первой мировой войны, было очевидно, что это мир — чреватый новым глобальным военным конфликтом. Государственный секретарь при президенте США В. Вильсоне Р. Лансинг отмечал в своем дневнике: "19 мая 1919 г. По общему мнению, нынешний договор неразумен и бесплоден, он замешан на интригах и наглости и породит новые войны вместо того, чтобы предотвратить их" (83). В свою очередь, бывший премьер российского Временного правительства А. Ф. Керенский впоследствии заметил: "Гитлер был порождением Версальского мирного договора... то был и впрямь мир, который продолжил войну. 20 лет, прошедшие после 1919 г., были не столько периодом прочного мира, сколько просто передышкой, перемирием" (84). Глубокий анализ международного положения 20–30-х гг. как межвоенного периода содержится в работе "Противостояние. Очерки военно-политической конфронтации первой половины XX века" (Под ред. В. А. Золотарева) (М., 1995).

Перейдем теперь к анализу внутриполитических сюжетов, где определились три главных подхода. Одна группа исследователей не видит принципиальной разницы между политическими режимами 20-х и 30-х гг. Так, Н. С. Симонов ведет речь о "тоталитарном нэпе", отождествляя его с фашизмом: "Знаменитый нэп — своеобразная система подчинения экономики политическим целям одной

партии, наиболее существенные черты которой... повторились в фашистских режимах Муссолини и Гитлера" (85). Другая часть специалистов видит существенные отличия между политическими механизмами "авторитарного нэпа" и "тоталитарных" 30-х гг. По мнению, Ю. И. Игрицкого, в период нэпа советская Россия по объему прав и свобод граждан и общественных организаций мало чем отличалась от других стран Восточной Европы, Центральной и Южной Америки, Китая, Японии, которые никто из исследователей не относит к разряду тоталитарных. В 30-е же гг. в СССР утвердился тоталитарный режим (86). Третья группа ученых, отмечая безусловное ужесточение советского политического режима в 30-е гг., тем не менее избегает терминологических дискуссий (об авторитаризме-тоталитаризме), предпочитая изучать реальный политический процесс и обращая, в частности, внимание на то, что представление о сталинском политическом режиме, как о "тоталитарном монолите" представляет собой во многом теоретическую абстракцию (по крайней мере, до конца десятилетия). Их работы, как наиболее перспективные, на наш взгляд, и рассматриваются в основном в рамках данного обзора.

В последние годы появился ряд работ, исследующих реальные механизмы функционирования большевистского режима: статья Т. П. Коржихиной и Ю. Ю. Фигатнера о советской номенклатуре (87); две документальные публикации, посвященные высшему эшелону большевистской власти, комментарий к которым имеет самостоятельное научное значение (88); исследование В. С. Измозика, посвященное становлению и деятельности системы политического контроля в Советской России в 1918—1928 гг. (89) Последняя работа представляет собой первое в российской и зарубежной литературе исследование по данной теме, построенное на материалах десяти центральных и местных архивов России, в том числе Центрального архива Федеральной службы безопасности России. Автору удалось вписать анализ системы политконтроля 1918—1928 гг. в контекст российской традиции, поскольку "опыт, формы и методы деятельности" дореволюционного политконтроля "в значительной степени были использованы новой властью для решения вставших перед ней проблем" (90). На основании материалов работы Измозика можно сделать вывод о том, что советская система политконтроля и политического сыска в основном сформировалась к началу 20-х гг. К этому времени уже широко практиковались перлюстрация частной переписки, секретные осведомители, даже члены РКП(б) обязывались доносить органам ВЧК о политических настроениях своих товарищей по организации, не говоря уже о прочих членах общества (91). В дальнейшем же эта система совершенствовалась, но принципиально не менялась.

В этой связи возникает вопрос о типичности советской системы политконтроля и политсыска: уникальное или универсальное это явление? Автор справедливо отмечает, что "политический контроль — неотъемлемая черта жизни любого современного государства", однако полагает, что в "демократических странах" при "сборе закрытой информации политический контроль... регулируется системой законов, защищающих права личности (неприкосновенность жилища, тайна переписки и телефонных переговоров, право на свободу получения и распространения информации и т. д.). Поэтому неизбежные попытки бюрократических структур выйти за рамки дозволенного грозят серьезными последствиями". В условиях же авторитарных и тоталитарных режимов отсутствует какая бы то ни было законная основа или ее безнаказанно нарушают (92).

Несмотря на принципиальное сходство основополагающих черт большевистского режима "при Ленине" и "при Сталине", реальная практика его функционирования все же существенно различалась. При Ленине неформально допускался определенный плюрализм в рамках большевистского ареопага. Возможность этого "либерализма" определялась, во-первых, государственным и общественным хаосом, вызванным революцией и гражданской войной. К началу 20-х гг. существовали почти независимые советские республики, новый государственный аппарат еще только создавался (особенно это было характерно для отвоеванных у противников территорий), в пролетарской массе были еще живы традиции самоуправления первого года революции, относительно выросла роль армии, с которой партийному руководству, в том числе Ленину, невольно приходилось считаться. Во-вторых, определенный либерализм в большевистских "верхах" был связан с присутствием на вершине партийно-государственной пирамиды харизматического лидера — В. И. Ленина, перед которым склоняли голову самые амбициозные большевистские руководители: Г. Е. Зиновьев, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий, в котором массы видели носителя истины в последней инстанции (известна присказка рядовых партийцев тех лет: "Голосуй с Ильичем, не ошибешься"). Наличие вождя компенсировало отсутствие демократического механизма принятия решений, учета прав меньшинства. Опираясь на свой непререкаемый авторитет, Ленин добивался согласия противоборствующих, формально запрещенных, но фактически существовавших фракций, интегрировал различные точки зрения, имел возможность проводить последовательный политический курс (93).

Думается, при анализе проблем политической истории в советском обществе давно пора отказаться от пропагандистских мифов типа "внутрипартийной демократии", якобы существовавшей при Ленине и которую отбросил деспот Сталин. При Ленине демократия в партии существовала в тех пределах и формах, которые не противоречили единовластию Ленина. Если же такая угроза возникала, Ленин никакой "формальной демократии", "прав меньшинства" (да и "большинства") не признавал: готов был в октябре 1917-го исключить из партии своих ближайших в течение многих лет соратников — Каменева и Зиновьева; не раз грозил своим выходом из руководства; в 1921 г. пошел даже на запрет фракционной деятельности.

В литературе высказывается мнение, что острота дискуссии о профсоюзах во многом объяснялась стремлением Ленина подорвать чрезвычайно выросший в годы гражданской войны авторитет Троцкого (94). Сходным образом Ленин попытался действовать и в последние месяцы своей активной политической деятельность, ощутив сосредоточение "необъятной власти" в руках Сталина. В 1920 г. он в блоке с Зиновьевым, Каменевым, Сталиным "громит" Троцкого, полностью очищая секретариат от его сторонников. В 1922 г. Ильич пытается блокироваться с Троцким, Зиновьевым, Каменевым против Сталина. Делать из факта этой фракционной блокировки далеко идущие выводы о нарастающей близости Ленина с Троцким, как это делает в своих работах последний, а вслед за ним троцкистские эпигоны, вряд ли правомерно. По справедливому замечанию С. В. Цакунова, уравновешивать соперниками и оппонентами разные части

государственного механизма было альфой ленинской кадровой политики. Например, весной 1922 г. в качестве своих заместителей в Совнаркоме он выдвигает Рыкова и Цюрупу, двух старых противников, чьи противоречия успели вполне развиться еще на хозяйственной ниве "военного коммунизма". В сентябре Ленин вносит в Политбюро предложение о назначении Троцкого его основным заместителем в Совнаркоме, что по идее должно было создать некое равновесие на верхнем этаже партийно-государственного руководства (Троцкого Ленин хотел противопоставить усилившемуся Сталину). Но Троцкий категорически отказался (95–96).

К сожалению, до сих пор российским авторам при изучении политической борьбы 20-х гг. не удается встать "над схваткой". Не лишена этого недостатка и, пожалуй, одна из наиболее интересных работ о политической истории 20–30-х гг. последних лет — многотомное исследование "троцкистской альтернативы", предпринятое В. З. Роговиным (97). В книгах обобщен практически весь достойный внимания материал, опубликованный на русском языке о Л. Д. Троцком и "троцкизме"; привлечены основные зарубежные исследования по этой теме (И. Дейчера, П. Бруе, Р. Дэниелса и ряд других); широко используются работы самого Троцкого; причем, "троцкистская альтернатива" рисуется на широком фоне процессов, протекавших в те годы в Советском Союзе и в мире.

Однако в плане методологии исследование, на наш взгляд, не лишено ряда существенных недостатков. Автор в своих оценках явно идет за своим героем: приводит зачастую только троцкистскую интерпретацию тех или иных моментов политической борьбы, замалчивает эпизоды, негативно характеризующие Л. Д. Троцкого и т. д. Скажем, обошел он в работе бесцеремонный факт использования Троцким в политической борьбе письма к нему Н. К. Крупской, в котором приводились факты положительного отношения В. И. Ленина к Л. Д. Троцкому (это сугубо личное письмо, без санкции Крупской, было передано Троцким американскому журналисту Максу Истмену, опубликовавшему его, а также считавшееся на Западе секретным ленинское "Письмо к съезду" 1925 г.). Как отмечают авторы интересного исследования "Противостояние: Крупская — Сталин" В. А. Куманев и И. С. Куликова, могла ли "тогда предположить Надежда Константиновна, что ее личное, сугубо доверительное послание вскоре прогремит на всю Европу и станет предметом политических спекуляций, приобретет характер козырной карты в беспощадной борьбе за власть! И Троцкий в данном случае оказался не на высоте... Жестокие политические игры. Сантименты здесь не уместны — вот тебе и друг, единомышленник! Так подставить! Можно себе представить злорадство Сталина: для кого у нее нашлись добрые слова, у жены Ленина? Для человека, как негодуют повсюду, предавшего интересы партии и государства, выдавшего по сути секретные документы!.. Надежда Константиновна на этом грустном для нее примере вокруг книги Истмена могла еще раз убедиться в правоте Владимира Ильича — очень неоднозначно относился он к Троцкому" (98).

Думается, биограф Троцкого не должен был обойти в своем исследовании и приведенные Н. А. Васецким архивные материалы о сотрудничестве Троцкого до революции с австрийскими спецслужбами. По своему содержанию документы сенсационные: "Справка 19 октября 1916 года. Бронштейн-Троцкий был агентом Австрии под руководством Раковского, начальника австрийского шпионажа на Балканах"; "Лозанна. Подлинным письмом венской полиции лейтенант Элейшкери подтверждает, что Лев Давидов Бронштейн, известный как Троцкий, служил в австрийской политической полиции. Представлено было начальником внешнего наблюдения заграничной агентуры Департамента полиции Анри Багио директору Департамента полиции в Петрограде и освещено в делопроизводстве Департамента за 1916 год" (99). Если эти сведения — фальшивка, то Роговин был просто обязан об этом сказать. Представляется, что им значительно преувеличено и значение влияния "троцкизма" в истории 30-х гг., о чем свидетельствует, в частности, следующий пассаж: "...Противоборство сталинизма и «троцкизма» к середине 30-х годов превратилось в одно из основных политических противоречий эпохи. Борьба этих течений, идейная сила каждого из которых была обратно пропорциональная его материальной мощи, имела исторический шанс завершиться победой «троцкизма», завоевывавшего все новых приверженцев во всем мире. Великая чистка 1937–1938 годов понадобилась Сталину именно потому, что только таким путем можно было обескровить набиравшее силу движение IV Интернационала, помешать ему превратиться в ведущую революционную силу эпохи, дезориентировать и деморализовать мировое общественное мнение, способное в противном случае стать восприимчивым к усвоению «троцкистских» идей" (100).

Вызывает серьезные сомнения и, пожалуй, основная идея исследования о том, что победа сталинизма "была в известном смысле исторически случайной, что внутри большевизма существовало сильное течение, выдвигавшее реальную альтернативу сталинизму, а борьба с этим течением выступала главной функцией сталинского террора" (имеется в виду левая — "троцкистская" — оппозиция) (101). Не пускаясь в долгую методологическую дискуссию о закономерности и случайности в истории, отметим, что следует различать "победу Сталина", которая, действительно, во многом была "случайной" и определилась в ходе напряженной внутрипартийной борьбы, в которой, особенно поначалу, шансы Сталина были не так уж велики; и победу "сталинизма", если понимать под последним определенный тип политического режима — однопартийную диктатуру, увенчанную режимом личной власти.

Почему левая оппозиция потерпела в ней поражение, хотя ее социально-экономические прогнозы зачастую оправдывались? Разумеется, сыграло свою роль аппаратное искусство Сталина. Но, думается, основная причина заключалась в том, что наряду с реалистической (в рамках социалистической парадигмы) экономической программой "левые" отстаивали, как представляется, утопическую политическую программу "рабочей демократии". Сталин и большинство партгосфункционеров, вероятно, ощущали это противоречие "левой доктрины" (хотя, разумеется "положение обязывало" и их быть за "рабочую демократию"), и, соответственно, подозревали троцкистов в демагогии. Возможно, эти подозрения были не беспочвенны. Как проницательно заметил Р. Дэниелс, психологическая "ориентация Троцкого по отношению к власти, по-видимому, менялась в соответствии с тем, имел ли он ее или нет" (102). Вспомним хотя бы его желание "перетряхнуть профсоюзы".

В ужесточении большевистского режима в конце 20-х гг. часть исследователей по-прежнему придерживается "перестроечной" версии: во всем виноват

деспотический нрав Сталина (103). А, быть может, наоборот, — Сталину удалось победить своих соперников в политической борьбе 20-х гг. и установить на рубеже 20-х — 30-х гг. режим личной власти потому, что объективно требовалось ужесточение режима и характер Сталина в наибольшей степени (сравнительно с другими преемниками Ленина) отвечал этому требованию?

Образ И. В. Сталина — это особая большая тема, ждущая своего исследования в отечественной историографии. Еще в 1989 г., выступая на советско-американской конференции, посвященной 20-м гг., Р. Такер с сожалением констатировал отсутствие с советской стороны специального доклада, посвященного Сталину. С тех пор ситуация практически не изменилась, за исключением работы Д. Волкогонова, интересной скорее введенными в научный оборот новыми архивными материалами, нежели глубиной анализа. Хотя на русском языке вышел ряд работ западных авторов (например, исследование того же Такера), лишенных налета вульгарного антисталинизма, достижения зарубежной советологии не следует преувеличивать. Как отмечал канадский исследователь Н. Перейра, в "западной историографии в большинстве случаев... Сталин описывался как серая фигура, практически неизвестная до его неожиданного взлета после смерти Ленина, в то же время как Троцкий был очевидным наследником дела Ленина, координировавшим события Октябрьской революции, вдохновителем победы Красной Армии в гражданской войне. В значительной степени такая картина отражает взгляды самого Троцкого. Однако она вводит в заблуждение и не соответствует действительности" (104). В статье самого Перейры предпринята робкая попытка выйти за рамки историографических штампов и непредвзято взглянуть на Сталина. В частности, исследователь отмечает, что "Сталин отличался некоторыми крупными качествами как личность. Ленин первоначально признавал их. Он включил Сталина в состав ЦК еще в 1913 г. За исключением, возможно, лишь Зиновьева и Каменева, в окружении Ленина не было никого, кроме Сталина, кому бы он мог поручить наиболее сложные партийные задания. Более того, пока большая часть партийного руководства была в эмиграции, Сталин неизменно оставался в центре событий в стране, делая черновую повседневную партийную работу. Даже если у него отсутствовали красноречие и быстрота ума, как у некоторых его старших товарищей, Сталин более чем окупал эти недостатки своим проницательным суждением, прекрасной памятью, здравым смыслом и незаурядным умением выбрать момент..." (105)

Что же представлял собой сталинский политический режим 30-х гг.? Наряду с преобладающей тенденцией заклеймить "проклятое прошлое" встречаются попытки разобраться в реалиях того времени. В частности, Р. Дэвис и О. Хлевнюк обращают внимание на существование ведомственного плюрализма, на консолидацию отраслевых корпоративных групп: "В СССР, как и в других государствах, основанных на жесткой централизации, сохранялась тем не менее некоторая независимость отдельных структур... Руководство Госплана на протяжении второй пятилетки последовательно отстаивало сравнительно сбалансированную экономическую политику, выступало за ограничение капиталовложений. Причем происходило это даже в тех случаях, когда высшее политическое руководство страны очевидно придерживалось курса на ускорение экономического развития и наращивание инвестиций" (106). Отмечается, что помимо хозяйственных складывались прообразы своеобразных политических кланов, формировавшихся вокруг влиятельных фигур высшего и среднего партийного звена. В 30-е гг. обозначилась тенденция к "смычке" политических кланов и влиятельных хозяйственников (директоров заводов, совхозов, торговых организаций и др.); что, в свою очередь, вело к "круговой поруке", "кумовству", и, в конечном счете, блокировало модернизационные усилия "центра". Стремясь нейтрализовать эту тенденцию, Сталин периодически "тасовал колоду" руководителей, перемещал секретарей обкомов, передвигал секретарей и заведующих отделами ЦК. Однако совершенно разбить установившиеся связи, разрушить группы, формировавшиеся вокруг "вождей" разных уровней по принципу личной преданности, при помощи таких мер не удавалось. Переходя с одного места на другое, руководители перетаскивали "своих людей". Борьба "центра" с формирующимися территориальными кланами явилась одной из причин "большого террора" (107).

Эти наблюдения перекликаются с выводами ряда западных исследователей. По мнению американского исследователя Дж. Арча Гетти, большая часть чисток 30-х гг. имела мало связи с реальной или вымышленной оппозиционной деятельностью и с укреплением тоталитаризма в общепринятом смысле. Скорее, "центр" "стремился упростить, упорядочить и в конечном счете контролировать местные политические организации". Исключенные из партии были, как правило, нерадивыми членами, пьяницами, мелкими ворами и распутниками. Значительное количество партийцев было исключено за пользование фальшивыми партийными билетами. В некоторых случаях билеты покупались у "темных" дельцов. Подобная практика была достаточно широко распространена. Так, в 1935 г. половина партбилетов в Ленинграде была признана поддельной. Неуправляемый состав партии был лишь одним из нескольких факторов, ограничивавших контроль "центра" за собственным аппаратом. Некомпетентность, подхалимство, семейственность и кумовство значительно ограничивали власть "центра". Низовой аппарат не мог или попросту отказывался выполнять приказы "сверху". Чистка 1933, проверка партдокументов 1935, перерегистрация 1936 гг. не исправили положения, поскольку они не смогли устранить могущественных местных и областных властителей. Габор Риттершпорн в этой связи говорит о "хаотическом функционировании Партии-Государства". В свою очередь, Питер Соломон делает следующий вывод: "Значительное и результативное противодействие местных властей было одним из основных препятствий на пути создания организованной и последовательной системы контроля" (108). Соответственно и террор 1937 г. Гетти объясняет не подавлением во многом мифической "оппозиции сталинизму", а результатом слияния длительной борьбы "центра" с непослушным аппаратом и более поздней склонности его к популистским кампаниям (109).

В сходном ключе анализирует террор и Г. Т. Риттершпорн в работе "Сталинские упрощения и советские сложности. Социальная напряженность и политические конфликты в СССР. 1933–1953", опубликованной в 1991 г. Социально-политическая история сталинского периода для него есть во многом порождение противоречий, раздиравших руководящую систему — "партию — государство". Укрепив свою монопольную власть при помощи создания мощного слоя чиновников-управленцев, руководители "партии — государства" столкнулись

с проблемой активизации центробежных тенденций, подрывающих основы жесткой централизации. Набиравшие все большую власть, местные руководители своими бесконтрольными действиями и произволом ограничивали дееспособность государственного организма и вызывали недовольство народных масс. Репрессии во многом были ответом на эту ситуацию, попыткой сторонников централизации и прежде всего самого Сталина укрепить государственный аппарат. Невероятный же размах политических репрессий в конце 30-х гг. в значительной мере вызывался неконтролируемыми действиями того же аппарата, который, желая отвести удар от себя, направлял террор против многочисленных "козлов отпущения", демонстрируя бдительность и непримиримость в борьбе с "врагами" (110).

"Часто утверждалось, особенно Л. Д. Троцким, — отмечает М. Левин, — что сталинизм это эманация бюрократии. В сталинизме была определенная двусмысленность: он стал возможен благодаря бюрократии — определенного рода и на определенном уровне, но сам рассматривал бюрократию одновременно и как необходимость (поддержка верхушечных слоев) и как не заслуживающую доверия... Сталинизм был серьезным препятствием на пути превращения верхних слоев бюрократии в правящий класс. Агентура службы безопасности, которая развилась в невероятных размерах, была излюбленным оружием Сталина, используемым для массового искоренения предполагаемых или потенциальных врагов, особенно в той среде, которая была непосредственно связана с главными рычагами режима, т. е. в государственной и партийной администрации. Сталинская стратегия на деле отстранила от власти правящую партию. Государственную же бюрократию она рассматривала как наиболее подозрительную (в смысле саботажа установившегося режима), даже и тогда, когда эта бюрократия уже стала его воплощением..." (111)

Среди других интересных работ последнего времени, посвященных отдельным проблемам политической истории, хотелось бы отметить работу А. А. Кирилиной о загадке убийства С. М. Кирова, опровергающую массу легковесных версий и домыслов, накопившихся в последние годы вокруг этого события и обосновывающую тезис об убийце-одиночке (112); альтернативная версия — об организации убийства Сталиным — представлена в работе В. З. Роговина (113); а также две книги, подготовленные известным петербургским историком Б. А. Старковым, о делах и людях сталинского времени, интересные как широтой вводимого в научный оборот нового материала, так и интересными выводами (114).

Проблемы большевистской доктрины: "истоки и смысл русского коммунизма"

В последние годы не угас интерес к идеологии большевизма в целом и рассматриваемого периода, в частности. Поиску "русских корней ленинизма" посвящено глубокое исследование К. С. Ингерфлома. В отличие от западной историографической традиции, подчеркивающей непосредственную преемственность ленинизма и русской антидеспотической мысли, Ингерфлом доказывает, что их взаимоотношение было более сложным. С одной стороны, и Ленин, и Чернышевский опираются на одну и ту же теорию самодержавия, разработанную революционными демократами. Государство в ней расценивается как система, организующая социальное пространство, держит его в плену через "иерархию деспотизма (самодурства)", которая связывает всех подданных индивидуально. Невозможность действовать против этой системы двояким образом вписывается в ее структуру. Если каждый является деспотом-и-подданным другого, то, следовательно, трудно установить групповые интересы тогда, когда горизонтальная солидарность и социальные противоречия не проявляются. Само общество "не сформировалось", следовательно, не сформировались и его классы, ибо они остаются группами людей, определяющимися экономически, но не имеющими выраженной политической общности. Самодержавие, препятствуя политическому формированию общественных классов, одновременно делает невозможной классовую борьбу. Следовательно, в смысле перспективы деятельности, направленной против системы, роль социальных категорий стушевывается перед ролью отдельных людей. Но эта многовековая "деспотическая иерархия" не может не наложить своего отпечатка на самих людей: "«разложение человеческой личности» и «обезличивание» характеризуют эту страну «безликих» людей, способных лишь замкнуться в вертикальной зависимости. Эти люди своим положением деспота и подданного друг друга одновременно обеспечивают всевластие государства и устойчивость системы" (115).

По мнению Ингерфлома, Ленин, как и революционные демократы, полагал, что "естественное" течение русской истории не способно разрушить данную систему: она способна абсорбировать любые новации. Кто же сможет стать точкой опоры в борьбе с системой "деспот-подданный-деспот?.." Только "внесистемные" элементы — отщепенцы, "те, кто индивидуально вырвался из системы, — отвечают русские демократы, начиная с Герцена, — «новые люди», достаточно многочисленные, чтобы составить демократический круг и, таким образом, прообраз общества. Расширение этого круга является способом скорректировать стихийность истории и цивилизовать Россию. Этот новый, социальный, круг людей у Ленина называется партией" (116). Партия призвана внести политическое сознание во все слои русского общества, сформировать социальные классы. "Таково свидетельство о рождении ленинизма: противостояние стихийности истории, создание иной истории путем внесения политики... Большевистская партия первоначально построена как инструмент, способный исправить «недостаточность» этой истории" (117). Однако на этом сходство ленинского проекта преобразования России с наследием Чернышевского заканчивается. По Чернышевскому, борьбу с самодержавием должны вести две категории лиц: "новые люди" — аналог западных граждан, социалистов — проникнутые демократической политической культурой; и подчиненные "новым людям" люди "особенные" ("рахметовы") — профессиональные революционеры, использующие в борьбе с самодержавием все диктуемые обстановкой деспотизма методы, т. е., лица, сами обладающими деспотическими задатками. У Ленина же "особенный человек, будучи выдвинутым в качестве прототипа нового человека, является и прототипом нового общества. Нового человека от особенного человека отличало именно наличие личной жизни, «необходимой» для него, но у человека особенного она отсутствует, поскольку он ее смешивает с тем, что считает общим делом. Сведение нового человека к особенному человеку, произведенное Лениным с соответствующим вытесне-

нием личной жизни, стало затем одной из главных линий господствующей идеологии, что привело к известным последствиям. «Что делать?» Ленина теперь ретроспективно предстает перед нами в качестве сценария последующей трагедии. К его стремлению, которое, он считает, подкреплено «Наукой», навязать обществу направление развития добавляется отказ от личной жизни..." (118) В подтверждение наблюдений Ингерфлома, хотелось бы обратить внимание на прямое лексическое совпадение (а, быть может, заимствование?) характеристики Рахметова, данной Н. Г. Чернышевским,— "особенный человек" и известной сталинской самоидентификации, на десятилетия ставшей "символом веры" нескольких поколений коммунистов: "Мы, коммунисты,— люди особого склада. Мы скроены из особого материала" (119—120).

Если работа Ингерфлома раскрывает сущностные черты ленинской (большевистской) доктрины, то исследование С. В. Цакунова посвящено изучению механизмов ее модификации в нэповский период. В книге показывается, как под воздействием реальностей нэповского общества руководители страны вынуждены были видоизменять официальную доктрину и как последняя воздействовала на принятие важных экономических решений. Работа интересна как вовлечением в научный оборот новых документов, так и методологией исследования взаимодействия различных факторов, определявших эволюцию доктринального творчества большевистского руководства в 20-е гг. В исследовании предпринята попытка соединения трех подходов: доктринального, когда изучаются публичные высказывания политических лидеров по тем или иным стратегическим вопросам; политологического, когда принятие тех или иных политических решений рассматривается с позиции взаимодействия интересов основных "играющих" социально-политических групп, и социологического, когда производимые коррекции доктрины рассматриваются с точки зрения "обратной связи" от "низов" к "верхам" (121).

Книга отличается глубоким анализом "доктринальных текстов" большевистских вождей. Во-первых, "выделяется базовый уровень доктрины, при котором следование ей непосредственно оценивается как принадлежность к политической группе. Так, все члены победившей партии большевиков являлись по принадлежности марксистами и стояли на позициях революционного марксизма". Эта доктрина, по мнению автора, была сформулирована в работе В. И. Ленина "Государство и революция", а также во второй программе партии. "Базовый уровень доктрины определял внешние рамки политического действия «вождей» и своим непосредственным результатом имел некоторые общие границы практического творчества по «строительству нового общества»". Однако, по мнению Цакунова, это лишь первый уровень, не позволяющий что-либо понять в мотивации действий большевистских лидеров" (а именно их действия "творили" историю, а не идеи марксизма) и объяснить многие исторические события. Прежде всего необходимо учитывать, что официальная доктрина имела свою "окраску" в устах каждого из политических деятелей, находившихся на вершине власти. Сравнение их высказываний позволяет выявить некоторый подтекст, который не может быть объяснен лишь сугубо теоретическими потребностями развития марксистского учения. За различиями скрывается комплекс реальных политических мотиваций каждого из вождей, представляющий соединение общественного и личностного... Помимо анализа неопубликованных рукописей и работ, важнейшее значение в раскрытии внутреннего хода мыслей и мотиваций "вождей" имело изучение неправленных стенограмм речей и выступлений, резолюций партийных пленумов, конференций, съездов и сравнение их с официально опубликованными. Познавательное значение имеют факты исключения тех или иных фраз, абзацев, целых страниц и разделов, вычеркнутых или изъятых самими политическими лидерами того времени при правке официальных документов. Наконец, обращалось внимание и на комментарии, заметки на полях, которые также достаточно часто делались политическими лидерами... "Накопленный таким образом фактический материал позволяет легко увидеть, что марксистская фразеология на самом деле служила часто лишь внешней оболочкой, за которой скрывался второй, мотивационный уровень доктрины, призванный реализовать реальные устремления ее авторов, в первую очередь в сфере властных отношений в обществе в целом и в узкой группе «вождей»" (122).

В работе содержится целый ряд интересных выводов, фиксирующих вектор эволюции большевистской доктрины. Так, в частности, утверждается, что уже осенью 1922 г. у Ленина и Бухарина рождаются "элементы теории социализма «особого рода», «государственного социализма». При таком строе на основе синтеза государственной собственности и власти (на базе предпосылок, созданных, с одной стороны, высоким уровнем органического строения капитала, требующего государственного вмешательства в экономическую жизнь, а, с другой стороны, являющихся результатом специфических «азиатских», «восточных» этатистских императивов) возникает особый правящий слой. Он вовсе не является функцией от потребностей «возрождающейся буржуазии» равно как и пролетариата, а есть «вещь в себе и для себя». Она не «перерождается» под влиянием импульсов, идущих из сферы «гражданского общества», а, наоборот, «перерождает», подминает под себя последнее" (123).

Интересны наблюдения автора о разработке И. В. Сталиным концепции социализма в одной стране. Цакунов отмечает, что в 1925 г. новые политические обстоятельства (две стабилизации: капитализма, поставившей под вопрос эффективность стратегии мировой революции, и советского режима, сделавшей реальной постановку проблемы национального возрождения) подтолкнули Сталина "начать разработку и обоснование собственного варианта «социалистической стратегии»", в котором в отличие от варианта Бухарина основной упор делался на максимально возможное приближение момента начала "социалистического наступления" и достижение в его ходе "окончательной победы". Политическое чутье позволило Сталину найти в итоге почти универсальную для того момента форму партийной идеологии, позволявшую решать самые различные задачи: от "освящения" новой крестьянской политики до подготовки к будущему штурму нэпа (124—127).

Анализ сталинской доктрины как бы продолжен в докладе Г. А. Бордюгова на международной конференции, проходившей в ноябре 1993 г. в университете г. Касселя и посвященной культурным и социально-историческим предпосылкам сталинизма, формам и последствиям его в сфере культуры. Провозгласив в 1925 г. идею построения социализма в одной стране, Сталин впервые поставил вопрос о возвращении к национальным традициям. Перейдя на позиции нацио-

нал-большевизма, он первым среди большевистских лидеров попытался реанимировать национальные традиции и ценности, утвердить преемственность между старой и новой Россией. Был осужден "нигилистический" подход к дореволюционной русской истории, изучение русского языка стало обязательным на всей территории СССР, и, за весьма немногими исключениями, письменность нерусских языков была переведена на кириллицу, традиционные герои русской истории, от Александра Невского до царских генералов XIX в., стали объектами благоговейного почитания и подражания. В исторической и художественной литературе особенно большое внимание уделялось прославлению эпохи Петра Великого. Таким образом, если после Октябрьской революции в России внешне восторжествовали идеи интернационализма и классовой борьбы, то эта историческая тенденция не была решающей. Репрессии конца 20-х — начала 30-х гг. и позднее — 1937–1938 гг. означали прежде всего торжество идей национального большевизма над интернациональным коммунизмом. Во время Великой Отечественной войны советское общество и Красная Армия были переориентированы на национальные ценности, что было немыслимо в период гражданской войны. После 1941 г. переориентация на национал-большевистскую идеологию окончательно завершается (128).

Думается, в этом анализе ключевой является мысль о внешнем торжестве идей интернационализма и классовой борьбы. Уже в ленинской концепции партии присутствовало сильное традиционалистское автократическое начало. Очевидно, данное обстоятельство явилось одним из ключевых факторов, определивших победу большевиков в революции. Поскольку в "условиях «смуты» наибольшие шансы на успех приобретала политическая организация, которая, во-первых, обладала огромной «волей к власти» (так как в условиях всеобщего развала для интеграции общества требовались неимоверные усилия), во-вторых, выступала под лозунгами абсолютного отрицания «старого общества» (отвечая тем самым накапливавшимся десятилетиями чувствам ненависти к «проклятому прошлому») и, в-третьих, идеология которой одновременно могла апеллировать к самым глубинным, первичным, корневым стереотипам массового сознания (чаще всего: государственно-патерналистскому и общинному «комплексам»), соответствовать закономерностям функционирования этакратического социума".

Проблемы социальной истории или повседневность "страны героев"

Наиболее примечательным для рассматриваемого периода является появление первых серьезных работ по социальной истории 20–30-х гг. Лэрри Ю. Холмс следующим образом определил специфику этой историографической школы: она изучает "то, что обычно делают обычные люди", а не рассматривает только те периоды, когда они "раскачивают" корабль истории; т. е., "внимание социальных историков часто сосредоточено на серой обыденности". Ими разрабатываются "истории семьи, досуга, женщин, взаимоотношений полов, старости и долгожительства, детей, преступности, урбанизации, народного образования, религии, народной культуры и менталитета" (129).

Практически не исследованный ни в советской, ни в западной историографии пласт истории поднят в книге Е. А. Осокиной (130). Она впервые обратилась к уникальному, ранее закрытому для исследователей документальному комплексу — материалам Наркомата снабжения, хранящиеся в Российском государственной архиве экономики (бывшем Центральном государственном архиве народного хозяйства СССР). Исследование посвящено выявлению причин упрочения планово-распределительной системы в торговле, анализу принципов и целей распорядительной политики первой половины 30-х годов, ее кратковременных и далеко идущих последствий, а также изучению реального положения общества и армии в условиях карточного снабжения. В работе устанавливается причинно-следственная связь между принятым руководством страны курсом на форсированную индустриализацию и введением нормированного снабжения, реконструируется важнейшая составляющая "человеческого измерения" технологического прорыва 30-х гг. — крайне напряженная ситуация в области снабжения населения города и деревни предметами первой необходимости. Несмотря на ряд недостатков (131) работа Осокиной является отправной точкой изучения советской повседневности рассматриваемого периода (132).

Конкретно-историческое исследование особенностей крестьянской психологии позволило М. А. Свищеву и К. Б. Литваку сформулировать ряд обоснованных выводов о причинах достаточно безболезненного для режима свертывания нэпа в деревне. М. А. Свищев полагает, что мелкие хозяйства, основным стимулом развития которых является увеличение потребления, проходят в своем развитии две основные фазы: "натуральную" (при которой увеличение потребления обеспечивается главным образом за счет собственного производства) и "рыночную" (рост потребления за счет покупных товаров). Причем, социально-политические приоритеты мелких производителей, находящихся на различных стадиях, заметно различаются. Для натуральных хозяйств важно сохранение условий, обеспечивающих их расширенное воспроизводство: права на самостоятельное ведение хозяйства, на распоряжение результатами своего труда, на соответствующую долю прибавочного продукта. Борьба за этот минимум условий объединяет всех мелких собственников, способных при его отстаивании на упорное сопротивление. Рыночные же отношения важны лишь для тех хозяйств, первичные потребности которых удовлетворены. Поэтому борьбу за укрепление рыночных отношений ведет лишь часть мелких производителей.

Поскольку политика "военного коммунизма", предусматривавшая на своем завершающем этапе изъятие всего прибавочного продукта и непосредственное вмешательство в процесс производства (планы посева), затрагивала "базовые интересы" всех мелких производителей, она вызвала тотальное сопротивление крестьян. Свертывание же во второй половине 20-х гг. нэпа непосредственно затронуло только незначительное меньшинство мелких производителей, что и обусловило его относительно спокойное проведение (133). Думается, выводы Свищева следует применить и к анализу коллективизации. Очевидно, что в той мере, в которой последняя затрагивала "рыночный" сектор крестьянства (кулачество), она опять-таки реализовывалась сравнительно безболезненно для власти. Вспомним хотя бы ситуацию 1930 г., когда только что прошла массовая кампания раскулачивания, урожай же был высоким. Когда же власть попыталась

полностью обобществить средства производства, землю, прибавочный продукт в деревне, это привело к тотальному сопротивлению крестьянства, принявшему самые разные формы: от восстаний до невыходов на работу. И лишь проведение политики "неонэпа" (закрепление за крестьянами участка земли, скота и птицы для ведения личного подсобного хозяйства; признание за ними права на распоряжение необходимым и частью прибавочного продукта, развертывание колхозной и частной торговли) позволило стабилизировать положение в аграрном секторе.

Анализ мотивации мелкого производителя позволил Свищеву сформулировать вывод о причинах блокировки рыночной модернизации в истории России, в том числе, в 20-е гг. По его мнению, ответ на этот вопрос "следует искать как в природно-климатических условиях ведения сельского хозяйства, так и в особенности исторического развития страны. Длительная и суровая зима, короткий период полевых работ, периодически повторяющиеся неблагоприятные для земледелия годы — все это требовало от крестьянина огромного напряжения сил для простого воспроизводства своего хозяйства. Производимый им прибавочный продукт всегда оказывался небольшим, а временами он вообще отсутствовал. Соответственно и рыночные связи играли незначительную роль в функционировании мелкого хозяйства. В этом, вероятно, заключается глубинная причина медленного укрепления товарно-денежных отношений в аграрной сфере. Слабость рыночных механизмов в городе усугублялась тем, что семь лет войн и революционных потрясений подорвали производственную базу мелкого хозяйства и привели к предельной натурализации его связей. Они не могли восстановиться в одночасье. Заинтересованность мелкого собственника в функционировании рыночных механизмов ослаблялась и экономической конъюнктурой 20-х годов: товарным голодом, завышенными ценами на промышленные товары, недоверием к деньгам. В сознании крестьянства прочно отпечаталась мысль, что хранить хлеб выгоднее, чем накапливать деньги" (134).

В свою очередь, анализ краеведческих обследований деревни и писем читателей "Крестьянской газеты" привел К. Б. Литвака к выводу о том, что в отличие от бытующего мнения о всеобщем признании деревней политики нэпа, на протяжении этих лет "происходила психологическая переориентация крестьянина. Внутренне он уже был готов изменить существующий порядок". То есть, на селе имелись социально-психологические предпосылки свертывания нэпа (135). К тем же выводам пришла Н. Н. Козлова, один из авторов во многом новаторского сборника материалов международной конференции "Российская повседневность 1921—1941 гг.", прошедшей в августе 1994 г. в Санкт-Петербурге. Она, в частности, отмечает, что "часто крестьян представляют лишь объектом внешнего воздействия «ураганных идеологий»", превративших их "во внутренних индейцев", однако это не так: "В послереволюционной деревне, пережившей смуту, чувство неустойчивости существования было на редкость обострено... Пребывание в деревне виделось молодым людям опасным или же совершенно бесперспективным: их ждал удел тяжкого физического труда. Они хватались за любую возможность, чтобы из деревни вырваться... Они хотели жить, а значит, страстно желали преобразиться... Они желали преобразиться, обрести новый облик" (136). Авторы ряда других материалов сборника, основываясь на изучении реальной ситуации на советских промышленных предприятиях, опровергают расхожие пропагандистские штампы последних лет о том, что на заводах в 30-х гг. "царила атмосфера хуже, чем при царях, жесткая и душная, как правило унижающая рабочих" (137). По наблюдению Р. Терстона, постоянные "миграции рабочего класса и недостаток рабочих сил того периода часто представляли трудящимся возможность защищаться по отношению к хозяйственникам. В этом положении фабричные администраторы вынуждены были по возможности поддерживать мир с рабочими. Неудача могла означать, что работники уйдут массами, поставив выполнение производственного плана в опасность. В свою очередь, это могло быть очень опасно для хозяйственников" (138).

Из других последних работ в области социальной истории серьезного внимания заслуживает реконструкция жизни иностранных граждан в Советском Союзе в 20—30-е гг., осуществленная с использованием математических методов изучения В. С. Тяжельниковой и С. В. Журавлевым (139); два сборника работ "Круг идей: Новое в исторической информатике", выполненных с использованием методов исторической информатики, содержащих ряд статей по социальной истории 20—30-х гг. (140) На основе конкретного исследования социальной истории 20-х — 30-х гг. мы снова сталкиваемся с прямым воздействием на характер российской истории фактора бедности, в данном случае, нехватки рабочих рук. Тотальный дефицит, с одной стороны, стимулировал государственное вмешательство в воспроизводственные процессы, блокировал попытки рыночной модернизации России и соответственно становление демократии, а, с другой стороны, он же порождал на локальном уровне (на промышленных предприятиях, и, вероятно, в колхозах, из которых "беспаспортные" крестьяне формально не могли уйти, но, при желании, имели возможность улизнуть, завербовавшись на многочисленные строившиеся в 30-е гг. предприятия) отношения своеобразной "неформальной" прямой демократии (участие в принятии решений, право критики руководства, уважительное отношение со стороны начальства и т. д.).

К сожалению, отечественные исследователи, в отличие от западных, почти не уделяли внимания изучению реальных отношений, существовавших на основной массе советских промышленных предприятий и в большинстве колхозов, то есть, той реальной повседневности, которой призвана заниматься социальная история. В центре их внимания находилось изучение положения дискриминируемых социальных групп (спецпереселенцев, лишенцев, жертв ГУЛАГа), проявлений девиантного поведения (проституции, пьянства) (141). Разумеется, эти исследования, учитывая абсолютную неизученность данных проблем в отечественной историографии, давно назрели. Но все же, представляется, их объем и место должны соответствовать объему и месту объектов их исследования.

* * *

Работы по экономической, политической, идеологической, социальной истории подвели, как представляется, отечественную историографию к признанию важности изучения проблемы преемственности российской истории, к осознанию того, что в ней (истории) присутствуют глобальные, цивилизационные факторы, определяющие основные параметры ее течения.

К ним можно отнести: 1) природно-климатический (зона рискованного земледелия и низкой урожайности), обусловливающий "капиталонедостаточность" народного хозяйства, блокирующую преимущественно рыночный режим хозяйствования и предопределяющую решающую роль государственного предпринимательства в экономике; та же рискованность земледелия обусловила объективную необходимость государственного социального патернализма; 2) геополитический (растянутость коммуникаций, естественная незащищенность границ, обширность территории, редкое население), предопределяющий необходимость колоссальных расходов на транспортную инфраструктуру и армию, и опять же стимулирующий "этатизацию" всех сфер общественной жизни, деформируя и крайне лимитируя сферу действия рыночных регуляторов; с другой стороны, "избыток" земли и "недостаток" работников явился определенным ограничителем государственного деспотизма: население России, имея возможность "голосовать ногами", побуждает государство поддерживать на локальном уровне элементы прямой демократии; 3) этнический (здесь мы имеем в виду, прежде всего, особенности русской ментальности: этническую терпимость, "всечеловеческую отзывчивость", "государственнический дух"; проанализированные Н. Я. Данилевским, И. Л. Солоневичем, Л. Н. Гумилевым и др.; а также евразийскую проблематику); 4) конфессиональный (прежде всего, характерное для православия и русского коммунизма стремление к цельности, целостности, нерасчлененности бытия; признание благодатности земного существования); 5) фактор социальной организации — по сути, являющийся результатом предыдущих (базовая ячейка общества — не индивидуум, как на Западе, а "коммуна": мир, община, артель и т. д.; корпоративно-ведомственный, а не партийно-политический "плюрализм"; нерасчлененность власти на законодательную, исполнительную и судебную и т. д.).

В рамках парадигмы преемственности представляется некорректным противопоставление не только 20-х годов 30-м, но и досоветского, советского и постсоветского периодов российской истории. Однако парадигма преемственности не исключает (а, наоборот, предполагает) анализа истории России, в том числе, 1920—30-х гг., в рамках всемирной истории. Ибо именно последняя, как правило, задает инерционному, традиционалистскому российскому социуму "планку" глобальных, универсальных проблем (технологические революции, геополитическое давление, мировая экономическая конъюнктура, экология и др.), ответ на вызов которых динамизирует неспешную российскую эволюцию. Без анализа "внешнего" фактора нам останутся непонятными многие "внутренние" российские события (в том числе, применительно к проблематике 20—30-х гг., принятие стратегии форсированного развития со всем шлейфом порожденных ею общественных феноменов: ускоренной индустриализацией, сплошной коллективизацией, террором, ГУЛАГом и др.).

Главное, на наш взгляд,— в изучении реального процесса общественного развития, а не преимущественно его издержек: иными словами, за издержками не забывать о процессе. Исследовать реальное положение в индустриальном (включая ВПК) и аграрном секторах экономики в рамках всего хронологического периода 20—30-х гг., а не только в "провальные" годы: на макроуровне — по отраслям, и на микроуровне — по отдельным предприятиям, хозяйствам (индивидуальным и коллективным). Непредвзято изучать такие социальные феномены, как стахановское движение и социалистическое соревнование в целом: его причины, движущие силы, факторы блокировки, результаты; коллективизацию крестьянских хозяйств: соотношение низовой массовой инициативы и государственного принуждения (в рамках последнего — роли различных звеньев властной иерархии). В целом — продолжить успешно начатый в последние годы анализ российской повседневности; народной культуры. Наращивать наработки в области изучения механизмов реального функционирования политического режима (обычных и чрезвычайных органов; формальных, неформальных, тайных структур; безусловно, в динамике), включая его высшее звено (Политбюро ЦК ВКП(б), личный аппарат И. В. Сталина); условий, методов ведения, хода внутрипартийной борьбы. В сфере анализа издержек процесса перенести центр изучения на поиск путей, методов, механизмов их минимизации, то есть, оптимизации процесса. И, как во многом результирующую составляющую процесса, воссоздать подлинную демографическую историю периода, включая все хронологические его отрезки, государственную политику в этой области, историю семьи, женщин и детей, с учетом фактора перехода от доиндустриального к индустриальному обществу и внешних "вызовов".

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Бордюгов Г. А., Козлов В. А. Поворот 1929 г. и альтернатива Бухарина // Вопросы истории КПСС, 1988, №8; Бокарев Ю. П. Социалистическая промышленность и мелкое хозяйство в СССР в 20-е годы: Источники, методы исследования, этапы взаимоотношений. М., 1989; Ханин Г. И. Почему и когда погиб нэп. Размышления экономиста // ЭКО, 1989, №10; Горинов М. М. НЭП: поиски модели развития. М., 1990; Симонов Н. С. В преддверии "великого перелома" (Причины "свертывания" новой экономической политики) // Вопросы истории КПСС, 1990, №3; Горинов М. М., Цакунов С. В. Ленинская концепция нэпа: становление и развитие // Вопросы истории, 1990, №11; и др.

2. Бордюгов Г. А., Козлов В. А. История и конъюнктура: Субъективные заметки об истории советского общества. М., 1992; Дэвис Р. У. Советская экономическая реформа в исторической перспективе. В кн.: НЭП: приобретения и потери. М., 1994.

3. Голанд Ю. М. Кризисы, разрушившие нэп. М., 1991; Роговин В. З. Была ли альтернатива?: "Троцкизм": Взгляд через годы. М., 1992; Его же. Власть и оппозиции. М., 1993; Роговин В. З. Сталинский неонэп. М., 1995; Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992; Его же. Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 30-е годы. М., 1993; Мау В. А. Реформы и догмы. 1914—1929: Очерки истории становления хозяйственной системы советского тоталитаризма. М., 1993; Осокина Е. А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения. 1928—1935 гг. М., 1993; Куманев В. А., Куликова И. С. Противостояние: Крупская — Сталин. М., 1994; Цакунов С. В. В лабиринте доктрины. Из опыта разработки экономического курса страны в 1920-е годы. М., 1994; Измозик В. С. Глаза и уши режима (Государственный политический контроль за населением Советской России в 1918—1928 годах). СПб., 1995; Старков Б. А. Дела и люди сталинского времени. СПб., 1995; коллективные труды: История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. М., 1991; Наше Отечество (опыт политической истории). Т. 2. М., 1991; НЭП: приобретения и потери. М., 1994; Россия в XX веке: Историки мира спорят. М., 1994; Российская повседневность 1921—1941 гг.: Новые подходы. СПб., 1995; Рынок и реформы в России: Исторические и теоретические предпосылки. М., 1995; и др.

4. Лапина С. Н., Лелюхина Н. Д., Федоровская Е. С. Государственная собственность и рынок: опыт нэпа. В кн.: НЭП: приобретения и потери. С. 65.

5. Там же. С. 67.

6. Там же. С. 68.

7. Там же. С. 70—71.

8. Там же. С. 71.

9. Там же. С. 73.
10. Там же. С. 73–74.
11. Неретина Л. А. Реорганизация государственной промышленности в 1921–1925 гг.: принципы и тенденции развития. С. 82.
12. Там же. С. 85.
13. Исаев И. А. Нэп: рыночная перспектива. С. 98.
14. Ее глубокий анализ см. Симонов Н. С. Из опыта финансово-экономической реформы 1922–1924 гг. С. 99–112.
15. Бокарев Ю. П. Денежная политика середины 20-х годов и крушение рынка. С. 113–114.
16. Там же. С. 117.
17. Рогалина Н. Л. Новая экономическая политика и крестьянство. С. 141–142.
18. Там же. С. 142.
19. Кабанов В. В. Пути и бездорожье аграрного развития России в XX веке // Вопросы истории, 1993, №5. С. 43.
20. Ильиных В. А. Государственное регулирование заготовительного хлебного рынка в условиях нэпа (1921–1927 гг.). В кн.: НЭП: приобретения и потери. С. 174.
21. Дмитренко В. П. Четыре измерения нэпа. С. 30.
22. Там же. С. 37.
23. См.: Горинов М. М., Цакунов С. В. Ленинская концепция нэпа: становление и развитие; Горинов М. М. Альтернатива Г. Я. Сокольникова. В кн.: НЭП: приобретения и потери.
24. Рогалина Н. Л. Указ. соч. С. 142–143.
25. Там же. С. 149.
26. Носова Н. П. Нэп: государство и сельское хозяйство (проблемы регулирования). С. 162.
27. Кабанов В. В. Указ. соч. С. 43.
28. Файн Л. Е. Советская кооперация в тисках командно-административной системы (20-е годы) // Вопросы истории, 1994, №9. С. 40.
29. Мау В. А. Реформы и догмы. 1914–1929: Очерки истории становления хозяйственной системы советского тоталитаризма. М., 1993. С. 149.
30. Там же. С. 149–152.
31. Свищев М. А. Мелкое производство в 20-е годы. В кн.: НЭП: приобретения и потери. С. 180–181.
32. См.: Голанд Ю. М. Кризисы, разрушившие нэп. М., 1991.
33. Свищев М. А. Указ. соч. С. 181.
34. Его анализ см. Горинов М. М. НЭП: поиски путей развития.
35. Дэвис Р. Развитие советского общества в 20-е годы и проблема альтернативы. В кн.: Россия в XX веке: Историки мира спорят. М., 1994. С. 314.
36. Там же. С. 316.
37. Лельчук В. С. Политика "большого скачка" (1928–1941 гг.). В кн.: Наше Отечество (Опыт политической истории). Т. 2. М., 1991. С. 244.
38. Там же. С. 244.
39. Там же. С. 213.
40. Там же. С. 213–214.
41. Кондратьев Н. Д. Экспорт сельскохозяйственных товаров СССР (итоги и условия развития) // Пути сельского хозяйства, 1927, №10. С. 87–88.
42. Левин М. Российские крестьяне и Советская власть. Исследование коллективизации. Нью-Йорк; Лондон, 1975. Цитируется по реферату книги. См.: Отечественная история, 1994, №4–5. С. 54–55.
43. Лельчук В. С. Указ. соч. С. 214.
44. Там же. С. 214.
45. См. например: Дэвис Р. Советская экономическая реформа в исторической перспективе. С. 18.
46. Лельчук В. С. Указ. соч. С. 223.
47. См.: Лапина С. Н., Лелюхина Н. Д., Федоровская Е. С. Указ. соч. С. 73.
48. Ханин Г. И. Почему и когда погиб нэп. Размышления экономиста // ЭКО, 1989, №10. С. 71–73.
49. Там же. С. 71–73.
50. Левин М. Указ. соч. С. 59.
51. Дэвис Р. Развитие советского общества в 20-е годы и проблема альтернативы. С. 315.
52. См. например: Горинов М. М., Данилов А. А., Дмитренко В. П. История России. Ч. III. XX век: выбор моделей общественного развития. М., 1994. С. 61.
53. Рынок и реформы в России: Исторические и теоретические предпосылки. М., 1995. С. 109. Наряду с другими материалами, в пособии опубликована интересная глава Ю. Я. Ольсевича "Российские экономисты 1920-х гг.: вклад в мировую науку в свете современных проблем и реформ".
54. Трукан Г. А. Путь к тоталитаризму: 1917–1929. М., 1994. С. 130.
55. Там же.
56. Глубокий анализ анатомии возникновения "кризисов нэпа" проведен Ю. М. Голандом в кн.: Кризисы, разрушившие нэп. М., 1991.
57. Обстоятельный разбор экономических дискуссий 20-х годов проведен, в частности, в книге В. А. Мау "Реформы и догмы. 1914–1929. Очерки истории становления хозяйственной системы советского тоталитаризма". М., 1993.
58. См. например: Голанд Ю. М. Указ. соч. С. 89–90.
59. Бордюгов Г. А., Козлов В. А. История и конъюнктура: субъективные заметки об истории советского общества. С. 229.
60. Рынок и реформы в России: исторические и теоретические предпосылки. С. 106.
61. Мау В. А. Указ. соч. С. 13.
62. Там же. С. 14–15.
63. Там же. С. 15.
64. См.: Бовыкин В. И. Россия накануне великих свершений. К изучению социально-экономических предпосылок Великой Октябрьской социалистической революции. М., 1988. С. 66–67; Зив В. С. Иностранные капиталы в русской горнозаводской промышленности. Лг. С. 112, 115, 117.
65. См.: Гиммельфарб С. Некоторые основные линии роста промышленности СССР до 1928/29 года // Проблемы экономики, 1929, №10–11. С. 47–50.
66. Левин М. Указ. соч. С. 56–58.
67. Куромия Х. Сталинская индустриальная революция. Политика и рабочие. 1928–1932 гг. Кембридж, 1988. Цит. по рец. И. В. Быстровой в: История СССР, 1991, №5. С. 209.
68. Мау В. А. Указ. соч. С. 228–229.
69. Бордюгов Г. А., Козлов В. А. История и конъюнктура. С. 73.
70. См. Дэвис Р. У. Советская экономическая реформа в исторической перспективе. С. 19.
71. Там же. С. 20–21.
72. См., например: Лацис О. Р. Перелом. В кн.: Уроки горькие, но необходимые / Сост. Молдован В. С., Гридчина А. Г. М., 1988. С. 12–13.
73. Лельчук В. С. Указ. соч. С. 261.
74. Там же. С. 265.
75. См., например: Ивницкий Н. А. Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х гг.). М., 1994.
76. Дэвис Р. У. Советская экономика в период кризиса. 1930–1933 годы // История СССР, 1991, №4; Дэвис Р., Хлевнюк О. В. Вторая пятилетка: механизм смены экономической политики // Отечественная история, 1994, №3; Зеленин И. Е. Политотделы МТС – продолжение политики "чрезвычайщины" (1933–1934 гг.) // Отечественная история, 1992, №6; Его же. Коллективизация и единоличник (1933-й – первая половина 1935 г.) // Отечественная история, 1993, №3; Его же. Был ли "колхозный неонэп"? // Отечественная история, 1994, №2; Его же. "Революция сверху": завершение и трагические последствия // Вопросы истории, 1994, №10.
77. Дэвис Р. У., Хлевнюк О. В. Вторая пятилетка: механизм смены экономической политики // Отечественная история, 1994, №3. С. 95–96.
78. Дэвис Р. У. Советская экономика в период кризиса. 1930–1933 годы // История СССР, 1991, №4. С. 207.
79. Хлевнюк О. От восстаний до террора // Свободная мысль, 1995, №12. С. 107.
80. Ито С. Экономика СССР и мировой рынок между двумя мировыми войнами. Фукусима, 1994. См. рецензию И. А. Дьяконовой в: Вопросы истории, 1994, №10. С. 187.
81. Ольсевич Ю. Я. Российские экономисты 1920-х гг.: вклад в мировую науку в свете современных проблем и реформ. В кн.: Рынок и реформы в России: Исторические и теоретические предпосылки. С. 116–117.
82. См., например: Лельчук В. С. Указ. соч. С. 271 др.
83. Вопросы истории. 1991. №11. С. 138.

84. Там же. С. 144.

85. Симонов Н. С. Демократическая альтернатива тоталитарному нэпу // Отечественная история, 1992, №1. С. 55.

86. Игрицкий Ю. И. Снова о тоталитаризме // Отечественная история, 1993, №1. С. 13; см. также: Коэн С. "Хранить вечно". Тюремные рукописи Н. И. Бухарина // Свободная мысль, 1995, №12.

87. Коржихина Т. П., Фигатнер Ю. Ю. Советская номенклатура: становление, механизмы действия // Вопросы истории, 1993, №7.

88. Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925–1936 гг. М., 1995 (Сост. О. Хлевнюк, Л. Кошелева, Л. Роговая и др.); Сталинское политбюро в 30-е годы. М., 1995 (Сост. О. В. Хлевнюк, А. В. Квашонкин, Л. П. Кошелева, Л. А. Роговая). М., 1995.

89. Измозик В. С. Глаза и уши режима (Государственный политический контроль за населением Советской России в 1918–1928 годах). СПб., 1995.

90. Там же. С. 7.

91. Там же. С. 105–106.

92. Там же. С. 5.

93. Горинов М. М., Данилов А. А., Дмитренко В. П. История России. Ч. III. XX век: выбор моделей общественного развития. М., 1994. С. 66–67.

94. Дэниелс Р. Социалистические альтернативы в споре о профсоюзах. В кн.: Россия в XX веке: Историки мира спорят; Цакунов С. В. В лабиринте доктрины. Из опыта разработки экономического курса страны в 1920-е годы. М., 1994. С. 39–42.

95. Цакунов С. В. Указ. соч. С. 94.

96. Горинов М. М., Данилов А. А., Дмитренко В. П. Указ. соч. С. 68–69.

97. Роговин В. З. Была ли альтернатива?: "Троцкизм": Взгляд через годы. М., 1992; Его же. Власть и оппозиции. М., 1993; его же. Сталинский неонэп. М., 1995.

98. Куманев В. А., Куликова И. С. Противостояние: Крупская – Сталин. М., 1994. С. 74, 80.

99. Васецкий Н. А. Троцкий: Опыт политической биографии. М., 1992. С. 60.

100. Роговин В. З. Сталинский неонэп. С. 353.

101. Роговин В. З. Была ли альтернатива?: "Троцкизм": Взгляд через годы. С. 4.

102. Дэниелс Р. Указ. соч. С. 362.

103. См.: цит. выше высказывания В. С. Лельчука, С. Коэна.

104. Перейра Н. Сталин в 20-е годы: попытка нового социального исследования. В кн.: История и историки. М., 1995. С. 366.

105. Там же. С. 366–367.

106. Дэвис Р. У., Хлевнюк О. В. Вторая пятилетка: механизм смены экономической политики // Отечественная история, 1994, №1. С. 107; см. также: Хлевнюк О. В. Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 30-е годы. М., 1993.

107. Хлевнюк О. В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992. С. 75–77.

108. Все эти взгляды цит. по: Холмс Л. Социальная история России: 1917–1941. Ростов-н/Д., 1993. С. 101–103.

109. Там же. С. 106.

110. Цит. по рец.: Хлевнюк О. В. Размышления о причинах террора // Свободная мысль, 1992, №4. С. 126.

111. Левин М. Бюрократия и сталинизм. С. 17–18, 22–23.

112. Кирилина А. А. Рикошет, или сколько человек было убито выстрелом в Смольном. СПб., 1993.

113. Роговин В. З. Сталинский неонэп. С. 73–111.

114. Старков Б. А. М. Н. Рютин. На колени не встану. М., 1992; Его же. Дела и люди сталинского времени. СПб., 1995.

115. Ингерфлом К. С. Несостоявшийся гражданин. Русские корни ленинизма. М., 1993. С. 231–232.

116. Там же. С. 233.

117. Там же. С. 234.

118. Там же. С. 240.

119. См. так называемую "клятву Сталина": его речь на II Всесоюзном съезде Советов 26 января 1924 г. в связи со смертью В. И. Ленина. Цит. по: Косолапов Р. И. Слово товарищу Сталину. М., 1995. С. 9.

120. Ингерфлом К. С. Указ. соч. С. 242.

121. Цакунов С. В. Указ. соч. С. 9.

122. Там же. С. 17–19.

123. Там же. С. 106–107.

124. Там же. С. 143.

125. Там же. С. 145–146.

126. Там же. С. 146.

127. Там же. С. 146.

128. См.: Вопросы истории, 1995, №8. С. 160–161; см. также Попович Н. Советская политика по укреплению русского патриотизма и самосознания (1935–1945). В кн.: Россия в XX веке: Историки мира спорят.

129. Холмс Л. Указ. соч. С. 22.

130. Осокина Е. А. Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского снабжения. 1928–1935 гг. М., 1993.

131. См.: Горинов М. М. Потребление в антипотребительском обществе // Свободная мысль, 1994, №5.

132. См. также: Осокина Е. А. Снабжение общества и армии в условиях карточной системы. 1928–1935 гг. М., 1993; Ее же. За зеркальной дверью Торгсина // Отечественная история, 1995, №2; Ее же. Люди и власть в условиях кризиса снабжения. 1939–1941 годы // Отечественная история, 1995, №3.

133. Свищев М. А. Указ. соч. С. 182–184.

134. Там же. С. 184–185.

135. Литвак К. Б. Жизнь крестьянина 20-х годов: современные мифы и исторические реалии. В кн.: НЭП: приобретения и потери. С. 201–202.

136. Российская повседневность 1921–1941 гг.: Новые подходы: Доклады, сделанные на международной Междисциплинарной конференции 16–19 августа 1994 года. СПб., 1995. С. 75–78

137. Терстон Р. Вежливость и власть на советских фабриках и заводах. достоинство рабочих, 1935–1941 гг. Там же. С. 60.

138. Там же. С. 62, 64–67. См. также: Стеблев Э. А. Экономика российской повседневности. Там же.

139. Журавлев С. В., Тяжельникова В. С. Иностранная колония в Советской России в 1920–1930-е годы (Постановка проблемы и методы исследования) // Отечественная история, 1994, №1.

140. Круг идей: Новое в исторической информатике. Труды I конференции Ассоциации "История и компьютер". М., 1994; Круг идей: Развитие исторической информатики. Труды II конференции Ассоциации "История и компьютер". М., 1995.

141. См., например: Земсков В. Н. Спецпоселенцы (по документации НКВД – МВД СССР) // Социологические исследования, 1991, №11; Его же. ГУЛАГ (Историко-социологический аспект) // Социологические исследования, 1991, №6; Его же. Судьба "кулацкой ссылки" (1930–1954 гг.) // Отечественная история, 1994, №1; Лебина Н. Б. Теневые стороны жизни советского города 20–30-х годов // Вопросы истории, 1994, №2; Славко Т. И. Кулацкая ссылка на Урале. 1930–1936. М., 1995.

ПРЕДЫСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В СОВРЕМЕННЫХ ДИСКУССИЯХ

М. И. Мельтюхов

История Великой Отечественной войны всегда занимала в отечественной историографии одно из центральных мест. Всю литературу предыдущих десятилетий пронизывала официальная концепция истории войны. Процесс переоценки истории советского общества, начавшийся с конца 80-х годов, привел к возникновению в отечественной исторической науке альтернативных взглядов, что по сути означало начало формирования "нормальной" историографии, объединяющей исследователей, представляющих различные, зачастую прямо противоположные, подходы к изучению тех или иных вопросов. Исследования истории войны так же ощутили на себе воздействие этого процесса. В историографии были поставлены и начали активно разрабатываться еще недавно отсутствовавшие темы. Наиболее крупными из них стали проблемы потерь Советского Союза в войне в целом и по ее отдельным периодам; коллаборационизма на оккупированных Германией советских территориях; роли союзников в войне; духовного облика различных слоев советского общества (отход от мифа о морально-политическом единстве советского общества, показ множественности мотивации действий населения в 1939—1945 гг.).

Однако основное внимание исследователей в последние годы было сосредоточено на проблемах кануна Великой Отечественной войны. Привлечение нового документального материала и смягчение идеологического контроля позволило более подробно изучить такие крупные темы как генезис советско-германского пакта о ненападении, отношения СССР с его будущими союзниками и противниками, политика советского руководства в Восточной Европе в 1939—1941 гг., военные аспекты подготовки Советского Союза к войне. Продвижение в изучении этих проблем все яснее показывает необходимость корректировки, а кое-где и полного пересмотра привычной концепции истории войны.

Проблемы кануна войны нашли отражение как в значительном количестве трудов, появившихся в последние годы, так и в ходе ряда отечественных и международных научных конференций. Целью данной статьи является анализ литературы 1989—1995 гг. и показ современного состояния историографии, посвященной наиболее крупным проблемам предыстории Великой Отечественной войны.

Предвоенный кризис 1939 г. и пакт о ненападении

События 1939 г. уже свыше 50 лет остаются в центре внимания мировой и отечественной историографии. До второй половины 80-х годов в отечественной исторической науке господствовала сложившаяся еще в 1939—41 гг. и окончательно закрепленная в исторической справке 1948 г. "Фальсификаторы истории" официальная концепция, сводившаяся к следующему. Все попытки СССР создать систему коллективной безопасности в Европе срывались Англией и Францией, которые проводили политику "умиротворения" Гитлера и стремились столкнуть его с Советским Союзом. Это логично вытекало из основного противоречия эпохи: между капитализмом и социализмом. Начатые по инициативе СССР переговоры с Англией и Францией о заключении военно-политического союза в апреле — августе 1939 г. натолкнулись на нежелание этих стран и Польши равноправно сотрудничать с Москвой. Англия использовала переговоры с Советским Союзом как ширму для новых попыток сговора с Германией, которые тайно предпринимались одновременно с переговорами в Москве.

Отмечалось также, что Германия, готовившая агрессию против Польши, была заинтересована в устранении угрозы войны на два фронта и всеми силами стремилась исключить СССР, который обладал значительным оборонным потенциалом, из возможной антигитлеровской коалиции. С этой целью Германия настойчиво предлагала Советскому Союзу заключить договор о ненападении, но последний, ведя в это время переговоры с Англией и Францией, не собирался идти на подобный шаг. Однако, в условиях срыва Западом переговоров в Москве, резко возросла угроза войны СССР с Германией на Западе и с Японией на Востоке. Не исключалось и создание единого антисоветского фронта империалистических держав с целью разгрома СССР, не готового еще к большой войне. Таким образом, Советский Союз оказался в международной изоляции, и в начале 20-х чисел августа 1939 г. был вынужден принять предложенный Германией договор о ненападении. Это явилось, хотя и вынужденным, но единственно возможным верным шагом, обеспечившим безопасность СССР (1).

Подобный подход к англо-франко-советским переговорам преобладает и в современных работах сторонников этой версии, но рассмотрение в них различных аспектов этих событий и введение в научный оборот новых дипломатических документов того периода (2) ставит, часто помимо желания авторов, новые вопросы, остающиеся в рамках этой концепции без ответов. В конце 80-х годов были высказаны альтернативные взгляды на события 1939 г., а в самой официальной историографии наметился процесс дифференциации, заключающийся в том, что разделяющие ее историки акцентируют внимание на разных ее аспектах.

В центре внимания отечественной историографии остаются две основные проблемы этого периода: англо-франко-советские переговоры и советско-германский пакт о ненападении.

Касаясь вопроса о причинах начала англо-франко-советских переговоров, отечественные историки довольно единодушны в том, что разрыв Германией Мюнхенского соглашения (оккупация 15 марта 1939 г. Чехии и провозглашение

независимости Словакии), оккупация Германией Мемеля (Клайпеды) 22 марта, а Италией Албании (7 апреля) вынудило Англию и Францию начать зондаж позиции СССР. М. Л. Коробочкин указывает, что отход от Мюнхенского соглашения в политике Германии начался еще осенью 1938 г., а действия Германии весной 1939 г. потребовали от Англии поисков союзников для сдерживания германской экспансии, но не для войны с ней, поскольку в Лондоне хотели решить эту задачу без применения силы (3).

По мнению сторонников официальной версии (4), Англия и Франция хотели отвести от своих стран угрозу войны; предотвратить возможное советско-германское сближение; демонстрируя сближение с СССР, достичь соглашения с Германией; втянуть Советский Союз в будущую войну и направить германскую агрессию на Восток. В этих трудах постоянно подчеркивается, что Англия и Франция, стремясь сохранить видимость переговоров, в то же время не желали равноправного союза с СССР.

Оценив таким образом цели Англии и Франции, сторонники официальной версии очень скупо говорят о целях СССР. Д. А. Волкогонов считает, что советское руководство ставило перед своей дипломатией три основные задачи: предотвратить или оттянуть войну и сорвать возможный единый антисоветский фронт. М. И. Панкрашова указывает, что Советский Союз был заинтересован в изменении статус-кво в Восточной Европе, поскольку его западные соседи могли, по мнению автора, сговориться с Германией на антисоветской основе. В. Я. Сиполс полагает, что СССР, наоборот, был заинтересован в сохранении ситуации в Восточной Европе. В. И. Прибылов считает, что Советский Союз искренне добивался союза с Англией и Францией, а не использовал переговоры с ними для давления на Германию. Г. Л. Розанов развивает эту версию, отмечая, что 28 июля 1939 г. СССР решил начать переговоры с Германией, чтобы оказывать давление на Англию и Францию.

В вопросе о целях сторон на переговорах критики официальной версии (5) указывают на то, что Франция была очень заинтересована в военном соглашении и вообще Запад был более заинтересован в союзе с СССР, нежели само советское руководство. Ряд авторов отмечает, что сближение Советского Союза с Германией объяснимо желанием стравить ее с Англией и Францией для успеха дела расширения "социализма".

В официальной историографии очень популярно мнение о затяжке переговоров Англией и Францией. Политический договор был практически согласован сторонами, но его подписание уперлось в вопрос о "косвенной агрессии", формулировка которой была предложена советской стороной и отвечала интересам защиты мира. Однако Запад не пошел на уступки и политический договор не был заключен. Военные переговоры, начатые по инициативе СССР показали неготовность Англии и Франции к серьезным переговорам и не дали результата, так как Польша категорически отказалась от пропуска на свою территорию советских войск, а Запад не оказывал на нее давления.

Критики официальной точки зрения отмечают, что на ход переговоров влияла антисоветская позиция соседей СССР и недооценка Лондоном и Парижем его вооруженных сил, а так же взаимное недоверие Англии и Советского Союза, которые опасались быть обманутыми друг другом. М. Л. Коробочкин указывает, что выдвижение советским руководством идеи "косвенной агрессии" в момент, когда политический договор был почти полностью согласован, и его упорное нежелание идти на компромисс по этому вопросу, несмотря на уступки со стороны Англии, практически сорвало достижения соглашения. Таким образом, точкой кризиса в переговорах следует считать выдвижение идеи "косвенной агрессии", которая не соответствовала международному праву и была совершенно не приемлема для Запада. По мнению В. С. Белоусовой, требование СССР одновременного заключения политического и военного договоров давало советскому руководству дополнительное время для переговоров с Германией.

Вместе с тем, отмечает М. Л. Коробочкин, угроза советско-германского сближения и настойчивые требования Франции заставили Англию принять советское предложение о военных переговорах, которые в силу срыва политических переговоров были лишь пустой тратой времени. Как указывает В. С. Белоусова, затяжки с посылкой в Москву военных миссий не было, так как СССР был согласен на подготовительный период в 8—10 дней, а 5 августа и есть 8-й день. Как считает М. И. Семиряга, вопрос о проходе Красной Армии на территорию Польши явился удобным предлогом для срыва переговоров, так как в 1938 г. во время чехословацкого кризиса этот вопрос не считался помехой для оказания помощи Чехословакии.

Ответственность за срыв переговоров официальная версия возлагает на партнеров СССР, особенно на Англию, которая вела секретные переговоры с Германией, хотя, как признают В. Я. Сиполс и В. М. Фалин, Германия, СССР, Англия и Франция одновременно вели между собой тайные и явные переговоры. В этом направлении историографии очень популярны рассуждения о том, что Советский Союз пытались втянуть в войну и использовать в интересах Запада. При этом авторы обходят молчанием вопрос, зачем в таком случае советское руководство пошло на переговоры и "настойчиво" добивалось этого союза.

Критики официальной версии отмечают, что причиной срыва переговоров было взаимное недоверие партнеров, а ряд авторов полагают, что ни Англия, ни Франция, ни СССР не были заинтересованы в союзе. Рассматривая политику Англии, М. Л. Коробочкин отмечает, что, сохраняя возможность соглашения с Германией, Лондон делал свою политику подозрительной для партнеров, но само английское правительство определило для себя четкую границу возможных уступок — угроза независимости Польши. Автор отмечает, что на англо-франко-советских переговорах в Москве все стороны вели двойную игру. По мнению С. З. Случа и М. Наринского, с марта 1939 г. СССР получил возможность выбирать с кем ему договариваться, а следовательно, вовсе не находился в международной изоляции, поскольку в переговорах с ним были заинтересованы и Англия с Францией, и Германия. В результате, как отмечает М. Наринский, и Запад, и СССР несут свою долю ответственности за срыв переговоров, что открыло дорогу второй мировой войне.

Как ни странно, последствия срыва переговоров не вызывают существенных разногласий, несмотря на позицию исследователей. Так Г. Н. Севостьянов и В. И. Прибылов отмечают, что союз Англии, Франции, СССР и США предотвратил бы вторую мировую войну, а В. Я. Сиполс и О. А. Ржешевский указывают, что в начале войны виноваты все великие державы, кроме СССР. В свою

очередь М. И. Семиряга пишет о том, что за возникновение второй мировой войны ответственны Германия, Италия и Япония, отчасти Англия, Франция, США и "сталинизм". М. Л. Коробочкин отмечает, что срыв англо-франко-советских переговоров и переориентация СССР на Германию означало перерастание кризиса в войну.

Официальная точка зрения на события, связанные с заключением советско-германского пакта о ненападении, оставалась господствующей в отечественной историографии до 1987-88 гг., когда впервые был поставлен вопрос об альтернативной оценке событий, приведших к пакту. В условиях вновь начавшейся и все более усиливавшейся критики И. В. Сталина сторонники официальной версии были вынуждены вносить в нее некоторые коррективы.

Было признано влияние Сталина на выработку курса внешней политики СССР, отмечается его хорошая осведомленность о событиях в Европе, а следовательно, о попытках нового англо-германского сговора. Официальная историография признает наличие у Сталина ошибок, не расшифровывая их. В трудах их оппонентов критика Сталина занимает более значительное место. Так, М. И. Семиряга и В. М. Кулиш подчеркивают, что сталинские деформации внутри страны не могли не сказаться и на ее внешней политике. Для этого направления в историографии характерно мнение, что пакт является результатом сталинизма. Это не мешает некоторым авторам утверждать, что пакт позволял обеим сторонам осуществить свои экспансионистские цели и поэтому являлся успехом советской дипломатии.

Сторонники этих двух точек зрения диаметрально противоположно оценивают цели Сталина при заключении пакта. Официальная историография видит лишь одну цель — обеспечить безопасность СССР в условиях начавшегося кризиса в Европе. Ее критики отмечают, что целью советского руководства являлось столкновение Германии с англо-французским блоком и расширение господства "социализма". Следует отметить, что такой подход делает политику тогдашнего советского руководства значительно более логичной, нежели в трактовке официальной версии.

В ходе дискуссии был затронут вопрос о возможных альтернативах пакту. В целом официальная историография продолжает настаивать на безальтернативности для СССР пакта о ненападении, хотя и не смогла доказать этот вывод. Критики этой точки зрения пытались предложить ряд альтернатив, но не смогли преодолеть их определенную умозрительность. Эти авторы осуждают Сталина за его решение пойти на пакт, считая это просчетом. Но исходя из ими же указываемых целей, которые преследовало советское руководство, это был вовсе не просчет, а единственно желанный результат, что делает необходимым исследование способов его достижения. Начало рассмотрению этого вопроса положил С. А. Горлов, который попытался показать советско-германский диалог на основе сопоставления опубликованных советских и германских дипломатических документов (6).

Вопрос заинтересованности Германии в заключении пакта излагается в историографии противоречиво. Ряд авторов считает, что Германия не очень стремилась к соглашению с СССР, так как могла выбирать между договоренностью с ним или с Англией. Другие авторы, наоборот, полагают, что Германия летом 1939 г. находилась в очень сложном положении и была заинтересована в пакте сильнее, чем Советский Союз, поскольку это было одним из этапов внешнеполитической изоляции Польши в предстоящей войне. Именно поэтому Германия и была инициатором пакта.

Вопрос о моменте начала советско-германского сближения все еще вызывает разногласия. Большинство исследователей официального направления считает, что согласие на переговоры советское руководство дало 11—12 августа 1939 г., но окончательное решение о заключении пакта было принято 19—21 августа. Их оппоненты полагают, что курс на сближение с Германией начал проводиться после Мюнхена; с конца 1938 г.; с марта 1939 г.; с мая 1939 г. Ныне опубликована французская запись речи Сталина перед членами Политбюро 19 августа 1939 г., содержащая целостную концепцию советской политики, стремящейся использовать войну в Европе для усиления там своего влияния. Еще предстоит детальное выяснение аутентичности этого источника, который в значительной степени корреспондирует с последующей политикой СССР (7).

В конце 80-х годов развернулся спор о наличии секретного дополнительного протокола к пакту о ненападении. Некоторые сторонники официальной версии предпочитают умалчивать о нем. Часть авторов считает, что протокол был естественным продолжением пакта, в котором и содержался весь его смысл, заключающийся в ограждении части Восточной Европы от германской оккупации. Он, как полагает В. Я. Сиполс, отразил взаимные интересы Германии, заинтересованной в оккупации Польши до "линии 4-х рек", и СССР, стремящегося остановить вермахт дальше от своих границ и рассчитывающего на присоединение Западной Украины и Западной Белоруссии. Теперь, когда подлинники секретных протоколов опубликованы, официальная историография вынуждена признать, что он предрешил судьбу третьих стран и свидетельствует о сотрудничестве с Германией в переделе Восточной Европы (8).

Критики официальной историографии считают, что секретный протокол был инициативой СССР и уступкой со стороны Германии. Подчеркивается также, что пакт — первое звено в системе советско-германских договоренностей, его цель — влияние Советского Союза в Восточной Европе, а без секретного протокола он не нужен и не имеет смысла. С. З. Случ отмечает, что для Сталина граница "сферы интересов" означала будущую границу СССР.

Обращаясь к оценке пакта, официальная историография всегда подчеркивала тот факт, что он показал миролюбие СССР и поставил заслон на пути германской агрессии на Восток. Пакт не противоречил союзу с Англией и Францией, хотя и был единственно правильным шагом, который способствовал отсрочке войны с Германией, срыву возможного антисоветского единого фронта и устранению угрозы войны СССР на два фронта. Вместе с тем, многие авторы указывают на недостаточно удачное использование отсрочки войны. Касаясь долгосрочных последствий пакта, ряд авторов отмечает, что, заключив пакт, СССР вышел из международной изоляции и показал, что способен проводить самостоятельную внешнюю политику, как будто ранее это было не так. Популярным мотивом является указание на такое достижение пакта, как установление новых границ СССР. Границы были отодвинуты, вермахт остановлен вдали от них и ряд соседних с Советским Союзом стран не был захвачен Германией

(а кем был?). При этом авторы молчат о создании общей советско-германской границы, что исключало боевые действия на несоветской территории в случае германского нападения. По мнению сторонников официальной версии, пакт не оказал никакого влияния на начало германо-польской и второй мировой войн, поскольку оно было запланировано еще в апреле 1939 г. Ныне в работах сторонников официальной версии появились упоминания о негативных последствиях пакта. К ним относят дезориентацию антифашистских сил и укрепление антисоветских тенденций на Западе, свертывание антифашистской пропаганды, получение Германией свободы маневра в Европе, снабжение Германии сырьем и продовольствием, снижение международного престижа СССР и даже попрание "ленинских норм" внешней политики. Но несмотря на это, в работах сторонников официальной версии преобладает оправдательное отношение к пакту и его последствиям.

Казалось бы, при оценке последствий пакта сторонники нетрадиционной версии должны были бы дать более сбалансированную оценку, но этого не произошло. Вопросы об оттяжке войны с Германией и о передвижении советских границ на Запад оценивается неоднозначно. Мнение о том, что пакт разрушил равновесие в Европе в пользу Германии и способствовал началу второй мировой войны, хотя и преобладает в этом направлении историографии, но разделяется не всеми авторами. Сильной стороной критиков официальной версии является рассмотрение выигрышей Германии от пакта, которая получила обеспеченный тыл и свободу рук в Европе, смогла усилить свою экономическую базу и развернуть огромные вооруженные силы, а советско-германские экономические отношения усиливали Германию. Как правило, в этом направлении историографии более тщательно анализируются негативные стороны пакта. Можно предположить, что эти вопросы еще не раз будут подниматься в исторической науке.

В последние годы благодаря привлечению новых источников и существенному расширению тематики исследований в отечественной литературе создана более объективная картина событий предвоенного политического кризиса 1939 г. Однако, все еще слабо изучено, как именно вырабатывалась советская политика и принимались решения в Кремле, как советское руководство оценивало ситуацию в мире и место СССР в этих событиях, как в деталях проходили контакты с зарубежными партнерами, не ясен ход переговоров в Москве 23—24 августа 1939 г., роль малых стран Европы, влияние советско-германского пакта на их позицию.

Советский Союз и его будущие союзники и противники

Вопрос об отношениях СССР с Англией, Францией, США и Германией накануне Великой Отечественной войны в течение последних 45 лет рассматривался довольно односторонне. Основным тезисом официальной историографии было утверждение о том, что все эти страны проводили враждебный Советскому Союзу курс, что требовало неустанного внимания со стороны советского руководства и использования межимпериалистических противоречий для максимально возможной оттяжки вступления СССР во вторую мировую войну. Подобная трактовка событий сохранялась так же благодаря тому, что отсутствовали связные исследования взаимоотношений Советского Союза с вышеназванными странами.

Взаимоотношения СССР с Англией, Францией и США после 1 сентября 1939 г. освещаются в отечественной историографии очень неравномерно. Как и ранее, популярным сюжетом являются англо-французские планы военных действий против Советского Союза, которые были рассмотрены в работах Л. А. Безыменского и В. Я. Сиполса. Авторы по-разному оценивают реакцию Англии и Франции на события 17 сентября 1939 г. и последующее заключение договоров между СССР и странами Прибалтики. Первый указывает, что Англия была на грани войны с Советским Союзом, а второй, отмечая резко антисоветскую реакцию англо-французской прессы, указывает, что правительственные круги Англии и Франции отнеслись к этим событиям, учитывая их антигерманскую направленность, в целом спокойно. Отдавая дань традиционным представлениям, В. Я. Сиполс считает, что Англия, Франция и США толкали Финляндию на срыв переговоров с СССР в ноябре 1939 г.

Работы этих авторов позволяют довольно полно проследить подготовку Англии и Франции к военным действиям против СССР в 1939—1940 гг. и те разногласия, которые ее тормозили. По мнению Л. А. Безыменского, если бы это нападение было осуществлено, то были бы возможны две альтернативы: 1. союз СССР с Германией или 2. единый фронт против СССР, причем автор склоняется в пользу второй альтернативы. Оба автора считают, что СССР знал о наличии подобных планов, хотя до сих пор не ясно, как эти сведения влияли на его политику. Но все это планирование было перечеркнуто германским наступлением на Западе, которое привело к разгрому Франции и ее перемирию с Германией.

Вопросы советско-французских отношений с июля 1940 г. до июня 1941 г. все еще практически не изучены в отечественной историографии. Советско-английские взаимоотношения изучены очень слабо. Единственное исключение составляет вопрос о действиях Англии в отношении СССР в июле 1940 г. Столь же слабо освещены в исторической литературе советско-американские отношения того периода.

Попытке английского правительства установить более тесный контакт с СССР посвящена работа В. Я. Сиполса о миссии С. Криппса в 1940 г., которая является первым в нашей историографии столь подробным изложением этих событий. Англии требовалась помощь и она была заинтересована во вступлении СССР в войну или хотя бы в охлаждении советско-германских отношений. В Москве состоялась беседа И. В. Сталина и Криппса, которая показала готовность СССР лишь к секретным переговорам с Англией о торговле и о режиме черноморских проливов с участием Турции, но Лондон эти вопросы не интересовали. Переговоры были прерваны из-за утечки информации о них в Лондоне. В свою очередь СССР официально уведомил о них Германию, но, как показал В. Я. Сиполс, это была довольно тонкая дезинформация (хотя сам автор считает, что не очень тонкая). В это же время в Германии были опубликованы секретные военные планы Англии и Франции в отношении СССР и в итоге до 22 июня 1941 г. советско-английские отношения носили довольно прохладный характер.

По мнению А. С. Орлова, политика Англии весной 1941 г. была направлена на вовлечение СССР в войну, именно эту цель преследовали предупреждения Черчилля, Криппса и слухи вокруг "дела Гесса". В результате всех этих действий Сталин, по мнению ряда авторов, перестал верить вообще каким бы то ни было предупреждениям, опасаясь происков Англии. По мнению В. К. Волкова, Сталин думал, что Англия хочет втянуть СССР в войну и в этом его укрепило "дело Гесса", а Г. Л. Розанов указывает, что Сталин знал от своей разведки о провале миссии Гесса и делал вывод о том, что войны с Германией летом 1941 г. не будет (9).

Таким образом, историография, посвященная взаимоотношениям СССР с его будущими союзниками во второй мировой войне, очень слаба. Практически в ней рассматриваются те же темы, которые были популярны в предыдущие десятилетия, хотя, конечно, появился и ряд новых аспектов. Совершенно не исследованными остаются вопросы целей советской внешней политики в отношении этих стран, методов их достижения, нет даже просто связного описания самих отношений между странами. Конечно, в какой-то мере это можно объяснить закрытостью советской дипломатической документации того времени, недавним снятием табу с этих тем. Однако, не ясно почему не используется зарубежная литература по этой тематике, в которой эти вопросы рассмотрены достаточно подробно. Уже это дало бы нам картину, во-первых, изученности внешнеполитической тематики за рубежом, а во-вторых, позволило бы изучить хотя бы политику этих стран в отношении СССР, что явилось бы немаловажным шагом вперед. К сожалению, пока подобные работы просто отсутствуют в отечественной историографии и остается лишь надеется, что когда-нибудь они все же появятся.

В значительно лучшей ситуации оказались вопросы изученности советско-германских отношений, которые привлекли широкое внимание с конца 80-х годов. В результате на смену версии, что в отношении Германии в тот период проводился выверенный курс и давался отпор ее антисоветским акциям, как это традиционно утверждалось, пришло значительное разномыслие, что позволяет более адекватно исследовать эти проблемы (10).

В литературе сделана первая попытка периодизации советско-германских отношений. Так А. С. Орлов утверждает, что эти отношения прошли четыре этапа: 1. август — сентябрь 1939 г. — этап неопределенности; 2. октябрь 1939 г. — июнь 1940 г. — этап сотрудничества; 3. июль 1940 г. — апрель 1941 г. — этап дипломатического противоборства; 4. апрель — июнь 1941 г. — этап умиротворения Германии. Правда, изложение автором фактического материала далеко не полностью подтверждает такую периодизацию.

Прежде всего, внимание специалистов привлекли события сентября 1939 г. и договор о дружбе и границе. Г. Л. Розанов считает, что новый договор с Германией отражал надежды советского руководства на стабильные отношения. Вместе с тем, автор указывает, что, поскольку договор был заключен с воюющей страной, СССР отошел от нейтралитета и встал на путь сотрудничества с Германией. Оценка договора Г. Л. Розановым и А. С. Орловым носит эклектичный характер. Они осуждают установление советско-германской границы в Польше без ее согласия (интересно, кто должен был спросить этого согласия?), но удовлетворены тем,

что эта граница была установлена по "линии Керзона". Обвинения Сталина в нарушении международного права, соседствуют с положительной оценкой факта получения СССР Западной Украины и Западной Белоруссии и свободы рук в Прибалтике. Негативная оценка тайного решения территориальных вопросов Литвы и договора от 28 сентября 1939 г. в целом соседствует с утверждением о том, что этот документ положил предел германской экспансии на Востоке Европы и создал потенциальный советско-германский фронт.

Более критическую позицию занял М. И. Семиряга, указывающий, что СССР вовсе не был нейтрален, а оказывал содействие Германии, помогая ей разгромить Польшу. По мнению автора, договор от 28 сентября 1939 г. нарушал международное право в отношении третьих стран и может рассматриваться как фактическое вступление СССР в военно-политический союз с Германией, что вело к его изоляции на международной арене. Еще более критическую позицию занимает Т. Ю. Григорьянц, которая отмечает, что поскольку СССР проводил согласованную с Германией политику в отношении Польши, то он тем самым стал соучастником агрессии против нее. В результате договора 28 сентября 1939 г. СССР и Германия поделили Польшу, и та исчезла с политической карты, а следовательно, рухнула Версальская система в Восточной Европе. Автор обоснованно полагает, что СССР стремился не к миру, а к захватам, что и достигалось договором с Германией.

Советско-германские отношения в период советско-финляндской войны оцениваются в литературе по-разному. По мнению Г. Л. Розанова и А. С. Орлова, Германия придерживалась формального нейтралитета, но тайно поддерживала Финляндию с целью затяжки этой войны и столкновения СССР с Западом. М. И. Семиряга критически оценивает подобную позицию, ссылаясь на германские дипломатические документы, показывающие, что Германия в целом придерживалась нейтралитета в период советско-финляндской войны, поскольку была связана войной и секретной договоренностью с СССР и была заинтересована в стабильных отношениях с Москвой.

Начало ухудшения советско-германских отношений большинство авторов относит к июлю 1940 г. Крупным вопросом советско-германских отношений, получившим значительное освещение в литературе, является вопрос о переговорах в Берлине в ноябре 1940 г. (11). Если ранее неизменно утверждалось, что в Берлине СССР дал достойный отпор происках Германии и отказался присоединиться к Тройственному пакту, то более пристальное изучение ставших доступными дипломатических документов показало, что не все было так просто.

По мнению ряда авторов, переговоры были инициированы Германией, которая предложила СССР вступить в Тройственный пакт и разделить сферы интересов в мировом масштабе. Как считает Г. Л. Розанов, у СССР был выбор либо присоединиться к Тройственному пакту и тем самым ухудшить свое международное положение, либо попытаться использовать переговоры для выигрыша времени. По мнению ряда авторов СССР решил использовать переговоры для того, чтобы заявить о своих интересах и тянуть время. Кроме того, М. И. Семиряга полагает, что переговоры рассматривались обеими сторонами в качестве политических зондажей. Лишь Т. Ю. Григорьянц считает, что переговоры велись сторонами всерьез.

При рассмотрении целей германской стороны на переговорах, как правило, не возникает существенных разногласий. Считается, что Германия рассчитывала добиться нейтралитета СССР при подчинении Балкан и усыпить бдительность советского руководства в преддверии войны, втянув его в переговоры о Тройственном пакте. Правда, С. А. Горлов не исключает и того, что Германия всерьез рассчитывала привлечь СССР в Тройственный пакт.

В литературе дано достаточно подробное описание хода переговоров, показано, что СССР настаивал на получении преимуществ в Финляндии, определенных районах Балканского полуострова и Ближнего Востока, но Германию уже не интересовало удовлетворение этих требований. Ряд авторов полагают, что условия выдвинутые советской стороной для присоединения к Тройственному пакту были совершенно не приемлемы для Германии, а значит, это была всего лишь хитрая дипломатическая игра СССР, направленная на затяжку переговоров. Ф. И. Фирсов, наоборот, считает, что СССР вполне мог вступить в Тройственный пакт, что имело бы непредсказуемые последствия. Т. Ю. Григорьянц полагает, что эти требования Москвы лишь убедили Гитлера в необходимости ускорить нападение на СССР и ответом на них стал план "Барбаросса".

М. И. Семиряга полагает, что Германия больше выиграла от этих переговоров, поскольку узнала планы СССР в отношении Финляндии и Балкан и втянула его в переговоры о Тройственном пакте. При этом он отмечает, что СССР не удалось узнать цели Германии или втянуть ее в переговоры, что противоречит вышеотмеченным выводам автора. О. А. Ржешевский поддерживает старую версию, согласно которой переговоры показали, что война с Германией неизбежна в ближайшие месяцы, но этот вывод не подтверждается документами.

В последующие месяцы советско-германские отношения отмечены, по мнению Г. Л. Розанова и А. С. Орлова, нарастающей конфронтацией в основном вокруг Балкан. Германия готовила нападение и все меньше считалась с интересами СССР. Общим местом отечественной историографии стало утверждение о том, что СССР располагал данными о планах Германии, но Сталин не верил этим данным и в результате СССР проводил политику умиротворения агрессора, что привело к внезапному нападению. По мнению ряда авторов, Сталин был одержим идеей не дать Германии никакого повода для нападения. Г. Л. Розанов и В. К. Волков отмечают, что Сталин рассчитывал на то, что Германия нападет на СССР лишь после разгрома Англии и не учел ставку Гитлера на молниеносный разгром СССР, что могло, по мнению германского руководства, подтолкнуть Англию к миру.

В условиях дезинформации со стороны Германии, отмечает О. В. Вишлев, Сталин надеялся избежать войны и пытался втянуть Германию в переговоры. Заявление ТАСС от 13 июня 1941 г. расценивается многими авторами как приглашение на переговоры, а В. К. Волков отмечает неоднозначность этого демарша Москвы. По мнению В. Суворова, это заявление было одним из звеньев дезинформации Берлина советским руководством, призванным замаскировать сосредоточение Красной Армии у границ Германии. Подобная версия не исключена, тем более, что ныне стало известно о проведении СССР широкой кампании по дезинформации своего будущего противника. О. В. Вишлев полагает, что советское руководство пыталось проводить политику дружбы с Германией и одновременно пыталось припугнуть Берлин силой Красной Армии, перебрасывая войска к границе. А. С. Орлов, наоборот, считает, что Красная Армия была слаба, а подтягивание войск к границе — вынужденная мера. При этом остается непроясненным вопрос, почему эти переброски были столь замаскированы, что не позволяет согласиться с приведенными версиями.

Новый аспект советско-германских отношений поднял В. А. Невежин в статье, посвященной культурным связям двух стран в 1939–41 гг. (12) Еще одной проблемой советско-германских отношений, затронутой в историографии, являются торгово-экономические связи. Этот вопрос долгое время не исследовался и лишь теперь в работах Г. М. Иваницкого и А. А. Шевякова дано его общее изложение. Авторы отмечают упорство сторон в отстаивании своих интересов, справедливо считая эти соглашения не уступками, а компромиссом. СССР получал из Германии промышленное оборудование и военную технику в обмен на сырье. Итоги экономических отношений с Германией оцениваются авторами по-разному. Как полагает Г. М. Иваницкий, Германия получила товарный кредит в 220 млн. марок. А. А. Шевяков же указывает, что хотя Германия и получила товарный кредит в размере 234,8 млн. марок, но из этой суммы следует вычесть советский долг по кредиту 1935 г., а следовательно, советские убытки составили лишь 84,2 млн. марок. Кроме того, отмечает автор, СССР получил новейшую технику, в которой ему отказали в Англии и США.

Оба автора указывают на ускорение советских поставок в апреле — мае 1941 г. Г. М. Иваницкий считает, что это было ошибкой Сталина верящего Гитлеру. А. А. Шевяков же оценивает эти поставки как плату Сталина за отсрочку войны. В. М. Бережков, затронувший эту тему, считает, что эти поставки должны были демонстрировать Германии выгоду от дружбы с СССР, но все это уже не могло повлиять на ее планы. О. В. Вишлев так же указал на невыполнение советской стороной своих поставок в январе — феврале и их перевыполнение в марте — апреле 1941 г., в результате чего у германской стороны возникли даже серьезные проблемы с транспортировкой грузов, не предложив, правда, никакого объяснения. Любопытное объяснение этой неритмичности советских поставок предложил В. Суворов, считающий, что, усиливая в апреле — июне 1941 г. поставки, советское руководство надеялось, что советские эшелоны забьют все железные дороги Германии на Востоке, что затруднит сосредоточение вермахта у границ СССР (13). Так или иначе, но вопросы советско-германских экономических отношений еще требуют пристального внимания.

СССР и его западные соседи

Отношения СССР с его западными соседями в первый период второй мировой войны традиционно рассматривались с точки зрения подготовки нашей страны к будущей войне, организации отпора германской агрессии и укрепления безопасности. С этих позиций традиционно излагалась ситуация, сложившаяся в связи с германо-польской войной и поражением Польши.

Ныне действия Польши накануне войны оцениваются в отечественной историографии противоречиво (14). Так М. И. Семиряга отмечает, что Польша

отказалась от совместных с Германией антисоветских действий, что усилило германо-польские противоречия. А. В. Антосяк же, напротив, полагает, что Польша хотела договориться с Германией и поэтому отказывалась от соглашения с СССР. При этом остается совершенно непонятным, почему же стремление к договоренности с Германией привело к германо-польской войне, в возникновении которой, по мнению автора, виноваты Англия и Франция, вынудившие СССР заключить с Германией пакт, а следовательно, лишившие Польшу возможного союзника. В. С. Парсаданова, А. В. Антосяк и Н. П. Шуранов уверяют, что советское руководство предложило Польше помощь поставками военных материалов, которая не могла быть реализована в силу скоротечности войны. Однако, М. И. Семиряга, опираясь на дипломатические документы, показал, что СССР по сути отказал Польше в таких поставках, сославшись на угрозу втягивания в войну.

Ряд авторов полагает, что быстрый разгром Польши был совершенно неожидан для советского руководства и потребовал ввода Красной Армии на ее территорию, поскольку обстановка резко обострилась и возросла угроза советским границам. Высказывается мнение о том, что советские войска готовились к конфронтации с Германией и поэтому имели равноценные действующим в Польше войскам вермахта силы. При подобном подходе совершенно непонятными остаются настойчивые просьбы Берлина о вступлении Красной Армии в Польшу. Кроме того, по мнению С. Н. Осипова, советские военные приготовления начались 8 сентября, по мнению А. С. Орлова — 4 сентября, а по мнению В. С. Парсадановой — в последних числах августа 1939 г., что так же не соответствует вышеприведенной версии.

В литературе высказано и противоположное мнение, сводящееся к тому, что вступление Красной Армии в Польшу было предопределено секретной договоренностью с Германией и сталинской политикой территориальных захватов, а затяжка с реализацией этих планов была связана с необходимостью психологической подготовки населения, опасениями столкновения с Англией и Францией, необходимостью успокоить мировое общественное мнение и ожиданием падения Варшавы. Соответственно, действия советских войск рассматриваются как агрессия против Польши и вступление СССР во вторую мировую войну.

Практически все авторы осуждают тогдашние утверждения советского руководства о распаде Польши и прекращении ее существования, но при этом некоторые из них оперируют именно этой аргументацией. Так поступает Г. Л. Розанов, а А. С. Орлов пишет, что СССР ввел войска в тот момент, когда польское правительство утратило управление страной, а эмигрантское правительство еще не было создано, поэтому, полагает автор, международное право было соблюдено. Из этих рассуждений не ясно, как лондонское эмигрантское правительство управляло страной и почему в момент смены правительства международное право не действует?

До сих пор практически не исследованным в отечественной историографии остается ход военных действий Красной Армии в Польше. Некоторые авторы стараются показать антигерманскую подоплеку действий советских войск, что достигается лишь при помощи значительных натяжек и подтасовок. Ряд авторов склонен оправдывать эту акцию советского руководства тем, что были возвращены западные районы Украины и Белоруссии, отодвинуты границы и возросла обороноспособность СССР. С. В. Волков, Ю. В. Емельянов, М. И. Семиряга и С. З. Случ указывают, что именно советская сторона была инициатором раздела Польши.

Касаясь вопроса о политике СССР на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, А. В. Антосяк старается подбирать материал, иллюстрирующий утверждения об улучшении условий жизни, хотя и упоминает вскользь факт репрессий против местного населения. В. С. Парсаданова и М. И. Семиряга, исследовавшие этот вопрос более углубленно, склонны видеть в этих действиях советского руководства факт "экспорта революции". В их работах показано, что на этих территориях проводилась политика, раскалывающая общество по социально-классовому признаку и, хотя большая часть трудящихся поддерживала перемены, сразу после прихода Красной Армии начались репрессии, охватившие не только всех политически неблагонадежных, но и до 10% польского населения. Лишь с лета 1940 г. политика советских властей в отношении поляков стала более взвешенной.

Еще одним вопросом советско-польских отношений в тот период является "катынское дело". До весны 1990 г. в СССР этот вопрос считался решенным и всячески замалчивался, но после официального заявления о причастности к нему органов НКВД появился ряд работ, подтверждающих, что решение было принято в Москве, и раскрывающих механизм его осуществления. В начале 1993 г. были опубликованы документы Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., согласно которым и было расстреляно 21.857 польских граждан, в том числе и офицеры. Вместе с тем, в литературе все еще остается без ответа вопрос о целях этих репрессий (15).

Советско-польские отношения всегда относились в отечественной историографии к трудным вопросам. Их рассмотрение затруднялось далеко не безупречным поведением советского руководства в 1939—41 гг. как в отношении Польши, так и поляков, проживавших на присоединенных к СССР территориях. Для оправдания этих действий советской стороны в отечественной историографии была закреплена определенная система исторических мифов, которая не выдержала соприкосновения с исторической действительностью. Появившиеся в последние года работы показали, что исследование ситуации вокруг Польши потребует много усилий, поскольку пока были сделаны лишь первые шаги в этом направлении.

В последние годы значительное внимание было уделено событиям, связанным с присоединением к СССР республик Прибалтики, чему способствовал ряд документальных публикаций (16). Сторонники официальной версии продолжали утверждать, что с началом второй мировой войны в этих странах обострилась классовая борьба, возросла угроза их захвата Германией, а следовательно, им не оставалось другого выхода кроме договоров о взаимопомощи с СССР. Как правило отвергается всякая связь этих договоров с советско-германской договоренностью о разделах сфер интересов в Восточной Европе.

Но есть и более критические оценки. А. Г. Донгаров, Г. Н. Пескова и М. И. Семиряга отмечают, что советско-германские договоренности предопределили судьбу Прибалтики и положили конец ее независимости. М. И. Семиряга

указывает на заинтересованность СССР в этих территориях в силу их стратегического положения. В литературе высказывается мнение о том, что переговоры велись с позиции силы, под угрозой военного вторжения и поэтому были обречены на "успех". Рассматривая вопрос о выполнении договоров, большинство авторов отмечает, что, несмотря на определенные трения, стороны в целом лояльно выполняли договоры.

Введение летом 1940 г. в Прибалтику дополнительных контингентов советских войск и присоединение этих стран к СССР объясняется рядом авторов антисоветской политикой этих государств. Но в литературе высказана и иная позиция, рассматривающая эти действия советского руководства как вмешательство во внутренние дела прибалтийских стран. Освещая дальнейшие события, ряд авторов утверждает, что в Эстонии, Латвии и Литве произошли народные революции, порожденные внутренними процессами, а демократические выборы дали власть сторонникам объединения с СССР, что и было сделано, но вместо социализма эти страны получили сталинизм.

Более критически эти события освещают М. И. Семиряга, Д. В. Блейере и И. Р. Шнайдере, А. Г. Донгаров и Н. Г. Пескова, которые связывают внутриполитические изменения в Прибалтике с вводом дополнительных сил Красной Армии и отмечают, что все делалось по указке ставленников Москвы, выборы проходили с нарушением внутреннего законодательства и без альтернативных кандидатов, в предвыборной платформе не было сказано о присоединении к СССР. М. И. Семиряга считает, что не ясно можно ли определить эти события термином "оккупация", поскольку не существует ее четкого определения, но аннексия этих стран Советским Союзом – налицо.

Говоря о последствиях этой акции СССР большинство авторов считает ее антигерманской. А. С. Орлов отмечает, что страны Прибалтики сохранили благодаря СССР свою государственность и самобытность, но считает при этом, что включение этих стран в состав Советского Союза было политическим просчетом советского руководства, ибо осложнило отношения с Англией и США, не устранив угрозу со стороны Германии (17).

Рассмотрение вопросов, связанных с судьбой республик Прибалтики в 1939–40 гг., оказалось в центре внимания отечественной историографии в ситуации нарастания стремления этих стран обрести независимость от Советского Союза. Издание ряда сборников документов и введение в научный оборот в работах различных исследователей значительного количества исторического материала поставило исследование этих проблем на твердую почву фактов. Сегодня совершенно ясно, что тот исторический миф, который был закреплен в официальной версии, не соответствует реальным событиям. Даже сторонники этой версии не в состоянии привести сколько-нибудь серьезных аргументов в ее поддержку и стали акцентировать внимание на различных оправдательных моментах действий тогдашнего советского руководства. Из всех вопросов взаимоотношений СССР с его западными соседями, проблемы советско-прибалтийских отношений получили, пожалуй, наиболее радикальную переоценку в отечественной историографии.

Появление новых архивных материалов способствовало исследованию проблем советско-финляндской войны 1939–40 гг. Долгие годы в отечественной историографии господствовала официальная версия этих событий, согласно которой Финляндия представляла собой скрытую угрозу СССР, поскольку могла стать плацдармом для всяких антисоветских акций третьих держав. Для устранения этой угрозы было необходимо заключение советско-финляндского договора о взаимопомощи, но Финляндия не пошла на подобный договор, а при поддержке Запада стала организовывать провокации на границе. Раздувая напряженность на северо-западе СССР, Запад стремился организовать антисоветский поход и на этой основе закончить войну с Германией. В таких условиях Советский Союз был вынужден дать отпор финским поджигателям войны и отодвинуть границу от Ленинграда, что в конечном итоге и произошло.

Некоторые авторы продолжают постулировать наличие угрозы Ленинграду, указывая на враждебную СССР позицию Финляндии в межвоенный период. Сложность советско-финляндских отношений отмечают М. И. Семиряга и А. Г. Донгаров, а Г. А. Куманев справедливо указывает, что это не оправдывает войну. Советско-финляндские переговоры осени 1939 г. рассматриваются как стремление СССР мирным путем решить вопрос об изменении границы, при этом некоторые авторы указывают на военно-политическое давление с советской стороны на не идущую на уступки Финляндию. Ряд авторов отмечает, что советско-германский пакт развязал советскому руководству руки в отношении Финляндии. Хотя Советский Союз с июня 1939 г. готовит план войны с Финляндией, в литературе утверждается, что Москва была вынуждена готовиться к войне наспех после срыва переговоров, что опровергается советскими документами, приводимыми М. И. Семирягой.

В литературе отмечается неуступчивость Финляндии на переговорах, но обходится молчанием лишь один вопрос, почему именно Финляндия должна была пойти на уступки и выполнить все требования СССР? Цели советского руководства в этой ситуации оцениваются в исследованиях по-разному. Ряд авторов считает, что советское руководство хотело оккупировать Финляндию и навязать ей просоветское правительство, что привело бы к потери ею независимости и присоединению к СССР. Но существует и другое мнение, которое более или менее твердо отрицает вышеприведенную версию.

Бурную дискуссию вызвал вопрос об инциденте в Майниле (обстрел советской погранзаставы), который все еще рассматривается некоторыми авторами как финская провокация. Ряд авторов старается не определять своей позиции, а многие считают, что это был повод к войне, созданный советской стороной. В литературе дано общее описание хода боевых действий, хотя этот вопрос все же нельзя признать окончательно решенным, поскольку многие конкретные вопросы все еще не отражены в историографии. В литературе сохраняется разноголосица относительно виновников войны. Некоторые авторы считают, что виноваты обе стороны, хотя и отмечают советскую инициативу в развязывании войны. Ряд авторов, не говоря об этом прямо, подводят читателя к мысли, что виноваты финны. А. Г. Донгаров полагает, что в развязывании этой войны виноваты те, кто развязал вторую мировую войну и те, кто их поощрял (т.е., видимо, Германия, Англия и Франция), но и Финляндия, и СССР несут свою долю ответственности. Ю. А. Горьков считает, что война с Финляндией – это ответ СССР на агрессивные действия Германии.

В историографии достаточно подробно освещены вопросы международного резонанса этих событий. Относительно итогов войны высказывается мнение, что, хотя граница и была передвинута, престиж СССР как военной державы упал, было ускорено нападение Германии, а Финляндия стала ее союзником.

В последние годы широко дебатировался вопрос о потерях сторон. Финские официальные данные были опубликованы практически сразу же после окончания войны, но советское военное ведомство до сих пор ставит их под сомнение, хотя и не может этого доказать. В работах А. М. Носкова, М. И. Семиряги, Г. А. Куманева и П. А. Аптекаря приводятся разные цифры советских потерь, что связано, видимо, с использованием различных архивных документов. Наиболее подробно этот вопрос рассматривается в статистическом исследовании "Гриф секретности снят", итоговые данные которого, скорее всего, следует считать окончательными (18).

Советско-финляндская война все предыдущие десятилетия относилась к слабо изученным в отечественной историографии вопросам. В последние годы в их исследовании наметился определенный прорыв, были поставлены или рассмотрены такие вопросы, которые ранее считались либо уже решенными, либо не существующими. С опорой на введенные в научный оборот документы были пересмотрены вопросы причин войны и целей в ней советского руководства, значительно более подробно рассмотрен ход переговоров в октябре — ноябре 1939 г., повода к войне, получили освещение некоторые вопросы хода боевых действий, в основном решен вопрос о советских потерях в войне. Конечно, эти проблемы еще содержат значительное количество нерешенных вопросов, относящихся к довоенному периоду, к ходу войны и, особенно, к послевоенному периоду с марта 1940 до июня 1941 г. Остается надеется, что они получат свое рассмотрение в ходе дальнейших исследований.

В исследуемый период определенное освещение получили проблемы взаимодействия СССР со странами Восточной и Юго-Восточной Европы, в частности, вопрос присоединения к СССР Бессарабии и Северной Буковины. Благодаря работам Б. Й. Желицки, М. Д. Ерещенко, М. И. Семиряги, Т. А. Покивайловой эти события получили более подробное освещение. Была показана их связь с общей обстановкой на Балканах и политикой Германии, Италии и СССР в этом регионе. В литературе высказано мнение о том, что передача Бессарабии СССР и Венский арбитраж ускорили сближение Румынии с Германией и вступление ее в Тройственный пакт и в войну с Советским Союзом на стороне Германии. С. В. Волков, Ю. В. Емельянов и Т. Ю. Григорьянц считают, что Бессарабский вопрос вызвал повышенное внимание германского руководства к Румынии, усилил его недовольство выдвижением Красной Армии на границу сфер интересов и, следовательно, подтолкнул дело к войне. Оценивая эти события с точки зрения международного права, М. И. Семиряга полагает, что в отношении Бессарабии действия СССР были вполне оправданы, а в отношении Северной Буковины — нет, вместе с тем автор осуждает методы, которые были использованы советской стороной для решения этого вопроса (19).

В последние годы более пристальное внимание привлек советско-югославский договор о дружбе и ненападении, рассматривавшийся ранее в мажорных тонах борьбы советской дипломатии с фашистской агрессией. В работах А. Л. Нарочницкого, В. К. Волкова и О. Н. Решетниковой дано углубленное исследование советско-югославских отношений в 1940—41 гг. Германское давление привело к вступлению Югославии в Тройственный пакт и государственному перевороту в Белграде в марте 1941 г. В новой обстановке Германия решила разгромить Югославию, что вынудило последнюю искать союзников.

Все авторы сходятся на том, что инициатива договора принадлежала югославской стороне, которая была согласна даже на некоторые социальные преобразования в случае, если СССР заключит с ней пакт о взаимопомощи и пошлет в Югославию войска. Югославия предложила СССР договор о союзе, но советская сторона высказалась за расплывчатый документ, не имеющий никаких реальных последствий. Правда, советской стороне пришлось отказаться от своей первоначальной позиции и в договор было внесено общее обязательство о дружественных политических отношениях. Эта позиция считалась в НКИД СССР демонстрацией, и уже 6 апреля 1941 г. после нападения Германии на Югославию в Москве о договоре забыли. Все авторы отмечают резкую активизацию линии СССР на умиротворение Германии после ее вторжения в Югославию, что привело к разрыву дипломатических отношений с Югославией 8 мая 1941 г. по советской инициативе, вместе с тем война в Югославии оттянула срок нападения Германии на Советский Союз (20).

Красная Армия накануне войны

Другим крупным блоком проблем, исследуемых в отечественной историографии кануна Великой Отечественной войны, являются вопросы непосредственной военной подготовки СССР (21). Любое военно-историческое исследование предыстории войны так или иначе затрагивает вопросы о военной доктрине Советского Союза и его военных планах. Правда, до сих пор вопросы военного планирования остаются недостаточно изученными в отечественной историографии, а исследования советской военной доктрины ограничиваются, как правило, пересказом сложившейся официальной версии.

Единая советская военная доктрина была создана в 1921—41 гг. и ее принципы были закреплены в воинских уставах и наставлениях вооруженных сил. Согласно этим взглядам будущая война СССР с коалицией капиталистических государств примет ожесточенный классовый характер, будет преследовать решительные цели и потребует длительного напряжения всех сил общества. Решающим видом боевых действий считалось наступление, что отводило основную роль сухопутным войскам. Оборона считалась временным видом боевых действий, но не была отработана ни в теории, ни на практике. Из содержания военной доктрины вытекала вся направленность подготовки Красной Армии, правильность которой подтвердила война (22).

Однако, в историографии господствует несколько иная трактовка этих вопросов. Как правило, указывается, что основной идеей советской военной доктрины являлась оборона и быстрый переход в контрнаступление для разгрома агрессора. Для подкрепления этого тезиса обильно цитируются широко известные фразы тогдашнего советского руководства о "двойном и тройном ответном

ударе". Правда, ознакомление с предвоенными военно-научными разработками этих вопросов, которые в основном свободны от различных пропагандистских штампов, не подтверждает это мнение. В трудах советских военных теоретиков доминирует идея внезапного упреждающего удара по противнику, исключающая пассивное ожидание его действий. Как отмечается в литературе к началу войны эти идеи полностью разделялись руководством Наркомата обороны и Генштаба Красной Армии.

Вопреки этому, в отечественной историографии преобладает мнение о сугубо оборонительной военной доктрине Красной Армии, которая чуть ли не сознательно уступала инициативу действий противнику. В последние годы исследователи стали рассматривать эти вопросы под несколько иным углом, отмечая, что оборонительный характер военной доктрины не препятствовал подготовке наступательных действий войск, которая, судя по данным, приводимым А. Г. Хорьковым, явно преобладала. При этом в стороне остается вопрос, почему эту явно наступательную военную доктрину в литературе столь упорно именуют "оборонительной"? Вместе с тем, нельзя не отметить, что подобные утверждения в значительной большей степени соответствуют содержанию военно-теоретических трудов, а главное тогдашних воинских уставов и наставлений.

В литературе имеются и другие оценки советской военной доктрины. По мнению ряда авторов, ей был присущ наступательный характер, что было ошибкой. Как ошибку оценивает Д. А. Волкогонов упор на подготовку наступательных действий. Менее ясную позицию занимает Д. М. Проэктор, который считает, что имевшаяся в 1941 г. концепция войны представляла собой смесь взглядов периода первой и второй мировых войн, которые не были хорошо усвоены. Вместе с тем, автор признает, что Красная Армия готовилась наступать. По мнению В. Суворова и Й. Хоффмана, суть советской военной доктрины заключалась во внезапном нападении на противника под прикрытием оборонительных лозунгов (23).

Относительно наличия у Красной Армии военных планов накануне войны, в литературе признано, что планы все-таки были, но окончательной ясности в вопрос о характере этих планов, как ни странно, до сих пор не внесено, а сами эти документы остаются большей частью засекреченными и не исследованными. Имеются лишь неполные публикации некоторых вариантов общих военных планов и лишь последний вариант опубликован полностью, но без приложений, которые все еще секретны. Публикации планов военных округов практически отсутствуют (24).

Содержание советских военных планов традиционно излагалось в отечественной литературе по устоявшейся схеме: планы разрабатывались в ответ на рост германской угрозы и предусматривали отражение вражеского нападения, нанесение ответных контрударов и общий переход в наступление для разгрома противника. Однако, ставшие доступными материалы существенно корректируют подобные подходы. Ныне стало известно, что советское военное планирование боевых действий против Германии началось с октября 1939 г. и продолжалось до середины мая 1941 г. В литературе показано, что основным содержанием советского военного планирования было внезапное наступление на Германию в подходящий момент. Однако, в военно-исторической литературе популярна версия о том, что этот план был отвергнут советским военно-политическим руководством, хотя материалы отражающие мнение И. В. Сталина по этому вопросу отсутствуют. Эта версия полностью запутывает исследование этих вопросов и не соответствует имеющимся материалам.

Разработка в Москве военных планов привела к появлению двух известных вариантов действий Красной Армии ("северного" и "южного"). Для отработки обоих вариантов 2—6 и 8—11 января 1941 г. в Генштабе проводились две стратегические игры. В первой игре разыгрывались наступательные действия Красной Армии на Северо-Западном направлении (Восточная Пруссия), а во второй — на Юго-Западном (Южная Польша, Венгрия и Румыния). Операции начального периода войны на играх вообще не проигрывались, в заданиях сторон просто отмечалось, что "синие" напали, но их отбросили к границе, а на Юго-Западном направлении даже к линии Вислы и Дунайца на территории Польши и с этих рубежей уже шла игра. На территории Восточной Пруссии наступление "красных" захлебнулось, а на Юго-Западе они добились значительных успехов, что и привело к отказу от "северного" варианта действий Красной Армии. Тем самым главным направлением советского наступления была определена Южная Польша, что и было закреплено в последних вариантах советского военного плана.

Появившиеся материалы и новые исследования поставили вопрос о пересмотре взглядов на предназначение войск первого стратегического эшелона Красной Армии. Наиболее резкую позицию занял в этом вопросе В. Суворов, который, опираясь на труды А. И. Егорова и М. Н. Тухачевского, утверждает, что войска армий прикрытия должны были с началом войны начать наступление на территорию противника для срыва его и прикрытия своей мобилизации. В ряде работ было показано, что идеи этих авторов не только не были забыты, но, наоборот, были к 1941 г. претворены в жизнь. Этот вывод подтверждается работами, в которых приводятся сведения о направленности боевой подготовки и военного планирования в приграничных округах.

Содержание планов прикрытия госграницы позволяет сделать вывод о том, что во-первых, они были строго секретны и о них знал очень ограниченный круг лиц, а во-вторых, содержание планов, доведенное до сведения исполнителей, сводилось к тому, что войска получили задачу по условному сигналу занять известные им районы сосредоточения на границе, и ждать там дальнейших распоряжений, развернув боевые порядки. Как известно, никакого оборонительного строительства, кроме сооружения УРов и оборудования дивизионных оборонительных полос на границе, в глубине округов не велось, хотя советское командование хорошо представляло себе возможные направления ударов противника. Группировка войск приграничных округов была более приспособлена к наступлению, чем к обороне. Ныне утверждения отечественной историографии о чисто оборонительных намерениях армий прикрытия как минимум поставлены под сомнение (25).

В отечественной историографии широко распространено утверждение о неправильном определении советской стороной срока возможного германского наступления. Однако, если в Москве не верили в саму возможность германского нападения, то почему должны были правильно определить его сроки? Ныне,

исходя из данных о советском военном планировании, в историографии поднят вопрос о возможной дате советского наступления. В. Суворов называет "точную" дату — 6 июля 1941 г., фактически ничем не обоснованную. В. Н. Киселев и В. Д. Данилов считают, что наступление Красной Армии было возможно в июле 1941 г. Имеющиеся данные о стратегическом сосредоточении, мобилизационном развертывании и мерах инженерного оборудования театра военных действий позволяют, по нашему мнению, утверждать, что никакие наступательные действия советских войск были невозможны ранее 15 июля 1941 г. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения на более широком круге источников. Ныне появились первые работы, анализирующие идеологические документы пропагандистского аппарата ВКП(б), отражающие подготовку наступательной войны с Германией. Сторонники официальной версии решительно возражают против постановки этого вопроса вообще, считая, что никакой подготовки к нападению на Германию не велось, поскольку оно не предполагалось, но не могут доказать это мнение (26).

Общим местом в историографии стала версия об ослаблении офицерского корпуса репрессиями, однако когда речь заходит о конкретных примерах этих негативных последствий мнения расходятся. В литературе отмечается снижение качества офицерского корпуса в результате устранения опытных офицеров; частых перемещений по службе; создания дефицита военных кадров и снижения образовательного уровня комсостава, особенно высшего. Правда, Ю. А. Горьков отмечает, что частые перемещения по службе и дефицит офицеров были порождены не столько репрессиями, сколько форсированным развертыванием новых частей и соединений Красной Армии, причем этот процесс нарастал, как минимум, с 1935 г. А. Филиппов оспаривает версию об устранении наиболее опытных офицеров, отмечая, что они в лучшем случае имели опыт гражданской войны, а служба в территориально-кадровой Красной Армии 20-х — начала 30-х годов вряд ли способствовала получению опыта современной войны.

Версия о снижении образовательного уровня комсостава и отказе от достижений советской военной науки 20—30-х гг., довольно популярная в историографии, так и не была доказана. Наибольшие разногласия вызвал вопрос о масштабе репрессий. В литературе высказаны мнения о гибели всего или половины офицерского корпуса. Наиболее часто приводятся цифры в диапазоне от 50 до 40 тыс. офицеров. Более пристальное внимание к этому вопросу показало, что офицеры увольнялись из армии по разным причинам, следовательно, не каждый уволенный должен рассматриваться как жертва репрессий. Кроме того, появились данные, свидетельствующие о том, что одновременно с увольнением офицеров из армии шел процесс восстановления в кадрах РККА несправедливо уволенных. Всего только в сухопутные войска из лиц, уволенных в 1937—39 гг. к 1 мая 1940 г. было возвращено 12.461 офицер, а к 1 января 1941 г. их число превысило 13 тыс. и этот процесс продолжался до начала войны. Существует мнение, что у Сталина была собственная концепция строительства Красной Армии и репрессии способствовали складыванию в армии корпуса исполнителей сталинской воли (27).

Тематика исследований проблемы репрессий в Красной Армии, к сожалению, почти не вышла за рамки, сложившиеся в 50—60-е годы, что определялось имеющейся источниковой базой. Примерно на уровне того десятилетия остаются и общие выводы исследователей. Не только не решены, но даже не поставлены вопросы о целях "чисток" офицерского корпуса, о межведомственных трениях в те годы, о наличии и взаимоотношениях различных группировок в Красной Армии, о месте и роли офицерского корпуса в тоталитарном государстве. Поэтому трудно отказаться от мысли, что эти годы оказались не очень плодотворными в разработке данной тематики.

В последние годы значительное внимание было привлечено к вопросам деятельности советской разведки накануне войны. Отечественная историография ограничивается лишь общими фразами об успешной работе разведки, а не использование добытых ею данных объясняет тем, что Сталин верил в договор с Германией, верил Гитлеру, не понимал угрозы, нависшей над страной и не верил этим данным, думая, что это дезинформация. Имеется версия, что разведка не смогла убедить Сталина в скором нападении Германии. Вместе с тем, в литературе высказано мнение, что вскрытие наступательных намерений Германии не являлось приоритетным видом деятельности разведки. Ныне имеются многочисленные данные о сведениях советской разведки, которые полностью раскрывали намерения Германии.

В историографии присутствует осуждение Сталина, пренебрегшего этими данными, однако только В. М. Кулиш поставил вопрос, почему же Сталин ошибался, если ему все это было известно. В. Суворов считает, что советская разведка при оценке поступающей информации ориентировалась на ряд индикаторов, которые, по ее мнению, неопровержимо свидетельствовали бы о подготовке Германии к войне с СССР. Такими индикаторами, по его мнению, были: 1. наличие зимней экипировки войск и 2. замена горюче-смазочных материалов, применяемых в вермахте, на более морозоустойчивые. Поскольку никаких изменений в этих вопросах не происходило, советская разведка и Сталин считали, что вся эта возня у наших границ является политическим блефом Гитлера. Именно поэтому германское нападение явилось полностью внезапным для советского руководства. Конечно, эта версия требует дальнейшего изучения с привлечением архивных материалов разведывательных органов, а до тех пор она остается хотя и правдоподобной, но всего лишь гипотезой (28).

В последние годы в литературе широко дебатировался вопрос о том, было ли германское нападение внезапным. Сторонники отрицательного ответа на этот вопрос исходят из того, что советское руководство было хорошо осведомлено о намерениях Германии, хотя и не объясняют, почему в таком случае войска не были должным образом ориентированы. Ныне страсти вокруг вопроса о внезапности германского нападения несколько поостыли. Тем более, что противникам ее наличия так и не удалось доказать свою точку зрения, поскольку ясно, что, если даже в распоряжении руководства и имелись важные разведданные, но им не верили, то об отсутствии внезапности нападения говорить затруднительно (29).

Вопросы истории советской разведки накануне войны относятся к наименее изученным в отечественной историографии, что связано, прежде всего, со спецификой этих органов. Дискуссии о трагедии 1941 г. вызвали к жизни ряд исследований по этой тематике, однако, нельзя не отметить, что они в целом не вышли за рамки нескольких узких тем и общих выводов, сделанных в преды-

дущие десятилетия. Не произошло и существенного расширения источниковой базы, которая расширялась в основном за счет ограниченных публикаций агентурных данных. Однако практически за рамками исследований остались вопросы структуры советской разведки, схемы ее деятельности, взаимоотношения различных разведорганов, принципы обработки информации, ее влияния на деятельность советского руководства. До сих пор не создано полной картины того, насколько наличные разведданные соответствовали действительности, а главное нет ответа на вопрос, почему нападение вермахта оказалось внезапным. Дискуссию же о том, было ли это нападение внезапным можно считать своеобразным курьезом исследуемой литературы.

Вопросы развития и состояния Красной Армии в предвоенные годы всегда занимали прочное место в исследованиях предыстории Великой Отечественной войны и изучаются в русле нескольких локальных тем. По вопросу о боевой подготовке войск общее мнение состоит в том, что войска учились напряженно, но лишь с лета 1940 г. эта подготовка была поднята на новый качественный уровень в связи с назначением нового наркома обороны. В литературе преобладают общие слова о недостаточной выучке войск. Лишь немногие авторы рассматривают вопросы боевой подготовки на конкретных исторических материалах, которые подтверждают общий вывод о резком усилении боевой подготовки с лета 1940 г., показывают ее содержание по родам войск в приграничных округах. Боевая подготовка носила преимущественно наступательный характер, причем подобные же действия отрабатывали штабы войск и родов вооруженных сил. Анализируя материалы боевой подготовки войск западных приграничных округов, А. Г. Хорьков приходит к выводу, что, хотя индивидуальная подготовка бойца была не высока, в целом войска были неплохо подготовлены к ведению наступательных действий. Вместе с тем, автор указывает на слабую отработку взаимодействия родов войск на поле боя.

Из этого, как правило, делается вывод о том, что боеготовность Красной Армии находилась "не на должном уровне". Это мнение, хотя и не всегда высказываемое прямо, распространено довольно широко. Вместе с тем, нельзя не отметить, что в литературе отсутствуют специальные исследования, посвященные всестороннему анализу этого вопроса. Представляется вероятным, что дальнейшее изучение проблемы военно-технического состояния войск Красной Армии будет более продуктивным, если сосредоточится на дальнейшем рассмотрении вопросов качественно-количественного состояния военной техники и другого военного имущества, а так же на попытке научного решения вопроса о реальной боеспособности армии накануне войны, что требует формулирования четких критериев.

Вопросы состояния инженерной подготовки театра военных действий (ТВД) накануне войны в отечественной литературе изучены слабо. Наиболее известным эпизодом является описание строительства укрепленных районов (УРов) на новой границе, которое не было завершено, поскольку оно было длительным и дорогостоящим процессом и по мнению некоторых авторов, было просчетом, так как их сооружение по линии границы не позволяло создать полосу обеспечения и велось фактически на виду у противника. Подобное размещение УРов было утверждено Москвой, хотя в случае внезапного нападения противника войска не успевали их занять даже, если бы они и были построены. В литературе указывается, что эти сооружения предназначались и для обороны и для наступления, а УРы, расположенные на старой границе, вопреки распространенной версии об их уничтожении, были лишь разоружены и законсервированы. Все без исключения авторы признают отсутствие какого-либо оборонительного строительства в глубине территории приграничных округов. Освещая вопросы аэродромного строительства в приграничных округах, которое велось чрезмерно близко к границе, и отмечая неподготовленность мостов на пограничных реках к взрыву, отечественная историография не предлагает никакого серьезного объяснения цели подобного инженерного оборудования ТВД.

Рассмотрение вопроса о состоянии Красной Армии перед войной не может обойтись без рассмотрения вопроса о формировании новых войск. К сожалению, до сих пор эти вопросы изучены в историографии крайне слабо. В последние годы появились некоторые материалы, расширяющие наши представления об этих вопросах, что позволяет более наглядно осветить напряженную работу по развертыванию Красной Армии в преддверии войны. Но до сих пор не существует полной и ясной картины развертывания новых формирований в 1939—первой половине 1941 г., что вряд ли можно оправдать ссылками на секретность этих данных спустя более 50 лет.

В последние годы были значительно уточнены вопросы стратегического сосредоточения и развертывания Красной Армии накануне войны. О том, что такие меры предпринимались было известно и ранее, однако теперь стали известны конкретные данные о сроках, местах и составе сосредотачиваемых войск. Сосредоточение началось с февраля, а выдвижение войск из внутренних округов — с апреля 1941 г. Ныне в литературе уточнен состав армий второго эшелона, сроки и места их сосредоточения на Западном ТВД, приводятся материалы, позволяющие уточнить запланированную группировку войск. Судя по ним, 20-ю и 21-ю армии планировалось использовать в первом эшелоне войск Юго-Западного фронта, хотя позднее они действовали на центральном участке советско-германского фронта в районах Смоленск-Гомель. К сожалению, эти вопросы все еще слабо разработаны в литературе.

Приводимые данные о сосредоточении ближе к границе войск приграничных округов, начавшемся 12—16 июня 1941 г., опровергают распространенное мнение о том, что все перегруппировки войск в приграничных округах были запрещены Москвой. В работах рада авторов отмечается, что основные силы Западного и Киевского особых военных округов были развернуты в Белостокском и Львовском выступах, а общая группировка войск западных округов была ближе к наступательной, что не позволило полноценно вести оборонительные боевые действия. Все эти материалы опровергают популярное в военно-исторической литературе утверждение о том, что, несмотря на настойчивые просьбы военного руководства, Сталин отказывался разрешить передислокацию войск и всячески тормозил проведение этих мер.

Вопрос о целях подобного сосредоточения, как ни странно, не получил серьезного решения в отечественной историографии. Имеющаяся версия — усиление войск прикрытия в преддверии германского вторжения наталкивается на утверждения ряда авторов, что Сталин не верил в возможность нападения

Германии до разгрома ею Англии, верил Гитлеру, и тем самым опровергается. По мнению некоторых авторов, эти меры были направлены на осуществление советского плана нападения на Германию, что сразу же устраняет все противоречия, имеющиеся в литературе и делает понятным всю деятельность советского военно-политического руководства.

С конца 80-х годов в центре внимания историографии оказался вопрос о соотношении сил сторон накануне войны. Эта проблема весь послевоенный период излагалась по устоявшейся схеме, сводившейся к следующему. У противника всего было больше, а его техника была лучшего качества, нежели у нас. В доказательство этого нехитрого тезиса приводились цифры, которые ему не противоречили. Ныне благодаря работам ряда авторов были поставлены под сомнение количественное и качественное превосходство вермахта над войсками советских западных округов.

Оценивая в целом рассмотрение этого вопроса, следует отметить, что в начале 90-х годов традиционная точка зрения была окончательно опровергнута. Теперь никто из серьезных авторов не пытается ее поддерживать, однако, наметилась тенденция, пользуясь неясностью вопросов качественного состояния вооружений, под этим предлогом сводить на нет наше количественное превосходство. Тем самым, предпринимаются попытки в новом виде реанимировать старую версию о немецком превосходстве (30). Не исключено, что этот вопрос еще не раз станет предметом оживленных дискуссий.

С 1993 г. военно-политические проблемы кануна Великой Отечественной войны оказались в центре дискуссии, вызванной публикацией в России книг В. Суворова "Ледокол" и "День-М". Эти работы, написанные в жанре исторической публицистики и представляющие из себя некий "слоеный пирог", когда правда мешается с полуправдой и ложью, довольно четко очертили круг наименее разработанных в историографии проблем. За прошедшие годы эта дискуссия распалась на несколько направлений. Одни авторы просто отвергают версию В. Суворова. Другие отвергают ее, ссылаясь на целый ряд ошибок и неточностей автора. Третьи, учитывая спорные и слабые положения этих книг, привлекают для анализа авторской версии новые документальные материалы, которые подтверждают необходимость дальнейшей разработки этих тем. Два последних течения довольно удачно представлены в сборнике статей "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?" В ходе дискуссии, однако, проявилось стремление ряда зарубежных историков, довольно посредственно знакомых с обсуждаемой проблематикой и архивными материалами, выступить в роли менторов. Впрочем, вряд ли такая ситуация продлится долго.

* * *

Анализ современной отечественной историографии предыстории Великой Отечественной войны показывает, что она развивается под влиянием двух основных тенденций. Одна из них сводится к комплексному пересмотру истории событий 1939–1945 гг. на основе привлечения новых источников, расширения тематики исследований и отказа от идеологической предвзятости. На этом пути отечественная историческая наука добилась определенных успехов. Другая тенденция заключается во втискивании новых материалов в прокрустово ложе старой советской официальной версии, когда любые новые взгляды объявляются попытками дискредитации прошлого нашей страны. Тем самым сохраняется высокая степень политизации истории, а дискуссии выходят за рамки исторической науки, приобретая идеологический характер. Особенно четко это размежевание можно проследить на примере дискуссии вокруг пакта Молотова – Риббентропа и нынешней полемики вокруг книг В. Суворова, когда тщательный анализ проблем зачастую подменяется огульным охаиванием или восхвалением высказанных версий.

Конечно, в подобной обстановке затруднено не только рассмотрение и решение этих сложных и неоднозначных проблем кануна войны, но и тормозится сам процесс выработки четких концептуальных подходов и завершения формирования различных направлений в отечественной историографии. Формирование новых концептуальных подходов к изучению истории событий 1939–1945 гг. еще далеко от завершения, еще не определены позиции и системы аргументации сторонников разных подходов, налицо определенное смешение взглядов авторов, придерживающихся противоположных подходов к проблемам предвоенного периода. Подобное положение естественно, поскольку процесс складывания поликонцептуализма отечественной историографии только начался.

Достижения отечественной историографии последних лет остаются все еще слабо обобщенными не по отдельным направлениям, а в целом по периоду. Подобное положение является определенным тормозом в развитии исследований, поскольку не позволяет дать целостную картину событий 1939–41 гг. и способствует сохранению в литературе положений, которые уже были уточнены или пересмотрены. Нынешнее состояние отечественной историографии позволяет сделать вывод о том, что в литературе все еще преобладает описательный подход, несмотря на явно большую перспективность комплексных проблемных исследований. Представляется, что более перспективным было бы исследование проблем кануна войны в рамках более общей темы "Советский Союз и вторая мировая война 1939–1945 гг." Это позволило бы в большей степени скоординировать усилия исследователей и более полно вписать события предыстории Великой Отечественной войны в общую картину мирового конфликта.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Фальсификаторы истории. Историческая справка. М. 1948. С. 36–67; История Великой Отечественной войны Советского Союза. Т. 1. М. 1960. С. 161–178; История второй мировой войны. 1939–1945. Т. 2. М. 1974. С. 271–290.

2. Международная жизнь. 1989. №9. С. 90–123; Вопросы истории. 1989. №11. С. 87–112, 1990. №3. С. 18–39; Год кризиса. Т. 1–2. М. 1990; Документы внешней политики. Т. 22. Кн. 1–2. М. 1992.

3. Сиполс В. Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. М. 1989. С. 222–225; 1939 год. Уроки истории. М. 1990. С. 298–299; Севостьянов Г.Н. Московские переговоры в 1939 г. и позиция США // Новая и новейшая история. 1988. №3. С. 107; Коробочкин М. Л. Документы кабинета министров Великобритании об англо-франко-советских переговорах 1939 г. // Предвоенный кризис 1939 года в документах. М. 1992. С. 72–74.

4. Официальная концепция представлена в следующих работах: Панкрашова М. И. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. // Международная жизнь. 1989. №8. С. 28–39;

Прозектор Д. М. Фашизм: путь агрессии и гибели. М. 1989; Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. М. 1989. Т. 2. Кн. 1; Ржешевский О. А. Москва, Спиридоновка, 17 // Военно-исторический журнал. 1989. №7. С. 72–73; 1939 год. Уроки истории. М. 1990; Севостьянов Г. Н. Европейский кризис и позиция США. 1938–1939. М. 1992; Секистов В. А. Война и политика. М. 1989; Розанов Г.Л. Сталин – Гитлер. 1939–1941. М. 1991; Волков С. В., Емельянов Ю. В. До и после секретных протоколов. М. 1990; Шуранов Н. П. Политика кануна Великой Отечественной войны. Кемерово. 1992; Сиполс В. Я. Указ. соч. С. 247–252; Прибылов В.И. Тринадцать дней в августе 1939 г. // Военно-исторический журнал. 1989. №8. С. 32–44; Самсонов А. М. Вторая мировая война. 1939–1945. М. 1990; Якушевский А. С. Советско-германский договор о ненападении: взгляд через годы // Вопросы истории КПСС. 1988. №8. С. 82–96; Волкогонов Д. А. Драма решений 1939 г. // Новая и новейшая история. 1989. №4. С. 3–26; Альтернативы 1939 г. М. 1989; Медведев Р. А. Дипломатические и военные просчеты Сталина в 1939–41 гг. // Новая и новейшая история. 1989. №4. С. 140–164; Актуальные проблемы новейшей истории. М. 1991; Международная жизнь. 1989. №5. С. 128–141; Военно-исторический журнал. 1990. №6. С. 10–16; Круглый стол: вторая мировая война – истоки и причины // Вопросы истории. 1989. №6. С. 3–32; Чубарьян О. А. В преддверии второй мировой войны // Коммунист. 1988. №14. С. 102–112; Бережков В. М. Ночной протокол // Московская правда. 1989. 24 августа.

5. Критика официальной концепции представлена в кн.: Белоусова В. С. Предвоенный кризис 1939 года в освещении французских дипломатических документов // Предвоенный кризис 1939 года в документах. С. 15–18; Коробочкин М. Л. Указ. соч. С. 88–90; Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии. 1939–1941. М. 1992. С. 7–8; Случ С. З. О некоторых проблемах дипломатической борьбы в канун второй мировой войны // Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М. 1989. С. 98–99; Альтернативы 1939 года. М. 1989. С. 140, 144. Кулиш В. М. У порога войны // Общественные науки. 1989. №4. С. 124–136; История и сталинизм. М. 1991. С. 227–237; Новая и новейшая история. 1992. №1. С. 46–47; Трубайчук А. Ф. Пакт о ненападении: была ли альтернатива второй мировой войне. Киев. 1990; Волков В. К. Некоторые аспекты предвоенного политического кризиса в Европе // Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. С. 9; Гибианский Л. Я. Поворот в советско-германских отношениях в 1939 г. и восточноевропейские проблемы (некоторые аспекты) // Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М. 1989. С. 75–95; Григорьянц Т. Ю. Гитлеровские планы в отношении Польши и советско-германские переговоры летом 1939 г. // Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. С. 62–74; Дашичев В. И. Пакт Гитлера – Сталина: мифы и реальность // Историки отвечают на вопросы. Вып. 2. М. 1990. С. 262–273; Трубайчук А. Ф. Возвращаясь к 1939 году // Международная жизнь. 1991. №1. С. 118–123; Зоря Ю. Н., Лебедева Н. С. 1939 год в нюрнбергских досье // Международная жизнь. 1989. №9. С. 124–137; Смирнова Н. Д. Кризисный год, 1939... // Мировая экономика и международные отношения. 1989. №9. С. 39–52; Новопашин Ю. С. К вопросу о национально-государственных интересах СССР // Политический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго-Восточной Европы. М. 1989. С. 106–116; Мерцалов А. Н., Мерцалова Л. А. Сталинизм и война. М. 1994. С. 201; Сахаров А. Н. Война и советская дипломатия: 1939–1945 гг. // Вопросы истории. 1995. №7. С. 26–45.

6. Горлов С.А. Советско-германский диалог накануне пакта Молотова – Риббентропа // Новая и новейшая история. 1993. №4. С. 13–34.

7. Бушуева Т. С. "...Проклинай – попробуйте поенять" // Новый мир. 1994. №12. С. 230–237.

8. Новая и новейшая история. 1993. №1. С. 83–95; Вопросы истории. 1993. №1. С. 3–22; Севостьянов Г. Н. Указ. соч. С. 333–334.

9. Безыменский Л. А. Великая Отечественная в... 1940 году // Международная жизнь. 1990. №8. С. 105–106; Сиполс В. Я. Тайные документы "странной войны" // Новая и новейшая история. 1993. №2. С. 91–122; №3. С. 119–138; Сиполс В. Я. Миссия Криппса в 1940 г. Беседа со Сталиным // Новая и новейшая история. 1992. №5. С. 23–40; Дипломатический вестник МИД Российской федерации. 1993. №21–22. С. 72–77; Орлов А. С. СССР – Германия: август 1939 г.– июнь 1941 г. М. 1991. С. 49–52; Волкогонов Д. А. Указ. соч. С. 122; Бережков В. М. Просчет Сталина // Международная жизнь. 1989. №8. С. 27; Волков В. К. Советско-германские отношения и советская политика на Балканах накануне гитлеровского нападения на СССР (осень 1940 г.– первая половина 1941 г.) // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в период фашистской агрессии на Балканах и подготовки нападения на СССР (сентябрь 1940 – июнь 1941 г.). М. 1992. С. 14–17; Розанов Г. Л. Указ. соч. С. 198; Городецкий Г. Канун войны: Сталин и дело Гесса // Вопросы истории. 1992. №11–12. С. 161–169.

10. Советско-германские отношения исследуются в следующих работах: Орлов А. С. Указ. соч.; Розанов Г. Л. Указ. соч.; Семиряга М. И. Указ. соч.; Григорьянц Т. Ю. Советско-германские переговоры в сентябре 1939 г. и сталинские планы в отношении Польши // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале второй мировой войны (август 1939 – август 1940 г.). М. 1990. С. 38–52. Ржешевский О. А. Нарастание военной угрозы, 1939–1941 годы // Коммунист. 1991. №7. С. 97–102; Вишлев О. В. Почему медлил И. В. Сталин в 1941 году? // Новая и новейшая история. 1992. №1. С. 86–100; №2. С. 70–96; Волкогонов Д. А. Указ. соч.; Безыменский Л. А. Встречался ли Сталин с Гитлером? // Новое время. 1990. №48. С. 37.

11. Международная жизнь. 1991. №6. С. 117–132, №8. С. 104–119; Новая и новейшая история. 1993. №5. С. 64–99. Григорьянц Т. Ю. Проблема сфер интересов СССР и Германии накануне и во время визита В. М. Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в период фашистской агрессии на Балканах и подготовки фашистской агрессии против СССР (сентябрь 1940 – июнь 1941 г.). М. 1992. С. 32–55. Горлов С. А. Переговоры В. М. Молотова в Берлине в ноябре 1940 г. // Военно-исторический журнал. 1992. №6–7. С. 45–48; Фирсов Ф. И. Советско-германские отношения, политика СССР на Балканах и Коминтерн (новые документы) // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в период фашистской агрессии на Балканах... С. 56–62; Суворов В. Ледокол. М. 1992. С. 193–226; Вишлев О. В. Была ли в СССР оппозиция "германской политике" Сталина накануне 22 июня 1941 г. // Новая и новейшая история. 1994. №4–5. С. 242–253.

12. Невежин В. А. Советская политика и культурные связи с Германией (1939–1941 гг.) // Отечественная история. 1993. №1. С. 18–34.

13. Иваницкий Г. М. Советско-германские торгово-экономические отношения в 1939–1941 гг. // Новая и новейшая история. 1989. №5. С. 28–39; Шевяков А. А. Советско-германские экономические отношения в 1939–1941 годах // Вопросы истории. 1991. №4–5. С. 164–170; Бережков В. М. Указ. соч. С. 25; Новая и новейшая история. 1992. №1. С. 92–93; Вишлев О. В. "...Может быть, вопрос еще уладится мирным путем" // Вторая мировая война: Актуальные проблемы. М. 1995. С. 39–53; Суворов В. День-М. М. 1994. С. 243–244.

14. Семиряга М. И. Указ. соч.; Парсаданова В. С. Трагедия Польши в 1939 г. // Новая и новейшая история. 1989. №5. С. 11–22; Антосяк А. В. Освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии // Военно-исторический журнал. 1989. №9. С. 52; Шуранов Н. П. Указ. соч. С. 68; Волкогонов Д. А. Указ. соч.; Розанов Г. Л. Указ. соч.; Орлов А. С. Указ. соч.; Парсаданова В. С. "Польская" политика СССР в сентябре 1939 – июне 1940 г. // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале второй мировой войны. С. 53–66; Волков С. В., Емельянов Ю. В. Указ. соч.; Осипов С. Н. Осень 1939 года: к вопросу о польских военнопленных // Военно-исторический журнал. 1990. №3. С. 38–42; Случ С. З. Внешнеполитическое обеспечение Польской кампании и Советский Союз // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале второй мировой войны. С. 8–38; Мерцалов А. Н., Мерцалова Л. А. Указ. соч. С. 144; Лебедева Н. С. Катынь: преступление против человечества. М. 1995. С. 9–36; Парсаданова В. С. Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии // Новая и новейшая история. 1989. №2. С. 26–44.

15. Правда. 14 апреля 1990; Парсаданова В. С. К истории катынского дела // Новая и новейшая история. 1990. №3. С. 19–36; Парсаданова В. С. К истории интернированных в СССР солдат и офицеров войска польского // Советское славяноведение. 1990. №5. С. 17–26; Семиряга М. И. Указ. соч. С. 111–140; Зоря Ю. Н., Прокопенко А. С. Нюрнбергский бумеранг // Военно-исторический журнал. 1990. №6. С. 47–58; Лебедева Н. С. О трагедии в Катыни // Международная жизнь. 1990. №5. С. 113–130; Липский А. Е. Эхо трагедии в Катыни // Историки отвечают на вопросы. С. 300–320; Абаринов В. К. Катынский лабиринт. М. 1991; Катынская драма. М. 1991; Лебедева Н. С. Катынь. М. 1994; Вопросы истории. 1993. №1. С. 3–22.

16. Международная жизнь. 1990. №2. С. 140–158; №3. С. 122–140; 1940 год в Эстонии. Таллинн. 1990; От пакта Молотова – Риббентропа до договора о базах. Таллинн. 1990; Полпреды сообщают... М. 1990.

17. Волкогонов Д. А. Указ. соч.; Венков Н. Н. "Допустить размещение войск..." // Военно-исторический журнал. 1990. №4. С. 31–34; Волков С. В., Емельянов Ю. В. Указ. соч.; Орлов А. С. СССР и Прибалтика. 1939–1940 // История СССР. 1990. №4. С. 46–47; Донгаров А. Г., Пескова Г. Н. СССР и страны Прибалтики (август 1939 – август 1940) // Вопросы истории. 1991. №1. С. 33–39; Семиряга М. И. Указ. соч.; Дризулис А. Памятная записка министра иностранных дел Латвии В. Мунтерса о советско-латвийских переговорах 1939 г. по поводу

заключения пакта о взаимопомощи // Отечественная история. 1992. №2. С. 176–183; Блейере Д. В., Шнайдере И. Р. Сталинизм и становление политической системы Латвии (июнь 1940 – июнь 1941 г.) // Политические системы СССР и стран Восточной Европы. 20–60-е годы. М. 1991. С. 33–44.

18. Международная жизнь. 1989. №8. С. 51–68, №12. С. 216–231; Документы внешней политики. Т. 22. Кн. 2. М. 1992; Волкогонов Д. А. Указ. соч.; Ващенко П. Ф. Если бы Финляндия и СССР... // Военно-исторический журнал. 1990. №1. С. 27–28; Носков А. М. "Зимняя война", которой могло не быть // Альтернативы новейшей истории. С. 99–101; Барышников Н. И., Барышников В. Н., Федоров В. Г. Финляндия во второй мировой войне. Л. 1989. С. 8–58; Куманев Г. А. Бесславная война с далеко идущими последствиями // Отечественная история. 1992. №4. С. 13; Волков С. В., Емельянов Ю. В. Указ. соч.; Семиряга М. И. Указ. соч.; Донгаров А. Г. Война, которой могло не быть // Вопросы истории. 1990. №5. С. 29–34; Соколов Б. В. Пиррова победа // Историки отвечают на вопросы. С. 277–278; Мельтюхов М. И. "Народный фронт" для Финляндии? // Отечественная история. 1993. №3. С. 95–101; Дудорова О. А. Неизвестные страницы "зимней войны" // Военно-исторический журнал. 1991. №9. С. 12–23; Гриф секретности снят. М. 1993. С. 94–125; Степанов В., Орехов Д. Майниела или Загадка зимней войны // Стерх. 1992. №1. С. 40–42; Донгаров А. Г. Предъявлялся ли Финляндии ультиматум? // Военно-исторический журнал. 1990. №3. С. 43–46; Аптекарь П. А. Оправданы ли жертвы? // Военно-исторический журнал. 1992. №3. С. 43–45.

19. Желицки Б. Й. Втягивание Венгрии в орбиту германской политики и позиция венгерских политических сил (1939–1940 гг.) // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале второй мировой войны. С. 73–94; Ерещенко М. Д. Бессарабский вопрос в лабиринтах дипломатии 1940 г. // Там же. С. 187–193; Семиряга М. И. Указ. соч.; Покивайлова Т. А. К истории Второго Венского арбитража // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в период фашистской агрессии на Балканах... С. 63–71; Волков С. В., Емельянов Ю. В. Указ. соч.; Григорьянц Т. Ю. Проблема сфер интересов СССР и Германии... С. 35–37.

20. Нарочницкий А. Л. Советско-югославский договор 5 апреля 1941 о дружбе и ненападении (по архивным материалам) // Новая и новейшая история. 1989. №1. С. 3–19; Волков В. К. Советско-югославские отношения в начальный период второй мировой войны в контексте мировых событий (1939–1941 гг.) // Советское славяноведение. 1990. №6. С. 3–17; Решетникова О. Н. Из истории советско-югославских отношений в начале второй мировой войны // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в начале второй мировой войны. С. 170–186; Решетникова О. Н. К вопросу о советско-югославском договоре о дружбе и ненападении // Международные отношения и страны Центральной и Юго-Восточной Европы в период фашистской агрессии на Балканах... С. 110–123.

21. Большинство из этих проблем рассматривается в следующих исследованиях: Волкогонов Д. А. Триумф и трагедия. М. 1989. Т. 2. Ч. 1; Хорьков А. Г. Грозовой июнь. М. 1991; Исаев С. И., Раманичев Н. М., Чевела П. П. Советский Союз накануне Великой Отечественной войны. М. 1990; Бабин А. И. Канун и начало Великой Отечественной войны. М. 1991; Проэктор Д. М. Указ. соч.; Суворов В. Ледокол; Анфилов В. А. Крушение похода Гитлера на Москву. М. 1989; Сандалов Л. М. Первые дни войны. М. 1989; Захаров М. В. Генеральный штаб в предвоенные годы. М. 1989; Владимирский А. В. На киевском направлении. М. 1989; Мерцалов А. Н., Мерцалова Л. А. Указ. соч.; Волков Ф. Д. Взлет и падение Сталина. М. 1992. С. 178–188; Павленко Н. Г. Была война... М. 1994; 1941 год – уроки и выводы. М. 1992; Гареев М. А. Неоднозначные страницы войны. (Очерки о проблемных вопросах Великой Отечественной войны). М. 1995; Горьков Ю. А. Кремль. Ставка. Генштаб. Тверь. 1995.

22. Великая Отечественная война. 1941–1945. М. 1995. С. 246–247.

23. Вопросы стратегии и оперативного искусства в советских военных трудах (1917–1941 гг.). М. 1965; Русский архив. Великая Отечественная. Т. 1. М. 1993; Бобылев П. Н. Репетиция катастрофы // Военно-исторический журнал. 1993. №6. С. 16; Орлов А. С. Так кто же начал войну? // Армия. 1993. №8. С. 17; Горьков Ю. А. Готовил ли Сталин превентивный удар против Гитлера в 1941 году // Новая и новейшая история. 1993. №3. С. 37–38; Хоффман Й. Подготовка Советского Союза к наступательной войне. 1941 год // Отечественная история. 1993. №4. С. 20–21.

24. Военно-исторический журнал. 1991. №12. С. 17–20; 1992. №1–5. С. 24–29; № 4–5. С.10–12; Новая и новейшая история. 1993. №3. С. 40–45.

25. Кроме указанной литературы эти вопросы см.: Кирьян М. М. Начальный период Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 1988. №6. С. 12–13; Перечнев Ю. Г. О некоторых проблемах подготовки страны и Вооруженных Сил к отражению фашистской агрессии // Военно-исторический журнал. 1988. №4. С. 46–47; Маковский В. Б. Прикрытие госграницы накануне войны // Военно-исторический журнал. 1993. №5. С. 1–58; Киршин Ю. Я., Раманичев Н. М. Накануне 22 июня 1941 г. // Новая и новейшая история. 1991. №3. С. 12–15; Петров Б. Н. О стратегическом развертывании Красной Армии накануне войны // Военно-исторический журнал. 1991. №12. С. 10–17; Киселев В. Н. Упрямые факты начала войны // Военно-исторический журнал. 1992. №2. С. 14–17; Данилов В. Готовил ли Генеральный штаб Красной Армии упреждающий удар по Германии? // Сегодня 28 сентября 1993 г.; Мельтюхов М. И. Споры вокруг 1941 года: опыт критического осмысления одной дискуссии // Отечественная история. 1994. №3. С. 4-22; Филиппов А. О готовности Красной Армии к войне в июне 1941 года // Военный вестник АПН. 1992. №9. С. 6–8; Гуров А. А. Боевые действия советских войск на Юго-Западном направлении в начальном периоде войны // Военно-исторический журнал. 1988. №7. С. 32–37; Семидетко В. А. Истоки поражения в Белоруссии // Военно-исторический журнал. 1989. №4. С. 22–31.

26. Данилов В. Д. Сталинская стратегия начала войны: планы и реальность // Отечественная история. 1995. №3. С. 33–44; Невежин В. А. Идея наступательной войны в советской пропаганде 1939–1941 годов // Преподавание истории в школе. 1994. №5. С. 8–19; Невежин В. А. Метаморфозы советской пропаганды в 1939–1941 годах // Вопросы истории. 1994. №8. С. 164–171; Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Незапланированная дискуссия. Сб. материалов. Под. ред. Г. А. Бордюгова. Сост. Невежин. М. 1995. С. 122–167; Невежин В. А. Речь Сталина 5 мая 1941 г. и апология наступательной войны // Отечественная история. 1995. №2. С. 54–69; Мельтюхов М. И. Идеологические документы мая – июня 1941 г. о событиях второй мировой войны // Там же. С. 70–85.

27. Кроме общих работ см.: Комал Ф. Б. Военные кадры накануне войны // Военно-исторический журнал. 1990. №2. С. 21–28; Данилов В. Д. Советское Главное Командование в преддверии Великой Отечественной войны // Новая и новейшая история. 1988. №6. С. 4–8; Филиппов А. Указ. соч. С. 6–7; Горьков Ю. А. Кремль. Ставка. Генштаб. 1995. С. 47. 1941 год – уроки и выводы. С. 47–49; Самсонов А. М. Указ. соч. С. 102–103; История и сталинизм. С. 335–336; Канун и начало войны. С. 30–33; Известия ЦК КПСС. 1990. №1. С. 177–192; Уколов А. Т., Ивкин В. И. О масштабах репрессий в Красной Армии в предвоенные годы // Военно-исторический журнал. 1993. №1. С. 56–59; Бородин В. Репрессии 30-х годов и реальное состояние офицерских кадров Красной Армии накануне второй мировой войны // Военный вестник АПН. 1988. №20. С. 9–12; Спирин Л. М. Сталин и война // Вопросы истории КПСС. 1990. №5. С. 90–96;

28. Кроме общих работ см.: Ивашутин П. И. Докладывала точно // Военно-исторический журнал. 1990. №5. С. 55–59; Правда. 1989. 8 мая; Воюшин В. А., Горлов С. А. Фашистская агрессия: о чем сообщали дипломаты // Военно-исторический журнал. 1991. №6. С. 13–23; История СССР. 1991. №3. С. 3–16; Пранович А. Состояние боевой готовности оперативной и тактической разведки Красной Армии накануне нападения фашистской Германии на СССР в июне 1941 года (критический анализ) // Военный вестник АПН. 1992. №2–3. С. 1–15; История и сталинизм. С. 324–328; Суворов В. Указ. соч. С. 311–314.

29. Ржешевский О. А. Некоторые проблемы истории Великой Отечественной войны. 1941–1945. М. 1988. С. 4–14; Данилов В. Д. Указ. соч. С. 17–19; Проэктор Д. М. Указ. соч. С. 312–314; Волков Ф. Д. Указ. соч. С. 178–188; Павленко Н. Г. На первом этапе войны // Коммунист. 1988. №9. С. 94; Спирин Л. М. Указ. соч. С. 100–101.

30. Пронько В. Особые округа и их роль в подготовке Советского Союза к отражению агрессии фашистской Германии // Военный вестник АПН. 1991. №6–7. С. 13–14; Гребенюк А. Пути и методы подготовки Советского Союза к войне с фашистской Германией // Там же. №10–11. С. 18; Гареев М. А. Еще раз к вопросу: готовил ли Сталин превентивный удар в 1941 г. // Новая и новейшая история. 1994. №2. С. 202. Язов Д. Т. Впереди была война // Военно-исторический журнал. 1991. №5. С. 5–6; Шлыков В. В. И танки наши быстры // Международная жизнь. 1988. №9. С. 117–129; Крикунов В. П. Куда делись танки? // Военно-исторический журнал. 1988. №11. С. 28–39; Петров Б. Н. Военные действия на северо-западном направлении в начальный период войны // Военно-исторический журнал. 1988. №7. С. 45; Золотов Н. П., Исаев С. И. Боеготовы были // Военно-исторический журнал. 1993. №11. С. 75–77; Мельтюхов М. И. 22 июня 1941 г.: цифры свидетельствуют // История СССР. 1991. №3. С. 16–28.

ИСТОРИОГРАФИЯ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Д. А. Аманжолова

Причины усилившегося внимания историков, политологов, этнологов, социологов и психологов к национальным проблемам достаточно очевидны. Помимо острого политического звучания, которое приобрели все аспекты этого вопроса — национальная политика, развитие народов России и межнациональные отношения в бывшем СССР и целом ряде регионов мира, национальная тематика оказалась в отечественной историографии одной из наиболее сложных, несмотря на обилие разного рода публикаций, имевшихся к началу 90-х годов.

О слабостях советской исторической литературы по этой проблематике и причинах их, во многом общих для всех направлений исторической науки в СССР, сказано и написано немало. Во второй половине 80-х годов после определенного периода растерянности перед быстро нараставшим числом национальных проблем, неожиданных и необъяснимых, если руководствоваться непогрешимостью тезиса об "окончательном решении в СССР национального вопроса в том виде, в каком он достался нам в 1917 году", стали появляться исследования, отмеченные стремлением освободиться от политической и теоретической заданности. Первой попыткой повернуть внимание к национальной проблематике в годы перестройки был материал В. В. Журавлева и А. П. Ненарокова "Грузинский инцидент", опубликованный в "Правде" 12 апреля 1988 г. Активная критика предшествующих трудов, нараставшая на рубеже 80—90-х годов, все больше сопровождалась постановкой и поиском ответов на ранее закрытые для обсуждения, а также рожденные новой политической ситуацией вопросы (1).

Для историографии национального вопроса в России за последние пять лет характерно возрастание числа публикаций, расширение их тематики, географических и хронологических рамок, вовлечение все большего числа ученых разных регионов в изучение истории национальной жизни, национальной политики, межнациональных отношений. Вместе с тем, распад СССР привел к определенному ослаблению творческих связей историков бывших союзных республик и сужению их информационного поля. Достаточно полную информацию об уче-

ных, изучающих народы и национальные проблемы России и их последних работах дает недавно изданный специальный справочник (2).

Несмотря на значительный разброс тем и сюжетов, которые сегодня обсуждаются российскими исследователями, вполне отчетливо выделяются наиболее значимые. Был ли объективно обусловлен крах огромного многонационального государственного образования — СССР, или его можно было сохранить, как утверждают некоторые авторы (3)? Каковы политические, экономические, социальные, идеологические, международные причины проявляющегося в разных формах обострения межнациональных отношений? Каким должен быть оптимальный вариант административно-территориального устройства страны, отношений центра и регионов России, способный обеспечить эффективное управление и гармонизацию интересов отдельных народов и территорий?

Перечисление вопросов можно было бы продолжить, но каждый из них заставляет обратиться к истокам, требует восстановления во всей полноте, на обновленной источниковой основе, конкретно-исторической картины прошлого. Приращение фактического знания весьма важно как для получения объективного представления об историческом процессе и понимания современности, так и для обогащения теоретического багажа исторической науки. Разумеется, фактологическая канва истории национального вопроса вырисовывается более интенсивно. Особое место здесь занимает публикация документов и материалов, раскрывающих главным образом разные стороны советской национальной политики, начиная с 20-х годов и кончая современной этнополитической ситуацией в России и СНГ. Наибольший удельный вес публикаций приходится на историю репрессирования и депортации "наказанных народов" СССР, что вполне понятно с точки зрения и политической, и психологической (4). В научный оборот постепенно вовлекаются и мемуары, неопубликованные или ранее малодоступные работы лидеров национальных движений, партий и национально-государственных образований (5). Кроме того, целый ряд сборников, дает представление о позиции и роли ключевых политических фигур в определении баланса прав и интересов центра и национальных образований, отдельных народов в период становления и развития не имевшей аналогов советской государственности (6). Это выглядит весьма актуально благодаря зримой детерминированности и схожести ряда событий новейшей истории Отечества. Исторический опыт и современная политическая практика подтверждают, что личные психологические и нравственные качества, уровень образования и культуры политических деятелей, их взаимоотношения оказывают ощутимое и порой неожиданное воздействие на судьбы народов страны и объясняют некоторые коллизии исторического процесса.

Расширение источниковой основы происходит не только за счет выпуска тематических документальных сборников и отдельных публикаций, но и путем включения новых материалов в монографические исследования. В частности, одним из традиционных направлений отечественной историографии национального вопроса является история присоединения отдельных народов к Российской империи и связанных с этим освободительных движений, оценка колониальной и национальной политики России. Как известно, в советское время толкование этой проблематики носило идеологический характер и переживало известную коррекцию в угоду политической конъюнктуре: от концепции "абсолютного зла"

до расширительного толкования тезиса о "наименьшем зле" и добровольном характере присоединения. Сегодня происходит постепенное восстановление противоречивого в своих конкретных проявлениях, более полного представления о характере и значении присоединения тех или иных территорий к России для автохтонных народов. Особенно много пишется в связи с этим об истории завоевания Кавказа и национальной политике в этом регионе – в дореволюционный период и в советское время (7).

Так, состоявшаяся в Нальчике в октябре 1990 г. всесоюзная научно-практическая конференция оценила события XIX века на Северном Кавказе как противостояние национально-освободительной борьбы горцев завоевательной, колонизаторской политике царизма, сопряженной с покорением, геноцидом и изгнанием за пределы Родины значительной части народов региона, прежде всего адыгских (8). Борьба горцев против русской армии в 20–50-е годы XIX века под руководством Шамиля характеризуется как народно-освободительная. В то же время в центре научной полемики оказываются и русские военные и политические деятели, сыгравшие важную роль в ходе утверждения России на Кавказе. Прежде всего это относится к Ермолову. По мнению Ш. А. Калмыкова, установление русской администрации в Кабарде и Балкарии с конца XVIII до начала XX в. сопровождалось насильственным разрушением традиционных общественно-политических институтов. С введением в 1822 г. Ермоловым Временного кабардинского суда установился жесткий колониальный режим. Система т. н. военно-народного управления носила ярко выраженный колониальный характер, политика русификации означала неравноправие народов и вместе с тем объективно вела к ломке патриархально-феодальных отношений у горцев, рождению новых социальных слоев (9).

Не отрицая колонизаторский смысл имперской политики в национальных окраинах, этноцентризм национальной политики Александра III и Николая II, те кто пишет на эти темы, как правило, выделяют объективные основания и убедительно показывают позитивную компоненту, получившую развитие в жизни народов, входивших в состав империи (10). Например, обсуждая последствия утверждения России на Северном Кавказе, С. Н. Бейтуганов пишет, что колониальная политика вообще, и самодержавия в особенности, могла осуществляться и осуществлялась повсюду лишь захватническими, деспотическими методами, а Ермолов был носителем имперского духа, олицетворением ее ударной мощи. Но введение упомянутого суда ограничило произвол местной феодальной знати и имело в целом прогрессивное значение (11).

М. М. Блиев обратил внимание на важную сторону изучения присоединения народов к России на примере Кавказа: зависимость политической ориентации нерусских народов от уровня их общественной жизни во время присоединения. При этом он справедливо подчеркнул необходимость более глубокого исследования соотношения политических и экономических контактов с Россией и присоединения к ней народов разных регионов, а также его последствий с внутренними общественно-политическими процессами как в России, так и у присоединяемых к ней национальных анклавов, и внешнеполитической ситуацией (12). Несомненный интерес в связи с этим представляет публикация глав из написанной в 30-е годы, но не увидевшей своевременно свет монографии

Н. И. Покровского (13). История завоевания Северо-Восточного Кавказа и борьба горцев за независимость анализируется в ней на оригинальных источниках, дается детальная характеристика политики царского правительства и тактики военного командования в отношении разных социальных групп горского общества, динамика социального состава восставших, противоречивый смысл их позиции, приемы царизма в борьбе против возможного объединения горцев, влияние на них областных интересов, антифеодальных настроений масс, сложное переплетение конкретных обстоятельств, в конечном счете обусловивших поражение народного движения.

Несмотря на различный характер включения новых территорий, населенных "инородцами", в состав Российской империи (захватнический, как в основном было на Северном Кавказе, добровольный, как было в случае с Украиной и Казахстаном, добровольно-принудительный – Тува), большинство народов оказались в едином государстве на договорной основе (14). При этом длительное сохранение традиционных форм управления и гибкое применение российского законодательства в установлении взаимоотношений между национальными окраинами и центром позволяло не только не дискриминировать народы России, но и, несмотря на усилившиеся к концу XIX – началу XX вв. тенденции единообразия, не препятствовать естественному процессу постепенного складывания наций как социокультурных общностей.

В частности, Н. Б. Нарбаев детально рассмотрел процесс реформирования и унификации управления на примере Казахстана в 60–90-е годы XIX века, решение политико-административных, социально-экономических и этноконфессиональных вопросов управления. Он актуализировал те позитивные аспекты опыта Государственного Совета России, которые занимают важное место в национальной политике, обратив внимание на в целом успешный результат введенной в крае системы управления и решения национально-религиозных и культурных вопросов. Вместе с тем ошибки в проведении переселенческой политики привели к началу XX в. к серьезному обострению межнациональных отношений в этом крае, что, как показано в других исследованиях, стало важной составляющей этнополитических процессов в прежде казавшейся одной из самых "умиротворенных" окраин (15).

В. В. Разуваев предлагает проследить взаимосвязь национальной проблематики с внешнеполитической историей страны. Расширение ее границ сопровождалось, по его мнению, включением противостоящего элемента, и таким образом внешнее противоречие превращалось во внутреннее, порождало потенциальную внутреннюю нестабильность. Этот стандартный способ решения внешнеполитических задач и противоречий был характерен и для советского руководства, которое, как и российское, тем не менее не допускало самой мысли о возможности (или предопределенности?) разрушительных последствий растущей по итогам внешней политики многонациональности государства (16).

На конкретных примерах ученые обосновывают положение о том, что эффективность управленческих структур, в целом стабильность полиэтничного и поликонфессионального общества, каковым на протяжении многих веков являлась Россия, обеспечивались единством многообразия, отказом от жесткой унификации и централизации в условиях предельной пестроты местных соци-

ально-экономических, административно-правовых, этнодемографических особенностей и традиций. В дореволюционной России преобладали наднациональные черты. Российская государственность, общая для всех ее народов, вплоть до начала XX века сохраняла способность к обеспечению такого единства и сожительства народов, к самосохранению на основе ряда факторов, выделенных Н. И. Цимбаевым (17). Завоевание Урала и Сибири, включение в состав России народов, часть которых имела свою государственность, безусловно, расценивались этими народами как насильственные акции. Тем не менее национальная политика самодержавия отличалась гибкостью и прагматизмом, терпимостью, которые по мере утверждения в колониальных землях сменялись курсом на единообразие административно-правового порядка. Он сопровождался усилением миграции русских на новые территории и соответственным увеличением здесь роли русского языка, православия, русских управленческих кадров. Это неизбежно вызывало не только укрепление однородности общества, но и социальную и национальную мобилизацию нерусских народов, формы проявления и сила которой были различны в зависимости от уровня национальной самоидентификации, удовлетворенности социально-экономическим и политическим положением того или иного народа, эффективности национальной политики и ее конкретной реализации местной бюрократией.

В частности, В. Г. Чеботарева замечает, что сознательно проводившаяся политика колонизации отдельных регионов немцами в XVIII – XIX вв. была направлена и на хозяйственное освоение окраин, и на культурно-образовательный прогресс окружающего русского населения. Сменившись в начале XX века агрессивным великодержавным шовинизмом, она не привела к усилию интеграции в русско-немецких отношениях (18). Точно так же переселенческая политика конца XIX — начала XX вв., официально отводившая аналогичную роль русскому крестьянину в отношении "инородцев", оказалась малоэффективной с точки зрения усиления однородности общества и более того, привела к серьезным вспышкам межнациональных конфликтов на востоке империи.

С точки зрения сторонников цивилизованного подхода, получающего теперь большое распространение, Россия как особый, исторически сложившийся конгломерат народов с разными типами развития, объединялась мощным централизованным государством с великорусским ядром. Скрепляющие узы унитарности и русификаторская политика в национальных регионах дореволюционной России имели разную степень и последствия для цивилизованно отличных народов (19). Подобный подход позволяет оценить специфику направленности национальной политики в России в географическом и временном ракурсах и в то же время определить меру ее целостности, причины роста национализма в условиях распада общества по межцивилизационным границам дважды в нынешнем столетии. "Русификация, задержка развития национальной культуры, усредненность, стирание самобытных различий и т. д." — плата за стабильность на огромных пространствах России, оправданная, с точки зрения цитируемого автора, ее высокой ценностью для любого государства (20). Вряд ли с таким выводом согласятся те, для кого драматизм современного состояния национальной культуры и межнациональных отношений, невероятная тяжесть экономических, социальных, политических и психологических последствий происшедшего в последнее 10-летие в нашей стране служат доказательством "антинационализма" советской национальной политики, прямо продолжавшей великодержавные традиции самодержавия. Следует обратить внимание и на замечание М. М. Блиева о недостаточном учете значения присоединения нерусских народов к России, их материального и производственного потенциала для экономики империи, реализации других ее внутри- и внешнеполитических интересов (21).

Работы, посвященные реконструкции прошлого отдельных этносов, формам их национальной государственности, ее истории и развитию, в конечном счете можно рассматривать как составные элементы одной важной и сложной проблемы — государственного устройства полиэтничного сообщества. Это не новая для отечественной историографии тема. Однако сегодня ее изучение тоже переживает существенные коррективы, наполняясь новым содержанием и изменяя предшествующие толкования. К подобного рода работам можно отнести диссертации и труды по истории национальной государственности отдельных народов СССР и России (22). И. Р. Тагиров, Б. Ф. Султанбеков и другие исследователи Татарстана освещают разные сюжеты истории национального движения в республике, политические биографии национальных лидеров, проблемы становления и развития татарской государственности и положения татар в составе России (23). Появились публикации о судьбе российских немцев и истории немецкой автономии, евреев в России (24).

Усиление внимания к истории нараставшего противостояния между центром и местами по поводу разделения полномочий и степени самостоятельности, способов его разрешения, роли в нем разных государственных и политических структур, однако, не всегда плодотворно для поиска оптимального варианта государственной организации России, возможного лишь с учетом собственного и мирового опыта истории. Прежде всего это касается объективного совпадения роста национальных движений и стремления мест, регионов ко все большей самостоятельности и самоуправлению с унификаторской политикой государства, которое, приобретая в ходе довольно длительного исторического развития относительную устойчивость и однородность, тем не менее дезинтегрируется под воздействием сложного комплекса факторов. Детальное изучение конкретики может объяснить мотивы и обстоятельства перехода от регионализма и автономизма к требованию изменения самих устоев государственности на качественно новых — федеративных или конфедеративных началах и к еще более радикальному варианту — сепаратизму. Актуальность такого исследования не нуждается в подробном обосновании.

В целом пока нет ясной сквозной картины развития центробежных и центростремительных вариаций в стране. Каков реальный позитивный и негативный опыт разного рода национальных образований, органов культурной и территориальной автономии, имевших место в 1917 – 1922 гг.? Как определялись их полномочия, взаимоотношения с меняющимся политическим и государственным центром? Как взаимодействовали они между собой, в частности, так называемые областные правительства и автономии, в т. ч. региональные, казачьи, действовавшие в районах со смешанным населением, с мононациональными представительствами? В чем объективные и субъективные основы, какова социальная опора, ее динамика у регионалистских и автономистских движений? Почему

возникший практически повсеместно сильнейший вызов унитаризму, облеченный в требования федерализма, реализовался в новый образец унитарного режима? Какие внутренние и внешние факторы обусловили устойчивость этого федеративного лишь по форме государства, а затем его крах?

Ответы на эти вопросы находятся в стадии проработки, и степень ее основательности различна в каждом конкретном случае. В частности, представляется актуальным опыт сибирского областничества — от его зарождения в начале века в виде кружков и движения за введение земского самоуправления до попытки реализации в 1917–1919 гг. Воссоздание истории казачьих и областных автономий в целом лишь начинается. Основные тенденции национально-освободительных движений в России в условиях краха буржуазной государственности, их сущность и типология анализируются в работах В. П. Булдакова (25). Достаточно подробно изучена история башкирского национального движения и образования Башкирской советской автономии в 1917–1920 гг., опубликован 1-й том воспоминаний крупного башкирского деятеля начала века З. Валидова (26). В "Новейшей истории Башкортостана" Б. Х. Юлдашбаева на основе последних конкретно-исторических и теоретических изысканий дано последовательное изложение истории республики с февраля 1917 г. до настоящего времени (27).

Вместе с тем в порыве национального самоутверждения и подъема национальных чувств часть интеллигенции, в том числе историки, неадекватно оценивают уровень развития гражданского общества, его политической и правовой культуры. Слабо структурированные этносы, находившиеся в начале XX века в состоянии длительной, противоречивой, непоследовательной ломки традиционных отношений и институтов, формирования собственно нации в ее современном научном понимании, объявляются достигшими объективно необходимого для государственной самостоятельности уровня. Это отражается и в оценке национальных движений и партий. Подчеркивая реализм башкирских автономистов во главе с З. Валидовым в начале XX в., Валеев в то же время считает более предпочтительной "радикальную постановку проблемы", которая позволила бы добиться более широкого государственного статуса Башкирии (28).

Выступая против традиционно политизированного подхода к проблеме "регионализм — федерализм — сепаратизм" в начале XX века в России, А. П. Ненароков указывает на дополнительные возможности ее изучения, связанные прежде всего с появлением новой документальной базы по истории региональных и национальных движений, национальной политики большевиков. По его мнению, основная вина за трансформацию идей регионализма, автономизма и федерализма в сепаратизм и торжество "социалистического унитаризма" лежит, как и сегодня, на Центре (29. Национал-коммунизм не был для большевиков случайным — он отражал как устойчивость традиций российского общества, так и мировые общественно-политические тенденции (30).

Так В. П. Булдаков считает, что выделение особых "национальных", как и "солдатских", революций в качестве совершенно самостоятельных нецелесообразно, так как первые в большинстве своем были вариантами аграрной революции, выражали одну из сторон более крупного социального конфликта между крестьянством и землевладельцами. Украинский историк В. Г. Сарбай возражает против такого толкования, называя его недоразумением, вследствие неразработанности проблематики истории национальных движений в целом, в том числе на Украине. Он отмечает также, что отождествление национальных движений и революций с аграрными было характерно для недооценивавшего национальную компоненту Сталина (31).

Фетишизация идеи национального суверенитета и самоопределения в ущерб научной объективности приводит к выводам о том, что "колониальная политика империализма, а потом и советская имперская политика ставили одну цель — быстрее покончить с национальной самобытностью малых народов путем их ассимиляции в угоду неудачной и утопической идее слияния всех культур и языков в одну культуру, в один язык" (32). Столь же удаленными от исторических реалий представляются некритическая идеализация самодержавной системы управления национальными окраинами и однозначно негативная, в противопоставление первой, трактовка советского опыта национально-государственного строительства (33). Аналогична и нигилистическая оценка ленинского проекта федерации как регионально и этнически неограниченной глобальной формулы тоталитарного решения национального вопроса. Со сталинским он, по мнению Коркмазова А. Ю., Валеева Д. Ж., Хутыза К. К., расходился лишь в тактике и методах проведения имперской политики, темпах осуществления советизации национальных окраин (34).

Гораздо тоньше и продуктивнее, очевидно, выводы других ученых. Исследования, посвященные истории революции, гражданской войны и образования СССР, показывают, что утверждение национал-коммунизма, поражение национальной демократии и извращение идей федерализма и конфедерализма в ходе национально-государственного строительства стало возможным не столько вследствие осознанного замысла политического руководства, сколько в результате опоры, может быть, не всегда объективно отслеживаемой, на устойчивые ориентации массового сознания, вследствие неразвитости элементов гражданского общества, незавершенности нацеобразующих процессов, к тому же деформированных мощным воздействием политики. Однако, объективно необходимая модернизация страны, размывание этнических границ и унификация народов под лозунгом "выравнивания уровней развития" на основе навязываемой единой системы ценностей в ходе "социалистического строительства" закладывали глубокую основу для будущих межнациональных конфликтов (35).

В современных условиях, когда сохраняется противоречие между национально-территориальным и административно-территориальным принципами устройства России и происходит определение полномочий центра и регионов, федерализм рассматривается как оптимальная форма российской государственности и учеными, и практическими политиками (Р. Абдулатипов, В. Н. Лысенко и др.). Обращение к исторической типологии государственно-территориального устройства и конкретному российскому опыту его эволюции даже в порядке обзора дает возможность нащупать опорные пункты формирования нового качества национальной и региональной политики (36).

Формирующаяся многопартийность, наряду с сохраняющейся нерешенностью национального вопроса, делает актуальным изучение национальной программы и тактики российских политических партий начала века. Важным подспорьем здесь может служить недавно вышедший сборник программ политичес-

ких партий России конца XIX – начала XX вв. (37). В нем помещены документы общероссийских и национальных партий и формирований, выделенных в три основные группы – радикально-демократической и социалистической ориентации (таковых в книге 30), либерального направления (17) и 4 наиболее крупных консервативно-монархических. Сопровождаемые короткими историческими справками, они достаточно полно представляют весь политический мир России на рубеже веков, позволяют судить о месте национального вопроса и путях его решения в программах российских партий.

Одно из исследований, посвященных левому крылу этого спектра, посвящено эволюции национальной проблематики в программах и тактике революционно-демократического лагеря России с конца XIX века до середины 1917 года (38). В монографии Ю. В. Анисина анализируются межпартийные отношения и тактика в национальной сфере социал-демократов, эсеров, а также энесов, эсеров-максималистов, трудовиков, национальных социал-демократов и неонароднических, эсеровских национальных партий и организаций. Детальное обсуждение динамики этих отношений в зависимости от изменения конкретно-исторической ситуации автор заключает выводом об объективном характере сотрудничества социал-демократов и эсеров в интернациональном сплочении трудящихся для решения общих задач противостояния власти, сопровождавшегося соперничеством в борьбе за влияние на массы. В то же время постулируется националистическое содержание деятельности национальных партий (в прежней негативной окраске термина "национализм") и неспособность вошедших во Временное правительство социалистов реализовать свои установки при интернациональной тактике большевиков (39).

При таком подходе остается, однако, неясным, почему национализм играл столь активную роль в политической жизни России начала века, чем была обеспечена широкая социальная опора национальных организаций в 1917 году и каковы причины невостребованности общедемократических проектов решения национального вопроса социалистических членов Временного правительства. Необходимо и более тщательное изучение федеративной концепции партии эсеров, их практической деятельности в этом направлении, в том числе в короткий период участия в первом советском правительстве.

Либеральный вариант решения национального вопроса в России, подробно изученный В. В. Шелохаевым, оказался нереализованным, несмотря на его предпочтительность, по мнению автора, в конкретных условиях XX века – как в силу огромного интеллектуального потенциала и чувства политической ответственности партии кадетов, так и с точки зрения возможности сохранения единства исторически сложившегося многонационального государства и демократического решения национальных проблем. (40). Организационное оформление российского либерализма сопровождалось включением и постепенной детализацией в его программе национальной проблематики (41). Одновременно активно дискутировались определения понятий "нация", "национальность", "национализм" и разрабатывались подходы к оптимизации интересов отдельных народов в рамках России (42). После победы февральской революции кадеты также внесли соответствующие коррективы в свою политическую платформу (43).

Как указывает далее В. В. Шелохаев, конкретные действия и политическая позиция либералов, однако, практически на всех этапах истории не совпадали с их теоретическими и программными установками. Только ли это обусловило крах национальной политики кадетов, получивших власть после падения царизма? И какова степень "ответственности" за это массового сознания, "оказавшегося неспособным" в условиях ожесточенной классовой и политической борьбы "не только понять, но и даже уловить принципиальную разницу в понимании и трактовке лозунга "единая и неделимая Россия" между реакционными и консервативными сторонниками сохранения империи и либералами, выступавшими за подлинно демократическое парламентарное государство (44)? Не случайно проблема расширения среды восприятия по-прежнему остается острой для отечественного либерализма (45) как в его политико-юридических и экономических формах, так и в нравственно-психологической сфере. Исследования показывают, что оторванность теоретической модели либералов начала века от исторических традиций и ментальности народа, отчужденность от реальной экономической, социальной, этноконфессиональной спецификации общества (46) обусловила его элитарность и политическую слабость. Характерно, что и национальные либералы, идейно и организационно связанные с кадетами, оказались в авангардном отрыве от широких национальных масс (47).

Появившиеся в последнее время работы о национальной программатике и тактике партий реакционного, консервативного толка пока не дают цельного представления об эволюции идеологии и практики охранительных сил в национальном вопросе от периода возникновения правых партий до их участия в белом движении во время гражданской войны. В качестве главной причины поражения белых П. Кенез, в частности, выделяет именно их агрессивный русский национализм, на примере идеологии белого движения на Юге России (48). Конкретное изучение национальной политики белых правительств необходимо не только для сопоставления ее с более продуктивной в период борьбы за власть практикой большевизма. Мероприятия и проекты белых в национальной сфере, взаимоотношения с национальными структурами и их лидерами при детальном рассмотрении представляются не столь однозначно шовинистически ограниченными и бескомпромиссными. Их анализ может выявить и нереализованный (в силу каких обстоятельств?) демократический потенциал представлений противников большевизма о формах государственного устройства России и гармонизации межнациональных отношений и интересов (49). Однако роль и место национального фактора в истории белого движения пока изучены довольно слабо, хотя эта сторона деятельности антибольшевистских правительств стала главным испытанием их жизнеспособности, особенно если иметь в виду, что все они, в отличие от большевиков, с самого начала действовали именно в сложной полиэтничной и поликонфессиональной обстановке российских окраин, а программа и тактика политических сил в национальном вопросе стала одним из наиболее действенных средств борьбы за власть (50).

Казалось бы, партии большевиков повезло значительно больше других: трудно перечислить все публикации, посвященные теории и практике большевизма по национальному вопросу до революции, его национальной политике после завоевания власти. Все это придало специфику литературе последних

лет – слишком велик для многих оказался соблазн простого отрицания всего утверждавшегося прежде. Однако однозначный и категоричный тезис об изначальной антинациональной сущности политики и практики большевизма и его кровном родстве в связи с этим с самодержавием мало что дает для понимания противоречивой истории народов СССР и России.

Национальная политика коммунистической партии с октября 1917 г. до 1991 г. составляет по-прежнему важное направление отечественной историографии национального вопроса. Большинство российских историков сейчас согласны с тезисом западных ученых о том, что если в дореволюционный период программа большевиков, включавшая лишь общие положения о самоопределении, областной автономии и диктатуре пролетариата как главном условии ликвидации национального гнета и неравноправия, недооценивала национальные и цивилизованные ценности и различия, то с завоеванием власти партии пришлось столкнуться с взрывоопасной силой национально-этнического принципа, положенного ею в основу административного устройства страны. Повстанческое антибольшевистское движение русских во время гражданской войны "демонстрировало приверженность русского населения идеалам советской, общинной демократии, традиционность этих идеалов", преданных коммунистами (51). С другой стороны, с установлением советской власти коренное население всех национальных регионов и их органы власти отвергли большевистский вариант, что при наличии в них большого числа русскоязычного населения, политически более активного и разнонаправленно ориентированного, придало особую остроту и затяжной характер войне. В стремлении обеспечить социальную опору и белые, и красные с разной степенью успеха использовали национальные интересы – однако возобладавшие в антибольшевистском лагере великодержавные и великорусские амбиции обеспечили поворот национальных масс и прежде всего их политических лидеров в сторону большевиков. Конкретное изучение этих процессов в разных регионах активно разворачивается.

Тезис Л. И. Семенниковой о совпадении традиционных идеалов русской общины с подлинной природой советских институтов власти небезынтересно сопоставить с результатами конкретно-исторических исследований об утверждении советской власти в национальных регионах. Н. Ф. Бугай и Д. Х. Мекулов (52) проанализировали взаимоотношения властных структур и народов Северного Кавказа в 20-е годы. Расценивая советы как специфически российскую форму правления, сохранившую свою демократическую суть, "несмотря на имевшие место деформации государственного аппарата" (53), авторы в то же время, следуя за фактами, пришли к выводу, что идею советов в изученный период "внедрить в горское сознание" по существу не удалось, а механизм "национального сдерживания" путем перманентных административно-территориальных преобразований не оправдал себя, как не реализовалась в регионе и новая экономическая политика (54). Заметим, что сами же эти преобразования сегодня составляют одну из основ для взаимных территориальных претензий в зонах острых межэтнических конфликтов.

В небольшой, но достаточно основательной работе К. Кулматова (55) аналогичные проблемы рассматриваются на примере Средней Азии. Выводы историка подтверждают искусственный характер советов для коренного населения, что объясняет такие особенности их становления в Советской Азии, как продолжительное время (до конца 20-х годов), невовлеченность национальных масс в этот процесс, сочетание советской системы с чрезвычайными органами власти, наместнический характер Туркомиссии (Комиссия ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана) как полномочного представительства Москвы, противоречивость самого политического положения ТАССР.

Политическую практику большевизма в национальном вопросе отличали гибкость, динамизм и условность, позволявшие добиваться поставленной цели. От временных соглашений с национальными силами на основе все более широкого признания права народов на политическое самоопределение в условиях борьбы за власть и курса на мировую революцию РСДРП(б) – РКП(б) перешла к национал-коммунизму в определении взаимоотношений советских республик и при образовании СССР (56). Этот переход происходил под значительным влиянием личностного фактора, в острой борьбе демократически настроенной части партийного актива с растущими централизаторскими устремлениями партийного и хозяйственного аппарата.

Убедительно и конкретно показал это А. П. Ненароков, проанализировавший обстановку подготовки и ход XIII съезда РКП(б), сталинские рычаги борьбы с противниками унитаризма (57). Ученому принадлежит и заслуга включения в научный оборот ранее недоступных материалов и изучения решающей роли культурных факторов образования СССР (наравне с политическими и экономическими) в формировании федеральной власти, ее прерогатив, системы и структуры (58). Установлено, что важнейшим этапом в реализации сталинской национальной политики, направленной на создание советской империи, обретение опоры центральной власти в лице новой национальной элиты, подготовку психологической основы для последующих репрессий тоталитарного режима стало 4-е совещание ЦК РКП(б) с работниками национальных республик в июне 1923 г., полная стенограмма которого стала достоянием исследователей (59). Впрочем, использование этнического фактора в политической игре властных структур характерно не только для сталинизма.

Индустриальный коллективизм социалистического общества был антирусским, разрушал основы национального образа жизни, на что обращает внимание Л. И. Семенникова (60). Как показал исторический опыт, он был антинациональным и по отношению к другим народам. Разразившийся же в ходе индустриализации и коллективизации голод на Украине, в Казахстане, других районах СССР был не результатом целенаправленного геноцида, а следствием преступной идеологически мотивированной политики, безусловно, сыгравшей немаловажную роль в подрыве социальной базы национализма – сельского населения (61).

"Новая историческая общность – советский народ" оказалась, по мнению сторонников цивилизованного подхода, неспособной противостоять колоссальной устойчивости цивилизованных механизмов и исчезла, как только рухнула скрепляющая деспотическую систему власти КПСС (62). В то же время насилие, как условие сохранения единства многонациональной державы, формальный характер официально декларируемой самостоятельности национально-государственных образований в рамках СССР, антигуманизм советской национальной политики тем не менее не дают оснований для отрицания того факта, что как

создание национально-государственных институтов, так и проводимая КПСС политика (вопреки изначальному замыслу или благодаря устойчивости этнической компоненты в социальной жизни общества?) сопровождались дальнейшим формированием наций, "фиксированием" и развитием национальных особенностей, относительным приобщением всех народов к достижениям научно-технического прогресса (63). В целом же антидемократические методы советской национальной политики не решили национальную проблему, сделали неизбежным распад СССР и националистический реванш пришедших к власти элит СНГ, объективно антинародный независимо от этнической составляющей (64).

Вышедшая в последние годы литература о советских преобразованиях на Северном Кавказе, характере и формах национально-государственных реформ в регионе позволяет достаточно подробно охарактеризовать незавершенность начатого в 20-е годы национально-территориального размежевания и последовавшие затем принудительные изменения территории проживания народов вопреки этническим и историческим реалиям (65). В конце концов, не столь важно, преследовалась ли при этом цель обеспечить возможность политического вмешательства центра во всякий национальный конфликт или ничем не оправданная уверенность в невозможности серьезных межнациональных противоречий. В любом случае игнорирование ареала жизнедеятельности нации как объективного элемента системы ее коренных ценностей оказывает сегодня сильнейшее воздействие на развитие межнациональных отношений (66).

Особенно наглядно этот тезис А. И. Доронченкова и М. Т. Мещерякова подтверждают конкретно-исторические исследования о репрессировании советских национальностей. Так, на основе раскрытых фондов государственных и бывших партийных архивов выпускаются сборники документов, формирующие общедоступную источниковую базу и содержащие подробные сведения о депортированных народах — от принятия решения до его осуществления и последующей судьбы миллионов людей (67).

Один из самых активных публикаторов документов и материалов по истории депортаций Н. Ф. Бугай в своей книге "Л. Берия — И. Сталину: Согласно Вашему указанию..." подчеркивает, что "анализ опубликованных документов, выявление и изучение архивных источников позволяет воспроизвести истинные исторические события, показать сущность политики депортации, ход операций по принудительному переселению целых народов и значительных групп населения и их последствия, влияние этой политики на развитие общества" (68). В одной из первых статей по этому поводу Бугай выделил политические, экономические, социальные и духовные аспекты общественной жизни, вызвавшие обострение этнополитической ситуации на Северном Кавказе в довоенные и военные годы (69). В значительной мере они присутствовали и в других регионах страны. Пишущие о массовом выселении и репрессировании народов СССР практически единодушно констатируют, что подобные явления были показателем правовой незащищенности советских людей, узаконенного произвола административно-командной системы и результатом установившегося к началу 30-х годов культа личности Сталина.

Изыскания историков репрессированных народов подтверждают, что в конечном счете выселение и ссылка национальностей не сняли социальную напряженность в стране, создавая к тому же новые проблемы — экономические, хозяйственные, политические, идеологические и межнациональные как в местах прежнего их проживания, так и в районах расселения. В частности, официальная цель — подавление террористического движения чеченцев и ингушей, например, не была достигнута, так как после их выселения криминогенная обстановка "заметно обострилась" (70). Возможности же стабилизации положения ненасильственными методами не были использованы, а политическая, социальная, территориальная и культурная реабилитация народов России сегодня составляет одно из трудно решаемых и сложных наследий прошлого (71). Этими же факторами объясняется, как правило, и смысл национальной политики в целом на примере конкретных событий разных периодов истории СССР (72).

В ряде работ национальные отношения и национальная политика в СССР рассматриваются в обобщенном виде, делаются попытки определить долговременную политическую линию в национальном вопросе на всем протяжении советской истории, выделить в ней узловые пункты и ведущие тенденции, тем самым приблизиться к пониманию истоков и причин современных проблем России и СНГ. Анализируя исторический аспект развития национальностей и национализма в постсоветском пространстве, авторитетный исследователь В. А. Тишков справедливо выделяет два основных толкования истории национального вопроса и его современного состояния в отечественном и зарубежном обществоведении: "радикально-демократический" и "охранительно-консервативный" (73). В его интерпретации, основанной на социально-культурной антропологии и новейших исследованиях, Россия — СССР были полем реализации утопической большевистской доктрины этнического национализма. Ярким подтверждением ее осуществления стало национально-государственное строительство в СССР. Подчинив национальный вопрос главной идее — создание социально однородных "социалистических наций" трудящихся, КПСС на всем протяжении своей истории удерживала советские национальности между политикой репрессий и престижа. В результате, однако, формирование сходных социально-профессиональных структур, культурных и ценностных ориентаций не привело к желанной гомогенности общества и нивелировке собственно этнических и цивилизационных ценностей и различий (74).

Поиски причин трагических межнациональных противостояний в разных регионах мира заставляют обращаться к существу феномена национализма, сменившего коммунистическую и либеральную идеологии и определяющего лицо российской и мировой истории XX века (75). Если "в основе социально-исторического поведения человека все еще лежит разделение себе подобных по принципу наши — чужие, свои — враги", если "человеческий интеллект — всего лишь замещенная форма изначальной депрограммированности, а гордыня разума неизменно оборачивается историческими всплесками видовой суицидности" (76), то следует, очевидно, согласиться с тем, что национализм действительно является иррациональной разрушительной силой, неподдающейся методам политического управления. Следовательно, это ведет к неизбежной перманентной народофобии и обреченности любых попыток погасить межнациональные конфликты до тех пор, пока националистический угар не "выветрится" сам по себе. Вполне последовательным в результате выглядит малоутешительный вывод

об изначальной ущербности самой человеческой природы и представление человеческой истории как "вялотекущей шизофрении" (77). Безысходный пессимизм подобного "диагноза", очевидно, должен служить показателем не только приближения к научной истине, но и высоты человеческого самопознания. Так и хочется воскликнуть средневековое: не увеличивай количество реальностей сверх необходимого!

Утешает в данной ситуации все-таки опора на исторические факты. Исследования подтверждают, что сила национального подъема становится ощутимой именно при ее соединении в революционные эпохи с социальным движением, а вспышки этнофобии (на примере восстания 1916 года в Казахстане и Средней Азии) являлись побочным результатом резких изменений в социальной структуре и дисбаланса форм хозяйствования в сочетании с неэффективной и даже провокационной политикой центра, вырождавшейся в некомпетентные и корыстные действия местных чиновников (78).

Характер, развитие и формы выражения и разрешения межнациональных конфликтов в России и СССР не дают основания для утверждения об устойчивости этнофобии и существовании осознанной социокультурной несовместимости, а современные исследования этнологов достоверно свидетельствуют о наличии глубоких корней взаимной толерантности людей с различной этнической и языковой принадлежностью в России и СНГ (79). Вполне убедительно звучит в связи с этим мнение В. А. Тишкова: "Случаев, когда один народ или его часть вступает в конфликт с представителями другого сугубо по причине этнических различий или антагонизмов, почти не известно, как и не доказано наукой, что такие антагонизмы вообще существуют в человеческой природе" (80). Не ставя перед собой задачу рассмотрения теоретических понятий "нация", "национализм", "национальные интересы" и др., отошлем читателя к имеющейся литературе, позволяющей судить о степени научной проработки этих вопросов на сегодняшний день (81).

Одной из стержневых тем в литературе по национальному вопросу закономерно стала историческая судьба и будущность русского народа. Осознание драматизма и недвусмысленности русского вопроса к концу XX века в постановке А. И. Солженицына – "быть нашему народу или не быть?" (82), на разные лады толкуемого политически ангажированными публицистами, сопровождается все более серьезным научным анализом проблемы. Обсуждаются не некая мистическая особость русских, мало что дающая для понимания сути, а вполне реальные вопросы, как раз и объясняющие эту особость, присущую каждой нации. Это истоки и формирование русского национального характера и самосознания, роль и место русского народа в многонациональном населении и национальной политике Российской империи – СССР – СНГ, этнодемографический и культурно-образовательный аспекты русского вопроса, происхождение и характер русского национализма и русофобии, судьба казачества как русского субэтноса, содержание русской идеи в прошлом и настоящем, роль православия в духовном развитии русской нации, русский вопрос в политической борьбе на разных этапах отечественной истории (83).

Невиданная острота русского вопроса сегодня связана не только с угрозой утраты его государственности и независимости, но и с опасностью искусственного обострения ситуации в России и мире в случае отказа от его постановки и решения, как проявления русофобии (84). В качестве основополагающих условий позитивного исхода ученые выделяют сохранение и дальнейшее развитие русского национального самосознания, духовности и культуры, а также демократическое реформирование государственного устройства России, которое гарантировало бы гармонизацию интересов русского и других народов, обеспечивало решение экономических, социальных, демографических, психологических, моральных и этнических проблем русских без ущерба для живущих рядом с ними других народов.

Как показывают современные исследования, отечественный исторический опыт не только объясняет состояние русского вопроса, но и обладает значительным политико-практическим и прогностическим потенциалом. Территориальная экспансия России и сопровождавший его рост дисперсности русского населения в дореволюционное время не привел к формированию из него имперской нации. Оставаясь оплотом государственности, русские, при всей неоднозначности конкретной роли русских крестьян, интеллигенции, казачества, чиновничества, духовенства, армии в каждом отдельном регионе и характера взаимоотношений с коренным населением окраин, вместе с тем были и ее жертвой. Прежде всего это происходило потому, что отсутствовала осмысленная и дифференцированная национальная политика, а социальные проблемы всегда доминировали над национальными, в том числе русскими (85).

Существенное своеобразие отличало советскую национальную политику в отношении русского большинства страны. Эксплуатация толерантности русского народа и искусственно навязанный ему патернализм сочетались с лишением его государственности и других форм организации государственной и общественной жизни под флагом борьбы с великорусским национализмом, замораживанием реализации собственных задач национального развития. "Эксплуатация нерусских национальностей в СССР русским народом была исключена напрочь" (86).

Возведение русского национализма в ранг официальной идеологии во время Великой Отечественной войны не только не сняло проблемы русской нации, враждебность к ней со стороны власти, но и вызвало новые (87). Как и прежде, динамика политической линии в национальном (в данном случае русском) вопросе определялась прагматическими и безнравственными охранительными соображениями режима. Это наглядно подтверждается и последовавшей вскоре после войны вспышкой антисемитизма. Конкретный механизм использования этого феномена в политической практике 40–50-х годов воспроизводит Г. В. Костырченко (88).

Крах принципов и целей национальной политики в СССР, пожалуй, наиболее наглядно демонстрирует плачевное положение русского большинства в Российской Федерации и русскоязычного населения в СНГ, сохранение деградационных тенденций в развитии русской нации, о чем подробно и доказательно говорят публикации последних лет (89). Формирование нации как согражданства, включающего все народы России, возможно, как указывает А. И. Вдовин (90), лишь на путях демократического реформирования государственного устройства при приоритетном значении гражданских ценностей перед идеей этнической нации

и государства, не потерявшей своей привлекательности, несмотря на политическую бесперспективность.

Сегодня стало очевидным, и это один из позитивных результатов изучения национального вопроса в истории отечества, что искусственное огосударствление этничности, проведенное по произволу советского руководства, не опиралось ни на подлинно национальные интересы, ни на достаточно компетентную научную доктрину. Двойственность и противоречивость советской национальной политики проявлялись на всех этапах истории СССР. Ученые, анализирующие ближайшее прошлое страны — с середины 80-х годов до настоящего времени, подчеркивают, что невостребованность научного знания в национальной политике, ее волюнтаризм и беспочвенный оптимизм в прогнозах объясняют тот факт, что радикальный характер и реально возможные последствия решений XIX партконференции 1988 года не были осознаны их инициаторами (91).

В результате вышедший на поверхность национальный радикализм не нашел адекватного ответа в политике перестроечного руководства, оказавшегося неспособным решить ни одну из обострившихся национальных проблем. Национальный фактор стал играть все более определяющую роль в борьбе политических партий, движений и элит за власть в центре и на местах, но национальную политику по-прежнему характеризовали непродуманность, импульсивность, недальновидность (92). Это, наряду с объективными причинами, обусловило распад СССР и, осложнив имевшиеся, породило новые национальные узлы. Высокая степень альтернативности в развитии современного политического процесса в России объясняется не только экономической и социальной нестабильностью, но и сохраняющейся остротой национального вопроса в условиях незавершенности определения государственной политики в этой сфере. Приоритет политических процессов при распаде СССР, их содержание, подлинный смысл беловежских соглашений, положивших начало растущей интеграции на конфедеративной основе, ее цели и значение проанализировал С. М. Шахрай (93).

Наиболее ярко это проявляется в сохраняющихся разного типа и остроты этноконфликтных ситуациях. Их оперативный анализ, причины и тенденции развития, пути предупреждения и способы регулирования сегодня находятся в центре внимания специалистов Института этнологии и антропологии РАН (проект "Урегулирование межнациональных конфликтов в постсоветском пространстве", руководитель В. А. Тишков), Российского независимого института социальных и национальных проблем (Центр социологического анализа межнациональных конфликтов, директор А. Г. Здравомыслов), Аналитического центра при Президенте РФ (направление "Межнациональные отношения и прогнозирование конфликтов", руководитель Э. А. Паин) и других организаций. Происходит накопление базы данных и изучение межнациональных конфликтов в России и СНГ за последнее пятилетие (94).

В то же время очевидна неполноценность ограниченного ближайшим прошлым подхода. Он должен быть дополнен достоверной базой исторических сведений о межнациональных конфликтах по меньшей мере начиная со второй половины XIX века — их численности, динамике, географии, причинах и мотивации, формах проявления и урегулирования, самом существе подобных противоречий.

При каких условиях этничность становится значимой или решающей в зарождении, развитии и разрешении конфликта? Как социокультурная динамика, традиции, цивилизационные сходства и различия, политические, социально-экономические, психологические, культурные, внешнеполитические обстоятельства влияют на межнациональную конфликтность или толерантность? Без знания истории этой стороны общественной жизни невозможно ни понимание многомерности исторического процесса, ни осознание существа, причин, предмета современных конфликтов и национальных проблем, а также их прогнозирование и разрешение. В связи с этим привлекает внимание ведущаяся в течение трех лет группой историков из Ассоциации исследователей российского общества XX века (руководитель — Г. А. Бордюгов) работа по сбору и анализу архивной базы данных о межнациональных конфликтах в Российской империи и СССР с 1861 по 1991 гг. Формализация полученной в фондах 11 центральных архивов информации позволит обеспечить их компьютерную обработку и последующее изучение, выявить конфликтогенные зоны, критические периоды и их цикличность в истории межнациональных отношений, предмет и формы столкновений этносов (95).

Обращаясь к общей характеристике состояния национальной проблематики в современной отечественной историографии, следует подчеркнуть, что содержание многих работ отражает переходный характер исторического знания сегодня. Он выражается, во-первых, в том, что процесс выявления, публикации и анализа новых источников по разным периодам истории национального вопроса еще не завершен, и, во-вторых, в связи с этим, конкретно-историческая картина формирования и развития национальной политики, межнациональных отношений, судьбы отдельных народов остается неполной, далеко неравномерно изученной.

Состояние переходности связано и с более глубокими изменениями, вызванными постепенным утверждением в нашей исторической науке новых теоретико-методологических подходов, наряду с сохраняющим своих приверженцев формационным. Значительный удельный вес работ, посвященных политической истории национального вопроса, роли общественных и государственных деятелей, органов власти, партий и движений, вполне оправдан. Он обеспечен большим числом источников, позволяет извлечь зримые уроки для понимания злободневных проблем российской действительности. Изучение же истории национального вопроса с учетом реальных и устойчивых цивилизационных различий народов России, использование достоинств социологического метода, социальной истории лишь начинается.

Социально-психологические основы, ментальность, внутренние пружины развития народов в немалой степени определяли массовые настроения, политические симпатии, характер межэтнических контактов и в опосредованной форме состояние общества в целом. Обращение к исторической антропологии, видимо, — одно из перспективных направлений в отечественной историографии национального вопроса, которое начинает складываться. Оно предполагает всестороннее исследование непрерывной, постоянно разворачивающейся в конкретном времени и пространстве социальной жизни национальностей. Одновременное сосуществование разных уровней этой жизни как внутри, так и, особенно у разных народов, объединенных общей государственностью, обуславливает наличие

несовпадающих ритмов и характера происходящих в этносообществах процессов. Наиболее остро эти диссонансы проявляются в условиях кризиса, ломки старых и становления новых форм организации общественной жизни, как это было в начале века и как происходит сейчас.

Традиционные сюжеты историографии национального вопроса в России — присоединение народов к империи, национальная политика и национальные движения в России и Советском Союзе — сегодня приобретают новое качество. Несмотря на наличие политизированных оценок и подходов, снижающих научную корректность ряда работ, в целом эти проблемы все более осознаются как важнейшие элементы многомерного восприятия и анализа исторического прошлого и настоящего. Переосмысление и фактологическое обновление переживает и история национально-государственного строительства, соотношения унитаризма, федерализма, регионализма и сепаратизма в истории России.

Новым направлением отечественной историографии национального вопроса можно считать изучение национальных программ и тактики общероссийских и национальных политических партий, организаций и движений страны в начале века. Его появление симптоматично, так же, как и интенсивная разработка различных аспектов истории собственно русского народа в многонациональном и поликонфессиональном российском государстве.

Наряду с существенным продвижением в развитии этих новых направлений, очевидно важное значение дальнейших конкретных исследований в этих сферах: взаимодействие общероссийских и национальных политических структур, национальный вопрос в идеологии и практике антисоветского лагеря в 1917—1920 гг., национальный фактор в истории регионализма и автономизма, национальное развитие и формы местного самоуправления до революции, в 1917 году и в советское время, судьба и роль русского народа в формировании межнациональных отношений в ходе складывания российской государственности и территории, соотношение и взаимозависимость этнического и социально-политического факторов в кризисной цикличности российской истории и др. Интересные результаты могут быть получены при междисциплинарном подходе к изучению национальной проблематики, включении в исследования теоретических и методологических разработок зарубежных ученых, усиливающемся разнообразии научных контактов специалистов разных стран.

Преодоление локализации предмета и идеологизированности подходов в изучении национального вопроса, объективное определение его роли и места в противоречивом общественном процессе, в историческом времени и пространстве, совершенствование организационных форм исследовательской работы и включение ее результатов в практику политической жизни по-прежнему остаются злободневными задачами историков национальной проблематики, как ключевой в условиях сохраняющейся актуальности всех ее проявлений.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Иного не дано. М., 1988; Козлов В. И. Национальный вопрос: парадигмы, теория и политика // История СССР. 1990. №1. С. 3—22; Национальные процессы в СССР в условиях перестройки: вопросы теории и практики. М., 1990; Булдаков В. П. Национально-освободительные движения народов России в 1917 г. и крах российской буржуазной государственности // Исторические записки. 1989. №17; Ненароков А. П. К единству равных: Культурные факторы объединительного движения советских народов. 1917—1924. М., 1991; Революция и народы России: полемика с западными историками. М., 1989; Тадевосян Э. В. Советский федерализм: теория, история, современность // История СССР. 1991. №6. С. 45—65; и др.

2. Кто есть Кто в изучении народов и национальных проблем России. Под ред. Г. Бордюгова, П. Гобла. М., 1995.

3. См.: Союз можно было сохранить. Белая книга. Документы и факты о политике М. С. Горбачева по реформированию и сохранению многонационального государства. М., 1995.

4. "Погружены в эшелоны и отправлены к местам поселений". Л. Берия — И. Сталину // История СССР. 1991. №1. С. 143—160; 40—50-е годы: последствия депортации народов (свидетельствуют архивы НКВД — МВД СССР). Там же. 1992. №1. С. 122—143; Так это было: Национальные репрессии в СССР. 1919—1952 гг. В 2-х тт. М., 1993; Реабилитация народов и граждан. 1954—1994 гг. Документы. М., 1994; Пасат В. И. Трудные страницы истории Молдовы. 1940—1950-е гг. М., 1994; Ссылка калмыков: как это было. Элиста, 1993; Репрессированные народы России: чеченцы и ингуши. М., 1994; Белая книга о депортации корейского населения России в 30—40-х годах. Кн. 1. М., 1992; История российских немцев в документах. В 2-х тт. М., 1993—1994; и др.

5. Мирсаид Султан-Галиев. Статьи. Выступления. Документы. Казань, 1992; Тоган З. В. Воспоминания. Борьба народов Туркестана и других восточных мусульман-тюрков за национальное бытие и сохранение культуры. Кн. 1. Уфа, 1994; Элбек-Доржи Ринчино. Документы. Статьи. Письма. Улан-Удэ, 1994.

6. Национальный вопрос на перекрестке мнений. М., 1992; На пути к "социалистическому унитаризму" (Из новых документов 1922 г. по истории образования СССР) // Отечественная история. 1992. №4. С. 89—116; Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия? М., 1992; Как противодействовали выходу Литвы из СССР // Исторический архив. 1992. №1; "Исключительно замечательный акт братской помощи". Документы и материалы о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР (январь — февраль 1954 г.) // Там же; Тбилиси, апрель 1989-го г. // Там же. 1993. №3; Репрессии против немцев Поволжья. Письмо А. И. Криницкого И. В. Сталину // Там же; "Мнение без прикрас". Письмо члена КирВРК Т. И. Седельникова В. И. Ленину. 1920 г. // Там же. 1994. №4.

7. Аптекарь П. Второе покорение Кавказа. Большевики и чеченские повстанцы // Родина. 1995. №6. С. 43—48; Беджанов М. Б. Развитие межнациональных отношений на современном этапе. На материалах республик Северного Кавказа. Майкоп, 1993; Бугай Н. Ф., Мекулов Д. Х. Народы и власть: Социалистический эксперимент (20-е годы). Майкоп, 1994; Гатагова Л. С. Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XIX в. М., 1994; Дамения И. Х. Россия. Абхазия. Из истории культурных взаимоотношений в XIX — начале XX вв. СПб., 1994; Калмыков Ш. А. Установление русской администрации в Кабарде и Балкарии (конец XVIII — начало XX вв.). Нальчик, 1995; Коркмазов А. Ю. Этнополитические процессы на Северном Кавказе (История и современность). Ставрополь, 1994; Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 20—50-х годах XIX в. Махачкала, 1994; Национально-освободительная борьба народов Кавказа и проблемы мухаджирства. Нальчик, 1994; Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. Исторические очерки Кавказско-горской войны в Закубанском крае и Черноморском побережье. Майкоп, 1993; Северный Кавказ: национальные отношения (историография, проблемы). Майкоп, 1992; Умалатов А. Д. От Сталина до наших дней. Махачкала, 1993; Халилов А. М. Национально-освободительное движение горцев Северного Кавказа под предводительством Шамиля. Махачкала, 1991; Хутыз К. К. Национальные отношения в условиях тоталитаризма: опыт и уроки. 1917—1940 гг. На материалах адыгских народов Северного Кавказа. Ростов-н/Д., 1993; "Перед Шамилем". Из монографии Н. И. Покровского "Завоевание Северо-Восточного Кавказа и борьба горцев за независимость" // Исторический архив. 1995. №4, 5—6; и др.

8. Национально-освободительная борьба народов Северного Кавказа и проблемы мухаджирства. Нальчик, 1994. С. 260.

9. Калмыков Ш .А. Указ.раб. С. 3—5, 96—97.

10. Дамения И. Х. Указ.раб.; Северный Кавказ: национальные отношения (историография, проблемы). Майкоп, 1992.

11. Бейтуганов С. Н. Указ.раб. С. 6, 144, 221, 216.

12. Блиев М. М. О некоторых проблемах присоединения народов Кавказа к России // История СССР. 1991. №6. С. 67—84.

13. "Перед Шамилем". Из монографии Н. И. Покровского "Завоевание Северо-Восточного Кавказа и борьба горцев за независимость" // Исторический архив. 1995. №4, 5–6.

14. Абдулатипов Р. Г., Болтенкова Л. Ф., Яров Ю. Ф. Федерализм в истории России. Кн. 1. М., 1992. С. 51; Лысенко В. Н. Проблемы развития федеративных отношений в современной России // Кентавр. 1995. №2. С. 17–20.

15. Нарбаев Н. Б. Государственный Совет России и Казахстан (60–90-е годы XIX в.). М., 1993; Аманжолова Д. А. Казахский автономизм и Россия. М., 1994.

16. Разуваев В. В. Национальная идентичность и внешняя политика России // Кентавр. 1993. №5. С. 6.

17. Цимбаев Н. И. Россия и русские: национальный вопрос в Российской империи // Русский народ: историческая судьба в XX веке. М., 1993. С. 39–50; См. также: Якутия и Россия: 360 лет совместной жизни. Якутск, 1994; Ланда Р. Г. Ислам в истории России. М., 1995.

18. Чеботарева В. Г. "Немецкий вопрос" в исторической литературе России (конец XIX – начало XX вв.) // Немецкий российский этнос: вехи истории. М., 1994. С. 6–36.

19. Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994. С. 109, 209–213.

20. Там же. С. 216.

21. Блиев М. М. Указ. раб. С. 82.

22. Кузиванова О. Ю. Актуальные проблемы становления и развития коми национальной государственности (1917–1930-е гг.). Сыктывкар, 1992; Сали Н. Н. История политической борьбы за становление молдавской государственности в 1917–1918 гг. М., 1992; Магомедов Ш. Б. Проблема социально-экономического и национально-государственного строительства в Дагестане (1920–1940 гг.). Махачкала, 1993; Пипкова Э. История становления, развития и ликвидации АССР немцев Поволжья. М., 1993; Елаев А. А. Возникновение национальной государственности Бурятии. М., 1993; Его же. Бурятия: путь к автономии и государственности. М., 1994; Куликов К. И. Национально-государственное строительство восточно-финских народов в 1917–1937 гг. Екатеринбург, 1993; Нуреев И. С. Роль общественных движений и политических партий национальных районов Поволжья в национально-государственном строительстве в 1917–1920 гг. (На материалах Башкортостана и Татарстана). СПб., 1993; Хлынина Т. П. Адыгея в системе межнациональных отношений на Северном Кавказе, 1920–1924 гг. М., 1993; Пыхтеева И. В. Итоги и последствия советских преобразований в жизни малочисленных народов Камчатки. М., 1993; Национально-государственное строительство в Удмуртии в 1917–1937 гг. Ижевск, 1991; Куликов К. И. Удмуртская автономия: этапы борьбы, свершений и потерь. Ижевск, 1990; Национальные отношения в Коми крае: история и современность. Сыктывкар, 1991; Жеребцов И. Л., Таскаев М. В. Коми край в годы гражданской войны. Население и власть. Сыктывкар, 1994; Беликов В. В. Эвенки Бурятии: история и современность. Улан-Уде, 1994; Штрихи этнополитического развития Республики Коми. Очерки. Документы. Материалы. Кн. 1. М., 1994; и др.

23. Имамов В. Запрятанная история татар (Национально-освободительная борьба татарского народа в XVI–XVIII вв. за создание независимого государства). Наб. Челны, 1994; Мухаметшин Ф. Х. Республика Татарстан: от референдума до договора. Казань, 1995; Султанбеков Б. Ф. История Татарстана: страницы секретных архивов. Казань, 1994; Его же. Ильяс Алкин: жизнь и судьба // Татарстан. 1994. №9–10. С. 24–41; Тагиров И. Р. Обыкновенные пророки: лидеры национального движения вместе и поврозь // Казань, 1993. №1; Федерализм – глобальные российские измерения. Казань, 1993; и др.

24. Киколенко О. А. Российские немцы: история формирования национальной общности и проблемы постсоветского периода. М., 1994; Немецкий российский этнос: вехи истории. М., 1994; Бордюгов Г. А., Кошелева Л. П., Роговая Л. А. Эмиграционное движение советских немцев в конце 1920-х годов // Свободная мысль. 1993. №12; Герман А. А. Немецкая автономия на Волге. Саратов, 1994; Немцы в России: историко-культурные аспекты. М., 1994; Немцы и Оренбургский край. Оренбург, 1994; Савченко И. А., Дубинин С. И. Российские немцы в Самарском крае. Самара, 1994; Евреи в России. Историографические очерки. 2-я половина XIX века – XX век. М., 1994; Евреи в Российской империи XVIII–XIX вв. Сб. трудов еврейских историков. М., 1995; Кандель Ф. Очерки времен и событий. Из истории российских евреев. М., 1994; Уроки Холокоста и современная Россия. М., 1995; и др.

25. Булдаков В. П. Указ. раб.; Его же. На повороте. 1917 год: революции, партии, власть // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства. М., 1991. С. 8–48; Его же. Национальный фактор в Октябрьской революции // Октябрьская революция. Народ: ее творец или заложник? М., 1992. С. 268–281; Его же. Русофобия: происхождение психоза // Феномен народофобии. XX век. Казань, 1994. С. 11–26.

26. Тоган З. В. Воспоминания. Уфа, 1994; Кульшарипов М. М. З. Валидов и образование Башкирской Автономной Советской Республики (1917–1920 гг.). Уфа, 1992; Валеев Д. Ж. Национальный суверенитет и национальное возрождение. Из истории борьбы башкирского народа за самоопределение. Уфа, 1994.

27. Юлдашбаев Б. Х. Новейшая история Башкортостана. Уфа, 1995.

28. Валеев Д. Ж. Указ. раб. С. 48.

29. Ненароков А. П. Регионализм – федерализм – сепаратизм. Исторический опыт России // Межнациональные отношения в России и СНГ. Семинар Моск. Центра Карнеги. Вып. 2. М., 1995. С. 135.

30. Там же. С. 132–143. См. также: Савва М. В. Исполнительная власть и проблема единства Российской Федерации // Там же. С. 144–156; Тишков В. А. Федерализм в национальном и многонациональном государстве // Там же. С. 157–173; Федерализм – глобальные российские измерения. Казань, 1993; Коржихина Т. И., Сенин А. С. История российской государственности. М., 1995.

31. См.: Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994. С. 162.

32. Валеев Д. Ж. Указ. раб. С. 73, 36.

33. Яковлев А. И. Сравнительные заметки о преобразованиях в Туркестане и Советской Средней Азии // Кентавр. 1993. №2. С. 93–104.

34. Коркмазов А. Ю. Указ. раб. С. 67; Валеев Д. Ж. Указ. раб. С. 61; Хутыз К. К. Указ. раб. С. 13–14.

35.См.: Красовицкая Т. Ю. Власть и культура. Исторический опыт организации государственного руководства национально-культурным строительством в РСФСР. 1917–1925 гг. М., 1995. С. 37, 258, 264.

36. Лысенко В. Н. От Татарстана до Чечни (становление российского федерализма). М., 1995. С. 16, 249, 244.; Шахрай С. М. Время распада прошло. Возродится ли Советский Союз? // Независимая газета. 1996. 19 марта.

37. Программы политических партий России. Конец XIX – начало XX вв. М., 1995.

38. Анисин Ю. В. Национальные проблемы России в программах и тактике партий революционно-демократического лагеря. М., 1991.

39. Его же. Национальные проблемы России в программах и тактике партий революционно-демократического лагеря. Автореф. дисс. д. и. н. М., 1994. С. 39.

40. Шелохаев В. В. Национальный вопрос в России: либеральный вариант решения // Кентавр. 1993. №2. С. 45–49.

41. Секиринский С. С., Шелохаев В. В. Либерализм в России. Очерки истории (середина XIX – начало XX вв.). М., 1995. С. 165–166.

42. Там же. С. 183–188.

43. Там же. С. 268–270.

44. Шелохаев В. В. Национальный вопрос в России... // Кентавр. 1993. №2. С. 53–59; №3. С. 100–107, 114–115.

45. Секиринский С. С., Шелохаев В. В. Указ. раб. С. 3.

46. Там же. С. 281–285.

47. Аманжолова Д. А. Указ. раб. С. 186.

48. Кенез П. Идеология белого движения // Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994. С. 267–279.

49. Подпрятов Н. В. Роль национальных воинских формирований в годы гражданской войны на Восточном театре военных действий. Пермь, 1994; Валиханова Н. С. Политическое противоборство по национальному вопросу в Туркестане (1917–1922 гг.). М., 1993; Кузеев Р. Г. Национальные движения и федерализм в России // Этнографическое обозрение. 1993. №6. С. 46–59; Овруцкий М., Тагиров И. Под зелеными знаменами // Родина. 1991. №5. С. 27–31.

50. См.: Наумова Н. И. Национальная политика колчаковщины. Томск, 1991; Подпрятов Н. В. Указ. раб.; Аманжолова Д. А. Национальная политика правительства А. В. Колчака (1918–1919 гг.) // Вестник Челябинского университета. Серия 1. История. 1994. №1(7).

51. Семенникова Л. И. Указ. раб. С. 454.

52. Бугай Н. Ф., Мекулов Д. Х. Указ. соч.

53. Там же. С. 4, 6.

54. Там же. С. 382, 384, 386.

55. Кулматов К. Становление системы Советов и национально-государственное строительство в Средней Азии (проблемы истории и историографии). М., 1992.

56. Кроме того, одним из побудительных мотивов форсирования государственной централизации в начале 20-х годов было также активное стремление молодых советских республик стать полноправными субъектами международных отношений. См.: Нежинский Л. Н. У истоков большевистско-унитарной внешней политики (1921–1923 гг.) // Отечественная история. 1994. №1. С. 89–105.

57. Ненароков А. П. 70 лет назад. Национальный вопрос на XII съезде РКП(б) // Отечественная история. 1993. №6; 1994. №1.

58. Его же. Культурные факторы объединительного движения советских народов...

59. Тайны национальной политики РКП. 4-е совещание ЦК РКП с ответственными работниками республик и областей в Москве 9–12 июня 1923 г. Стенограф. отчет. М., 1994.

60. Семенникова Л. И. Указ. раб. С. 450.

61. См.: Мерль Ш. Голод 1932–1933 годов – геноцид украинцев для осуществления политики русификации? // Отечественная история. 1995. №1. С. 49–61.

62. Семенникова Л. И. Указ.раб. С. 555–560.

63. Карлов В. В. Введение в этнографию народов СССР (Стадийные закономерности и локально-исторические особенности этнокультурных процессов в XIX–XX вв.). М., 1992. Ч. 2. С. 25–26.

64. Шелохаев В. В. Указ. раб. С. 115.

65. Бугай Н. Ф., Мекулов Д. Х. Указ. соч.; Коркмазов А. Ю. Указ. раб.; Северный Кавказ, выбор пути национального развития. Майкоп, 1994; Северный Кавказ: национальные отношения (историография; проблемы). Майкоп, 1992; Хутыз К. К. Указ. раб.; Искандарян А. М. Чеченский кризис: провал российской политики на Кавказе. М., 1995; и др.

66. См.: Доронченков А. И., Мещеряков М. Т. История и национальная территория // Кентавр. 1994. №3, 4.

67. Калтахчан А. С. Реабилитация репрессированных народов России: первые практические шаги // Этнополис. Этнополитический вестник России. 1992. №2; Ибрагимбейли Х.-М. Сказать правду о трагедии народов // Политическое образование. 1989. №4; Бугай Н. Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народов // Вопросы истории. 1990. №7; Некрич А. Наказанные народы // Родина. 1990. №6; Парсаданова В. С. Депортация населения из Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939–1941 гг. // Новая и новейшая история. 1989. №2; Бугай Н. Ф. Север в политике переселения народов // Север. Петрозаводск, 1990. №4; Лесная промышленность Коми АССР 1917–1960 гг. Сыктывкар, 1989; Из истории раскулачивания в Карелии 1930–1931 гг. Петрозаводск, 1991; Иосиф Сталин – Лаврентию Берия: "Их надо депортировать..." М., 1992; Депортации народов в СССР (1930-1950-е годы). Ч. 1. М., 1992, Ч. 2. М., 1995; и др.

68. Бугай Н. Ф. Л. Берия – И. Сталину: "Согласно Вашему указанию..." М., 1995. С. 3–4.

69. Бугай Н. Ф. Правда о депортации чеченского и ингушского народов. С. 33–35.

70. Бугай Н. Ф. Л. Берия – И. Сталину... С. 112–113.

71. Там же. С. 301–304.

72. Пасат В. И. Указ.раб. С. 14–15; Коркмазов А. Ю. Указ.раб. С. 30–32.

73. Тишков В. А. Национальности и национализм в постсоветском пространстве (исторический аспект) // Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994. С. 9–12.

74. Там же. С. 12–29.

75. Булдаков В. П. Русофобия: происхождение психоза // Феномен народофобии. XX век. Казань, 1994. С. 11–26; Национальное самосознание и национализм в Российской Федерации начала 1990-х годов. М., 1994; Соловей В. Д. Эволюция современного русского национализма // Русский народ: историческая судьба в XX веке. М., 1993. С. 283–305; Поздняков Э. А. Нация. Национализм. Национальные интересы. М., 1994; Уткин А. И. Национализм и будущее мирового сообщества // Свободная мысль. 1995. №3. С. 78–86; Национализм (Взгляд из-за рубежа). М., 1995.

76. Булдаков В. П. Русофобия... С. 12.

77. Там же. С. 14.

78. Там же. С. 15–26. В полемике с Булдаковым А. Смирнов замечает, что квалифицировать вполне естественное разделение человеком людей на "своих" и "чужих" как "психоз" или "звериней" некорректно. "Назовите национальное чувство представителя другого этноса "звериным" – и получите в ответ этнофобию". См.: Смирнов А. "Свои" и "чужие". Слагаемые национального непринятия // Родина. 1995. №7. С. 26.

79. См.: Губогло М. Н. Опыт и уроки суверенизации (На материалах Башкортостана и Татарстана) // Отечественная история. 1995. №2. С. 50–51; Его же. Этнополитическая ситуация в Казахстане в представлениях его граждан // Казахстан: реалии и перспективы независимого развития. М., 1995. С. 281–286.

80. Тишков В. А. Амбиции лидеров и надменность силы. Заметки о чеченском кризисе // Свободная мысль. 1995. №1. С. 19.

81. Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991; Абдулатипов Р. Г. Природа и парадоксы национального Я. М., 1991; Поздняков Э. А. Указ. раб.; Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994; и др.

82. Солженицын А. И. "Русский вопрос" к концу XX века // Новый мир. 1994. №7. С. 176.

83. Русский народ: историческая судьба в XX веке. М., 1993; Русская нация на грани тысячелетий. "Круглый стол" в ред. "Кентавра" // Кентавр. 1993. №2. С. 10–44; Барсенков А. С., Вдовин А. И., Корецкий В. А. Русский вопрос в национальной политике. XX век. М., 1993; Козлов В. И. Национализм, национал-сепаратизм и русский вопрос // Отечественная история. 1993. №2. С. 44–64; Булдаков В. П. Русофобия...; Вдовин А. И. Российская нация (К нынешним спорам вокруг национальной идеи) // Кентавр. 1995. №3. С. 3–11; Разделит ли Россия участь Союза ССР? Кризис межнациональных отношений и федеральная национальная политика. М., 1993; Никонов А. Русский вопрос сегодня // Свободная мысль. 1993. №13; Зубов А. Б. Третий русский национализм // Знамя. 1993. №1; Мяло К. Г. Мы – народ: Войдут ли русские в XXI век? // Родина. 1993. №2; Соловей В. Д. Русская идея сегодня: Аналитический обзор русского национально-патриотического движения // Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994. С. 699–703.

84. Кукушкин Ю. С. Судьба народа – судьба страны // Русский народ: историческая судьба в XX веке. С. 4.

85. Цимбаев Н. И. Указ. раб. С. 44; Русская нация на грани тысячелетий // Кентавр. 1993. №2. С. 11, 19.

86. Вдовин А. И. Российская нация... С.4.

87. См.: Бордюгов Г. А. Большевики и национальная хоругвь // Родина. 1995. №5. С. 72–77.

88. Костырченко Г. В. Компания по борьбе с космополитизмом в СССР // Вопросы истории. 1994. №8. С. 47–60; Его же. В плену у красного фараона. М., 1994.

89. См.: Русская нация на грани тысячелетий...; Солженицын А. И. Указ. раб.; Козлов В. И. О сущности русского вопроса и его основных аспектах // Русский народ: историческая судьба в XX веке. С. 51–69; и др.

90. См.: Вдовин А. И. Российская нация... С.3–11.

91. Согрин В. Политическая история современной России 1985–1994: От Горбачева до Ельцина. М., 1994. С. 40; Тишков В. А. Амбиции лидеров и надменность силы... С.20.

92. См.: Согрин В. Указ. раб.; Тишков В. А. Указ. раб.; Его же. Россия как многонациональная общность и перспективы межэтнического согласия. Россия в третьем тысячелетии. Аналитический проект. Вып. IV. М., 1994; Лысенко В. Н. Проблемы развития федеративных отношений в современной России // Кентавр. 1995. №2. С. 15–25; и др.

93. Согрин В. Указ. раб. С. 185–186; Семенникова Л. И. Указ. раб.

94. Паин Э. А., Попов А. А. Межнациональные конфликты в СССР (некоторые подходы к изучению и практическому решению) // Советская этнография. 1990. №1; Султанов Ш. З. Региональные конфликты и глобальная безопасность. М., 1990; Межнациональные отношения в Российской Федерации (информационные материалы). М., 1991; Межнациональные противоречия и конфликты в СССР (опыт социально-философского анализа). М., 1991; Иванов В. Н. Межнациональные конфликты: социо-психологический аспект // Социс: социологические исследования. 1992. №4; Россия сегодня: трудные поиски свободы. М., 1993; Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. М., 1993; Анализ и прогноз межнациональных конфликтов в России и СНГ. Ежегодник. 1994. М., 1994; Взаимодействие политических и национально-этнических конфликтов. Материалы междунар. симпозиума, 18–20 апреля 1994. М., 1994; Здравомыслов А. Г. Исследование конфликта на макроуровне: Теоретические предпосылки. Н. Новгород, 1994; Конфликтная этничность и этнические конфликты. М., 1994; Хроника межнациональных конфликтов в России. 1991 г. М., 1994; Дадиани Л. В., Шумихин А. Ю. "Ливанизация" как модель этносоциальной конфликтности и положение в зоне Кавказа: Сопоставительный анализ. М., 1994; и др.

95. См.: Бордюгов Г. А. Этнические конфликты. Опыт создания базы данных // Межнациональные отношения в России и СНГ. Семинар Моск. Центра Карнеги. Вып. 1: доклады. М., 1994. С. 21–26.

ИМПЕРИЯ:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ

Л. С. Гатагова

"...Ведь Империя,
хоть карту ее и упразднили,
по-прежнему существует..."

Луи Марен

Российскому политическому театру образца 1990-х присущ собственный лексический стиль, характерный для истеблишмента постсоветской эпохи. Он изобилует бесчисленными "перлами", порою затмевающими своей незатейливостью и неадекватностью даже причесанный и выхолощенный новояз недавнего прошлого. В хаотическом словоблудии сегодняшнего дня к старым и давно примелькавшимся словесным штампам добавились новые, отличающиеся от прежних разве что удручающей полуграмотностью и жаргонной простотой языка. Но безумная какофония, сопровождающая калейдоскоп эпохальных событий последних пяти лет, исторгает и весьма благозвучные слова, извлеченные из толщи культурного слоя человечества. Частота употребляемости — на единицу печатной продукции — привычного уху историка понятия "Империя" объясняется не только спонтанно возникшей модой на термин, но и его, термина, очевидной политической ангажированностью. В устах политиков, исповедующих державность, соборность и различные оттенки русской идеи (от фольклорных до расистских) лексема "Империя" звучит откровенно ностальгически, как воплощение утерянного идеала, высшей цели, к которой заново должно стремиться. Радикалы-западники, озабоченные идеей прорастания семян цивилизованного капитализма на невспаханной российской почве, упоминают Империю в иных тонах: в них сквозит пафос неустанных обличителей отжившего свой век монстра. В любом случае, ссылка на Империю придает убедительности провозглашаемым лозунгам, обеспечивает исторический, так сказать, контекст, из которого черпаются сюжеты для наглядных пособий по агитации и пропаганде. Благо, иллюстраций для мотивации различных политических пристрастий — более, чем достаточно, и "pro et contra" находят как апологеты, так и хулители Империи.

Проблему Империи актуализировала сама распадавшаяся на глазах реальность. Гиперобразование под аббревиатурой СССР прекратило существование, оставив в наследство колоссальные проблемы и множество вопросов. Немало людей восприняли события декабря 1991 г. как "рождественский сюрприз" беловежского триумвирата. Большинству оставалось только гадать о причинах свершившегося грандиозного геополитического катаклизма, имевшего поистине планетарный резонанс. Практически всех интересовало, сохраняется ли вероятность реставрации. Если же нет, то каковы перспективы государственности, столь основательно расшатанной крахом коммунистической идеологии?! В поисках ответов на глобальные бытийные вопросы политологи, историки, социологи, философы, этнологи, литераторы и др. устремились "препарировать" Империю. И — правильно сделали. Ибо, объективно возникнув, эта проблема внезапно обнажила поразительную слабость нашей историографии в том, что касалось строго научного осмысления Империи, как феномена российской государственности. Почти полное отсутствие специальных исследований и дискретность суждений на данную тему в российской исторической литературе (прежде всего, дореволюционной, т. к. советской гуманитарной науке и вовсе нечем похвалиться) не позволяют говорить о сколько-нибудь серьезной академической преемственности в изучении Империи. Одной из первых попытку прояснить причины, по которым классическая русская историография оставила проблематику Империи на периферии своего внимания, предприняла в своей статье "Выбор или судьба?" историк О. Юмашева, размышляющая об имперской традиции отечественной государственности (1).

Вспыхнувший ныне массовый интерес к теме Империи, полемическая острота суждений, вкупе с некоторой расплывчатостью и неопределенностью самого предмета, явились побуждением к данному разговору, имеющему задачей обозреть написанное об Империи в последние годы (ни в коей мере не претендуя на всеохватность и исчерпанность) и по возможности выявить ключевые аспекты, собственно "составляющие" этой комплексной проблемы.

Поскольку интересующая нас проблематика пока не стала предметом академического изучения, сегодня мы ограничимся анализом газетно-журнальной публицистики и отдельных статей, публиковавшихся в научной литературе. Думается, очень скоро появятся специальные исследования, которые заполнят историографический вакуум. Уже происходят некоторые сдвиги в методологическом плане. В 1994 г. вышло в свет новое учебное пособие для высшей школы, написанное Л. И. Семенниковой. "Россия в мировом сообществе цивилизаций" — одна из первых попыток организовать материал лекционного курса для студентов, основываясь на признании цивилизации в качестве определяющего фактора общественного устроения. Империя предстает в работе Семенниковой не как абстрактный термин, отвлеченный предмет исторической атрибутики прошлого столетия, но как реальная, более чем конкретизированная форма государственного обличья России (2). России как предмету, как субъекту и как идее посвящен только что вышедший в свет сборник "Иное. Хрестоматия нового

российского самосознания" (редактор-составитель С. Б. Чернышев). В этой, по определению ее авторов, "метакниге" содержатся весьма ценные и оригинальные наблюдения относительно российского имперства — в культурно-историческом, философском, геополитическом и др. контекстах (3).

Огромный массив исследований на тему Империи, причем в самых разнообразных ее воплощениях, включая и советский вариант (надо заметить, что признания за СССР имперской формы устройства со стороны советских историков не наблюдалось — в силу известных политико-идеологических причин), накопила западная гуманитарная наука. В роли хрестоматийного образца выступила Великобритания: Британская империя подверглась, возможно, наиболее скрупулезному анализу в ставших классическими работах Д. К. Филдхауза, монографиях Д. Дарвина, Э. Д. Хобсбаума и мн. мн. других (4). Российскую империю западные ученые также не обошли вниманием. Особенностям ее государственной системы посвящено множество трудов. Упомянем лишь несколько исследований, появившихся в последние годы (примечательные, кстати, массовым переосмыслением целого ряда исторических концепций не только в российской, но и западной науке, отягощенной малоценным наследием советологических центров с их чрезмерной политизированностью, одномерностью и упрощениями, пригодными лишь для интеллектуального противостояния в ледяном климате холодной войны) (5).

Наиболее заметным среди новейших исследований представляется монография немецкого историка А. Каппелера, получившая высокую оценку специалистов. В центре внимания исследователя — процесс становления России как многонациональной империи на протяжении четырехсот лет (включая и эпоху СССР). Отказавшись от характерного для большинства историков "русоцентрического" подхода, Каппелер сумел объективно проанализировать характер и формы участия многих народов в возведении здания российской государственности. Он проследил эволюцию национальной политики от ее первых шагов до разработки специальных концепций, ложившихся в основу имперского курса на разных этапах истории страны. Россия утверждает Каппелер, была не национальным государством русских, а "династически-сословно легитимизированным государством", а в объединявшей его имперской идее преобладали все же наднациональные черты, несмотря на очевидное родство ее структурообразующих компонентов с русским национальным сознанием (6). Нельзя не отметить и масштабного труда английского ученого П. Кеннеди о мировых империях XVI–XX вв., в котором предпринят детальный компаративный анализ великих держав, поочередно выдвигавшихся на передний план истории. Автор, чью работу можно считать примером современного, "технократического" подхода к исторической науке, избрал военный и экономический аспекты жизнедеятельности крупнейших государств. Триумф одного либо коллапс другого, по его мнению, являлись следствием более или менее эффективного использования экономических ресурсов в период войн. Непрестанно расширявшиеся за счет экспансии державы, пишет Кеннеди, рисковали тем, что потенциальные выгоды от экспансии перевешивала чрезвычайно высокая цена за все это — подобная дилемма становилась особенно острой, когда страна вступала в период относительного экономического спада. В монографии содержится также немало ценных наблюдений относительно Российской империи и ее исторического преемника — СССР. Мощный прорыв России, как, впрочем, и Британской империи после 1815 г. Кеннеди объясняет тем, что обе державы были географически изолированы от других и осуществляли экспансию за пределы Европы. Могущество России автор соотносит с непрерывной экспансией, которая не подавала "ни малейших знаков к намерению остановиться". Индикатором неблагополучия стала Крымская война. Последующее ослабление Российской империи Кеннеди усматривает в целом ряде причин, в частности, в технологическом и экономическом отставании, но прежде всего — в абсолютизме, монополии ортодоксальной церкви на образование, всесилии бюрократии и наличии крепостного права. Что касается Советского Союза, то наиболее его уязвимым местом являлось сельское хозяйство — при том, что столетием раньше Россия являлась одним из двух крупнейших экспортеров зерна в мире. По целому ряду аналогичных малоутешительных показателей Кеннеди (издавший свою книгу в 1988 г.) допускал вероятность распада СССР и опасался возможной непредсказуемости подобного процесса. Однако, по его мнению, в характере и традициях Российского государства не было ничего, позволяющего предположить, что оно когда-либо смогло бы "благосклонно согласиться с закатом империи" (!) (7).

Понятие Империи и ее имманентные признаки, Россия и СССР, как носители "имперских" компонентов — таков основной круг вопросов, рассматриваемых в данном обзоре сквозь призму различных мнений. Начнем с самого термина "Империя", удостоившегося великого множества формулировок и трактовок, по-своему толковавших, что же собственно такое есть Империя. Этимология слова, звука, от которого веет мраморной античной прохладой, корнями уходит в латынь: "Imperium" означает власть. С узурпации власти началась Великая Римская империя, с ее потерей бесславно канула в Лету Великая Советская империя, а между ними пролегла целая вечность, мировая история с ее неизменной имперской доминантой. Эта доминанта ослабла лишь в XX в., кардинально изменившем стилистику мироустройства. На авансцену вышли национальные государства (8). Имперство становилось анахронизмом. Но Россия отклонилась от магистрального пути человечества, точнее, не стала сворачивать со своей имперской колеи...

"Мы в империи. Империя в нас" — так озаглавлена новая рубрика в популярном российском историческом журнале "Родина", пригласившем интеллектуалов к диалогу об Империи. В ходе изящного эпистолярного общения Т. Филиппова и Д. Олейников предварили сей неспешный разговор кропотливыми словарными изысканиями. Не умаляя ценности определений, предлагаемых словарями Брокгауза и Ефрона, Гранат, Даля, Ожегова, Longman и др., воспользуемся все же статьей из классической энциклопедии "Britannica": "Империя — термин для обозначения государства большого размера, а также (как правило) сложного состава, часто, но не обязательно управляемого императором — государство, которое может быть федерацией, как Германская Империя с 1870 по 1918 год, или унитарным государством, как Российская империя до краха, или, как Великобритания, содружеством свободных государств с определенной субординацией. В эпоху Рима термин Империя означал суверенитет

государства над личностью... С наступлением периода империи императорская власть все больше становится частной собственностью императора" (9).

При всей обстоятельности это академическое определение не может дать исчерпывающего объяснения, что неудивительно. "Даже если вынести за скобки баснословные империи типа египетской, ассиро-вавилонской или китайской с их свирепой экзотикой или неподражаемой эстетикой государственности, — размышляет Т. Филиппова на страницах "Родины", — то очень несхожими между собой предстанут и более привычные исследовательскому глазу Священная Римская, Британская, Французская, Российская империи" (10). Каждая из великих империй — это целая вселенная со своей системой мироздания и миропорядка, с трудом поддающимися типологизации и разного рода обобщениям.

Российское государство и наследовавший ему Советский Союз — не более и не менее, чем остальные государства — являют собой пример яркой исключительности и изрядной доли самобытности, как относительно других, так и относительно друг друга (несмотря на их генетическое родство). Однако, думается, что в причинно-следственном ряду взлетов и падений великих империй определяющую роль играли не столько их частные, коренные свойства и черты, сколько общие типологизирующие признаки, совокупность которых, собственно, и выделяет империи из общего ряда государств-субъектов мировой истории. Исследователи по-разному выстраивают своеобразный ранжир подобных признаков.

Вот как формулирует понятие Империи современный российский политолог В. Л. Цымбурский: "Империя — система государственного устройства, складывающаяся в результате интеграции территориальных или этнических образований, многие из которых в потенциале могли бы стать самостоятельными государствами". В данном толковании основное значение придается фактору экспансии, являющемуся важнейшим формальным признаком государства имперского типа. Другие исследователи ставят во главу угла способ организации власти. Так, А. Кара-Мурза считает ключевой характеристикой Империи, ее стержнем — выстроенную сверху донизу иерархию службы, равенство всех граждан перед верховным правителем. В этом смысле А. Кара-Мурза называет Россию более совершенной имперской формой, нежели английская или французская (11). Во многих умах хрестоматийным (а оттого ограниченно-стереотипным) стало восприятие Империи исключительно как государства, состоящего из метрополии и колоний. Даже серьезные аналитики, следуя стереотипу, нередко оперируют дефинициями "метрополия" и "колония" применительно к Российской империи. Н. И. Цимбаев называет Россию "великой колониальной державой", которая несла основы европейской христианской цивилизации народам Урала и Сибири, Средней Азии и Закавказья, ничем не отличаясь от тех же Англии или Франции (12).

У А. Н. Боханова несколько иная точка зрения относительно корректности сравнения России с западными колониальными империями и иное представление о колониальной политике: "Мне никто никогда не докажет, что крестьянин Рязанской губернии имел больше прав, чем крестьянин Кутаисской губернии. В то же же время мы знаем, что житель Манчестера имел больше прав, чем житель Бомбея — и в социальном, и в правовом аспекте" (13). В пользу утверждения, что Россия не была колониальной державой, можно выстроить целую систему доказательств, начиная с географического фактора, который обусловил "живые токи коммуникации" (в отличие от европейских стран и их колоний, разделенных морями и океанами), а также апеллируя к политическим установкам, которыми руководствовалось самодержавие в своей бесконечной экспансии: рассматривать вновь приобретаемые территории, как естественное продолжение России — с последующим распространением на них "всех действующих в империи законоположений" — и всячески внушать населению идеи т. н. "гражданственности", лояльности устоям монархической власти. Что же касается экономического фактора, то слишком очевидными являлись колоссальные расходы, связанные с элементарным хозяйственным освоением новых окраин, порою лишенных даже простейших инфраструктур. Однако Петербург снова и снова шел на столь финансово расточительные действия, всякий раз демонстрируя приоритет государственности перед интересами общества. И если заморские колонии зачастую не приносили метрополиям ожидаемых дивидендов, то и убытков особых не чинили. Россия же постоянно несла непосильные расходы, не справляясь, в сущности, с бременем имперства, и нивелируя все подневольные этносы (в том числе и русский народ) в хронической и беспросветной нужде. В какой еще метрополии уровень жизни коренного этноса был бы сопоставим с условиями существования жителей колонии?!

Вопрос о колониальном или неколониальном характере Российского государства требует особо тщательного, документально-статистического анализа, прежде всего потому, что с некоторых пор за ним кроется серьезная политическая подоплека. "Колониальное" прошлое российских национальных окраин — ныне любимая тема политических спекуляций локального масштаба. Принуждение, насильственные ассимиляция, христианизация, русификация, а то и геноцид — таков стандартный набор упреков "младших братьев" к "старшему", обвинительный вердикт, с которым выходят под свет юпитеров новоявленные "этуали" от политики. А что за душой у оппонентов? Ну конечно же, образ "метрополии" — дойной коровы, перманентное донорство, мессианство, цивилизаторская роль. Стало хорошим тоном злорадно припоминать "неблагодарным националам" былые щедроты, сыпавшиеся на них из рога имперского "изобилия". Что это? Издержки задавленных в этническом подсознании обид (неважно, справедливых или нет), выплеснувшихся, как только народам бывшего СССР пришлось разбирать завалы на руинах Империи и делить ее спорное наследство? Но ведь эмоциям давно пора было поостыть, ведь наследство уже растащено по национальным квартирам?!

Обывательский, бульварный уровень полемики на данную тему (к слову сказать, кочующую из статьи в статью, что напрочь лишает нас возможности перечислить весь тот вал газетно-журнальной продукции, в котором она прозвучала — только ленивый не порассуждал по поводу метрополии и колоний) дает основания говорить и о таких по-человечески понятных издержках, как историческое невежество пишущих, порою весьма слабо осведомленных о предмете своего сиюминутного и безусловно конъюнктурного интереса. Увы, но эксплуатация такой хрупкой материи, каковой является национальное чувство, стала уже общим местом: создается впечатление, что народы пресловутого СНГ участвуют в мазохистском конкурсе на звание самого обиженного. Похоже, именно

таким образом проявляется хроническая болезнь, поразившая ноосферу бескрайнего евразийского пространства — всеобщий комплекс национальной неполноценности. В этой связи вспоминаются слова, приписываемые сэру Уинстону Черчиллю. На вопрос, отчего в Великобритании редки случаи проявления антисемитизма, он ответил: потому что мы не считаем себя хуже евреев.

По-видимому, избывание данного комплекса станет возможным только тогда, когда в с е осознают, что они не хуже и не лучше других (вне зависимости от численности, вклада в мировую культуру и прочих, сомнительных в данном смысле, критериев), и прекратятся бессмысленные и неконструктивные, чтобы не сказать, губительные, счеты народов друг к другу. В большей степени это касается не столько самих народов, сколько выступающих от их имени лидеров элит, развязавших опасные националистические игры со смрадным душком этнофобий. В подобных экстремальных обстоятельствах на плечи историков ложится дополнительный груз ответственности. Об этом неоднократно говорилось и писалось. А. Иванчик в статье "История — учительница жизни: горькие плоды учения (историческая подоплека этнических конфликтов)" предупреждает, что в условиях конфликтности и даже самой угрозы конфликтов истории не следует претендовать еще и на роль судьи современности (14). Однако объективный взвешенный анализ прошлого, свободный от обвинительных сентенций, нисколько не возбраняется. Ученым еще только предстоит разобраться в архитектонике Российской империи. С появлением же новейших современных исследований неизбежно прекратится массовое тиражирование примитивных клише типа "Россия — тюрьма народов" или сусально-приторных причитаний по безмятежной лубочной старине, словом, по "России, которую мы потеряли".

Каковы основные системные признаки государства имперского типа?

Во-первых, сакральный характер власти, обычно осуществляемой без посредничества промежуточных — между правителем и народом — органов и учреждений.

Во-вторых, экспансия, как неизменная интенция и как "modus vivendi", и ее следствие — размеры, масштабы территории (при этом ядро государства может быть совсем небольшим, приращение обеспечит экспансия).

В-третьих, наличие центра и периферии, окраин, провинций, либо метрополии и колоний.

В-четвертых, полиэтничность и доминирующий (над всеми остальными, отнюдь не всегда численно) этнос или группа этносов.

В-пятых, общая идеология (ею может быть и религия, не обязательно исповедуемая большинством населения).

В-шестых, претензии на мировое значение, а то и на мировое господство.

Примеряя перечисленные выше признаки к конкретным имперским моделям, мы обнаружим немало исключений, вовсе не противоречащих идеальному образу Империи, но скорее свидетельствующих об известной инвариантности ее исторических воплощений. Достаточно сказать, что классическая Британская империя в период своего наивысшего могущества имела представительные органы. А в России границы центра и периферии всегда были аморфны, неопределенны, нечетки. Что следовало считать центром: Петербург с окрестностями, европейскую часть страны или ареал расселения русского этноса?! Французский ученый

А. Безансон относит к особому типу империй Соединенные Штаты Америки, однако в Америке понятие центра практически отсутствовало. Отвоеванное у природы и индейского населения пространство сразу становилось однородным, организованным "по горизонтали". С. Королев видит в этом главное отличие США от России, в которой регулятором колонизации являлся Центр (15).

Вообще, вопрос о степени соответствия России имперскому типу государств — в их классическом, так сказать, воплощении — нелишне предварить другим, все еще не проясненным вопросом — о хронологических вехах (хотя бы приблизительных) имперского периода российской государственности. О. Юмашева отвечает на этот вопрос абсолютно конкретно: классической империей наше государство может считаться только в промежуток между 1794 и 1917 годами, в течение 123-х лет. Начальная дата связывается с подавлением первого восстания в Польше под предводительством Тадеуша Костюшко (16). Избрав в качестве отправной точки прецедент проявления "имперского духа", О. Юмашева совершенно игнорирует тот факт, что экспансия развернулась задолго до рубежа XVIII столетия — а что, как не экспансия, и есть проявление "имперского духа"?! Но избежим полемического соблазна и безответственности априорных утверждений. Оставим разрешать эту проблему автору будущей книги об Империи: ему в любом случае доведется пройти весь путь от Московского княжества и средневековой Руси до Российской державы (на момент кончины императора Александра II первого марта 1881 г. "обнимавшей" 22.189.368,9 кв.км.!), чтобы доказательно зафиксировать отправную точку имперской "пульсации", и затем, возможно, продолжив этот нелегкий маршрут, окунуться в государственную казуистику советской империи, дойти до конечной даты, если, разумеется, она (1991 г.) окажется конечной — одному Богу известно, к какому берегу пристанет отяжелевшая от пробоин лодка хилой российской "демократии".

Даже беглый ретроспективный взгляд на историю России выявляет поразительный, трудно поддающийся осмыслению феномен: процесс расширения российской государственности шел п е р м а н е н т н о н а п р о т я ж е н и и с т о л е т и й (!). В мировой практике не существует аналогов и эта геополитическая экспонента, пожалуй, есть самая уникальная особенность России. Поглощение новых территорий, населенных различными этносами, сопровождалось последовательным политико-административным их освоением. Постепенно складывалась централизованная империя, подчинявшая сопредельные земли строго иерархично, от микроцентров власти к ее макроцентру. Инстинкт, а не расчет двигал этим процессом, считает А. Левандовский. Сравнивая Российскую империю с Британской, давшей блестящий пример техники завоевания, А. Левандовский утверждает, что Русская империя развивалась на органике, потому и была так устойчива, пластична (17). Россия эволюционировала в централизованное государство со строго вертикальной иерархией подчинения. Пресс государства давил одинаково на всех. Оно, по мнению В. С. Ерасова, выступало, как носитель наиболее универсального принципа, объединяющего столь разноликий конгломерат социальных и культурных структур, к тому же большей частью ограниченный в своих смысловых ориентациях. Только государство, продолжает автор, могло выходить за локальные пределы, соединяя в себе Запад и Восток, Север

и Юг на огромном пространстве от Варшавы до Калифорнии, а затем Чукотки и Кушки, обеспечивая несомненное единство пространства и населения в политическом, административном, а в определенной степени и хозяйственном планах. Империя была более универсальной, чем ее официальная религия и культура. В своей статье "Выбор России в евразийском пространстве" В. С. Ерасов пишет: "Именно степенью универсальности Российская империя отличалась от других подобных ей имперских образований того времени, что делало ее и в самом деле продолжением и подобием первого и второго Римов, придавало ей такой огромный масштаб и длительную устойчивость, несмотря на то, что XIX век все больше обнаруживал ее хозяйственную и военную слабость" (18).

Девятнадцатое столетие завершило целую эпоху инкорпорации народов в Российское государство, превратившееся (в первую очередь, благодаря колоссальным масштабам) в суперимперию. Расовые и этнические особенности этносов не помешали вовлечению их разноукладных социальных организмов в новую общность, сложившуюся в результате добровольных, вынужденных и насильственных присоединений. Многочисленные микросоциумы интегрировались в некую универсальную систему, имперскую структуру, навязавшую им качественно иной тип социализации, не искоренявший, впрочем, — до известных пределов, — и традиционных их укладов и норм жизни. Основанием той цельности, которой стала российская цивилизация, "ее единой и единственной матрицей" явилась, по мнению Б. Г. Капустина, государственность (19).

Что еще цементировало это гигантское образование, чья военная и экономическая мощь #всегда# опережала развитие общества, словно обреченного приносить жертвы на алтарь государственности? Любопытное объяснение дает в статье "Судьба России: гадание или геополитическая наука?" С. Добровольский: объединявшей суперэтнос основой являлась многовековая территориальная сверхзадача и доминанта всего развития страны. "Геополитические интересы, — утверждает он, — воспринимались наиболее прогрессивными для того времени и талантливыми русскими людьми (вспомните "Клеветникам России" Пушкина!) точно так же, как и простыми солдатами из крестьян — как общенациональная программа" (20).

Чуткий компас российской геополитики безошибочно угадывал сулившие удачу направления экспансии. Его стрелка указывала на Восток, лишь изредка отклоняясь от этого неизменного ориентира. Расползавшаяся по азиатскому континенту Империя постепенно обретала свою идентичность, тот неповторимый генетический код, с которым ее облик получил некую знакомую нам завершенность. Уникальность России (которую, кстати, зачастую чрезмерно утрируют) заключалась не только в территориальной необъятности или многообразии природных и климатических зон, но, прежде всего, в концентрации различных цивилизационных векторов. И эта родовая особенность российской Империи не переставала волновать исследователей. "Тяжесть евразийского пространства — не в верстах и не метафора она, — размышлял М. Гефтер. — Это диктат цивилизационной разноукладности, свести которую к непререкаемому тождеству способно, если способно, лишь систематизированное насилие" (21). Иначе смотрели на евразийское пространство сами евразийцы, чье наследие в последнее время вновь привлекло внимание исследователей. Россия, считали они, своим географическим положением исторически призвана уравновешивать два мира, два антагониста — Восток и Запад, органично совмещая в себе самой оба этих начала (22). Идеи евразийцев активно разрабатывают многие историки и политологи. В частности, С. Кургинян считает, что русский народ сотворил концепцию полифонического единства всех цивилизаций мира (23). Эту концепцию, имеющую своим религиозным символом неслияние и единство святой Троицы, Кургинян именует русской идеей в ее глобальном общечеловеческом смысле. В различных ликах русской Евразии, утверждает он, нам явлен особый тип союза народов и союза культур. С этой точки зрения, Империя — органична и оба социокультурных массива (Запад и Восток) неразрывны. По Гефтеру, подобный союз неестествен, навязан сверху и насильственно удерживаем. Дает ли имперская история однозначный ответ на этот всеобъемлющий вопрос?! Ученые все еще продолжают полемизировать: представляла ли собой Россия целостную геополитическую систему, органично сцементированную, или это было грандиозное искусственное образование, удерживаемое как целое мощью государственной машины.

Проблема амбивалентности России имеет богатое историографическое наследие. Достаточно сказать, что ей посвящен целый пласт оригинальных размышлений выдающихся отечественных философов Н. Бердяева, С. Булгакова, И. Ильина, Н. Трубецкого, Г. Федотова, Г. Флоровского и др. Но сегодня она вновь в центре внимания. Mass-media переполнены абстрактно-поэтическими сентенциями в киплинговском духе (со сноской на разницу в масштабе дарований). Серьезных же аналитиков по-прежнему волнует вопрос о влиянии культурных архетипов Запада и Востока на облик Империи и вектор ее исторического развития — как изнутри, так и вовне. "Восточничеству" — своеобразной идеологии имперства на рубеже XX в., посвящена статья историка Д. Схиммельпеннинка ван дер Ойе (Нидерланды), опубликованная в журнале "Родина". По мнению автора, восточничество было идеологией, слишком соблазнительной, а потому опасной для политического здоровья Российской империи. Идеи Пржевальского, Ухтомского и других мыслителей на пути их политического воплощения с неизбежностью облучались экстремизмом. А император, вдохновляемый такими людьми, позволял втягивать себя в авантюры на Востоке, приведшие в итоге к катастрофе Цусимы (24). Впрочем, сугубо западная ориентация Петербурга также не всегда оборачивалась для него викториями. Впервые лицом к Западу Россия повернулась после Тридцатилетней войны и появления системы международных отношений, сформированной Вестфальским миром 1648 г., напоминает нам американский исследователь Т. Тарановски. Анализируя этапы пройденных Россией различных эпох, Тарановски обращает внимание на поразительное разнообразие государственных и культурных типов, продемонстрированных Россией миру. Он категорически не приемлет распространенный на Западе (и наиболее ярко отраженный в работах Р. Пайпса и Э. Киннана) взгляд на Россию, как на страну замкнутой на себя политической культуры, неизменно воспроизводившей в веках свою архаику, и настаивает на безусловной динамике и разнообразии ее исторического развития (25).

Реалии геополитики во многом определили природу России, не только как государственного образования. Образно говоря, география переместилась

в сферу общественного сознания, обусловив его двойственность и противоречивость. В данной связи любопытны наблюдения поэта Д. Пригова о т. н. славянской душе: "Эта душа никак не может себя обнаружить сама. Она все время как бы плавает... с Запада на Восток. Ее движение абсолютно не казуально, не фундировано какими-то рациональными объективными оценками. Это некий стихийный процесс, под который можно подсовывать термины Данилевского, Шпенглера, Гумилева или более мистического Даниила Андреева — какие угодно. Но явно присутствует момент иррациональности. Поэтому уловить это флуктуирующие движения очень трудно" (26).

Психоментальный фактор — весьма существенная часть проблемы Империи, реконструкции ее бытия во времени и пространстве. Можно ли говорить, что в России выкристаллизировалось общее имперское сознание? Если нет, то как удавалось сохранять сосуществование народов внутри государства столь продолжительное время? Корректно ли объяснять это только ссылками на силу репрессивного аппарата?! Возможно, один из ответов кроется в утверждении В. Булдакова, что империя "не только давит личность, но и мысленно возносит своих подданных на бытийственно недостижимую онтологическую высоту, ориентируя в пространстве и времени. Она по-своему предлагает решение проблемы личного бессмертия, трансформируя обыденную тупиковость в иллюзию приобщения к запредельному величию. Даже чужеродные и малые этносы в принципе способны найти в империи некую новую возвышающую идентичность" (27).

Каким образом малые этносы обретали "имперскую" идентичность? Как проходил процесс их адаптации и в какой мере влиял на этот процесс, в частности, конфессиональный фактор? Нетрудно предположить, что народам, исповедовавшим православие, удавалось интегрироваться в лоно Империи гораздо более безболезненно, нежели носителям иных вероисповеданий, острее ощущавших свою чужеродность в православном государстве. В привилегированном положении находился русский народ, который, если верить английскому историку Д. Хоскингу, идентифицировал себя с Империей в значительно большей степени, чем это происходило с другими народами Европы (28).

Аура Империи сокрыта от нас мощным заслоном продукции советской исторической науки, зачастую добротной и качественной, однако начисто лишенной живого дыхания жизни. Отныне служители Клио, избавившись от тягостных пут марксистско-ленинской догматики, вольны заглядывать и в сложный непостижимый мир человеческой психики, соотносить привычный рационализм научных конструкций с хрупкой материей иррационального, со сферой менталитета (еще одно модное нынче слово). Каждому из населявших Империю этносов была присуща своя особая ментальность, во многом определявшая взаимоотношения с государством, влиявшая на место и роль того или иного народа в системе имперских координат. В свою очередь, была ли свойственна Империи не только социокультурная, но и своего рода, этнопсихическая мимикрия, и если да, то как далеко она могла заходить в стремлении приобщить нередко чуждую ментальность инородцев к пресловутой "гражданственности"? Формировавшиеся веками стереотипы восприятия народов правящей элитой (и наоборот) в немалой степени обусловливались глубиной различий менталитетов — и сколько искаженных понятий и ложных мнений вплелось в ткань имперского сознания правителей и их вассалов! Подобные издержки, порожденные невежеством, а нередко, всего лишь извечными российскими "леностью и нелюбопытством", тянутся шлейфом до сегодняшнего дня...

Пока что историки преуспели в живописании психического склада отдельных великих персонажей нашей истории, вроде Ивана Грозного, Екатерины Великой или Иосифа Сталина. Хотя, нельзя не признать, что мера влияния последних на ход событий нашего прошлого значительно превышает стандарты представлений человечества о роли личности в истории. "Где еще личность властителя, черты его характера, его мании и фобии накладывают столь сильный отпечаток на историю страны, на ее движение, на ее взлеты и падения? Отсюда и то внимание, с каким в России и в мире всегда следили за настроениями, депрессиями и капризами очередного царя и генсека — как много от этого зависело!" (29). К сожалению, данная фатальная зависимость до сих пор довлеет над отечеством, с той только разницей, что народ уже окончательно и, кажется, необратимо избыл свои иллюзии, веру в "справедливого и хорошего" правителя. В последние десятилетия мы являлись свидетелями процесса абсолютной десакрализации власти: одна из основополагающих имперских доктрин (особенно значимая в России) потерпела сокрушительное поражение (30).

Что придавало устойчивость физической конструкции Империи, обеспечившей значительную, в масштабах мировой истории, продолжительность ее существования? Этот вопрос взаимосвязан с устройством и эволюцией административной системы, исследованию которой советские историки не уделили должного внимания (по той же причине, по которой самыми непригодными для пользования изделиями полиграфической промышленности страны победившего социализма являлись атласы и карты). До сих пор мы не имеем цельной картины политико-административного каркаса Империи, ее таксономических показателей. По мнению В. Уколовой, в XIX в. Россия почти непостижимым образом соединяла признаки как рыхлой, так и централизованной, бюрократической империи. И это придавало ей определенную устойчивость. Попытки все "выправить", унифицировать, облечь в общепринятую "цивилизованную" форму приводили к обратным результатам — дезинтеграции и хаосу.

Еще одним фактором устойчивости Империи Уколова считает практику интегрирования местных элит в центральную власть (31). Социолог А. Филиппов утверждает, что эффективное имперское руководство могло быть только косвенным, при более или менее добровольном соучастии в исполнении господства со стороны тех, кто ему (имперскому руководству — *Л. Г.*) подчинен. Подобное было возможно только в том случае, если местные элиты предпочитали подчинение самостоятельности, что, в свою очередь, предполагало их постоянную инкорпорацию в центральную элиту (32). Аналогичное наблюдение принадлежит Д. Хоскингу, который, условно проецируя российский опыт на британскую почву, прибегнул к весьма образному пассажу: "Как если бы королева Виктория имела обычай назначать индийских набобов на должность лорда-лейтенанта графства Сассекс" (33). В самом деле, нелепо представить, чтобы английский нобилитет и индийские магараджи уравнялись в правах и получили одинаковые привилегии, как это происходило с родовой знатью российских провинций,

не только регулярно востребуемой властью, но и вносимой в родословные книги русского дворянства (!). Это ли не аргумент в пользу "неколониального" характера Российской империи?!

Что погубило Империю? Какие факторы обусловили деструктивную стихию 1917 г.? Под покровом имперского благолепия, утверждает В. Булдаков, всегда таился первозданный хаос. Отношение людей к власти в равной мере было чревато взрывами и "расколами". Анализируя конкретную предоктябрьскую ситуацию, историк заключает, что харизма Николая II не состоялась. Образ объединяющего носителя имперской идеи рухнул, затем последовал всеобъемлющий кризис (34).

Многие исследователи видят причину гибели Российского государства в крушении имперской идеи, хотя вкладывают в это понятие разный смысл. С. В. Лурье в своей статье "Российская империя как этнокультурный феномен" пишет, что Российская империя, как особый феномен, могла существовать лишь до тех пор, пока могло выражаться ее идеальное содержание, хотя бы в противоречивой форме, пока она имела смысл и значение в глазах русского народа. Подавление религиозной составляющей имперского комплекса разрастающейся этатистской составляющей неизбежно влекло за собой кризис народного имперского сознания, что и потребовало создания иной, более интернациональной модели общественного жизнеустройства (35). Аналогичное суждение принадлежит Т. Н. Очировой, которая полагает, что собранная из многих народов российская вселенная утратила свой скрепляющий стержень — идеологию универсализма (христианскую философию универсализма, давшую возможность Московии утвердиться на просторах Евразии), которую сугубо политическая идея империи не могла плодотворно заменить (36).

Встречаются и другие мнения. А. Кара-Мурза предполагает, что крах Российской империи в начале нашего века произошел из-за недостижения ею полноты имперского универсализма, из-за серьезных нарушений принципа надэтнического подданства (37). Американский ученый Джоан Аффериса утверждает, что всему виной были прогрессирующая слабость и конечный крах центра, а не усилия русских и нерусских массовых движений (38). Что касается последнего, на этом стоит немного задержать внимание. Обвальный поток постсоветской публицистики — в столице и провинциях — то и дело выносит на поверхность не выдерживающие серьезной критики суждения о широком размахе и силе национальных движений в Империи, а также о нациях, как сформировавшихся образованиях. Вероятно, любители удревления наций и раздувания мощи национально-освободительных движений (само это понятие, надо сказать, часто употреблялось неадекватно, применительно к реалиям XIX в.) забывают, что т. н. этническая идентичность в России была выражена крайне слабо. Этнодифференцирующим критерием выступала конфессиональная принадлежность. Можно ли говорить (даже имея в виду начало XX в.) о сложившихся нациях в стране, по сию пору переживающей процесс нациогенеза?!

Довольно уязвимыми выглядят гневные обвинения, бросаемые некоторыми публицистами большевикам, в развале буколической гармонии Российской империи. Такого рода представления делают честь небольшой группе революционеров во главе с Лениным, всего лишь умело и ловко воспользовавшимся сложившейся в государстве политической, экономической и общественной ситуацией — в условиях глубочайшего кризиса самодержавия.

Тот факт, что на развалинах романовской империи возникла империя ленинская, далеко не все склонны рассматривать, как непреложный. Вопрос о правопреемстве большевистского режима относительно Российской империи вызывает множество споров. По характеру суждений на данный предмет отчетливо прослеживается весь спектр политических пристрастий, господствующих в современном обществе. Скажем, радетели почвенничества и признания за Россией мессианской роли обычно отказывают двум державам в кровном родстве, очевидно не желая запятнать светлый образ "богоизбранного" отечества отождествлением с тоталитарным режимом Сталина, который скомпрометировал себя преступлениями против человечности. Ярым западникам свойственно помещать Россию и СССР в один типологический ряд, приписывая им общие глобальные изъяны. Возможно, разрешению этого эсхатологического спора помогло бы сквозное, компаративное исследование, охватывающее оба пласта нашей истории, до- и послеоктябрьский. Такого рода исследование и нынешнему государственному строительству могло бы быть небесполезным, дабы, по возможности, предостеречь от сползания этого многотрудного процесса к архаичным и обветшалым формам.

"Сейчас мы не располагаем никакими объективными основаниями, позволяющими взвешенно, сиречь научно, судить о характере советского государства в господствовавших его фазах" — таково категоричное мнение О. Юмашевой и с ним трудно не согласиться. В самом деле, так ли уж хорошо мы осведомлены о существе советской государственности? Долгие годы для исследователей были недоступны архивные материалы, позволяющие приоткрыть завесу таинственности, свойственной стилю правления коммунистических вождей. По сей день многое остается непроясненным, противоречивым...

Культуролог В. Махнач отрицает "имперскость" Советского Союза, признавая за ним лишь некий имперский декорум в виде официальных погон, генеральских званий, архитектурного "ампира" и гимназических фартучков на школьницах. Сравнительно с Российской империей, СССР сменил приоритеты во внешней политике и допускал неимперское поведение внутри страны. Последний тезис означает, что в Советском Союзе нарушался основополагающий, по Махначу, принцип взаимоотношений народов, когда малый народ противостоит среднему вместе с большим, не представляющим угрозу для малых народов (39).

Некоторые исследователи считают СССР прямым наследником Российской империи. Но, если преемственность была, то уместно задаться вопросом, а каким, собственно, образом она состоялась. Что первично: неоимперские притязания большевиков или хроническая имперская доминанта, подчинившая и скорректировавшая планы новых хозяев России? А. Левандовский утверждает, что внутренняя органика империи изменила большевистский замысел, первоначально ориентированный на разрушение всего имперского. "Дух России" или, если угодно, инерционный процесс, — говорит он, — оказался сильнее "духа времени", во всем мире изживавшего имперскую государственность (40).

В. Булдаков пытается взглянуть на события трагических для России лет снизу. В 1917–1921 гг., говорит он, и рабочие, и крестьяне, и малые этносы пытались решить задачу самостоятельного выживания. Как только их энергия истощилась, возродилось старое, патерналистское представление о власти. И, поскольку мировая революция обернулась эволюционной подвижкой в сторону социализма, замечает автор, последовала автаркистская стадия существования "красной империи" (41).

По наблюдению Б. С. Ерасова, имело место явное типологическое сходство с "традиционными" незападными цивилизациями, а в ряде случаев и с Российским государством, формирующейся "социалистической" цивилизации, которая была сориентирована на то, чтобы "превзойти" всех: Запад, Восток и, конечно, Россию (42).

Удалось ли советской системе реанимировать родовые имперские признаки и сочетать их с постулатами коммунистической идеологии? Во всяком случае, "государство нового типа" быстро сбросило с себя "романтические" красные одежды большевизма, чтобы облачиться в тоталитарную униформу (тогу?) сталинизма, тоже, впрочем, кроваво-красную. Очередной колосс, явивший себя человечеству на просторах Евразии, принялся слишком рьяно укреплять здание своей государственности, беспощадно сметая малейшие помехи, не только реальные, но и воображаемые – инквизиторская его подозрительность общеизвестна. И если вопрос об особенностях советской государственности остается открытым, то ее, с позволения сказать, нравственные изъяны абсолютно очевидны. Но это – тема совсем другого разговора.

Если принять за аксиому, что Советский Союз унаследовал имперскую традицию, останется определить степень преемственности. В самом деле, сходства много: практически тот же географический контур (за некоторыми незначительными изъятиями либо приращениями), все та же полиэтничность, схожая организация пространства – строго иерархично, снизу вверх, от периферийных микрокосмов власти к ее макрокосму – Центру, всеобщая идеология, "богоносность" вождей, и проч., проч. Однако и различия лежат на поверхности. В своей централизации Союз пошел значительно дальше Российской империи. Будучи формально федеративным государством, СССР фактически являлся государством унитарным, можно сказать, гиперцентрализованным. Жесткая структура власти обеспечивала тотальный контроль над всеми внутренними образованиями. По словам В. Каганского, нигде и никогда управленческий каркас не становился главным конституирующим элементом пространственного устройства, как это произошло в стране Советов (43). При всей видимой универсальности Российской империи, ее преемник оказался системой еще более универсалистского типа. Коммунизм, как идеология и новая квазирелигия стал супермировым явлением, превзойдя в этом смысле православие (44).

Воплотив родовые имперские признаки, Советский Союз обрел и некие специфические черты, отличавшие его от всех изобретенных человечеством типов государственности. Один из участников диалога в журнале "Родина" считает величайшим парадоксом СССР то, что наряду с традиционными космополитическими основами построения империи (завоевание, подчинение, включение в "общее пространство", интернационально-классовый лозунг), большевики "умудрились" подключить к ее созданию еще и этнический принцип. Это, по сути, противоречило имперской надэтничной государственности, но в советской практике удивительным образом сочеталось (45).

Сюжет развивает и В. А. Тишков: большевики решили реализовать право на национальное самоопределение в рамках единого государства, построив его на принципах "социалистического федерализма", который должен был отличаться от "буржуазного федерализма" тем, что брал за основу внутригосударственного деления не просто территориально-административную модель, а "национальную государственность". В. А. Тишков считает, что именно с этого момента начался гигантский социальный эксперимент так называемого "национально-государственного строительства" – создания, по словам американского историка Р. Суни, "единственного в мире государства, построенного по этническому принципу" (46). Согласно широко распространенному на Западе мнению, данное обстоятельство и предопределило будущий распад Советского Союза. Как этническая империя, он мог существовать лишь при наличии противовесов в лице партии и репрессивных органов. Если рухнуло бы что-то одно, то вся система обречена была разрушиться, чему подтверждением и стали события 1991 г. (47). Но, прежде чем эти эпохальные события случились, прошло долгих 74 года.

Как же "работала" этническая "бомба" все эти годы? А. Кара-Мурза утверждает, что советская Империя, выступая как универсализующее начало, ослабляла этнократические претензии, ибо ее гнет не только подавлял гражданское общество, но и сдерживал этнократическую войну всех против всех (48).

Неудивительно, что в первую очередь внимание исследователей привлекла "этническая" особенность СССР – слишком явственно прослеживается ее причинно-следственная связь с наиболее трагическими проблемами сегодняшнего дня: межэтническими конфликтами и проявлениями этнофобий. Сама жизнь диктует и другие сюжеты, в той или иной мере раскрывающие имманентные черты Империи Кремля.

С перестроечной оттепелью резко ослаб несущий каркас Империи (жесткий контроль со стороны партийных и карательных органов) и сразу же возникла, точнее, не возникла – ибо всегда существовала, – а обострилась проблема Центра и периферии. Во взаимоотношениях последних определяющую роль играют элиты, которым социолог А. Филиппов посвятил свой анализ. Как известно, эффективное имперское руководство возможно лишь при соучастии местных элит. Если они регулярно инкорпорируются в состав центральной элиты, то у них появляется и компетенция, и легитимность, чтобы ставить свои требования в духе своих собственных региональных интересов. Проблема СССР, по мнению А. Филиппова, состояла в отсутствии народа, который бы составлял его ядро, хотя центральная номенклатура и являлась русской. Мы имели имперскую власть без имперского народа, – утверждают И. М. Клямкин и Т. И. Кутковец (49). Тонкий слой номенклатурной элиты – это было все, что удерживало Империю и во внешнем отношении, и внутри. Но интересы центральной и периферийной элит постепенно переставали быть тождественны. Внутренние части государства все больше начинали идентифицировать себя с внешними, не усматривая необходимости в том, чтобы сообщаться между собой или другими странами через центр. Здесь и заключалась дилемма "контроля и кооптации", которую

исследователь, вслед за немецким социологом Г. Бюллем, называет главной дилеммой Империи (50).

Советский Союз как весьма специфическую государственную систему едва ли возможно оценивать, не прояснив окончательно (на документальной основе, с привлечением "особых папок" и кремлевских досье) механизм осуществления власти в этой парадоксальной "этнической" Империи. Персонифицированы ли, с точки зрения характера государственности, пять основных ее периодов (ленинский, сталинский, хрущевский, брежневский и горбачевский)? Неужели только степенью гуманизма двух исторических персонажей разнятся между собой государства Сталина и Горбачева?! Какую эволюцию претерпела наша государственность: СССР образца 1922 г. и 1991 г. — это одно и то же? А если менялся ее характер, то как в этом смысле трансформировалось имперское начало? Может быть, оно возобладало вовне или внутри страны? Или оставалось неизменным и доминировало над обществом, нивелируя и сводя на нет любые реформаторские усилия?!

Серьезное осмысление советской государственности представляется сверхактуальным на фоне сегодняшней ситуации в России, с ее невнятной государственной ипостасью, то ли обращенной в будущее, то ли завязнувшей в прошлом. А прошлое, как свидетельствует философ, далеко не так безопасно, как может показаться, ибо оно часто бывает целиком "набито непереваренным и непережитым будущим" (М. Мамардашвили).

Между Советским Союзом и Российской Федерацией пролегла слишком хрупкая грань, чтобы отчленить конец одного государства от начала другого, тем более, что старт строительству новой государственности был задан, в некотором роде, финалом прежней. Сам факт прекращения существования СССР интенсивно обсуждался все эти годы и оценивался скорее негативно, чем позитивно — в первую очередь, из-за способа осуществления. "Долгие тысячелетия, несметные ушедшие в небытие племена-мигранты и считанные часы, трое людей в охотничьем заповеднике — соизмеримы ли?" — вопрошал М. Гефтер, вовсе не испытывавший ностальгии по Империи, как таковой (51). Еще определенней высказался Д. Фурман: "Стыдно за легкость и бездумность разрушения государства, совершившегося совсем не так, как англичане, например, демонтировали свою империю — сознательно и планомерно, а как-то сдуру, под пьяную лавочку" (52). По мнению Цымбурского, существуют два варианта демонтажа империй. При одном — элиминируется место империи в мировом геополитическом раскладе, отчего структурно преобразуется весь этот расклад. В другом варианте периферийные владения отпадают, ища собственной участи, но ядро империи сохраняет роль, связанную с прежней державной ролью одной из форм наследования (53). В статье под красноречивым заголовком "Должна ли Россия быть имперской?" В. Гущин заметил, что та острота, с которой протекает процесс национально-государственного самоопределения, во многом объясняется тем, что бывший Советский Союз не только по-советски создавался, но и по-советски разваливался (54).

В публицистике последних лет не было недостатка в размышлениях на тему "вселенской" потери. Далеко не все аналитики убеждены, что Империя закончилась в 1991 г. А. Малашенко считает, что понятия Россия и Империя остаются синонимами: даже уменьшенная, более однородная в этническом плане Россия будет сохранять имперские традиции. Напоминая о склонности любой империи к саморегуляции, А. Малашенко в то же время скептически смотрит на возможность восстановления СССР. Но "имперскость", говорит он, "неизбежная черта российской государственности, объективное следствие ее исторического развития. "Имперскость" входит в наш национально-государственный генотип" (55).

А. Малашенко вторит В. Рыбаков, уверяющий, что Империя есть судьба России. Он противопоставляет имперское сознание большевистскому, относя все политические издержки современной России на счет последнего и сетуя по поводу нехватки как раз имперского сознания (по Рыбакову, системы ценностей, в которой приоритетное место отведено поиску некоего общего пути, с учетом напряжения всех дорог) в действиях власть предержащих (56). А. Левандовский утверждает, что России от Империи некуда деваться, однако иными должны стать отношения между народами, имеющими давние претензии к российской государственности (57). Все эти мнения резко расходятся с позицией А. И. Солженицына, еще в 1990 г. в своем очень известном произведении "Как нам обустроить Россию" заклинавшего "русское национальное самосознание" избавиться от "пространнодержавного мышления". "Нет у нас сил на Империю! — и не надо, и свались она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, и ускоряет нашу гибель" (58).

Чем, в сущности, является нынешняя Российская Федерация? Ответа до сих пор нет, говорит А. С. Ципко, сетующий на то, что правящая группа Ельцина не только не ответила на главные идеологические вопросы, но даже не смогла их сформулировать. Причину идеологического кризиса, переживаемого правящей группой, А. С. Ципко видит в дефиците исторического сознания, в том, что они пришли к власти на идее разрушения Центра, то есть исторически сложившегося государства (59). Однако справедливости ради следует сказать, что попытки сформулировать некую идеологему нового государства все же предпринимались. Одной из первых таких попыток, надо полагать, была почти программная статья С. Станкевича "Держава в поисках себя" (60), имевшая широкий международный отклик (на нее ответили Леон Арон из американского института предпринимательства, Френсис Фукуяма из Рэнд-корпорейшн, Джим Хоугленд, помощник главного редактора газеты "Вашингтон-пост", Брюс Д. Портер из Института стратегических исследований в Гарварде). В пространном экзерсисе С. Станкевича, претендовавшем на доктринальность, имела место безнадежная затея: вывести новую "породу" государственности (прямо по Трофиму Лысенко) — что-то вроде демократической Империи или имперской демократии, т. е. объединить в одной упряжке "коня и трепетную лань". По-видимому, здесь нелишне выслушать и мнение такого опытного (хотя отнюдь не беспристрастного во всем, что касается России) государственника, как З. Бжезинский. Вопросу, что есть Россия — государство-нация или многонациональная империя — он предпослал простую дилемму: Россия может быть или империей, или демократией, она не может быть тем и другим сразу (61).

Спустя три (после выступления С. Станкевича) невразумительных года, не только не добавивших идеологической убедительности концепции "державы",

но основательно разрушивших ее "миролюбивый флер", Б. Туманов винит державников в том, что они норовят снова увлечь Россию на "унылое бездорожье кустарного государственничества, грозно напоминая себе, соотечественникам и окружающему миру, что "русские медленно запрягают, зато ездят быстро". Так-то оно так, но кто, черт побери, сказал, что русские должны вечно ездить на телеге?" — вопрошает Б. Туманов (62). А С. Ковалев видит в "державности" самую серьезную для России опасность, корни которой уходят в традиции российской государственности. Это, говорит он, не синоним сильной и эффективной власти, обеспечивающей защиту прав, интересов и безопасности граждан. "Державность" — азиатское отождествление государства как самодовлеющей силы, стоящей вне общества и над ним (63). Наследниками орды называет державников и С. Алексеев. Для него "державность" отождествляется с имперской государственностью тиранического типа (64). В рассуждениях многих аналитиков идеология "державности" смыкается с такими понятиями, как "имперское мышление", "имперский синдром", "имперский патриотизм" и проч., проч. (65) Автор статьи "Византийское проклятие" Я. Шимов считает, что российские политики навязывают согражданам свой "имперский комплекс", будучи сами терзаемы "фантомными болями" (66). Насколько подвержены данному недугу сограждане, судить чрезвычайно сложно: в вихревом потоке политических событий, сопровождавших историческую смену формаций, былой монолит идеологических пристрастий населения раскололся на мириады взглядов и воззрений, сообразных уровню интеллекта, социальным установкам и культурным потребностям каждого из жителей прежнего СССР. С уверенностью можно утверждать лишь одно — гораздо легче упразднить карту Империи, нежели изменить ею же, Империей сформированный, национальный менталитет.

По мнению В. Сагарева, Россия в конце века останется все той же архаической имперской структурой (67). А. Филиппов также убежден, что Россия осталась квазиимперией, поскольку она точно также есть большое пространство многообразных социальных образований, с явственным различением имперского центра и периферии, с профилированной, но не вполне обособленной политической системой, с типичными для империи взаимоотношениями элит (68). По его мнению, непонимание центральной элитой своей имперской природы, отказ от отчетливой легитимации границ и "видимая нечувствительность к проблеме автономий, несмотря на все тревожные сигналы", может привести ее к тому же, к чему пришла элита Союза (69).

Никогда не умиравший российский империализм, говорит политолог А. Фадин, стоит сегодня перед решающим выбором в своей короткой постсоветской истории. Это выбор между архаичными на пороге XXI века стремлениями контролировать пространство, реставрировать в том или ином виде империю — и возможностью решительно модернизироваться (70). А. Янова, внимательно наблюдающего за развитием событий в Российской Федерации, беспокоит одна закономерность, выводимая историком из опыта XX в.: "В каждом случае, когда великая имперская автократия, неважно, передовая или отсталая, европейская или азиатская, или, если угодно, евразийская, пыталась в одиночку, на свой страх и риск трансформироваться в современную демократию, дело заканчивалось одним и тем же — тотальной диктатурой. Всегда. Без единого исключения".

Нынешнюю Россию А. Янов нарек "Веймарской" и всерьез страшится надвигающейся "национальной революции" (71), в маске которой, по его словам, всегда выступает фашизм. Он предлагает в качестве превентивных мер объединить усилия западных интеллектуалов и российской интеллигенции, чтобы помочь растерянному российскому народу "вернуть жизни осмысленность", компенсировать утерю имперской гордыни, чреватую, на фоне тяжелого экономического положения подавляющей массы людей, поворотом их в сторону "непримиримых" (72).

Нынешняя "имперскость" России (как, впрочем, и ее "демократичность" — к великому сожалению!) весьма и весьма относительна. Тот, кто так думает, скорее всего, выдает желаемое за действительное. Думается, сегодня называть Россию Империей возможно разве что образно, имея в виду масштабы и ядерное могущество (как тут не вспомнить восклицание пассионарной В. Новодворской: "Мощь Кинг-Конга — проклятие России"). Реальная государственность пока еще слишком невнятна, чтобы быть каким-то образом типологизированной. А наличие родовых имперских признаков (вертикальной организации пространства, полиэтничности, доминирующего этноса, империалистических замашек и т. д.) декомпенсируется отсутствием других, не менее, если не более (особенно для России) весомых и значимых: сакрального характера власти (ее сегодняшние носители харизмой явно не "обезображены", о чем беспрестанно свидетельствуют многочисленные социологические опросы), универсальной идеологии, на роль которой весьма неудачно предлагаются: то христианство в его православном варианте — и это в тотально пораженной (на генетическом уровне) атеизмом стране, нуждающейся в длительном и кропотливом религиозном воспитании, а не в циничной замене Программы партии Библией; то пресловутая концепция "державности"; а то и гораздо более одиозные идеи, пока что, правда, исходившие лишь из неофициальных кругов...

Умирание Империи в лоне России обнадеживает и хочется думать, что российская государственность шагнет в XXI в. без атавистических примет прошлого, если, конечно, ее не одолеют химеры национализма, фашизма или более "привычного" коммунизма.

Обзор газетно-журнальной публицистики и статей в научных изданиях позволяет уверенно говорить о стойком интересе исследователей к теме Империи, которая, разумеется, до некоторой степени условна, ибо слишком всеобъемлюща, всеохватна. Империя — эта сама история России, история ее государственности, пребывавшей в имперской личине не одно столетие. Но империя — это и люди, это особый менталитет. И то, и другое нуждается в комплексном теоретическом осмыслении и скрупулезном исследовании, с опорой на архивные документы и достижения мировой историографии. Сегодняшний уровень разговора об Империи весьма ценен и полезен, он выводит тему далеко за рамки модного словоупотребления, выявляет узловые аспекты данной фундаментальной проблемы, придает их анализу дискуссионный характер, побуждает к рефлексиям. Разумеется, присутствует и вполне уместный для публицистики налет политизированности и эмоционально-пристрастного подхода. Но — сделанные авторами наблюдения могут стать толчком к новым оригинальным исследованиям. Только сугубо научный уровень осмысления проблемы позволит объективно

оценить природу и характер "вечной Империи", ее достоинства и пороки, и подбирать точные рецепты для лечения хронических синдромов, непомерно часто поражавших и доселе поражающих российскую государственность...

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Родина, 1995, №9. С. 26–30.
2. Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1994.
3. Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Редактор-составитель С. Б. Чернышев. М., Аргус, 1995.
4. См. Fieldhouse D. K. The colonial empires: a comparative survey from the eighteenth century. London, 1966; Colonializm, 1870–1945: an introduction. London, 1981; The theory of capitalist imperialism (Problems and perspectives in history). London, 1974; Unilever overseas: the anatomy of a multinational, 1895–1965. London, 1978; Hobsbawm E. J. The age of empire, 1875–1914. London, 1987; Darwin J. Britain and decolonization. The retreat from empire in the Post-war world. Basingstoke, 1988; Porter A. N. British imperial policy and decolonization, 1938–1964, 2 vol. Basingstoke, 1987–1989; etc.
5. Verner A. M. The Crisis of Russian Autocracy. Nicolas II and the 1905 Revolution. Prinston, 1990; D. Geyer. Russian Imperializm. The Interaction of Domestic and Foreign Policy. 1860–1914. Hamburg – N.-Y., 1993; Imperial Russian Foreign Policy (Ed. and trans. by H. Ragsdale) Woodrow Wilson Center Press and Cambridge Univ. Press. Cambridge – N.-Y. – Melbourne, 1993; Д. Хоскинг. История Советского Союза. М., 1994; etc. Примечательно, что большинство конференций, состоявшихся в различных университетах США, проходили в духе новаторского подхода и переосмысления устаревших концепций. См. например: Slavic Review, vol. 52, №3 (Fall 1993).
6. Kappeler A. Russland als Vielvolkerreich. Entstehung. Geschichte. Zerfall. Verlag C. H. Beck. Munchen, 1993.
7. Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers. London, 1988, p. 16, 232, 490, 514.
8. Emerson R. From empire to nation. Cambridge, 1962.
9. См.: Родина, 1995, №1. С. 36.
10. Там же. С. 33.
11. Общая газета, 1994, 4–10 ноября.
12. Цимбаев Н. И. Опасная мечта (Евразийство: за и против, вчера и сегодня. Материалы "круглого стола" // Вопросы философии, 1995, №6. С. 17.
13. Родина, 1995, №7. С. 21.
14. Сегодня, 1994, 15 ноября.
15. Независимая газета, 1994, 24 ноября.
16. Родина, 1995, №9. С. 28–29.
17. Там же. №2. С. 100.
18. Ерасов В. С. Выбор России в евразийском пространстве // Цивилизации и культуры. Вып. 1. М., 1994. С. 48.
19. Капустин Б. Г. Россия и Запад: пути к миру миров // Цивилизации... С. 29.
20. Культура, 1993, 21 августа.
21. Независимая газета, 1994, 31 августа.
22. Подробнее см.: Очирова Т. Н. Евразийская модель культуры // Цивилизации... С. 192.
23. См.: Кургинян С. Русский вопрос и институт будущего // Иное... С. 57–80.
24. Родина, 1995, №11. С. 33.
25. Там же. №8. С. 24–25.
26. Новая ежедневная газета, 1994, 9 ноября.
27. Булдаков В. П. XX век в истории России: имперский алгоритм? // Межнациональные отношения в России и СНГ. Семинар Московского Центра Карнеги. Вып. 1: доклады 1993–1994 гг. Под редакцией П. Гобла и Г. Бордюгова. М., 1994. С. 130.
28. Родина, 1995, N1. С. 39.
29. Капущиньский Р. Империя // Знамя, 1994, №2. С. 116–161 (в своем пристрастном повествовании автор рассказывает о собственных взаимоотношениях с Империей, встреча с которой произошла – помимо его желания – на окраине маленького польского (но уже становящегося советским) городка Пинска в хмурый осенний день 1939 г.
30. Вот почему в принципе невозможно восстановление монархии в России, которого опасается В. Булдаков, впрочем, не без оснований (см.: Родина, 1995, №6. С. 27).
31. Родина, 1994, №6. С. 27, 28–29.
32. Филиппов А. Ф. Наблюдатель империи // Вопросы социологии, 1992. Т. 1. №1. С. 108.
33. Родина, 1995, №1. С. 39.
34. Там же. №6. С. 26.
35. Лурье С. В. Российская империя как этнокультурный феномен // Цивилизации... С. 130–131.
36. Очирова Т. Н. Присоединение Сибири как евразийский социокультурный вектор внешней политики Московского государства // Цивилизации... С. 151.
37. А. Кара-Мурза. Россия в треугольнике "этнократия – империя – нация" // Иное... Т. 2. С. 47.
38. Сегодня, 1994, 17 августа.
39. Родина, 1995, №9. С. 32–33. См. также: Иное... Т. 2. С. 109–126.
40. Там же. №2. С. 100.
41. Булдаков В. П. XX век в истории России: имперский алгоритм? // Межнациональные... С. 134.
42. Ерасов В. С. Выбор России в евразийском пространстве // Цивилизации... С. 54.
43. Независимая газета, 1991, 31 декабря.
44. Общая газета, 1994, 4–10 ноября.
45. Родина, 1995. №2. С. 97.
46. Тишков В. А. Национальности и национализм в постсоветском пространстве (исторический аспект) // Этничность и власть в полиэтничных государствах. М., 1994. С. 16.
47. Родина, 1995, №2. С. 97.
48. Общая газета, 1994, 4–10 ноября.
49. Сегодня, 1996, 1 февраля. (Авторы статьи "Кому в России нужна империя?" убеждены, что именно вследствие отсутствия каких-либо преимуществ перед другими народами русский народ в критический момент не проявил желания проливать свою кровь и умирать ради сохранения советской империи.)
50. Филиппов А. Ф. Наблюдатель империи // Вопросы социологии, 1992. Т. 1. №1. С. 108.
51. Независимая газета, 1994, 31 августа.
52. Там же. 1994, 12 апреля.
53. Цымбульский В. Остров Россия. Циклы похищения Европы / Большое примечание к "Острову Россия" // Иное... Т. 2. С. 209.
54. Гущин В. Должна ли Россия быть имперской? // Межнациональные... С. 148.
55. Независимая газета, 1994, 9 апреля.
56. Общая газета, 1995, 3–9 августа.
57. Родина, 1995, №2. С. 100.
58. Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию. М., 1991.
59. Ципко А. С. Российские столицы и российская провинция: перспективы решения конфликта // Межнациональные... С. 87.
60. Независимая газета, 1992, 28 марта.
61. Там же. 1994, 20 мая.
62. Литературная газета, 1995, 12 июля.
63. Известия, 1995, 19 декабря.
64. Московские новости, 1995, 10–17 декабря.
65. См.: Сегодня, 1996, 1 февраля.
66. Там же. 1995, 20 октября.
67. Там же. 1995, 28 ноября.
68. Филиппов А. Ф. Наблюдатель империи // Вопросы... С. 113.
69. Там же. С. 114. Об этом же предупреждает и А. Баграмов, по мнению которого, ситуация, имевшая место в СССР перед крахом, сейчас, похоже, складывается в самой России (Независимая газета, 1995, 28 октября).
70. Общая газета, 1994, 14–20 октября.
71. Впрочем, эксперт Горбачев-Фонда В. Д. Соловей утверждает, что еще в 1994 г. в российской политике произошел явственный "национал-патриотический" крен, а ныне две метаидеологии – коммунизм и либерализм близки к исчерпанию, уступая место идеологии национализма в специфическом русском варианте (Независимая газета, 1995, 7 марта). В. Соловью вторит В. Сагарев, считающий, что возникший на месте марксизма вакуум сегодня заполняется национальной идеей (Сегодня, 1995, 28 ноября).
72. Культура, 1995, 26 августа. (В декабре 1995 г. вышла в свет книга профессора Нью-йоркского университета А. Янова "После Ельцина. «Веймарская» Россия", в которой детально анализируются российские политические реалии и прогнозируются возможные варианты развития событий.)

МИРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И СОВРЕМЕННОЕ КОМИНТЕРНОВЕДЕНИЕ

А. Ю. Ватлин

Коминтерн — это и идеология мировой революции пролетариата, и история его московского Генерального штаба, и проблемы отдельных компартий, каждая из которых так или иначе являлась частью национальной истории своих стран. Подобная размытость составляет главную трудность историографии проблемы. В идеологической системе позднего Советского Союза историческое наследие Коминтерна воспринималось парадоксально: с одной стороны, оно героизировалось как реальное воплощение пролетарского интернационализма, а с другой — задвигалось подальше в угол как напоминание о несвершенности принципиальной установки коммунистов на победу во всемирном масштабе. Как и многие другие события прошлого, Коминтерн выступал в качестве "неудобной истории", которая даже в препарированном виде уподоблялась золоченому камзолу, вынимавшемуся из нафталина лишь по случаю приезда того или иного престарелого вождя с коминтерновским прошлым из "братских стран социализма".

Ситуация в корне изменилась после начала перестройки — причем мы можем указать на конкретный толчок, выведший коминтерноведение из летаргии еще до того, как на нем сказалась общая атмосфера идеологической оттепели. Речь идет об известном докладе М. С. Горбачева "Октябрь и перестройка: революция продолжается", где Коминтерну было посвящено несколько возвышенных строк: "Из его рядов вышли когорты подлинных рыцарей XX века, людей долга и чести, высокого полета и несгибаемого мужества, болевших болью миллионов угнетенных на всей планете, услышавших их зов и позвавших их на борьбу". Здесь же подчеркивалась необходимость "написать подлинную и полную историю" Коммунистического Интернационала (1).

Сейчас трудно представить себе причины, побудившие советского лидера обратиться к полузабытым сюжетам. Вероятно, свою роль сыграли раздумья о перспективах перестройки социалистической системы как реального исторического наследия Коминтерна, в полной мере перенявшей строго иерархическое построение этой организации и вызревшую в ее недрах идеологию "старшего брата". Так или иначе, но аппарат ЦК КПСС достаточно оперативно отреагировал на новые моменты в юбилейной речи своего Генерального Секретаря. В Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, отвечавший за научное освоение опыта коммунистического движения, влилось большое число молодых ученых, произошло и определенное омоложение руководства (2).

До этого научные сотрудники ИМЛ воспринимали собственную монополию на истину в вопросах истории Коминтерна как нечто само собой разумеющееся. Они обладали бо#льшим доступом к архиву этой организации, чем представители иностранных компартий (последние, как правило, получали возможность посмотреть документы только своей партии). Если круг "внешних авторов" для написания новой истории Коммунистического Интернационала был сверхизбранным, то начинающие ученые из ИМЛ в полной мере вкусили позитивные плоды перестройки, неделями просиживая в архиве и не зная проблем с публикацией своих материалов — в конце 80-х они шли просто нарасхват.

Вместе с тем ни в годы перестройки, ни позже так и не увидели свет обобщающие коллективные труды или монографии по узловым проблемам истории Коминтерна. Дело ограничилось изданием на базе ИМЛ нескольких ротапринтных сборников (3), каждый из которых представлял из себя определенный шаг вперед, но все же явно запаздывал по сравнению с освобождавшейся от апологетики историографией отечественной истории. Отказ от скоротечных обобщений в конце 80-х гг. был оправданным, хотя и не простым решением из-за давления сверху с целью поскорее получить готовый результат (4), поскольку каждый новый день нес в себе крушение очередных идеологических постулатов и идолов прошлого.

Казавшаяся естественной монополия на использование архивных материалов вкупе с благоприятной публицистической конъюнктурой нередко вводили официальных коминтерноведов в искушение облегченных подходов — достаточно было внести в работу несколько имен, вернувшихся из небытия, дать побольше ярких цитат и заменить апологетику критикой, чтобы рассчитывать на новое слово в науке (5). На самом же деле интуитивно, реже через знакомство со "спецхраном", предлагавшийся новый взгляд на известные события являлся новым лишь в весьма узких рамках отечественной историографии. Заимствование западных концепций стало детской болезнью, сопровождавшей освобождение российских ученых от идеологического партийного контроля не только в сфере коминтерновской истории.

Новым моментом этого освобождения стал бурно растущий плюрализм оценок и подходов, сменивший схоластические споры об одном и том же. В соответствии с поляризацией настроений в обществе исследователи Коминтерна становились на позиции новаторов и консерваторов. Последние медленно отходили от официозной апологетики "Краткого очерка"(6), рассматривая в качестве последнего нерушимого бастиона тезис о позитивном ленинском фундаменте и извращениях сталинизма (7). Несмотря на то, что в работах консервативного направления Троцкий оставался одним из искривлений "генеральной линии", сама концепция во многом повторяла восприятие Коминтерна западными учеными, близкими идеям IV Интернационала (8).

Новаторов было трудно обвинить в заимствовании чего-то конкретного, ибо в своем движении за истиной они успели поменять гораздо больше концеп-

туальных ориентиров. Тенденция развивалась от обращения к ценностям внутрипартийной демократии (9) через выделение общности всех течений социалистического рабочего движения Европы (10), вплоть до взгляда на Коминтерн как слепое орудие большевистского режима и на его идеологию как на частное проявление тоталитаризма (11).

Было бы упрощением выделять какие-то хронологические этапы возвращения отечественного коминтерноведения к общепринятым исходным точкам. Процесс шел достаточно индивидуально и приводил к различной расстановке акцентов даже там, где авторы обращались к одному и тому же сюжету. Столь выигрышная тема как история тактики единого рабочего фронта, например, пересматривалась и с точки зрения упущений коминтерновского руководства (12), и в контексте зависимости последнего от внутриполитической линии большевизма. Так, попытка достичь единого рабочего фронта сверху, через сотрудничество трех Интернационалов весной 1922 г. была сорвана не в последнюю очередь из-за активизации репрессий против социалистических партий меньшевиков и эсеров в Советской России (13).

Во втором случае исследователи неизбежно выходили на принципиальный вопрос о взаимоотношениях Коминтерна и лидеров ВКП(б). Понимание динамики этих взаимоотношений, признание того, что в глазах зарубежной общественности изначально, в первые годы большевистского эксперимента, события в России выступали как проекция коминтерновской идеологии, а затем постепенно уже сам Коминтерн стал восприниматься в качестве одного из инструментов советской власти, утвердилось достаточно поздно (14). На рубеже 90-х гг. исследователи, интуитивно чувствуя центральное место этой проблемы в коминтерновской истории, подходили к ней весьма осторожно, отдавая себе отчет в ее политическом звучании. На перестроечном этапе был найден обходной маневр: мы говорили — Сталин, а подразумевали — партия.

Трудно даже перечислить все работы, в заголовок которых была вынесена проблема "Сталин и Коминтерн". Ее решение имело собственную динамику, в целом соответствовавшую ходу дискуссий в перестроечной публицистике. Если на первых порах новаторы акцентировали внимание на демонических чертах личности Сталина, единолично принимавшего решения об уничтожении целых компартий (15), то затем вопрос ставился уже о проникновении сталинизма как системы в международное коммунистическое движение (16). "Антисталинский настрой", до конца не преодоленный российским коминтерноведением и по сей день, заставлял исследователей выискивать происки диктатора даже в событиях первых лет деятельности Коминтерна, когда первую скрипку в нем играли Зиновьев, Ленин и Троцкий. Это снижало объективность научного анализа, уводило даже самые новаторские по тем временам работы в сферу политической конъюнктуры (17) и давало повод для критики консерваторам (18).

Последние в духе хрущевских решений о культе личности видели в сталинизме временную деформацию, нанесшую вред, но неспособную поколебать социалистические устои. "Сталин, нанесший по Коминтерну, его кадрам, его политике немало трагических ударов, не мог, тем не менее, устранить закономерности коммунистического движения, выросшего из внутренних условий на всех континентах земного шара в широкий поток, имеющий связи с массами" (19). В этом высказывании ясно виден водораздел, и сегодня продолжающий делить коминтерноведов по принципу pro et contra: для одних Коммунистический Интернационал остается объективной необходимостью всемирного исторического прогресса, для других он предстает как следствие победы большевиков в России и орудие борьбы, говоря ленинскими словами, за "мировой большевизм".

Полярные взгляды представлены здесь в сознательно заостренных формулировках, демонстрирующих воздействие на научный процесс актуальной политической ситуации, отнюдь не стимулировавшей поиски синтеза и компромисса. И все же перестроечный период, период прежде всего освобождения от догм и привычек, завершился появлением нескольких крупных работ с большим позитивным потенциалом. Среди них статья Ф. И. Фирсова с традиционным названием "Сталин и Коминтерн" (20). Автор не просто подвел итог своему многолетнему использованию "естественной монополии" на документы архива Коминтерна, но и предложил рассматривать историю этой организации с новой точки зрения — уже не как субъекта социального прогресса, но как объекта государственной политики.

Возможность постановки и решения новых проблем в событийной истории Коминтерна привела, однако, к почти полному забвению такой специфической темы, как эволюция идеологических основ международного коммунистического движения в 20—30-е гг. Достаточно было указать на беспочвенность расчетов Ленина и его соратников на близкую мировую революцию пролетариата, чтобы передать эту тему исследователям российского большевизма. Из статьи в статью кочевало ленинское высказывание о том, что "мы и начинали наше дело исключительно в расчете на мировую революцию" (21). Резко негативное отношение перестроечной публицистики к идеологии как сознательно искаженному отражению реальных процессов оказывало определенное влияние и на историков Коминтерна, начинавших свои работы со слов о "первородном грехе" большевизма или даже марксизма.

Это было необходимым, но явно недостаточным условием нового подхода к конкретно-историческому анализу коминтерновской идеологии. Ряд интересных выводов был сделан на популярных в эпоху гласности "круглых столах", когда еще большинство их участников питало надежды на "второе дыхание" коммунистических партий, освобожденных от наследия сталинизма (22). Затем внимание к идейной истории Коминтерна стало сходить на нет, достигнув на сегодняшний день нулевой отметки. Напротив, в западной историографии, прежде всего в левой, социально-критической части ее спектра сохраняется интерес к борьбе идей в межвоенном коммунистическом движении (23).

Показательным примером сочетания конкретно-исторического фона и идейных дебатов большевиков накануне образования Коммунистического Интернационала является работа американского ученого Юрия Фельштинского "Крушение мировой революции" (24). Продолжает исследование отношения коммунистических теоретиков к феномену фашизма германский историк Леонид Люкс (25). Ежегодно за рубежом появляются диссертации, посвященные анализу идей Троцкого, Грамши, Тальгеймера, Корша. Налицо серьезное отставание российской историографии в этой сфере.

Исследователи нового поколения могут опереться на общие ориентиры в истории идейной эволюции Коминтерна, предложенные И. М. Кривогузом в 1990 г. Он показал ее зависимость от внутренней эволюции большевистского режима — "Коминтерн стал рассматривать строительство социализма в нашей стране в качестве двигателя мировой революции, противоречие двух систем как основное противоречие мирового развития, а СССР как гегемона мирового революционного движения" (26). В работе Кривогуза впервые был предложен уравновешенный ответ на вопрос о доктринальных причинах ухода коминтерновских теоретиков от реалий меняющегося мира, хотя и в узких рамках перестроечной терминологии. К сожалению, эта первая попытка так и осталась последней. Вне поля зрения отечественных историков осталась программная дискуссия в Коминтерне накануне и в ходе его VI конгресса. А ведь в ней нашло свое отражение политическое противостояние Сталина и Бухарина накануне разгрома "правого уклона" (27), равно как и попытки проанализировать живучесть капиталистической системы через концепцию "третьего периода" (28).

Статьи Фирсова, Кривогуза и других авторов, установление международных научных контактов, появление целой серии публикаций архивных документов в 1990—1991 гг. ознаменовали вхождение отечественного коминтерноведения в новый, постперестроечный этап. Переход большинства научных сотрудников сектора истории Коминтерна бывшего ИМЛ в Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (бывший Центральный партийный архив) был естественным шагом, максимально приближающего к источнику. Либеральная политика руководства РЦХИДНИ в 1992—1993 гг. позволяла ученым использовать самые недоступные ранее архивные фонды, самостоятельно принимать участие в международных исследовательских и публикаторских проектах. Включение в эти проекты сотрудников Института всеобщей истории РАН, ранее почти не имевших доступа к архиву Коминтерна, расширило круг изучаемых проблем и возможности качественной публикации документов, а главное, открыло шанс возврата традиционно замкнутого на себя коминтерноведения в общее русло отечественной историографии.

Более быстрыми темпами пошла с начала 90-х гг. международная интеграция в сфере истории коммунистического движения, связанная с окончательным распадом его детища — мировой системы социализма. Прощальным аккордом общественного интереса в западноевропейских странах стала целая серия международных научных встреч по Коминтерну, наиболее представительными из которых были конференция в Шо-де-Фо (Швейцария) и Маннгейме (Германия). Неформальные встречи привели к образованию "Европейской рабочей группы по истории Коминтерна, коммунизма и сталинизма" с участием российских ученых. С 1993 г. издается ежеквартальный бюллетень этой группы (29).

Период возвышенных надежд на перспективу долговременного сотрудничества с западными коллегами в целом совпал с периодом максимальной открытости архивных материалов и продлился не более года. Уже к 1993 г. стало ясно, что российское общество потеряло интерес к своему советскому прошлому, предпочитая заниматься насущной борьбой за существование. Свою роль в этом сыграл и мягкий вариант прощания с коммунизмом в нашей стране — пересев в новые кресла, представители старой номенклатуры постоянно давали понять, что не заинтересованы ворошить былое.

Бум перестроечных публикаций так и не смог пробудить в обществе новое качество исторического сознания. Проведенный автором опрос среди старшеклассников одной из московских школ показал, что более половины из них не может назвать ни периода деятельности, ни целей Коммунистического Интернационала. В ответ на вопрос о его руководителях назывались имена Сталина, Ленина и даже Маркса, но ни один человек не назвал Зиновьева или Димитрова (30). Совершив кратковременный "выход в народ", коминтерноведение, как и историография советского общества в целом, вернулось в состояние возвышенной замкнутости.

В отличие от времен ИМЛ при ЦК КПСС и АН СССР эта замкнутость не имела под собой материальной базы. Привыкшие выполнять социальный заказ и отрабатывать хлеб насущный, историки отправились на поиски спонсоров и новых работодателей. Интернационализм ушедшего в небытие коммунистического движения сослужил свою последнюю службу историкам Коминтерна — им было проще, нежели "почвенникам", найти поддержку за рубежом. Появился ряд интересных научно-публикаторских проектов, первые плоды которых уже увидели свет (31). Вместе с тем преобладающим стало мнение, что время самостоятельных исследований с серьезными обобщениями еще не пришло. Счастливые исключения можно было бы пересчитать по пальцам (32).

Негативное отношение к методологическим аспектам исторического исследования затронуло коминтерноведение больше, нежели другие области современной российской историографии. Здесь сказалась прежде всего усталость от максимальной идеологической "зашоренности" прошлых лет, когда мотивы деятельности "подлинной когорты рыцарей XX века", по выражению Горбачева, были априорно определены марксистско-ленинским обществоведением. Получив в начале 90-х гг. широкий доступ к архивным материалам, исследователи не могли не поддаться соблазну фактографии. Увлечение простыми и конкретными истинами, ответы на вопросы "что? где? когда?" заслонили собой вопрос "почему?", постановку и решение методологических проблем.

Зарубежные коллеги отмечают, что на сегодняшний день практически не рассматривается проблема восприятия решений Коминтерна в национальных секциях, соотношения жесткой вертикальной иерархии и социальной солидарности в коммунистическом движении. Дебаты российских ученых по вопросу о роли Сталина в Коминтерне явно несамостоятельны в концептуальном плане, они шли в фарватере известных дискуссий на Западе между сторонниками теории тоталитаризма и социально-историческими "ревизионистами" (33).

Здесь, вероятно, позитивным фактором могла бы выступить кооперация не только с исследователями отечественной истории, но и со смежными гуманитарными науками, прежде всего политологией и социальной психологией. Существующее на сегодняшний день сотрудничество с зарубежными учеными пока не принесло зримого прогресса, новых подходов к изучению коминтерновского наследия. Последний факт объясняется отчасти тем, что при разделении труда в международных проектах российским историкам и архивным сотрудникам достается прежде всего черновая работа, отбор материалов, их комментиро-

вание и подготовка к публикации. Конечно, трудно заказывать музыку тем, кто за нее не платит, но в конечном итоге невостребованность научного потенциала российской стороны негативно сказывается на конечных итогах совместных проектов.

Большие надежды возлагались на международную научную конференцию "История Коминтерна в свете новых документов", проведенную на базе РЦХИДНИ 20–22 октября 1994 г. Впервые в Москве, в историческом здании на Пушкинской улице собрались не коминтерновские функционеры или посланцы "братских партий", а практически все ведущие исследователи из нескольких десятков стран. Поневоле рождались мысли о возрождении Интернационала коллег и единомышленников. Естественно, реальный ход конференции привел к значительно более скромным итогам.

Постановка вопросов о периодизации истории Коммунистического Интернационала и роли концепции "мировой революции" предлагалась прежде всего зарубежными учеными (Ю. Ройян, А. Агости). Вызвав оживленную дискуссию, она не привела к принципиально новым выводам. Реальное приращение знаний в ходе работы конференции вновь сосредоточилось в области фактов: наконец-то российские исследователи обратились к проблеме организационной структуры Коминтерна (34), по которой только в Швейцарии реализуются два долговременных проекта (П. Хубер и Б. Штудер), традиционно сильны были сообщения о взаимоотношениях московского центра и той или иной национальной секции.

Конференция не стала, да и не могла стать местом подведения итогов работы постперестроечного коминтерноведения в России. В лучшем случае она продемонстрировала его существование и даже активизацию после идеологического и организационного шока 1990–1991 гг. Следы старых подходов видны и при постановке новых проблем. Организационная структура Коминтерна рассматривается с акцентом на уставные структуры, в то время как уже в 20-е гг., по аналогии с ВКП(б), там господствовали неформальные взаимоотношения, телефонное право и т. п. Достаточно вспомнить о деятельности так называемой "русской делегации в Коминтерне" (35), хотя факт рассмотрения ее как своего рода "внеуставного" центра власти оспаривался рядом участников конференции.

Сохранение инерции старых подходов вполне объяснимо. Ее преодоление – в расширении круга источников и углублении научных дискуссий. Гораздо большую тревогу вызывает другое, подмеченное зарубежными участниками московской конференции: "Состав российских участников наглядно продемонстрировал положение историков в этой стране. Их средний возраст колебался между 50-ю и 60-ю годами, более молодых практически не было видно. Большинство российских участников имело за своей спиной многолетний опыт работы в Институте марксизма-ленинизма или академических институтах и изначально занимались все теми же темами. Это является еще одним подтверждением реальной опасности того, что общественные науки России лишатся целого поколения ученых" (36). Дефицит научной молодежи, подрастающей смены уходящим "грандам" коминтерноведения, отражает не столько разрыв в преемственности развития этой области исторической науки, сколько скудность ее материального положения. Расчет на фанатиков от науки, способных плодотворно работать, абстрагировавшись от мирских забот, давно заменен на Западе системой индивидуальной финансовой поддержки подающих надежды исследователей во всех областях человеческого знания. Отсутствие такой системы в России действительно может обернуться потерей целого поколения самостоятельно мыслящих и работающих ученых.

* * *

Обзор современного состояния историографии "мировой революции" и ее детища – Коминтерна был бы неполным без обращения к вопросу об источниковой базе. Естественная монополия партийных историков периода перестройки сменилась введением в научный оборот огромного количества новых материалов из архива Коминтерна в начале 90-х гг. Бум публикаций архивных материалов стал наиболее отличительной чертой современного коминтерноведения, причем не только в России, но и за рубежом. По данным руководства РЦХИДНИ, около 90% копий из фондов Коминтерна в последние годы было заказано зарубежными исследователями (37). Спектр публикаций простирается от откровенных сенсаций вроде письма П. Тольятти о нежелании заниматься судьбой итальянских военнопленных или тайной бухгалтерии финансовых дотаций компартиям (38) до солидных комплексов документов в многотомных изданиях (39).

Сразу же после национализации архивного фонда КПСС международная научная общественность поставила вопрос о разработке единой концепции сохранения и публикации коминтерновских документов (40). Последующие годы показали, что с делом "спасения и сохранения" архива Коминтерна и примыкавших к нему организаций справились и сами его сотрудники, ставшие государственными служащими. Сложнее решался вопрос о создании координирующего центра публикаторской деятельности – претензии на ведущую роль в нем выдвинул целый ряд международных инициатив, и в конечном счете ситуация стала напоминать "золотую лихорадку" на архивном поприще, когда ряд исследователей и учреждений старался застолбить в долгосрочное пользование если не весь спектр документов, то, по крайней мере, участок посолидней.

Отказ РЦХИДНИ и стоящего над ним Роскомархива от разработки жесткого плана публикаций по истории Коминтерна, подразумевающего наличие единственного (и весьма солидного в финансовом плане) зарубежного партнера и предоставления ему эксклюзивных прав, оказался неизбежным и правильным шагом. Это подтверждают вышедшие в последние годы публикации самого различного плана, дающие исследователям и широкому кругу читателей гораздо больше, чем долгие годы ожидания выхода в свет очередного тома какого-нибудь "Коминтерновского сборника". Другой вопрос – дефицит упреждающей информации о публикаторских проектах, что ведет к никчемному дублированию научно-издательской работы (41).

К сожалению, перед исследователями не только Коминтерна, но и отечественной истории XX века вновь стала возникать проблема доступности архивных документов. Вернувшаяся система охраны государственных секретов была дополнена охраной личной тайны – все это вещи абсолютно нужные, но их границы на сегодняшний день недоступны пониманию рядовых историков. Имен-

но в "пограничных зонах" открывается простор для разного рода исключительных прав на документ и двойных стандартов в решении вопроса о доступе к нему исследователей. Чем скорее процесс "реорганизации фондов" и их рассекречивания приведет к тому, что на месте подобных зон появятся четкие правовые границы, тем лучше будет и для архивных работников, и для историков.

Комплекс архивных документов по истории Коминтерна уникален тем, что он собран практически в одном месте, но имеет отношение к истории почти всех стран мира. Это по-особому ставит вопрос о поиске новых путей обеспечения технического доступа к документам, которые затем могли бы применяться и в других архивных сферах. Группа французских ученых выступила с инициативой перевода всего архива Коминтерна (а это около 237 тысяч единиц хранения) на электронную основу CD-ROM. Подобный опыт на Западе существует (Архив колониальной истории в Севилье). Однако, в российских условиях реализация подобного проекта кажется пока утопичной. Своего рода промежуточный вариант представляет собой проект перевода документов из архива Коминтерна на микрофиши, реализуемый нидерландской компанией IDC. Тот факт, что уже появились микрофишированные фонды первых конгрессов Коминтерна, вселяет надежду на быстрое решение проблемы доступа к архивному источнику и сохранности оригиналов, хотя даже при самом благоприятном стечении обстоятельств IDC сможет подобраться к самым информативным описям вроде Президиума или Секретариата ИККИ лишь к началу следующего тысячелетия.

Прогресс в этой сфере практически не затрагивает условий работы российских коминтерноведов. Цена одного комплекта микрофишированных документов значительно больше стоимости длительной командировки в Москву из любой точки бывшего Советского Союза. Стесненные материальные условия отечественных исследователей объективно приводят к тому, что близость к архиву (как служебная, так и просто географическая) создает оптимальные условия для научной и публикаторской деятельности, но вновь ставит в сложное положение представителей провинции.

Посмотрим на "малые формы" архивных публикаций, где и по сей день сохраняется индивидуальное авторство. В отличие от крупномасштабных изданий они обращены к широкому кругу читателей и "обречены" на поиск ярких, нетипичных документов. Удачным можно назвать освещение таких исторических сюжетов, как исключение Троцкого из Коминтерна 27 сентября 1927 г., реакция международного профсоюзного движения на подготовку "германского Октября" осенью 1923 г. (42). Попытки же втиснуть в рамки статьи в историческом журнале публикацию по широкой проблеме, да еще и ограничиться при этом одним архивным фондом, не проводя "внутрикоминтерновских" сопоставлений документов, обречены на неудачу (43). Традиционно сильной стороной отечественных публикаций остается точный и обширный справочный аппарат, хотя в предисловии к ним авторам не всегда удается вписать тот или иной коминтерновский сюжет в более широкий срез отечественной и европейской истории.

Несмотря на инерцию официоза, довлевшую над исследователями "мировой революции" в советское время и материальные проблемы посткоммунистических лет, историкам удалось в постановке ряда принципиальных проблем выйти на уровень, достаточный для ведения равноправного диалога с зарубежными коллегами. В сфере публикаторской деятельности реализация серьезных проектов по истории Коминтерна без участия российских ученых и архивных работников просто невозможна.

В научном плане и по сей день сохраняется акцент на событийную историю, продолжают доминировать темы "Коминтерн и..." Можно считать удавшимися первые подходы к анализу взаимоотношений Коминтерна с ВКП(б), крупнейшими национальными секциями, другими объединениями европейского рабочего движения (44). Активно разрабатывается тематика сталинских репрессий в Коминтерне, внутренней структуры этой организации.

В то же время "белыми пятнами" продолжают оставаться важные сюжеты, которые не могли найти прямого отражения в коминтерновских документах. Речь идет прежде всего о менталитете лидеров, функционеров и рядовых членов компартий — как воспринималась ими теория мировой революции и практика ее московского штаба? Необходимо обратить внимание как на общую динамику этого восприятия, так и на ее особенности в вертикальном (иерархия номенклатуры) и горизонтальном (различие обстановки в конкретных странах) разрезах.

На сегодняшний день не сведены воедино и не проверены данные по численности Коминтерна, его центрального аппарата и секций, если не считать ряда западных компартий. Исследователи до сих пор используют данные самого ИККИ, нередко не соответствовавшие реальному положению дел. Верификация с использованием современных средств обработки данных помогла бы не только коминтерноведам, но и национальным историкам многих стран. Значительным подспорьем стало бы и издание биографического словаря деятелей Коминтерна — такая попытка была предпринята в США в 1970 г., но без использования архивных материалов из Москвы (45).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Горбачев М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. М. 1987. С. 54.
2. Так, руководство сектором изучения истории Коминтерна перешло от К. К. Ширинн к Ф. И. Фирсову, остававшемуся центральной фигурой в отечественном коминтерноведении вплоть до 1994 г. Автор статьи был одним из тех, кто пришел на работу в ИМЛ в результате "призыва перестройки", и многие из последующих выводов основываются на личных наблюдениях.
3. Коминтерн: опыт, традиции, уроки. М. 1989; Международная организация коммунистов. М. 1990; Н. И. Бухарин и Коминтерн. М. 1989.
4. Следует отметить, что аналогичную тактику проводил и авторский коллектив так и не увидевшего свет официально-перестроечного учебника по истории КПСС.
5. В порядке самокритики можно указать на написанную в подобном духе брошюру: Ватлин А. Ю. Троцкий и Коминтерн 1923–1933. М. 1991.
6. Коммунистический Интернационал. Краткий исторический очерк. М. 1969.
7. См. например брошюру В. П. Толмачева "Современный взгляд на историю Коминтерна (1923–1943). Спецкурс". Изд-во МГУ, М. 1992.
8. Наиболее развернуто эта концепция представлена в двухтомном труде "История Коммунистического Интернационала 1919–1943" (Париж, 1979, франц. язык) Пьера Франка, с 1929 г. секретаря Троцкого и одного из лидеров IV Интернационала в послевоенные годы.
9. Среди западных работ, выдержанных в этом ключе, отметим книгу американского ученого Р. Дэниельса "Совесть революции". — Robert V. Daniels. Das Gewissen der Revolution. Kommunistische Opposition in der Sowjetunion. Berlin. 1978.
10. См., например, Braunthal J. Geschichte der Internationale. Bd. 2. Hannover. 1978.
11. Borkenau F. The Communist International. London. 1938.

12. Ундасынов И. Н., Яхимович З. П. Коминтерн: опыт борьбы за единство рабочего движения. М. 1989.

13. Ватлин А. Ю. Рождение политики единого фронта: "русское измерение". — Рабочий класс и современный мир, 1990, №1.

14. Эта тема была одной из центральных в работе секции "Теория и практика мировой революции" Всемирного конгресса исследователей Восточной и Центральной Европы в Варшаве 10 августа 1995 г.

15. Фирсов Ф. И., Яжборовская И. С. Коминтерн и Коммунистическая партия Польши // Вопросы истории КПСС. 1988. №11.

16. "Круглый стол". Некоторые вопросы истории Коминтерна // Новая и новейшая история. 1989. №2.

17. Отметим явную переоценку роли Сталина в сужении политики единого фронта и перенесении главного удара на левых социал-демократов после поражения "германского Октября" 1923 г. в одной из первых перестроечных статей, написанной еще в 1963 г. и по независящим от автора причинам увидевшей свет лишь пятнадцать лет спустя. См.: Фирсов Ф. И. К вопросу о тактике единого фронта в 1921—1924 гг. // Вопросы истории КПСС. 1987, №10. С. 118—119.

18. См. Ширяня К. К. Против упрощенного представления о коминтерновской концепции мировой революции и о диктате Сталина в Коминтерне. В кн.: Коминтерн: опыт, традиции, уроки. С. 54—67.

19. Там же. С. 214.

20. Фирсов Ф. И. Сталин и Коммунистический Интернационал. В кн.: История и сталинизм. М. 1991. С. 131—199. Впервые статья была опубликована журналом "Вопросы истории" в 1989 г. Ее уникальность можно проиллюстрировать тем, что в небольшой работе Толмачева она цитируется 21 раз. На приводимых Фирсовым данных основывается и ряд статей западных коминтерноведов. См. Kevin McDermott. Stalin and the Comintern during the "Third Period", 1928—33. — European History Quarterly, 1995. Vol. 25.

21. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 42. С. 1.

22. См. доклады участников коминтерноведческой секции научной конференции "Рабочее движение и общественный прогресс (исторические этапы)", организованной ИМЛ при ЦК КПСС осенью 1989 г., опубликованные в сборнике "Международная организация коммунистов". М. 1990.

23. Aufstieg und Zerfall der Komintern. Studien zur Geschichte ihrer Transformation (1919—1943). Mainz. 1992.

24. Фельштинский Ю. Крушение мировой революции. Очерк первый. Брестский мир. Октябрь 1917 — ноябрь 1918. Лондон. 1991.

25. Люкс Л. Коммунистические теоретики о фашизме: озарения и просчеты. В кн.: Он же. Россия между Востоком и Западом. М. 1993.

26. Кривогуз И. М. Судьба и наследие Коминтерна // Новая и новейшая история. 1990, №6. С. 5.

27. Частично эта проблема освещалась в статьях сборника "Бухарин и Коминтерн". М., 1989.

28. Достаточно назвать работу Тальгеймера "Критика проекта программы Коминтерна", опубликованную лишь в 1993 г. в Германии: A. Thalheimer. Programmatische Fragen. Mainz.

29. The International Newsletter of Historical Studies on Comintern, Communism and Stalinism. Ed. by Dr. B. H. Bayerlein, Koeln. К настоящему моменту вышло три сдвоенных номера журнала.

30. Опрос проводился в школе №1156 совместно с учителем истории А. Э. Тимофеевым.

31. Коминтерн и вторая мировая война. Ч. 1, до 22 июня 1941 г. Составители Н. С. Лебедева и М. М. Наринский. М. 1994; ВКП(б), Коминтерн и национально-революционное движение в Китае. Документы. Т. 1. 1920—1925. М. 1994; The Cominform. Minutes of Three Conferences 1947, 1948, 1949. Ed. by G. Procacci, G. Adibekow a. o. — Annali Feltrinelli, 1994. Vol. XXX.

32. Упомянем докторские диссертации А. В. Панцова "Политическая история троцкизма и Коммунистическая партия Китая (20-е годы)" и А. Д. Улуняна "Образование и развитие Коммунистической партии Греции. От социалистических кружков к партии коминтерновского типа. 60-е гг. XIX века — 1941 год", защищенные соответственно в 1993 и 1994 гг.

33. См.: доклад К. МакДермотта (Великобритания) на международной конференции по истории Коминтерна в Москве 20 октября 1994 г.

34. Адибеков Г. М., Шахназарова Э. Н. Перестройки организационной структуры Коминтерна. Основные положения доклада опубликованы в Newsletter... №5—6. S. 27—34.

35. См. статью "Делегация ВКП(б) в Коминтерне: "внеуставной" механизм власти" в кн.: Ватлин А. Ю. Коминтерн: первые десять лет. М., 1993.

36. R. Tosstorff. Bericht ueber die Tagung... — Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. 1995. №1. S. 58.

37. Данные из доклада О. В. Наумова на конференции. См.: Tosstorff R. Op. cit. S. 55.

38. Искушения опубликовать интересный документ по поводу московских субсидий не выдержал даже К. К. Ширяня, постоянно призывавший своих коллег не гнаться за сенсациями: "Казначей Коминтерна проверяет расходование денег, выделенных компартиям" // Бюллетень РЦХИДНИ, №4, 1994. С. 35—57.

39. См.: примечание 24. В 1995 г. вышел первый том публикации документов из архива Коминтерна, предпринятой издательством Yale University Press. — The Secret World of American Communism. Ed. by H. Klehr, J. E. Haynes, F. I. Firsow.

40. Mannheimer Initiative zur Rettung des Kominternarchivs. — Newsletter. 1993, №1—2. Следует отметить, что призывы западных ученых к скорейшему открытию и освоению архива Коминтерна под контролем международной общественности были негативно восприняты руководством РЦХИДНИ. См.: Бюллетень РЦХИДНИ, №2, 1993. С. 39.

41. Швейцарские историки П. Хубер и Б. Штудер практически одновременно опубликовали на французском и немецком языках протокол заседания Секретариата ИККИ от 2 октября 1935 г., посвященный реорганизации политической структуры Коминтерна. См. Internationale... S. 25—53.

42. Туточкин Ю. Т., Фирсов Ф. И. "...У вас готов и приговор". Как Троцкого исключали из Коминтерна // Отечественные архивы. 1992, №1; Бабиченко Л. Г. Революция на экспорт. "Красная Армия придет в Германию с опозданием" // Источник. 1995, №2.

43. Гинцберг Л. И. "Политсекретариат ИККИ требует". Документы Коминтерна и компартии Германии 1930—1934 // Исторический архив. 1994, №1.

44. Мещеряков М. Т. Коммунистическая партия Испании и Коминтерн // Новая и новейшая история, 1991, №5; Ватлин А. Ю. Взаимоотношения трех Интернационалов в 1919—1922 гг. Неизвестные документы // Там же, 1993, №4; Фирсов Ф. И. Коминтерн: механизм функционирования // Там же, 1991, №2; Бабиченко Л. Г. Политбюро ЦК РКП(б), Коминтерн и события в Германии в 1923 г. Новые архивные материалы // Там же, 1994, №2.

45. Biographical Dictionary of the Comintern. Ed. by B. Lazitch and M. M. Drachkovitch. Stanford, 1970. Вышедшее в 1986 г. второе издание словаря также не было сверено с документами архива Коминтерна. В настоящее время сотрудники РЦХИДНИ совместно с зарубежными историками ведут работу над созданием подобного справочника деятелей Коммунистического Интернационала из франкоязычного региона.

ИСТОРИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ

А. И. Куприянов

Одной из характерных тенденций, появившихся в российской исторической науке в первой половине 1990-х гг., следует признать заметное расширение спектра исторических исследований: постановку новых проблем и стремление к обновлению методологических основ исторической науки. При этом именно человек во всем многообразии своего бытия декларируется центром исследовательских изысканий. "Исследовательский пафос исторической антропологии состоит в раскрытии человеческого содержания истории — во всех без исключения проявлениях общественного человека и, главное, в достижении на этой основе качественно нового исторического синтеза", — писал в 1988 г. А. Я. Гуревич (1). Наиболее рельефно эти процессы прослеживаются на примере изучения истории ментальностей. Значительно менее выражены они в новейших для российский исторической науки направлениях — истории женщин и истории частной жизни — в силу того, что сами эти направления еще только переживают стадию своего оформления. Разумеется, нельзя отрицать, что интерес к человеку в истории всегда был присущ отечественной историографии. Однако достойными внимания казались лишь люди власти (правители и революционеры), полководцы, выдающиеся литераторы, деятели науки и искусства. Жизнь других людей, их эмоции, чувства, представления, интересы — все это не заслуживало никакого интереса. "Простые люди" в сознании советского историка сливались в абстрактные классы и массы. В результате человек со свойственной ему картиной мира, стереотипами восприятия и обусловленная его ментальностью повседневная жизнедеятельность оказались в осознании историками исторического процесса где-то на обочине.

Отношение к истории ментальностей в российской исторической науке, как впрочем, и в американской, французской или немецкой, довольно сложное. Отечественный случай сложен вдвойне, поскольку российская историография довольно жестко делится на два направления: историю России и так называемую всеобщую историю, или историю зарубежных стран. Что касается всеобщей истории, то здесь проблемы изучения ментальностей имеют свою устойчивую традицию, представленную прежде всего работами А. Я. Гуревича. В историографии России эта традиция тоже имеет свой "след", но он слишком прерывист и не всегда очевиден. В данной статье, дабы не создавалось впечатления относительного благополучия состояния российской исторической антропологии, все внимание будет сосредоточено на той ее части, которая профессионально интересуется прошлым собственного Отечества.

В 1993 и 1994 гг. в Москве прошли три конференции, декларировавшие своей задачей ознакомить научную общественность с исследованиями в области изучения российской (русской) ментальности: осенью 1993 г. в РГГУ состоялась международная конференция "Менталитет русской культуры", летом 1994 г. в Институте всеобщей истории РАН имело место другое представительное научное собрание, которое было посвящено проблеме "Менталитет и аграрное развитие России (XIX—XX вв.)", а в октябре 1994 г. на конференции в Институте российской истории РАН обсуждалась тема — "Русская история: проблемы менталитета". Каждая из этих конференций имела свой индивидуальный "облик": исследовательский ракурс проблем, трактовка задач и методов изучения, профессионально-возрастной состав участников. Так, на первой конференции основное внимание уделялось особенностям ментальности выдающихся русских писателей, их представлениям о пространстве и времени и другим элементам картины мира, присущей литераторам, героям их произведений, всему русскому народу и его отдельным социальным группам. Вторая конференция отличалась еще большим ограничением своего предмета. Третья конференция, напротив, стремилась к максимально возможному выявлению подходов и методов изучения истории отечественной ментальности.

Два первых научных собрания характеризуются весьма представительным составом участников, среди которых было немало ученых из Европы и Северной Америки. Географическое представительство российских историков было ограничено Москвой и Петербургом. В конференции в Институте российской истории активно участвовали исследователи (историки, культурологи, философы, литературоведы, фольклористы и искусствоведы) из многих регионов России. Ее смело можно отнести к разряду междисциплинарных. Важное внимание на ней уделялось вопросам методологии исторических исследований. Но, пожалуй, еще заметнее было отличие среднего возраста ее участников, который был лет на 15 моложе, чем на ранее упомянутых научных конференциях. Заметное преобладание среди выступавших с докладами и сообщениями исследователей не старше 40 лет явление не случайное — это та хронологическая грань, которая отделила тех, кто успел проштудировать в студенчестве монографию А. Я. Гуревича "Категории средневековой культуры", от их более старших коллег. Именно эта книга (несколько меньше исследования Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского и М. М. Бахтина) послужила первотолчком к поиску собственных подходов ментального измерения истории для многих исследователей моего поколения. И последнее сравнительное наблюдение, которое свидетельствует о сегодняшнем состоянии изучения российской ментальности, — на всех этих научных собраниях присутствовал свой исследовательский контингент. Случаи выступления с докладами, хотя бы на двух конференциях, были чрезвычайно редки. Данное обстоятельство, наряду с содержательным анализом

представленных докладов и сообщений, позволяют утверждать: 1) Среди историков-русистов еще только происходит выделение ученых, которые намерены уделять в своей работе серьезное внимание изучению культурно-антропологических проблем. 2) Для большинства российских историков изучение ментальности — это пока лишь научная мода. При этом для немалой части историков — высокая мода, которая в обыденной жизни представляется чем-то вроде "архитектурных излишеств". 3) Наблюдается явный недостаток информации о научных мероприятиях, проводимых различными учреждениями даже одного ведомства — Российской Академии Наук. 4) Ощутимым барьером на пути нового направления исторических исследований является сам язык многих научных докладов, перенасыщенный терминологией, заимствованный, и не всегда критически, из самых разных наук о человеке и обществе. Сциентистский язык, конечно, может вызвать уважение коллег, но отторгает даже специалистов, занимающихся другими проблемами, не говоря уже о сколько-нибудь широкой читающей публике.

О наличии интереса к проблемам российской (русской) ментальности, а равным образом и об отсутствии пока сколько-нибудь осязаемых интеллектуальных результатов ее изучения, достаточно красноречиво говорит уже факт рецензии тезисов конференции (!) "Русская история: проблемы менталитета" в популярной газете "Сегодня" (2). Однако употребление в современных исторических работах слова "менталитет" — к месту и не к месту — отражает скорее дань моде, нежели осознанное понимание необходимости изменения самого подхода к историческому исследованию (3).

Общей чертой большинства работ, посвященных изучению ментальности, является недостаточное внимание к методологическим проблемам исторического исследования и игнорирование опыта, накопленного в этой области зарубежными и отечественными историками. Этого не избежал в своей интересной по постановке проблемы (влияние природно-климатического фактора на ментальность русского крестьянства) статье даже авторитетный историк-аграрник Л. В. Милов (4), который заодно проигнорировал и наблюдения В. О. Ключевского о влиянии среды на национальный характер великороссов. А между тем, автор, определив менталитет как совокупность норм и идеалов культуры, предпочтений и отрицательных реакций людей, фактически ставит знак равенства между поведенческими стереотипами и ментальностью, между ментальностью и национальным характером (5).

Некоторые авторы настойчиво стремятся идти своим собственным путем, проявляя при этом большую исследовательскую оригинальность. Так, В. Н. Разгон, в соответствии с формационной парадигмой исторического процесса, говорит о феодальной и буржуазной ментальности. На основе отдельных черт правовой и политической культуры, а также фактов использования сибирским купечеством в XVIII — первой половины XIX в. некоторых докапиталистических методов хозяйствования, он приходит к выводу, что менталитет купечества "имел преобладающий феодальный характер" (6). Сам этот вывод, скорее декларированный, чем полученный в результате использования какой-либо конкретной методики, вызывает очень много вопросов, главным из которых можно считать вопрос о феодальном характере менталитета: может ли вообще столь абстрактное понятие быть работающим в историческом исследовании? И. Ю. Николаева и В. М. Мучник дают утвердительный ответ на этот вопрос, предпочитая, впрочем, говорить о "традиционной ментальности", присущей индустриальным цивилизациям. Однако, приведенный ими перечень "констант" традиционной ментальности (тяготение к двуплановому восприятию мира, иерархизированное видение окружающей действительности и др.) (7) может служить инструментом анализа лишь на очень абстрактном уровне социологического изучения общества. Для историков эти "константы" оказываются малоэффективными, ибо игнорируют всю историческую специфику социокультурных процессов, протекавших в разные эпохи в различных регионах и социальных средах.

Сама терминология ментального измерения истории еще не устоялась. Одни исследователи употребляют понятия "ментальность" и "менталитет" как равнозначные русские эквиваленты французского термина "mentalité". Другие историки стремятся разграничить "ментальность" и "менталитет". Однако, имеются сомнения в плодотворности подобных терминологических изысканий. Как известно, французские, англоязычные и немецкие историки, исследуя ментальность, вполне успешно обходятся единственным "большим" термином. Многие из западных ученых нередко вообще пишут это слово по-французски.

Впрочем, данные недостатки относятся во многом к "болезни роста". Наряду с этим обстоятельством сказывается и не преодоленная пока до конца известная параллельность развития отечественной и зарубежной исторической науки. А в школе ментального измерения российской истории все мы находимся в разных классах начальной ступени. Но благодаря постоянному вниманию к методологическим проблемам исторического исследования альманахов "Одиссей" и "THESIS" (в этом контексте необходимо отметить и книгу А. Я. Гуревича "Исторический синтез и Школа «Анналов»" (М., 1993) наша теоретическая оснастка имеет все шансы стремительно пополниться и обновиться.

Что касается специальных исследований историко-психологической направленности, то России в этом смысле "не повезло". Практически единственной работой, сделанной в этом направлении, можно считать вышедшую еще в 1947 г. книгу Б. А. Романова "Люди и нравы Древней Руси". Всплеск интереса к исторической психологии в середине 60-х гг. обозначил новую тенденцию в отечественной историографии, итогом которой стала книга Б. Ф. Поршнева и несколько сборников статей (8), однако уже в 70-е годы это направление было фактически свернуто. Единственное исключение составило изучение семиотики русской культуры, связанное прежде всего с именами Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского (9). Таким образом, тенденция изучения исторических ментальностей на материалах России, едва обозначившись, не получила своего развития. Хотя имеет место и другая точка зрения, согласно которой в последнее время наблюдается "нарастание в советской историографии интереса к работам, в которых история менталитета выступает в качестве основного предмета исследования. Думается, что такой интерес отвечает и внутренней логике развития исторической науки, которая на протяжении десятилетий практически игнорировала исследования субъективных моментов изучаемых ею классовых и других массовых явлений" (10). Правда, автор этой точки зрения не указал ни одной работы, которая могла бы служить иллюстрацией этого оптимистического заявления.

О том, что к началу 1990-х гг. изучение отечественной истории оказалось чуждым и культурно-антропологическому, и историко-антропологическому подходам, свидетельствует не только отсутствие исследовательских трудов, в которых такие подходы были бы осуществлены, но и менее заметные, но значимые явления на "кухне" исторической науки. Лишь в 90-е годы наметился институциональный сдвиг — в Институте российской истории РАН была создана группа по изучению менталитета, которую возглавил А. А. Горский. Первым результатом ее деятельности стал сборник статей "Мировосприятие и самосознание русского общества" (М., 1994).

Вышесказанное отнюдь не означает, что это первое издание, в котором была осуществлена попытка исследования ментальности русского социума. Первые сюжеты по российской ментальности появились на страницах ежегодного альманаха "Одиссей". При этом наблюдается и некоторый хронологический "дрейф" исследований: от анализа средневековой ментальности к изучению представлений и картин мира людей недавнего прошлого (11).

В 90-е годы появилась целая серия работ, посвященных отдельным компонентам картин мира разных социумов, массовым представлениям и стереотипам сознания. Изучаются представления русских о физических особенностях человека (12), представления о других народах мира (13), индивидуальные образы пространства (14), судьба "русской идеи" в советском менталитете (15), массовое сознание сельского населения в годы нэпа (16) и массовое сознание в годы войны (17), современный политический менталитет русских (18), другие проблемы.

Вместе с тем, на основе анализа тематики диссертаций, представленных на соискание ученой степени кандидата исторических наук, можно констатировать рост интереса молодых исследователей к истории ментальности. Диссертации, в которых важное место занимают вопросы изучения обыденного сознания людей разных исторических эпох и периодов, становятся заметны в 90-х годах. Интерес к данной проблематике присутствовал в отечественной историографии и ранее, но тогда он имел маргинальный характер. В 90-е годы произошел количественный и отчасти качественный рост исследований историко-психологической направленности. Так, в 1991–1994 гг. были написаны кандидатские диссертации по проблемам: влияние общежительных монастырей на формирование нравственно-этических основ русской нации в XIV–XV вв., отражение общественного сознания смутного времени в агиографии, социально-политические представления участников народных движений в XVII–XVIII вв., социально-политические воззрения горнозаводского населения Урала в третьей четверти XVIII в., "индивидуально-человеческое измерение" дворянской культуры второй половины XVIII в., военные поселения первой половины XIX в. в оценках современников, ментальность сановных бюрократов первой половины XIX в., общественное сознание крестьянства в период капитализма, нравственный фактор в гражданской войне, нравственный аспект внутрипартийных отношений в годы гражданской войны, влияние практики большевизма на изменение нравственного сознания и поведения российского крестьянства, общественные настроения колхозного крестьянства в довоенное время, духовный облик фронтового поколения, ценности российского крестьянства в условиях современных социально-экономических перемен (19). Такое тематическое разнообразие диссертаций, ориентированных на изучение ментальности, при значительном хронологическом диапазоне (от средневековья до современной истории) и использовании разнообразных методов исторического исследования, дает основание ожидать появление уже в ближайшие годы качественно новых работ по истории России.

Едва ли не первый опыт использования междисциплинарного и компаративистского подхода к исследованию культурно-психологических истоков русского тоталитаризма, предпринял В. В. Бочаров. Ему удалось, благодаря использованию этнографических материалов по многим народам мира, вписать русскую народную политическую культуру в систему традиционной политической культуры. Для носителей этой культуры власть "была категорией не столько социально-политической, сколько духовной или ментальной". Однако, утверждение автора о существовании в России перед революцией двух "относительно автономных" политических культур, что было обусловлено общим культурным расколом общества, происшедшим в результате реформ Петра I (20), носит априорный характер. Проблема требует не политологического или общесоциологического подходов, а конкретно-исторического анализа политической культуры и ментальности разных социальных групп дореволюционной России. Без такого изучения все рассуждения приобретают схоластический характер. Лишь специальное изучение целого комплекса данных проблем может привести к выводам о времени возникновении в России модернизированной политической культуры верхов, а также о степени автономности представлений о государстве и обществе народа и высших слоев господствующего класса. Тем более, что обыденные представления и политические настроения дворянства еще менее известны, чем аналогичные представления крестьянства или пролетариата. Однако первые шаги в этом направлении уже сделаны. В этой связи следует отметить исследование Е. В. Долгих, посвященное мировосприятию и поведению властной элиты России первой половины XIX в. (на примере Д. Н. Блудова и М. А. Корфа) (21). Знакомство с ее пока неопубликованной диссертацией позволяет утверждать, что представления этих сановных бюрократов о государе и государстве несколько неожиданно обнаруживают близость к аналогичным представлениям крестьянства.

Следует заметить, что наряду с исследованиями собственно ментальностей, в отечественной историографии историко-антропологический подход с конца 80-х гг. все более стал утверждаться в работах новых социальных историков, которых объединяет стремление исследовать все социально значимые явления общественной жизнедеятельности. Их исследовательское кредо удачно выразил английский историк Т. Зелдин: "Кульминацией социальной истории должна стать история всеобъемлющая, охватывающая личность, умонастроения и общество одновременно" (22). В настоящее время имеется и первый монографический опыт такого подхода. Речь идет о книге О. В. Хлевнюка "1937-й: Сталин, НКВД и советское общество" (М., 1992), в которой традиционная политическая история смыкается с изучением отношения советских людей к массовым репрессиям, прослеживается механизм воздействия власти на граждан. Е. Ю. Зубкова в книге "Общество и реформы. 1945–1964" (М., 1993) рассматривает проблемы социально-экономического и социально-политического развития страны в контексте прямой и обратной связи власти и общества. Существенным аспектом

исследования является анализ настроений и ментальности разных социальных групп населения. При этом автор использует как традиционные источники, так и собранные им свидетельства очевидцев, которые дополняют показания письменных источников.

Историки советского общества и сегодня все же продолжают испытывать серьезные проблемы с источниковым обеспечением своих исследований. Поэтому немаловажное значение приобретает публикация документов. В 90-е годы и в этой деятельности проявились новые тенденции, связанные с повседневной, обыденной жизнью, с интересом к человеку в истории. Проиллюстрируем это положение на основе содержания первых четырех выпусков "Неизвестная Россия. XX век", издаваемых Московским городским объединением архивов (23). Названия основных рубрик издания: старые письма, мемуары, дневники, повседневная жизнь, правители России: лица и отражения, — недвусмысленно показывают ориентацию его редакции.

История повседневности — еще одно направление историографии, которое в 90-е гг. получило новый импульс. Его приверженцы стремятся исследовать все стороны повседневной жизни мужчин и женщин: от питания до преломления политической конъюнктуры в судьбах обычных людей. Наиболее заметным вкладом в изучение российской повседневности, вероятно, является публикация материалов конференции "Российская повседневность 1921—1941 гг.: новые подходы". Опубликованные доклады охватывают многие аспекты повседневности того периода: экономику, систему советского потребления, политическую конъюнктуру, поведенческий конформизм, формирование советской личности, риторику власти и личности, а также некоторые другие проблемы, связанные с теорией повседневности. В частности, В. Е. Есипов поделился опытом изучения повседневности российской экономики через исследование системы цен и механизма ценообразования. Уровень, динамика, структура цен, их дифференциация по регионам, по его мнению, дают возможность "не только получить представления о важных явлениях, раскрывающих реалии повседневной жизни основной массы населения, но и познать внутренние факторы, определяющие закономерности развития общества" (24). В докладе Я. В. Соколова был предложен оригинальный подход к вопросу о формировании советского менталитета. Он усматривает пути его целенаправленного создания на основе использования психологических и физиологических теорий В. М. Бехтерева и П. П. Павлова, "развивавших теорию условных рефлексов". По его мнению, "уникальный эксперимент в области социальной психологии дал желаемые результаты" — было достигнуто морально-политическое единство общества (25). К другим выводам по данной проблеме пришли Л. С. Тарасевич и Б. А. Старков: "Российское общество не было... единым" (26). С ними солидарен С. А. Шинкарчук, исследовавший политический конформизм старой интеллигенции, — "ни о каком классовом единстве речи быть не могло" (27). Словом, необходимы не только уточнение понятий, которые используют историки, но и углубленная разработка проблемы на материалах разных социальных групп в различных регионах страны. В этой связи следует отметить, что доклады известных американских историков Ш. Фитцпатрик и Р. Терстона выделялись аргументированностью и взвешенностью суждений.

Материалы конференции позволяют считать, что исследования повседневности, в которых ментальность является важнейшим инструментом анализа, способны вывести науку на качественно новый уровень осмысления исторического прошлого. В настоящее же время отсутствие "продвинутых" конкретно-исторических работ в этой сфере требует от исследователей большей осторожности и меньшей категоричности в своих выводах. Разнообразие теоретических подходов, исследовательских методик, стремление к широким обобщениям, проявленное участниками конференции дают основание надеяться, что новое течение российской историографии способно избежать тех негативных моментов (нехватка теоретической ориентированности и вкуса к обобщениям), которые характерны, например, для "истории повседневности" в ФРГ (28). Резюмируя итоги вышеупомянутой конференции, можно отметить, что изучение российской повседневности обладает несомненными потенциями к превращению этой дисциплины в одно из направлений исторической антропологии. А будут ли эти потенции реализованы, мы узнаем не раньше, чем лет через 10—15.

Л. М. Баткин, анализируя исследования исторических обществ через их ментальность, отметил, пожалуй, самое уязвимое место этого подхода: "...люди, в качестве более или менее пассивных носителей... ментальности, вновь рассматриваются о б ъ е к т н о . Объектом теперь выступают... матрицы сознания. А "человек" — в о т э т о т человек — опять норовит ускользнуть... Мы не добираемся до мгновения его творческой, человеческой свободы" (29).

История индивидуального, уникального, противостоящего массовому и повторяющемуся, занимает центральное место в исследованиях по истории частной жизни — другом новом, но пока значительно менее проявившем себя направлении историографии. По мнению Ю. Л. Бессмертного, именно через анализ индивида как субъекта конкретных исторических действий только и может быть раскрыт антропологический аспект истории. В историографии же закрепился подход, предполагающий упор на сериальные источники и, соответственно, сериальные исследования. Одним из важнейших отличий нового этапа исторических исследований, характерного для мировой историографии, можно считать сосредоточение внимания на своеобразии поведения отдельно взятого индивида (типичного или нетипичного). Именно в этом ключе задуман семинар по истории частной жизни, действующий с 1994 г. в Институте всеобщей истории РАН под руководством Ю. Л. Бессмертного (30). В рамках этого семинара проводится работа над проектом "История частной жизни в Европе в средние века и начале нового времени". Его характерной особенностью является компаративистский подход. Наряду со специалистами по европейской истории, в нем участвуют и историки-русисты.

Научный потенциал изучения проблем частной жизни еще только начинает осознаваться российскими историками. И если директор Института всеобщей истории РАН А. О. Чубарьян отмечает важность и значимость конкретно-исторических исследований частной жизни (31), то в программной статье академика И. Д. Ковальченко "Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления о новых подходах" (32) данная проблематика даже не обозначена. Хотя и раньше историки ощущали потребность в осмыслении феномена частной жизни, пытаясь определить конкретные под-

ходы к ее изучению. Так, еще в 1987 г. был поставлен вопрос о необходимости изучения становления и развития межличностных отношений в быту как стержневой проблемы культуры быта (33). Другой аргумент, подтверждающий игнорирование этого нового направления отечественными историками, я вижу в том, что даже на стадии проектов история частной жизни еще не осмыслена как научная проблема. Так, из 106 проектов, которые отобраны в 1995 г. в качестве финалистов по специальности "история" на конкурс "Российские общественные науки. Новая перспектива", проводимом для ученых в возрасте до 40 лет (34), нет ни одного, в названии которого бы фигурировали какие-либо аспекты частной жизни или истории женщин. Исследователи женской истории могут получить финансовую поддержку своих проектов в разного рода феминистских центрах и организациях. Историки же частной жизни должны на общих основаниях искать свой путь к грантам, без которых нормальное проведение научных изысканий уже несколько лет является в нашей стране делом почти невозможным.

Те же исследователи, которые осознали значение изучения частной жизни для утверждения антропологического видения исторического процесса, оказались перед двумя серьезными проблемами: методологической и организационно-практической. Первая проблема является логическим следствием того, что исследование частной жизни, будучи новым направлением, переживает дискуссии о частной жизни как предмете изучения, его границах, прежде всего тех, что отделяют сферу личную от сферы публичной. Другая проблема имеет значительно более сложный и запутанный характер. В ее основе лежит этическая подоплека: как глубоко историк может (имеет право) заглянуть в личную жизнь других людей? Такая постановка вопроса далеко не нова и в общественном сознании как будто бы давно утвердился постулат о суде истории, которому подлежат все дела земные. Однако на практике перед историком, изучающим чью-то индивидуальную судьбу, всякий раз встает данный вопрос. И все же, очевидно, если мы стремимся анализировать механизм выработки и реализации индивидуальных решений, мы должны как можно глубже попытаться проникнуть в сознание и подсознание людей минувших эпох. Сегодня историки, изучающие советское общество, фактически лишены возможности работать над проблематикой частной жизни, так как в последнее время ужесточились ограничения Росархива на допуск исследователей к документам, в том числе к тем, которые содержат так называемую "личную тайну". Президентский архив фактически открыт лишь для "генералов" от исторической науки. В Центре хранения современной информации с начала 1995 г. в категорию секретных неожиданно для исследователей попали документы, доступ к которым был не ограничен. Действующий в другом архиве — Российском центре хранения и использования документов новейшей истории — "Временный регламент", который по российской традиции подменяет закон, отсекает историков на 75 лет с момента создания документов от любой информации, относящейся "к тайне личной жизни граждан". К упомянутой тайне "могут быть отнесены сведения о здоровье; семейных и интимных отношениях; материальном, имущественном положении; источниках доходов; об обстоятельствах рождения, усыновления, установления опеки, развода и вступления в брак; личных привычках и наклонностях; о деятельности в области частного бизнеса, изобретательства; об интеллектуальной собственности" и т. п. Предметом регламента являются дела и отдельные документы с информацией, относящиеся к тайне личной жизни граждан, персональные партийные дела, личные дела работников, а также документы из личных фондов, касающиеся частной жизни, семейной, личной тайны. Таким образом, изучение проблем частной жизни советского общества становится попросту невозможным. И здесь нельзя не заметить иронии истории: в советском обществе грубо нарушалось право граждан на тайну частной жизни, ныне же, благодаря "временным регламентам", сама эта практика тоже становится тайной.

Усложняет исследователям задачу и то обстоятельство, что в советское время архивы принимали на хранение в основном лишь личные фонды так называемых "выдающихся" деятелей. Порочность такой практики уже давно осмыслена историками. Однако ни дискуссия 1976 г., инициаторами которой стали М. О. Чудакова и С. В. Житомирская, ни коллективная статья 1983 г. Б. С. Илизарова, Е. Ю. Зубковой и М. В. Акимовой, в которой во многом по-новому рассматривались проблемы изучения личных информационных, документальных и архивных фондов (35), не смогли изменить статус-кво. Потребовались радикальные перемены в общественно-политической ситуации, чтобы стало возможным институциональное решение проблемы — создание Центра Документации "Народный архив".

Представляется, что история частной жизни обладает значительным потенциалом для осмысления историками особенностей и своеобразия исторического развития России. Принято считать, что в России всегда были сильны общинное и соборное начала, закрепленные государством и опиравшиеся на линии комфортного поведения народа. Но ясно проявляется и другая тенденция — велика роль индивидуального выбора, нестандартного поведения личности. Поэтому исследования частной жизни позволят существенно расширить наши представления о прошлом и определить социальные ниши, в которых происходило автономное от государства развитие личностного начала человека, степень этой автономности в разные исторические периоды и в различных социальных средах. Наряду с этим, история частной жизни может стать своеобразным фокусом, в котором преломляется история полов.

История женщин в России представляет собой другое новое направление исторических исследований (36). Приходится констатировать, что первая половина 90-х годов не была ознаменована появлением монографических трудов по женской истории. Это были годы "внутренней" исследовательской работы, изучался опыт зарубежных коллег, происходило осмысление предмета истории женщин, осуществлялась источниковедческая проработка новых тем и т. п. Изучение истории женщин в России, как и на Западе, оказалось тесно связано с задачами социального реформирования общества. Отсюда и обилие научных и научно-практических конференций, посвященных прошлому и настоящему российских женщин (37).

Отдавая дань той колоссальной работе, которая была проделана зарубежными исследователями, точнее исследовательницами, истории женщин, нельзя не заметить, что в этом направлении произошел заметный крен, и феминистское видение истории оказалось столь же однобоким, как и традиционная историография, которая игнорировала роль женщин в истории. Гендерный аспект ис

рических исследований, безусловно, важен. Но создание особой женской истории ведет лишь к дальнейшей фрагментации восприятия прошлого. Это осознается и теми женщинами-историками, которые не являются носителями радикально-феминистской идеологии. Кроме того, как иронично прокомментировал известный американский историк Л. Стоун соотношение опубликованных в 1983 г. работ по истории женщин XVIII в. в Великобритании и книг по истории войн (231 к 10): "По всей видимости, баланс здесь несколько нарушен" (38).

Гендерный подход к историческим исследованиям, появившийся в западной историографии в 60-е годы, в 90-е был взят на вооружение и отечественными обществоведами. В Институте социально-экономических проблем народонаселения РАН был образован Центр гендерных исследований (руководитель А. И. Посадская). В 1992 г. вышел сборник статей "Женщины и социальная политика (гендерный аспект)". Редколлегия этого издания подчеркнула, что концепция гендерных отношений "вводит различие между понятиями sex — биологический пол и gender — социальный пол" (39). Однако рискну настаивать, что советское обществознание всегда тяготело именно к такому пониманию различий между полами. И, напротив, именно биологический пол был изгнан из исторической науки, поскольку, как заявила одна участница советско-американского телемоста: "В СССР секса нет!" Авторы первой монографии о проституции — Н. Б. Лебина и М. В. Шкаровский, как видно из введения, испытывают чувство неловкости, некоторого внутреннего дискомфорта, вызванного их обращением к теме, которая в нашем обществе все еще имеет налет скандальности. Поэтому они считают нужным заявить об отсутствии в исследовании "клубнички", подчеркивая, что их цель "в приемлемой для широкого читателя форме исторических очерков рассказать о многих с е р ь е з н ы х (разрядка моя — *А. К.*) проблемах, связанных с институтом продажной любви" (40). Благодаря методологической основе работы — теории девиантного поведения — проститутки оказались в одном ряду с убийцами и насильниками, которым противостоят выдающиеся политики (интересно, куда следует отнести продажных политиков, среди которых есть и претендующие на определение "выдающиеся"?), талантливые ученые, бизнесмены. Именно из-за неразработанности в отечественной литературе женской проблематики авторы этого серьезного и оригинального исследования поставили под сомнение само существование "специального женского вопроса", который, по их мнению, в 50—60-е годы был осмыслен прогрессивно мыслящей общественностью "как бы частью происходивших тогда буржуазных преобразований..." (41). А теория девиантного поведения настолько застит исследователям глаза, что они за деревьями (проституцией) не видят леса — всю остроту, объемность и многогранность женского вопроса. Гражданская неполноправность и крайне низкая правовая защищенность женщин уже в 1860-х годах была осмыслена не только либеральными интеллигентами и первыми феминистками, но и значительной частью высшей имперской бюрократии.

Думается, что в конце XX в. открывается благоприятная возможность для стереоскопического видения истории. Представляется глубоко символичным в деле преодоления разрыва между традиционным патриархальным ощущением исторического процесса и феминистским его осмыслением факт включения в программу Международного конгресса исторических наук в 1995 г. темы "Мужчина и женщина в истории". По-видимому, поиск нового видения истории должен учитывать в качестве необходимого компонента представления мужчин и женщин о себе и о мире, с одной стороны, а с другой стороны, стереоскопичность нашего восприятия прошлого может быть достигнута посредством сочетания сериальногоого, стандартизованного поведения и индивидуального, выбивающегося из общей массы.

Изучение ментальностей, как и любое историческое исследование, тесно связано с состоянием источниковой базы. Иногда приходится слышать, что отсутствие работ уровня "Анналов", но "скроенных" из отечественных "тканей", объясняется недостатком необходимых источников. Подобные заявления звучат тем более странно, что историков ментальностей от представителей других направлений отличает как раз "всеядность" в отношении источников. Нет такого источника, в котором в той или иной форме не нашли свое отражение взгляды, мнения, настроения людей, их личные или групповые пристрастия, то есть все то, что характеризует ментальный фонд. Меняется лишь иерархия источников: для изучения ментальностей важны в первую очередь не официальные документы, а материалы личного происхождения (завещания, дневники, мемуары, автобиографии, художественные произведения и др.).

Пока традиция изучения ментальностей концентрировалась на жизни людей отдаленных эпох, историку приходилось иметь дело лишь с тем документальным фондом, который дошел до наших дней. В отличие от этнологов или психологов он был лишен возможности проводить "полевые исследования". Однако вместе с появлением интереса к проблемам современной истории, источниковый арсенал историка значительно расширился. Возникло целое направление — "устная история" (42), существенно дополнившее источниковую базу исторических исследований.

Эпоха нового времени, по сравнению со средневековьем, расширила количественную и качественную базу источников для реконструкции исторических ментальностей. По мере распространения грамотности, социальный круг людей которых мы можем услышать непосредственно, становится шире. Уже из XVIII в. до нас дошло немало источников личного происхождения, созданных представителями некогда "молчаливых" слоев общества — купцов, мещан, крестьян. Эти источники (письма, дневники, воспоминания, пометы на книгах), оставленные зачастую малограмотными людьми, с трудом выражавшими на бумаге свои мысли и чувства или, напротив, излагающими их легко и просто, но без всяких соблюдений языковых норм, чрезвычайно ценны для изучения эмоций, чувств, настроений простых людей. Искренность таких свидетельств значительно выше, чем аналогичных источников, написанных представителями образованных слоев общества. Здесь невозможен словесный флер, изысканно камуфлирующий подлинные мысли и чувства автора, который иногда называют "ложью на уровне грамматики".

Мне представляется уместным отметить также наличие определенной иерархии достоверности источников личного происхождения. В схематизированном виде ее можно представить следующим образом: предназначенные для широкого круга читателей-современников или написанные в назидание собственным потомкам; адресованные друзьям, родным и знакомым; интимные мемуары,

написанные, как правило, глубоко верующими людьми для немногих духовно близких людей. Разумеется, откровенность личных источников определялась не только тем, для кого они создавались, но и психологическими особенностями их авторов. И все же можно утверждать, что именно информация из последней (самой малочисленной) группы источников дает исследователю возможность проникнуть в подлинный духовный мир людей.

Проиллюстрируем это положение на примере обширного эпистолярного наследия жены декабриста М. А. Фонвизина — Натальи Дмитриевны Фонвизиной. Ее письма знакомым можно считать типичным образчиком соблюдения принятых в обществе норм учтивости. Их структура содержит информацию о здоровье, о круге повседневных занятий семьи Фонвизиных, о переменах в служебной или частной жизни общих знакомых, о некоторых событиях общественной и культурной жизни города. Уровень этой информации (иногда действительно уникальной) поверхностно-событийный. Если же обратиться к ее переписке с ссыльными декабристами, то тематика писем несколько меняется, расширяясь за счет данных, касающихся положения декабристов в разных городах, разнообразных контактов между ними, а также сведений об интеллектуальных занятиях четы Фонвизиных. Сведения, содержащиеся в них, носят более конфиденциальный и более интимный характер. И все же историк, читающий их, неизбежно ощущает перед собой стену, за которой — "тайники души" этой неординарной женщины. Иной уровень откровенности в ее письмах духовным единомышленникам, прежде всего священнику С. Я. Знаменскому и "духовной сестре" Е. Ф. Непряхиной. Обращаясь к этим людям, Наталья Дмитриевна нередко демонстрирует пронзительную искренность, потрясающую нас своей абсолютной доверительностью. Такая же интимная и вместе с тем беспощадно-аналитическая тональность свойственна и ее дневнику. Один этот дневник дает неизмеримо больше для понимания мира эмоций и страстей русской женщины, чем десятки мемуаров и дневников, созданных в назидание потомкам. Этот дневник и воспоминания Н. Д. Фонвизиной давно известны исследователям (43), но вся богатейшая информация, которая характеризует ее сексуальную жизнь и мучительные интимные переживания, связанные с ней, остается совершенно невостребованной.

Ценную ментальную информацию можно извлечь из самых неожиданных на первый взгляд источников. Так, об иерархии ценностей мира русского горожанина первой половины XIX в. чрезвычайно много может сказать сама организация записей в семейном синодике тверских купцов Блиновых (44). В нем сведения о дате смерти и... продолжительности пребывания в браке. Причем время жизни в браке указано с точностью до одного дня! В летописном синодике воронежских купцов Елисеевых, охватывающем 1737–1800 гг., зафиксирована ценная информация для понимания изменения отношения горожан к смерти, по сравнению с XVII в. Проследим эти изменения на основе записей Я. Г. Елисеева о смерти четырех внуков в 1794, 1798, 1800 гг. Сами записи несут сильный эмоциональный заряд. В них видна огромная любовь к малолетним внукам, умершим в возрасте от 11 месяцев до 4 лет, и уважение к их человеческому достоинству. Воронежский купец называет внуков по имени и отчеству (что совсем не говорит о его непонимании мира детства как особого этапа в жизни человека). Умерших детей он именует "любезным внуком" или "прелюбезным внуком", а четырехлетнего ребенка называет "другом любезным". Другого мальчика он считал своей "утехою" по старости. Горе несчастного деда безмерно и безутешно — "и мне их так жаль, что и помянуть не могу" (45). Это совершенно иное отношение к смерти, чем в XVII в., когда царь Алексей Михайлович, утешая боярина кн. М. И. Одоевского по случаю смерти его сына, наставлял: "через меру не скорбеть, а нельзя не скорбеть или не прослезитца, и прослезитца надобно, да в меру, чтобы Бога наипаче не прогневить..." В его записях нет примирительных слов, выражающих надежду на встречу с внуками в мире вечности, как и уверенности в том, что безгрешных детей ждет рай. В этой связи интересна параллель с Алексеем Михайловичем, который писал Одоевскому, что его сына "Бог изволил взять милуючи, не дал ему больших грехов дожить, видя его доброе житие, того ради и житие ему прекратил..." (46). Любимого внука воронежского купца не Бог "взял", но "оспа пожрала". А это уже совершенно иное отношение к смерти, чем в русском обществе XVII в.

В литературе по истории быта, календарных праздников, народной медицины, семьи уже давно вовлечены в оборот такие содержательные источники, как этнографические описания. Хотелось бы обратить внимание историков ментальности на ту информацию, которой располагают эти нарративные свидетельства для реконструкции картин мира разных социальных групп народа. Особый интерес представляют этнографические описания конца 1840-х — начала 1860-х гг., которые были составлены не профессиональными исследователями, а любителями (в их числе оказалось немало мещан и крестьян), откликнувшимися на призыв Географического общества. Эти описания содержат не только богатейшие пласты многослойной информации о народных верованиях и представлениях, этикетных нормах и обычаях, о восприятии социальной структуры общества и о календарных праздниках, но и сведения об иерархии ценностей народного сознания. В свою очередь, оценочные суждения авторов, отношение их к бытованию тех или иных обрядов и обычаев — сами являются материалом для изучения ментальности людей того времени.

Ментальная информация, разумеется, необязательно связана только с источниками личного происхождения, особенно в России, где частная жизнь граждан находилась под постоянным государственным надзором. В отличие, например, от Франции: в государственных архивах этой страны, по свидетельству историков, почти не отложились документы о частной жизни ее граждан (47). Что касается материалов российских государственных учреждений, то их фонды сохранили немало данных, которые могут быть признаны вполне информативными с точки зрения отражения общественных настроений и представлений людей, в том числе и абсолютно интимного характера.

Как известно, общественным мнением в нашей стране первыми стали интересоваться не ученые, а люди в "голубых мундирах". Одной из важнейших обязанностей "высшей полиции", как писал один из ее руководителей граф А. Ф. Орлов, было следить "за общим мнением и толками насчет правительства" (48). До сих пор документы, вышедшие из недр III отделения С. Е. И. В. канцелярии, использовались историками преимущественно как источник для изучения революционной борьбы и революционных настроений. Историки долго

и упорно выискивали факты классовой борьбы крестьян против крепостного права. При этом, исследуя социальную структуру общества и социальные противоречия, они игнорировали целый материк частной жизни. И, по-видимому, напрасно. Так, согласно официальной статистики, в 1843 г. во всей Российской империи крестьянами было убито 13 помещиков и 15 управляющих имениями. Потери на семейном "фронте" были куда весомее: отцеубийств — 12, детоубийств — 153, братоубийств — 17, мужеубийств — 15, женоубийств — 48. В 1845 г. 8 помещиков и 9 управляющих имениями пали от рук крестьян, а жертвами насилия в семье стали 265 человек. Близкая ситуация наблюдалась и в канун отмены крепостничества. Так, в 1859 г. в результате насилия погибли 4 помещика и 9 управляющих имениями и старшин, а в огне семейных конфликтов "сгорело" 577 человек. В 1861 г. — 5 и 406 человек соответственно (49). Таким образом, можно утверждать, что подлинные трагедии в XIX в., как правило, разыгрывались совсем не там, где их искали — не на классовой сцене, а на подмостках семейной жизни.

Информация, содержащаяся в фондах III отделения, богата и разнообразна. Даже наиболее идеологизированные документы — отчеты — дают при источниковедческой фильтрации ценный материал для изучения массовых настроений, политических представлений, нравов, семейных конфликтов и других явлений общественной и частной жизни. Еще более интересный материал для изучения городской жизни, мировидения образованных слоев общества можно извлечь из служебных записок жандармских офицеров "О лицах, обращающих на себя почему-либо внимание правительства". Разумеется, и информация, содержащаяся в них, подлежит перекрестному сопоставлению с источниками, вышедшими из других ведомств, а также с материалами личного происхождения.

Традиции изучения общественных настроений государственными учреждениями продолжились и в советскую эпоху. Впрочем, уместнее говорить не об изучении настроений, а о контроле над ними, ибо первое предполагает учет общественного мнения в сфере выработки и принятия решений, а второе — различной степени карательные меры по отношению ко всем инакомыслящим.

Информацию об общественных настроениях можно найти и в такой группе источников, как судебно-следственные материалы. Эти источники как будто хорошо известны и давно освоены, но освоены исключительно с точки зрения изучения социальных конфликтов и классовой борьбы. В остальном же они остаются невостребованными. Более того, среди немалой части отечественных историков к судебно-следственным материалам отношение не столько критическое, сколько какое-то боязливое — как бы изучение этих массовых источников не исказило картину прошлого — ведь эти документы фиксируют не норму, а отклонение от нее, своего рода социальную патологию. В действительности же комплекс судебно-следственной документации позволяет реконструировать как правовые и нравственные нормы, так и отклонения от них. Более того, в этих источниках имеется разнообразная информация о культуре и ментальности людей минувших эпох. Так, в случаях "повальных обысков", они порой содержат данные о возрасте, поле, исповедании, социальном и семейном положении, образовательном уровне, об исполнении важнейших норм христианской жизни (бытии на исповеди и причастии), поддающиеся социологическому анализу. Позволим себе продемонстрировать возможности этой информации на примере следственного дела 1828 г. об изнасиловании солдатской дочери П. Дресвянкиной управляющим Томской губернией статским советником Соколовским. Расследуя обвинение, томская полиция допросила в качестве свидетелей 47 горожан (17 мужчин и 30 женщин) в возрасте от 14 до 54 лет. В социальном отношении среди допрошенных преобладали представители низших слоев городского населения (мещане, крестьяне, нижние воинские и полицейские чины, ссыльные). 9 свидетелей были из среднего слоя горожан: 8 купцов 3-ей гильдии и вдова чиновника. Проходившие по скандальному делу свидетели являются случайной выборкой и могут считаться достаточно репрезентативным срезом всего городского населения, исключая "благородное общество" — чиновников и купцов двух первых гильдий. Половина всего взрослого мужского населения (56% свидетелей) губернского города была грамотная. Элементарное образование имели лишь немногие женщины — 6,6%. Средний возраст грамотных мужчин — 30 лет, а неграмотных на 10 лет выше. Наибольшее число грамотных среди городского простонародья наблюдается в купеческой среде, где из 8 свидетелей обоего пола умела читать и писать ровно половина (50).

Последние годы многие публицисты, философы, культурологи и историки любят рассуждать о соборности и религиозности как сущностных чертах русского национального характера (русской ментальности). Однако конкретно-историческое изучение данных проблем еще только начинается. И тут не обойтись без статистических материалов. Интегральным индикатором состояния религиозности населения являются данные об исполнении важнейших норм христианской жизни — ежегодно хотя бы раз исповедаться в грехах и принять св. причастие. Данные вышеупомянутого следственного дела позволяют утверждать, что солдаты и все служащие, а также купцы ежегодно бывали на исповеди и у причастия. Чего нельзя сказать о томских мещанах, которые проявили весьма индифферентное отношение к православной церкви. Из 5 свидетелей-мещан выполнил свой христианский долг лишь 1. Трое не были на исповеди один-два года, а один мещанин — 7 лет. При этом небрежение к церкви обнаружили молодые люди 20 — 23 лет. Добросовестные прихожане были явно старше — их средний возраст 37 лет. У женщин наблюдалась иная ситуация. Средний возраст прилежных христианок 30,5 лет, а не бывшие на исповеди на 13 лет старше. В целом мужчины значительно аккуратнее посещали церковь, чем женщины: на исповеди и причастии было 76,5% мужчин и 60% женщин. 20% проходивших по делу в качестве свидетелей жительниц Томска не были на исповеди от 1 до 3 лет. Такая же часть опрошенных вообще не имела сколько-нибудь прочных связей с церковью. Так, 2 девушки 14 и 16 лет никогда не были на исповеди, мещанка 48 лет была на исповеди за свою жизнь "раз 5" и никогда у причастия. Мещанка 50 лет исповедовалась лишь дважды в жизни. Солдатская жена заявила, что была на исповеди 5 лет назад, а не причащалась 27 лет. Еще одна томичка утверждала, что на исповеди была, "но когда не упомнит".

Следует отметить, что и среди наименее усердных прихожанок лидерство принадлежало мещанкам, 45% которых не было на исповеди. В то же время, маргинальная часть свидетельниц, если руководствоваться формальными сослов-

ными критериями (крестьянки, жена вольноотпущенного, служанка-калмычка, ссыльная), таковыми по отношению к церкви считаться не могут. Они показали такое же усердие к церкви, как и купчихи (51). Разумеется, эти и им подобные данные из судебно-следственных дел не могут быть основой для каких-либо широких обобщений, позволяющих судить о религиозности народа, но они могут стать при сопоставлении с другими источниками (в первую очередь исповедными ведомостями) ценными материалами для изучения данной проблемы.

Невысокий профессиональный уровень служителей полиции и юстиции, которые в дореформенную эпоху редко имели специальное образование, приводил к тому, что в судебно-следственных материалах часто оказывались сведения и справки, "которые были до того странны, что их можно отнести только или к намеренному продолжению дела, или к весьма мелочному, вовсе не служебному любопытству". Такую ситуацию обнаружил в 1854 г. в тюменском суде новый тобольский гражданский губернатор В. А. Арцимович (52).

Сама процедура получения свидетельских показаний иногда может очень много сказать об этических нормах, традиционных установках сознания людей того времени. Например, практика допросов проституток в качестве свидетелей без приведения их к присяге, в отличие от других граждан, в некоторых провинциальных городах даже в конце 1820-х гг., высвечивает, во-первых, такое негативное отношение горожан к лицам занятым данным промыслом, которое фактически ставит их вне рамок общества; во-вторых, своеобразное осознание правовых норм чиновниками, занимавшими нижние ступени лестницы государственного управления.

Если говорить в целом о проблемах источниковедческого подхода в изучении ментальностей, то здесь играет роль не столько отбор источников, сколько угол зрения историка. Информация ментального характера почти никогда не фиксируется в источниках непосредственно. Поэтому перед историком всегда стоит задача расшифровки текста, уяснения символики языка, поиска так называемого "скрытого смысла". При работе с текстом источника используются самые разнообразные приемы: от контент-анализа до семиотики. Текстуальный ряд источников дополняет ряд визуальный, который также несет смысловую информацию о символике определенного времени. Только при таком всестороннем анализе можно ставить вопрос об адекватной реконструкции языка эпохи, образа мыслей и действий конкретных людей или их коллективных эмоциях и настроениях. Напоминание о приемах научной реконструкции представляется нам тем более важным, что не так уж редко в работах, претендующих на научность, приходится встречаться с фактами вульгаризации методов исторической психологии. Происходит смешение научного и художественного жанров, и тогда с легкой руки историка читатель может ознакомиться с якобы сокровенными мыслями умирающего Ленина или прочитать, о чем думал Сталин накануне подписания пакта Молотова — Риббентропа.

С точки зрения обеспечения корректности источниковедческого анализа можно выделить еще один момент: содержание источника в плане отражения особенностей мышления эпохи всегда будет шире, чем собственно информация ментального характера. Попытки вычленить ее в "чистом виде", помимо заведомой обреченности, могут существенно ограничить и поле зрения историка, стремящегося составить представление о мировидении и мироощущении людей прошлого. У новой российской историографии нет необходимости "впадать в менталитет", повторяя ошибки некоторых своих зарубежных предшественников. Гораздо разумнее было бы прислушаться к голосам тех, кто, руководствуясь собственным научным опытом, наряду с преимуществами метода ментального измерения истории, отмечает и его ограниченность (Ж. Ле Гофф, Ж. Ревель, А. Гуревич). Новые перспективные направления исследований в настоящее время разрабатываются уже не столько в русле истории ментальностей, сколько в русле исторической антропологии (53).

Размышления над пока еще неокрепшими новыми направлениями изучения российской истории не позволяют мне присоединиться к излишне оптимистическому мнению о том, что в новейшей отечественной историографии "возобладал" антропологический подход (54). Но анализ некоторых тенденций, имеющих место в современной исторической науке, позволяет надеяться, что до конца нынешнего столетия немалая часть российских историков осознает значение исторической антропологии в процессе познания прошлого.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. 1988. №1. С. 56.

2. "Сегодня". 1994. 8 декабря.

3. О генезисе понятия "ментальность" и его современной трактовке в зарубежной и отечественной историографии см.: Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа "Анналов". М., 1993; Пушкарев Л. Н. Что такое менталитет? Историографические заметки // Отечественная история. 1995. №3. С. 158–166.

4. Милов Л. Природно-климатический фактор и менталитет русского крестьянства // Общественные науки и современность. 1995. №1. С. 76–87.

5. Там же. С. 76, 85, 87.

6. Разгон В. Н. Менталитет сибирского купечества в XVIII – первой половине XIX в. // Предпринимательство в Сибири. Барнаул, 1994. С. 16.

7. Николаева И. Ю., Мучник В. М. Некоторые аспекты ментальности доиндустриальных цивилизаций в интерпретации современной историографии // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 21. Томск, 1994. С. 21.

8. Поршнев Б. Ф. Социальная психология и история. М., 1966; История и психология. М., 1971; и др.

9. Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3-х тт. Таллин, 1992; Он же. Беседы о русской культуре. СПб., 1994; Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1–2. М., 1994.

10. Ходонов А. С. История ментальности в современной французской историографии // Методологические и историографические вопросы исторической науки. Вып. 21. Томск, 1994. С. 129.

11. См.: Одиссей. М., 1989–1995.

12. Мазанова Н. Е. Физические особенности человека в представлениях русских // Кунсткамера. Вып. 5–6. СПб., 1994. С. 149–155.

13. Оболенская С. В. Образ немца в русской народной культуре XVIII – XIX вв. // Одиссей. 1991. С. 160–185.

14. Топоров В. Н. Об индивидуальных образах пространства ("феномен" Батенькова) // Одиссей. 1991. С. 65–94.

15. Коротаев В. И. Судьба "русской идеи" в советском менталитете (20–30-е гг.). Архангельск, 1993.

16. Ибрагимова Д. Х. НЭП и массовое сознание сельского населения // Вестник Челябинского университета. Сер. 1. История. Челябинск, 1993. №1(5). С. 76–81.

17. Поляков Ю. А. Почему мы победили? О массовом сознании в годы войны // Свободная мысль. 1994. №11. С. 62–81.

18. Петренко В.Ф., Митина О. В. Психосемантические исследования политического менталитета (Россия: 1991–1993) // Общественные науки и современность. 1994. №6. С. 42–51.

19. См. авторефераты диссертаций: Усенко О. Г. Социально-политические представления участников народных движений в России XVII–XVIII вв. М., 1991; Кривова Н. А. Социально-политические воззрения горнозаводского населения Урала в третьей четверти XVIII века. М., 1992; Потемкина Т. В. Нравственный аспект внутрипартийных отношений (октябрь 1917–1920 гг.) М., 1992; Сенявская Е. С. Духовный облик фронтового поколения: (Методологические и источниковедческие проблемы изучения). М., 1992; Воскобойник Н. И. Отражение общественного сознания смутного времени в агиографии. М., 1993; Костин Ю. Н. Влияние практики большевизма на изменение нравственного сознания и поведения российского крестьянства в 1921–1927 гг. СПб., 1993; Петров И. Б. Нравственный фактор в гражданской войне. СПб., 1993; Свирина М. Ю. Общественные настроения колхозного крестьянства в 1933 – начале 1941 гг. М., 1993; Давыдов Б. Б. Военные поселения в России первой половины XIX века в оценках современников. М., 1994; Кривцов Д. Ю. Значение общежительных монастырей для формирования нравственно-этических основ великорусской нации в период образования централизованного государства (XIV–XV вв.). Н. Новгород, 1994; Крючкова М. А. Человек в русской культуре второй половины XVIII века. М., 1994; Клопыжникова Н. М. Ценности российского крестьянства в условиях современных социально-экономических перемен. Саратов, 1994; Долгих Е. В. Д. Н. Блудов и М. А. Корф. К проблеме менталитета сановных бюрократов первой половины XIX в. М., 1995.

20. Бочаров В. В. О культурно-психологических истоках русского тоталитаризма // Угол зрения. Отечественные востоковеды о своей стране. М., 1992. С. 182–206.

21. Долгих Е. В. Д. Н. Блудов и М. А. Корф. К проблеме менталитета сановных бюрократов первой половины XIX в.: Диссертация на соискание уч. ст. кандидата ист. наук. М., 1995.

22. Зелдин Т. Социальная история как история всеобъемлющая // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 161.

23. Неизвестная Россия. XX век. Вып. 1–4. М., 1991–1993.

24. Есипов В. Е. Повседневность экономики России // Российская повседневность 1921–1941 гг.: Новые подходы. СПб., 1995. С. 108.

25. Соколов Я. В. Формирование менталитета советских граждан // Там же. С. 71–72.

26. Тарасевич Л. С., Старков Б. А. Конформизм и российская повседневность. Новые подходы // Там же. С. 16.

27. Шинкарчук С. А. Отражение политической конъюнктуры в повседневной жизни населения России // Там же. С. 36.

28. Оболенская С. В. "История повседневности" в современной историографии ФРГ // Одиссей. 1990. М., 1990. С. 182–198.

29. Баткин Л. М. О том, как А. Я. Гуревич возделывал свой аллод // Одиссей. 1994. М., 1994. С. 25.

30. Интервью с Ю. Л. Бессмертным.

31. Чубарьян А. О. История XX столетия: Новые исследования и проблемы // Новая и новейшая история. 1994. №3. С. 8.

32. Ковальченко И. Д. Теоретико-методологические проблемы исторических исследований. Заметки и размышления о новых подходах // Новая и новейшая история. 1995. №1. С. 3–33.

33. Бордюгов Г. А. Некоторые особенности формирования новой культуры быта в годы довоенных пятилеток (К постановке вопроса) // Советская культура: 70 лет развития. М., 1987. С. 157.

34. Поиск. 1995. №12.

35. Илизаров Б. С., Зубкова Е. Ю., Акимова М. В. Проблемы изучения личных информационных, документальных и архивных фондов (социологический и источниковедческий аспекты) // Научно-информационная деятельность государственных архивов. М., 1983. С. 121–149.

36. См. подробнее: Пушкарева Н. Л. Русская женщина в семье и обществе X–XX вв.: Этапы истории // Этнографическое обозрение. 1994. №5.

37. Женщины России в XX столетии. Иваново, 1993; Женщина и свобода. М. 1994; Российские женщины и европейская культура. СПб., 1994.

38. Стоун Л. Будущее истории // THESIS. 1994. Т. 2. Вып. 4. С. 170.

39. Женщины и социальная политика (гендерный аспект). М., 1992. С. 6.

40. Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге (40-е гг. XIX в.– 40-е гг. XX в.). М., 1994. С. 6, 7.

41. Там же. С. 10, 113.

42. Анализ современного состояния исследований, осуществленных в русле "устной истории" и библиографию по проблеме см.: Oral History. Mundlich erfragte Geschichte. Goettingen, 1990.

43. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 279. Оп. 1. Д. 303.

44. Государственный архив Тверской области. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 1137.

45. Летописный синодик г. Елисеевых. 1737–1800 г. Воронеж, 1886. С. 72–73, 79, 84.

46. Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского российского археологического общества. Т. 2. С. 704–705.

47. A History of Private Life. Vol. 4. L., 1990. P. 3.

48. ГАРФ. Ф. 109. Оп. 221. Д. 1а. С. 2.

49. Там же. Оп. 223. Д. 8. Л. 82 об.–83, 159, Д. 10. Л. 49, 118. Д. 24. Л. 88–88 об. Д. 26. Л. 125–125 об.

50. Российский государственный исторический архив. Ф. 1376. Оп. 1. Д. 90.

51. Там же.

52. Скропышев Я. С. Тобольская губерния в пятидесятых годах: 1854–1858 // В. А. Арцимович. Воспоминания. Характеристики. СПб., 1904. С. 22.

53. Historische Antropologie. Der Mensch in der Geschichte. Goettingen, 1984; Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа "Анналов". М., 1993; и др.

54. Крючкова М. А. Человек в русской культуре второй половины XVIII века. С. 1.

СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА в XX ВЕКЕ

И. Е. Кознова

Есть темы, которые рано или поздно должны состояться. Долго и мучительно обретают они место в науке в силу особой своей остроты и полемичности. Когда-то про крестьянство сказали: "неудобный класс". Неудобный для горожан, для тех политиков, кто признает только простые, спрямленные пути решения сложных социальных вопросов. Тема социальной памяти по-своему тоже "неудобна". Она будоражит общественное мнение, не позволяет предать забвению прошлое. XX век стал испытанием для России, для русского крестьянства — особенно. Крестьянство всегда было носителем русской национальной памяти. Однако исторические события XX века приучали крестьян "забывать" своих предков, и они приучались в интересах собственного выживания. Приучились ли? Это предстоит понять.

Цели настоящей статьи скромнее. Автор видит свою задачу в том, чтобы найти ориентиры, точки отсчета в исследовании столь сложного и противоречивого явления духовной культуры как социальная память крестьянства.

Идеи социально-философского осмысления понятия "память" заявили о себе с конца 60-х годов. В начале 80-х годов в общих чертах сформировалась концепция социальной памяти (1).

Память как культурно-исторический феномен не ограничивается представлением общества, личности о своем прошлом, хотя ретроспективная направленность памяти очевидна (и в этом смысле часто используется как синоним "историческая память"). Несомненно единое временное состояние памяти: "прошлое — настоящее — будущее". Память — область духовной жизни. На основе исторических представлений формируется и развивается национальное самосознание. Социальная память — это и память о прошлом опыте, и сам опыт. Обладая способностью синтезировать сознательное и бессознательное, рациональное и иррациональное, социальная память, в этом смысле, — явление универсальное.

Ссылки на историю, обычай существовали в мире с незапамятных времен. Пример — классическая формула: "Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был господин?" Но каждый раз на новом историческом витке осознается и потребность переосмысления прошлого в современных интерпретациях.

Поэтому память — это и воспоминание, знание, опыт, урок; память — это и поведение, самосознание, наследство, ценность, ресурс.

Став чрезвычайно актуальной со второй половины 80-х годов, когда общество стремилось насытить свою историческую память и осмыслить собственный исторический путь, тема памяти обогатилась на содержательном и концептуальном уровнях. Скажем, привлекли внимание исследователей такие проблемы, как надличностная, нормативная память и память личная; память коллективная и индивидуальная; избирательность памяти; правда истории и правда исторической памяти; диалог с прошлым как поиск социальных ценностей (2).

Уже тогда наметилось стремление показать, как, собственно, память способна участвовать в формировании новых жизненных форм (3). В частности, анализ развития советского общества в годы войны и в весь послевоенный период, вплоть до последних десятилетий, показал, что память — фактор достаточно сложный и противоречивый. Скажем, память как ресурс особенно ярко проявляла себя в годы войны. Но она же продемонстрировала, когда и в каких пределах память власти и общества может совпадать, а когда — расходиться.

До сих пор чрезвычайно актуальной остается проблема содержательной интерпретации восстанавливаемой памяти. Историческое сознание общества отнюдь не пассивно. Как замечено в редакторском введении к одному из журналов "Родина" за 1994 год, "тяга к истории остается одной из самых устойчивых интеллектуальных традиций" (4). Тем не менее, до достаточно широкого общественного обретения памяти еще далеко (социологические обследования последних лет большим оптимизмом по этому поводу не обладают) (5).

В последние годы нáчала было преодолеваться характерная для первых лет перестройки некоторая болезненность восприятия прошлого массовым сознанием. Однако выход из плена старых стереотипов не страхует от появления новых, порожденных в том числе и самой исторической наукой. И это значит, что грань, отделяющая потребность общества в устойчивой неконъюнктурной исторической памяти до иного состояния, — зыбка. Примером может служить стремление власти и радикально-демократической интеллигенции идеализировать прошлое дореволюционной России и обесценить всю послеоктябрьскую историю.

Интересно, что процесс нового освоения прошлого, восстановления "искаженной" памяти в бывшем СССР (прежде всего во второй половине 80-х годов) стал предметом исследования за рубежом. В Милане в 1993 году вышла книга Марии Ферретти "Искаженная память. Россия вспоминает" (6). М. Ферретти волнует изменение содержания дискуссий о прошлом с 1990 года, способных, по ее мнению, создать новые "белые пятна". Проведенный ею анализ показал, что "процесс осмысления прошлого, начатый возрождением идеи альтернатив, закончился новым отрицанием этой идеи и восстановлением новых «закономерностей истории»: авторитаризм, считает М. Ферретти, глубоко сидит в самом образе мышления русского современного либерализма, прошедшего путь от обличения сталинизма к мифологизации Столыпина (7).

Безусловно, из перестройки прошлое виделось иначе, чем из нынешнего времени. Сейчас потребность сравнения с прошлым, возможно, гораздо сильнее:

живая память о великой исторической судьбе русского народа определяет недовольство настоящим (8). Появляется соблазн вернуться в прошлое, что в действительности невозможно; происходит испытание этим прошлым, самой памятью.

Начало 90-х — своеобразный рубеж, который ясно показал, что необходим анализ исторических и социальных модификаций памяти.

С философской точки зрения исследование проблемы памяти предполагает рассмотрение таких проявлений духовной сферы, как идентичность, ментальность, национальные истоки, корни, символы, национальная идея (9).

Если обобщить представления социальных наук о памяти и ее структуре, то следует отметить, что в структуре памяти выделяются представления о прошлом, настоящем, будущем и, наконец, идентификационные представления. Важна не только память о каком-либо историческом событии, но и память как способ трансляции социального опыта, представлений, способов поведения.

В современных социальных науках все увереннее дает о себе знать антропологический подход, суть которого в особом внимании к человеку — участнику общественного процесса, "актору". В центре внимания оказываются человеческие настроения, верования, убеждения, моральные нормы, или габитус — ментальные структуры, через которые "акторы" воспринимают социальный мир. Представления "актора", или социального агента меняются в зависимости от его габитуса, взятого как система схем восприятия и оценивания, как структуры, которые агенты получают в ходе их продолжительного опыта.

У социального агента возникает потребность в самоопределении и определении других участников социального поля, поэтому габитус подразумевает sense of one'place (чувство собственного места) и sense of other's place (чувство места другого). При этом агенты, классифицирующие сами себя и позволяющие себя классифицировать, выбирают в соответствии с собственными представлениями различные атрибуты, которые соответствуют их жизненной позиции (10).

Каждая группа в обществе обладает собственным символическим капиталом, который она использует в дальнейшем (11). Память может выступать формой трансляции этого капитала, критерием, условием идентичности (12). Но память и сама является мощным культурным капиталом.

Прошлое может выступать прямой детерминантой социального определения и самоопределения в настоящем. Социальная память — это механизм, который сохраняет в сознании общества имевшиеся в прошлом модели поведения. Но она же формирует на основе этого опыта современные модели поведения. П. Бурдье считает, что "самыми типичными стратегиями конструирования являются те, которые нацелены на ретроспективное конструирование прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего" (13). Исследования показывают, например, что продвинутость в системе современной социальной иерархии позволяет индивиду ассоциировать себя с настоящим или будущим и, напротив, низкие оценки своего положения в обществе ставят индивида в семантическое пространство прошлого. Соответственно меняется и оценка прошлого, и характер притязаний к нему (14).

Взаимосвязь между ментальными установками людей, их памятью и поведением продемонстрировал в своем исследовании западноевропейского Средневековья Ж. Ле Гофф: "Ментальность, эмоции, поведение формируются в свою очередь в связи с потребностью в самоуспокоении. Прежде всего хотелось опереться на прошлое, на опыт предшественников. Подобно тому, как Ветхий Завет предшествует Новому и служит основанием для него, поведение древних должно обосновывать поведение людей нынешних. Если и можно было предположить что-то определенное, так только то, чему можно было найти подтверждение в прошлом" (15).

Ментальность может быть представлена и как непрерывный опыт (память) социума, как цепь опытов поколений. Ментальность как память передается в виде врожденных психических, логических, лингвистических и других образов и структур, а также в виде текстов. Ментальные установки людей определяют характер и особенности исторического процесса. Их изучение связано с реконструкцией "картины мира", в которой свою нишу имеет память (16).

Что же касается объекта исследования, то он возник естественно. Носителем памяти русского народа на протяжении веков было крестьянство. Россия длительное время долго и прочно ассоциировалась именно с крестьянством. Не вопреки, а из интересов крестьянства русская историософская мысль рубежа XIX—XX веков создавала свою "философию хозяйства" (17). Вновь терять эти духовные и нравственные ориентиры в реальной практике конца XX века — значит вновь пренебрегать исторической памятью.

Почему же тема памяти тесно связана с крестьянством? Специфика крестьянства заключается в том, что у него в наибольшей степени существует потребность в обращении к прошлому. Крестьянство традиционно воспринимает мир в категориях прошлого опыта, и в этом — здравый консерватизм крестьян.

Дело в том, что существует известный парадокс. Как ни велико стремление общества сохранить память о своем прошлом, в технический век потребность в социальной памяти ослабевает. Опыт отцов, как кажется, уже ничем не может помочь детям. Актуальным становится индивидуальный опыт. Однако для крестьянского общества подлинная человеческая память и восприимчивость к эмпирическому знанию — основа существования и воспроизводства. Некогда функцию всеобщей универсальной памяти народа выполнял фольклор. Традиционное общество, базирующееся на "устной истории", само творило свою историю сообразно с опытом предков, в то время как с распространением грамотности, развитием средств массовой информации влияние иных факторов на содержание социальной памяти заметно усиливалось. Кроме того, система образования и воспитания, сформированная крестьянской средой, позволяла не растворяться историческим знаниям, а стать важным компонентом деятельности сообщества. Для крестьян было естественно жить в представлении "как наши деды-прадеды жили, так и мы будем". При этом в понятие "жить" включалось, конечно, не только хозяйствование на земле (хотя это основа крестьянского бытия), но и следование определенным морально-этическим, нравственным, культурным нормам, что составляло ценностно-смысловую наполненность социальной памяти.

Крестьянство в России — постоянный объект исторических и прочих исследований. Крестьянская тема твердо и прочно обосновалась в историографии, в отличие от объекта исследования. Но перестав быть крестьянской, Россия тем не менее несет в себе следы крестьянственности, да и сохранившаяся дерев-

ня с полным правом претендует на достойное место, не желая быть отброшенной на задворки истории.

История XX века — это история исчезающего крестьянства. И хотя в его начале Россия — все еще страна с преобладающим крестьянским населением, все неумолимее давало о себе знать начавшееся еще в патриархальном XIX веке раскрестьянивание, ко второй половине нынешнего века достигшее своего апогея. Раскрестьянивание — процесс не только насильственный. Это и естественный процесс при вхождении в цивилизацию модерна, часто позитивный. Хотя, вероятно, гармонично вписаться в новое общество крестьянству практически не удается. В России этот процесс был доведен до крайностей. Крестьянствование в неразрывном единстве природных и культурно-исторических факторов предавалось общественной амнезии.

Эти процессы были особенно обостренно восприняты общественным сознанием "перестроечных" восьмидесятых годов. Годы коллективизации и последовавшего за ней голода стали темой, приковавшей к себе внимание историков, публицистов, писателей, всего общества. Многочисленные документальные публикации потрясали своей откровенностью. Фактически были реабилитированы крестьянские исследования как самостоятельное направление. Вместе с тем, публицистический ренессанс вскоре уступил место вдумчивому исследованию многообразного крестьянского мира, неотъемлемой приметой которого была память. И именно это стало отличительной особенностью современной историографии.

Тема памяти по сути позволяет соединить конкретное, событийное и универсальное в истории крестьянства. Каким образом?

Развитость среди жителей деревни объединяющей их социальной памяти и способность к совместной духовной практике рассматриваются в литературе как важный признак сохранения и функционирования крестьянства, как важнейшая культурная традиция (18). Значит, если что-то нарушается в крестьянстве, подвергается коррозии и сама память. Но поскольку память — явление глубинное, социальная память — своего рода наследственная информация; по ней реконструируется и сам объект, крестьянство.

Существуют разные типы памяти. Важно поэтому отделить, развести память собственно крестьян и память бывших крестьян. Переход в сознании от одного типа мышления к другому — от традиционного к модернизированному — не может не коснуться и памяти. На смену нерефлексирующей крестьянской памяти, памяти-обычаю в традиционном обществе, в современном обществе приходит память, основанная на индивидуальном восприятии, связанная с индивидуальной биографией, которая отражает социальную мобильность в обществе. Память приобретает характер единичного. Вполне объясним поэтому возникший интерес современных исследователей к "отдельным случаям (case-studies), в основе которых лежит изучение биографий, "историй жизни". История жизни может быть прочитана как запечатленные в памяти факты (19).

Здесь возникает проблема источниковой базы исследований социокультурных инвариантов памяти. Это прежде всего документы личного происхождения — дневники, письма, воспоминания. Тексты массового сознания приобретают особое значение и смысл — они позволяют обратиться к методам изучения поведения и сознания мира безмолвствующего некогда большинства.

Биографический метод исследования, позволяющий получить информацию о жизненных опытах, об индивидуальных выборах составляет живую ткань социальной истории и может — при всей уникальности и единичности конкретного жизненного опыта — выражать общее. Метод жизненной истории позволяет интерпретировать автобиографические свидетельства не в изоляции, а во взаимосвязи с количественной информацией о социальных изменениях. Процесс модернизации может быть описан в том числе и как процесс субъективирования/индивидуализации жизни, и в русле этого процесса биография становится центральным социальным измерением. В современной литературе утверждается, что процесс индивидуализации сегодня продолжается и охватывает даже те группы, которые ранее стояли на его обочине (20). Это замечание справедливо и в отношении крестьян.

Общество может и должно быть понято через индивидуальное сознание: оно более, чем "объективный мир науки", является ключом к социальной действительности, считал известный польский социолог Ф. Знанецки, автор ставшего классическим исследования о польских крестьянах-иммигрантах в США (21).

Биографическое исследование перекликается с несколько иным направлением — oral history (устной историей). Интерес к "устной истории" связан с изменением представлений об объекте исторического исследования, с включением ментальных структур в предмет изучения. Устная история может быть определена как процесс сбора, обычно методом интервью с помощью диктофона, воспоминаний, описаний или интерпретации событий из недавнего прошлого. Критика метода обычно сфокусирована вокруг проблемы надежности человеческой памяти и надежности и достоверности данных, собранных этим способом. "Устная история" — это как правило мифологизированная история, и задача историка заключается не только в отделении мифа от реальности, но и в выяснении явных и скрытых причин мифотворчества. Итальянский устный историк А. Портелли, обсуждая проблему соотношения памяти и факта, заметил, что устные источники не всегда полностью достоверны с точки зрения фактических реальных событий. Память и рассказ людей о пережитых событиях могут создавать искажающие фактические события или даже выдуманные истории. Но Портелли считает, что подобная "недостоверность" устного рассказа не есть его слабость, а скорее — сила, поскольку она ведет через факты к их значениям (22).

На Западе это направление исследований весьма популярно. В США существует большое число проектов, связанных с историей регионов, культурой. В России всплеск интереса к устной истории наблюдался в конце 80-х годов, тогда же было создано общество устных историков. Тем не менее в России устная история еще не получила широкого признания и распространения.

Устная история развивается в тех областях, где происходят существенные изменения и отмечается нехватка архивных или письменных источников. История крестьянства советского времени относится как раз к таким.

Устные рассказы — это скорее то, что называется "свидетельствами памяти" (memory claim). Рассказывая о себе или описывая то или иное событие, человек оказывается в состоянии пересмотра собственной картины прошлого, а часто и настоящего.

Важное преимущество устной истории — возможность сохранения в записи жизненного опыта людей, которые обычно не склонны переносить его на бумагу. С помощью устной истории создается новый вид истории — истории так называемых "простых", обычных людей, истории повседневности (23).

Чем важен жизненный опыт разных исторических типов крестьян? Как соотносятся эти типы между собой?

Для исследователей русского крестьянства в XX веке некоторым эталоном служит классическое в своем роде крестьянство XIX века. Если брать уже, по-своему классическим было и крестьянство 20-х годов, а для современности — колхозно-совхозное крестьянство советской эпохи.

Существует представление, согласно которому сознание современного крестьянства не содержит в себе ничего традиционного, все в нем — советское. Сознание крестьян представляет собой синтез традиционных духовных ценностей, представлений и ценностей, сформированных советской эпохой. В послереволюционной России модернизация испытывала на себе воздействие норм и ценностей традиционной культуры, носителем которой было крестьянство. Но и последнее в свою очередь оказалось под сильным влиянием модернизированных процессов. Крестьянство, его сознание, его память подвергались трансформации. Колхозно-совхозное крестьянство не было крестьянством в полном смысле этого слова. В советское время, особенно с середины 50-х годов крестьяне все более стали превращаться в своеобразных рабочих с наделом в виде личных подсобных хозяйств. В колхозно-совхозном крестьянстве — как это ни парадоксально — стали усиливаться некрестьянские черты, выражавшиеся прежде всего в приобретении психологии работника, а не хозяина на земле. Правда, свой "хозяйственный инстинкт" колхозно-совхозное крестьянство удовлетворяло за счет личного подворья, уменьшавшегося на протяжении 50—70-х годов, и вновь недавно выросшего в связи с изменением общей экономической ситуации в стране. Коллективизированное по советскому варианту сознание крестьян еще долго будет определять интересы и поведение жителей села. С реформированием современного аграрного сектора обнаружатся и разнообразные тенденции изменения социально-психологического типа сельского производителя. В одних случаях произойдет усиление крестьянских черт, в других — неизбежная их потеря.

Понятно, почему актуальна выработка концепции истории русского крестьянства, по крайней мере, последних полутора столетий, в условиях перехода от крестьянского аграрного общества к городскому индустриальному. Ведь до сих пор остается открытым вопрос о его содержательной интерпретации, а именно: сопровождается ли этот период неизбежным разрушением сельского уклада или же сохранение остатков крестьянства имеет смысл и в условиях такого перехода. Важно отметить, что на крестьянстве хорошо прослеживаются базовые механизмы социальности, которые и сейчас "работают" в малых общностях. Кроме теоретического, подобные исследования приобретают и прикладной характер, поскольку вплоть до последнего времени в понятие "возрождение крестьянства" вкладывалось совершенно разное содержание.

Выход в начале 90-х годов обобщающих работ по истории отечественного крестьянства был в определенном смысле попыткой дать некоторые ответы на поставленные вопросы. В этих работах — историко-этнографических и социально-философских — реконструировались механизмы и традиции жизнедеятельности крестьянства и его сообществ во всех сферах — материальной, социокультурной, экологической (24). Анализ целостности и самодостаточности крестьянского мира шел одновременно с поиском причин — внутренних и внешних — утраты ее. Вместе с понятием "русское крестьянство" (в послереволюционное время социальные историки, как правило, изучали "отечественное", "российское" и наконец, "советское" крестьянство) в исследования вернулось казалось бы уже забытое нашими современниками емкое слово "мир", что означало и саму крестьянскую общину-общность, и ментальное состояние этой общности, и всю вселенную, а в целом — особый "космический" порядок сельского устройства. В этой картине все было подчинено своим внутренним законам, а встреча с "большим" обществом грозила или полной автаркией крестьянского общества, или полной открытостью, а значит — преодолением и разрушением крестьянского образа жизни. На фоне в некотором смысле гармоничного крестьянского мира, каким он предстает в исследованиях по XIX веку, события крестьянской истории XX века кажутся еще более трагичными.

История русского крестьянства XX века, особенно послеоктябрьского периода, несомненно нуждается в изучении в несколько ином ракурсе, чем это принято недавно. Появившиеся с началом 90-х годов работы В. П. Данилова, Л. В. Милова, И. Е. Зеленина, Н. А. Ивницкого, П. Н. Зырянова, М. А. Вылцана, А. П. Корелина, Ю. А. Мошкова, А. В. Гордона, Ю. Г. Александрова, Н. Л. Рогалиной, В. В. Бабашкина и других свидетельствуют о начале принципиально нового этапа в исследовании русского крестьянства. Он характеризуется попыткой "сквозного" и полидисциплинарного прочтения крестьянской истории.

Назревшей потребности осмыслить феномен русского крестьянства отвечает появление на страницах журнала "Отечественная история" материалов теоретического семинара "Современные концепции аграрного развития", название которого говорит само за себя: в нем обсуждаются концепции, оказавшие несомненное влияние на развитие мировой и отечественной аграрной мысли. Семинар (рук. проф. В. П. Данилов) проводится под эгидой Института российской истории и Междисциплинарного исследовательского центра (Интерцентр), возглавляемого акад. Т. И. Заславской и проф. Теодором Шаниным. Безусловно неслучайным был факт совпадения начала функционирования семинара и выхода в свет составленной Т. Шаниным антологии "Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире" (25). Представленные в ней материалы из работ видных экономистов, социологов, политологов и культурологов из стран Запада и Востока дают основания и для интересных исторических параллелей, и для понимания уникальности крестьянства в каждой отдельной точке мира. Антология представила новую отрасль научного знания — крестьяноведение. Введение в научный оборот самого термина — "крестьяноведение" — позволяет объединить самые разнообразные области знания в изучении крестьянства, преодолеть узко-экономические или политические интерпретации, не отказываясь при этом от экономических или политических ракурсов исследования.

Но дело, разумеется не ограничивается только этим. Само по себе введение нового термина — лишь начало последующего критического анализа и само-

анализа, сформировавшихся к концу XX столетия концепций аграрного развития. Концепция ведущих исследователей крестьянства: Т. Шанина, Дж. Скотта, Р. Редфилда, Э. Вульфа, А. Мандра, Р. Сиви и других, — до недавнего времени были известны преимущественно отечественным ученым, изучающим крестьянство развивающихся стран. Сейчас эти концепции "примеряются" к истории русского крестьянства. Этой же цели служит осуществляемая под руководством Т. Шанина программа социологического исследования современной деревни нескольких регионов России, в том числе с помощью "семейных историй". Часть работы, связанная с темой исторической памяти, в некотором смысле завершена, уникальные свидетельства деревенских старожилов записаны на диктофон, расшифрованы и частично опубликованы (26). Другая же часть, связанная с изучением крестьянских бюджетов — в стадии исследования. Развертыванию крестьянских исследований служит издание ежегодника "Крестьяноведение. Теория. История. Современность", первый выпуск которого относится к 1996 г.

Принципиально важным для отечественной историографии является продолжение функционирования симпозиума по аграрной истории Восточной Европы, XXIII и XXIV сессии которого прошли соответственно в 1991 и 1994 годах в Екатеринбурге и в Москве. Своеобразным "пробным шаром" в изучении духовной истории крестьянства стала международная научная конференция "Менталитет и аграрное развитие России" (Москва, 1994), на которой значительная часть выступлений была посвящена русскому крестьянству XIX – XX вв. В Москве же в настоящее время сложилось еще несколько центров изучения русского крестьянства, каждому из которых присущ свой подход к крестьянству: Центр гуманитарных исследований и Институт философии РАН (С. А. Никольский, П. И. Симуш, Н. Н. Козлова), Институт этнологии и антропологии РАН (М. М. Громыко, И. В. Власова, С. В. Кузнецов), Аграрный институт РАСХН, Научное и культурно-просветительное общество "Энциклопедия российских деревень" (А. А. Никонов, А. В. Петриков, Э. Н. Крылатых).

Работают и другие российские центры исследования русского крестьянства, где сложились свои многочисленные научные школы — саратовская, ростовская и многие другие.

Впрочем, собственное русское историографическое наследие и развитые традиции исследования аграрной истории позволяют говорить скорее о естественном и закономерном взаимопроникновении идей отечественных и зарубежных ученных.

Убедительный пример тому — "открытие" А. В. Чаянова и П. А. Сорокина, влияние которых на мировую науку неоспоримо, на их Родине — в России. Весь смысл теоретической и практической деятельности Чаянова заключался в поиске модели общественного развития, адекватной, а не противостоящей национальному мировосприятию, а значит, и социальной памяти. "Задачей русского возрождения является передача крестьянству современного научного миросозерцания без ломки его векового эпоса", — писал Чаянов в начале века (27).

Для Сорокина крестьянство — некий эталон общественного устройства, модификация которого определяет национальную и историческую специфику конкретных сельских обществ. Перу Сорокина принадлежит первое социально-философское исследование крестьянства, в котором анализируются универсальные свойства его социальной организации. Это выполненный в 1930 – 32 годах в соавторстве с К. Зиммерманом трехтомный труд "Антология сельской социологии", до сих пор не переведенный с английского и не изданный в России. В концепции П. Сорокина крестьянство — социокультурное явление, в основе законов поведения которого, характера деятельности и особенностей материальной культуры лежит набор смыслов-ценностей-норм. Основным ценностно-смысловым компонентом крестьянства является труд на земле и семья, для чего Сорокин ввел специальный термин "фамилизм" (28). Экстраполяция модели Сорокина на историю русского крестьянства позволит понять изменение основных ценностей, смыслов, норм, сохраняемых социальной памятью крестьянства в условиях "переваривания" его современной цивилизацией.

Хотя отошли в прошлое времена Чаянова и Сорокина, когда крестьянство мыслилось как основание русской цивилизации и источник ее хозяйственной и социально-культурной эволюции, до сих пор остается значение крестьянства как носителя исторической тенденции к стабилизации положения человека в окружающей природной и социальной среде (29).

Место социальной памяти в этом процессе определенно привлекает все большее внимание исследователей. При этом преобладают конкретные исследования по XVIII – XIX векам, в то время как XX столетие явно в "проигрыше" (30).

На большом фактическом материале — обследованиях Русского географического общества, Вольного экономического общества, Этнографического бюро кн. В. Н. Тенишева — в работах М. М. Громыко, Н. А. Миненко, А. В. Буганова показано, что крестьянство прошлых веков рассматривало свою жизнедеятельность в контексте собственной истории, которую оно же и создавало. В крестьянском обществе поддерживалась потребность в сохранении исторических корней. Исторические знания составляли неотъемлемую часть системы воспитания. В ментальной истории крестьянства находили место прежде всего события и личности, с которыми связывались и ассоциировались вехи крестьянской борьбы за землю и волю, за обретение своих гражданских прав, за преодоление чувства социальной ущербности, наконец, за национальную независимость. Исторические представления развивали этническое самосознание, понимание общности исторического прошлого. Исторические знания и социальный опыт и составляли основу социальной памяти, которая помогала крестьянскому социуму осознать себя. Память представляет своеобразную форму поддержания психологического тонуса деревенского сообщества, она — необходимое условие формирования и развития крестьянского самосознания. Память сохраняла представления крестьянства о своем месте в обществе: "Труд крестьянства необходим для славы государственной и общей пользы". Стоит ли после этого "отказывать" русскому крестьянству в патриотизме и государственном самосознании, как это пытаются иногда делать (31).

Чем определялся и определяется интерес крестьян к прошлому? Прежде всего практическими потребностями повседневной жизни крестьян. Народное сознание типизировало лучшие образцы труда, бытового поведения и доносило до новых поколений как эталоны действия, мысли, чувства. Прошлое способно выступать и своеобразным критерием значимости крестьянства в обществе, особенно в том случае, если нарушается имеющаяся в представлении крестьян система общественных связей.

Некогда аккумулятором и транслятором социальной памяти крестьянства выступала община. Крестьянский опыт санкционировался коллективной памятью и был значительнее и актуальнее опыта индивидуального. Память индивида естественно и органично вплеталась в память семьи, а через семью — общности. Обратное же действие памяти было еще более действенным и сильным. Так, через коллективную память человек приобщался к ценностям своего социума, по мере взросления сам включался в формирование и самой памяти, и ценностей и уходил в мир иной, исполнив свой долг, передав свои ценности, свою память следующим поколениям. И последующие поколения не отвергали сходу этот переданный опыт, поддерживали "перпетуум-мобиле" крестьянского бытия. Конечно, внутри конкретного общества было все не столь уж идеально, но была нацеленность на поддержание некоторого, пусть хрупкого, но равновесия (32), и память, формируемая общиной в поддержании этого равновесия, играла не последнюю роль.

Неслучаен поэтому — и последние годы не стали исключением — особенный, имеющий богатую историческую традицию, интерес отечественной историографии к русской общине. Отметим работы Л. В. Даниловой, П. Н. Зырянова, С. В. Лурье (33).

Община была основным типом русской социальности; как уже отмечалось, "мир" был центральным понятием русских крестьян. Община обеспечивала воспроизводство крестьянской жизни. Это был гибкий организм, способный приспосабливаться в целях самосохранения к системе определенных общественных отношений. Представляется, что есть еще одна причина, вызывающая не уменьшающийся интерес к истории и судьбе общины. Община аккумулировала разнообразный крестьянский социальный опыт; "умение регулировать, увязывать в условиях сельскохозяйственной деятельности интересы индивидуальные, отдельной личности, с интересами семьи, а интересы семьи — с делами всего коллектива селения" (34). Таким образом, дело не в отсутствии конфликтов в общине — деревенский мир не идиллия, — а в стремлении крестьян их упорядочить, уравновесить социальным согласием. XIX, начало XX века, 20-е годы нашего столетия давали разные образцы этого социального опыта. Наконец, интерес историков, социологов, культурологов к общине объясняется и тем, что остается открытым вопрос о степени разрушения общинного уклада в XX веке, о его модификации в процессе аграрной модернизации. Историки, скажем, скорее склонны видеть внешние обстоятельства разрушения традиционного уклада деревни, вековых норм и ценностей крестьянской жизни, другие пытаются понять, что, собственно, расшатывало изнутри крестьянский мир, делая при этом традиционный уклад основой новых общественных форм (35).

В XX веке традиционные способы трансляции социальной памяти заменялись официальной идеологией, государственной системой воспитания и образования. Благодаря сохранению деревенской формы поселения действие генератора памяти не было разрушено, но ослаблено несомненно. Уход крестьянства в город, сселение неперспективных деревень подрывало корни социальной памяти. Социальный тип советской эпохи был устремлен в будущее, прошлое по большому счету сковывало, мешало (36). Вырваться из деревни, избавиться от своего крестьянского прошлого становилось мечтой нескольких поколений советских людей. Но в душе жила боль, страдала совесть по брошенной матери-земле. Покаянный гимн уходящей деревни исполнили писатели-деревенщики, взявшие на себя участь хранителей социальной памяти крестьянства, оставшегося в деревне, и крестьянина, ставшего горожанином.

Тема социальной памяти крестьянства в XX столетии лишь только начала проникать в ткань исторических исследований (37). Так, социальная память рассматривается в качестве ресурса идентификационных стратегий различных групп нэповского общества.

Развивая тему "крестьянин в большом обществе", "крестьянин в советском обществе" отечественные и зарубежные исследователи обращаются к проблеме трансформации сознания бывших крестьян. Этот процесс прослеживается на документах личного характера — биографиях, историях жизни. Бывшие крестьяне "несли с собой в новую жизнь свою социальность и историю, встроенные в тело как антропологическое качество" (38). Становясь некрестьянами, они тем не менее сохраняли в себе родовые, "материнские" черты. К ним относят феноменальную выносливость, физическую крепость, витальность, привычку к жизни вместе. Официальная государственная идеология и пропаганда сталкивались с сознанием бывших крестьян, несших в себе, своем менталитете традиции деревенской культуры.

В другом исследовании по этому поводу замечается, что основанная на деревенской традиции субкультура крестьянских мигрантов в городе могла быть трансформирована официальным дискурсом, но не могла изгладиться из ее памяти. В этой культуре бывшие крестьяне черпали необходимые элементы их прошлого, позволявшие им выживать в чужой социальной среде, определявшие в конечном счете их поведение и отношения с властями (39).

Социальная память функционирует, имея в виду некий идеал, эталон представлений о должном. Эти представления в крестьянском обществе более устойчивы, чем в посткрестьянском или вообще некрестьянском обществе.

Социальная память "работает" на воспроизведение крестьянских черт, кода "крестьянственности", поэтому она и культивировалась в крестьянском обществе. С помощью социальной памяти сохраняются основные, "базовые" ценности крестьянского образа жизни — семья, общность, взаимопомощь, приоритет морально-нравственных норм. Чрезвычайно важны исторические, пространственные, структурные и функциональные проявления социальной памяти. Важно воздействие — глубины, направленности, механизмов памяти на образ жизни крестьянства и его поведение.

Кроме, так сказать, внутренней стороны действия социальной памяти, когда она выступает своеобразным защитным механизмом устойчивости и стабильности крестьянского общества, существует и внешняя сторона.

Память крестьянского общества — это не только память "для себя", но и для общения с внешним миром, в том числе с властью. Отношения с властью закреплены исторической традицией и имеют свою нишу в памяти.

В течение длительного времени крестьянство рассматривалось как объект воздействия со стороны властных структур или политических институтов. Потенциал крестьянства оказывался направленным на выживание, на противостояние с властью. Сформировалась соответствующая модель поведения крестьянства.

Неоднократно в истории отечественного крестьянства власть выступала антагонистом его социальной памяти.

Поскольку деревню долгое время использовали как внутреннюю колонию, многочисленные и противоречивые ее преобразования в XX столетии настолько приучили крестьян к разорению, насилию, что в конечном счете в социальной памяти на передний план вышел "непреодоленный опыт прошлого", который для русских крестьян проявился в следовании традиции "моральной экономики" с ее "этикой выживания", в рамках которой преобразования деревни, подчиняющиеся исключительно логике власти, рассматриваются как навязанное сверху зло, которому надо противостоять силой крестьянской солидарности (40).

Будучи потенциально ресурсом реформаторской деятельности, социальная память может играть роль как активного, так и сдерживающего фактора. Весьма актуальными для изучения места социальной памяти в аграрных преобразованиях могут быть наблюдения, сделанные исследователями национальных движений в бывшем СССР (41). Скажем, для народов, переживших травму депортации, коллективная память, оформленная интеллектуалами как "история народа", служит необходимым ресурсом сплочения этнической группы и одним из основных аргументов при формировании современных требований. Для нас важно понять, насколько пережитая в годы коллективизации травма крестьянства сохраняется в личной и коллективной памяти, как последующая "колхозно-совхозная" история наложила свой отпечаток на воспоминания и поведение крестьянства?

В отличие от "спокойных" периодов жизни крестьянства, периоды реформ, а уж тем более периоды особых потрясений во многом активизируют социальную память, обостряют восприятие ситуации, но реакция может быть различной.

Скажем, если в реформе выдвигается в качестве приоритетного неадекватное представлениям большинства крестьянства направление преобразований, память способна спровоцировать негативное отношение к реформе. Особенно показательны в этом отношении годы столыпинской реформы и современность.

Любое социально-духовное обновление невозможно без утверждения новых форм, структур и отношений. Однако неподпитанная традицией, любая преобразовательная деятельность обречена на непоследовательность, половинчатость, а в конечном счете и провал. Необходим постоянный диалог власти и крестьянства, востребованность памяти, социального опыта для саморазвития реформы. И хотя полное совпадение социальной памяти власти и крестьянства невозможно, в конечном счете важно, чтобы действия властей не шли вразрез с ожиданиями крестьянства.

В условиях несоответствия действий властей интересам и жизненным потребностям основной массы сельского населения с особой силой проявляются черты крестьянского сообщества, определяемые присущим ему характером поведения. Происходит накопление элементов экономической отсталости, усиливается стремление к социальной изолированности, самодостаточности, обостряется чувство собственного достоинства.

Крестьянин особенно тяжело переживает рубежные ситуации, разрыв прежних социальных связей, страхующих от риска (а таковой ситуацией, конечно, является переход от колхозно-совхозной системы к многоукладности). Поскольку появление новых структурных элементов требует переориентации его трудовых навыков, это новое, резко врывающееся в жизнь, способно отторгаться. Однако политика власти, нарушающая привычные условия хозяйствования, не обязательно ведет к вспышкам агрессии, напротив, становясь часто почвой для возникновения социальной апатии. Это явление было подмечено исследователями аграрных обществ. Настроение фрустрации возникает тогда, когда происходит слишком интенсивное вторжение государства в аграрную сферу, насаждение новых экономических, социальных, правовых и прочих институтов (42). Крестьянское сознание оказывается раздвоенным, расколотым, его поведение определяется традиционным стремлением быть независимыми от властей и — одновременно — потребностью в государственной поддержке.

Изменения в деревне способны вызвать к жизни всевозможные мифологемы, порожденные социальной памятью крестьянства. Особенно это касается событий недавнего прошлого. Существуют правда истории и правда социальной памяти, которые не всегда совпадают. Память имеет свойство быть избирательной, она "работает" в нескольких проекциях. Эта избирательность определяется многими факторами, среди которых наиболее значимы такие, как изменение самого типа крестьянства и изменение его положения в обществе, хотя эти два явления очень тесно связаны.

Какова "технология" реконструкции прошлого крестьянами? Сошлемся на Дж. Скотта, в исследованиях которого определяются "несущие конструкции" социальной памяти крестьян: "Память фокусируется на тех существенных аспектах отношений труда и собственности, которые были сметены или разрушены за последние десять лет. То, что они (крестьяне) не останавливаются на других, менее приметных чертах старого, не удивительно, так как они не подкрепляют их сегодняшних аргументов. Главная причина того, почему смакуется ностальгия, состоит в том, что слишком много новаций последнего десятилетия работали против их материальных интересов..." Таким образом, по словам Дж. Скотта, "теперь переоцененное прошлое стало необходимым для оценки пугающего настоящего" (43).

Для сознания любого человека характерны оценки "раньше" и "теперь". У крестьянства — свои критерии, свои мерки.

Если анализировать, что помнят и что вспоминают крестьяне, то предпочтимость определенных событий не вызывает сомнений. При этом надо учитывать, насколько полны или отрывочны воспоминания. Важно понять, почему в крестьянском сознании выстраивается именно та, а не иная логика воспоминаний. Ведь вспоминается отнюдь не все, а только значимое, по каким-то причинам особенно важное в данный момент. Не всегда сначала объяснимы и проговариваемы, образы прошлого "живут" в сознании, казалось бы независимой жизнью, находятся как бы в состоянии летаргического сна, пока в один момент они не оказываются нужными крестьянам "здесь и теперь".

Известно, что каждое новое поколение постоянно находится перед выбором, что из "наследия отцов" утратило свою непосредственную практическую ценность, что необходимо "забыть", что — сохранить, а что — использовать в новом качестве (44). Весьма любопытно выяснить, как одно и то же событие

отражается в памяти разных поколений, а также то, как память о каком-либо событии менялась на протяжении времени, нескольких поколений.

Любопытно и то, является ли "знание" о том или ином событии поверхностным, навязанным извне или оно естественно вытекает из личного или коллективного опыта. Необходимо понять цель, с которой вспоминается прошлое. Зачем крестьянин вспоминает себя, свое поведение или поведение других крестьян, членов его сообщества или некрестьян в определенном историческом контексте?

Во взгляде на события истории даже в сознании одного человека могут быть несовпадающие круги памяти. В массовом сознании могут синхронно существовать несколько историй. Существуют два типа (круга) памяти: нормативная, "книжная", часто санкционированная сверху, официальная, и основанная на конкретном жизненном опыте человека. Все это совмещается в сознании человека. При этом и надличностной, нормативной памяти, и личной могут быть свойственны мифы и стереотипы. Возможно, здесь память выполняет функцию амортизатора, или то, о чем писал еще Пушкин: "Я сам обманываться рад".

Безусловно, большой интерес должно представлять взаимодействие индивидуальной и коллективной памяти, идентификация коллективной памяти в личности. Имея основание в личном, индивидуальном, социальная память не просто сумма индивидуальных, коллективная память как бы "парит" над индивидуальной. Вместе с тем, индивидуальная память способна вбирать в себя коллективную. Весьма характерны в этом смысле опубликованные "Родиной" воспоминания Домны Жунтовой-Черняевой (45). Интересно, что здесь как раз не круги памяти, то есть воспоминания, опирающиеся на собственный жизненный опыт вместе с воспоминаниями, навеянными внешними источниками памяти. Здесь пласты памяти: идет повествование о своей нелегкой, полной трагических событий жизни, но за этой событийной стороной встает, вырастает крестьянское: стремление к своей вольной земле, работа до пота. В воспоминаниях — свое понимание чести и достоинства, правды. Жертвенностью, осознанием чувства долга, потребностью выразить себя полны страницы рукописи. Для Домны Жунтовой память — внутренний ресурс, дающий силы жить. Обратим внимание на авторский, а по сути тоже крестьянский календарь событий: христианский, который наряду с природным задает жизненный ритм.

Скажем, в этом смысле показательны воспоминания Ивана Столярова, русского крестьянина, волею судеб оказавшегося в Париже, где спустя двадцать лет после его смерти были опубликованы его записки (46). Труд физический и труд души составляют жизненный круг, повторяющийся ежегодно и в этой своей повторяемости поднимающийся над вечностью. Однако, если для дореволюционного крестьянства, как отмечается исследователями, сюжеты, относящиеся к церковной истории, оказываются в народной памяти в числе наиболее устойчивых, то по мере приближения к современности ситуация меняется (47).

Как уже отмечалось, на основе памяти формируются современные модели поведения. Естественно, у каждого поколения — свой собственный опыт, свое видение и понимание перспектив деревни (понятно, что в традиционном обществе опыт старшего поколения был более универсален). Но есть и нечто общее, свойственное всем поколениям сельских жителей. "Прочтение" собственного опыта происходит у крестьян на фоне осознания своего положения в обществе, через отношение к земле и природе, отношение как внутри крестьянского мира (общества), так и с некрестьянским миром, в том числе и с властью. Таким образом, создается крестьянская традиция социальной памяти: на первом месте стоят интересы собственного крестьянского хозяйства, а затем выстраивается вся система иерархии.

Поэтому параметрами, на основании которых можно понять глубину и силу социальной памяти, могут быть следующие: осознание сельскими жителями своей крестьянской идентичности; стремление, чтобы их дело было продолжено детьми; ощущение духовной связи с предками и потребность переосмыслить их опыт; ощущение соседства, особой социальной общности. Безусловно, на протяжении XX века значение и действие этих факторов менялось, что и может стать предметом специального исследования.

Каким событиям и именам отдается предпочтение в своей ментальной истории крестьянством XX века? Насколько современное крестьянство укоренено в своей прежней — колхозной, доколхозной, дореволюционной истории?

Необходимо изучение степени глубины социальной памяти, понимания того, как отражается старое и новое, традиции и инновации в социальной памяти, по каким направлениям происходит трансформация крестьянских ценностей под влиянием модернизации. Говоря словами Ф. Броделя, модернизация удается, если выдерживает сельское хозяйство.

В крестьянской истории XX века неоднократно повторяются "раньше и теперь": "до революции — после революции", "до колхозов — колхозная жизнь", "до войны — после войны", "до укрупнения — после", "до перестройки — сейчас". Структура "вселенной имен" крестьянства такова, что личные имена руководителей партии и государства становятся символами крестьянского благополучия или, напротив, крестьянских бед.

При этом внимание крестьян фокусируется прежде всего на том, что близко и понятно. Это не значит, что нет места героическому или эпическому в сознании, но "бытовая", повседневная тема преобладает в памяти. Это память крестьянства, с удивительным постоянством оказывающегося на грани выживания. Достаточно хотя бы привести несколько разновременных свидетельств (современные свидетельства почерпнуты автором из поездок по деревням центральной России): "Был Николай хоть дурачок, да фунтовая булка была пятачок; а когда стал Совет, то ни черта нет", "Пришел Маленков — поели блинков", "При Брежневе народ не голодовал, а цены низкие были" (34). Здесь критерии оценки разных времен "самые крестьянские": "сытно — голодно". Вероятно, одновременно может быть несколько разных, вероятно, что в каждое особенное время может быть и свой. Подобно тому, как в давние времена крестьяне стремились в земли обетованные, "беловодные", так и ныне они стремятся во времена обетованные. Скажем, для современных крестьян подобные времена — "золотые времена застоя", в которых, как им представляется, все было определенно и стабильно.

Каким останется в памяти конец XX века? Модернизация аграрной сферы необходима. Общество нуждается в динамичном сельском хозяйстве. Но в равной степени оно нуждается в известном самоограничении во имя сохранения

природы, культуры, морали. Значит, обществу следует понять, каким образом крестьянство готово включиться в изменение своего образа жизни, иначе вновь неизбежно выпадение из памяти общества целых пластов. Социальная память, таким образом, отражает уровень достигнутого равновесия в обществе. На какие пласты социальной памяти следует опираться, модернизируя село? Вероятно, на те, где прошлое не противопоставляется настоящему и будущему, а находит естественное продолжение в них, и именно здесь открывается простор и для самих крестьян, и для исследователей.

Подводя итог, следует отметить, что в действительности нам еще только предстоит оценить возможности социальной памяти как духовного ресурса жизнедеятельности крестьянства и как фактора аграрных преобразований. Перед будущими исследователями стоит задача изучить структуру социальной памяти и проследить изменение форм ее трансляции в нашем столетии. Вместе с тем, нужны сравнительные исследования памяти крестьянства и других социальных и этнических групп и слоев.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Илизаров Б. С. Роль ретроспективной социальной информации формировании общественного сознания (в свете представлений о социальной памяти) // Вопросы философии. 1985. №8; Колеватов В. А. Социальная память и познание. М., 1984; Ребане Я. К. Информация и социальная память: к проблеме социальной детерминации познания // Вопросы философии. 1982. №8.

2. Историческая память обновляющегося общества // Коммунист. 1990. №18; Могильницкий Б. Г. Введение в методологию истории. М., 1989; Постижение. М., 1989; 50/50. Опыт словаря нового политического мышления. М., 1989.

3. Гатагова Л. С. Проблемы исторической памяти на переломных моментах истории: краеведческое движение 20-х годов // Человек и его время. М., 1991; Губогло М. Н. Энергия памяти. О роли творческой интеллигенции в восстановлении исторической памяти. М., 1992; Захаров А., Козлова Н. Письма из недалекого прошлого // Свободная мысль. 1993. №7; Зубкова Е. Ю. Общество и реформы. 1945–1964. М. 1994; Исторический опыт регионального развития. Свердловск, 1991; История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991; Рывкина Р. В. Между социализмом и рынком. М., 1993.

4. Родина. 1994. №7. С. 8.

5. Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х годов. М., 1993; Левада Ю. А. "Человек советский" пять лет спустя: 1989–1994 (предварительные итоги сравнительного исследования) // Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития / Общ. ред. Заславской Т. И. и Арутюнян Л. А. М., 1995. С. 218–225.

6. Ferretti Maria. La memoria mulitata. La Russa recorda. Milano, 1993. См. также: Даниела Стейла. Россия вглядывается в прошлое. Рец. на кн. М. Ферретти "Искаженная память. Россия вспоминает". На итал. яз. Милан, 1993 // Свободная мысль. 1994. №1. С. 126–127.

7. М. Ферретти. Сталин умер вчера: авторитаризм в политической культуре современного русского либерализма // Куда идет Россия? М., 1995 . С. 306–311.

8. Цимбаев Н. И. Слагаемые русской нации // Родина. 1994. №10. С. 13.

9. Российская ментальность // Вопросы философии. 1994. №1. С. 25–53; см. также публикации "Родины" за 1994–1995 годы.

10. Бурдье П. Начала / Пер. с фр. Пер. Н. А. Шматко. М., 1994. С. 192–194, 199–200.

11. Бурдье П. Социальное пространство и генезис классов // Вопросы социологии. 1992. №1. С. 35.

12. См.: Камиллери К. Идентичность и управление культурными несоответствиями: попытки типологии // Вопросы соцнологии. 1993. №1–2. С. 103–116; Социальная идентичность и изменение ценностного сознания в кризисном обществе. Под ред. Н. А. Шматко. М., 1992; Социальная идентификация личности. Под. ред. В. А. Ядова. Ч. 1–2. М., 1994; Bell M. The Fruit of Difference: The Rural-Urban Continium as a System of Identity // Rural Sociology. 1992. V. 57. №1; Giddens A. Modernity and Self-Identity. Stranford, 1991; Wurgaft L. Identity in World History. A Post-Modern Perspective // History and Theory. Studies in the Philosophy of History. 1995. V. 34. №2. P. 67–85.

13. Бурдье П. Начала. С. 199.

14. Социальная идентификация личности. Ч. 2. С. 272.

15. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. Пер. с фр. / Общ. ред. Ю. Л. Бессмертного. Послесловие А. Я. Гуревича. М., 1992. С. 302.

16. Споры о главном. Дискуссия по поводу школы "Анналов". М., 1993; Русская история: проблемы менталитета. Тезисы докладов научной конференции. М., 1994; Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995; Le Goff J. Geschichte und Gedachtnus / Aus dem Franz. von Hartfelder. Frankfurt a M. – N.-Y. – P., 1992.

17. См.: Никольский С. А. Земледелие и крестьянство как природно-исторические явления // Вопросы философии. 1991. №2. С. 3–18; Ермишина С. А., Лачаева М. Ю., Наумова Г. Р. Экономическое сознание России / Былое. 1994. №1.

18. Гордон А. В. Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция, социальная общность. М., 1989.

19. Биографический метод. История, методология и практика. М., 1994; Бургос М. История жизни. Рассказывание и поиск себя // Вопросы социологии. 1992. Т. 1, №2. С. 123–129; Козлова Н. Н. "Слабое место" социальной реальности // Социологические исследования. 1993. №2. С. 79–87; Томпсон П. История жизни и анализ социальных изменений // Вопросы социологии. 1993. №1–2. С. 129–138.

20. Биографический метод. С. 4–5.

21. См.: Биографический метод. С. 14–16; Thomas William I., Znaniecki Florian. The Polish Presant in Europe and America. Monograph of an immigrant group. N.-Y., 1927.

22. Oral History Rewiew, 1995. V. 22. №1. P. 1–2.

23. Dunaway David K. The Oral Biography // Biography. 1991. V. 14. №3. P. 256–266; Ketchum R. Memory as History // American Heritage. 1991. V. 42. №7. P. 142–148; Lynch K. A. The Family and the History of Public Life // Journal of interdisciplinary history. Cambr (Mass.), 1994. V. 24. №4. P. 665–684; Portelli A. History-Telling and Time // Oral History Rewiew. 1992. V. 20. №1–2. P. 51–66; Portelly A. The Death of Luigi Frastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History. Albany, 1991; Rafael S. and Thompson P., eds. The Myths We Live By. N.-Y., 1990; Thompson P. The Voice of the Past: Oral History. Oxford, 1988; Tonkin El. Narrating Our Pasts: The Social Constructer of Oral History. N.-Y., 1992; Wathel N. Memory and History: Introduction // History and Anthropology. 1986. 2/2. P. 207–224; Yow V. Recording Oral History: A Practical Guide for Social Scientists. California, 1994.

24. Громыко М. М. Мир русской деревни. М., 1991; Симуш П. И. Мир таинственный... Размышления о крестьянстве. М., 1991.

25. Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире. Пер. с англ. / Сост. Т. Шанин; Под. ред. А. В. Гордона. М., 1992.

26. В. Виноградский. Российский крестьянский двор. Эволюция повседневного существования // Волга. 1995. №2–3. С. 125–151, №4. С. 154–170.

27. Чаянов А. А. Избранные произведения. М., 1988. С. 254; См. подробнее: Домников С. Д. Кооперативный идеал в России // Кооперация: страницы истории. М., 1993. Вып. IV.

28. См.: Казинцева Л. В. Социокультурные особенности крестьянства в исследованиях П. А. Сорокина // Крестьянское хозяйство: история и современность. Ч. 1. Вологда, 1992. С. 158–161.

29. Крестьянство и индустриальная цивилизация. М., 1993; Никольский С. А. Аграрные реформы и крестьянство // Октябрь. 1993. №8; С. 144–168. Петриков А. В. Сельское общество и аграрная реформа // Вопросы экономики. 1993. №10. С. 83–89.

30. Буганов А. В. Русская история в памяти крестьян XIX века и национальное самосознание. М., 1992; Громыко М. М. Мир русской деревни...; Иникова С. А. Война в исторических преданиях и легендах духоборцев как источник по изучению конфессионального самосознания и психологии. Вологда, 1995. С. 18–23; Миненко Н. А. Культура русских крестьян Зауралья. XVIII – 1-я половина XIX в. М., 1991; Попов В. П. Влияние государственной политики на крестьянское сознание и хозяйство в колхозной период // Крестьянское хозяйство: история и современность. Ч. 1. Вологда, 1992. С. 144–154.

31. Ципко А. С. Реставрация или полная и окончательная советизация? // Российская империя, СССР, Российская федерация: история одной страны? Прерывность и непрерывность в отечественной истории XX века. Отв. ред. Бордюгов Г. А. С. 109.

32. Как это своеобразное равновесие поддерживалось в далекой от социального мира крепостной деревне исследовал С. Хок в книге "Крепостное право и социальный контроль в России: село Петровское, село Тамбовской губ." Пер. с англ. М., 1993.

33. Данилова Л. В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994; Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России. 1907–1914. М., 1992; Лурье С. В. Как погибла русская община // Крестьянство и индустриальная цивилизация. С. 136–165.
34. Громыко М. М. Мир русской деревни. С. 442.
35. Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. М., 1991; Кузнецов И. С. Социальная психология сибирского крестьянства в 20-е годы. Новосибирск, 1992; Лурье С. В. Метаморфозы традиционного сознания. СП6, 1994.
36. Никольский С. А. Выдвиженчество и крестьянство // Родина. 1993. №5–6. С. 42.
37. Fitzpatrick Sh. Stalin's Peasants. Resistance and Survival in the Russion Village after Collectivization. N.-Y.– Oxford, 1994; Hoffman D. Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929–1941. Ithaca, London, 1994; Russia in the Era of NEP. Exploration in the Soviet Society and Culture / Ed. de Sh. Fitzpatrick, A. Rabinovich and R. Stiles. Indiana Univ. Press, 1991.
38. Козлова Н. Н. Крестьянский сын: опыт исследования биографии // Социологические исследования. 1994. №6. С. 112–123; Козлова Н. Н. Заложники слова? // Социологические исследования. 1995. №9. С. 28–35; №10. С. 100–108.
39. Hoffman D. Peasant Metropolis. P. 217–219.
40. Отечественная история. 1992. №5. С. 3–31.
41. Тишков В. А. Мобилизованное прошлое как фактор конфликта // Свободная мысль. 1995. №1. С. 23–24. См. также аналогичные наблюдения на зарубежном материале: Judt T. The past is another country: myth and memory in post-war Europe // Daedalus. 1992. V. 121. №4. P. 83–118; Jackie Assayag. Violence de l'historique historiques de violence // Annales. An. 49. №6. 1994. P. 1281–1314; Kalleschener O. Who Is My Neighbor: Moral Sentiments, Proximity, Humanity // Social Research. An International Quarterly of the Social Sciences. 1995. V. 62. №1. P. 99–128; Perelli C. Setting accounts with blood memory: the case of Argentina // Social Research. 1992. V. 59. №2. P. 415–451; Valensi L. Silence, generation, affabulation: le sowvenir d'une grande defaite dans la culture portugaise // Annales. 1991. An. 46. №1. P. 3–24.
42. Ксенофонтова Н. А. Африканское крестьянство: перемены в общественном сознании. М., 1990. С. 126.
43. Отечественная история. 1992. №5. С. 10.
44. Илизаров Б. С. Роль ретроспективной социальной информации... С. 66.
45. См.: Родина. 1994. №6. С. 44–49, №7. С. 48–53.
46. Столяров Ив. Записки русского крестьянина. Париж, 1986.
47. Кузнецов С. В. Религиозно-нравственные основания русского земледельческого хозяйства // Православие и русская народная культура. Вып. 1. М., 1994. С. 31–53; Кузнецов С. В. Традиции русского земледелия: практика и религиозно-нравственные воззрения. М., 1995.
48. Новый мир. 1993. №4. С. 168; Родина. 1994. №10. С. 87.

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ АНОМАЛИЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ В РОССИИ

Г. Н. Ульянова

Соединение сопредельных проблем в рамках одной статьи является неслучайным. Они имеют дело с социальными группами, мало изучавшимися в советский период, а именно – с бедными и неимущими слоями населения, и мерами помощи им. Для официальной научной литературы существовал, как показывает анализ библиографии, фактический запрет на освещение как вопросов благотворительности, так и социальных аномалий в историческом аспекте, идеологически неприемлемых в условиях монополии в гуманитарной науке марксистско-ленинской доктрины (согласно которой, бедность – результат особых социальных отношений в капиталистическом обществе и выражение его противоречий). Этот запрет можно датировать пятидесятилетием – с середины 1930-х гг. до середины 1980-х гг.

Тем не менее, необходимость исследований была очевидна, и это было связано с низким (по сравнению с европейским) качеством жизни. В условиях закрытого общества, которое существовало в нашей стране до начала общественной трансформации 2-й половины 1980-х гг., отсталые жизненные стандарты, дефицит социальной защиты и наличие социальной подсистемы, включавшей в себя лиц девиантного (т.е. отклоняющегося) поведения, – отчасти компенсировались жесткой государственной системой распределения минимума материальных и моральных благ для основной массы населения и цементированием общества в сфере официальной социализации за счет специфических механизмов (к примеру, моральное давление или поощрение со стороны партийной и профсоюзной организаций в каждом коллективе). С конца 1980-х гг. из-под спуда вышел целый ряд социальных и экономических проблем. На фоне постоянного (в течение последнего десятилетия) снижения уровня жизни для большинства населения произошел вначале выплеск, а затем и количественный рост девиантного поведения в разных формах (нищенство, проституция, бродяжничество, детское беспризорничество, алкоголизм, наркомания). К объяснению этих, весьма пугающих для "усыпленного" в предыдущие годы сознания советского человека явления вначале обратилась публицистика (1), официальная же историческая

наука держалась консервативных убеждений, не считая необходимым открывать исследования в этом направлении.

В результате, изучение благотворительности, как и социальных аномалий, в российской исторической науке переживает начальный этап. Он имеет, на наш взгляд, ряд особенностей. Первое — становление новой проблематики на академическом уровне связано, прежде всего, с исследователями, родившимися в послевоенный период. Второе — существует сложность, связанная с отставанием соответствующих исследований в историческом аспекте, поскольку изучение данных разделов социальной истории требует от ученых значительных усилий по восприятию как большого массива исторической литературы, появившейся на Западе с конца 1960-х гг., так и теоретических достижений и терминологических особенностей, выработанных в сопредельных областях гуманитарной науки, прежде всего в социологии и политологии. Третье — возникает целый пласт литературы учебного характера, связанной с потребностями перестройки системы социальной работы и подготовки кадров социальных работников, (а также с появлением других новых специальностей).

Обращаясь к изучению проблем, связанных с исследованием российской благотворительности и социальных групп с девиантным поведением, следует отметить, что и в том, и в другом случаях в фокусе внимания ученых находятся представители, главным образом, малоимущих групп населения. Несомненно, что развитие российской благотворительности в пореформенный период было связано, прежде всего, со стремительным урбанизационным процессом, когда рост населения городов происходил, главным образом, за счет пришлого элемента, чей жизненный уровень был очень низок и степень адаптации незначительна. Растущее количество бедных и безработных стало серьезной социальной, экономической и психологической проблемой, за решение которой пришлось взяться на всех уровнях: государственном, муниципальном, сословном. В советскую эпоху политическая парадигма в отношении социально незащищенных слоев претерпела трансформацию, и в течение некоторого времени в сочетании с репрессивными механизмами обеспечивала "апатичную" стабильность. Но с разрушением советского строя российское общество вновь оказалось лицом к лицу с казалось бы давно изжитыми пороками.

С самого начала следует отметить терминологические особенности описания данной области социальной практики. Термин "призрение" ("общественное призрение") применяется ко всей сфере, связанной с социальной реабилитацией основных категорий населения, нуждающихся в помощи, а именно, детей, стариков и инвалидов, то есть тех, кто не может прокормить себя собственным трудом. Понятие "благотворительность" не совпадает целиком с "общественным призрением", ибо не включает государственный уровень реализации программ социальной реабилитации. В первую очередь, "благотворительность" относится к области общественной активности, связанной с передачей юридическими и физическими лицами (но только не субъектами государства) денежных и материальных средств, и с личным сотрудничеством частных лиц в деле помощи нуждающимся.

Приоритет в постановке проблемы изучения российской благотворительности принадлежит, как это не парадоксально, американским исследователям-

русистам. Причины такого положения и результаты работы американцев были подробно проанализированы в нашей недавней статье (2). Анализ зарубежной литературы свидетельствует о глубокой проработке американскими коллегами (среди них — Д. Рэнсел, Дж. Брэдли, А. Линденмайер) (3) некоторых частных аспектов истории русской благотворительности. Тем не менее, всестороннее изучение проблемы находится на начальной стадии.

Но если американцы, согласно традициям западной школы, главное внимание уделили институтам благотворительности и их функционированию, то в изучении филантропии отечественными специалистами возобладал жанр жизнеописаний благотворителей. Здесь сказалось желание уйти от безликих схем, наполнить историю живыми персонажами, в новой (часто бесцензурной) ситуации показать неизвестные стороны жизни людей прежней эпохи.

В монографии А. Н. Боханова "Коллекционеры и меценаты в России" (4), который первым из современных российских историков обратился к теме благотворительности, проблема благотворительной деятельности русских предпринимателей раскрывалась на примере жизни и деятельности Солдатенкова, братьев Третьяковых, Саввы Морозова и Саввы Мамонтова. Этой работой, фактически, было открыто направление исследований самого *типа* русского предпринимателя-благотворителя. Боханов избрал ярчайшие фигуры русского капитализма, положительная оценка вклада которых в отечественную культуру бесспорна в общественном мнении, — и тем самым сделал удачный акцент в реабилитации купеческого слоя. Однако, Боханов характеризовал тип личности русских меценатов как исключительный, с редкостным в мировой цивилизации чувством альтруизма, с чем трудно согласиться, обозревая, по крайней мере, историю мировой науки и культуры, развивающихся в последнее столетие во многом за счет колоссальных денежных вкладов частных лиц (простейшие примеры — фонды Форда, Карнеги, Гетти, Сороса и др.).

Влюбленность автора в своих героев (сама по себе качество положительное), таким образом, породила их идеализацию, но уже в монографии "Крупная буржуазия России. Конец XIX в. — 1914 г." (5) Боханов проанализировал типы благотворителей с фактически противоположных позиций. В разделе "Почетные звания предпринимателей" он отметил, что гражданские классные звания целая когорта представителей крупной буржуазии получила не только за предпринимательскую деятельность, но и за попечительство в учебных и благотворительных заведениях, другие некоммерческие занятия, причем "сама политика пожалований на всем протяжении XIX в., но особенно в конце XIX — начале XX в., являлась своеобразным синтезом двух противоположных тенденций. С одной стороны, правящие круги осознавали необходимость поощрения наиболее значительных дельцов, ...вносивших большой вклад в развитие различных отраслей науки и просвещения", с другой, — пытались закрыть дворянско-бюрократический мир от проникновения в него новых социальных элементов, "сделать высшие чиновные звания и дворянское состояние лишь кастовым признаком" (6). Контингент таких лиц, по подсчетам Боханова, постоянно увеличивался. В качестве персонажей, получивших чины и звания по благотворительной части, упомянуты А. Л. Кноп, А. Г. Елисеев, Л. С. Поляков, А. А. Бахрушин, П. И. Щукин, Л. И. Бродский, В. И. Асмолов и др.

Но наши последние исследования (7) показали, что Боханов несколько преувеличил "декоративность" (по его выражению) попечительских обязанностей благотворителей. Да, мотивы могли быть и своекорыстными (иногда, в погоне за маркой респектабельности, "предоставление благотворительных пожертвований прямо ставилось предпринимателями в зависимость от получения звания") (8), тем не менее, обильные денежные вклады давали возможность для существенного развития учреждений просвещения, здравоохранения и общественного призрения.

Эта же проблема затронута в биографическом аспекте в книге Б. В. Ананьича "Банкирские дома в России. 1860 – 1914 гг." (9) при описании крупных пожертвований банкиров А. Л. Штиглица, братьев Поляковых, Ф. П. Рябушинского. Существенным для понимания типа личности русских предпринимателей (и для оценки их благотворительной деятельности), явился вывод Ананьича о формировании в России изучаемого времени слоя "просвещенных коммерсантов" (10) с присущими ему поведенческими стереотипами.

Меньше внимания получила история учреждений помощи бедным. В 1991 г. вышла книга профессора медицины П. В. Власова "Обитель милосердия" (11), представляющая собою популярный очерк благотворительных заведений Москвы. Хотя ее писал непрофессиональный историк, однако высокий уровень этой созданной в популярном жанре работы (выпущенной издательством "Московский рабочий" по разделу краеведческой литературы) объяснялся в первую очередь скрупулезной проработкой архивных и опубликованных источников, изучению которых автор посвятил пятнадцать лет. Блестящее владение материалом особенно проявилось в описании медицинских заведений для бедных, поскольку автор – известный российский врач-рентгенолог – очевидно, лучше историков смог раскрыть назначение и функционирование лечебниц разных типов в их историческом развитии.

В 1991 – 1994 гг. большой вклад в развитие темы (но все же с упором на меценатстве, а не на помощи бедным) был сделан историками и искусствоведами, работавшими в публицистическом жанре, – Н. Г. Думовой, А. А. Демской, Н. Ю. Семеновой (12).

Несмотря на отсутствие крупных академических исследований (что легко объяснить исключительной объемностью источниковой базы – к примеру, досоветская библиография благотворительности включает несколько тысяч названий, и неосвоенностью современных методов анализа), в эти годы возникает целый массив статей, посвященных отдельным благотворителям, отдельным заведениям, чаще всего на местном материале, а также специальным аспектам истории филантропии (13). На всплеск интереса повлияло возрождение краеведения и интерес к истории российской буржуазии (14), изучавшейся в предыдущий период, главным образом, в облике политического противника рабочего класса. Ярким признаком такого фокуса интереса к дооктябрьскому прошлому стало издание и переиздание в конце 1980-х – начале 1990-х гг., после десятилетий забвения, мемуаров москвичей купеческого происхождения – М. В. Сабашникова, П. А. Бурышкина, А. П. Боткиной, А. П. Зилоти, С. Н. Дурылина, В. П. Рябушинского, Ю. А. Бахрушина и др. (15), и краеведческих работ о крупных купеческих центрах (16); а также устройство в Москве и городах Западной Европы ряда художественных выставок, представлявших коллекции русских миллионеров. Отход в общественном мнении от отрицательных оценок деятельности русских предпринимателей высвечивал все новые стороны их деятельности, включая сюда помощь малоимущим слоям. К тому же, интерес разогревался нарождением постсоветского предпринимательского слоя. Характерно, что, как это часто бывает в истории, общественная активность буржуазии в популярной, и даже в научной литературе (17), преподносилась читателю почти исключительно с превосходными эпитетами, без сбалансированного анализа мотивов, идеалов и целей данной социальной группы.

Это отчасти проявилось на международной научной конференции "Буржуазия и рабочие России во 2-й половине XIX – начале XX вв." (Иваново, 1993) (18). Здесь прозвучало несколько интересных (прежде всего с фактологической стороны) докладов. В выступлении М. Л. Гавлина "Российское предпринимательство и его ответственность перед обществом" подчеркивалось, что "мысль об ответственности богатства и связанная с ней идея общественного служения издавна были распространены в предпринимательской среде". Этот постулат иллюстрировался примерами из жизни Т. В. Прохорова (учредившего еще в 1816 г. ремесленное училище для детей рабочих при своей фабрике), М. И. Крашенинникова, П. М. Третьякова, П. П. Рябушинского, С. И. Четверикова. Гавлин настойчиво провел мысль (по нашему мнению, в ряде случаев спорную) о том, что не только благотворительность, но шире – "деятельность и судьбы очень многих российских предпринимателей самым драматическим образом определялись осознанием противоречия между личным богатством и общественным благом".

Тема получила продолжение в выступлениях ивановских историков К. Е. Балдина "Я. П. Гарелин: фабрикант, историк, меценат" и Г. А. Солнцевой "Д. Г. Бурылин: предприниматель, меценат, коллекционер". Не избежав идеализации своих героев, Балдин и Солнцева провели строго документированные исследования на впервые вводимых в научный оборот архивных материалах, что с новой стороны показало филантропические и культурные реалии российской провинции конца XIX – начала XX вв., которая не была исключительно "темным царством".

Своеобразной постановкой вопросов отличался доклад ярославского историка М. Г. Мейеровича "Патерналистская политика буржуазии". На материалах архива Ярославской Большой мануфактуры автор показал реализацию социальных программ для рабочих. Фабриканты Карзинкины тратили большие средства на жилье, школы, больницы, детский сад, что способствовало снижению социальной напряженности на фабриках, но одновременно вело к созданию дополнительной возможности усиления зависимости рабочих от предпринимателей.

Отторжение старых стереотипов дало толчок переходу к более широкому полю исследования – в докладе члена-корреспондента РАН Я. Н. Щапова "Благотворительность в дореволюционной России: национальный опыт и вклад в цивилизацию" (19) на международной научной конференции (Москва, 1993) впервые прозвучало мнение о необходимости многоаспектного изучения истории благотворительности. В контексте идеи значимости для духовной культуры

России традиций милосердия и сострадания к убогим намечены этапы благотворительности на протяжении X–XX вв., даны статистика и классификация крупнейших заведений, причем Я. Н. Щапов разработал периодизацию, используя соответствующие построения дореволюционных авторов и собственный богатый опыт медиевиста. До середины XVI в. преобладала религиозно оформленная личная, частная благотворительность. С появлением таких уникальных памятников как Стоглав (1551) и Соборное уложение 1649 г., происходят переход к системе общественного призрения с различным подходом к разным группам требующих помощи и нарождение светской организации помощи. Третьим этапом стал XVIII в., когда государственная система призрения получила сильное развитие. "Наиболее действенным оказалось сочетание государственных форм благотворительности с общественными и частными" на четвертом этапе, который автор датирует с сер. XIX в. до 1919 г. После октября 1917 г. в эту традиционную структуру были внесены решительные изменения: практически уничтожено общественное и частное содержание. Подводя итоги, Я. Н. Щапов отметил: "Развитие системы благотворительности было прервано, но в настоящий момент учет исторического опыта может быть полезен при создании новых форм социальной и духовной помощи нуждающимся".

Дальнейшая сегментация исследований проявилась, начиная с 1994 г., с появлением работ, освещающих женскую благотворительность в дооктябрьской России. На наш взгляд, эта положительная тенденция отражает процесс включения российских ученых в общемировой ход развития гуманитарных наук, где гендерные исследования, особенно в последнее пятнадцатилетие, породили мощный поток литературы. Но в отличие от западных сочинений, часть которых, в ущерб научным интересам, зиждется на феминистских схемах, пока российские исследования демонстрируют значительный академический потенциал. Возможно, не последнюю роль играет опережающая роль социологов и политологов (20), что дает историкам шанс преодолеть чисто описательный стиль, сменить так называемые "женские исследования" – на гендерные, основывающиеся на интерпретации статуса в обществе женщины, исходя из социальной, а не исключительно биологической детерминированности отношений между полами (21).

После работы Г. А. Тишкина (22), появившейся более десятилетия назад, второй крупного масштаба работой, посвященной истории женщин в России в Новое время, явилась монография О. А. Хасбулатовой "Опыт и традиции женского движения в России. 1860–1917" (23). Написанная на большом фактическом материале книга содержит анализ возникновения и роли женского движения в политической системе России в пореформенный период. Не случайно, большое место уделено активности женских благотворительных организаций. Дело в том, что до 1906 г. (до принятия Временных правил об обществах, союзах и собраниях) официальный статус имели лишь благотворительные общества, и поэтому многие женские организации были зарегистрированы как благотворительные и вели филантропическую деятельность (24).

Оставаясь в рамках традиционного исторического жанра, автор однако не поставила в тексте вопрос о том, почему гендерный признак играл значительную роль, нет и теоретических обоснований понятию "женская благотворительность", хотя убедительно показано, что женские благотворительные организации были наиболее многообразными по направленности действий, занимали ведущее место в инфраструктуре женского движения. В основу их деятельности были положены такие принципы, как опора на собственные силы, экономическая независимость благодаря самостоятельной профессиональной деятельности, взаимоподдержка, саморазвитие и самопомощь. Использовались три основных источника финансирования: пожертвования, привлечение средств правительства и местных органов управления, доходы от коммерческой деятельности. Основными направлениями работы были: материальная поддержка малоимущих, поддержка учащихся и образованных жещин, борьба с алкоголизмом, опека над детьми, забота о престарелых, движение сестер милосердия. Сюда же автор причисляет акции, которые несомненно проводились в рамках действия этих организаций, но, по нашему мнению, не вполне корректно классифицировать их как благотворительные – просветительство и борьба за высшее образование для женщин.

Автору удалось представить яркие и показательные примеры. Например, Женское взаимно-благотворительное общество в Петербурге осуществляло финансирование Высших женских курсов, Российская лига равноправия женщин оказывала помощь беженкам (путем предоставления трудовой помощи) во время Первой мировой войны. Наиболее крупных успехов, как пишет Хасбулатова, достигло Общество для доставления средств Высшим женским Бестужевским курсам, – в результате, Бестужевские курсы за 20 лет стали обладателем имущества в 1 млн. 5100 руб., а само общество удостоилось золотой медали на Всемирной выставке 1900 г. в Париже.

Благодаря работе Хасбулатовой проблема раскрепощения женщин в XIX в. (как-то чаще ассоциирующаяся в расхожих представлениях с карикатурными образами la femme èmancipée, например, из тургеневских "Отцов и детей") обрела новое звучание – усилия благотворительных организаций на рубеже XIX–XX вв. во многом направлялись на решение проблем, связанных с вовлечением женщин в сферу профессионального труда. Работа шла в двух направлениях – создание обществ взаимопомощи для работающих женщин (таких как Санкт-Петербургская артель кассирш, продавщиц и бухгалтеров, основанная в 1898 г., или Петербургское общество взаимопомощи акушерок, основанное в 1900 г.) и формирование обществ, предоставлявших работу женщинам (последние действовали в виде домов трудолюбия или женских артелей). К примеру, в Петербурге существовала работавшая на пожертвованных материалах артель по изданию детских книг, где все переводческие, редакторские и полиграфические работы осуществлялись женщинами, получавшими прибыль в виде платы.

Книга Хасбулатовой вывела из-под спуда еще один малоисследованный вопрос – положение детей как социальной группы. Попечение о детях было наиболее распространенной формой женской благотворительности – ею занимались более половины всех женских организаций, которые последовательно выступали за законодательную охрану детства, в частности, в начале XX в. требуя запрещения детского труда до 14-летнего возраста и введения всеобщего бесплатного обучения детей 7–14 лет. К 1907 г. под эгидой либеральных женских организаций существовало свыше 100 народных (то есть бесплатных) детских садов для детей от 4 до 8 лет (факт широкого возникновения детских садов

с 1890-х гг., как мы выяснили, особенно упорно замалчивался в литературе советского времени видимо ради беспроигрышного лозунга "Все лучшее — детям"), и последовало обращение в Министерство народного просвещения с предложением дать этим детским садам статус государственных учебно-воспитательных заведений. Кроме того, с 1904 г. стали возникать общества по защите детей от жестокого обращения со стороны взрослых.

Не обойдена вниманием и категория "падших женщин", для помощи которым в начале XX века в ряде городов возникли Общества защиты женщин. Главными их клиентами были одинокие и безработные матери, а также проститутки, решившие порвать с развратным занятием, — для них создавались приюты для ищущих заработок женщин и швейные мастерские с магазинами для сбыта продукции.

Женские благотворительные общества развивались прежде всего как общества самозащиты и взаимопомощи (25). Мы бы еще добавили, что женские благотворительные общества, может быть, явились важнейшей формой социализации для широких масс женщин в тот переходный период, когда в общественном сознании и общественной психологии происходила смена нормативных воззрений на роль женщины в семье и на производстве. Они, фактически, были существенным адаптивным механизмом, снижавшим повседневные стрессы для масс женщин, вынужденных самостоятельно обеспечивать свое существование.

Уже названный нами в качестве характерной приметы нынешнего историографического этапа прием обращения к персональной истории плодотворно применен Хасбулатовой — ею даны портреты активисток благотворительности М. В. Трубниковой, А. П. Философовой, Н. В. Стасовой, А. Н. Шабановой. Видимо, в перспективе историкам надлежит пойти дальше и (как и в случае предпринимателей-филантропов) рассмотреть вопрос о мотивах бескорыстного служения женщин из разных социальных слоев на общественную пользу, что позволит увидеть под новым углом зрения противоречивый процесс складывания гражданского общества в пореформенной России.

Несколько докладов, посвященных женской благотворительности, было представлено на 2-й научной конференции "Российские женщины и европейская культура" (Петербург, 1994) (26).

Видный специалист по истории России 2-й половины XIX — начала XX вв. В. Г. Чернуха в докладе "Императрица Мария Александровна и ее место в российской государственной жизни" отметила, что "на протяжении XVII – XX вв. статус женщин, принадлежавших к правящей династии, существенным образом менялся: от затворничества — до выхода на арену политической жизни". Императрица Мария Александровна (1824 – 1880) принадлежала к поколению цариц новой формации, игравших в жизни страны существенную роль. В числе других обязанностей к середине XIX в. стало традиционным патронирование воспитательных домов и женских учебных заведений в рамках Ведомства учреждений Императрицы Марии.

На этой же конференции были три выступления, посвященные истории учреждений, возникших для воспитания сирот из высших слоев общества и сыгравших большую роль в развитии женского образования — Г. И. Смагиной "Из истории женского образования в России: Мариинский институт", Е. Путиловой "Смольный институт благородных девиц: французские истоки и новшества Екатерины II", Ю. У. Раковского "Из истории Императорского воспитательного общества благородных девиц". Все три доклада показывают, что петербургские исследователи верны традиции скрупулезной реконструкции петербургского периода русской истории.

Восстановление истории отдельных учреждений — значимый вектор в историографии благотворительности. Встречным направлением может стать обобщение и анализ статистики общественного призрения, как по Российской Империи в целом, так и по отдельным регионам. Первый шаг уже сделан в статистико-документальном справочнике "Россия. 1913 год" (27). Новизна этого, как и других разделов упомянутого издания в том, что данные начала XX в. (о количестве благотворительных учреждений, распределении их по ведомствам, их доходах и расходах, числе лиц, воспользовавшихся помощью, а также о деятельности девяти ведомств, лидировавших по объему помощи), — впервые систематизированы и значительно расширяют представления даже специалистов о состоянии экономики, общественных структур и духовной жизни России в общепризнанной наивысшей точке их развития (1913 год), после которой динамичная модернизация была пресечена Первой мировой войной и всеми последующими катаклизмами.

Особый пласт новейшей литературы по истории благотворительности и общественного призрения формируют учебные пособия — во-первых, для факультетов и институтов социальной работы (в последнее время подготовка социальных работников осуществляется более чем 50 вузах России), во-вторых, для преподавания истории бизнеса в заведениях разного профиля, в-третьих, для преподавания новых историко-культурологических курсов в гуманитарных вузах.

В то время, как на Западе, социальная работа уже почти сто лет имеет статус профессиональной деятельности, подготовка специалистов в России — дело новое, и разумеется, сопряженное с дефицитом учебной литературы. Неудивительно, что в отсутствие прочной базы в виде фундаментальных исследований и переводных изданий (28), внезапный хаотический поток пособий первоначально являлся чаще всего компиляцией невысокого уровня с обильными терминологическими и прочими "недочетами" (29).

Тем не менее, уже с 1993 г. появились работы, в которых присутствует исследовательский компонент. На значительном числе опубликованных источников написана работа Л. В. Бадя "Благотворительность и меценатство в России. Краткий исторический очерк" (30), в которой показаны основные вехи развития благотворительности в России, начиная с раннего Средневековья и кончая началом XX в. Достоинство работы в том, что она насыщена малоизвестной фактографией и, пожалуй, впервые дала подробную классификацию благотворительных заведений Российской Империи в пореформенный период по видам и типам.

На хорошем профессиональном уровне сделано пособие В. Н. Егошиной и Н. В. Елфимовой "Из истории призрения и социального обеспечения детей в России" (31), где впервые в современной историографии дан очерк помощи детям, причем авторы сфокусировали свое внимание на событиях XVIII – XX вв. Наибольшим по объему закономерно является раздел, посвященный призрению

детей в конце XIX – начале XX вв. В исследовательском плане интересен подход авторов, представленный в завершающем разделе с характерным названием "Монополия государства на социальную политику в отношении детей (1917–1930 гг.)" – в нем дана оценка достоинствам и просчетам большевистской доктрины воспитания детей. Не обойдены вниманием насущные проблемы нынешней системы детского призрения (по статистике в России сейчас 920 детских домов).

Активность преподавателей специальных вузов не ограничена лишь написанием учебных пособий – ведутся самостоятельные исследования по отдельным разделам истории благотворительности и общественного призрения (32). Что же касается учебных пособий по истории бизнеса и для спецкурсов, то даже лучшие из них (33) повторяют как заклинание заимствованный из мемуарной и академической (рубежа 1980–1990-х гг.) литературы тезис о русском меценатстве и благотворительности конца XIX – начала XX вв. как явлении уникальном, "не имеющем аналога в истории цивилизации". Временное впадание в восторг полезно для поднятия национального духа, однако, названный тезис (если он и верен) все же не подкреплен пока неопровержимыми научными доказательствами, что ставит его в один ряд с общеизвестной формулой "Россия – родина слонов".

Ситуация форсированного подключения российских специалистов к общемировому исследовательскому процессу наблюдается и в таком научном направлении, как изучение социальных отклонений. В западной гуманитарной науке оно складывалось уже с конца 1960-х гг., и в ряде работ представлены результаты изучения проституции (34) и бродяжничества (35) в России. Однако, хорошо выполненные зарубежные исследования не закрыли, а напротив, только открыли ряд тем. Показательно, что широкие перспективы изучения создают ситуацию, когда зарубежные и российские работы взаимодополняют друг друга, вводя в научный оборот все новые пласты источников и давая свежие интерпретации.

Фактически первой после полувекового перерыва работой, посвященной бытованию малоимущих социальных групп (в том числе девиантных) в период 1920–1930-х гг. явилась статья Г. А. Бордюгова "Социальный паразитизм или социальные аномалии? (Из истории борьбы с алкоголизмом, нищенством, проституцией, взрослой беспризорностью в 20–30-е годы)" (36). Сама постановка проблемы настолько выходила за рамки общепринятых в советской историографии направлений исследования, что автор в первых строках статьи отмечал: "Поднимаемая проблема в связи с щепетильностью и даже малоприятностью некоторых аспектов может показаться непривычной для специального исследования. Ведь еще совсем недавно принято было считать, что в советское время некоторые формы отклоняющегося поведения не имели и не имеют сколько-нибудь широкого распространения". Действительно, в нормативном советском сознании (когда подавляющая масса населения родилась и получила воспитание после 1917 г.) такие явления, как нищенство, проституция и беспризорность, связывались прежде всего с дореволюционной, старой Россией.

Прибегнув к объективистскому историко-социологическому анализу, автор был вынужден отказаться от идеологически окрашенных терминологических штампов, таких, например, как "лица, ведущие антиобщественный образ жизни".

В период после гражданской войны законодательные меры советской власти предусматривали развертывание широкой помощи огромной массе людей, выбитых из колеи Первой мировой войной, революцией и гражданской войной. Однако, 1920-е (особенно период нэпа, сопровождавшийся миграцией в города большого количества людей) вызвали необратимые социальные изменения, и в результате – сильное увеличение лиц девиантного поведения. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., имелось около 150 тыс. деклассированных элементов (по четырем основным группам: временно испытывавшие нужду вследствие стихийных бедствий или потери трудоспособности, бездомные и беспризорные, профессиональные нищие, проститутки). "С одной стороны, – пишет автор, выделяя две основных тенденции, – происходило приобщение к новым условиям жизни, а с другой – ослабление многих традиций, устоявшихся норм. ...Все это приводило к определенной деморализации некоторых групп населения".

В годы "военного коммунизма" возник термин "социальный паразитизм", обозначавший образ жизни, несовместимый с принципами строящегося социалистического общества. Основной мерой борьбы стала изоляция путем административной высылки или высылки по судебному приговору, но неэффективность этой меры вынудила подключиться к действиям правоохранительных органов учреждения социальной защиты и здравоохранения. Центр внимания общественности сместился с пороков на коррекцию причин, их вызывающих (например, в рамках борьбы с проституцией были сделаны шаги, ведущие к уменьшению женской безработицы, охране материнства и младенчества, устройству детских садов и яслей). Однако, противоположная позиция НКВД РСФСР породила проект создания "милиции нравов", который, по счастью, принят не был и с ведома созданного в 1922 г. при Наркомате здравоохранения Центрального совета по борьбе с проституцией, милиции следовало заниматься выявлением притонов и преследованием лиц, занимающихся промыслом торговли женщинами.

Но реализация этих мер, тем не менее, не привела к снижению таких правонарушений и в середине 1920-х гг. возобновилась дискуссия о "социальном паразитизме", причем рамки понятия расширились, – и все лица асоциального образа жизни безоговорочно были признаны социально опасными.

К концу 1920-х гг. произошло угасание применения термина "социальный паразитизм", и уже в первом пятилетнем плане, указанные явления обозначаются как "социальные аномалии". На изменение установок воздействовало значительное количество научных разработок по осмыслению природы отклоняющегося поведения. В принятых в 1929 г. постановлениях "О мерах борьбы с проституцией" и "О мерах по ликвидации нищенства и беспризорности взрослых" четко обозначались функции правоохранительных органов, здравоохранения и социальной защиты. Создавались (кстати, по дореволюционному типу) временные приюты, мастерские и сельскохозяйственные колонии, и одновременно учреждения трудового перевоспитания с особым режимом, близким к тюремному. Возникшая в крупных городах (Москва, Ленинград, Саратов, Новосибирск, Нижний Новгород) система социального патронажа пропустила через себя тысячи людей, но число нуждающихся в помощи было много больше, и шестнадцати учреждений на всю страну не хватало.

Показывая эволюцию отношения государства и общества к социальным аномалиям, автор пришел к выводу, что, несмотря на явно положительные моменты, содержащиеся в программах борьбы с аномальными явлениями, реализация этих программ в начальный советский период неизменно блокировалась значительной бюрократизацией действий органов милиции и социальной защиты, и вместо реабилитации лиц с отклоняющимся поведением происходил загон пороков в подполье. Аномальные явления, принимая скрытые формы, насильственно стирались в общественном мнении.

При реконструкции таких явлений перед историком неизбежно возникает дополнительная сложность в определении достоверности цифр и фактов из официальных источников. И не случайно, приводя статистику, показывающую снижение вдвое количества лиц, причисляемых к аномальному контингенту в период с 1926 по 1931 гг., автор высказывает сомнение в истинности этих данных, ибо параллельная статистика по отдельным городам с ними не стыкуется. Добавим, что вскоре последовал голод 1931–1932 гг., вызвавший бегство людей в города. В недавней статье Шт. Мерля прямо указано: "когда в конце 1932 г. участились случаи голодной смерти, правительство издало закон о паспортах с тем, чтобы воспрепятствовать массовому оттоку населения из голодающих областей в города, продовольственное снабжение которых также оставляло желать много лучшего. Милиция теперь получила право высылать из городов крестьян, у которых не было договоров о найме с промышленным предприятием, а также препятствовать самовольному уходу крестьян из деревни" (37), (к слову сказать, закон о паспортах оставался в силе до 1974 г.). Разумеется, отчаявшиеся крестьяне были в начале 1930-х гг. существенным источником пополнения контингента, который официально квалифицировался как социально аномальный.

Очевидно, что уже на начальном этапе проведения социальной политики советского государства происходило явление, которое обозначено в современной научной литературе, как "деформация социальных институтов". Причем социальные институты не только не выполняют функции, ради которых они созданы, но также заменяют их ложными функциями — маскирующими или пародирующими основную функцию, чтобы сохранить статус группы людей, ответственных за данных институт. Основной причиной дисфункции является рассогласование функций социальных институтов с обслуживаемой ими социальной средой (38).

"Уже в 1933 г.,— пишет автор,— открыто прозвучала мысль о том, что с завершением в основном коллективизации крестьянских хозяйств, а также с ликвидацией безработицы в стране причины, порождающие социальные аномалии, устранены". После чего, фактически было положено начало отождествлению основного аномального контингента с классово-враждебными, кулацкими и прочими элементами.

Изучение отдельных социальных аномалий продолжилось только через несколько лет, когда в 1993–1995 гг. появились работы, исследующие историографический аспект нищенства, проституции и др. Этому отчасти способствовала опережающая (с начала 1990-х гг.) разработка проблематики социологами и юристами на современном материале, что было вызвано сильнейшим ростом асоциального контингента (39).

Серьезнейшую попытку теоретического осмысления многочисленных социальных деформаций, которыми характеризуется последнее пятилетие, дал академик В. Н. Кудрявцев в книге "Социальные деформации. (Причины, механизмы и пути преодоления)". Эта академическая работа подкупает читателя прежде всего своим гражданским пафосом. Сам автор считает, что эту книгу (фактически написанную на едином дыхании) "следует рассматривать как одно из проявлений общественных настроений в наше тяжелое время, как свидетельство поисков объяснений всему тому, что происходило в 90-е годы" (40). Для исторического осмысления катаклизмов, происходящих с Россией в XX в., на наш взгляд, имеет важность следующее высказывание из книги Кудрявцева: "Советское общество в течение всего своего существования жило идеалами. Вначале таким идеалом была мировая революция, затем социализм в одной стране, потом коммунизм. Уже в ходе перестройки появился новый идеал — гуманный демократический социализм. ...Идеал этот пока что достигнут не был. Начались такого рода деформации в различных сферах общественной жизни, которые ввергли страну в жесточайший экономический, политический и духовный кризис. Отступлением от какой нормы стали эти деформации? Мы бы сказали так: от элементарных норм человеческого общежития. ...Деформированы были не только и не столько недостигнутые идеалы, сколько обычные, средние, стандартные условия жизни, типовой образ жизни большинства населения, базисные и надстроечные отношения любого цивилизованного общества" (41).

В России 2-й половины XIX — начала XX вв. существовала глубокая и развитая традиция исследования социальных аномалий, традиция, продиктованная самой жизнью, когда процесс модернизации был настолько болезненным и стремительным, что образовался широкий люмпенизированный слой. К этой традиции обратились в своих работах современные ученые.

Нищенству в историческом развитии посвящена статья Г. Н. Ульяновой "Просящие Христовым именем" (42). В качестве отправной точки при изучении нищенства как социального и культурного феномена представлено объяснение восприятия нищенства в Средневековье и Новое время. Для мирян, нищие ближе всех стояли к идеалу — Иисусу Христу, повторяя его поведением и аскетическим обликом. Через подаяние человек демонстрировал качества христианина, а милостыня получила чрезвычайную важность в средневековой жизни. (Эти взгляды на милостыню и нищету жили в народе вплоть до начала XX в.). Однако добрый христианский обычай милостыни привел к скоплению неимоверного числа нищих в городах, и особенно в Москве. Начиная со Стоглава (1551), предпринимается законодательное регулирование отношения к нищенствующим бродягам. На протяжении XVI–XVIII вв. на первый план выходили то репрессивные меры, то меры помощи, пока наконец "Учреждение о губерниях" (1775) не положило в царствование Екатерины II начало организации общественного призрения.

В работе показано, что ряды нищих пополняли пауперизованные крестьяне, разорившиеся в деревне, но не нашедшие рабочего места в городе. "И если приблизительно до конца 1870-х годов большинство "погорельцев", "разорившихся", "переселенцев" были мнимыми, а фактически деклассированными

элементами, то аграрный кризис 80–90-х годов XIX столетия, трагически сказавшийся на судьбах русского крестьянства, качественно трансформировал структуру нищенского "сословия" – более 80% деревенских не находило постоянной работы в городе, а 11% скатывались "на дно". Профессиональное нищенство порождало собственную иерархическую структуру, регулировавшую хорошо налаженный промысел. На рубеже XIX–XX вв. круг нищих и убогих срастается с преступным миром городских трущоб. Нищенство становится "социальной язвой" российского общества.

Еще одной категории лиц девиантного поведения посвящена книга петербургских историков Н. Б. Лебиной и М. В. Шкаровского "Проституция в Петербурге" (43). Общеизвестно, что проблема имеет обширную дореволюционную историографию. Поэтому, разобравшись в большом потоке дооктябрьской литературы (включая публицистику, специальную медицинскую и юридическую литературу и др.) и выявив в архивах целый массив новых (часто рассекреченных только в самое последнее время) материалов, дать фундаментальную интерпретацию явлению проституции – представлялось непростой задачей для историков. Однако авторам удалось сделать исследование образцом добротного научного анализа.

Хронологическая протяженность исследования – 100 лет – с 1843 г., когда берет начало легальная проституция в столице (под эгиду Врачебно-полицейского комитета были введены первые дома терпимости), и до начала Великой Отечественной войны. Эволюция самого явления, состава проституток и их клиентов раскрыта в контексте общественно-политического и экономического развития страны. Любопытны статистические данные о социальном происхождении "торгующих телом". Контингент их формировался главным образом из провинциальных крестьянок, приезжавших в город на заработки (до 50% в конце XIX в., и до 70% к 1914 г.), однако включал также женщин из интеллигентных, в том числе дворянских, слоев, (а в 1895 в Комитете зарегистрировались даже две бестужевки, подрабатывавшие таким способом во время учебы). Не менее показательны сведения о причинах занятий проституцией. Авторы приводят данные конца XIX в., собранные доктором П. Е. Обозненским: "в проститутки из-за нужды шли около 40%, 18 – делали это сознательно по собственному желанию, 8 – из лени, не проявляя стремления найти какое-либо другое занятие, около 7 следовали примеру подруг и лишь 0,5% оказались в числе продажных особ по принуждению". А по данным 1910 г. лишь 10% проституировали из-за нужды, а 80% предпочитали свое занятие из лени, или из удовольствия.

После революции социальная база проституток расширилась – более 40% составляли низкоквалифицированные работницы, 24% – ремесленницы, около 15% домохозяйки и лица интеллигентного труда. Однако к концу НЭПа ситуация вновь напоминает дореволюционную – резко возрастает доля бывших крестьянок. "Крестьянская волна", по наблюдению авторов, начала спадать после введения паспортов в начале 30-х гг. Число несовершеннолетних (17%) превышало в середине 30-х гг. дореволюционные показатели. После всех социальных катаклизмов, происшедших за годы войн и революций, детская проституция в 1920-е гг. была тесно связана с криминальной средой.

"Проституток старой и новой России,– пишут Лебина и Шкаровский,- объединяли места промысла и виды проституирования, в частности, детская проституция. Основная причина "выхода на панель" и до, и после революции – бедственное материальное положение". Но авторы предостерегли от абсолютизации этого утверждения и отметили, что "в советское время, как и в царской России, в сексуальную коммерцию прежде всего вовлекались женщины определенного психологического склада, нередко болезненно неуравновешенные, с отклонениями в интимно-нравственной сфере" (44).

Значительное место в монографии отведено проблеме отношения общества к явлению проституции, причем авторы правомерно ввели ее в более широкий контекст места и роли женщины в обществе. На общественное мнение особенно повлияли всплеск эмансипации женщин в 1860–1870-е гг., раскрепостивший главным образом привычки представителей интеллигентской среды, и бурные дискуссии по половым вопросам в 1920-е гг., с обсуждением проблем "свободной любви". Но если в первом случае открытое обсуждение "щекотливых" вопросов привело к реализации в русском обществе на рубеже веков мер контроля за проституцией и осознания порочности явления, то ситуация двадцатых годов, напротив, ощутимо подорвала нравственное здоровье общества. Упрощенность интимного общения, да еще на фоне неустроенного быта, дезорганизовывала сознание малокультурных молодых рабочих, в среде которых, как пишут авторы книги, постоянно росло число сторонников "свободной любви". Под маской захватывающих идей нового стиля жизни расцветала половая распущенность в рабочей среде. Статистика 1920-х гг. по Ленинграду отразила высокую заболеваемость венерическими заболеваниями (их имели, например, более половины подростков, работающих на "Красном треугольнике"), а также рост количества внебрачных младенцев. Хотя "отток молодежи в города уже до революции ослабил прочность семей и снизил престиж семейной жизни", но в дооктябрьской России брак как социальный институт имел еще довольно высокий статус. Беспорядочный, деструктивный образ жизни, как считают Лебина и Шкаровский, поколебал статус семьи в сознании молодых ленинградских рабочих, к тому же, эти "тенденции заметно окрепли под влиянием активно пропагандируемого в Советском государстве примата общественных устремлений над личными" (45). Оценивая мрачный быт социалистических общежитий, где не у каждого жильца была даже своя койка, авторы заключают, что "по сути, к концу 30-х гг. XX в. социалистическое государство воссоздало в бывшем Петербурге целый слой трущобных жителей с присущими ему привычками и нравами" (46).

Проституция, как лакмусовая бумажка, выявляла все происходящие в социалистическом городе перемены. "Нарастание маргинализации населения, связанной с форсированной индустриализацией и насильственной коллективизацией, привело к тому, что институт продажной любви перестал быть неким обособленным явлением городской жизни, развивавшимся по своим внутренним законам. Проституцией стали заниматься представительницы устойчивых социально-демографических слоев общества, и в первую очередь молодые работницы, совмещавшие этот «бизнес» со своей профессией" (47). Одновременно, на фоне официальной деэротизации общества возникала ситуация, когда люди с повышенной сексуальностью решали свои проблемы противоправным путем.

С начала 1930-х гг. эпоха попыток социальной реабилитации продажных женщин завершилась, и восторжествовали сугубо административно-репрессивные меры, которые загнали очередную общественную проблему вглубь.

Авторы, не ограничивая себя рамками описания проституции как социального явления, сделали попытку объяснить неблагополучную картину собственно нравственным настроем населения в период между двумя мировыми войнами. Впервые в отечественной научной литературе в книге дана статистика абортов — к 1934 г. почти три четверти всех зачатий в СССР закончились абортами. Нежелание женщин рожать детей, по мнению Лебиной и Шкаровского, демонстрировало, что созданная советской системой семья по ряду причин не смогла нормально выполнять функции воспроизводства населения. Одновременно искривления в половой и семейной морали лишь усиливали все виды девиантности в среде городского населения, и в особенности тайную проституцию (48).

Совсем недавно появилась небольшая статья А. Маркова "Был ли секс при советской власти?" (49), содержащая (помимо других сведений) статистику о доле лиц, пользовавшихся услугами проституток. По данным социологического опроса, среди печатников Казани в 1923 г. таких было 75%, а среди слушателей Коммунистической академии им. Свердлова (1920-е гг.) — 37,5%, причем пятая часть слушателей Комакадемии определили проституцию как "терпимое" или даже "необходимое для общества" занятие (50). Автор, однако, не дает убедительных интерпретаций приведенным цифрам, как бы списывая все на половую распущенность большевиков. Однако, стоило бы высказать свой взгляд как на концепцию Лебиной и Шкаровского, так и на утверждение американки У. Голдман, что рост проституции в годы нэпа стал естественным последствием противоречия между социальным идеалом "свободного союза" и реальными экономическими условиями, в которых продажей тела подрабатывали женщины-работницы (51). В отличие от Маркова, Г. А. Бордюгов в вышедшей в 1996 г. статье (52) показал социальные девиации в период Первой мировой войны в многослойном контексте кризисного времени. Как и в других воюющих странах — Англии, Франции, Германии — статистика социальных аномалий в России показывает значительное (в 1,5—2 раза) уменьшение их объема по сравнению с мирным временем. Считается, что главную роль тут сыграл моральный фактор — политический энтузиазм, появление чувства сплоченности в борьбе с врагом, однако, автор оперирует и контраргументами. Во-первых, не было ли связано снижение количества аномальных проявлений с призывом в армию почти 15 млн. мужчин? Снижение происходило и среди непризывных групп, но достаточным основанием для выводов о характере социальных изменений во время войны может стать только тщательный анализ явления по группам носителей девиантного поведения. Во-вторых, насколько уместно говорить о патриотическом подъеме применительно к образу жизни полукриминальной среды или простых женщин из городских низов, чей культурный кругозор минимален? Здесь требуется скрупулезное сопоставление статистики.

Число социальных аномалий среди женщин выросло в 1912—1915 гг. с 17 до 24%. Официальная статистика свидетельствовала о снижении проституции, однако на деле, по мысли автора, изменился характер проституции и состав проституток. Большинство из них не учитывалось, поскольку проституция происходила вне стен подконтрольных специальных учреждений — профессионалок сменили молодые работницы, рассматривавшие свое занятие как временное. Множество падших девушек своими заработками кормило и сутенеров, и полицейских, не говоря уже о членах семьи (оказавшейся без средств к существованию в отсутствие воюющих отцов). Все это нанесло сильнейший удар по семейной морали. Такая реальность порождала нравственно искалеченное молодое поколение.

Не менее драматически, чем алкоголизм и проституция, стояла проблема детской беспризорности. Состав беспризорных, которые бродяжничали, побирались и занимались проституцией, рекрутировался из двух источников. Одни беспризорники были детьми фронтовиков, особенно, погибших (феномен "безотцовщины"). Другие — детьми беженцев, а последних к началу 1916 г. считалось 4 млн. чел. Масса несчастных беспризорников, попадавшихся на каждом шагу, щедро питала криминальную среду (53). Автором приведены цифры о росте детской преступности в 1913—1916 гг. и сделан вывод о том, что все описанные обстоятельства больно отозвались впоследствии (к концу 20-х гг.) — молодое поколение вышло из времени социальных катаклизмов искушенным в познании "пучины жизни".

Как мы видим, пока изучение социальных аномалий хронологически доводится до начала Великой Отечественной войны, но не распространяется на последующий период. Возможно, здесь срабатывает известный психологический феномен, по которому "время дедов интереснее, чем время отцов".

Остановимся еще на одной работе, стоящей несколько особняком, ибо она посвящена не рассмотрению типологически общепринятых категорий девиантного поведения, а явлению, принявшему вид социальной патологии. В. С. Тяжельниковой было проведено исследование резкого всплеска самоубийств среди членов ВКП(б), ВЛКСМ и РККА в 1925 г. (54). Автор скрупулезно выявила статистику самоубийств, которая долгие годы была закрытой темой, поскольку являлась значимым критерием неблагополучия общества и отдельных социальных групп. Согласно этой статистики, "каждый 8-й из умерших в 1925 г. коммунистов покончил собой, что само по себе является крайне высоким аномальным показателем". Прослеживая поиск причин самоубийств в аппарате ЦК и в местных партийных организациях, Тяжельникова дала, на наш взгляд, емкую социально-психологическую характеристику трагедии, корни которой находились в "классовой идее разделения общества по догматизированным социальным схемам", превратившей страну "в арену борьбы граждан против граждан, что имело пагубные последствия для обеих сторон". Слом традиционной устойчивой российской морали привел к манипуляции массовым сознанием и последующему возникновению социальной истерии, выкристаллизовавшейся в суицидальном поведении.

Анализ исторической литературы последнего времени, на наш взгляд, свидетельствует о том, что, начиная с рубежа 1980—1990-х гг., началось исследование пластов социальной истории, подвергнутых умолчанию в советский период. Очевидные достижения отечественных исследований в немалой степени следует связывать не только с возрождением традиции "милости к падшим".

В настоящий момент наблюдается историографическая тенденция, выше обозначенная нами, как "форсированное подключение" российских ученых-историков к общемировому исследовательскому процессу. Она, однако, не имеет характера массового явления или некоей модной безделицы. Речь идет о выходе из-под спуда изучения таких социальных явлений и соответствующих им групп населения, которые было принято прятать от собственных и чужих глаз.

Гипотетически можно предположить, что в советский период позиция государства, диктующая развитие науки, становилась все более прямолинейной. Если в начальный период считалось, что бедность и сопутствующие ей "язвы" общества отомрут с переходом к коммунистическому устройству, то затем, когда эта, как и другие идеи, которыми определялся официозный политический настрой, оказалась утопической, — власть предпочла самый примитивный (как показывает исторический опыт), а именно, репрессивный способ. Отсутствие гибкой социальной политики сопровождалось провозглашением ненужности соответствующих социологических, психологических, медицинских, и, конечно, исторических исследований. Более того, выработавшийся стереотип столь устоялся, что, к примеру, даже в 1985 г. автору данной статьи в одном из отделов Института истории СССР не сочли возможным утвердить тему кандидатской диссертации по истории благотворительности в Москве — не покажется ли Ученому совету дерзостью такой пассаж?

Ныне ситуация резко изменилась. Как пошутил один коллега: "Сейчас все историки партии стали историками буржуазии и превозносят ее до небес за альтруизм так же, как прежде большевиков". Возможно мое мнение не бесспорно, но, оценивая перспективу исследований, анализируемых выше, надлежит учитывать следующее. Для общемировой исторической науки период изучения благотворительности, как и социальных аномалий, переживал пик расцвета в 1980-е гг., когда российская наука все еще была отгорожена (прежде всего отсутствием информационного обмена) от западной. Слабое владение европейскими языками большинством отечественных русистов и нерегулярное, с опозданием в несколько лет, поступление научной периодики и книг в ведущие российские библиотеки усугубляли и усугубляют ситуацию (методологически и содержательно) и по сей день.

Следовательно, благоприятный прогноз выглядит так: научная работа по данным направлениям быстро получила признание и привлекла к себе интерес ряда специалистов. Есть надежда, что в ближайшие два-три года увидят свет результаты фундаментальных исследований российской благотворительности. Ведутся региональные исследования, чаще всего имеющие вид "мелких промыслов", без которых, как известно, не существует глобальной структуры. Не исключено, что спад интереса к проблеме совпадет с аналогичной тенденцией в мировой науке.

Что касается исследования социальных аномалий, то здесь ситуация иная. Пока этими проблемами занимаются исключительно ученые Москвы и Петербурга. Вероятно, "столичность" географии объясняется тем, что у москвичей и петербуржцев шире возможности ознакомления с выработанными современной гуманитарной наукой подходами, а также использования документированных данных из центральных архивов. Думается, это направление так и будет осуществляться узким кругом специалистов, и может быть, результаты исследований сумеют заинтересовать общественное мнение и повлиять на складывание нравственно положительных регулятивных механизмов. Пока же, судя по публицистике, отношение широкой публики к вопросам нормы и отклонения в сфере личностных отношений "шарахнулось" из советской пуританской морали в другую крайность и характеризуется неупорядоченностью.

Что же до содержательной стороны работы историков, то обеспеченность высококлассными статистическими и аналитическими материалами (несмотря даже на их частичную утрату), которые мы используем в качестве основного источника для изучения существования малоимущих и "отверженных" слоев общества 1860—1930-х гг., диктует условие квалифицированного профессионального подхода к проблемам, основание изучению которых было заложено русскими интеллигентами конца XIX — начала XX вв.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Российская благотворительность в 1987—1992 годах (история в материалах прессы). М., 1994. Этот уникальный аннотированный библиографический указатель по материалам 104 газет и журналов издан под эгидой благотворительного фонда "Сопричастность" и "Charities Aid Foundation".

2. Ульянова Г. Н. Новейшая американская историография российской благотворительности // Отечественная история. 1995. №1. С. 108—118.

3. Lindenmeyr, A., Voluntary Associations and the Russian Autocracy: The Case of Private Charity, Pittsburgh 1990, p. 1—64; она же, A Russian Experiment in Voluntarism: The Municipal Guardianships of the Poor, 1894—1914, in Jahrbuecher fuer Geschichte Osteuropas, band 30, Wiesbaden 1982, s. 429—451; она же, Charity and the Problem of Unemployment: Industrial Homes in Late Imperial Russia, in Russian Review, 45 (1), 1986 January, p. 1—22; она же, The Ethos of Charity in Imperial Russia, in Journal of Social History, 23 (4), 1990 summer, p. 679—694; она же, Добровольные благотворительные общества в эпоху Великих Реформ // Великие Реформы в России. М., 1992. С. 283—300; она же, Public Life, Private Virtues: Women in Russian Charity, 1762—1914, in Signs: Journal of Women in Culture and Society, 18 (3), 1993 spring, p. 562—591. Bradley, J., The Moscow Workhouse and Urban Welfare Reform in Russia, in Russian Review , vol. 41, №4 (october 1982), p. 427—444, выводы этой статьи изложены в книге того же автора: Muzhik and Muscovite. Urbanization in Late Imperial Russia, Berkeley 1985, p. 267—270, 311—317; Ransel, D. L. Mothers of Misery. Child Abandonment in Russia, Princeton. 1988.

4. Боханов А. Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989.

5. Боханов А. Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. — 1914 г. М., 1992.

6. Там же. С. 52, 61.

7. См.: Ульянова Г. Н. Благотворительность московских предпринимателей. 1860-е — 1914 гг. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1995.

8. Боханов А. Н. Крупная буржуазия. С. 84.

9. Ананьич Б. В. Банкирские дома в России. 1860—1914 гг. Очерки истории частного предпринимательства. Л., 1991.

10. Там же. С. 151.

11. Власов П. В. Обитель милосердия. М., 1991.

12. См., например: Думова Н. Г. Московские меценаты. М., 1992; Демская А., Семенова Н. У Щукина, на Знаменке... М., 1993.

13. К примеру, наша статья: Ульянова Г. Н. Специальная периодика по благотворительности в России. 1870—1907 // Вопросы историографии и источниковедения дооктябрьского периода. М., 1992. С. 117—141. Проанализировано содержание и история ведущих журналов по вопросам благотворительности, таких как "Вестник благотворительности", "Детская помощь", "Трудовая помощь".

14. Новейшая литература полно представлена в каталогах книжных выставок в Государственной публичной российской библиотеке: Предпринимательство в России. Вторая половина

XIX – начало XX вв. М., 1992; Российские предприниматели: Благотворители, коллекционеры, меценаты. (Вторая половина XIX – начало XX вв.). М., 1993.

15. Бахрушин Ю. А. Воспоминания. М., 1994; Боткина А. П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М., 1951. 2-е изд. М., 1993; Зилоти В. П. В доме Третьякова. М., 1992; Дурылин С. Н. В своем углу. Из старых тетрадей. М., 1991; Рябушинский В. Старообрядчество и русское религиозное чувство. Москва-Иерусалим, 1994; Сабашников М. В. Воспоминания. М., 1988.

16. Например: Семенов В. Н., Семенов Н. Н. Саратов купеческий. Саратов, 1995; Жукова Е. В. Старый Павловский Посад. М., 1994; Бусленко Н. И. Ростовское купечество: историко-экономические очерки. Ростов на Дону, 1994.

17. Например, в обзоре Ю. В. Медведева "Московское купечество и благотворительность" (реферативный журнал ИНИОН РАН "Социальные и гуманитарные науки, серия 5. История". 1995, №1. С. 3–13) упрощенно утверждается: "стремление избежать внутреннего душевного разлада или по крайней мере жить в согласии со своей совестью, усиленное религиозным воспитанием (особенно в старообрядческих семьях), было главнейшей внутренней пружиной расцвета меценатства и благотворительности". Имелся ли душевный разлад, а если имелся, то богатство ли ему причиной?

18. См.: Буржуазия и рабочие России во 2-й половине XIX – начале XX вв. XIX зональная межвузовская конференция Центрального Промышленного района. Иваново, 1994.

19. Щапов Я. Н. "Благотворительность в дореволюционной России: национальный опыт и вклад в цивилизацию" // Россия в XX веке. Историки мира спорят. М., 1994. С. 84–88.

20. См., например: Женщины и социальная политика (гендерный аспект). М., 1992.

21. Там же. С. 6.

22. Тишкин Г. А. Женский вопрос в России. 50–60-е гг. XIX в. Л., 1984.

23. Хасбулатова О. А. Опыт и традиции женского движения в России. 1860–1917. Иваново, 1994.

24. Хасбулатова О. А. Опыт и традиции женского движения. С. 89.

25. На эту национальную особенность впервые обратила внимание А. Линденмайер в статье: Public Life, Private Virtues: Women in Russian Charity, 1762–1914.

26. Российские женщины и европейская культура. Материалы 2-й научной конференции. СПб., 1994.

27. См.: Ульянова Г. Н. Благотворительность и общественное призрение // Россия. 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. С. 381–392.

28. Положение улучшилось с выходом "Энциклопедии социальной работы". Т. 1. М., 1993 (до перевода на русский язык выдержавшей 18 изданий в США) и учебника Н. Розелли "Социальная работа". М., 1994.

29. Например: Фирсов М. В. (автор-составитель). Краткий курс истории социальной работы за рубежом и в России. М., 1992.

30. Бадя Л. В. Благотворительность и меценатство в России. Краткий исторический очерк. М., 1993.

31. Егошина В. Н., Елфимова Н. В. Из истории призрения и социального обеспечения детей в России. М., 1993.

32. См.: Бадя Л. В. Подвиг сострадания. (Из истории российского благотворения) // Российский журнал социальной работы. 1995, №1. С. 48–53; Она же. Основные направления социальной работы в пореформенной России // Социальная работа. Сб. ст. Ставрополь, 1995; Badja, L., Deutsche wohltaeter in Russland, in Deutsche studien, 1993, heft 118, s. 103–115.

33. Баикина А. И., Додонова Л. А. Аристократы капитала: Очерки истории российского предпринимательства и благотворительности X–XX вв. Тюмень, 1994; Аронов А. А. Золотой век русского меценатства. М., 1995.

34. См., например: Waters, E., Victim or Villain? Prostitution in post-revolutionary Russia, in Edmondson, L. (ed.), Women and Society in Russia and the Soviet Union, Cambridge 1992; разделы монографий – Engelstein, L., The Keys to Happiness. Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siecle Russia, Ithaca and London. 1992; Engel, B. A., Between the Fields and the City. Women, Work, and Family in Russia, 1861–1914, Cambridge. 1994.

35. Уже упомянутая монография Дж. Брэдли.

36. Бордюгов Г. А. Социальный паразитизм или социальные аномалии? (Из истории борьбы с алкоголизмом, нищенством, проституцией, взрослой беспризорностью в 20–30-е годы) // История СССР, 1989, №6.

37. Мерль Шт. Голод 1932–1933 годов – геноцид украинцев для осуществления политики русификации? // Отечественная история, 1995, №1. С. 50.

38. См.: Кудрявцев В. Н. Социальные деформации. (Причины, механизмы и пути преодоления). М., 1992. С. 38–40.

39. См.: Ярошенко С. С. Проблематика субкультуры бедности в американской социологии: эволюция принципов исследования и подходов. Автореф. дис. канд. социол. наук. М., 1994; Беляева Н. Ю. Правовое регулирование и этические нормы в благотворительном секторе // Помоги ближнему. Благотворительность вчера и сегодня. М., 1994. С. 100–127; Абросимова Е. А. Современное состояние и тенденции развития благотворительного сектора в Российской Федерации // Там же. С. 128–140.

40. Кудрявцев В. Н. Социальные деформации. С. 132.

41. Там же. С. 12.

42. Ульянова Г. Н. Просящие Христовым именем // Родина, 1993, №5–6. С. 77–83.

43. Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Проституция в Петербурге. (40-е гг. XIX в. – 40-е гг. XX в.). М., 1994.

44. Там же. С. 85.

45. Там же. С. 201.

46. Там же. С. 190.

47. Там же. С. 93.

48. См.: там же. С. 212.

49. Марков А. Был ли секс при советской власти? // Родина, 1995, №9. С. 51–55.

50. Там же. С. 54.

51. См.: Goldman, W. Z. Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life. 1917–1936. Cambridge. 1993.

52. Bordiugov G. The People at the War. Russian Expirienc // Facing Armageddon. The Great War Expiriencd. London, 1996.

53. Обратимся вновь к работе У. Голдман, которая показала, что к середине 1920-х юристы и педагоги были вынуждены признать существование так называемой "хронической беспризорности", как особой субкультуры, не поддающейся педагогической коррекции (Goldman W. Z. Указ. соч. С. 89). Правомерен вопрос, куда девались эти сотни тысяч людей в 1930-е и последующие годы?

54. Тяжельникова В. С. Самоубийства в СССР в 20-е годы среди представителей активных социальных групп // V World Congress for Central and East European Studies. Warsaw, 6–11 August 1995. (доклад готовится к печати в трудах Конгресса); см. также: Ее же. Самоубийства в Советской России 20-х годов. К вопросу о характере корпуса источников // Источниковедение XX столетия. Тезисы докладов и сообщений научной конференции. Москва, 1993. С. 139–140.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

КАЖДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПИШЕТ СВОЮ ИСТОРИЮ

Г. А. Бордюгов

Снова наше общество на очередной исторической развилке. Итоговый пункт политической трансформации все еще не определен. Тревожное ожидание "развязки" усиливает чувства растерянности и брожения, почти десятилетие преследующие среду историков. Тема кризиса исторической науки не покидает страницы научной периодики. Правда, если для одних кризис — это серьезное обновление, то для других — часто безболезненная "смена масок", означающая, что дело не в объекте, а в нас, интерпретаторах, часто не желающих внимательно присматриваться к поворотному времени и, если хотите, дорожить им. Гораздо поучительнее на этом фоне размышления А. Я. Гуревича о том, почему историки длительное время находятся в изоляции (1), или грустные замечания Д. Рейли о вине самих историков в том, что наша история становится антиисторичной и утрачивает свою главную миссию — помочь понять собственное общество среди других (2).

Впрочем, можно предложить историческому цеху "отрезвиться временем" и спокойно ждать наступления стабильности в обществе (3). Можно, конечно, продолжать запугивать себя и всех изничтожением интеллектуального багажа, состоянием шока, которое надо поскорее перевести в режим "нормального кризиса" (4). Но что такое "нормальный кризис", что вообще считать хаосом и беспорядком в науке, какой критерий нужно взять для обозначения именно подобных характеристик, как внимая им писать историю?

Приходится признать, что ни эти вопросы, ни ожидаемые ответы на них не новы. В схожей историографической ситуации пореформенного времени, в 1862 г., И. Е. Забелин, вопреки расхожему мнению, заметил, что те признаки, по которым определяется хаос и беспорядок, всегда были и будут во всяком свободном обществе, поскольку "такой хаос есть неизменное свойство более или менее освобожденной общественной жизни, такого хаоса не бывает только в обществе порабощенном, где замкнуты уста и мысль насильственно выровнена, как деревья в садовых шпалерах" (5).

Весьма неуютно чувствуют себя в такой атмосфере "застарелые фронтовики мысли". Если не отвлекаться на сочные забелинские характеристики, то логика их поведения легко узнаваема. Сначала сетования на невозможность подпитки ума в условиях отсутствия дельных трудов, особенно западных ученых. После обретения этого — появление и укрепление идеи-руководительницы о нашей самостоятельности, которая ищется в народности (вина за всю былую несамостоятельность при этом сваливается на... государственность), намерении срочно писать не "историю государства", а "историю народа". Следующий шаг, естественно, отыскание во всем русской точки зрения, сопровождающееся упреками в односторонних увлечениях западными идеями и теориями. И, наконец, превращение в самые насущные вопросы исследования все отрицавшее и протестовавшее, особенно, если это связано с личностью Петра — единственного виновника во всем (6).

При всей своей похожести данная модель поведения в наши дни все же быстро исчерпала себя, хотя известная часть историков по инерции продолжает следовать ей, а значит и тем политическим изгибам, которые в достаточном количестве предоставляет современная жизнь. Но если 130 лет назад общественная мысль, изнашивая перечисленные идеи, не отказывалась от поиска универсального исторического смысла, если историки могли смело оперировать такими сущностями как "народ", "нация", "государство", выступающими в качестве носителей исторического смысла, и еще совсем не испробовали огромный познавательный потенциал таких идеологических систем как либерализм, демократизм, социализм, то сегодня, под занавес тысячелетия, в условиях кризиса современности, индустриального, урбанистического образа жизни, крушения всяких абсолютизмов, политических и интеллектуальных, все обстоит иначе. Поставлена под сомнение вообще необходимость существования истории как науки.

Даже современная философская мысль отказывается от установки на систематизацию исторического прошлого как необходимого "предуготовления настоящего или будущего" (7). Настоящее уже не представляется как закономерный итог поступательного движения, реконструируемого аналитическим способом. Невозможна тематизация какого-либо будущего или тем более окончательного исторического состояния, которое необходимо должно наступить и способно поэтому объяснить прошлое и настоящее через их движение к этому состоянию.

Западные, в частности, американские историки, первыми заговорили именно об этой стороне кризиса (замечу, однако, что при этом они также пережили и падение престижа истории, и сокращение вакансий, и резкое падение зарплаты). Одновременно поднята проблема кризиса профессиональной идентичности историка — ситуации, когда наиболее важными для историков являются труды не их коллег, а социологов, политологов, антропологов.

Выход из кризиса ищется в смене парадигм — замене модернизма, с его универсальными, все объясняющими теориями общественного развития, постмодернизмом (и главным течением в нем — постструктурализмом), с его моделями многонаправленности и неравномерности изменений, с его дистанцированием от политических зависимостей, метода, идеологии, стратегии, авторитарной парадигмы, с его ставкой на самостоятельную роль слов и текстов, когда действительность произвольно структурируется в зависимости от "слов" и текстуальных "значений", произвольно выбираемых исследователями. Как заметил профессор Мичиганского университета П. Новик, "постмодернистская эра", сама являясь "следствием" истории, растворила историческое время в многообразии текстов и мнений (8). Способствует этому, конечно, и ставка в осмыслении времени на "культурную матрицу", для которой не важны причины и следствия того или иного события (9).

Зациклившись на спорах о преимуществах цивилизационного подхода (с его якобы идеологической нейтральностью) над формационным, тоталитарного или доктринального подходов над "социальной историей", с беспечностью взяв на вооружение в качестве нового и единственного интеллектуального абсолютизма — либерализм, еще заметнее разойдясь по своим узкоспециализированным группам, российские историки и не заметили как в нашем обществоведении начал завоевывать пространство постмодернизм с его стремлением быть новым интеллектуальным абсолютизмом. Во всяком случае, этого не скрывает ряд авторов четырехтомного издания "Иное. Хрестоматия нового российского самосознания", вышедшего в прошлом году. Сомнения в исторической истине здесь не прямолинейны, преемники "веховцев" (определение редактора С. Чернышева) как бы следуют завету Умберто Эко, который, рассуждая о постмодернизме как ответе модернизму, заявил: "Раз уж прошлое невозможно уничтожить, ибо его уничтожение ведет к немоте, его нужно переосмыслить — иронически, без наивности" (10).

Попытка оценивать прошлое с позиций социоестественной истории (СЕИ — научная дисциплина на стыке гуманитарных и естественных наук, рассматривающая российскую цивилизацию как жизненный путь этносов России, прежде всего славян и тюрков), которую предпринимает, в частности, Э. С. Кульпин, применительно к XX веку заканчивается весьма странным выводом о "разыгранной нами же трагедии несовместимости "чужой" технологии с собственными представлениями о мире и о себе" (11). Если бы технология была своя, родная, вполне серьезно утверждает автор, то не происходили бы технологические катастрофы, поскольку наш человек еще не отличается "развитым чувством значимости Личности, а отсюда высокой индивидуальной ответственностью за свою работу, за свое рабочее место" (12).

Тремя факторами обусловливает российскую деструкцию XX века В. Л. Махнач, все остальные — революционные партии, войны, иностранная помощь и т. д. — являются для него незначительными. К первому фактору автор относит вступление русского и нескольких других видных этносов России в фазу этнического надлома, согласно этнологической теории Льва Гумилева, ко второму — русское западничество и к третьему — наличие в русской культуре антисистемы (13). Последнее понятие, наименее употребляемое в литературе, также предложено Гумилевым. Антисистемами он называл призраки систем, стремящиеся разрушить мироздание, сменить мироощущение на обратное. Они рождаются в зонах контакта великих культур и, следовательно, большинство из них синкретично.

В заданных параметрах, естественно, "ленинский нэп и сталинское псевдоимперское поведение" — одного происхождения: антисистема меняет знак, но не прекращает деструкцию. То же самое, по мнению Махнача, произошло

и в 1990-е годы, особенно в 1993 г. Питательная же среда у антисистемы, понятно, — бюрократизация, западничество. Деструкторы — "политики, литераторы, журналисты, военнослужащие", стремящиеся, оказывается, последовательно осуществлять деструкцию общества и сокращать время жизни данного этноса (14).

Для А. В. Фадина новейшая история России предстает не иначе как "модернизация через катастрофу". Опричнина, петровские реформы, сталинские индустриализация и коллективизация — все это цена обновления русской истории. Поиск исторического смысла советской системы и ответов на вопросы давно поставленных самими историками (была ли советская система специфическим путем модернизации отстающего "на эшелон" общества или цивилизационной альтернативой западному, "Марксову" капитализму?), однако, необходим автору лишь для обоснования движения к модернизации по вектору катастроф. В этом отношении автора не спасают утешительные оговорки о том, что кумулятивная тотальная катастрофа, подобная катастрофе 1914—1923 гг., в урбанизированном индустриальном обществе все же крайне маловероятна (15).

Кто внимательно следит за современными методологическими дискуссиями, не может не заметить некоторой вторичности используемых авторами "Иного" категорий. Во всяком случае, все они являются своеобразной интерпретацией концепции российской самобытности, предложенной в трехтомнике А. С. Ахиезера "Россия: критика исторического опыта" (16). Как мне кажется, в нем был показан заразительный пример конструирования жесткой матрицы определений и характеристик, которые могут произвольно накладываться на различные периоды отечественной истории. Судя по последним выступлениям автора (17), излюбленным полигоном для него являются 1917 и 1993 гг., а незаменимыми категориями — раскол, инверсия, локализм. В отличие от некоторых моих коллег, мне все же не представляется доказанным утверждение о том, что концепция Ахиезера открыта для любого фактического материала.

Серьезные критические замечания по поводу концепции самобытности со стороны В. П. Данилова (18), Ю. С. Борисова, И. Н. Ионова и И. Г.Яковенко (19) обозначили возможные сюжеты разгорающегося спора с постмодернистами и постструктуралистами, предлагающими свое прочтение прошлого. И в этой связи небесполезно знакомство с критикой постмодернизма нашими американскими коллегами — представителями "новой исторической науки". Обстоятельный обзор этой полемики сделал недавно днепропетровский историк С. И. Жук.

В частности, он выделяет работу К. Ллойда, выступившего против субъективизма и релятивизма модных среди американской гуманитарной интеллигенции авторов. В противовес произвольно конструируемому ими текстуальному миру, размывающему прошлое, он выдвигает концепцию "социально-исторического реализма", доказывает реальность существования и возможность познания прошлого. К. Ллойд высоко оценивает теоретический вклад в познание истории К. Маркса, М. Вебера и основателей школы "Анналов", которых роднит видение прошлого как эволюции и взаимодействия определенных, наполненных специфическим социальным смыслом, структур. Вместо устаревшей дихотомии "бытие — сознание" (материальное — ментальное) он предлагает историкам изучать взаимодействие в истории "структур" и "деяний" (20). Другие исследователи считают, что для реформирования американского общества прежде всего необходимо знание реального прошлого, а не произвольно "моделированной текстуальности".

Однако наибольший вклад в преодоление существовавшей теоретической неопределенности внесла книга Джойс Эпплби, Линн Хант и Маргарет Джекоб "Говоря правду об истории" (21). Она впервые была опубликована в 1994 г. и до сих пор остается предметом острых споров. (Должен оговориться, что мое прочтение этой важной и для наших историков книги заметно отличается от того, что пишет о ней в своем обзоре украинский коллега).

Прежде всего авторы рассматривают эволюцию американской историографии сквозь призму пройденных трех моделей научного знания о прошлом — трех абсолютизмов: "героическая" (наука — гарант прогресса), которая в конечном итоге была дискредитирована экологическими и другими последствиями; "закономерная" (соответствующие ей школы — марксизм, школа "Анналов", теория модернизации); "национальная".

В принципе, перечисленные модели не являются для нас новыми, кроме разве что последней, "задушенной" в послевоенный период (вспомним хотя бы "дело" о написании "Истории Казахстана") и переживающей сегодня довольно бурный расцвет. Создание национальных историй, естественно, не обойдется без мифологии и различных теорий об особом происхождении своего народа, но трудно не согласиться с замечанием М. Олкотт о том, что когда русские и представители других национальностей размышляют над своим прошлым, им тяжело говорить на одном и том же языке. "Русские могут считать "русским" все, что было хорошим в прошлом. Для нерусских эта проблема усложняется. В то время как советская культура уравнивала все культуры или, по крайней мере, то, что было в них "международным" и "прогрессивным", она в то же время возвышала русскую культуру над всеми другими. Так же как и русские другие нации считали позитивными чертами советской культуры те, которые совпадали с их собственными национальными традициями и ценностями, но в отличие от русских они понимали это как совпадение" (22).

Рассматривая постмодернизм как реакцию на падение объективной истории перед лицом новых социальных и интеллектуальных реалий, Эпплби, Хант и Джекоб не видят в нем новый инструмент интеллектуального анализа, наоборот, по их мнению, он также является "орудием контроля над мыслью", как марксизм и либерализм. Треть книги они посвящают обоснованию нового пути.

В чем он? В новом определении исторической объективности — любое знание происходит из взаимодействия между квалифицированным исследователем и исследуемым предметом.

Авторы являются сторонниками поликультурного плюралистического подхода, утверждающего, что история никогда не повторится. Но они уверены, что интеллигибельная история, способная понимать и объяснять, все еще может быть написана и эта история имеет все шансы на то, чтобы претендовать на справедливое отражение прошлого.

С философской точки зрения, их позиция ни что иное как прагматический подход (авторское название "практический реализм"). "В отличие от постструктуралистов, — пишут Эпплби, Хант и Джекоб, — практические реалисты

делают упор на способность слов артикулировать разнообразные формы контактов познающего субъекта с объектами исторического исследования" (23). Они признают, что язык есть условность, что историки используют риторические стратегии, что все прошлое сконструировано. Однако связь между прошлым и взглядом историка на него, прошлое, можно провести. Авторы готовы поучиться у деконструктивистов, как искать в текстах скрытый смысл и противоречия, но при этом они не согласны с тем, что язык является абсолютно нестабильным и что он не способен выражать смысл. Точки зрения могут быть разными, но документы и источники должны перепроверяться разными историками (24). Надо повторять прочтение документов и источников и выявлять ошибки (25). Тогда будет не трудно определить, при многовариантной, разноликой истории, более правильный взгляд среди конкурирующих точек зрения на прошлое.

Книга завершается словами о великом предназначении историков: "Антиквары хранят, хронисты описывают, а специалисты по генеалогии составляют родословные людей... Труд же историков нацелен на нечто большее. Конечно, прошлое человеческого общества — это главный предмет их исследования; но историки также пытаются выяснить значимость, объяснение и смысл истории — этого триумвирата исторической истины, которая пробивается на свет благодаря работе историков, даже несмотря на скептицизм, присущий современной эпохе" (26).

Ценность подхода американских коллег, как мне кажется, состоит в том, что они уловили то, над чем размышляют и что стремятся делать многие историки — установление диалога с исследуемым "внешним" объектом. Каждое поколение ведет этот диалог по своему, в терминах, которые значимы для этого именно поколения. Необходимость для каждого поколения историков переписывать историю заново, хотя и сводит на нет старый позитивизм, тем не менее не делает ее менее объективной. При этом от историка — квалифицированного исследователя — не требуется быть имперсональным искателем истины, не принимающим в расчет себя, свой характер, свою национальность, пол и т. д. Осознание одного этого — уже революция. Стремление к научной нейтральности и объективности не должно приобретать форму религии, а значит и нового абсолютизма.

Путь к своей истории, безусловно, сложен. Освобождение от одних ограничений (внешних) сменяется другими, возможно, более сложными (внутренними). Исходя из собственного опыта изучения истории революционной России, историк и социолог Т. Шанин к ограничениям нашей профессии относит предполагаемое соотношение между сознательным выбором и безличностными детерминантами человеческого поведения, принятую иерархию причинности, связывающую социальные институты и категории анализа, влияние различных понятий исторического времени, которые укоренились в обществоведении, наконец, вопросы ярлыков и терпимости.

Все эти "шоры" обществоведения объясняются распространенным типом неправильной интерпретации — редукционизмом, своеобразным "идолом человеческого мышления". Редукционизм, пишет Т. Шанин, "выражается в той же мере в формально принятой эпистемологии и методологии, как и в настроениях, в понятиях «здравого смысла» и в тех типических интуициях, которые при более близком рассмотрении оказываются детерминированы нашим обществом и образованием. Наши понятия определяются результатами исследований, но и результаты исследований определяются исходными понятиями, которые влияют на наш выбор фактов, на их анализ и на наши выводы. Те, кто думают, что могут обойти такие теоретические проблемы и «многословные философствования», говоря «просто» о «фактах», особенно подвержены опасности угодить в эту ловушку. Концептуальная наивность ничуть не лучше расплывчатости выводов" (27).

Кто-то, не разобравшись в смысле сказанного, поспешит причислить и Шанина к постмодернистам (28). Но будет ли это справедливо, особенно, если учесть его стратегический вывод для исторической социологии о "диалектизации" нашего понимания, приемлемости той историографии, в которой центральную роль играют, конечно, потенциалы, альтернативы, различия, но и необходимости тоже.

Ясно, что новый взгляд на прошлое невозможен без освобождения от прежних шор, без восстановления утраченных балансов. Оптимистический пример реальности этого блестяще продемонстрировал В. В. Радаев, который рассматривает прошлое сквозь призму не одной, как мы привыкли, а нескольких идеологических систем. Причем они понимаются не как "классовая доктрина", а как "совокупность идей", более того, автор вообще избегает всяких рассуждений о прогрессивности или реакционности идеологических схем, их деления на радикальные и умеренные (29).

Говоря о близком прошлом глазами социалистов, Радаев отмечает определенную последовательность и полноту социалистической парадигмы. Однако любые несоответствия схеме описывались данной идеологией как "нетипичные случаи", как отклонение от нормы, что было возможным лишь до поры до времени. Основой оценки прошлого со стороны демократов стали негативные характеристики, но они опираются на понятийный аппарат марксистской и неомарксистской критики буржуазного строя (эксплуатация, принуждение, отчуждение от труда и т. д.). Не случайно в демократических описаниях "реального социализма" проступили явные изъяны. Многое в их критике бьет в наиболее удобную цель, каковой служит общество периода 30—40-х годов, но не все заметили, что уже произошла смена мишеней.

Ярким примером либерального дискурса, по мнению автора, являются работы В. Найшуля и их основные моменты: государственный центр утрачивает возможности эффективного подавления; укрепляется система торгов за ресурсы на всех уровнях властно-хозяйственной иерархии, или "экономика согласований"; система волевого перераспределения перерастает в систему "бюрократических рынков", где происходит обмен ресурсов и готовой продукции, множества хозяйственных и бюрократических услуг. С точки зрения консерваторов, Россия следует особому пути. Политика московских князей, Иоанна Грозного, Петра I и Сталина — звенья одной длинной исторической цепи. Нынешняя популярность консервативной позиции, в том числе в отношении частичной "реставрации", очевидна, кажется, всем.

Говоря об особенностях различных идеологических систем, В. Радаев призывает историков обнаруживать в политике правящих режимов не одну

систему, а идеологические гибриды (30). Даже если одна идеология все-таки явно доминирует, то в этом случае в ней самой надо искать различные балансы. К примеру, мы можем сегодня наблюдать борьбу между социалистической и национал – патриотической формами самого консерватизма, который, кстати, в принципе не может существовать без прошлого.

Но что ищет консерватизм в прошлом – рациональные проекты общественного развития, защиту от радикализма? Время для ответа не наступило, историки же пока словно на качелях – то вверх, то вниз. Оперировали в объяснении исторического развития материальными и структурными детерминантами, а теперь акцентируем внимание исключительно на сознании, выборе, случае, не задумываясь об их взаимосвязи. Придали статус альтернативному подходу в истории, но затем стали прикладывать альтернативы к любым ситуациям, где в действительности альтернативности практически и не было. Теперь, кажется, вообще начали забывать об этой категории анализа.

Ключевая фигура новейшей истории – Сталин и связанный с ним режим – чуть ли не по мановению волшебной палочки становится в наших работах то "субъектом", то "объектом" произошедших событий. Поучительным в этом плане является опыт историков Германии, на который обращает наше внимание Ст. Коткин. Благодаря архивному доступу они отошли от того, что называли раньше "преднамеренным" взглядом на нацистский режим, в соответствии с которым Гитлер и его идеология считались ответственными за все, что случилось. На месте этого взгляда возник функциональный или структурный подход, который не отрицает ключевой роли Гитлера, но делает упор на исследовании пересекающихся функций и поликратическом характере власти, показывает как различные ведомства и отдельные деятели использовали свои позиции для усиления собственной власти и часто преследовали свои собственные параллельные цели (31).

Время Сталина, по всей видимости, еще долго будет оставаться центральным в исследованиях по истории XX века, но не в силу своего особого магнетизма. Антиисторическими, если хотите, антироссийскими являются попытки авторов новомодных учебных разработок и ГОСТов представить советский период однозначно негативным, поскорее избавиться и забыть его. Сейчас наметился процесс преодоления этого мифа, хотя нередко он подчинен оправданию предшествующей политики, что печально.

Потеряв советское прошлое, трудно понять сегодняшний день. Быстрее всех это поняли этносоциологи, изучающие причины устойчивого сохранения советской идентичности, существования общих компонентов сознания, ценностей и культуры в пространстве СНГ. Не отстают от них политологи, прежде всего западные. Аргументируя необходимость замены советологии, как самостоятельной поддисциплины, пост-коммунизмом М. МакФол в то же время настаивает на том, что "исследователи пост-коммунизма должны все-таки изучать и понимать советскую историю. Неисторический подход к пост-коммунистическому периоду не может схватить того затяжного влияния, которое оказывают советские институты, как формальные, так и неформальные, на пост-советское развитие. В этом отношении работы по советской истории по-прежнему будут существенной частью любого исследования пост-коммунизма" (32).

В последние годы в исторической среде можно было наблюдать несколько способов преодоления кризиса профессиональной идентификации. Наиболее легко, как оказалось, было менять плюсы на минусы и минусы на плюсы в оценке прошлого. Труднее было подняться над политическими пристрастиями и почувствовать многомерность истории. В этом отношении весьма поучительны полемические заметки Ю. А. Полякова (33). Еще сложнее, избавившись от всяких "измов", начать осмысление нового знания, процесс накопления которого идет невиданными темпами, освоить тот методологический инструментарий, который позволяет вести эффективный диалог с изучаемым объектом.

Однако, не исключено, что для значительной группы историков спущенный сверху социальный заказ или равнение на определенный интеллектуальный или политический абсолютизм станет спасением от "минных полей свободы" (выражение А. Тоффлера), на которые вместе со всеми они успели заступить, но теперь жаждут поскорей выйти. В этом случае мы снова можем пережить разрыв между тем, что произошло и его описанием (34). Снова особое значение приобретет "тайное знание", а значит будет продолжаться, как предупреждал И. Е. Забелин, воспитание общества во лжи и во всякой неправде, потому что за покровом таинственности "прячется все зло, какое только способно исказить человеческую природу, которую под этим только покровом оно и искажает" (35).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Гуревич А. Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. №2–3. С. 22.

2. Рейли Д. Некоторые мысли о кризисе в исторической науке и об изучении локальной истории // История России: диалог российских и американских историков. Саратов, 1994. С. 10.

3. Корнев В. В. Кризис исторической науки в России // Кентавр. 1994. №4. С. 90.

4. Журавлев В. В. Методология исторической науки. Вчера. Сегодня. Завтра? // Кентавр. 1995. №6. С. 140–141.

5. Забелин И. Е. Современные взгляды и направления в русской истории (Писано в 1862 г.) // История и историки. Отв. ред. Ковальченко И. Д. М., 1995. С. 412.

6. Там же. С. 420–440.

7. Кимелев Ю. А. Философия истории. Системно-исторический очерк // Философия истории. М., 1995. С. 18.

8. Более подробно о взглядах таких выразителей постмодернизма, как Т. Кун, М. Фуко, Ж. Дерида, Р. Рорти подробно см.: Жук С. И. Заметки о современной американской историографии // Вопросы истории. 1995. №10. С. 162–167.

9. См.: Терминология современного зарубежного литературоведения. Страны западной Европы и США. Вып. 1: "Новая критика", структурализм, рецептивная эстетика, нарратология, деконструктивизм. М., 1992. С. 132; Фришман А. Двуязычие и бинарность культуры // Независимая газета. 1994, 29 сентября.

10. См.: Новый мир. 1996. №2.

11. Кульпин Э. Феномен культуры в системе координат социоестественной истории // Иное. Хрестоматия нового российского самосознания. Ред.-сост. С. Б. Чернышев. Т. 1: Россия как предмет. М., 1995. С. 236.

12. Там же. С. 236–237.

13. Махнач В. Россия в XX столетии. (Диагноз историка культуры) // Там же. С. 253.

14. Там же. С. 287, 288.

15. Фадин А. Модернизация через катастрофу? (Не более чем взгляд...) // Там же. С. 333, 342.

16. См.: Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. В 3-х тт. М., 1991.

17. См., в частности: Ахиезер А. С. Самобытность России как научная проблема // Отечественная история. 1994. №4–5. С. 3–25.

18. Данилов В. П. Современная российская историография: в чем выход из кризиса? // Новая и новейшая история. 1993. №6. С.100.

19. См.: Выступления на заседании Ученого Совета Института российской истории 18 апреля 1996 г., а также: Россия – расколотая цивилизация?.. Обсуждение доклада А. С. Ахиезера "Самобытность России как научная проблема" // Отечественная история. 1994. №4–5. С. 30–32, 34–36

20. Жук С. И. Указ. статья. С. 163.

21. Appleby J., Hunt L., Jacob M. Telling the Truth about History. NY, 1994.

22. Олкотт Марта Брилл. Наследие и построение новых государств. Введение к семинару "Наследие Советского Союза и поиск новых идентичностей в странах СНГ" Московского Центра Карнеги (март 1996 г.).

23. Appleby J., Hunt L., Jacob M. Op. cit. P. 221.

24. Вот почему так опасна монополизация доступа к архивам определенной группы людей, включая "генералов от истории" и некоторых директоров академических институтов. Громко и напористо оправдывал подобную практику выступавший на V конгрессе по изучению Центральной и Восточной Европы (Варшава, август 1995 г.) тогда еще находящийся на посту руководителя Государственной Архивной Службы РФ Р. Г. Пихоя. С ним связывались большие надежды на демократизацию доступа и использования ранее недоступных документов. Увы, этим надеждам не суждено было сбыться. Вместо ответа на мои конкретные вопросы о том, почему ранее открытые фонды стали вновь закрываться, чем занимается президентская архивная комиссия, почему так широко трактуется закон о личной тайне и т. д., участники одной из секций конгресса могли услышать лишь новые пихоевские определения монополии, вроде того, что она якобы возникает там, "где есть государственный ресурс и шевеление". Нетрудно расшифровывать подобные откровения...

Удивительно, однако, что право монополизации определенных архивов взялся защищать профессор Стэнфордского университета Р. Конквест. В ответ на мою критику Д. А. Волкогонова американский историк заявил, что генерал "был облечен миссией" (кем и какой?), и отвел новым поколениям российских историков скромную задачу "корректировать и расширять волкогоновский взгляд" (См.: Conquest Robert. The Somber Monster. Lenin: A New Biography by Dmitri Volkogonov // The New York Review. 1995, June 8.). Не знаю, надо ли благодарить за столь милостивое разрешение?

25. Примечательный пример этого см.: Хлевнюк О. В. История "тайной истории" // Свободная мысль. 1996. №3. С. 114–119.

26. Ibid. P. 248, 255–275, 276.

27. Шанин Т. Россия как "развивающееся общество". Революция 1905 года: момент истины. (Главы из книг) // Иное... Т. 1: Россия как предмет... С. 430.

28. Кстати, сам Т. Шанин так отозвался о постмодернистах: "Они очень хорошо показывают, что у нас в познании и в жизни не получилось, а далее делают вывод, что ничего у нас и не может получиться. Вот с этим-то я и не согласен. Невозможного нет. Есть только трудное". – См.: Шанин Т. Корни инакости. В кн.: Иное. Т. 4: Путеводитель. М., 1995. С. 34.

29. Радаев В. Об истоках и характере консервативного сдвига в российской идеологии // Иное... Т. 1: Россия как предмет... С. 302–312.

30. Там же. С. 314.

31. См.: Stephen Kotkin. Getty, J. Arch, and Roberta T. Manning, eds. Stalinist Terror: New Perspectives, Cambridge: Cambridge University Press, 1993 // The Russian Review. 1995. Fall. Galley 645–646.

32. См.: Michael McFaul, "Revolutionary Transformation in Comparative Perspective: Defining a Post-Communist Research Agenda" in David Holloway and Norman Neimark, eds., Reexamining the Soviet Experience: Essays in Honor of Alexander Dalin. Boulder. Colo.: Wescview, 1996.

33. См.: Поляков Ю. А. Наше непредсказуемое прошлое. Полемические заметки. М., 1995.

34. Но что делать историку, когда интерпретация событий идет не вослед ему (как это обычно было – достаточно посмотреть стенограммы партийных пленумов, существующих в нескольких списках), а предшествует ему? Вспомним провокационную "Версию №1" Г. Павловского, взорвавшую истеблишмент и в конце концов заставившую ответить на многие болезненные вопросы.

35. Забелин И. Е. Указ. статья. С. 441.

ОБ ИЗДАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММАХ АИРО – XX

Весной 1996 г. исполнилось три года издательским программам Ассоциации исследователей российского общества XX века – неправительственной некоммерческой организации, вот уже пять лет служащей объединению усилий ученых различных направлений и дисциплин в познании истории России.

За это время издано свыше трех десятков книг: монографии, сборники статей и документальные публикации, а значит есть все основания говорить о том, что оригинальная идея самопомощи ученых, родившаяся в условиях кризиса, когда невозможно было воспользоваться помощью государства, Академии Наук, различных отечественных и зарубежных фондов, реализовалась.

Безусловно, не всем историкам Ассоциация могла помочь – важно было показать пример поиска выхода из кризиса, поддержать оригинальных и талантливых авторов. И теперь, когда критический момент позади и исследователи могут воспользоваться помощью того же Российского гуманитарного научного фонда, "АИРО – XX" может начать поиск своего нового лица или с чувством исполненного долга свернуть свою издательскую деятельность, которая велась исключительно на общественных началах.

Сначала Ассоциация пользовалась услугами издательского центра "Россия молодая", затем была вынуждена приобрести свою издательскую лицензию, что позволило до минимума свести накладные расходы и все средства сосредоточить на издании книг. Группа энтузиастов на ходу осваивала азы издательского дела, преодолевала бюрократические мытарства с получением лицензии, открытием счета в банке, выстраивала нормальные отношения с налоговой инспекцией. Когда общее количество книг выросло, пришлось волей неволей арендовать помещение для хранения книг, что в стоило, как минимум, тиража одной книги. Прибавьте к этому оборванные региональные связи, возможность распространения книг только в пределах Москвы. Многие из наших коллег, к сожалению, не имеют представления, как работает сегодня книжная система, в которой практически исчезли старые понятия о гонорарах вне зависимости от того, продалась книга или нет, о полистной и потиражной оплате, авансе, тематическом плане и т. д.

Издания Ассоциации — издания некоммерческие. Ограниченный тираж книг, естественно, не приносит прибыли. Не могли мы воспользоваться и не пользовались поддержкой государства и грантами известных научных фондов, чьи средства, по понятным причинам, сосредоточивались, прежде всего, на издании учебной литературы. И в этой связи крайне важно отметить содействие международного научного сообщества, неоценимую поддержку, которую оказывают АИРО–XX историки Стэнфордского, Кембриджского, Бирмингэмского, Лидского, Рурского, Кассельского, Мюнстерского университетов, друзья серии "Первая монография", Фонд им. Н. И. Бухарина и Московский Центр Карнеги. Также с чувством признательности скажем об авторах, передавших свои символические гонорары на издание новых книг.

Далее приводится основная библиография рецензий на вышедшие работы. И в этой связи нельзя не поблагодарить прежде всего "Независимую газету" и журнал "Свободная мысль", первыми опубликовавшие и продолжающие публиковать рецензии на наши книги.

А. Ушаков

РЕЦЕНЗИИ НА ИЗДАНИЯ АИРО–XX

В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЕ

А. Иванов. "Л. С. Гатагова. Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XIX веке" // Свободная мысль. 1993, №17–18.

R. Tostorf. "Vatlin A., Iu. Comintern..." // Newsletter of Historical Studies on Comintern, Communism and Stalinism. Aachen. 1993–1994, №3–4.

Л. Бабиченко. "Начало Коминтерна" (о кн. А. Ватлина "Коминтерн: первые десять лет") // Свободная мысль. 1994, №1.

В. Н. Новоселов. "Крайне нужная книга" (о кн. А. И. Ушакова "История гражданской войны в литературе Русского зарубежья") // Вестник Челябинского университета. Серия I. История. 1994, №1.

М. Колеров. "Спор славян о судьбе мясорубки. О. В. Хлевнюк. Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 30-е годы" // Сегодня. 1994, 29 марта.

R. W. Davies. "Rancorous Luminaries (Stalin i Ordzhonikidze. By O. V. Khlevnyuk)" // London Review of Books. 1994, 28 April.

W. Hedeler. "Neue russische Archivzeitschriften und Schriftenreihen" // Zeischrift fuer Geschitswissenschaft. 1994, 42–5.

М. Колеров. "Думские рукоплескания. Смех справа. Эдвард Вишневски. Либеральная оппозиция в России накануне первой мировой войны." // Сегодня. 1994, 14 мая.

В. Шелохаев. "Э. Вишневски. Либеральная оппозиция в России накануне первой мировой войны" // Свободная мысль. 1994, №6.

Н. Барсуков. "На переломе. Советское общество в послевоенные десятилетия" (о кн. Е. Зубковой "Общество и реформы. 1945–1964" // Свободная мысль. 1994, №6.

И. Торбаков. "Первая монография" // Независимая газета. 1994, 16 июня.

М. Колеров. "За кухонной стеной. Е. Ю. Зубкова. Общество и реформы 1945–1964)" // Сегодня. 1994, 23 июня.

М. Колеров. "Прослезился и поцеловал" (о кн. Л. Гатаговой "Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XIX в.") // Сегодня. 1994, 9 июля.

W. Hedeler. "Russische Archivzeitschriften, Schriftenreihen und Findbuecher" // Zeischrift fuer Geschichtswissenschaft. 1994, 42–8.

Е. Зубкова. "Россия, Германия, СВАГ: как это было" (о сборнике "СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С. И. Тюльпанов. 1945–1949") // Независимая газета. 1994, 6 сентября.

М. Колеров. "За что мы их любим. Советская военная администрация в Германии. Управление пропаганды (информации) и С. И. Тюльпанов. Сборник документов. Под ред. Б. Бонвеча, Г. Бордюгова, Н. Неймарка" // Сегодня. 1994, 4 октября.

Г. Меликянц. "Донос как жанр партийной литературы. Сто и один документ о всесоюзной расправе с писателями" (О сборнике "Литературный фронт. История политической цензуры 1932–1946 гг.") // Известия. 1994, 26 ноября.

W. Hedeler. "Russische Archivzeitschriften, Schriftenreihen..." // Zeitschrift fuer Geschichtswissenschaft. 1994, 42–11.

М. Подгородников. "Творчество в кандалах" (о сборнике "Литературный фронт") // Литературная газета. 1994, 28 декабря.

И. Григорьев. "Альтернатива, которой не было" (о книге Ю. Соколова "Красная звезда или крест? Жизнь и судьба генерала Брусилова") // Книжное обозрение. 1995, 21 февраля.

А. Бочаров. "Разорвать или преодолеть?" (О книгах "Литературный фронт" и Д. Бабиченко "Писатели и цензоры") // Вопросы литературы. 1995. Вып. 2.

"Готовил ли Сталин наступательную войну..." (о сборнике статей "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?: незапланированная дискуссия") // Известия. 1995, 30 марта.

Л. Лазарев. "Необходимость историзма" (О сборнике "Литературный фронт") // Свободная мысль. 1995, №3.

С. Лесневский. "По обе стороны надежды" (о книге И. Дедкова "Любить? Ненавидеть? Что еще?..") // Литературная газета. 1995, 12 апреля.

М. Кустов. "Еще раз о «Ледоколе»" (о сборнике "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?" // Московский комсомолец. 1995, 13 апреля.

"Полемика без эмоций" (о сборнике "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?") // Век. 1995, 14–20 апреля.

А. Владимирский. "Так собирался ли Сталин напасть на Гитлера?" (о сборнике статей "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?: незапланированная дискуссия") // Витрина. 1995, №9–10, май.

J. Ju. Subkova. "Sowjetunion: Gesellschaft und Reformen" // Utopie kreativ. 1995, №55. Mai.

W. Hedeler. "Neue russische Archivzeitschriften und Schriftenreihen" // Zeischrift fuer Geschitswissenschaft. 1994, 42–5.

Ф. Бенвенути. "О. В. Хлевнюк. Сталин и Орджоникидзе..." // Отечественная история. 1995, №3.

А. Кириллов. "Стратегия «трибуны» и «банкета»" (о сборнике "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?") // Российская газета. 1995, 24 июня.

О. Мартыненко. "Свободное описание несвободной страны" (о книге И. Дедкова "Любить? Ненавидеть? Что еще?..") // Московские новости. 1995, 25 июня – 2 июля.

С. Криванкова. "Собирался ли Сталин наступать в 1941 году?" (о сборнике "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?") // Сегодня. 1995, 26 июня – 2 июля.

В. П. Михеенков. "Д. А. Аманжолова. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш." // Вопросы истории. 1995, №7.

G. Jackson. "Vatlin, A. Iu. Komintern..." // The Russian Review. Volume 54 / 1995, №3. July.

В. П. Булдаков. "Первая монография" (о книгах Д. Аманжоловой, Д. Бабиченко, А. Ватлина, Э. Вишневски, Л. Гатаговой, Е. Зубковой, Ю. Соколова, А. Ушакова, С. Цакунова, С. Экштута) // Вопросы истории. 1995, №8.

M. Wehner "Arbeit am Schaedling. Dokumente geben Einblick in die Taetigkeit von Stalins Politbuero zwischen 1930 und 1940" // Frankfurter Allgemeine Zeitung 1995.08.18.

Е. Скарлыгина. "В тисках политической цензуры" (о книге Д. Бабиченко "Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК" и сборнике документов "Литературный фронт") // Литературные вести. 1995, №9.

E. Scherstjanoi. "SVAG. Upravlenie propagandy..." // IWK Berlin 1995/3. September 9.

В. В. Фарсобин. "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Незапланированная дискуссия. Сборник материалов" // Вопросы истории. 1995, №10.

В. Невежин. "«Первая монография»: на фоне падения интереса к истории" // Независимая газета. 1995, 13 октября.

А. Ковалева, О. Фочкин. "Я русский бы выучил... О справочниках и любви к Родине" (о биобиблиографическом справочнике "Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем России") // Московский комсомолец. 1995, 15 октября.

H. Kuromiya. "Kominform i poslevoennaia Evropa. By G. M. Adibekov; SVAG: Upravlenie propagandy..." // Slavic Review, Fall 1995.

М. Александрова. "Московский критик из Костромы" (о книге И. Дедкова "Любить? Ненавидеть? Что еще?..") // Независимая газета. 1995, 30 декабря.

A. Matveeva. "Goble,P. and Bordiugov,G. (eds.) Mezhnatsional'nye otnosheniia v Rossii i SNG" // Slavonic and East European Review. Vol. 74. Part 2. 1995.

H. Kuromiya. "Istoria grazhdanskoi voiny v literature... By A. I. Ushakov; Stalin i Ordzhonikidze... By O. V. Khlevniuk; Obshchestvo i reformy... By E. Iu. Zubkova; Rossiiskaia imperiai, SSSR, Rossiiskaia Federatsiai..." // Slavic Review. Winter 1995

Б. В. Левшин. "Ю. П. Шарапов. Лицей в Сокольниках. Очерк истории ИФЛИ – Московского института истории, философии и литературы имени Н. Г. Чернышевского (1931–1941 гг.)" // Вопросы истории. 1996, №1.

Накануне Великой Отечественной войны: факты, мнения, документы (о сборнике "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?") // История. Еженедельное приложение к газете "Первое сентября". 1996, №2.

Н. Н. Маслов. "Сталинское Политбюро в 30-е годы" // Исторический архив. 1996, №2.

"*Literaturnyi front.* Istorija politicheskoj cenzury. 1932–1946 gg." // Social History and Russia. (Amsterdam) February 1996, №4.

"*SVAG.* Upravlenie propagandy (informacii) i S. I. Tjul'panov" // Social History and Russia. February 1996, №4.

Б. Соколов. "«Кто есть кто» в национальных проблемах России" // Витрина. 1996, №4. Апрель.

В. А. Голубев. "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?" // Отечественная история. 1996, №4.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

А

Абакумов В. С.– 172
Абаринов В. К.– 305
Абдулатипов Р. Г.– 315, 328, 331
Абрамов В. К.– 203
Абросимова Е. А.– 425
Аврех А. Я.– 90, 91, 99
Агости А.– 360
Адибеков Г. М.– 32, 36, 162, 174, 364
Адлер – 108
Акимова М. В.– 375, 384
Аккуратов Е. П.– 200
Аксельрод П. Б.– 108
Александров Ю. Г.– 393
Александр I – 88, 89, 91, 92, 98
Александр II – 44, 88, 90, 91, 339
Александр III – 44, 89–91, 94, 96, 310
Александр Невский – 268
Алексеев В. В.– 85
Алексеев С.– 350
Алексей Михайлович – 379
Алкин И.– 328
Аллилуева С. И.– 139, 167, 173, 175
Аллой В.– 31
Аманжолова Д. А.– 32, 36, 308, 328, 329
Амбарцумов Е. А.– 234, 238
Амиантов Ю. Н.– 21
Ананьич Б. В.– 90, 99, 408, 423
Андреев Д.– 342
Андропов Ю. В.– 53, 64, 149
Анисимов Е. В.– 88
Анисимов Н. Л.– 221
Анисин Ю. В.– 316, 329
Аннин А. Г.– 201
Антонов А. С.– 98, 221
Антосяк А. В.– 290, 291, 305
Антропов А. А.– 199
Анфилов В. А.– 306
Аптекарь П. А.– 294, 306, 327
Аракчеев А. А.– 98
Арбатов Г. А.– 174
Арманд И.– 122
Арон Л.– 349
Аронов А. А.– 424
Артизов А. Н.– 21
Арутюнян Л. А.– 402
Арцимович В. А.– 382, 385
Асмолов В. И.– 407
Афферика Д.– 344
Ахиезер А. С.– 200, 404, 430, 435, 436
Ахундов – 145

Б

Бабашкин В. В.– 393
Бабин А. И.– 306
Бабиченко Д. Л.– 32, 36, 162, 174
Бабиченко Л. Г.– 365
Багио А.– 261
Баграмов А.– 353
Бадя Л. В.– 413, 424
Базаров В. А.– 252
Баикина А. И.– 424
Бакунин М. А.– 98
Балашов Е. М.– 203
Балдин К. Е.– 409
Балк А. П.– 212
Барсенков А. С.– 331
Барсуков Н. А.– 165

Барышников В. Н. – 306
Барышников Н. И. – 306
Баткин Л. М. – 164, 174, 373, 384
Бахрушин А. А. – 407
Бахрушин Ю. А. – 408, 424
Бахтин М. М. – 367
Беджанов М. Б. – 327
Безансон А. – 339
Безыменский Л. А. – 285, 304, 305
Бейтуганов С. Н. – 310, 327
Беликов В. В. – 328
Белл М. (Bell M.) – 402
Белобородов А. – 85
Белова Е. Б. – 74, 75, 80
Белова Т. В. – 201
Белоусова В. С. – 281, 304
Беляева Н. Ю. – 425
Бердяев Н. А. – 108, 120, 132, 133, 138, 341
Бережков В. М. – 289, 304, 305
Берия Л. П. – 36, 52, 139–154, 167–173, 174, 320, 327, 330
Берия С. Л. – 140, 167–170, 172, 173, 175
Берхин И. Б. – 223, 236, 237
Бессмертный Ю. Л. – 373, 384, 403
Бехтерев В. М. – 372
Бжезинский З. – 349
Биллик В. И. – 100, 112
Блейере Д. В. – 292
Блиев М. М. – 310, 313, 327, 328
Блок А. А. – 134, 135
Блудов Д. Н. – 371, 384
Бобылев П. Н. – 306
Бовыкин В. И. – 199, 275
Богданов К. А. – 220
Бокарев Ю. П. – 76, 78, 80, 241, 273, 274
Болдин В. И. – 114
Болтенкова Л. Ф. – 328
Бонвеч Б. (Bonwetch B.) – 199
Бордюгов Г. А. – 35, 174, 226–228, 234, 240, 267, 273, 307, 325, 328, 331, 352, 403, 414, 427
Борисов Ю. С. – 39, 55, 430
Борман А. А. – 212
Бородин В. – 307
Бородкин Л. И. – 67, 77–79
Бортневский В. Г. – 31, 212–214, 218, 220, 221
Боткина А. П. – 408, 424
Боффа Д. – 35
Боханов А. Н. – 84, 92–96, 201, 336, 407, 408, 423
Бочаров В. В. – 371, 384
Брежнев Л. И. – 53, 137
Бродский Л. И. – 407
Бруэ П. – 109, 113, 260
Брэдли Дж. (Bradley J.) – 407, 423
Бубер-Нейман М. – 30
Бугаев Е. – 234, 238
Бугай Н. Ф. – 32, 36, 154, 204, 318, 320, 327, 329, 330
Буганов А. В. – 395, 403
Будберг А. – 220
Булгаков М. А. – 50
Булгаков С. – 341
Булганин Н. А. – 152
Булдаков В. П. – 36, 179, 200, 201, 204, 225, 229, 236, 314, 326, 328, 330, 331, 342, 344, 346, 352
Бунге Н. Х. – 95
Буниат-Заде – 145
Буранов Ю. – 97
Бурганов А. Х. – 200
Бургос М. (Burgos M.) – 403
Бурдье П. (Bourdien P.) – 388, 402, 403
Бурлацкий Ф. М. – 174
Бурылин Д. Г. – 409
Бурышкин П. А. – 408
Бусленко Н. И. – 424
Бутов – 108
Бухараев В. М. – 189, 202
Бухарин Н. И. – 30, 108, 121, 131, 138, 164, 251, 267, 273, 358, 363, 364
Бушуева Т. С. – 304
Быстров А. В. – 80
Бюлль Г. – 348

В

Вада Х. – 182, 200
Валеев Д. Ж. – 314, 315, 329
Валенси Л. (Valensi L.) – 404
Валентинов Г. Б. – 110
Валентинов Н. (Вольский Н. В.) – 110, 123, 124, 138
Валидов З. – 314, 329
Валиханова Н. С. – 329
Варнавский И. А. – 199
Васецкий Н. А. – 260, 276
Васильева О. Ю. – 35
Васильцов С. – 219
Васьковский О. А. – 199
Ватлин А. Ю. – 32, 36, 354, 363–365
Ватник Н. С. – 203
Ващенко П. Ф. – 306
Вдовин А. И. – 323, 331
Вебер М. – 430
Венков Н. Н. – 305
Вернадский В. И. – 193
Вернер А. М. (Verner A. M.) – 352
Верт Н. – 29, 35
Веселов С. В. – 231, 237
Виктория – 343
Викторова Т. Н. – 21
Виллиам Г. Я. – 220
Вильгельм II – 120
Вильсон В. – 257
Винавер М. М. – 110
Виноградова Я. Ю. – 21
Виноградский В. Г. – 403
Витте С. Ю. – 87, 181
Вишлев О. В. – 288, 289, 305
Вишневски Э. – 32, 36
Владимирский А. В. – 306
Власов А. А. – 212
Власов П. В. – 408, 423
Власова И. В. – 394
Войнов В. М. – 213, 214, 221
Волгин И. – 97
Волковинский В. Н. – 217, 221
Волков В. К. – 286, 288, 295, 304
Волков С. – 212
Волков С. В. – 291, 294, 304–306
Волков Ф. Д. – 306, 307
Волкогонов Д. А. – 100–114, 115–138, 196, 262, 280, 296, 304–306, 436
Волобуев П. В. – 109, 200
Воронов Г. И. – 174
Ворошилов К. Е. – 172
Воскобойник Н. И. – 384
Восленский М. – 27, 35
Вотэл Н. (Wathel N.) – 403
Воющин В. А. – 307
Врангель П. Н. – 212, 214, 220, 221
Вургафт Л. (Wurgaft L.) – 402
Вылцан М. А. – 393
Высоцкий В. В. – 35
Вышинский А. Я. – 146

Г

Гавлин М. Л. – 409
Гайда Р. – 216
Гайер Д. (Geyer D.) – 352
Гакаев Ж. Ж. – 203
Ганелин Р. Ш. – 90, 99
Гапон Г. А. – 125
Гареев М. А. – 306, 307
Гарелин Я. П. – 409
Гарскова И. М. – 67, 72, 78, 79
Гатагова Л. С. – 32, 36, 327, 332, 402
Гвишиани Д. А. – 165, 166
Геллнер Э. – 331
Гельман-Виноградов К. Б. – 79
Герасименко Г. А. – 204
Герман А. А. – 328
Герцен А. И. – 265
Гесс – 286, 304
Гетти Дж. Арч (Getty J. Arch) – 21, 263, 436
Гефтер М. – 340, 341
Ге Н. Н. – 95
Гиацинтов Э. – 212, 220
Гибианский Л. Я. – 304
Гидденс А. (Giddens A.) – 402
Гиммельфарб С. – 275
Гиммер Р. (Himmer R.) – 235, 238
Гимпельсон Е. Г. – 201, 229–231, 237
Гинцберг Л. И. – 365
Гиоев М. И. – 203
Гитлер А. – 31, 131, 258, 288, 299, 302, 304–307, 434
Глисон Э. – 86, 89, 97
Глушков А. Ф. – 203
Гобл П. – 35, 327, 352
Говорухин С. – 83
Гогоберидзе Л. – 145
Гоголь Н. В. – 97
Голанд Ю. М. – 273, 275
Голдин В. И. – 205, 212, 216
Голдман У. (Goldman W. Z.) – 420, 425

Голиков А. Г.– 75, 80
Голощекин Ф. И.– 85
Голуб П. А.– 221
Голубев А. В.– 56
Горбачев М. С.– 64, 122, 165, 327, 331, 348, 354, 359, 363
Гордон А. В.– 393
Горемыкин И. Л.– 85
Горинов М. М.– 238, 239, 273–277
Горлов С. А.– 282, 304, 305, 307
Городецкий Г.– 304
Горский А. А.– 370
Горький А. М.– 50, 106
Горьков Ю. А.– 293, 298, 306, 307
Готье Ю. В.– 98
Грамши – 357
Грант А.– 163, 164, 174
Гребениченко С. Ф.– 80
Гребенюк А.– 307
Григорьянц Т. Ю.– 287, 288, 294, 304–306
Гридчина А. Г.– 275
Громыко М. М.– 394, 395
Губогло М. Н.– 330, 402
Гуль Р. Б.– 211, 220
Гумилев Л. Н.– 272, 342, 429
Гуревич А. Я.– 366, 367, 369, 383, 385, 403, 427, 435
Гуров А. А.– 307
Гусейнов М. Д.– 145
Гутнов Д. А.– 80
Гучков А. И.– 94
Гущин В.– 348

Д

Давдариани Г.– 141
Давыдов А. Ю.– 228, 232, 237
Давыдов Б. Б.– 384
Дадиани Л. В.– 331
Далин Д. Ю.– 110
Дамения И. Х.– 327
Даниельс Р.– 363
Данилевский – 342,
Данилевский Н. Я.– 56, 272
Данилова Л. В.– 396, 404
Данилов А. А.– 35, 60, 62, 275
Данилов В. Д.– 298, 307
Данилов В. П.– 100, 112, 202, 253, 393, 430, 436
Дан Ф. И.– 108
Дарвин Д. (Darwin J.) – 334, 352
Дашичев В. И.– 304
Дедев И. И.– 203
Дедков Н. И.– 115
Дейчер И.– 108, 260
Дементьев Н. Е.– 226, 237
Демская А. А.– 408
Деникин А. И.– 211, 216, 220
Дерида Ж.– 435
Дерябин А. И.– 212, 220
Джаки А. (Jackie Assayag) – 404
Джат Т. (Judt T.) – 404
Джекоб М. (Jacob M.) – 431
Дмитренко В. П.– 62, 223, 224, 236, 237, 238, 243, 274, 275
Дмитриев Н. И.– 214, 221
Добровольский С.– 340
Добротвор М. Н.– 204
Догадов – 142, 143
Додонова Л. А.– 424
Долгих Е. В.– 371, 384
Домников С. Д.– 403
Дон-Аминадо (Шполянский А. П.) – 115, 138
Донгаров А. Г.– 291–293, 305, 306
Доронченков А. И.– 320, 330
Достоевский Ф. М.– 83
Дресвянкина П.– 381
Дризулис А.– 305
Дробижев В. З.– 78, 234, 238
Дубенцов Б. Б.– 35
Дубинин С. И.– 328
Дубровская Е. Ю.– 205
Дудник И. А.– 205
Дудорова О. А.– 306
Думова Н. Г.– 408, 423
Дунавэй Д. (Dunaway D.) – 403
Дурылина С. Н.– 408
Дьяконова И. А.– 275
Дэвис Р. У.– 240, 245, 248, 253–256, 262, 275
Дэниелс Р.– 260, 261, 276
Дякин В. С.– В. С.

Е

Евстратова А. И.– 203
Егоров А. И.– 297
Егорычев Н.– 166
Егошина В. Н.– 413, 424
Ежов Н. И.– 146, 173
Екатерина II – 87, 92, 343, 417
Елаев А. А.– 328
Елисеев А. Г.– 407
Елисеев Я. Г.– 378
Елпатьевский А. В.– 21
Елфимова Н. В.– 413, 424
Ельцин Б. Н.– 64, 331, 349
Емелин А.– 154
Емельянов Ю. В.– 291, 294, 304–306
Ерасов В. С.– 339, 340, 346, 352, 353
Ерещенко М. Д.– 294, 306
Ермаков В. Д.– 221
Ермишина С. А.– 403
Ермолов А. П.– 310
Есаков В. Д.– 62
Есенин С. А.– 50
Есиков С. А.– 204, 217, 218, 221, 235, 238
Есипов В. Е.– 372
Еферина Т. В.– 202

Ж

Жарова Л. Н.– 35, 46, 50, 55
Жданов А. А.– 172
Желицки Б. Й.– 294, 306
Жеребцов И. Л.– 328
Житомирская С. В.– 375
Жук С. И.– 430, 435
Жукова Е. В.– 424
Журавлев В. В.– 63, 205, 209, 220, 308, 435
Журавлев С. В.– 271, 277

З

Забелин И. Е.– 427, 435, 436
Заболотный Е. Б.– 199
Зайончковский П. А.– 99
Зайцев А. А.– 203
Замятин Е.– 50
Заславская Т. И.– 393, 402
Захаров А. В.– 402
Захаров М. В.– 306
Захарова Е. Н.– 64
Захарова Л. Г.– 88–90, 98, 99
Зборовский М. Г.– 111
Зверев В. В.– 201
Здравомыслов А. Г.– 324, 331
Зевелев А. И.– 207
Зелдин Т.– 371, 384
Зеленин И. Е.– 254, 255, 393
Земсков В. Н.– 277
Зив В. С.– 275
Зилоти В. П.– 408, 424
Зимина В. Д.– 215, 221
Зиновьев Г. Е.– 109, 110, 121, 130, 259, 262, 356
Знаменский С. Я.– 378
Знанецки Ф. (Znaniecki F.) – 391
Золотарев В. А.– 257
Золотов Н. П.– 307
Зоря Ю. Н.– 304, 305
Зубкова Е. Ю.– 32, 36, 149, 154, 155, 371, 375, 384, 402
Зубов А. Б.– 331
Зыкова В. Г.– 203
Зырянов П. Н.– 42–46, 55, 89, 98, 202, 393, 396, 404

И

Ибрагимбейли Х.-М.– 330
Ибрагимова Д. Х.– 383
Иваницкий Г. М.– 289, 305
Иванов В.– 112
Иванов В. Н.– 331
Иванов В. Ю.– 36
Иванова Г. М.– 154
Иванчик А.– 338
Иван VI – 98
Иван Грозный – 343, 433
Ивашов Л.– 154
Ивашутин П. И.– 307
Ивкин В. И.– 307
Ивницкий Н. А.– 275, 393
Игнатьев А.– 220
Игнатьев С. Д.– 150
Игрицкий Ю. И.– 207, 258, 276
Извольский А. П.– 138
Измозик В. С.– 258, 273
Изоркин А.– 204
Илизаров Б. С.– 35, 375, 384, 402, 404
Ильиных В. А.– 242, 274
Ильин И. А.– 128, 341
Ильин Ю. А.– 200, 204
Имамов В.– 328
Ингерфлом К. С.– 264–266, 276, 277

Иникова С. А. – 403
Ионов И. Н. – 430
Иоффе А. А. – 105, 111
Иоффе Г. З. – 84, 97, 210, 211, 220
Исаев И. – 99
Исаев И. А. – 241, 274
Исаев С. И. – 306
Искандарян А. М. – 330
Истмен М. – 260
Ито С. – 256, 275

К

Кабанов В. В. – 225, 229, 236, 237, 242, 244, 274
Кабытов П. С. – 202
Каганович Л. М. – 141–143, 152, 172
Каганский В. – 346
Казинцева Л. В. – 403
Какурин Н. Е. – 214
Калб М. – 166
Каледин А. М. – 214
Каллешенер О. (Kalleschener O.) – 404
Калмыков Ш. А. – 310
Калтахчан А. С. – 330
Каменев Л. Б. – 108, 121, 129, 130, 136, 259, 262
Каменский А. Б. – 87, 89, 98, 99
Камиллери К. (Camilleri C.) – 402
Каминский – 145
Кандель Ф. – 328
Каницев В. В. – 201, 203, 204, 218, 221, 235, 238
Каплан Ф. – 124
Каппелер А. (Kappeler A.) – 334, 352
Каппель В. О. – 213
Капустин Б. Г. – 340, 352
Капущиньский Р. – 352
Кара-Мурза А. – 336, 344, 347, 353
Кара-Мурза В. – 220
Карзинкины – 409
Карлов В. В. – 330
Карпенко С. В. – 212, 221
Карр Э. – 138
Карсавин Л. П. – 197, 205
Картвелишвили Л. И. – 141, 142, 144
Касвинов М. К. – 97
Катков М. Н. – 90
Каутский К. – 108
Кацва Л. А. – 55
Квашонкин А. В. – 276
Кенез П. (Kenez P.) – 317, 329
Кеннеди П. (Kennedy P.) – 334, 335, 352
Керенский А. Ф. – 132, 208, 211, 257
Кетчум Р. (Ketchum R.) – 403
Кёнкер Д. (Koenker D.) – 202
Киколенко О. А. – 328
Кимелев Ю. А. – 435
Киннан Э. – 341
Кириенко Ю. К. – 203
Кирилина А. А. – 264
Кириллов В. В. – 64
Киров С. М. – 264
Киршин Ю. Я. – 307
Кирьян М. М. – 306
Киселев А. С. – 35
Киселев А. Ф. – 202
Киселев В. Н. – 298, 307
Кишилов В. Е. – 202
Клоков В. А. – 205
Клопыжникова Н. М. – 384
Ключевский В. О. – 59, 95, 116, 368
Клямкин И. М. – 347
Кноп А. Л. – 407
Кнышевский П. Н. – 35
Кобулов – 146
Ковалев С. – 350
Ковальченко И. Д. – 77–79, 373, 384, 435
Коган А. И. – 205
Кожевников В. П. – 200
Козлов А. И. – 203
Козлов В. А. – 78, 100, 112, 174, 226–228, 237, 240, 273
Козлов В. И. – 326, 331
Козлов В. П. – 21
Козлова Н. Н. – 270, 394, 402, 404
Кознова И. Е. – 386
Колеватов В. А. – 402
Колоницкий Б. И. – 204
Колчак А. В. – 98, 213, 214, 216, 221
Комал Ф. В. – 307
Кондратьев Н. Д. – 274
Конквест Р. (Conquest R.) – 436
Константин Николаевич, вел. кн. – 91
Кораблев Ю. И. – 100, 112
Корелин А. П. – 89, 393
Корецкий В. А. – 331
Коржихина Т. П. – 205, 258, 329
Коркмазов А. Ю. – 315, 327, 329, 330
Корнев В. В. – 435
Корнилов Л. Г. – 211, 214, 219, 220
Коробочкин Л. М. – 280–282, 303, 304
Королев С. – 339
Коротаев В. И. – 383
Коротич В. – 164, 166
Корф М. А. – 371, 384
Корш – 357
Косолапов Р. И. – 276
Костин Ю. Н. – 384
Костырченко Г. В. – 162, 174, 323, 331
Костюшко Т. – 339
Косулина Л. Г. – 60, 62
Косых Е. Н. – 201
Котеленец Е. А. – 234, 238
Коткин Ст. (Kotkin S.) – 201, 434, 436
Коцюбинский Д. А. – 204
Кочетков Г. Н. – 199, 204
Кошелева Л. П. – 276, 328
Коэн С. – 131, 138, 276
Кравери М. – 154
Крайнов Г. Н. – 204
Крамм Р. – 79
Краснов П. Н. – 208, 216, 220
Красовицкая Т. Ю. – 329
Крашенинников М. И. – 409
Крестинский Н. Н. – 232
Кривицкий В. – 27, 35
Кривова Н. А. – 384
Кривогуз И. М. – 358
Кривцов Д. Ю. – 384
Крикунов В. П. – 307
Криницкий А. И. – 327
Криппс С. – 285, 286, 304
Кропоткин П. А. – 109
Кротков А. В. – 36
Круглов – 151
Крупская Н. К. – 260, 273
Крылатых Э. Н. – 394
Крыленко Н. В. – 232
Крючкова М. А. – 384, 385
Ксенофонтова Н. А. – 404
Кудрявцев В. Н. – 417, 425
Кузеев Р. Г. – 329
Кузиванова О. Ю. – 328
Кузнецов А. А. – 172
Кузнецов И. С. – 404
Кузнецов С. В. – 394, 404
Кукушкин Ю. С. – 331
Кулешов С. В. – 205
Куликов К. И. – 328
Куликова И. С. – 260, 273
Кулиш В. М. – 282, 299, 304
Кулматов К. – 318, 329
Кульпин Э. С. – 429, 435
Кульшарипов М. М. – 204, 329
Куманев В. А. – 260, 273
Куманев Г. А. – 293, 294, 306
Кун Т. – 435
Куприянов А. И. – 32, 36, 366
Курас Л. В. – 199
Кургинян С. – 341, 352
Куромия Х. – 252
Курочкин С. Л. – 202
Кутковец Т. И. – 347

Л

Лазарев В. В. – 79
Лакоба – 145
Лакутин О. – 80
Лакшин В. Я. – 174
Ланда Р. Г. – 328
Лансинг Р. – 257
Ланской Г. Н. – 202
Лапина С. Н. – 240, 273
Лапшина М. А. – 202
Лассаль Ф. – 106
Лацис О. Р. – 253, 275
Лачаева М. Ю. – 403
Лебедева Н. С. – 154, 304, 305, 364
Лебина Н. Б. – 277, 376, 384, 418–420, 425
Левада Ю. А. – 402
Левандовский А. – 339, 345, 349
Леверманн В. – 79
Леви Р. А. – 111
Левин М. – 247, 248, 250, 264, 274–276

Левина Е. С. – 32, 36
Лейбович О. – 174
Лельчук В. С. – 245–248, 253, 254, 275
Лелюхина Н. Д. – 240, 273
Ленин В. И. – 45, 101–114, 115–138, 181, 184, 185, 196, 197, 211, 216, 222–225, 227–232, 234, 237, 238, 249, 259, 260, 262, 264–267, 276, 327, 345, 356, 357, 359, 364, 382
Леонов С. В. – 35, 228, 230, 237
Леонтьев К. Н. – 90
Лермонтов М. Ю. – 97, 119
Лесков Н. С. – 95
Ле Гофф Ж. (Le Goff J.) – 383, 389, 403
Линденмайер А. (Lindenmeyr A.) – 407, 423
Линч К. (Lynch K.) – 403
Липский А. Е. – 305
Литвак К. Б. – 269, 270, 277
Литвин А. Л. – 218, 221
Лихтер Ю. А. – 80
Ли Л. (Lih L.) – 231, 237
Ллойд К. – 430
Лобанова Е. В. – 76, 80
Локоть Т. В. – 201
Ломова С. А. – 80
Лотман Ю. М. – 367, 369, 383
Луначарский А. В. – 135
Лурье С. В. – 202, 344, 353, 396, 404
Лысенко В. Н. – 315, 328, 329, 331
Лысенко Т. Д. – 349
Львов Г. Е. – 132
Любош С. – 97
Людовик XVI – 86
Люкс Л. – 357, 364
Люкшин Д. И. – 189, 201, 202
Ляшенко Л. М. – 88–90, 98

М

Магомедов Ш. Б. – 328
Мазанова Н. Е. – 383
Мазур П. С. – 221
МакДермотт К. (McDermott K.) – 364
МакФол М. (McFaul M.) – 434, 436
Маклаков Н. А. – 93
Маковский В. Б. – 307
Максимова Э. – 21
Малашенко А. – 348, 349
Маленков А. Г. – 167–170, 173, 175
Маленков Г. М. – 151, 152, 154, 167–173, 175
Малиа М. – 198, 199, 205
Мамардашвили М. – 348
Мамонтов С. – 407
Манфред А. З. – 107, 113
Марголин А. – 35
Марголин Е. – 34
Марен Л. – 332
Мария Александровна – 410
Мария Павловна, вел. кн. – 95
Марков А. – 420, 425
Маркс К. – 37, 134, 197, 359, 430
Мартин А. В. – 64
Мартов Ю. О. – 102, 103, 108, 121
Матвеев В. А. – 203, 204
Мау В. А. – 36, 223, 236, 244, 250, 252, 273
Махнач В. Л. – 345, 429
Махно Н. И. – 98, 217, 221
Маяковский В. А. – 50
Медведев Р. А. – 141, 153, 165, 304
Медведев Ю. В. – 424
Мейерович М. Г. – 409
Мекулов Д. Х. – 204, 318, 327, 329
Мельтюхов М. И. – 278, 306, 307
Меркулов В. Н. – 172
Мерль Шт. (Merl S.) – 330, 416, 425
Мерцалов А. Н. – 304–306
Мерцалова Л. А. – 304–306
Мещеряков М. Т. – 320, 330, 365
Мещеряков Ю. В. – 203
Миллер В. И. – 199–201, 204, 207, 208, 219, 220, 221
Милов Л. В. – 77, 78, 368, 383, 393
Милюков П. Н. – 116, 132
Минаев Л. М. – 112
Миненко Н. А. – 395, 403
Минюк А. И. – 11
Мироненко С. В. – 88, 91, 98
Митина О. В. – 384
Михаил Александрович, вел. кн. – 85
Михалков Н. С. – 35
Мицкевич Э. (Mickiewicz E.) – 17
Мишина И. А. – 35, 46, 50, 55
Могильницкий Б. Г. – 402
Моисеенко Т. Л. – 78
Молдован В. С. – 275
Молодцыгин М. А. – 101, 112
Молотов В. М. – 27, 35, 140, 147, 149, 152, 171, 174, 276, 303–305, 382
Монатт П. – 110
Морозов Е. Г. – 205
Морозов С. – 98, 407
Морозова Л. Е. – 78
Московин В. В. – 203
Мочалов И. – 99
Мошков Ю. А. – 78, 393
Мун Д. (Moon D.) – 201
Мунтерс В. – 305
Муссолини Б. – 258
Мухаметшин Ф. Х. – 328
Мучник В. М. – 369, 383
Мэсси Р. – 85, 97
Мяло К. Г. – 331
Мясников Г. – 85

Н

Найт Э. (Knight A.) – 140, 149, 152, 153
Найшуль В. – 433
Нам И. В. – 204
Наполеон III – 121
Нарбаев Н. Б. – 311, 328
Нариманов Н. К. – 145
Наринский М. М. – 281, 306, 364
Нарочницкий А. Л. – 295
Наумов В. П. – 150, 154, 208
Наумов О. В. – 365
Наумова Г. Р. – 403
Невежин В. А. – 22, 289, 305, 307
Нежинский Л. Н. – 237, 330
Неизвестный Э. – 165, 166
Некрасов Н. Ф. – 151, 153
Некрич А. – 330
Ненароков А. П. – 308, 314, 319, 327, 329, 330
Непряхина Е. Ф. – 378
Неретина Л. А. – 241, 274
Нечаев С. Г. – 103, 124
Николаева И. Ю. – 369, 383
Николай I – 46, 88, 89, 91, 92
Николай II – 27, 28, 83, 84, 87, 90–93, 115, 120, 124, 310, 344
Никольский С. А. – 203, 394, 403, 404
Никонов А. – 331
Никонов А. А. – 164, 394
Ниманов И. Б. – 203
Нитхаммер Л. (Niethammer L.) – 156, 174
Новик П. – 429
Новодворская В. – 351
Новопашин Ю. С. – 304
Носков А. М. – 294, 306
Носова Н. П. – 243, 274
Нуреев И. С. – 328

О

Обожда В. А. – 78
Обозненский П. Е. – 418
Оболенская С. В. – 383, 384
Обухов Л. А. – 205
Овруцкий Л. М. – 205, 329
Одоевский М. И. – 379
Олейников Д. – 335
Олкотт М. – 431, 436
Ольсевич Ю. Я. – 275
Оппоков В. Г. – 221
Орахелашвили М. Д. – 143
Орджоникидзе Г. К. (Серго) – 36, 145, 273
Орехов Д. – 306
Орлов А. С. – 286–290, 292, 304–306
Орлов А. Ф. – 379
Осипов С. Н. – 290, 305
Осипова Т. В. – 202
Осколков Е. Н. – 203
Осокина Е. А. – 80, 269, 273, 277
Островский В. П. – 35, 51, 62
Очирова Т. Н. – 344, 353

П

Павленко Н. Г. – 306, 307
Павлов П. П. – 372
Павлова Т. Ф. – 21
Павловский Г. – 436
Павлюченков С. А. – 222, 238
Паин Э. А. – 324, 331
Пайпс Р. – 198, 205, 341

Палли Х. Э. – 79
Панкрашова М. И. – 280, 303
Пантин И. К. – 98
Панцов А. В. – 100, 113, 364
Парвус – 108
Парсаданова В. С. – 290, 291, 305, 330
Пасат В. И. – 327, 330
Патенауд Б. (Patenaude B.) – 233, 238
Пахомычев С. В. – 80
Перевертень В. А. – 80
Перейра Н. – 262
Перелли К. (Perelli C.) – 404
Перечнев Ю. Г. – 306
Перлов А. М. – 75, 80
Перов А. А. – 200
Пескова Г. Н. – 291, 292, 305
Пестель П. И. – 89
Петренко В. Ф. – 384
Петриков А. В. – 394, 403
Петров А. Н. – 74, 80
Петров Б. Н. – 307
Петров В. И. – 208
Петров И. Б. – 384
Петр I – 183, 268, 371, 433
Петр II – 98
Пешехонов А. В. – 110
Пикуль В. С. – 137
Пильняк Б. А. – 50
Пипкова Э. – 328
Пифагор – 128
Пихоя Р. Г. – 18, 152, 154, 436
Платонов А. – 50
Платон – 128
Плеханов Г. В. – 108, 121
Плимак Е. Г. – 98, 100, 112
Подпрятов Н. В. – 329
Подщеколдин А. М. – 101, 112, 234, 238
Поздняков Э. А. – 330, 331
Познанский – 108
Покивайлова Т. А. – 294, 306
Покровский Н. И. – 311, 327, 328
Поликарпов В. В. – 199
Поликарпов М. А. – 75, 80
Полонский А. – 220
Полонский В. И. – 141–144
Полунов А. Ю. – 83
Поляковы – 408
Поляков Л. С. – 407
Поляков Ю. А. – 32, 36, 109, 205, 207, 208, 211, 219, 226, 237, 383, 435, 436
Полянчев И. – 35
Пономарев А. Н. – 166, 174
Пономарев А. Я. – 112
Попов А. А. – 331
Попов В. П. – 403
Попович Н. – 277
Портелли А. (Portelli A.) – 391
Портер Б. Д. – 349
Поршнев Б. Ф. – 369, 383
Посадская А. И. – 376
Потемкина Т. В. – 384
Пранович А. – 307
Преображенский – 106
Преображенский А. А. – 40
Пржевальский Н. М. – 341
Прибылов В. И. – 280, 281, 304
Пригов Д. – 342
Присяжный Н. С. – 201, 233, 235, 238
Прокопенко А. С. – 305
Пронько В. А. – 307
Протасов Л. Г. – 200, 202, 209, 210, 217, 220, 221, 235, 238
Прохоров Т. В. – 409
Прошечкин С. Е. – 202
Проэктор Д. М. – 296, 304, 306, 307
Пруцкова О. А. – 22
Путилова Е. – 412
Пушкарев Л. Н. – 383
Пушкарева Н. Л. – 384
Пушкин А. С. – 119, 138, 340
Пушков В. П. – 78
Пыхтеева И. В. – 328

Р

Рабинович А. (Rabinovich A.) – 404
Радаев В. В. – 433, 436
Радзинский Э. – 83, 84
Разгон В. Н. – 368, 383
Разуваев В. В. – 311, 328
Раковский – 260
Раковский Ю. У. – 413
Раманичев Н. М. – 306, 307
Раскин Д. И. – 35
Распутин Г. Е. – 93
Рафаэл С. (Rafael S.) – 403
Ребане Я. К. – 402
Ревель Ж. – 383
Ревунков Г. И. – 79
Рейли Д. – 199, 427, 435
Рейтблат А. И. – 34
Репин И. Е. – 95
Решетников О. Н. – 295, 306
Ржешевский О. А. – 281, 288, 304, 305, 307
Риббентроп И. (Ribbentrop J.) – 303–305, 382
Рикёр П. (Ricouer) – 403
Ринчино Э.-Д. – 327
Риттершпорн Г. – 263
Робеспьер М. – 103
Рогалина Н. Л. – 242, 243, 274, 393
Роговая Л. А. – 276, 328
Роговин В. З. – 101, 112, 260, 261, 264, 273, 276
Розанов В. С. – 164
Розанов Г. Л. – 27, 34, 280, 286–288, 290
Розелли Н. – 424
Розенберг У. Г. (Rosenberg W.) – 202, 204, 238
Розов В. – 165
Ройян Ю. – 360
Романов Б. А. – 309
Романовский Н. В. – 162, 174
Романовы – 27, 28, 83–85, 97, 130
Рорти Р. – 435
Румянцев Е. Д. – 204, 205
Рухулл – 145
Руцкой А. В. – 63
Рыбаков Б. А. – 40
Рыбаков В. – 349
Рывкина Р. В. – 402
Рыков А. И. – 98, 251, 260
Рэнсел Д. (Ransel D. L.) – 407, 423
Рютин М. Н. – 276
Рябов Г. – 84, 97
Рябушинский В. П. – 408
Рябушинский П. П. – 409
Рябушинский Ф. П. – 408

С

Сабашников М. В. – 408, 424
Савва М. В. – 329
Савельев П. И. – 202
Савин В. А. – 21
Савченко И. А. – 328
Сагарев В. – 350, 353
Садков В. Н. – 203
Саечников В. С. – 204
Сали Н. Н. – 328
Салтыков-Щедрин М. Е. – 225
Самохвалов Э. Н. – 79
Самсонов А. М. – 304, 307
Самусь В. Н. – 221
Сандалов Л. М. – 306
Сарбай В. Г. – 314
Саркис – 145
Сатаров Г. – 90
Сахаров А. Д. – 174
Сахаров А. Н. – 64, 88, 99, 304
Свидерский А. И. – 228
Свирина М. Ю. – 384
Свищев М. – 78
Свищев М. А. – 244, 245, 269
Севостьянов Г. Н. – 281, 303, 304
Седельников Т. И. – 327
Седов А. В. – 202
Секиринский С. С. – 205, 329
Секистов В. А. – 304
Семанов С. – 96, 99
Семенникова Л. И. – 199, 318, 319, 328, 329, 330, 333, 352
Семенов В. Н. – 424
Семенов Н. Н. – 424
Семенова Н. Ю. – 408
Семидетко В. А. – 307
Семиряга М. И. – 32, 36, 281, 282, 287–294, 304–306
Сенин А. С. – 329
Сенявская Е. С. – 384
Серебрякова З. Л. – 167
Сермукс – 108
Сигельбаум Л. (Siegelbaum L.) – 238
Сикорский Е. А. – 205
Силуш П. И. – 394
Симонов К. М. – 174
Симонов Н. С. – 209, 220, 234, 238, 257, 273, 276
Сиполс В. Я. – 280, 281, 283, 285, 303, 304
Скоропадский П. П. – 221
Скотт Дж. (Scott J.) – 394, 399
Скотт С. – 97, 98

Скропышев Я. С.– 385
Славко Т. И.– 277
Слащев А. Я.– 214
Случ С. З.– 281, 283, 291, 304
Смагина Г. И.– 412
Смирнов А.– 330
Смирнов Г. М.– 51
Смирнов Н. Н.– 203
Смирнов С. Г.– 36
Смирнова Н. Д.– 304
Смольянинов М. М.– 201
Снегов А. В.– 141, 142
Сноуден Ф.– 110
Соболев Г. Л.– 201
Согрин В. В.– 331
Соколов А. К.– 78, 79
Соколов Б. В.– 306
Соколов Е. Н.– 205
Соколов Ю. В.– 32, 36
Соколов Я. В.– 372, 384
Соколова Е. Е.– 200
Сокольников Г. Я.– 98, 274
Сократ – 128
Солдатенков К. Т.– 407
Солдатов А. Ф.– 204
Солженицын А. И.– 322, 331, 349, 353
Солнцева Г. А.– 409
Соловей В. Д.– 330, 331, 353
Соловьев В. С.– 90
Соловьев С. М.– 95, 98, 116
Соломатин С. А.– 35
Соломон П.– 263
Солоневич И. Л.– 272
Сорокин П. А.– 193, 394, 395
Спирин Л. М.– 101, 112, 207, 307
Стайлс Р. (Stiles R.) – 404
Сталин И. В.– 34–36, 39, 52, 87, 107–113, 117, 120, 121, 127, 130, 136, 139–144, 146, 148–150, 152–154, 157, 161, 165–167, 170, 171, 173, 216, 235, 239, 240, 247, 249, 251, 253–255, 257, 259–264, 267, 273, 276, 282, 283, 285–289, 297, 299, 301, 302, 304–307, 315, 320, 327, 330, 343, 345, 348, 356–359, 364, 371, 433, 434
Станкевич С.– 349
Стапанова О. В.– 202
Стариков С. В.– 203
Старков Б. А.– 51, 148, 154, 264, 273, 276, 372
Старцев В. И.– 51, 112, 200
Стасова Н. В.– 145, 412
Стеблев Э. А.– 277
Стейла Д. (Steila D.) – 402
Степанищев А. Т.– 36
Степанов В.– 306
Столыпин П. А.– 63, 87, 93, 181, 189, 387
Столяров Ив.– 400, 404
Стоун Л.– 376, 384
Струве П. Б.– 98
Струруа М.– 166
Суворов В. (Резун В. Б.) – 28, 288, 289, 296–298, 302, 303, 305–307
Суворова Л. И.– 231, 232, 237, 238
Султан-Галиев М.– 204
Султанбеков Б. Ф.– 313, 328
Султангалиев М.-С.– 327, 331
Султанов Ш. З.– 331
Суслов М. А.– 53
Схиммеельпеннинк ван дер Ойе Д.– 341

Т

Тагиров И. Р.– 313, 328, 329
Тадевосян Э. В.– 327
Такер Р.– 109, 262
Таллер М.– 73, 79
Тальгеймер А. (Thalheimer A.) – 110, 357, 364
Тарановски Т.– 341
Тарасевич Л. С.– 372, 384
Тарасов И. Н.– 21
Тарасов Ю. А.– 202
Тарновский К. Н.– 32, 36
Таскаев М. В.– 328
Татю М.– 166
Таубман У.– 165
Твардовский В. А.– 99
Тварковский С.– 203
Телицин В. Л.– 203
Тенишев В. Н.– 395
Терстон Р.– 271, 277, 372
Тертышный А. Т.– 199
Тер-Габриелян – 143, 144
Терещенко М. И.– 132

Тикиджьян Р. Г.– 203
Тимкин Ю. Н.– 205
Тимофеев А. Э.– 364
Тихомиров Л. А.– 90
Тихонов В. И.– 79
Тишкин Г. А.– 410, 424
Тишков В. А.– 321, 322, 324, 329–331, 347, 353, 404
Ткачев П. Н.– 103
Тойнби А.– 56
Толмачев В. П.– 363
Толстова Н. Н.– 205
Толстой Л. Н.– 95
Тольятти П.– 361
Томас В. (Thomas W.) – 403
Томпсон П. (Thompson P.) – 403
Томский – 98
Тонкин Эл. (Tonkin El.) – 403
Топоров В. Н.– 383
Тоффлер А.– 435
Третьяков П. М.– 409, 424
Третьяковы – 407
Третьяк Л. В.– 203
Троицкий Н. А.– 86, 97
Троицкий Ю. Л.– 64, 65
Троцкий Л. Д.– 100–114, 121, 129, 136, 196, 216, 259–264, 355–357, 362, 363, 365
Трояновский О.– 166
Трубайчук А. Ф.– 304
Трубецкой Н.– 341
Трубникова М. В.– 412
Трукан Г. А.– 201, 215, 216, 219, 221, 237, 249, 275
Трусова Е. М.– 203, 205
Трут В. П.– 204
Туманов Б.– 350
Туркул А. В.– 212, 220
Туточкин Ю. Т.– 365
Тухачевский М. Н.– 98, 297
Тюльпанов С. И.– 30
Тютчевы – 97
Тютюкин С. В.– 32
Тяжельникова В. С.– 66, 79, 271, 277, 425

У

Уайлдмен А. (Wildman A.) – 201
Уколов А. Т.– 307
Уколова В.– 343
Улунян А. Д.– 364
Ульянов В. И.– см. Ленин В. И.
Ульянова Г. Н.– 405, 417, 423–425
Ульяновы – 121
Умалатов А. Д.– 327
Умбрашко К. Б.– 64
Унгерн Р. Ф.– 213
Ундасынов И. Н.– 364
Уортман Р.– 92
Уотерс Е. (Waters E.) – 424
Усенко О. Г.– 99, 384
Успенский Б. А.– 367, 369
Устинкин С. В.– 221
Устинов В. А.– 78
Уткин А. И.– 62, 330
Ухтомский – 341
Ушаков А. И.– 32, 36, 206, 220

Ф

Фадин А. В.– 350, 430, 435
Файджес О. (Figes O.) – 202, 233, 238
Файн Л. Е.– 244, 274
Фалин В. М.– 281
Федоров В. А.– 88, 98
Федоров В. Г.– 306
Федорова И. М.– 205
Федоровская Е. С.– 240, 273
Федосов И. А.– 35
Федотов Г.– 341
Федюк В. П.– 206, 221
Фельштинский Ю.– 357, 364
Ферретти М. (Ferretti M.) – 387, 402
Ферро М.– 97
Фет А. А.– 97
Фигатнер Ю. Ю.– 205, 258
Филдхауз Д. К. (Fieldhouse D. K.) – 334, 352
Филимонов В. Я.– 205
Филиппов А. Ф.– 307, 343, 347, 350, 353
Филиппова Т. А.– 96, 98, 335, 336
Философова А. П.– 412
Фирсов М. В.– 424
Фирсов Ф. И.– 288, 305, 357, 358, 363–365
Фитцпатрик Ш. (Fitzpatrick Sh.) – 372, 404
Флоровский Г.– 341

Фомичев А. В. – 202
Фонвизин М. А. – 378
Фонвизина Н. Д. – 378
Франк П. – 363
Франк С. Л. – 95, 99
Франко Ф. – 98
Френкель М. – 166
Фриз Г. (Freeze G.) – 202
Фришман А. – 435
Фрумкин М. И. – 226, 228
Фрунзе М. В. – 108
Фуко М. – 435
Фукуяма Ф. – 349
Фурман Д. – 348

Х

фон Хаген М. (M. von Hagen) – 17
Халилов А. М. – 327
Ханджян А. – 141
Ханин Г. И. – 248, 273, 274
Хант Л. (Hunt L.) – 431
Харусь О. А. – 200, 204
Хасбулатова О. А. – 410–412, 424
Хлевнюк О. В. – 32, 36, 139, 154, 254–256, 262, 273–276, 371, 436
Хлынина Т. П. – 328
Хобсбаум Э. Д. (Hobsbawm E. J.) – 334, 352
Ходонов А. С. – 383
Хок С. (Hock S.) – 403
Холмс Л. – 35, 268, 276, 277
Хорос В. Г. – 98
Хорьков А. Г. – 296, 300, 306
Хоскинг Д. – 35, 342, 343, 352
Хоугленд Д. – 349
Хоффман Д. (Hoffman D.) – 404
Хоффман И. – 296, 306
Хрусталев В. – 97
Хрущев Н. С. – 52, 53, 61, 122, 39–142, 148–154, 158, 161–175
Хрущев С. Н. – 167–169, 173, 175
Хубер П. – 360, 365
Хутыз К. К. – 315, 327, 329, 330

Ц

Цакунов С. В. – 32, 36, 238, 259, 266, 267, 273–277
Цимбаев Н. И. – 312, 328, 331, 336, 352, 402
Ципко А. С. – 36, 349, 353, 403
Цымбурский В. Л. – 336, 348, 353
Цюрупа А. Д. – 98, 235, 260
Цюрупа В. А. – 235, 238

Ч

Чаадаев П. Я. – 98, 118, 119, 138
Чаянов А. В. – 50, 98, 394, 395, 403
Чеботарева В. Г. – 312, 328
Чевела П. П. – 306
Челомей В. Н. – 168
Черкашин Н. – 220
Черненко К. У. – 53
Чернуха В. Г. – 412
Чернышев С. Б. – 334, 352, 429, 435
Чернышевский Н. Г. – 89, 122, 124, 264–266
Черчилль У. – 286
Четвериков В. Н. – 79
Четвериков С. И. – 409
Чечевишников А. Л. – 100
Чичерин Б. Н. – 95, 99
Чубарьян А. О. – 304, 373, 384
Чудакова М. О. – 375
Чуев Ф. – 35, 140, 174
Чулков Г. – 97
Чураков Д. О. – 202

Ш

Шабанова А. Н. – 412
Шагинян М. С. – 123
Шамиль – 310, 327, 328
Шанин Т. (Shanin T.) – 393, 394, 432, 436
Шаповал Ю. И. – 165
Шапошников В. Н. – 112
Шарапов Ю. П. – 32, 36
Шатров М. Ф. – 165
Шахназаров К. – 83
Шахназаров Э. Н. – 364
Шахрай С. М. – 324, 329
Шацилло К. Ф. – 97
Шевоцуков П. – 226, 237
Шевырев А. П. – 37
Шевяков А. А. – 289, 305
Шелест П. Е. – 174
Шелохаев В. В. – 32, 35, 316, 317, 329, 330
Шепелев В. Б. – 200
Шестаков В. А. – 62
Шимов Я. – 350
Шинкарчук С. А. – 372, 384
Ширинья К. К. – 363–365
Шистер Е. А. – 200
Шишкин О. – 21
Шкаровский М. В. – 376, 384, 418–420, 425
Шлихтер А. Г. – 224
Шлыков В. В. – 307
Шматко Н. А. – Н. А.
Шмидт С. О. – 31
Шнайдере И. Р. – 292, 306
Шолохов М. А. – 50
Шпенглер О. – 342
Штиглиц А. Л. – 408
Штудер Б. – 360, 365
Штыка А. П. – 220
Шулдяков В. А. – 203
Шумихин А. Ю. – 331
Шуранов Н. П. – 290, 304, 305

Щ

Щапов Я. Н. – 409, 410, 424
Щербинин П. П. – 203
Щетинов Ю. А. – 236, 238
Щукин П. И. – 407

Э

Эйдельман Н. Я. – 87, 98
Эко У. – 429
Экштут С. А. – 32, 35
Элейшкери – 261
Эмерсон Р. (Emerson R.) – 352
Эммонс Т. – 21, 98
Энгельстайн Л. (Engelstein L.) – 424
Энгель Б. (Engel B. A.) – 424
Эпплби Д. (Appleby J.) – 431, 436

Ю

Юденич Н. Н. – 214
Юзефович Л. А. – 213, 220
Юлдашбаев Б. Х. – 314, 329
Юмашева О. – 333, 339, 345
Юрганов А. Л. – 55
Юшин И. Ф. – 79, 80

Я

Ядов В. А. – 402
Яжборовская И. С. – 364
Язов Д. Т. – 307
Яковенко И. Г. – 430, 433
Яковлев А. И. – 329
Яковлев А. Н. – 166
Яковлев В. – 85
Якушевский А. С. – 304
Янов А. – 200, 350, 351, 353
Яров С. В. – 202
Яров Ю. Ф. – 328
Ярошенко С. С. – 425
Яу В. (Yow V.) – 403
Яхимович З. П. – 364

A–Z

Acton E. – 200
Borkenau F. – 363
Braunthal J. – 363
Channon J. – 202
Drachkovitch M. M. – 365
Fink Carole – 21
Flenly P. – 201
Frankel E. R. – 199
Frankel J. – 199
Haynes J. E. – 365
Klehr H. – 365
Knei B. – 199
Lazitch B. – 365
Manning R. – 436
Meinicke W. – 174
Plato A. V. – 174
Porter A. N. – 352
Tosstorff R. – 365
Wierling D. – 174

Ассоциация исследователей российского общества XX века

представляет серийные издания (по итогам 1993 – 1995 гг.)

«АИРО – ПЕРВАЯ МОНОГРАФИЯ»
под редакцией Г.А.Бордюгова

Д. А. Аманжолова. Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш. / Послесловие Ю. А. Полякова. М., 1994.

Д. Л. Бабиченко. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. / Послесловие Л. И. Лазарева. М., 1994.

А. Ю. Ватлин. Коминтерн: первые десять лет. / Послесловие Ф. И. Фирсова. М., 1993.

Э. Вишневски. Либеральная оппозиция в России накануне первой мировой войны. / Послесловие К. Ф. Шацилло. М., 1994.

Л. С. Гатагова. Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XIX веке. / Послесловие Н. М. Пирумовой. М., 1993.

Е. Ю. Зубкова. Общество и реформы. 1945 – 1964 гг. / Послесловие П. В. Волубуева. М., 1993.

А. И. Куприянов. Русский город в первой половине XIX века: общественный быт и культура горожан Западной Сибири. М., 1995.

Е. С. Левина. Вавилов, Лысенко, Тимофеев-Ресовский... М., 1995.

А. Ю. Полунов. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Александра III. / Послесловие Л. Г. Захаровой. М., 1996.

Ю. В. Соколов. Красная звезда или крест? Жизнь и судьба генерала Брусилова. М., 1994.

А. И. Ушаков. История гражданской войны в литературе русского зарубежья. Опыт изучения. / Послесловие А. П. Ненарокова. М., 1993.

С. В. Цакунов. В лабиринте доктрины. Из опыта разработки экономического курса страны в 1920-е годы. / Послесловие Р. У. Дэвиса. М., 1993.

С. А. Экштут. В поиске исторической альтернативы. Александр I, его сподвижники и декабристы. М., 1994.

под редакцией Г.А.Бордюгова

Советская Военная Администрация в Германии (СВАГ). Управление пропаганды (информации) и С. И. Тюльпанов. 1945 – 1949 гг. Сборник документов. М., 1994.

Литературный фронт. История политической цензуры 1932 – 1946 гг. Сборник документов. М., 1994.

Неизвестный Богданов. В 3-х книгах.
Книга I: Письма, статьи, доклады и воспоминания А. А. Богданова (Малиновского). 1901 – 1928 гг. М., 1994.
Книга II: А. А. Богданов и группа «Вперед». М., 1995.
Книга III: А. А. Богданов. Десятилетие отлучения от марксизма. М., 1995.

СССР – Польша. Механизмы подчинения. 1944 – 1949. Сборник документов. М., 1995.

Тюремные рукописи Н. И. Бухарина. В 2-х книгах.
Книга I: Н. И. Бухарин. Социализм и его культура. М., 1996.
Книга II: Н. И. Бухарин. Философские арабески. Диалектические очерки. М., 1996.

«ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ В РОССИИ»

М. Бубер-Нейман. Мировая революция и сталинский режим. М., 1995.

«АИРО – МОНОГРАФИЯ»

Г. М. Адибеков. Коминформ и послевоенная Европа. М., 1994.

Н. Ф. Бугай. Л. Берия – И. Сталину: «Согласно вашему указанию...» М., 1995.

Ю. А. Поляков. Наше непредсказуемое прошлое. Полемические заметки. М., 1995.

О. В. Хлевнюк. Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 1930-е гг. М., 1993.

Ю. П. Шарапов. Лицей в Сокольниках. Очерк истории ИФЛИ – Московского института истории, философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского (1931 – 1945 гг.). М., 1995.

а также КНИГИ И СБОРНИКИ:

Российская империя, СССР, Российская Федерация: история одной страны? Прерывность и непрерывность в отечественной истории XX века. В. П. Булдаков, В. А. Мау, А. С. Ципко. Сборник статей. М., 1993.

Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Незапланированная дискуссия. Сборник статей. М., 1995.

Сталинское Политбюро в 1930-е годы. Сборник документов. М., 1995.

Межнациональные отношения в России и СНГ. Семинар Московского центра Карнеги. Выпуск I: доклады 1993 – 1994 гг. М., 1994. Выпуск II: доклады 1994 – 1995 гг. М., 1995.

Среда и культура в условиях общественных трансформаций. Сборник статей. М., 1995.

Кто есть кто в изучении народов и национальных проблем в России. Биобиблиографический справочник. М., 1995.

И. А. Дедков. Любить? Ненавидеть? Что еще?.. Заметки о литературе, истории и нашей быстротекущей абсурдной жизни. М., 1995.

Архивы звука и образа. Статьи и методические материалы. М., 1996.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Аманжолова Дина Ахметжановна – доктор исторических наук, профессор кафедры истории и культуры Государственной академии сферы быта и услуг, Ответственный секретарь журнала "Исторический архив". Автор монографии "Казахский автономизм и Россия. История движения Алаш" (Москва, 1994).

Бордюгов Геннадий Аркадьевич – кандидат исторических наук, доцент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Автор книги "История и конъюнктура" (Москва, 1992, в соавт.). Один из авторов книг "История Отечества. Люди, идеи, решения" (Москва, 1991), "L'eta dello Stalinizmo" (Roma, 1991), "Kultur im Stalinizmus" (Bremen, 1994). Соредактор и сосоставитель сборников "Moszkvanakjeientjuk... Titkos dokumentumok 1944–1948" (Budapest, 1994), "СВАГ. Управление пропаганды (информации) и С. И. Тюльпанов 1945–1949" (Москва, 1994), "Polska – ZSRR. Struktury podleglosci. Dokumenty KC WKP(b) 1944–1949" (Warszawa, 1995). Редактор трехтомника "Неизвестный Богданов" (Москва, 1994–1995) и двухтомника "Тюремные рукописи Н. И. Бухарина" (Москва, 1996) и др.

Булдаков Владимир Прохорович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН, заместитель председателя Научного Совета РАН "История революций в России", Генеральный секретарь Международной комиссии по истории Октябрьской революции. Один из авторов книг "История Отечества. Люди, идеи, решения" (Москва, 1991), "Российская империя, СССР, Российская Федерация: история одной страны? Прерывность и непрерывность в отечественной истории XX века" (Москва, 1993), "Феномен народофобии. XX век" (Казань, 1994) и др.

Ватлин Александр Юрьевич – кандидат исторических наук, директор Программы Института демократии и прав человека. Автор монографии "Коминтерн: первые десять лет" (Москва, 1993).

Гатагова Людмила Султановна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН. Автор книг "Основные тенденции правительственной политики на Кавказе в 60–70-е годы XIX века" (Орджоникидзе, 1988), "Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XIX в." (Москва, 1993).

Голубев Александр Владимирович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН, заведующий лабораторией содержания образования в русской школе Института национальных проблем образования. Автор монографии "Советско-английские отношения в 1979–1983 гг." (Москва, 1990) и учебного пособия "Древний мир глазами современников и историков" (Москва, 1994).

Горинов Михаил Михайлович – кандидат исторических наук, заведующий отделом Московского городского объединения архивов, главный редактор журнала "Россия XXI". Автор брошюры "НЭП: поиски путей развития" (Москва, 1990), учебного пособия "История Москвы. Хрестоматия для учащихся старших классов" (Москва, 1995–1996). Составитель сборника "Москва военная 1941–1945. Мемуары и архивные документы" (Москва, 1995).

Дедков Никита Игоревич – аспирант Исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Зубкова Елена Юрьевна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН. Автор монографии "Общество и реформы 1945–1964" (Москва, 1993). Одна из авторов книг "Исторический опыт и перестройка" (Москва, 1989), "Наше Отечество. Опыт политической истории" (Москва, 1991), "История Отечества. Люди, идеи, решения" (Москва, 1991).

Кознова Ирина Евгеньевна – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института философии РАН. Одна из авторов книги "Менталитет и аграрное развитие России XIX–XX вв." (Москва, 1996).

Куприянов Александр Иванович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН. Автор монографии "Русский город в первой половине XIX века: общественный быт и культура горожан Западной Сибири" (Москва, 1995).

Мельтюхов Михаил Иванович – кандидат исторических наук, научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела. Один из авторов книги "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?"

Минюк Андрей Игоревич – заведующий отделом Российского государственного архива экономики.

Невежин Владимир Александрович – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института российской истории РАН. Составитель и один из авторов книги "Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера?" (Москва, 1995).

Павлюченков Сергей Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент Московского государственного социального университета. Один из авторов книг "Трудные вопросы истории" (Москва, 1991), "Наше Отечество. Опыт политической истории" (Москва, 1991), "Власть и оппозиция" (Москва, 1995).

Панцов Александр Вадимович – доктор исторических наук, профессор Университета Де Пол (Чикаго, США). Автор книги "Из истории идейной борьбы в китайском революционном движении 20–40-х годов" (Москва, 1985). Один из авторов книг "Революционная демократия и коммунисты Востока" (Москва, 1984), "Национальные и социальные движения на Востоке. История и современность" (Москва, 1986), "Опыт Коминтерна и единство прогрессивных сил" (Москва, 1990), "История Китая в новое и новейшее время: проблемы историографии и источниковедения" (Москва, 1991).

Полунов Александр Юрьевич – кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории Отечества Центра социально-гуманитарного образования Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Автор монографии "Под властью Обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Александра III" (Москва, 1996).

Пруцкова Ольга Алексеевна – сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН.

Тяжельникова Виктория Станиславовна – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Московского городского объединения архивов. Соавтор монографии "Источнико-ориентированная обработка данных. КЛИО. Руководство для пользователя" (Москва, 1995).

Ульянова Галина Николаевна – кандидат исторических наук, научный сотрудник Института российской истории РАН. Одна из авторов книг "Россия. 1913 год" (Санкт-Петербург, 1995), "Professionen im Modernen Osteuropa" (Giessen, 1995).

Ушаков Александр Иванович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Российского независимого института социальных и национальных проблем. Автор монографии "История гражданской войны в литературе Русского зарубежья. Опыт изучения" (Москва, 1993). Один из авторов книг "Реввоенсовет Республики" (Москва, 1991), "Der grosse Exodus. Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941" (Muenchen, 1994), "Russische Emigration in Deutschland. Leben im europaeischen Buergerkrieg" (Berlin, 1995). Автор комментариев к 2-х томному изданию Н. Е. Какурина "Как сражалась революция" (Москва, 1990) и др.

Федюк Владимир Павлович – доктор исторических наук, профессор Исторического факультета Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Автор книг "Деникинская диктатура и ее крах" (Ярославль, 1990), "Украина в 1918 году. Гетман П. П. Скоропадский" (Ярославль, 1993), "Белые. Антибольшевистское движение на Юге России" (Москва, 1996).

Хлевнюк Олег Витальевич – кандидат исторических наук, член редколлегии журнала "Свободная мысль". Автор книг "1937 год. Сталин, НКВД и советское общество" (Москва, 1992), "Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 30-е годы" (Москва, 1993), "In Stalin's Shadow. The Career of "Sergo" Ordzhonikidze" (New York – London, 1995). Соредактор и сосоставитель документальных сборников "Сталинское Политбюро в 30-е годы" (Москва, 1995) и "Письма И. В. Сталина В. М. Молотову. 1925–1936 гг." (Москва, 1995) и др.

Чечевишников Александр Леонидович – кандидат исторических наук, заместитель директора Независимого института социально-исторических проблем Исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Редактор книг "Трансформация цивилизационно-культурного пространства бывшего СССР" (Москва, 1994), "Средства массовой информации в политических технологиях" (Москва, 1995), "Политик и общество" (Москва, 1995).

Шевырев Александр Павлович – кандидат исторических наук, доцент Исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией Московского института развития образовательных систем. Автор монографии "Русский флот после Крымской войны: либеральная бюрократия и морские реформы" (Москва, 1990). Один из авторов проекта "Концепции исторического образования в средней школе" (Москва, 1989).

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РОССИИ

ТЕНДЕНЦИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Под редакцией Г. А. Бордюгова

Ответственный за выпуск
А. И. Ушаков

Компьютерная верстка
и техническое редактирование
С. Б. Говоровский

ЛР №030620 от 11.11.94

Подписано в печать с оригинал-макета 22.04.96
Формат 70×100 1/16. Бум. офс. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 37,12. Усл. кр.-отт. 37,78.
Заказ **4328**

«АИРО-XX»
119034 Москва, ул. Остоженка, 7—69

Отпечатано в Московской типографии №2 РАН
121099 Москва, Шубинский пер., 6